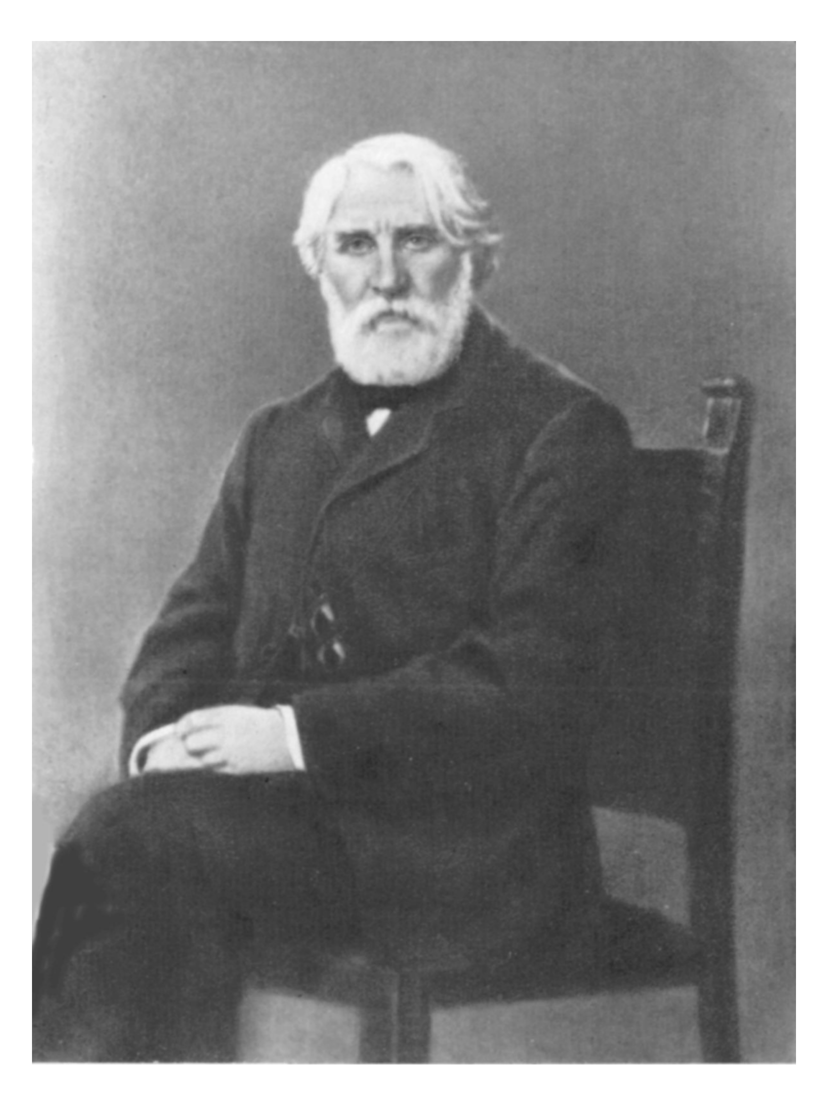
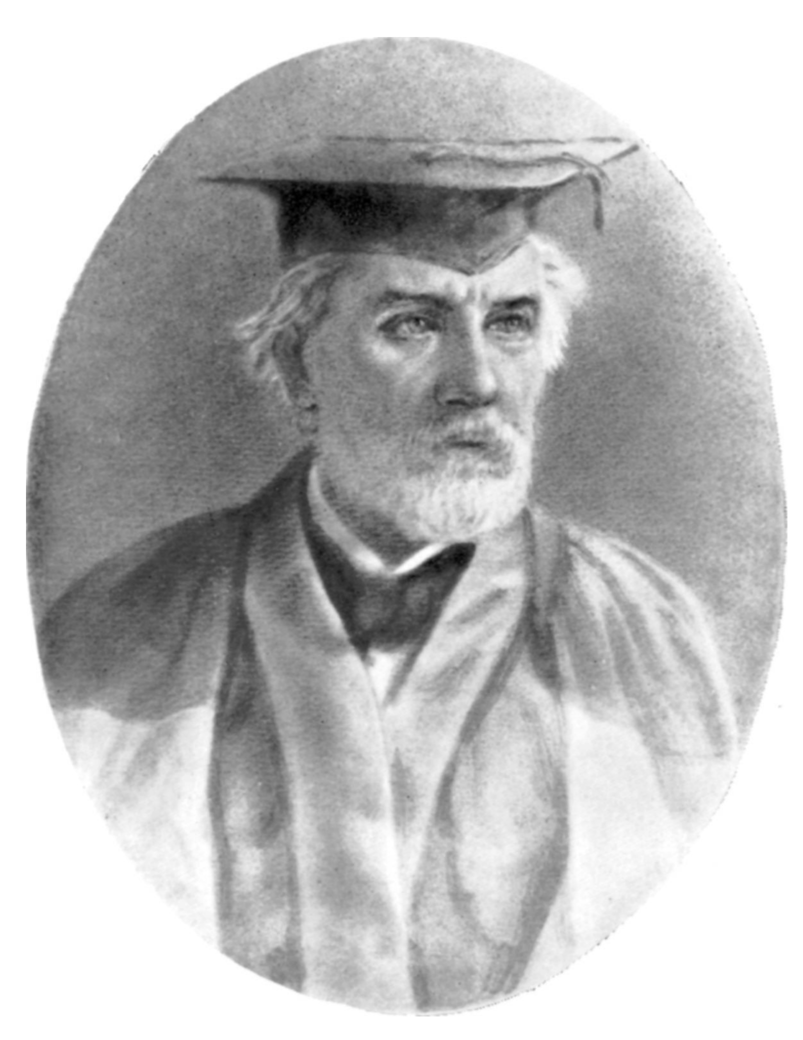
И. С. ТУРГЕНЕВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ





И. С. Тургенев. Портрет работы А. А. Харламова.
Масло. 1875 г.



И. С. Тургенев в мантии доктора Оксфордского университета.
Фотография А. Либера. 1879 г.



Людвиг Пич. Рисунок Губерта Геркомера. 1891 г.



Эдмон и Жюль де Гонкур. Рисунок П. Гаварни.

Проспер Мериме. Фотография Ройтлингера.

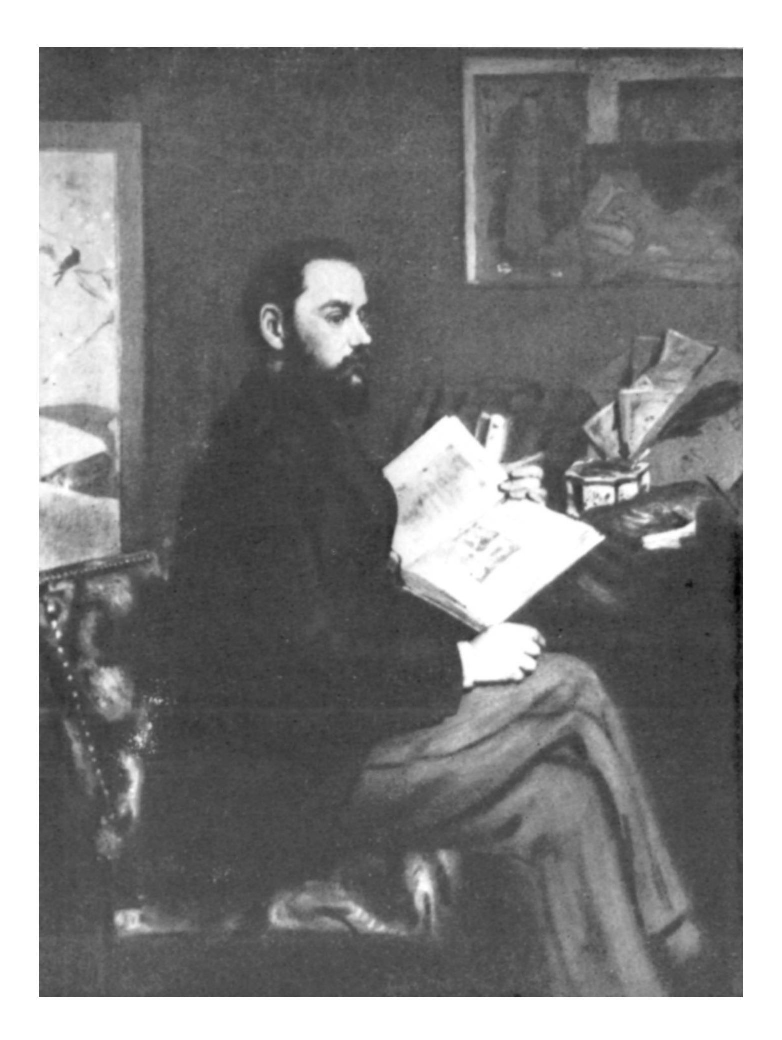




Гюстав Флобер. Фотография Ф. Надара. Около 1860 г.



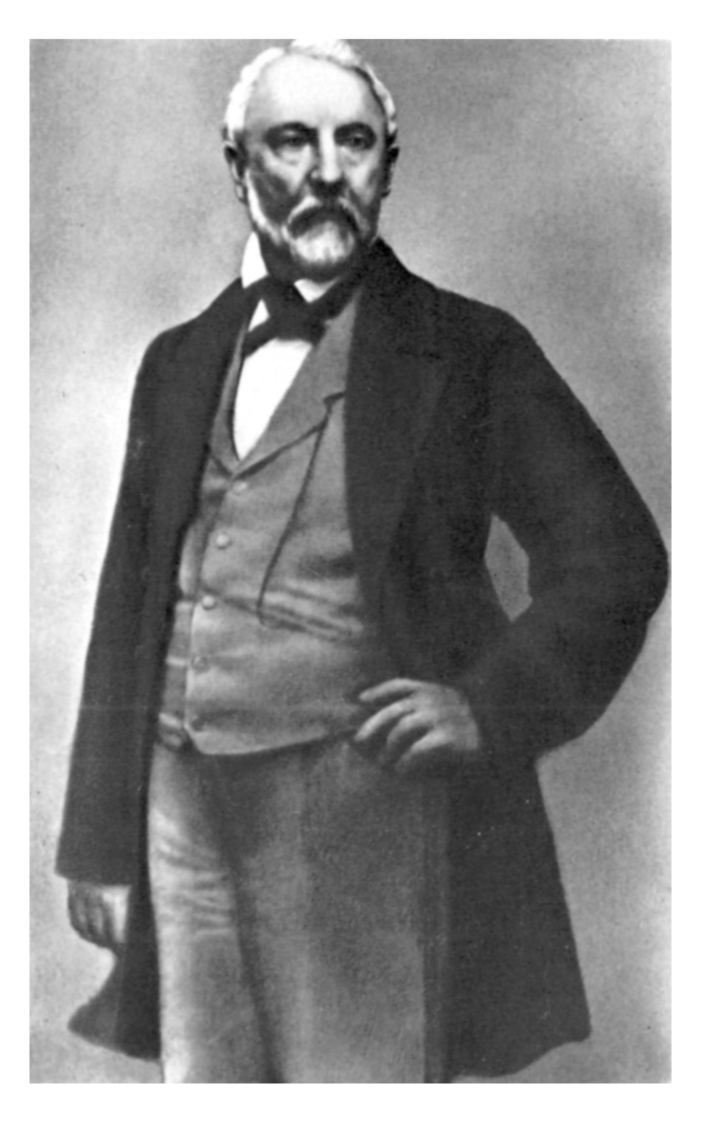
Ги де Мопассан. Фотография Ф. Надара.



Эмиль Золя. Портрет работы Э. Мане. Масло. 1868 г.



И. С. Тургенев. Рисунок Адольфа Менцеля. 1871 г.



Луи Виардо. Фотография. Баден-Баден. 1860-е годы.



Полина Виардо. Акварель П. Ф. Соколова. 1853 г.



«Застолье классиков». Слева направо:
А. Доде, Г. Флобер, Э. Золя, И. Тургенев.



Полина Тургенева-Брюэр, дочь писателя. Фотография Э. Каржа. 1870-е годы.



И. С. Тургенев. Рисунок Полины Виардо. 1879 г.



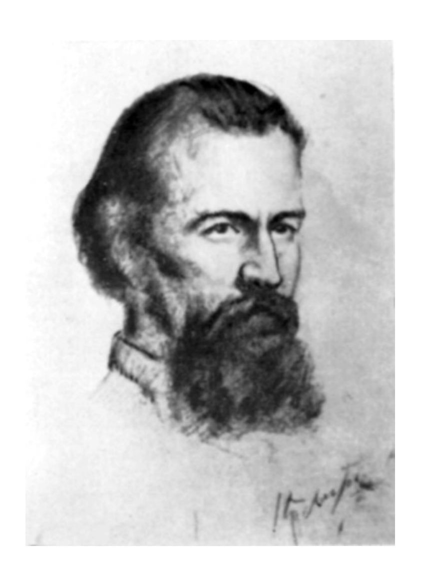
Вид Буживаля.

Полина Виардо. Фотография. Баден-Баден. 1860-е годы.

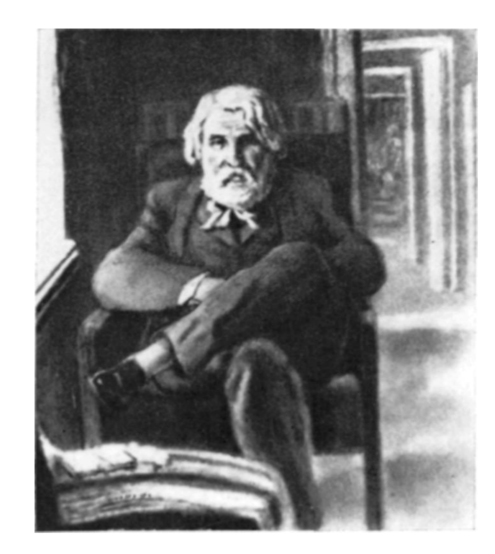


И. С. Тургенев. Рисунок Людвига Пича. Баден-Баден. 1868 г.





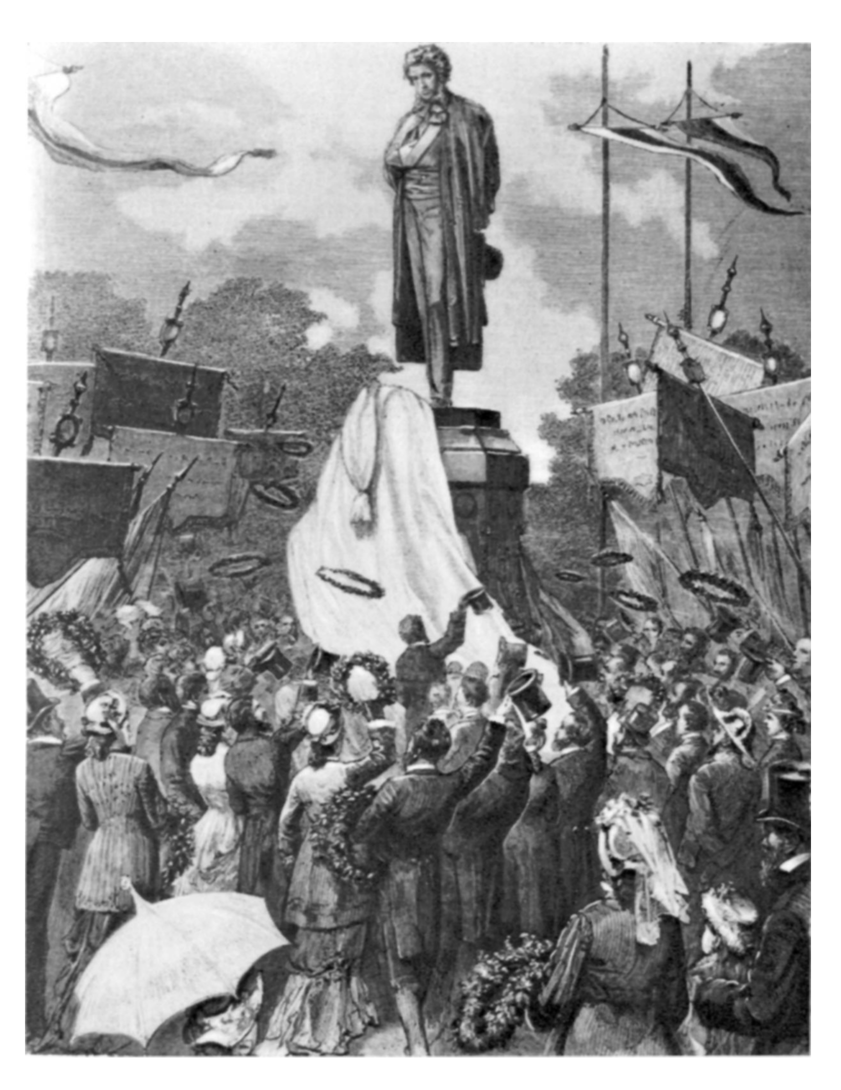
Я. П. Полонский. Рисунок М. М. Антокольского. 1870-е годы.



И. С. Тургенев. Портрет работы Я. П. Полонского. Масло. 1881 г.



М. Г. Савина в роли Верочки из пьесы И. С. Тургенева «Месяц в деревне». Фотография. 1879 г.



Открытие памятника А. С. Пушкину. Гравюра по рисунку А. Баумана с наброска М. Чехова. 1890 г.



Умирающий Тургенев. Рисунок К. Шамро. 1883 г.

Похороны И. С. Тургенева в Петербурге. Траурная процессия на пути к Волкову кладбищу 27 сентября/9 октября 1883 г. Гравюра с рисунка С. Л. Шамоты.





СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

И. С. ТУРГЕНЕВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ВТОРОЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

8Р1
Т87

Составление и подготовка текста
С. М. ПЕТРОВА и В. Г. ФРИДЛЯНД

Комментарии
В. Г. ФРИДЛЯНД

Оформление художника
В. МАКСИНА

Т $\frac{4702010100-270}{028(01)-83}$ 25-83

ТУРГЕНЕВ ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

П. Д. БОБОРЫКИН

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

ТУРГЕНЕВ ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

I

В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах. Про Тургенева же сказать это совершенно невозможно, по крайней мере для всех, кто что-нибудь читал на своем веку. Просто человеком, русским барином, помещиком, охотником он бывал для простых людей: крестьян, местных обывателей на своей родине или же в случайных столкновениях в дороге, дома и за границей.

Такое отношение к нему маскировало и в глазах людей чутких много характерных свойств, принадлежащих ему как типу, созданному и русской и международной

жизнью. У нас до сих пор мало разбирали людей, достигших известности в сфере литературы, науки и искусств, с бытовой точки зрения. Первую попытку этого сделал когда-то в своих критических статьях покойный Аполлон Григорьев. Его интересовала родина различных писателей и поэтов; он находил у земляков многие родственные черты творчества, склада ума [1]. Это родство заключается, конечно, и в них самих: в их характере, манере, внешнем типе. И в Тургеневе сказывался барин из центральной великорусской местности, поюжнее от Москвы. Кто знавал его и вместе с тем знаком был с графом Л. Н. Толстым, тот, конечно, согласится, что они оба очень похожи по типу, а по тону и складу речи их положительно можно было принять за родных братьев, хотя голос у них и не совсем был похож. Толстой также если не родился, то обжился в местности из того же района. Тула и Орел по бытовой жизни близки между собою.

Я употребил слово *барин.* Знаю, что оно сделалось почти бранной кличкой. Но всякую тенденциозность мы оставим; она должна уступить место правде, определению характерных особенностей; с чем бы они ни были связаны в глазах иного читателя, известное сословие жило несколько столетий не одними только грубыми, хищническими интересами и побуждениями. Оно было и главным носителем образованности вплоть до половины нашего столетия.

Каждому думавшему о законах психологической жизни известно, какую роль играют преемственность и наследственность. Вот эту-то наследственность барского склада и можно было изучать в Тургеневе. Совершенно справедливо, что две трети жизни, проведенные за границей, совсем не обесцветили его в этом отношении. В целой тысяче иностранцев он всегда выделялся не одной только своей огромной фигурой и живописной головой, а манерой держать себя, особенным выражением лица, интонациями голоса. Такому голосу при подобной фигуре у иностранцев трудно сложиться; он был бы непременно сильнее, гуще или жестче, вообще гораздо эффектнее. Звук остался чисто русский: слабоватый, более высокий, чем можно было ожидать от такого тела, и опять-таки барский, а не чиновничий, не профессорский, даже не литераторский, если взять среднюю манеру говорить петербургского журналиста за последние тридцать лет. Тургенев немного шепелявил, не так резко, как, например, покойный актер Шумский или Павел Васильев, но с прибавкою чуть за-

метного звука *с.* Это недостаток тоже дворянский, а не чиновничий и не купеческий. Но слабый голос и такая особенность произношения делали разговор Тургенева проще и привлекательнее. Иначе блеск его ума, художественная объективность и меткость определений выходили бы слишком красивы, стесняли бы собеседника своей старательной, мастерской отделкой. Очертание головы в последние двадцать лет оставалось то же; волосы и бороду Тургенев носил без перемены прически. Манера держать ее была также барская; но вся голова, особенно в последние годы, напоминала русские деревенские типы: благочинных, бурмистров, стариков пчелинцев. И между родовитыми купцами попадаются такие лица. Народность в тесном смысле, то есть связь с крестьянским людом, сказывалась всего больше в некоторых особенностях лица, в складках лба, в бровях, в выражении и посадке глаз, в носе, уже совершенно не имевшем ничего западноевропейского. И несмотря на то, что руки и ноги у Тургенева были большие, походка замедленная и тяжеловатая, в нем жил настоящий барин, все приемы которого дышали тем, что французы называют distinction *, с примесью некоторой робости. Вот эта душевная черта тоже чисто русская, я бы сказал даже — дворянски русская. Француз-писатель, да и всякий иностранец, если б он наполовину столько жил на миру, как Тургенев, и достиг одной трети его репутации, давно бы утратил всякую робость. Ею надо было объяснить и ту сдержанность, кажущуюся суховатость тона, манеру говорить и руководить беседой, которые в Тургеневе многих приводили в недоумение. Но он очень легко сокращался, запирал для случайных собеседников ларчик, где у него лежало столько хороших, интимных вещей. От чувства неловкости, навеваемого людьми или известным положением, местом, необходимостью играть роль знаменитого писателя, являлся и другой совсем тон, тот тон, который вредил Тургеневу в глазах радикальной молодежи. Но рядом с этим жило в нем всегда одно, тоже настоящее барское свойство. Это — способность сразу человеку малознакомому говорить о таких обстоятельствах своей жизни, которые обыкновенно усиленно припрятываются.

Меня черта эта поразила как раз в первый же разговор, который я имел с Тургеневым в 1864 году. Перед тем я к нему обращался письменно как редактор «Библиотеки

---

* изысканностью (*фр.*)

для чтения». Приехал он в Петербург, сколько я помню, осенью или зимой и остановился в Hôtel de France [2]. Повод моего визита был редакторский: просить его дать что-нибудь журналу. Мне памятны все подробности: небольшая комната с камином, костюм его (синяя визитка по тогдашней моде), диванчик, на котором мы сидели слева от входа из темненькой передней.

— Вот, видите ли, — сказал он мне, — я ничего вам не могу обещать, потому что теперь я покончиваю свою деятельность...

Это, конечно, не могло меня не изумить. Припомню, что тогда Тургенев еще испытывал удручавшее его впечатление «Отцов и детей» на молодую русскую публику [3]. Но никакого особенного раздражения я в нем не видал; на эту тему он не сказал ни одного слова. Объяснение его было гораздо проще, и вот в нем-то и сказалось это свойство: не утаивать даже деликатных вещей из своей жизни, даже перед человеком, являющимся к нему в первый раз.

— *Сочинять,* — продолжал он, — я никогда ничего не мог. Чтобы у меня что-нибудь вышло, надо мне постоянно возиться с людьми, брать их живьем. Мне нужно не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие житейские подробности. Так я всегда писал, и все, что у меня есть порядочного, дано жизнью, а вовсе не создано мною. Настоящего воображения у меня никогда не было. И вот теперь случилось так, что я поселился за границей...

Без всякого колебания или многозначительной паузы он добавил:

— Жизнь моя сложилась так, что я не сумел свить собственного своего гнезда. Пришлось довольствоваться чужим. Я буду жить за границей почти безвыездно, — стало быть, прости всякое изучение русских людей. Вот почему я и не думаю, чтобы написалось у меня что-нибудь. Надо на этом поставить крест.

Когда я ему заметил, что невероятно такое писательское самоубийство, что наконец он сам не выдержит, заскучает по работе:

— Кое-что буду писать, — сказал он. — Вот сколько лет мечтаю о том, чтобы сделать хороший перевод «Дон-Кихота» [4]. Буду собирать свои воспоминания... Что же делать!

В другой раз, и уже незадолго до смерти, в 80-м году, он меня опять поразил своею откровенностью, хотя в то время мы уже были в отношениях довольно близкого знакомства и я из молодого человека превратился в человека

зрелых лет. Это было в 1880 году после московских и петербургских оваций, о которых я поговорю ниже. Увидался я с ним проездом за границу. Мы его поджидали в Москву в конце апреля или в начале мая, но он выехал из Парижа гораздо позднее, а в Петербурге был задержан сильнейшими припадками подагры [5]. Останавливался он, как известно, в последнее время в меблированных комнатах на углу Невского и Малой Морской. Я вошел на крыльцо, а Тургенев спускался с трудом, даже, сколько я помню, на одном костыле, от себя. У подъезда стояла карета. Он мне рассказал, что это его первый выезд после двухнедельного сиденья в комнате.

— Надо сделать несколько визитов. Совестно, ни у кого не мог еще быть.

И тут, на мой вопрос: «Что его задержало?» — он ответил мне такой подробностью, которую я не имею права передать здесь, но еще более показавшей мне, что в нем в известные минуты сидела настоящая *барская* откровенность — иначе назвать не могу, — которой вы не найдете у людей другого типа, как бы они ни были просты, искренни и смелы: известных вещей они не скажут от той щекотливости, которой в Тургеневе не было относительно себя.

Прибавлю маленькую подробность, не относящуюся прямо к этой характеристике: сойдя с лестницы, он попросил зайти вместе с ним в магазин известного токаря Александра, помещающийся в том же доме, чтобы выбрать себе табакерку.

— Стал нюхать, — говорил он мне с улыбкой, — как старухи у нас толкуют: для глаз хорошо.

Вообще, несмотря на подагру, он был в очень милом настроении и передавал мне, как, сидя дома, пристрастился к картам, собирал у себя двух-трех приятелей, из которых один оказался неудобным по своей горячности и манере ругать партнеров.

II

В среде иностранцев, особенно французов (я всего больше и видал его с ними), Тургенев, сохраняя свой народный барский тип в манере говорить, в тоне, превращался гораздо больше в общеевропейца, чем большинство русских. Это происходило главным образом оттого, что он употреблял новейший, несколько жаргонный парижский язык. У других, например, у Герцена, несмотря на его

долгие скитания, самый звук, когда он говорил по-французски, был чисто московский до самой смерти. У Тургенева не только выбор выражений, отдельные слова и словечки, но и интонации отзывались новейшим Парижем. Он слишком много жил с французскими писателями, артистами и светскими людьми, чтобы на него не отлинял их язык. И вообще, мне кажется, на грунте несомненной своеобразности как русского писателя и человека у него было в житейском обиходе множество заимствованных приемов. Не нужно забывать и того, что Тургенев предавался разным видам любительства: был охотник, шахматный игрок, знаток картин, страстный меломан, и по всем этим специальностям он имел приятелей-иностранцев. В их кружках неизбежно приобретал он известного рода пошиб речи и манер.

Немца или человека, удержавшего в себе какие-нибудь, хотя бы внешние, влияния немецкого быта, манер, тона, я в нем решительно ни в чем не замечал в течение восемнадцати лет, а между тем не дальше как несколько месяцев тому назад я, признаюсь, был не особенно приятно настроен, прочтя случайно маленькое предисловие Тургенева к митавскому изданию его переводов, где он называет Германию своим «вторым отечеством»[6]. То же он высказывал и по-русски в своих воспоминаниях, но там это как-то смягчается. И, вероятно, когда он уходил в самого себя и обозревал историю своего умственного развития, то признавал тот несомненный факт, что немцам, их университетам, их литературе, философской всесторонности, эрудиции он обязан тем, что стал настоящим европейцем по своим идеям, стремлениям и вкусам.

Но, повторяю опять, немецкий склад жизни, ума и вкусов на него резким образом не отлинял. Не было этого и тогда, когда он жил в Баден-Бадене, где мне привелось посетить его[7]. Напротив, в баденской своей вилле Тургенев смотрел настоящим туристом, полуфранцузом, полурусским, ничего не имеющим общего с туземным населением и местностью, кроме своей страсти к охоте; а в Шварцвальде по этой части порядочное раздолье. Я позволяю себе высказать ту мысль, что у Тургенева была платоническая любовь к немецкой умственной культуре, сохранившаяся как реликвия молодости, но в плоть и кровь его она нисколько не вошла. Да и стоит только перечитать его романы, повести и рассказы, чтобы найти то здесь, то там резкое отношение к немцу, к жестоким свойствам

его характера, к его смешным сторонам, наконец, к его отсталости по удобствам и вкусу, к его невозможной кухне, так едко описанной Тургеневым в «Вешних водах» [8], за что немцы довольно долго на него дулись и до сих пор не могут ему забыть этих строк.

Случалось и мне слышать его разговоры с немецкими писателями. Он был необыкновенно хорошо знаком со всем, что составляет духовное достояние Германии, прекрасно говорил по-немецки, и из всех мне известных русских писателей он только овладел всесторонне знакомством с немецкой образованностью [9]. Но все это было *само по себе;* оно не накладывало печати ни на его привычки, ни на его разговор, не давало ему никаких исключительно немецких пристрастий.

Прибавлю, однако, что в Тургеневе искреннее признание всех достоинств немецкой нации делало его не только беспристрастным, но и безусловным сторонником немцев во всем, чем они выше нас. Каких-нибудь выходок в русском вкусе насчет «немчуры», вероятно, никто от него не слыхал иначе, как разве в каких-нибудь шутливых, забавных рассказах.

К французам Тургенев вплоть до переселения в Париж относился, правда, немножко брезгливо; можно даже сказать, что он не любил их. Очень хорошо припоминаю свой разговор с его ближайшим приятелем по поводу переселения Тургенева с семейством Виардо из Баден-Бадена в Париж. Переселение это было сделано из патриотизма. Виардо и его жена не хотели оставаться у «пруссаков», продали, так же как и Тургенев, свои виллы, переменили совершенно образ жизни и поселились на постоянное житье в Париже.

— Да, бедный Иван Сергеевич, — говорил мне его приятель, — должен теперь сидеть во Франции. А ведь он до французов куда не охотник, и весь-то склад жизни в Париже ему не по душе!

Это говорилось как вещи, давным-давно известные всем, кто близок с ним. Но патриотизм семейства Виардо, последствия франко-прусской войны, падение Второй империи и новый режим, множество живых связей с писателями и политическими людьми Франции, симпатии и вообще уважение, чуткость французов, и в особенности парижан, к таланту и ко всему, чем, по тургеневскому выражению, «красится и возвышается жизнь», сделали то, что в конце семидесятых годов никто бы уже не сказал

про Тургенева, что он не любит французов и живет скрепя сердце в Париже и Буживале.

Нельзя было этому не порадоваться! В начале франко-прусской войны Тургенев был положительно на стороне немцев, что он и выразил в нескольких корреспонденциях, напечатанных в тогдашних «Петербургских ведомостях» [10]. На французскую литературу, на роман он смотрел с ходячей в шестидесятых годах русско-немецкой точки зрения. Говорю это не голословно. Стоит только заглянуть в его большое предисловие, написанное в Баден-Бадене, к переводу какого-то романа его знакомого, Максима Дюкана, появившегося в издании г-жи Ахматовой [11]. Но прошло несколько лет, и мы находим Тургенева в Париже другом реалистов, почитателем Флобера (который, заметим, был уже великим романистом с 1857 года), покровителем Золя, Нестором на их обедах и вечерах, человеком, который уже искренне ставил французскую беллетристику выше всей остальной заграничной литературы романа [12]. Он нашел даже время и охоту, несмотря на частые припадки подагры и любовь к досугу, перевести три повести Флобера [13]. Из молодых писателей-реалистов он чрезвычайно высоко ставил Мопассана: мне лично несколько раз говорил о нем, как говорят только о самых крупных талантах, называя некоторые его рассказы «шедеврами» [14]. Так оно и должно было случиться, и мы все, кому дороги успехи художественного творчества, не можем этому не радоваться. Париж и Франция взяли свое и вытравили осадок русско-немецких предубеждений, какие целых двадцать—тридцать лет жили в Тургеневе. Оставался только у него его правдивый, аналитический взгляд на разные отрицательные свойства французского характера: на сухость, чувственную испорченность, тщеславие, иногда жестокость, на весь склад буржуазного житья. Но такое правдивое отношение к Франции и французам имеют очень многие друзья этой нации, даже и не так долго жившие среди французов, как Тургенев.

III

Этот русский тонкий европеец, несмотря на то что у него было хорошее дворянское состояние, прожил свой век больше на биваках, во временных квартирах и таких же временных собственных домах, совершенно так, как Герцен. Тот умер в меблированных комнатах, на rue de

Rivoli, а в rue d'Amsterdam у него стоял собственный дом. И Тургенев умер в павильоне дачи «Les Frênes», который владелица объявила *своей* собственностью вплоть до последнего стула его спальни, а его назвала в своем встречном иске «жильцом», не имевшим будто бы никакой движимой собственности <??>[15]. Такое же сходство с Герценом по части собирания книг, составления библиотеки. Не знаю, есть ли в усадьбе Спасского-Лутовинова обширная библиотека, но в Баден-Бадене и в Париже я не помню у Тургенева книгохранилища, настолько крупного, чтобы оно занимало, например, целую залу или просторную комнату[16].

В обстановке Тургенева, даже в изящной баденской вилле, чувствовался холостяк. Кабинет был узкий, суховато отделанный; совсем не наполненный множеством вещей, которые накопляются в комнатах семейного и домовитого человека. Хозяин только известные часы сидел у себя, а настоящим-то образом жил рядом, у своих друзей. Парижскую обстановку Тургенева я описывал, и кто поинтересуется, заглянет в очерк «У романистов», напечатанный в «Слове». Относится он к лету 1878 года, когда мы съехались на Литературный конгресс. Размеры комнат, простота отделки показывали нетребовательность в человеке богатом, барски воспитанном и в то время уже болезненном. Кто бы другой согласился, страдая подагрой, каждый день подниматься в верхний этаж и слушать с утра, часов с десяти, рулады и сольфеджии учениц г-жи Виардо, доносившиеся в спальню и кабинет его звонко и раздирающе? Москвичи в таких случаях говорят: «Точно пролито». Не знаю, как было и работать в таких условиях. От одной искренне преданной покойному русской артистки я слышал рассказы насчет других сторон домашнего комфорта, прямо показывающие, что Тургенев был крайне невзыскателен.

Эта «холостая» простота не мешала ему держаться многих чисто европейских привычек в туалете, в еде, в разных деталях нероскошного комфорта. Тонко поесть он любил, и в Париже охотно ходил с знакомыми завтракать и обедать в рестораны, знал, какой ресторан чем славится. Все это без русских замашек угощенья, платил свою долю, по-товарищески, и вообще на такие вещи денег не любил бросать. Насмешка судьбы сделала его данником подагры, а вина он почти не пил. В русской еде выше всего ставил икру и всегда повторял, когда закусывал зернистой икрою, весело озираясь:

— Вот это — дело!

У себя дома Тургенев принимал всех (я говорю о писателях) в ровном настроении, с тем оттенком вежливости, который теперь иным не нравится, но сейчас же, при первом живом вопросе, делался очень сообщителен. Таких собеседников из русских людей его эпохи было всего-то два-три человека, и в том числе Герцен. Но Тургенев имел свою особенность: уменье изобразительно-художественной беседы без пылких тирад и проблесков чувства или негодования, но с редким обилием штрихов, слов, определений, жизненных итогов и взглядов на всевозможные стороны литературной и бытовой жизни, на людей, книги, картины, пьесы, русские и западные порядки. Но нужно скрывать и того, что он, при всем своем мягком нраве, доходившем до слабости, бывал иногда весьма ядовит в беседах, рассказах и письмах. Это свойство вошло и в его произведения, в романы и воспоминания. Овладевать общим разговором он мог так, что сейчас же начинался его монолог и мог длиться несколько часов сряду. Завтракать или обедать с ним вдвоем было истинным наслаждением: до такой степени щедро осыпал он вас всем, до чего вы только касались в ваших расспросах и замечаниях. Так содержательно, тонко, правдиво и колоритно рассказывать умел только он. Придирчивый человек заметил бы разве то, что в Тургеневе — собеседнике и рассказчике, как в артисте на сцене, всегда чувствовалась забота о форме...

Но все это исчезало в публичных сборищах, на больших обедах, как только нужно ему было подняться с места и связать несколько фраз. Никто не поверит, кто слыхал его в гостиных, до какой степени он терялся. Целую неделю сидел я рядом с ним за бюро конгресса литераторов. Чтобы сказать три-четыре слова, вроде: «Monsieur X a la parole sur la proposition de la section anglaise» *, — он нанизывал, путаясь, множество ненужных слов и вообще как председатель выказывал трогательную несостоятельность.

Всякий теперь знает, как иностранные писатели преклонялись перед ним. Держался он между ними величаво, но говорил всегда крайне мягко; а в речи своей на митинге в театре «Châtelet» даже уже слишком «прибеднивался» за нашу литературу перед Западом [17].

* Господин X имеет слово для предложения от английской делегации (*фр.*).

Та же неловкость, когда нужно было говорить в публике, овладевала им и в России, даже в тот приезд, когда нежданно для него самого полились на его серебристую голову приветствия и теплые речи профессоров, писателей, студентов, курсисток [18]. Светлее и радостнее этого времени в его писательской карьере не было. И внутреннюю свою радость Тургенев проявлял особенно мило, без рисовки, с тихим умилением, стыдливо и достойно.

Теперь уместно припомнить еще раз ход этих оваций. Зародились они в Москве в кружке молодых профессоров, к которому примкнуло несколько человек писателей и адвокатов. На интимном обеде профессора Ковалевского мы в первый раз приветствовали Тургенева. Заметка, появившаяся в «Русских ведомостях», о том, что на ближайшее заседание Общества любителей словесности ждут Тургенева, заинтересовала всю мыслящую московскую публику [19]. Когда Тургенев вошел, все встали, захлопали и закричали. Менее восторженный, но вроде этого, прием был ему оказан и в Петербурге в начале семидесятых годов, на литературном утре в Клубе художников [20]. Но в Физической аудитории Московского университета с хор обратилось к нему студенчество. Слушал он речь студента, смущенный и тронутый, с закрытыми глазами и опущенной вниз головой [21]. На обеде, данном потом в «Эрмитаже» по подписке, Тургенев сидел между Писемским и Островским. Его *европеизм* блистал между ними ярко, привлекательно и говорил, что одного таланта недостаточно, чтобы быть обаятельным носителем идей и стремлений своей эпохи и нации... К торжественности никакой такой обед не располагал его. Говорить он все-таки не мог, а читал; в антрактах же, между тостами, за закуской, за кофеем привлекал своей изящной простотой и уже совершенно русской ласковостью и товарищеским тоном веселого, минутами мужского разговора [22].

Считаю жеманством и лицемерием не сказать кстати и того, что Тургенев был весьма не прочь рассказать историю во вкусе Rabelais и делал это мастерски. В нем в таких случаях сидел настоящий барин XVIII века. Да и вообще идеализм его повестей, оттенок чувствительности и сладкой элегичности почти совсем не являлся в его беседах... Иностранец, не читавший его, никогда бы не подумал в иной веселый вечер или обед, что перед ним автор «Якова Пасынкова» или «Дворянского гнезда». Под этим отсутствием чувствительного тона таилось, быть может, из-

вестного рода стыдливость, даже немножко ложный стыд, очень знакомый нашим отцам. Стыдлив в обнаружении своих душевных волнений Тургенев был настолько, что раз, говоря со мною о работе с секретарем, о диктовке, заметил:

— Я и больной никогда не пробовал диктовать. Как же это?.. Иногда ведь взволнуешься, слезы навернутся... При постороннем совестно станет...

Такую же стыдливость и тонкую оценку красоты и грации выказывал Тургенев и к женщинам. Привязанность к одной особе взяла у него всю жизнь, но не делала его нечувствительным к тому, что немцы называют «das ewige Weibliche» *. Лучшего наперсника, советника, сочувственника и поощрителя женщин, их таланта и ума трудно было и придумать. Способен он был и стариком откликнуться на обаяние женского существа.

В Петербурге, в зиму оваций, я был в числе других гостей свидетелем шутливого разговора Тургенева с одной из своих поклонниц.

Он ходил по комнате, утомленный, без голоса, и вдруг говорит:

— Ах, если бы мне лет десять с костей, я бы в вас ужасно влюбился.

— А вы попробуйте т е п е р ь , — ответили е м у , — право, можно!..

Не только женщинам, но и мужчинам он всегда, здоровый, на досуге, занятый или в постеле, отвечал на каждое письмо, по-европейски, иногда кратко, иногда обстоятельно, но всегда отвечал. Это в русском человеке дворянского происхождения великая редкость. Потому-то его корреспонденция и будет так огромна. В ней окажется много писем без особенного интереса для его личности; эти тысячи ответов покажут, как человечно и благовоспитанно относился он ко всем, кто обращался к нему.

О двух наших последних встречах в Петербурге в 1880 году и в Париже в 1881 году (она была самой последней) я уже рассказывал. В том, что я набросал здесь, мне хотелось восстановить выдающиеся черты человека своей эпохи. Есть еще сторона для нас, писателей, высокого интереса — Тургенев как мастер-художник в своих беседах о работе, творчестве, приемах, направлениях вкуса. Об этом в другой раз.

---

* вечно женственное (*нем.*).

Е. Я. КОЛБАСИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

Расскажу одну из моих поездок в Лондон вместе с Тургеневым. Это было в пятьдесят восьмом или в пятьдесят девятом году. Я жил тогда в Латинском квартале, столь известном всей русской молодежи, прежней и нынешней. С Тургеневым я виделся по нескольку раз в неделю. В один день ко мне вошел Иван Сергеевич и, не снимая шляпы, озабоченно произнес: «Хотите, поедем завтра в Лондон?» Я стал отказываться, говоря, что в данную минуту могу располагать только тремястами франков (в те благодатные времена на наш бумажный рубль давали 4 франка и несколько сантимов). «Этого будет слишком достаточно, — сказал Тургенев, — собирайтесь без замедления и не пропускайте случая увидеть туманный Альбион».

На другой день мы выехали из Парижа по направлению к Булони, где пересели на английский пароход [1]. Всю дорогу Тургенев был, по обыкновению, любезен и весел, много рассказывал смешных анекдотов о себе и о других литераторах. Это было в июле месяце, и погода стояла светлая и жаркая, но, переезжая Ламанш, наш маленький пароход испытал такую громадную качку, что решительно всех укачало, кроме капитана и Тургенева, балансировавшего посреди палубы и закутанного в огромный черный плащ. Мы высадились в Дувре, и Тургенев, свежий и бодрый, посмеивался над моим изнеможением. Дорогой, из Дувра в Лондон, мы поменялись ролями; с каждой почти станцией Иван Сергеевич, сверх обыкновения, становился раздражительным и даже сердитым, несмотря на

весь комфорт английского вагона и фешенебельную публику. Я спросил его о причине такой перемены. «Меня раздражают эти фланелевые люди, — отвечал он. — Посмотрите, что за суконные лица, такие выполированные и холодные, как их резиновые калоши». Я смеялся, а он раздражался все более и более и, по своему обыкновению, представлял все (очевидно, желая запугать меня) в преувеличенном виде. В подобных разговорах мы доехали до Лондона, и, катясь в щегольском экипаже по улицам его, Тургенев полусерьезно, полушутя произнес: «Вы упрямый хохол, но не забывайте, что с тех пор, как мы ступили на английскую территорию, на вас и на меня смотрят здесь ни больше ни меньше, как на обезьян; так англичане думают обо всех иностранцах и только французов считают за полулюдей. Готовьтесь ко всевозможным превратностям и бедствиям, которые посыплются на наши несчастные головы». Мы подъехали к одному огромному дому, Тургенев проворно выскочил из экипажа, переговорил с блестящим швейцаром и воротился ко мне с пасмурным лицом. «Первая неудача! — воскликнул он. — Это еще цветочки, а ягодки впереди». Дело в том, что мы имели рекомендательное письмо от г-жи Виардо к одному английскому семейству, где мы могли с удобством остановиться, но оказалось, что хозяйка его куда-то уехала из Лондона. Мы отправились в «отель», мрачный и неоштукатуренный снаружи, как почти все лондонские дома, и залитый светом внутри. Нам отвели такую комфортабельную комнату, какой лучше нельзя было желать. Мне все нравилось, но Тургенев не унимался. «А это что?» — произнес он, указывая на книгу, лежавшую на мраморном ночном столике. Я взглянул, это была английская Библия. «А вот и другая на моем столике, — произнес он, — ведь я, быть может, магометанин и хочу читать Коран».

На другой день мы проснулись поздно и по великолепной лестнице спустились в обеденный зал. Я продолжал оставаться, к досаде Тургенева, в идиллическом настроении; все мне нравилось: и вкусный чай с разнообразными печениями, и тоненькие стальные рельсы, вделанные в полу, по которым ловко подкатил к нам стол с вставленным во всю ширину его колоссальным блюдом, где красовался чудовищных размеров ростбиф. Наши соседи, сидевшие за столом, ели молча и не проронили ни одного слова. «Какие свинтусы, — ворчал Тургенев, — запихаться с утра мясом, и с какой важностью, точно они

священнодействуют» [2]. После утреннего чая Тургенев отправился к Диккенсу, с которым он был в весьма близких отношениях [3], но часа через два вернулся с печальным видом. «Еще неудача, — произнес он, — Диккенса видеть-то я видел, но застал совсем расстроенного. Из слов его я заметил, что у него случилось семейное горе. Представьте себе, этот прекрасный человек был также и редкий супруг, а теперь разводится со своею женою! Не постигаю, что могло произойти у них после столь долгих и счастливых лет супружества, нам обоим так было жутко, что я поспешил скорее уйти от него». Тургенев был видимо расстроен от такой неожиданности с любимым человеком. Поэтому он целый день никого не посещал и показывал мне Лондон, который он знал как свои пять пальцев; между прочим показал мне улицу Голых. Это страшная улица, по которой возможно пройти только днем. Тут я в первый раз увидел ужасающий пролетариат Лондона. Выпускаю печальные подробности и скажу только, что когда Тургенев дал несколько монет одной почти нагой женщине, то она с безобразными кривляниями скатилась в подвальный кабак, а мужчина, такой же испитой и в таком же истерзанном виде, что-то громко крикнул и поднял на нас кулак. Тургенев поспешно потащил меня вперед и сказал: «Знаете ли, что он говорит: «Какой черт носит этих разжиревших джентльменов смотреть на голодных людей?» Вот вам просвещенные мореплаватели, среди роскошной столицы терпят такую улицу, прикрываясь будто бы гуманным и свободным принципом не вмешиваться в частную жизнь».

На следующий день Иван Сергеевич повез к Александру Ивановичу Герцену, к старому своему приятелю, с которым он был на «ты». Герцена я увидел в первый раз; он был в ту пору в цвете сил и здоровья, среднего роста, с красивой головой, с пышными волосами и бородой, с открытым белым лбом, во всю длину которого проходили две-три морщинки, и при этом ясные, быстрые глаза, маленькие белые руки и стремительные, но грациозные повороты всей его фигуры делали сразу на вас впечатление человека в высшей степени пылкого и жизненного. Спустя некоторое время из боковой двери вышел поэт Огарев. Герцен спешил нас познакомить, но я заметил, что мы с Николаем Платоновичем давно знакомы еще по Петербургу [4]. «Не правда ли, Огарев переменился? — весело воскликнул Герцен, обращаясь к нам, — теперь уж он,

батюшка, не пьет, кроме одной рюмочки, и оставил замашки бывшего барина-помещика, благо у вас теперь в Питере затевают освобождение крестьян. Отличное дело, давно пора!» Огарев представлял совершенный контраст Герцену; вялый, рыхлый и вечно задумчивый, он медленно произносил слово за словом, как бы думая о чем-то другом; впоследствии, на мои замечания по этому поводу, Тургенев сказал: «Такова сила большой любви, — она всегда ослепляет человека. Герцен ставит его выше всех, и даже недурную его поэму «Юмор» считает лучшим произведением русской поэзии» [5].

Беседа между старыми приятелями завязалась самая оживленная и интересная; говорили о многом, и, между прочим, когда Огарев сонно сказал, отчего петербургские газеты доходят до них так медленно и пишутся также пестрым языком, Герцен живо добавил: «Вот кому я отрубил бы пальцы — это петербургским фельетонистам! Эти молодцы просто коверкают русскую речь, без всякой надобности вставляют иноземные аляповатые слова: эмоция, пертрубация и т. и. По-моему, из русских писателей лучше всех язык у тебя, Тургенев, и у Лермонтова».

Иван Сергеевич сконфуженно опустил голову, хотя знал, что Герцен в глаза и за глаза режет правду-матку. «Вот видишь, Герцен, — сказал, уходя, Тургенев, — я каждый год приезжаю к тебе с визитом аккуратно». — «Спасибо тебе, Тургенев, но, по правде сказать, тебя надо ловить за хвост, вот и теперь ты уже берешься за шляпу». Действительно, Герцен был прав: в шестнадцатидневное пребывание наше в Лондоне Иван Сергеевич забегал к Герцену на часок, на другой и то обыкновенно шутил с его красоткою пятнадцатилетнею дочерью Натальею.

С Тургеневым мы виделись только ночью в номере нашей гостиницы, но зато я имел возможность делать наблюдения над Герценом. Мне показалось, что у этого вечно веселого и остроумного человека где-то глубоко внутри лежит что-то тяжелое и трагическое и что он тщательно скрывает это даже от близких ему людей, заглушая свое горе бойкой и блестящей речью. Одно для меня было несомненно: это безотрадный скептицизм Александра Ивановича, давно изверившегося во все идеалы настоящего и будущего преуспеяния человечества, и при этом страстная, чисто стихийная любовь его к России. Мне кажется, что,

помимо личной симпатии, главною связью соприкосновения старых друзей была патриотическая любовь к родине.

В один день Тургенев вернулся, по обыкновению, поздно и, застав меня еще не спящего, с досадою сказал: «Я сейчас от Карлейля, известного вам историка: человек этот бесится от жира и высказывает столько нелепостей, что я охрип, опровергая его. Между прочим, этот писатель эксцентрический и в своих писаниях, и в личных суждениях, этот полубог нашего Василия Петровича Боткина [6] доказывал мне, что мы, русские, должны радоваться нашей отсталости и невежеству, потому будто бы, что у нас еще возможны и герои и гении, причем, конечно, бранил свою конституцию, и так как он противник освобождения негров, то также безучастно и презрительно относится к ожидаемому освобождению русских крестьян!» На эту тему И. С. говорил долго, потому что он всегда был неуклонным сторонником мирного прогресса и горячим поборником освобождения крестьян. «Кстати, расскажите мне, — заметил я ему, — какое у вас было столкновение с Теккереем по поводу Гоголя, о чем я слышал от Василия Петровича Боткина и Некрасова». — «Дело было так, — отвечал Тургенев, — милейший Диккенс неотступно приставал ко мне, чтобы я участвовал на обеде, который давали в честь лорда Пальмерстона [7], так как он сам, Диккенс, будет в нем участвовать; в назначенное время я отправился туда и увидел, что на всех кувертах лежат записочки с именами, где кому сидеть, мое место оказалось довольно почетное, не очень далеко от виновника торжества, я полюбопытствовал узнать, кто мои соседи, оказалось, что по одну сторону Теккерей, а по другую — один неважный журналист [8], которого я встречал раз-другой у Диккенса. «Значит, Диккенс не придет», — подумал я. И действительно, скоро вручена была мне записочка от него, в которой тот извинялся, что по случаю неожиданной болезни он не может присутствовать на обеде. Обед этот прошел, как все официальные обеды, скучно и монотонно; Пальмерстон произнес длиннейшую речь весьма дюжинного сорта, так как он не принадлежит к числу замечательных ораторов. После обеда Теккерей начал расспрашивать меня о русской литературе, сомневаясь даже в ее существовании. Зная резкий и грубоватый характер английского романиста, я отделывался от него шутками, но он напирал все сильнее, говоря, что он со-

мневается в том, чтобы его, Теккерея, романы были известны русской публике и что он в первый раз слышит о том, что он после появления в английской печати тот час переводится на русский язык [9]. «Сколько же подписчиков имеют ваши журналы?» — допытывался Теккерей. Услыхав, что от 7 до 10 тысяч, он бесцеремонно расхохотался, сказав, что литература ценится по рублю и что подобная литература есть одно самообольщение, да еще при цензуре; следовательно, и замечательных писателей там не может быть; меня это задело за живое, и я отвечал ему тоже неделикатно, что у нас есть романист-сатирик, который, при всем моем высоком уважении к таланту его, Теккерея, стоит выше его во всех отношениях. Теккерей взбеленился и запальчиво спросил, как имя его, я назвал Гоголя, доказывая ему, что это великий юморист в романах, повестях и комедиях: хорош гениальный писатель, о существовании которого Европа не знает, и читают только 10 тысяч! Вот вам и моя размолвка с Теккереем, из которой вы видите явное пренебрежение англичан к нам, русским».

За два дня до нашего отъезда Тургенев предложил мне пойти вместе с ним в театр. Мы опоздали, поэтому возле нас не было публики. Протянув руку через маленькое проволочное окошечко, Иван Сергеевич получил два билета и, сосчитав сдачу, сказал мне, что кассир обсчитал себя. И вот рука снова протянулась в окошечко, и начались переговоры по этому поводу, в эту самую минуту к кассе подошел господин в богатом бархатном плаще, в цилиндре, такого громадного роста, что даже Тургенев был на полголовы ниже его. Подождав несколько секунд, этот господин без всякой церемонии схватил согнувшегося у окошечка Тургенева и оттолкнул его, протягивая свою руку в окошечко. Надо было видеть, что произошло с нашим Тургеневым: он выпрямился и, не говоря ни слова, со всего размаха ударил кулаком в грудь джентльмена в бархатном плаще так сильно, что тот отшатнулся назад. Я думал, что произойдет ужасная сцена, но, к удивлению моему, громадный джентльмен осклабил свои белые зубы и молча глядел на Тургенева, который, укоряя его в невежестве, торопливо достал из кармана свою карточку со своим адресом и сунул ему в руку, после чего мы удалились смотреть сценическое представление. «Завтра явится к вам секундант от этого господина», — сказал я Тургеневу, когда мы возвращались домой. «Не бойтесь, не явит-

ся, англичанину пока не дашь в зубы, до тех пор он не уважает вас. Вот этот джентльмен, по всему видно, из самого высшего круга, поверьте, уважает теперь меня за то, что я ему дал сдачи».

На третий день мы выезжали из Лондона, но Тургеневу, кроткому, ровному и в высшей степени гуманному, суждено было раздражаться и бушевать в этом Лондоне. Садясь в экипаж, Иван Сергеевич обстоятельно рассказал извозчику, куда нас везти, но через несколько минут заметил мне, что извозчик везет нас не прямой дорогой и что мы можем опоздать к поезду, поэтому он остановил извозчика и сказал, какой именно дорогой он должен везти, указывая ему на часы. Иван Сергеевич успокоился и продолжал со мною какой-то разговор, но спустя некоторое время увидел, что угрюмый возница везет нас по прежнему направлению. Иван Сергеевич снова приподнялся со своего места и начал снова показывать дорогу извозчику, но тот, не обращая внимания, продолжал ехать по-своему и, обернувшись головою к нам в экипаж, сердито что-то проворчал. «Знаете ли, что он говорит? — отнесся Тургенев ко мне, — он сказал, молчите, черти, я такой же джентльмен, как и вы», — после чего Иван Сергеевич остановил извозчика, быстро выскочил из экипажа, подбежал к козлам и стащил возницу на мостовую. Я тоже выскочил из экипажа и начал уговаривать его успокоиться, но Тургенев так энергично напал на возницу, что последний послушно вскочил на свои козлы и только спустя некоторое время бросил визитную карточку Тургенева на мостовую. Он ехал уже по той дороге, которую указывал ему Тургенев, повелительно кричавший время от времени: *направо! налево!* «Зачем вы ему дали свою карточку?» — спросил я Тургенева. «Ведь он говорит, что он джентльмен, следовательно, он может вызвать меня на дуэль или привлечь к суду». Мы приехали вовремя на вокзал, и я с любопытством посмотрел на извозчика: он был по-прежнему угрюм, но очень любезно принял деньги и даже вежливо приподнял свою лакированную шляпу. «Поверьте, — заметил раздраженно Тургенев мне, не одобрявшему этой уличной сцены, — он никогда не коснулся бы даже полей своей шляпы, если б я не поступил с ним по-джентльменски».

При этом считаю своею нравственной обязанностью сказать, что Иван Сергеевич во Франции, в Германии и в России, где я с ним живал, отличался замечательной

вежливостью со всеми, особенно с простолюдинами, и даже своей прислуге никогда не говорил *подай,* а обыкновенно употреблял выражение: *позволь* мне стакан воды и пр.

Пересев с железной дороги на пароход и переехав через Ламанш, Тургенев стал прежним Тургеневым, веселым и беззаботным.

В связи с предыдущим следует рассказать еще два эпизода. Почти через двадцать три года Тургенев вспомнил о нашем пребывании в Лондоне, когда я в восьмидесятом году писал ему из Гейдельберга в Париж, спрашивая, между прочим, каким образом произошло избрание его в члены Оксфордского университета [10]. На это он шутливо мне отвечал: «Помните, каким я был забиякой во время наших странствований по Лондону; я был почти в таком же скверном настроении и в Оксфорде. Когда на плечи мои набросили, по заведенному старинному обычаю, красный плащ и на голову надели невероятную шляпу в виде дурацкого колпака, то я даже внутренне озлился, полагая, что во время речи моей, которую я должен буду произнести по обычаю перед публикой, я буду всенепременно ошикан. Надо вам знать, что торжество подобных избраний есть не более как шабаш студенческой молодежи. Студенты могут кричать, свистать, мяукать и т. и. Но, к изумлению моему, произнесенная мною речь принята была хорошо, и мне показалось, что ей аплодировали гораздо более, чем речам двух кандидатов, представленных тоже на избрание в почетные члены университета. Одним словом, комедия кончилась благополучно».

Другой раз, в семьдесят третьем году, я совершенно неожиданно встретился с Тургеневым в Карлсбаде. Он был на всемирной выставке в Вене [11], где упал и повредил себе ногу, довольно долго лечился и приехал пить карлсбадские воды. Здесь мы виделись ежедневно в маленькой русской компании, в числе которой находился известный ветеран — артист О. А. Петров. Один раз Иван Сергеевич сказал мне, что его осаждает какой-то неизвестный англичанин, добиваясь с ним делового rendez-vous. «Христос с ним, с этим англосаксом, я ухожу от него, как от холеры». Я стал убеждать Тургенева не избегать его, и он на это согласился с условием, чтобы я в назначенный час пришел в квартиру Ивана Сергеевича и вытащил его скорее на свежий воздух для гулянья в окрестностях. Я нарочно пришел раньше назначенного времени и, усев-

шись в уголке, перелистывал какую-то книгу. Скоро кто-то постучался в дверь, и в комнату вошел коренастый джентльмен, с красным бритым лицом и щегольски одетый; он заговорил на ломаном французском языке, и оказалось, что это был американец из Филадельфии. Иван Сергеевич отвечал ему по-английски, отчего последний пришел в восторг, говоря, что дело их пойдет на лад. Джентльмен, как мне подробно объяснил потом Тургенев, делал ему предложение отправиться с ним в Америку, где наш романист должен был читать публично свои произведения. На замечания Ивана Сергеевича, что его произведения будут не интересны американской публике, он горячо возразил, что, во-первых, имя Тургенева известно в Америке; во-вторых, он не ожидал, что Тургенев говорит по-английски, в-третьих, «Отцы и дети» получили огромную популярность в Америке, потому что Базаров родственный тип американцам и что лет через десять в Америке будет город под именем Базаров, так как уже заложено его основание. Теперь, убеждал он Тургенева, существует один только намек на этот город, но уже разбиты колышки, очерчены площади, места для лавок и рынков, как это у нас делается всегда в незаселенных местах. И даю вам честное слово, что лет через десять — пятнадцать возникнет цветущий город Базаров. В заключение джентльмен преподнес самую главную приманку своего предприятия, а именно: они соберут по главнейшим городам Америки до ста тысяч долларов, из них восемьдесят получит романист, а двадцать он за свою инициативу. К удивлению джентльмена, Тургенев отказался наотрез, и последний приставал к нему упорно, навязчиво, сильно жестикулируя руками, доказывая, что Диккенс подобным путем положил основание своему состоянию. Он терзал Ивана Сергеевича более часа, пока я не взялся за шляпу и Тургенев откланялся с ним.

Когда мы вышли на свежий воздух и я узнал все подробности разговора, то нарочно сказал ему, отчего бы и не поехать ему, благо он не боится морской качки и получит огромный куш денег. «И как вы это говорите серьезно. Это ваше мнение? — воскликнул Тургенев, — неужели вы не видите, что это шарлатан, эксплуататор, который меня будет показывать на американских базарах, как ученую блоху, и в конце концов обдерет как липку. Диккенс — другое дело, он закален с детства, притом англичанин-практик, и я вам скажу даже больше, когда в

одном из американских городов Диккенс читал свой «Пиквикский клуб», то публика пришла в такой восторг и так оживилась его юмором, что начала кричать: *«Ботс, Ботс* (тогдашний литературный псевдоним Диккенса), протанцуйте нам что-нибудь», и Чарльз Диккенс, снявши элегантный фрак, стал выплясывать перед развеселившейся публикой, которая забросала его золотом и цветами [12]. Нет, слуга покорный, — с живостью заключил Тургенев, — я смирный российский дворянин, и не стану танцевать трепака даже за обладание двумя полушариями нашей планеты. Ведь этот эксплуататор-американец все налгал: сообщение о фантастическом городе Базарове чистейшая сказка; обратите притом на то внимание, что он готов был, чтобы я читал перед американской публикой по-русски!!»

Н. В. ЩЕРБАНЬ

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ (1861—1875)

Тургенев квартировал напротив Тюильрийского сада, rue Rivoli, 210, в четвертом этаже. Поднявшись по лестнице, не успел я взяться за звонок, как дверь распахнулась и на пороге показалась, в сопровождении пожилой дамы, молодая девушка в изящном темном выходном костюме, с веселыми глазками, некрасивым, но симпатичным личиком и такими типичными чертами, что я невольно заговорил *по-русски.*

— Можно видеть Ивана Сергеевича? Я желал бы...

— Oui, papa est à la maison, — по-французски перебила девушка, — mais je ne parle pas russe: on a eu beau me l'apprendre, je ne fais que baragouiner. Que voulez-vous! une tête de bois! — прибавила она с милой, как бы извиняющейся улыбкой, и быстро продолжала: — Allez tout droit, il est dans son cabinet de travail, la porte au fond; on n'a pas besoin de vous annoncer; frappez, et voilà tout. Bonjour. Nous, nous allons chez madame Viardot, à une matinée musicale. Bonjour. On vous verra encore, n'est-ce pas? *

Девушка протянула руку и, будто спохватившись, прибавила:

* Да, папа дома; но я не говорю по-русски: сколько ни учили, я только коверкаю слова. Что поделаешь! такая уж деревянная голова! Идите прямо, он у себя в кабинете: последняя дверь. Докладывать не нужно, просто постучите. До свидания, мы идем к госпоже Виардо на музыкальное утро. До свидания, мы ведь еще увидимся? (*фр.*)

— Ah, oui! Ecoutez, je vous prie: si vous causez Russie, papa ne vous lâchera jamais, et madame Viardot nous attend *tous* à deux heures. Rappelez-le lui, chassez vous-même papa de sa chambre, autrement il sera en retard, comme toujours *.

Я обещал приветливой щебетунье не задерживать. Тут раздались грузные шаги; на голоса показался Тургенев, — совершенно такой, как на фотографии Диздери того же 1861 года, с выражением лица еще более приятным и добрым. Я раскрыл рот, чтобы изложить причину появления незнакомого посетителя, но Иван Сергеевич не дал вымолвить ни слова.

— Дочь действительно ждут у Виардо, — заговорил он сам. — Я дома. Милости просим.

И, кивнув дамам, за руку повел меня к себе коротким темным коридорчиком. Кабинет его оказался маленькой, скромно убранной комнаткой об одном окне справа, с маленьким диванчиком налево, маленькой библиотечкой в глубине, маленьким письменным столом у окна, другим круглым у диванчика, — и посреди всей этой миниатюрности особенно рельефно выделялась массивная фигура хозяина. Отрекомендовавшись, я невольно повел глазами кругом и остановил их на знаменитом писателе...

— Что вы смотрите? — усмехаясь, спросил Тургенев.

— Смотрю: такой крупный романист — в такой простенькой каморке, — чистосердечно вырвалось у меня, — тем чистосердечнее, что в голове мелькнули иные местные эффектные кабинеты иных местных тогдашних «звезд»: роскошные, чуть не монументальные, где за громадным палисандровым бюро с инкрустациями торжественно восседает поставщик трескучих романов-фельетонов...

— Крупный романист! — весело повторил Иван Сергеевич, сажая меня и усаживаясь сам на диванчик. — Что-то еще после нашей смерти скажут! Вот рост у меня действительно крупный, неуклюжий и несносный! Вы не можете представить, какая возня с ним в вагоне! Ног девать некуда, и злишься, глядя на соседа, который свернулся клубочком в своем углу: он спит, злодей, от места до места; а ты торчи колодой. Или гуляешь с приятелем: ты шаг — ему нужно отмерять три; ты идешь — он ска-

* Ах да! пожалуйста: разговорившись о России, папа вас не выпустит, а госпожа Виардо *всех* нас ждет к двум часам. Напомните ему об атом и сами вытащите его из кабинета, иначе он, по обыкновению, опоздает (*фр.*).

чет. Хорош выходит «обмен мыслей»... Да, завидую маленькому росту, — прибавил Тургенев и улыбнулся.

Нельзя было и слушателю не улыбнуться этой тираде, произнесенной с шутливой искренностью и оживлением. Так и завязался разговор, без натянутости, столь обычной при всякой первой встрече, тем более при первом посещении «знаменитости». Разговор завязался преимущественно о России и лишь мимоходом коснулся цели моего визита: чтоб изложить ее, пришлось вставить в непринужденную беседу как бы вводное предложение; и когда я передал Ивану Сергеевичу соображения относительно Ф. Морнана, он вполне их одобрил, упомянув вскользь, что видел в Морнане хорошего человека, но не вглядывался в него как в публициста [1]. Затем опять обратился к рассказам и расспросам о России, в которой «не был уже девять месяцев» и куда собирался вскоре ехать.

— Девять месяцев! — шутливо заметил я, — знаменательная цифра! Вы были в России девять месяцев тому назад, значит, возвращаетесь теперь с плодом тогдашних наблюдений?

— Это еще секрет, — отвечал Иван Сергеевич, — впрочем, он все равно скоро вам откроется. Так, если вы... Но об этом после.

Впоследствии оказалось, что он намекал на «Отцов и детей», которые были тогда уже готовы. Я весь обратился было в слух, но Тургенев не проронил более ни слова, переведя речь на известия о крестьянском деле, на последние слухи о времени обнародования манифеста, об его приблизительном содержании и других подробностях ожидаемого завершения тогдашних законодательных работ. И опасения дочери оправдались: часы на камине давно пробили два, а Иван Сергеевич, несмотря на мои напоминания, все рассказывал или расспрашивал, так что пришлось буквально исполнить обещание: объявить дочерний приказ о насильственном извлечении хозяина из дому. «Да я все равно опоздал, — отговорился Тургенев, — к тому же — ничего нет особенного. Дочь воспитывалась у m-me Виардо, теперь ходит к ней каждый день после завтрака, продолжает уроки музыки; зайдет еще кто-нибудь — и каждый день у них *музыкальное утро*. Лучше вот что: морозит и ясно (было это в январе), пройдемся по Тюильрийскому саду, если не боитесь гнаться за мною вприпрыжку», — добавил он.

И опять засмеялся...

Это первое свидание так врезалось в память, что и теперь, более двадцати девяти лет спустя, я слышу каждое произнесенное тогда слово; слышу легкое пришепетывание Ивана Сергеевича, так оригинально-мило оттенявшее его говор; вижу его высокую, плотную, мощную фигуру со светлыми, юношескими глазами, но с сединой в бороде и густых, отброшенных назад, кудрях; вижу его улыбку, домашний костюм, серый пиджак, фуляр на шее, теплые башмаки. А последующие в продолжение нескольких лет довольно частые встречи как-то сливаются, перепутываясь своими деталями...

Пока Тургенев ходил переодеваться, я рассматривал поближе обстановку кабинета. Возвратившись через несколько минут, он застал меня перед двумя небольшими картинами, висевшими на стене. На одной — коровы, другая — зимний пейзаж.

— Ну что, как вы находите? — спросил он, становясь рядом.

Я замялся.

— Трудно сказать так сразу, Иван Сергеевич...

— Да вы не отвиливайте, а отвечайте напрямки: как вы находите?

— Коровы недурны; пейзаж — серенький, — признался я откровенно в своем мнении.

— Недурны! серенький! — с комическим негодованием передразнил Иван Сергеевич. — Серенький, потому что зимний... Ну, батюшка, знаток же вы! Это — Поль Поттер, а это — Миерис. И мне стоят они каждая около трех тысяч франков.

Не смею решать, подлинные ли то были Миерис и Поль Поттер, но они едва ли производили впечатление, соответствующее таким громким именам и таким, по-тогдашнему значительным, деньгам, как, впрочем, некоторые и другие из полотен, постепенно купленных впоследствии Тургеневым не столько по собственному влечению, сколько по рекомендации «опытных художественных критиков», ослушиваться которых он стеснялся. Я повторил, что особенно ими не восхищаюсь и не узнал бы великих мастеров, если б они не были названы.

— Вижу, что в эксперты вы не годитесь, — добродушно заключил Тургенев. — Пойдемте, я — шагать, вы — скакать.

В самом деле, сколько Иван Сергеевич ни умерял гигантский размах своих богатырских ног, следовать за ним

приходилось чуть не бегом. Он начнет фразу над ухом и кончит ее за несколько аршин впереди; остановится, подождет и опять исчезнет в пространстве. Чем живее лилась его речь, тем труднее становилось ее слышать (известно, что в разговоре на ходу — ноги торопятся вместе с языком). Рассказывал он, между прочим, как — чуть ли не в самый день государственного переворота 1851 года [2], — фланируя по Итальянскому бульвару, подвернулся с сопровождавшим его приятелем под натиск разгонявшей толпу полиции, как они «улепетывали», — и выходило, будто он подражает теперь тогдашнему своему бегству, изображает его в лицах: так что, промчавшись через Тюильрийский сад и площадь Согласия, он сам утомился и предложил отдохнуть на одном из расставленных вдоль Елисейских полей плетеных кресел. Морозец вскоре слегка ознобил нас и прогнал. При расставанье Тургенев «раз навсегда» пригласил бывать у него «без церемонии и почаще», пояснив, что дома он утром — до двух часов, вечером, если сам не отозван, «не считает завернувшего к обеду гостя татарином». На другой же день он аккуратно отдал визит и повторил приглашение.

Он был весьма приветлив ко всем русским, с оттенком особого внимания, даже расположения к знакомым с авторскими наклонностями или хотя со склонностью к литературе.

Вслед затем, кажется в феврале, Иван Сергеевич уехал в Россию, показался оттуда на короткое время и опять скрылся. По возвращении его, помнится, в сентябре, мы часто виделись. Наиболее близким в Париже человеком к Тургеневу, неразлучным его спутником, товарищем и советником был тогда друг его смолоду Василий Петрович Боткин, которого Иван Сергеевич величал «дедом» и «ментором» и на которого, заартачившись, негодовал, «что ты мне за дядька дался», — однако не выходя из повиновения [3]. По-видимому, крепкая привязанность соединяла эти две противоположные натуры, особенно привязанность к Тургеневу — Боткина, который «смотрел» за своим Телемаком и старался «оберегать» его. Затем в коротких отношениях с Иваном Сергеевичем находились постоянные парижские обыватели: Н. В. Ханыков, князь Н. И. Трубецкой (тесть покойного князя Н. А. Орлова), Николай Иванович Тургенев (некогда близкий к декабристам), граф де Сиркур (женатый на русской). Из «проезжих» соотечественников чаще

всего встречались у него К. К. Случевский, которого Тургенев ценил и как человека, и как поэта; В. Д. Скарятин (журналист), брат его Н. Д. Скарятин (моряк-севастополец), адмирал Бутаков, генерал Краснокутский (тогда командир лейб-гвардии Гродненского гусарского полка). С французами, кроме семьи Виардо, Иван Сергеевич тогда еще не очень ладил, даже с литераторами: он не совсем еще сошел тогда с того «штандпункта», который выражен в письме 10 июня 1859 года П. В. Анненкову * словами: «все французское для меня воняет» и «лучше возиться с французским épicier **, чем с французскими beaux-esprits» ***. Постоянно бывал у него один только Делаво, переводивший тогда его повести, — переводивший в высшей степени добросовестно, чуть не «надоедая» своею кропотливостью. Тургенев был, разумеется, доволен, что произведения его попали в руки человека, который не примет (как перед тем Шарьер) «арапник» за «арапа»; * но слегка тяготился просмотром его рукописей и сличение их с оригиналом подчас доверял Боткину или мне, — быть может, не столько «из лени», сколько из опасения слишком усердным личным участием в переводе как бы изменить чете Виардо. Оттого Ивана Сергеевича вообще стесняло, когда за дело брался кто-либо другой, а не Виардо, — для которых, сказать мимоходом, оно было и легче, чем для кого бы то ни было. Тургенев сам набрасывал начерно или диктовал по-французски свои «вещи»: Виардо лишь выправляли их по правилам стилистической тонкости и идиоматизмов... [5]

Оригинальные *переводчика,* — нужно, однако, прибавить, что они оказывали Тургеневу значительную услугу. Без обширных книгопродавческих и газетных связей, которые Виардо пускали в ход, озабочиваясь сбытом *своего* уже товара; без литературных знакомств, которые преимущественно они доставляли Ивану Сергеевичу, — переводы его повестей покупались бы издателями менее охотно, шли бы туго, и «реномэ» Тургенева во Франции медленнее достигло бы приобретенных им размеров. Французская публика *вообще* уклоняется от чтения иностранных писателей, *тогда* уклонялась *и* от русских, не усыновленных еще модою. Чтобы приманить ее, позна-

* «Вестник Европы», март 1885 г. (*Примеч. Н. В. Щербаня.*)
** лавочником (*фр.*).
*** умниками (*фр.*).

комить, приучить и *приручить,* чтобы сделать для нее привлекательным чужое литературное имя хотя бы первоклассного автора, нужно было дружное содействие издателей и критиков, недостижимое без такого практика, как г. Виардо, посвященного во все приемы, во все «ficelles» * парижской «vogue» ** еще со времени своего управления труппою певцов Итальянской оперы (1837—1840 гг.).

<...> До двух часов пополудни Иван Сергеевич отдавал себя в распоряжение посетителей, преимущественно русских, кто-нибудь из которых всегда находился у него в эту пору, некоторые— В. П. Боткин, Н. В. Ханыков, К. К. Случевский, В. Д. Скарятин и автор этих строк, — кроме того, частенько и обедывали с ним у Вефура <...> Обеды повторялись регулярно, почти каждую неделю, разве мешала им болезнь Ивана Сергеевича, который и тогда прихварывал. Над ним подшучивали, обзывая его недуги капризом или кокетничаньем (ибо весть о «нездоровье Тургенева» вызывала тревожное ухаживание за ним поклонников и друзей, очевидно, ему приятное).

Но болел он действительно: во-первых — замечательною мнительностью, доходившею до того, что одно время, в 1862 году, он воображал себя пораженным аневризмом и все нянчился с немецкою машинкою, не помню, Фридрейха или Гейлигенталя, рисующею на бумаге прыжки сердцебиений, во-вторых — припадками не только своей «официальной спутницы» — как он шутил — подагры, но еще и невралгией пузыря, которая, жаловался он, внедрилась в него с 1849 года, которой он боялся больше подагры и которая мучила его нестерпимо. Раз, когда его «схватило» и он беспомощно лежал в своей спаленке близ кабинета (тоже куда не роскошной!), он вдруг приподнялся на постели и с таким страдальческим выражением, что за него стало больно, проговорил:

— Давно уже, на улице, на моих глазах, вытащили из-под омнибуса человека. Он тут же и скончался, но успел сказать, что сам бросился под колеса от невралгических мук. Он ведь был раздавлен, но повторял: «Ах, какое облегченье!» *Я понимаю этого человека...*

Принимая у себя, председательствуя на еженедельных обедах, Иван Сергеевич был всегда говорлив, ожив-

---

* тонкости (*фр.*).
** моды (*фр.*).

лен, весел. И внезапно его передергивало... По лицу облачком пробегала какая-то тень. Тучка эта и в том году и после навертывалась неожиданно, безо всякого видимого повода, при полном телесном здоровье данной минуты, посреди самого блестящего, иногда юмористического рассказа. Тургенев на мгновенье омрачался, потом, как бы отмахнув что-то от себя или что-то пересилив, становился прежним увлекательным собеседником <...>

В кабинете Тургенева, за обедом с ним, многое было говорено и высказано, преимущественно им самим, охочим и неистощимым рассказчиком, — о литературе и искусстве, о тогдашних литературных деятелях (текущей политики тогда он касался изредка и без особенного жара, отшучиваясь от политической злобы дня французскою поговоркою: «J'ai d'autres chiens à fouetter», которую переводил словами: «Довольно каждому возни и со своими собственными собаками»). Не приходило в голову тогда же записать *все* разговоры, толки, споры, суждения, но многое сохранилось в бумагах. Привожу, дословно, несколько отзывов.

Говорили о России, об ее положении в Европе, об ее будущности, о тех, кто скептически относился к ее судьбам.

— И я бы, может быть, сомневался в них, — заметил Тургенев, — но язык? Куда денут скептики наш гибкий, чарующий, *волшебный* язык? Поверьте, господа, народ, у которого такой язык, — народ великий!

В другой раз речь зашла о возникавших в России революционных затеях. Всякий выражал свое мнение; Иван Сергеевич молчал, пока к нему не обратились с прямым вопросом. Тогда он встал, выпрямился во весь рост и произнес с особенным ударением:

— Сказано, и останется верным: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

— Кем сказано? — осведомился один из присутствующих (аз грешный).

— Пушкиным! в «Капитанской дочке»! — негодующим тоном вмешался Боткин и прочел злополучному вопросителю небольшой трактат о том, как позорно его невежество. «Не помнить Пушкина! не узнать цитаты из Пушкина?» — долго ворчал Василий Петрович...*

* Цитата Тургенева находится на стр. 544 т. IV *Сочинений Пушкина* в издании Исакова 1859 г. (*Примеч. Н. В. Щербаня.*)

Около того же времени случалось толковать о тогдашних корифеях петербургской передовой печати. Тургенев не признавал за их писаниями никакой обаятельности, никакой деловитости содержания и даже никакой даровитости изложения. О статьях Добролюбова, например, он говорил, что это «желчная размазня, которая может приходиться по вкусу лишь тому, у кого нет ни вкуса, ни толку, или вкус испорчен, как у малокровной девицы, пожирающей мел и штукатурку, а толк выворочен наизнанку». Доводилось упоминать и об охлаждении его к «Современнику» [6].

— Убежал, Иван Сергеевич! убежал! — всякий раз, что возникала о том речь, одобрительно твердил Боткин.

— И прах со своих ног отряхаю! — горячо отзывался Тургенев, прибавляя, что он не мог далее выдерживать «публицистики» «Современника», что она его «коробила» <...> — Оставаться на одном поле с их «публицистикой»? Пусть обходятся своим собственным ядом.

И на вопрос одного из собеседников того дня, будто они уж так ядовиты? — Тургенев отвечал, смеясь:

— Чернышевский — настоящий змий, но это еще простая змея: есть у них Добролюбов — тот будет очковая.

— Для полноты коллекции Петербургу не достает лишь гремучей, — заметил тот же собеседник.

— Имеется и гремучая: Писарев. Тоже ядовит, но возвещает о своем приближении.

Несколько позже один из случайных посетителей рабочего кабинета Ивана Сергеевича, принадлежащий к тогдашнему молодому поколению, упрекнул Тургенева «отсутствием направления» в его повестях; тем, что он «не проводит точно и строго определенных идей», подразумевая, разумеется, идеи, излюбленные шестидесятыми годами. Иван Сергеевич, дававший полную свободу высказываться «своим знакомым незнакомцам», как называл он невесть откуда являвшихся иногда гостей, и обыкновенно выслушивавший их развязную болтовню с невозмутимым терпением, — на этот раз как будто даже рассердился.

— Художнику — проводить идеи? — твердо отвечал он, впервые употребляя слово «художник» (обыкновенно он говорил «литератор», «романист», «писатель», даже «беллетрист», хоть этот последний термин уж и выходил из оборота), да его дело — образы, образное понимание и передача существующего, а не теории о будущем, не

2*

проповедь, не пропаганда. Когда ваше будущее станет настоящим — если ему суждено *быть,* в чем позвольте усумниться, — появятся и более или менее даровитые люди, которые *тогда* станут воплощать его пером, кистью, мрамором, чем только вашей душеньке будет угодно, — если вам угодно будет допустить такое пошлое занятие. Пока — не взыщите! Вы — проповедник: ну и проповедуйте себе на здоровье! А мы будем — с вашего одобрения или без оного — изображать...

«Знакомый незнакомец» покинул Тургенева очень недовольный им, особенно исходом беседы. Этот посетитель, с обычною в передовиках той эпохи авторитетностью, пространно и докучливо излагал свой идеал будущего, порядком-таки диковатый. Утомленный потоком слов, Иван Сергеевич прервал наконец оратора:

— Все это очень хорошо. Но скажите: вот все бывшее на Руси быльем поросло; народились новые люди; у этих все-таки *людей* — будет сердце; у многих, вероятно, — ум; у некоторых, быть может, больший или меньший литературный талант *без* направления, который вы станете, конечно, искоренять; у всех вы разовьете, напротив, прогрессивные стремления и всех осчастливите одинаковым благополучием, но у всех ли вырастут хвосты, которые Фурье сулит усовершенствованному человечеству, или только у избранных?

Тургенев далеко не прочь был пошутить; коротких приятелей любил и подразнить, Боткина, например, за его гастрономические прихоти и гигиенические причуды. «А сам ты не привередничаешь у Вефура и не оберегаешь своего драгоценного здоровья, — отстреливался Василий Петрович, — летом кутается в шарф, господа! От подагры — обматывает горло!..»

На одном из еженедельных обедов Иван Сергеевич внезапно объявил, что он написал новую «большую» повесть («Вот вам и девять месяцев», — улыбаясь, кивнул он мне), которая будет помещена в «Русском вестнике» и уже вручена редакции.

— Не хотите ли послушать?

Слышать большую, *неизданную* повесть автора «Дворянского гнезда» в его собственном чтении!

Свидание было назначено на какой-то день, но не у Тургенева, а у Боткина, «чтобы никто не помешал» <...>

В назначенный день и час приглашенные, Н. В. Ханыков, К. К. Случевский, В. Д. Скарятин и я, явились

к Василию Петровичу, квартировавшему неподалеку от Тургенева, на той же улице de Rivoli, № 186 или 226. Иван Сергеевич не только не забыл рандеву, но ждал уже н а с , — как будто несколько смущенный.

— Боится, боится публики! вот посмотрим, посмотрим! Вот строгие ценители и судьи! — подсмеивался Боткин, пожимая нам руки и ободрительно лаская взором своего друга.

Уселись. Тотчас началось чтение.

— «Отцы и дети»! — провозгласил заглавие повести автор.

— Да, и *дети*! — с ударением повторил Василий Петрович, разумеется, уже знакомый с рукописью.

Тургенев читал мастерски, без декламаторских приемов, задушевно. Боткин, погрузившись в мягкое кресло, склонив голову на грудь, сложив руки, по временам кряхтел от удовольствия, или тихо смеялся, или умиленно поводил глазами, оттеняя взглядом то или другое место, выражение. Прочие сосредоточились, внимательно-неподвижные. Страница летела за страницей, и, переворачивая листы, Иван Сергеевич посматривал на слушателей, как бы ловя впечатление.

Вдруг он захлопнул тетрадь.

— Баста, на сегодня довольно... Ну, что? А там еще дуэль б у д е т , — шутливо прибавил он, очевидно, чтобы сказать что-нибудь и поскорее рассеять то особенное, несколько жуткое ощущение, которое испытывает самый заведомо любимый автор, когда *сам* знакомит со своим новым произведением.

Еще мгновение продолжалось молчание. Прервал его Н. В. Ханыков.

— Превосходно, да и достанется же вам, Иван Сергеевич!

— Пусть! пусть! — тотчас с ироническим смехом отозвался Боткин, как бы заранее торжествуя победу над хулителями.

Полились общие восклицания, приветствия, горячие поздравления с «меткою, смелою и сильною вещью». Тургенев был доволен и не скрывал своего удовольствия. Василий Петрович просто ликовал.

Для обоих восхищение слушателей имело значение, разумеется, не как мнение такого-то и такого-то, а как первая проба над публикой.

Чтение закончилось в следующий сеанс уж у самого

Ивана Сергеевича, которому как-то удалось остаться вечером дома и, с помощью дочери и ее «гувернантки, компаньонки и друга» мистрис Иннис, — обеспечить себя от вторжения посторонних. Понятно, что и тотчас после чтения, и при каждой встрече вслед затем о повести вообще и о Базарове в особенности говорено было не мало. Всякий комментировал тип, стараясь уяснить его себе, и объяснял другим, дополняя, развивая, похищая его у смерти и загадывая, к чему пришел бы Базаров, если бы не сразила его пиэмия. Тургенев не высказывался. Он внимал — не слушал, а именно *внимал,* — не возражая и не подтверждая.

«Отцы и дети» были тогда (октябрь или ноябрь 1861 г.) уже совершенно окончены и еще в августе сданы «Русскому вестнику», но Иван Сергеевич продолжал их отделку. М. Н. Катков сообщил ему несколько указаний, с которыми он согласился и сообразно которым изменил в рукописи то или другое [7]. Кроме того, он сам беспрестанно как бы придирался к себе: то одно слово поправит, то другое выбросит, то третье вставит; переделает выражение, строчку прибавит, три выкинет. Боткин, когда ему показывались поправки, большею частью одобрял, иногда покачивал головою.

— Залижешь, Иван Сергеевич, — говорил он, — залижешь!

— Нет, так лучше, — доказывал Тургенев, — ты пойми: Базаров в бреду. Не просто «собаки» могут ему мерещиться, а именно «красные», потому что мозг у него воспален приливом крови.

По мере того как варианты вносились в подлинную рукопись, Иван Сергеевич отмечал их и отдельно. Мало-помалу составилась целая тетрадка загадочного для непосвященных содержания: *Глава такая-то.* В строке такой-то выкинуть слово «....»; в такой-то прибавить слово «....»; в такой-то зачеркнуть слова «....» и вместо них поставить слово «... ...»; такую-то строку — вычеркнуть; вместо такой-то вписать то-то. И т. д. ...

Наконец, месяца в два, поправки исчерпались. Тогда Тургенев переписал тетрадку, сличая ее с подлинною рукописью, и еще кое-где поизменив; потом я перебелил его работу. Один экземпляр этой последней редакции «ne varietur» * был отдан мне, для личной передачи

---

* не подлежащей изменениям (*лат.*).

«Русскому вестнику» (я уезжал тогда в Москву) и для личного наблюдения за корректурой; другой — на случай дорожных с первым приключений — послан по почте в Петербург, П. В. Анненкову, ближайшему после Боткина другу Ивана Сергеевича.

<...> К его приезду в Россию «передовая» печать уж успела обрушиться на «Отцов и детей» и разбранила их, — не совсем удачно. К чему один придирался, то другой, напротив, одобрял. В «Современной летописи» я свел отзывы Антоновича и Писарева: вышло комичное сопоставление, отмена одного приговора — другим [8]. Тургенев был очень доволен этим «опровержением в лицах», но сам о нападках «Современника» и «Русского слова» не распространялся, как бы махнув на них рукою, и только раз мимоходом сказал:

— Наши любители свободы не допускают свободного отношения к сюжетам и типам. Объективность для них — тоже обида. Отнесись к их героям объективно — они тебя «и заругают».

Однако брань эта, очевидно, его огорчала. В Москве был тогда зверинец, в зверинце — слон, у слона — корнак, ходивший за ним с его детства и потом почему-то оставивший своего питомца. Как-то этот корнак зашел в зверинец во время представления. Увидев его, слон вознегодовал, вышиб перегородку в стойле, выскочил и бросился на своего бывшего пестуна вовсе не с дружескими намерениями, обратив в бегство публику и выломав одну стену в балагане. Насилу его укротили. Хозяин зверинца объяснил внезапную ярость смирного животного тем, что слоны обижаются, когда корнаки их покидают, и при случае мстят. Пассаж произошел за несколько дней до приезда Ивана Сергеевича. Когда ему рассказали «Событие», он провел забавную параллель между обидчивостью слонов и литературных цыплят, потом прибавил:

— Обидчивость в животном царстве — вот тема по плечу нашему брату: или и такой психологией раздразнишь «Современник»?

В августе (1862 г.) Тургенев был опять за границей, сперва, кажется, в Бадене, потом в Париже, где и я очутился еще в июле <...> Приблизительно к этому времени должно относиться следующее письмо Ивана Сергеевича, сохранившееся в моих бумагах в числе прочих его автографов. Убедившись, что он непреклонно, окончательно и бесповоротно отвернулся от «Современника»,

редакция этого журнала так поворотила дело, как будто не Тургенев бросил «Современник», а «Современник» выбросил за борт Тургенева. В одной газете (какой и когда именно — забыл <...>) какой-то поклонник «Современника», подписавшийся буквами А. Ю., тиснул, сообразно пущенной в оборот легенде, статейку, воспевшую направление «Современника», с декларацией, что заклание *им* на алтаре своих убеждений Тургенева, Гончарова, Писемского, Дружинина, Авдеева нисколько не повредит ему в глазах читателей, ценящих не названных авторов, а именно его, «Современника», идеи. Иван Сергеевич приготовил было реплику в форме письма к издателю той газеты, но, пока собирался отослать его по назначению, самое газету куда-то засунул и когда хватился ее, чтобы проставить в своей отповеди номер, на который отвечал, его налицо не оказалось [9]. Поискав его, поискав, между тем перекипятившись и остыв, «он махнул рукою», а подлинное свое письмо подарил мне, «на память о литературных нравах», отдавая его «как литературный документ» в мое распоряжение <...>

Вновь поселился Тургенев в своем парижском кабинете с конца октября 1862 <...> Обычные места встреч вскоре умножились домом Н. А. Милютина, находившегося с начала 1863 или конца 1862 в Париже [10] и гостиною В. П. Боткина, регулярно собиравшего приятелей то на чашку чая, то на музыкальные утра, где артистами консерватории исполнялись классические квартеты. В этом последнем случае у Василия Петровича предавались не разговорам, а благоговейному слушанию «дивных гармонических звуков» и молчаливому вкушению шоколада с бисквитами. За отступление от такой дисциплины милейший хозяин загрыз бы виновного до полусмерти и впредь не пустил бы в свое «пустынножительство», как он называл свою комфортабельную холостую квартиру. Вне этих фестивалей, везде, особенно у Н. А. Милютина, встречи обыкновенно сопровождались беседами — уж не о литературе преимущественно, а о применении крестьянского Положения, о польском «восстании» <...> [11]

За нечто похожее на легкий либеральный космополитизм доставалось от Н. А. Милютина и от Боткина Тургеневу. Не то чтоб Иван Сергеевич был полонофил: боже упаси! Но, либерал сороковых годов, выросший на «европеизме», охваченный тогдашнею парижскою ат-

мосферою соболезнований о Польше, шпигуемый в местных салонах дамскими — «ces pauvres Polonais» *, он мечтал о каком-то идиллическом усмирении мятежа миртовыми ветвями, увещаниями, уступками, причем независимость «конгрессувки» не слишком его пугала: смущало его лишь польское «от моря до моря»... Боткина выводили из себя его вариации на эту тему. «Я, я, я, — горячился он, пуча глаза и заикаясь от волнения, — я, по-твоему, скупец, Гарпагон — я все состояние отдал бы, чтоб самого вопроса не было; но раз он есть — уступочки? Европа? Много она понимает, твоя Европа! И не ее дело! Брысь!» <...>

Затем увиделись мы <...> когда Тургенев, уж отстроивший свой дом и окончательно прикрепившийся к Бадену, мельком посетил Париж в октябре или ноябре 1868 да в марте 1869 года <...> В первый из этих приездов Иван Сергеевич прочел свою «Несчастную»; о втором помню лишь, что он жаловался на свою все более и более белеющую седину. «Иней превращается в снег», — полушутил он, полугрустил и на замечание, что седина — еще не старость и что ему всего-то с небольшим пятьдесят, отвечал:

— Нет, утешитель! я *чувствую,* что начинаю стареть! Эх, молодость! как вспомнишь, что я, этот самый седой полустарик, в Берлине, штудируя философию, возился с котенком, навязывал ему бумажки на хвост, как гоголевский чиновник собачонке; и любовался его игрой, его прыжками; и хохотал, как... как жеребчик ржет...

Возникла война 1870 года. Перед тем между Виардо и местного баденскою публикою вышло какое-то недоразумение, доходившее, говорят, до «Katzenmusik» ** под окнами. Личная обида обострилась патриотическим негодованием, и Виардо удалились в Лондон [12], Тургенев последовал за ними. Когда, по заключении мира, они, продав свой баденский дом, переехали в Париж, Иван Сергеевич, продав и свой, переселился вместе с ними. С осени или зимы 1871 года он очутился в их небольшом отеле улицы Дуэ, где занимал две скромненькие комнатки с переднею, наверху, на антресолях ***. Теперь

---

* эти бедные поляки (*фр.*).

** кошачий концерт (*нем.*).

*** Отель этот не существует более. Его сломали, и где была келья Ивана Сергеевича, там возведен теперь громаднейший домина, со множеством лавок и квартир, — une maison de rapport (доходный дом — *фр.*). (*Примеч. Н. В. Щербаня.*)

он действительно и значительно постарел, как бы осунулся; и нравственно как будто изменился; восхищался уже не немцами, а французами; умилялся всяким эльзасцем, отказывающимся от германского подданства; устраивал лотереи и подписки в пользу выходцев из оторванных провинций; над французскими политиканами не изощрял свой юмор, как бывало, но уверовал в них, уверовал в государственную мудрость даже такого политического гения, как воплощенный Жозеф Прюдом и чуть ли не бывший водевилист Э. Араго, с которым серьезно толковал о материях важных; и текущей политики не избегал, как прежде, причем в разговорах был несколько раздражителен, в суждениях — довольно нетерпим, чего доселе не было и в помине; вместе с тем к литературе он стал как будто равнодушнее прежнего, зато с большим против прежнего увлечением отдался слушанью музыки и приобретению картин. С этого же времени Тургенев окончательно сблизился с парижскими литераторами и журналистами, и с той же поры у него начали чаще встречаться личности из категории прежних «знакомых незнакомцев», но уже без прежней заметной холодности к ним хозяина или и отповеди их тирадам. Иван Сергеевич уже не обдавал их душем здравого смысла или иронии, а беседовал с ними с какою-то ласковою податливостью, не уклоняясь и не возражая. Оттого ли, что тогда уже задумывалась или и обдумывалась «Новь» и автор изучал типы, какие подвертывались под руку? Или к наблюдению примешивались и другие соображения?

Апрель 1890

ВСТРЕЧА ТУРГЕНЕВА С ЛАССАЛЕМ

(По воспоминаниям М. П. С—вой)

I

Это происходило, если не ошибаюсь, в конце лета 1864 года. Мой брат, бывший в то время губернатором в одной из сибирских губерний, принужден был, вследствие болезни, взять продолжительный отпуск и уехать за границу для лечения. Я тоже уехала с братом, с одной стороны, в качестве хозяйки — в то время он был холост, а с другой — в качестве сестры милосердия, так как болезнь его была серьезна и он нуждался в заботах и попечениях близкого лица. Мы провели почти весь летний сезон в Карлсбаде, куда нас отправили московские врачи, но, когда брату стало лучше и он начал поправляться, карлсбадские знаменитости посоветовали ему ехать в Швейцарию подышать свежим воздухом на берегу Женевского озера <...>

Нам с братом особенно понравилось в Женеве. По приезде мы как-то сразу освоились с этим чудным городом, который на первых порах, вследствие своего разноплеменного народонаселения, показался нам каким-то миниатюрным Вавилоном, где были смешаны все «языки». Особенно много жило в городе немцев и русских. Между последними у нас оказалось обширное знакомство, и мы зажили самой приятной жизнью, принимая непосредственное участие в том беззаботном и веселом образе жизни, который вели в Женеве все приезжие богатые иностранцы <...>

Вскоре приехали к нам и наши младшие сестры, молоденькие девицы, едва выпущенные из Смольного института. Мы, конечно, были весьма рады их приезду, особенно брат. Но он еще более был обрадован, когда

узнал от них, что в одном поезде с ними приехал в Женеву и его бывший университетский товарищ, знаменитый и любимейший уже в то время наш писатель, Иван Сергеевич Тургенев. Иван Сергеевич приехал в Женеву по какому-то делу и должен был провести здесь несколько дней. Понятно, что брат, узнав о его приезде в Женеву, решился повидаться с ним. Разведав его адрес, он немедленно же сделал ему визит. Иван Сергеевич не замедлил отдать нам визит, и, таким образом, между нами и знаменитым писателем завязалось знакомство, которое потом не прерывалось до конца его жизни, хотя мы, разбросанные, по воле судьбы, в разных концах Европы, и редко между собою виделись в последние двадцать лет.

При первом же своем визите Иван Сергеевич произвел на меня, и особенно на моих младших сестер, самое отрадное впечатление. Я считаю гордостью сознаться, что и нами он остался доволен, вследствие чего он чуть не с первого же визита сделался у нас почти своим человеком. Благодаря тому обстоятельству, что брат с Тургеневым были хорошими товарищами еще в университете, отношения его к нам сразу утратили характер натянутости и церемонности. Если мне память не изменяет, мы на другой же день знакомства уговорили Ивана Сергеевича быть нашим кавалером в предполагавшейся в тот вечер прогулке на лодках по озеру. Он выразил свою готовность, и мы, я помню, катались тогда чуть не до утренней зари.

Первое наше катание по Женевскому озеру особенно запечатлелось у меня в памяти по следующему случаю, происшедшему, главным образом, вследствие любезности Ивана Сергеевича к моим молоденьким сестрам, но в то же время характеризующему как нельзя лучше силу и плодовитость творческой фантазии нашего великого писателя <...>

Сначала разговор наш касался чудес Швейцарии, но затем мы перешли к воспоминаниям о России, начали сравнивать природу и людей своего отечества с природой и людьми очаровавшей нас Швейцарии. Мы, конечно, были на стороне Швейцарии, восхваляли ее до небес и уверяли Ивана Сергеевича, что лучшей страны на земле не может быть, как Швейцария с ее чудными озерами, с ее гигантскими Альпами, с ее благословенной природой и климатом. Ивану Сергеевичу тоже очень нравилась Швейцария; великому писателю, великому поэтическому сердцу его не могли быть чужды картины

действительно прекрасного, но... но здесь я считаю долгом рассказать, как понимал в то время Тургенев «прекрасное» в природе, и рассказать так, как я слышала от самого писателя.

Хотя обстоятельство, о котором я рассказываю, происходило давно, очень давно, но мне кажется, что я вот только теперь слышу симпатичный голос Ивана Сергеевича, говорившего моим, восторгавшимся Швейцариею, сестрам мягким, любезным, но авторитетным тоном почти дословно следующее: «Швейцария прекрасная, благословенная страна, нет слов; но поверьте, барышни, на земле так же прекрасны и все другие страны, все уголки, все горки и холмы, все рощицы, все реки и озера. Где только природа наложила свою властную руку и запечатлена ее творческая сила, там все прекрасно; не хорошо только там, где человек искусственно, по невежеству, разрушает дивные создания природы. Сознание прекрасного находится в нас самих, и чем более мы любим природу и все, ею созданное, тем более мы находим прекрасного везде на земле. Глубина чувства, глубина любви определяет степень и, если хотите, размеры прекрасного. Вы утверждаете, что Россия прекрасна менее Швейцарии; полюбите ее, полюбите всей душою, и для вас не будет ничего милее, как ваше отечество. Уверяю вас, тундры нашего севера и африканская Сахара так же прекрасны, как и весь остальной мир. Полюбите только природу и людей, заметьте: людей без всяких имущественных, сословных и расовых различий, и они, природа и люди, будут везде казаться для вас так же прекрасными, как и в Швейцарии, которая потому лишь кажется вам прекраснее нашего отечества, что в ней на сравнительно небольшом уголке природа совместила часть того, что у нас щедрою рукою разбросано по необъятным пространствам России, Сибири, Финляндии, Кавказа и Крыма».

Конечно, не только мои молоденькие сестры, но и я, и мой брат — мы все тогда скептически относились к мыслям, высказанным Тургеневым, хотя впоследствии, много лет спустя, когда нам удалось узнать лучше Россию, нам все-таки пришлось убедиться в том, какою правдою звучали слова нашего великого писателя, слова, которые он говорил нам на Женевском озере.

После споров о Швейцарии и России, споров, конечно, облеченных в любезную, веселую форму, мы, как это

бывает часто, незаметно перешли к литературной деятельности нашего гостя. Мы, все три сестры, были глубокими поклонницами его художественных произведений. Особенно средняя сестра, Надя, просто бредила некоторыми героями его повестей и находила, что лучшего писателя, как Иван Сергеевич Тургенев, у нас не может быть. Нужно сказать, что она была девушка пытливая, любознательная, и ее крайне занимал самый процесс литературного творчества, который ей казался всегда каким-то священнодействием, полным таинственности. Потому она была особенно обрадована знакомству с любимым писателем, так как, ставши с ним лицом к лицу, она теперь имела полную возможность приподнять таинственную завесу — удовлетворить своему любопытству относительно процесса литературного творчества. Когда зашла речь о произведениях Ивана Сергеевича, Надя не выдержала и обратилась к нему с просьбою объяснить ей, как это он пишет такие удивительные рассказы и романы.

— А вас это очень интересует? — с улыбкою спросил Тургенев.

— Ах, вы не можете себе представить, Иван Сергеевич, — ответила Надя, — каким я сгораю любопытством! Читая произведения ваши и других писателей, я напрягала все усилия, чтобы постигнуть самый умственный процесс литературного творчества, но пока — тщетно. Вот я даже сама могу написать складно, например, письмо или что-нибудь деловое, строго прозаическое, но все мои попытки создать *образы* и *картины* решительно ни к чему меня не приводили, и потому создание какого-нибудь беллетристического произведения всегда казалось для меня... как бы это удобнее выразиться?.. чем-то фантастическим, недоступным для способностей обыкновенного смертного.

— А мне, напротив, кажется, что создавать беллетристические произведения вовсе не так трудно, — вмешалась Вера, — и я непременно бы сделалась литератором, если бы у меня был писательский навык и литературный слог!..

— За малым остановка! — засмеялся брат.

— Действительно, — ответил Иван Сергеевич, — одинаково трудно быть беллетристом, и не имея творческой фантазии, и не владея в надлежащей степени литературным языком. Но желаете, mesdames, я вас наглядно познакомлю с тем таинственным писательским творчеством, которое так вас интересует?

— Ах, сделайте одолжение, Иван Сергеевич! — закричали Вера и Надя почти в один голос.

— Извольте, — сказал Иван Сергеевич, — но с тем условием, что вы будете снисходительны ко мне, если продукт моего *сочинительства,* которое я сейчас покажу вам, окажется не таким художественным, каким вы желали бы его видеть и слышать.

Затем Тургенев начал быстро импровизировать нам целую повесть. Правда, он говорил сжато, почти лаконически, но язык его импровизации был бесподобен, действующие лица воскресали перед нами точно живые, так пластична была их характеристика. Что же касается описаний природы, то они были полны глубокого чувства и поэтической прелести.

Относительно содержания импровизированной повести я должна сказать, что в основание ее лег эпизод знакомства его с нами. Так как при жизни Тургенев имел намерение, почему-то, впрочем, неосуществленное, разработать свою импровизацию в большую повесть для печати, то мы считали своим нравственным долгом никому не сообщать ее содержания; но теперь, когда безвременная кончина великого писателя навсегда лишила русскую публику возможности насладиться произведением, созданным совершенно случайно на зеркальной поверхности Женевского озера, то, я думаю, не будет с моей стороны большою нескромностью, если я поделюсь с другими содержанием импровизации. Впрочем, я не буду распространяться и ограничусь лишь самым существенным.

Вот в нескольких словах фабула тургеневской импровизации, как он развил ее в августовскую ночь 1864 года на Женевском озере.

В поезде, направляющемся в Женеву, едут две сестры-девицы; в том же поезде находится молодой человек, русский дворянин. Последнему удается оказать девицам какую-то незначительную услугу, и вот между молодыми людьми завязывается знакомство. Из обоюдных расспросов оказалось, что молодые русские барышни спешат в Женеву к своему больному брату, с тем чтобы взять на себя все заботы по уходу за ним; что же касается молодого человека, то он, кончив курс в Петербургском университете, путешествует по Европе, с одной стороны, с целью расширения своих научных познаний, а с другой — в движении западной философской мысли ищет разгадку «проклятого вопроса» о социальных про-

тиворечиях, мешающих жить людям по-человечески. Молодые люди производят друг на друга приятное впечатление. По приезде в Женеву они некоторое время не видятся, но, когда больной брат девиц выздоравливает, он знакомится с молодым ученым и вводит его в свой дом. С этого-то момента, собственно, и начинается роман. Молодые люди все более и более начинают сближаться и симпатизировать друг другу. Катанья по озеру, прогулки к водопадам, поездки по Рейну, восхождение на горы — все это служит только к тому, что отношения молодых людей делаются все более сердечными. Здесь, в описаниях швейцарской природы, поэтический талант Тургенева с особенною силою восхищал нас. Но еще выше казалось нам творчество великого писателя, когда он, с полуприкрытыми глазами и волнующеюся от наплыва вдохновения грудью, рисовал нам тончайшими штрихами картину сердечных и душевных движений своих героев, интерес положения которых в импровизации усиливался тем, что две молодые девушки, обе в одно время, полюбили героя повести и что он тоже не мог дать себе отчета, на которой из двух сестер остановить ему свой выбор, так как обе они были одинаково прелестны, умны и прекрасны сердцем. Различие между ними было только в складе их мысли, в направлении их умственных сил. В то время как одна была с умом практическим, серьезным и обожала своего героя, между прочим, за его реальные знания и права, обладание которыми, по ее мнению, могло приносить людям положительную пользу, — другая, младшая сестра, личность несколько экзальтированная, мечтательная, но вместе с тем страстная, энергичная, благоговела перед ним как пред искателем «правды», как пред человеком, стремящимся сделаться «борцом за угнетенные права человека». Ввиду таких противоречий герой импровизации положительно очутился между молотом и наковальнею: как он ни старался рассечь гордиев узел, как ни старался выйти из заколдованного круга любви к обеим сестрам, из которых каждая одинаково его любила, но драматизм его положения с течением времени все более усиливался, так как, не давая ни одной из них категорического ответа, он томил в неизвестности себя и их и заставлял одинаково, как себя, так и их, переносить танталовы муки неудовлетворенной любви. Положение героя под конец сделалось настолько критическим, что он, не желая определенным выбором сде-

лать ту или другую из сестер несчастною, порешил было покончить с собою самоубийством. Логика обстоятельства невольно вела героя к этому ужасному исходу, но тут-то, почти накануне самоубийства, автор дает неожиданный и в художественном отношении прекрасный исход кризису: герой его, прочитав в газетах телеграмму о ходе титанической борьбы американцев за освобождение негров, вдруг изменяет свое решение о самоубийстве и едет в Америку, где наконец и погибает за великое дело. В день отъезда он прощается с сестрами, счастие которых он уносит с собою. Эта сцена прощания рассказана была Иваном Сергеевичем с таким художественным совершенством, до которого он далеко не всегда возвышался в своих произведениях.

Как я уже говорила, случай этот, где Тургенев в импровизированном рассказе обнаружил пред нами все богатство и плодовитость своего мощного таланта, навсегда врезался в моей памяти, и я считаю себя даже теперь, когда мне уже минул сорок восьмой год, весьма счастливою, что мне в моей жизни удалось быть свидетельницею самого процесса поэтического творчества великою нашего писателя. Согласитесь, что наблюдать подобные факты не всегда возможно и не каждому они доступны; поэтому нужен именно особенный счастливый случай, чтобы быть непосредственным их наблюдателем <...>

Теперь коснусь самой главной темы моего повествования, именно: встречи в Женеве Тургенева с Лассалем. Об этой встрече, совершенно случайной, точно так же, как было случайно и наше знакомство с ним, русской публике едва ли известно.

II

Прежде чем говорить о самой встрече Ивана Сергеевича с Лассалем, я расскажу один эпизод, с одной стороны, рисующий личность покойного писателя в самом отрадном свете, а с другой — необходимый для изучения самого факта встречи его с знаменитым немецким агитатором.

Мне кажется, что это было на пятый или на шестой день после нашего знакомства с Тургеневым. В пансион Леове весьма часто приходил один русский эмигрант Н. Был он некогда очень состоятельным человеком, но,

вследствие эмиграции, потерял свое состояние и существовал в Женеве лишь уроками, нужно сказать, скудно оплачиваемыми. Являлся он в пансион для свидания с своими русскими знакомыми, вследствие чего последние часто приглашали его к обеду за табльдот, где обыкновенно собирались живущие в пансионе, за исключением, впрочем, нашего семейства, так как для нас, в большинстве случаев, по желанию брата, готовили стол отдельно. Впрочем, иногда и мы обедали за табльдотом. Табльдот помещался в обширной стеклянной галерее, примыкавшей к главному корпусу пансиона и выходившей в сад. Галерея эта летом была обыкновенно увита плющом и уставлена растениями. В тот раз, о котором я говорю, мы все обедали за табльдотом; с нами обедал и Тургенев. Едва все стали садиться за стол, как в дверях показался и Н. и, остановившись при входе, начал разыскивать в толпе глазами кого-то из своих знакомых; но, убедившись, что того, кого он искал, еще в галерее нет, что ему подтвердила прислуга, он опять скрылся обратно, причем издали слегка кивнул головою Тургеневу, так как они были несколько знакомы. Почти в тот самый момент, когда Н. скрылся за дверью, один из двух молодых немцев, каких-то померанских «юнкеров», усевшихся по другую сторону стола, несколько наискось от Тургенева, обратился к своему соседу с следующею насмешкой, громко произнесенною на немецком языке:

— Мне кажется, что этот русский эмигрант вечно голоден, так же как и его отечество, из которого он бежал и которое постоянно высматривает и выискивает, кого бы из своих доверчивых и простодушных соседей объесть и проглотить!..

Сенсация вышла общею; многие просто рты разинули от изумления, услышав пошлую выходку немецкого юнкера. Брат мой даже побагровел от внутреннего негодования. Один только Тургенев остался по внешности спокоен, и лишь дрожание побледневших губ выдавало его волнение. Громко и внятно он обратился к нахалу, так что каждое его слово было слышно во всех углах галереи:

— Милостивый государь, не приняв в соображение, что здесь находится много русских, вы осмелились оскорбить и их отечество, и одного из их соотечественников. Россия так могуча, что она презирает всех нахалов, как бы они ни назывались, и не нуждается, чтобы

ее защищали от них. Иное дело — оскорбление, нанесенное вами моему, находившемуся в несчастии, соотечественнику. Так как его нет в настоящую минуту здесь и он не может себя лично защищать, то я беру эту смелость на себя. Я не требую, чтобы вы взяли свои слова назад; я не требую и того, чтобы вы извинились; но я требую одного — и, надеюсь, меня поддержат в этом требовании все, находящиеся здесь, порядочные люди: прошу вас встать из-за стола и удалиться из нашего общества! Человек, позволяющий себе без всякого повода неприличные выходки, не может быть терпим в кругу порядочных людей.

Немецкий юнкер вздумал было защищаться новою дерзостью, но общее негодование против него было так велико, что он, по предложению хозяев отеля, принужден был удалиться из галереи. Его примеру последовал и его товарищ. Оба они в тот же день уехали из пансиона, и с тех пор их более нигде не встречали в Женеве.

Рассказанное мною обстоятельство, само по себе маловажное, послужило к тому, что эмигрант Н. еще более сблизился с Иваном Сергеевичем и дал ему возможность познакомиться с Фердинандом Лассалем, когда этот последний в роковые для себя дни проживал в пансионе Леове. К этому событию я теперь возвращаюсь.

Накануне того дня, когда произошла встреча Тургенева с Лассалем, мы были вместе с Иваном Сергеевичем в гостях у одного из русских помещиков, проживавшего с своим семейством тоже в Женеве. Возвратившись из гостей в отель около трех часов ночи, мы немедленно разошлись по своим комнатам спать, так как нам предстояло встать на другой день не позже девяти часов утра. Дело в том, что Иван Сергеевич, собираясь на другой день уехать из Женевы, обещал зайти к нам проститься, и потому мы должны были встать пораньше, чтобы принять его. На другой день я едва вышла из своей комнаты в нашу столовую, как Вера и Надя, вставшие раньше меня и, в ожидании чая, отправившиеся было гулять в сад, быстро возвратились в комнаты в каком-то возбужденном состоянии. На мой вопрос: что такое случилось? Надя с расширенными от изумления глазами отвечала мне:

— Вообрази, Мари, прислуга рассказывает, что в нашем отеле вчера вечером остановился *итальянский бандит*! Мне с Верой даже удалось его видеть сейчас на галерее: он действительно ужасно страшен.

— Лицо такое бледное, глаза блестят, и все ходит по галерее из угла в угол в каком-то сильном возбуждении! — добавила Вера рассказ об итальянском бандите.

— О ком это у вас речь? — спросил брат, входя в столовую и здороваясь с нами.

— Вот они говорят, что в нашем пансионе остановился итальянский бандит, — сказала я, указывая на сестер.

— Возможно ли! — усомнился брат. — Какой бандит?

— Настоящий бандит... итальянский! — пояснила Надя.

— Странно, — заметил брат с неудовольствием, — туда, где живут порядочные люди, пускают бандитов. Ему место в тюрьме, а не в нашем пансионе. Сегодня же объяснюсь с администрациею пансиона, и если господин, о котором вы говорите, действительно бандит, то завтра же мы переедем в другой отель. А не слыхали, как зовут этого итальянского героя? — спросил брат Веру и Надю.

— Прислуга называет его *Фердинандом Лассалем;* он приехал из Мюнхена.

— Фердинанд Лассаль?! Ха, ха, ха, — рассмеялся неудержимо брат. Я тоже рассмеялась, так как мне было хорошо известно, кто был Фердинанд Лассаль, которого мои сестры сочли за бандита.

— Да что же вы смеетесь? — заметила мне и брату сконфуженно Надя. — Уверяю вас, что Фердинанд Лассаль бандит! Вчера вечером, как только он приехал, к нему сейчас же начали сходиться какие-то подозрительные личности, которые вели с ним таинственные переговоры чуть не до полуночи. Прислуга рассказывает также, что в бюро домовой конторы сегодня утром была доставлена на его имя с почты масса писем и телеграмм от его агентов чуть не со всех концов Европы.

— Полно, Надин, полно, друг мой! — хохотал брат. — Фердинанд Лассаль может казаться бандитом только в воображении невежественной прислуги да таких наивных институток, как ты с Верою. Впрочем, он действительно бандит, только не итальянский, а немецкий, и командует не какою-нибудь шайкою всякого сброда, а стотысячной армией германских рабочих. Вот какой бандит этот Фердинанд Лассаль!

Пока брат подшучивал над наивностью русских институток, принявших Ф. Лассаля за итальянского бандита, нам доложили о приходе Ивана Сергеевича, который вслед затем сам вошел в столовую.

Не таково было впечатление Тургенева, когда он узнал от нас о присутствии в Женеве Лассаля. Он едва выслушал рассказ брата о том, что сестры, со слов прислуги, приняли Лассаля за итальянского бандита, и, как только чай отпили, немедленно предложил нам сойти в галерею, чтобы взглянуть на знаменитого гостя. Повинуясь приглашению Ивана Сергеевича, мы все отправились на галерею, где, по словам Нади, можно было видеть Лассаля.

Сойдя в галерею, мы застали там за табльдотом уже порядочное общество, собравшееся к утреннему чаю и кофе. Наши глаза невольно искали в толпе знаменитого экономиста. Впрочем, его не трудно было найти, так как на нем было сосредоточено любопытство почти всех присутствовавших. Сверх своей знаменитости как политического деятеля, он в то время был еще героем той трагикомедии, которая называлась его любовью к m-lle Деннигес (впоследствии madame Раковиц), и потому не удивительно, что им все интересовались и что на нем сосредоточивалось общее внимание везде, где только он не появлялся.

Я никогда не забуду того момента, когда я в первый раз увидела Лассаля, о котором столько читала и слышала, живя с братом в Карлсбаде и Женеве. При входе нашем в галерею он стоял у растворенного окна и вел разговор с двумя мужчинами, из которых один был наш эмигрант Н. Руки его были покойно сложены, взор его блуждал медленно в толпе, на которую он смотрел несколько надменно и с привычной самоуверенностью, и только нервное легкое вздрагивание бровей обнаруживало, что его озабочивает какая-то серьезная мысль и что он ведет разговор с собеседниками не без внутреннего возбуждения. Позе его, в которой он стоял, позавидовал бы каждый король, так она была проста, безыскусственна и вместе с тем даже величественна. Я никогда до того времени не видела его, и потому, при первой встрече, он показался мне далеко не красивым мужчиною, даже ниже своих фотографических изображений, но это отсутствие физической красоты искупалось с избытком громадным умом, запечатленным в каждом мускуле его открытого, благородного лица, и могучею душою, и несокрушимою волею, отражавшеюся в его оригинальных круглых г л а з а х, — признак гения. Вообще Лассаль произвел на меня подавляющее впечатление титана, пред которым я почувствовала себя полным ничтожеством, бесполезнейшим созданием на земле.

Я взглянула на Ивана Сергеевича. Полузакрытыми глазами он жадно рассматривал Лассаля и своим глубоким пытливым взором, кажется, желал проникнуть в самую душу стоявшего пред ним гениального народного трибуна. Мне думается, что в это время Лассаль для Тургенева казался кумиром, — так велико было то волнение, которое охватило автора «Записок охотника» при первой встрече его с Лассалем. По-моему, впрочем, ничего не было удивительного в том, что Тургенев в тот период своей жизни с таким энтузиазмом отнесся к Лассалю: так как арена, на которой действовал Лассаль, была шире литературной арены Тургенева, да и вся гениальная личность Лассаля была колоссальнее тургеневской личности, то, повторяю, не удивительно, что наш знаменитый писатель пришел в энтузиазм при встрече с человеком, превосходство которого над собою он, как слишком умный и понимающий человек, не мог не сознавать.

Лассаль стоял вполоборота к Тургеневу и не мог видеть устремленных на него пытливых взоров Ивана Сергеевича; но эмигрант Н. увидел его и немедленно раскланялся с ним. Тогда и Лассаль обвел медленным взглядом Тургенева и затем, точно внезапно что-то вспомнив, наклонился к Н. и, указывая глазами на Тургенева, спросил его о чем-то. Н. с улыбкой ему ответил; тогда Лассаль вновь окинул Тургенева светлым взглядом и вновь о чем-то попросил Н. Лицо Тургенева страшно заволновалось, так как для него, как и для всех, очевидным было, что Лассаль спрашивает у Н. именно о нем. Чтобы скрыть свое волнение, Тургенев начал было разговор с братом, но в это время к нему подошел Н. и, пожав руку, передал ему о желании Лассаля познакомиться с ним. Тургенев, совершенно не ожидавший этого, в первое мгновение был точно озадачен, но затем, извинившись пред нами, что оставляет нас на несколько минут, направился к Лассалю своею мерного, спокойною походкою. Лассаль тоже сделал несколько шагов навстречу нашему писателю, причем глаза его смотрели на Ивана Сергеевича ласково и черты его сложились в ту тонкую, нравящуюся женщинам, улыбку, которая у него появлялась, когда он испытывал внутреннее удовольствие. Он первый протянул руку Ивану Сергеевичу и первый заговорил с ним. О чем происходила беседа между двумя знаменитыми людьми, мы не могли тогда слышать и узнали отчасти лишь по-

том от самого Тургенева, но было видимо, что Лассаль произвел на него самое приятное впечатление.

Разговор, происходивший между Лассалем и Тургеневым, был передан мне последним лишь несколько лет спустя, при иной встрече нашей уже в Париже, так как в тот день, когда состоялась встреча Лассаля и Тургенева, мы не считали себя вправе предлагать Ивану Сергеевичу какие бы то ни было вопросы относительно обстоятельств встречи, хотя, признаюсь, сгорали большим любопытством. Разговор между ним и Лассалем происходил на французском языке, и говорилось, приблизительно, вот что. Как я уже сказала, первым заговорил Лассаль.

— Я очень рад, — сказал он Ивану Сергеевичу, пожимая ему руку, — что судьба на этот раз соблаговолила ко мне и позволила мне увидеть одного из интеллигентнейших людей страны, о которой мне довелось читать и слышать столь много чудесного.

— Вы приписываете мне, господин Лассаль, уж слишком высокую роль, — отвечал Тургенев с свойственною ему скромностью, — тогда как я лишь скромный литературный деятель и все мое значение в отечестве ограничивается лишь сравнительно незначительным влиянием на немногочисленный кружок моих читателей.

— Полноте, господин Тургенев, — прервал его с улыбкою Лассаль. — Как ваши личные качества, так и ваше значение в России мне хорошо известны из рассказов ваших же соотечественников, и, повторяю, я весьма рад, что встретился с вами и имею возможность, благодаря Н., познакомиться с вами.

Затем Лассаль предложил Тургеневу сесть за небольшой стол, стоявший у окна, за которым уже сидели Н. и другой господин, с которым Лассаль беседовал при входе нашем в галерею. Он представил Тургенева этому господину, оказавшемуся доктором Генле из Мюнхена, и приказал подать для всех кофе. Во время кофе беседа Лассаля с Тургеневым продолжалась с видимым оживлением, причем Тургенев старался держать себя спокойно, тогда как Лассаль видимо чем-то был озабочен и изредка поглядывал на входную дверь в галерею.

Беседа их продолжалась не более 7—10 минут, как вошел поспешно кельнер, и разыскав д-ра Генле, подал ему запечатанный пакет. Тот быстро вскрыл его и шепнул что-то Лассалю. При этих словах Лассаль точно получил какой-нибудь сильный толчок: на секунду мол-

ния негодования озарила его лицо; затем он видимо побледнел и, вставши из-за стола, начал извиняться веред Тургеневым, что его ждет неотложное дело и ему нужно удалиться в свою комнату.

Тургенев с грустью горячо пожал протянутую ему руку Лассаля и, когда тот, поклонившись, с приветливою улыбкою скрылся из галереи, он несколько секунд смотрел вслед удалявшемуся трибуну, и на глазах его блистали слезы.

Он молча распростился с эмигрантом Н. и доктором Генле, которые тоже сейчас удалились вслед за Лассалем, и затем возвратился к нам. Когда он подошел к нам, то был так взволнован, что не мог даже говорить, и на замечание брата, что Лассаль по внешности действительно кажется живым человеком, — он лаконически ответил:

— Да, Лассаль — гениальный человек!

Вслед затем мы все ушли из галереи в наши комнаты, и через несколько минут Иван Сергеевич распрощался с нами. Видя его волнение, произведенное, конечно, неожиданною встречею с Лассалем и беседою с ним, мы не старались его удерживать и пожелали ему на прощание всех благ.

Иван Сергеевич уехал из Женевы в тот же день, и мы свиделись с ним в другой раз лишь несколько лет спустя в Париже.

. . . .

Прошло несколько дней после встречи Тургенева с Лассалем, как вдруг сначала в пансионе Леове, а затем по всей Женеве распространился слух, что Лассаль смертельно ранен на дуэли с женихом Деннигес, Янком Раковицею. Сначала никто из нас не хотел верить ужасной судьбе Лассаля, которого мы почти каждый день встречали, но потом, дня через два-три, нам пришлось быть очевидцами грандиозной похоронной процессии, устроенной республиканцами знаменитому вождю германских рабочих.

В самый день процессии эмигрант Н. получил от Ивана Сергеевича по переводу 100 франков с лаконическою просьбою возложить на гроб Лассаля венок от «неизвестного почитателя».

За последние двадцать лет мне приходилось несколько раз встречаться с Тургеневым, но он никогда без сильного волнения не мог вспомнить имени Лассаля и единственной встречи с ним в Женеве.

Н. А. ОСТРОВСКАЯ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ТУРГЕНЕВЕ

В 1864 году я уже была несколько лет замужем. Эти годы провели мы за границей... Мы нарочно отправились после сезона, чтобы судить о Бадене в будничном виде <...>[1] Осень стояла в тот год дождливая, выходить приходилось <...> с дождевым зонтиком во время прогулок по баденскому парку, вероятно прекрасному летом, но очень грустному в пасмурные дни <...> Все соединилось, чтобы Баден произвел на меня самое неприятное впечатление. Только одно было утешение — Тургенева увижу, с Тургеневым познакомлюсь <...> Он строил тогда себе дом в Бадене и сам жил на квартире <...> Мы в шутку прозвали его за талант и красоту богом богов, Юпитером, Олимпийцем, а в сокращении звали его просто Богом.

— Я иду к Богу, — объявил нам Петр Михайлович *.

Мы все встрепенулись <?> и стали ждать с нетерпением его возвращения. Он возвратился очень скоро.

— Что, должно быть, не застал? — спросила я.

— Вот, не застал. Подошел я к его двери и расхохотался — на двери наклеена бумажка с надписью крупными буквами:

«Monsieur Tourguéneff n'est pas à la maison. Herr Tourgeneff ist nicht zu Hause» **.

— Я оставил карточку и свой адрес и просил дать знать, когда его можно будет застать дома.

К вечеру получена была записка следующего содер-

---

* Муж Н. А. Островской.

** Господина Тургенева нет дома (*фр., нем.*).

жания: «Мне было очень приятно узнать, что Вы в Бадене. Жду Вас завтра в одиннадцать часов».

На следующий день Петр Михайлович просидел у Тургенева дома.

— Ну что? — спросили мы * в один голос, когда он вернулся.

— Ну, *ничего*, — передразнил *он*. — Сегодня уговорились мы с ним вместе обедать, и вас, так и быть, уже возьму с собой.

— Наконец-то я его увижу *вблизи*, — воскликнула я.

— Приведет он еще с собой Авдеева.

— Какого Авдеева? «Подводный камень»? [2]

— Его самого <...>

— Об чем же вы еще с Богом говорили? — спросила я.

— Толковали мы об охоте. Обещался он мне достать приглашение на облаву от здешнего охотничьего общества.

— Ну ее, твою облаву! Неинтересно.

— Стало быть, ты глупа, если облава тебя не интересует.

— Ведь не об одной же охоте вы говорили?

— Чать не об одной. Хвалился он мне, что дом хороший строит, что Баденом он очень доволен и вообще своей судьбой. Об одном, говорит, теперь господа бога молю, чтобы батюшка вторник был похож на батюшку понедельник. Только вот что скверно, не советует он нам здесь поселяться.

— А что? — спросила я, с трудом скрывая свою радость.

— Мне, говорит, здесь хорошо потому, что мне нужен только покой, да чтобы около меня были близкие люди (то есть Виардиха, конечно). Спрашивал я его, зачем это он такую записку наклеил на дверь? Оказывается, и здесь в покое его не оставляют, лезут, кто за советом, кто с изъявлениями чувств.

— А что, он ничего не пишет?

— *Уверяет*, — продолжал Петр *Михайлович*, — совсем бросил писать. Ну, да надо надеяться, что это жалкие слова.

Собраться к обеду уговорено было у ресторана игорного дома. Когда мы подошли туда, с лавочки перед рестораном поднялся к нам навстречу Тургенев. Я сейчас же его узнала, хотя он поседел и постарел с той поры (как

---

* Вместе с Н. А. Островской путешествовала юная родственница ее мужа — Саша Грибовская.

я видела его в Петербурге) <...> За обедом Иван Сергеевич толковал с Петром Михайловичем об охоте, да Авдеев бранил русские порядки <...> Я все всматривалась в Тургенева, замечала каждое его движение.

— Что это? — произнесла Саша (своим осуждающим тоном) <...> Я думала, Бог совершенный джентльмен, а на нем были грязные перчатки... так не комильфотно.

А мне вот именно в нем и понравилось, что он совсем не то, что называется комильфотным. По рассказам я воображала, что он вроде лордов, что описываются в английских романах, а он, напротив, настоящий русский помещик, совсем простой человек без претензий.

Раз принес Петр Михайлович листок маленькой газетки.

— Посмотри, какую пакость Бог получил сегодня!

То был номер газеты «A tout venant je crache» *. «Человек не выдаст, свинья не съест». Под заглавием стояло: «Подписка не принимается, подписчиков выбирает сама редакция» [8]. В этом номере был какой-то гадкий намек, уже не помню — какой именно. Вот на что намекалось в пасквильном тоне. «Перед моей последней поездкой в Россию, — рассказывал Тургенев, — приходит ко мне Бакунин и просит препроводить к нему каким-нибудь образом его жену, которая находилась тогда в Москве. Я обещал. Накануне моего отъезда из Парижа является он опять, таинственный, с тетрадкой в руках, сует мне тетрадку: вот тебе наш тайный шрифт на всякий случай. «Зачем мне шрифт? На какой случай?» — «А чтобы жену мою отправить. Может быть, понадобится...» Однако шрифта я не взял. Съездил я в Россию, жену ему препроводил и вернулся за границу. А он между тем написал мне вдогонку письмо с какими-то инструкциями, и не только прямо по почте, но даже подписался полным именем. Письмо это, конечно, попало куда следует. К счастью, пришло оно в Россию, когда меня уже там не было [4]. Это первое приключение. Второе. Когда я езжу в Россию, я обыкновенно беру с собой особенный чемодан для разных посылок от знакомых. И в этот раз натаскали мне множество свертков, бумаг, писем и всего на свете. Я все уложил, конечно, чужих бумаг не читал, чужих писем не распечатывал. Чемодан этот отправил я с другими вещами транспортом. Ждал я его, ждал, так и не дождался: пропал он. А пропал он недаром. Читали вы роман Лескова «Некуда»?

---

* Плюю на первого встречного (*фр.*).

Помните — там есть русский революционер, не помню, как переделана его фамилия, — он еще возбуждает почти всеобщее отвращение, особенно в женщинах? Ну так это действительное лицо: некто Ничипоренко. Ничипоренко этот, когда я уезжал из России, въезжал в нее и вез с собою портфель с прокламациями, письмами и целым списком агитаторов. На границе, на дебаркадере, что-то ему показалось, чего-то он струсил, бросил этот портфель просто под лавку, сам сел поскорее в вагон и укатил в Малороссию. Портфель этот нашли, отыскали его самого, арестовали и арестовали всех по письмам и по списку. Между прочим в одном письме было сказано, что известный писатель Тургенев взялся передать в Россию прокламации, инструкции и пр. И мой чемодан отыскали. А я сижу себе спокойно в Париже, ничего не подозреваю [5].

В одно прекрасное утро будят меня, говорят — какой-то чиновник из посольства меня спрашивает. Выхожу, вижу — канцелярская фигура. Вынимает он бумагу, развертывает, откашливается и, знаете, этим громким русско-чиновничьим голосом читает. Приказывается мне, нимало не медля, явиться в Петербург для объяснений, иначе именье мое конфискуют и т. д., и т. д. — все последствия [6]. Я изумился, взволновался, чиновника выпроводил, а сам прямо к посланнику. Я его лично знаю [7]. Так и так, говорю. Что мне делать? «Что делать? Ехать, конечно».

И стал он меня успокоивать, уверять, что это пустяки. «Пустяки ли, нет ли, говорю, а я не поеду». Он так и подпрыгнул: «Как не поедете?» — «Так не поеду. Очень вероятно, что все это кончится вздором, но я старик, больной, — пока я оправдаюсь, меня там затаскают». Пробовал он меня урезонить, я стоял на своем. Наконец он придумал: «Вот что: я знаю, что государь вас любит как писателя. Напишите прямо ему совершенно откровенно». — «Пожалуй. Только я к царственным особам писать не умею». Велел он сочинить послание у себя в канцелярии. Приносят мне, чтобы я переписал своей рукой. Читаю: припадаю униженно к стопам Вашего Величества и т. и. Еду опять в посольство: такого письма я не подпишу, а сам все-таки сочинить не умею <...> Наконец кое-как сочинил я сам, — отправили [8]. Жду я, что-то будет. Вызывают меня в посольство. «Вам, — говорит посланник, — оказана особенная неслыханная милость, — приказано сообщить вам, в чем вас обвиняют. Вот бумага». Прочел я, вижу — действительно пустяки, и решился ехать. Приезжаю в Петербург, яв-

ляюсь в Третье отделение. Привели меня в большую залу. Большой стол, на столе зерцало, кругом сидят генералы, и все знакомые. Говорят они мне: «Извините, Иван Сергеевич, посадить мы вас не можем». Сделали мне несколько пустых вопросов, перепроводили в отдельную комнату, посадили, положили передо мной толстую переплетенную тетрадь. «Видите, говорят, тут в нескольких местах заложено бумажками. Где заложено, там дело вас касается. Просим вас письменно ответить на вопросы». Ушли. Вопросы оказались вот в каком роде: с кем, где, при каких обстоятельствах вы были знакомы? Знаете ли вы политического преступника Герцена? Есть ли у вас его портрет? и т. и. Я отвечал: если бы всю эту тетрадь исписать вдоль и поперек, то недостало бы места, чтобы поместить одни имена всех тех, кого я знал в жизни, и потому отвечать на вопрос о моих знакомых нет для меня физической возможности; Герцена я не только знал, но был с ним дружен. Портретов его у меня не один, а несколько... Ответил я на все пункты и думаю: ведь мне не запрещали читать остальное. Стал я перелистывать тетрадь. Оказалось — все допросы разных лиц. Ну, и надо признаться, не много я тут нашел мужества. Один господин, например, явно, страшно струсил, стал путать правых и виноватых, совсем растерялся, пишет даже, что в таком-то году, когда он был еще мальчиком, такой-то учитель такой-то гимназии его совращал. Потянули учителя. Тот, несчастный, возопил: «Помилуйте! Ни душой, ни телом не виноват! И в гимназии-то он не был, и понятия я об нем не имею...» Был, однако, один ответ: «В том, в чем меня обвиняют, я не виноват. Но если хотят знать мои убеждения, так вот какие они... Я их не скрываю, и если хотят казнить за убеждения, так пусть казнят...» И, вероятно, погиб человек ни за что ни про что. Дело мое кончилось ничем. И вот с тех пор в известных кружках начались обо мне *сплетни*, — недаром, дескать, меня не упекли, должно быть, я на кого-нибудь донес... А Ничипоренко засадили за тридевять замков, и он умер в тюрьме до окончания следствия. Ну и, конечно, попал в мученики <...>[9]

Зашел разговор о тогдашнем новом поколении.

— У нас, людей сороковых *годов*, — сказал *он*, — было содержание без воли, а у них есть — воля без содержания[10].

Говорили об Герцене.

— Он теперь в положении короля *Лира*, — сказал Тургенев.

— Кстати о Герцене, — сказал Авдеев. — Я на этой неделе хочу съездить в Женеву на несколько дней. Не будет ли у кого каких поручений?

— В Женеву? Зачем это? — спросил Иван Сергеевич.

— У меня там хорошие знакомые, хочу с ними повидаться.

— Поручения... Будет вам от меня поручение. Ведь вы, вероятно, увидитесь с Герценом?

— Конечно.

— Так спросите его от меня, прямо от меня, неужели наша долголетняя дружба так навсегда и кончилась?

Лицо у него затуманилось, голос звучал грустно. <...>

Авдеев съездил в Женеву и возвратился.

— Говорили вы с Герценом, о чем вас просил Тургенев? — спросили мы его.

— Говорил. Он совсем помешался, вздор какой-то толкует, — уверяет, будто Иван Сергеевич встретил его в Луврской галерее и отвернулся от него.

— Передавали вы это Ивану Сергеевичу?

— Передал.

— Что же он?

— Плечами пожал, огорчился [11].

Остались у меня <...> в памяти его слова о Гарибальди: «Гарибальди, — отозвался Тургенев, — часто кажется совсем обыкновенным человеком, даже недалеким, но иногда вдруг поразит истинно гениальной мыслью» [12].

В 1873-м Боткин послал моего мужа в Карлсбад. <...>

Прямо против окна, под навесом гостиницы <...> сидел и разговаривал с дамой средних лет высокий красивый старик. «Как он похож на Тургенева», — подумала я и сказала:

— Петр Михайлович, посмотри, как этот господин похож на Бога!

— Да это он и есть! — радостно воскликнул Петр Михайлович. — Я пойду к нему <...>

— Вы, вероятно, не узнаете меня, — сказала я, подходя к Тургеневу.

— А вы меня, говорят, узнали, — отвечал он, добродушно улыбаясь.

— Я не была уверена, что это вы. Вы мне только показались похожим на себя>...>

— Вы давно здесь?

— Недели две.

— Здесь, кажется, страшная скука. Я приехал только вчера... Сегодня я уже подумывал бросить все и вернуться в Париж. <...>

Тургенев очень скоро сделался своим между нами <...>

— Вы, симбирские, скажите, как там живут теперь? Какое там общество? — спросил Тургенев.

— Живут прескучно, — отвечал Петр Михайлович. — Общество прескверное.

— А ведь Симбирск был когда-то центром. Я знавал некоторых симбирских. Во-первых, Николая Ивановича Тургенева. Я его очень любил. Любил я его, главное, за то, что, прожив столько лет вне России, он сумел остаться не только вполне русским, но еще настоящим русским степным помещиком...

— Вы, конечно, знали еще Языковых?.. — спросила я.

— Конечно, знал <...> Я знаком был с Зиновьевым. Он был человек не злой и порядочный, только невыносимый. У него, бывало, все государственные дела, вечно он был озабочен. Я его об одном просил: сделайте милость, Зиновьев, не застегивайте при мне сюртука! Так он важно пуговицы застегивал, что на нервы действовал. Я пробовал его изобразить в повести, которая должна была войти в состав «Записок охотника». Представлено было два помещика: один Зиновьев, в своей деревне все распоряжался, все порядок водворял — мужиков обстроил по своему плану, заставлял их есть, пить, дышать по своей программе, — ночью вставал, обходил избы, будил народ, все наблюдал. Другой был немец — рассудительный, аккуратный, но... у обоих мужикам было плохо. Только Зиновьев вышел у меня до того поразительно похожим на Николая Павловича, что нечего было и думать печатать, цензура ни за что бы не пропустила»[13].

— Куда у вас делся этот рассказ? — спросил Петр Михайлович.

— Не знаю, право. Может быть, уничтожен, а может быть, в деревне валяется. У меня там есть старый портфель с разными ненужными бумагами. Ведь у меня было заготовлено много рассказов для «Записок охотника», которые так и не попали в печать[14]. Помню, между прочим, был рассказ об истинном происшествии. Бывши студентом (как видите, это было очень давно), приехал я летом в деревню охотиться. На охоту водил меня старик из дворовых соседнего именья. Вот раз ходили мы, ходили по лесу,

устали, сели отдохнуть. Только вижу я, старик мой все осматривается да головой покачивает. Меня это наконец заинтересовало. Спрашиваю: «Ты что?» — «Да место, говорит, знакомое...» И рассказал он мне историю: как когда-то на этом самом месте барина убили. Барин был жестокий. Особенно донимал он дворовых. Конечно, потому, что они находились с ним в более близких сношениях, чем крестьяне. Вот дворовые и сговорились вытащить его из дому ночью куда-нибудь подальше и покончить с ним. Старик мой был еще тогда мальчишкой. Он случайно подслушал разговор и в ту ночь следил за заговорщиками, — видел, как тащили барина с завязанным ртом, чтобы он не мог кричать (бежал за этой процессией сторонкой). Когда они пришли в лес, он спрятался в кустарник и оттуда все видел. Были страшные подробности, — например, повар набивал барину рот грязью (в тот день шел дождь), приговаривая, чтобы он его кушанья попробовал [15].

Был у меня еще рассказ, писанный с натуры, — только тот мне просто не удался. Сюжет был не для меня, сюжет годился бы для щедринского таланта. У матери моей пропала шкатулка с деньгами. Подозрение пало на караульщика, отставного солдата. Нарядили следствие. Допрос происходил во флигеле. Флигель был разделен на две половины. В одной половине расположилась маменька со своими лекарствами, пилюлями, каплями, в другой заседали: мой дядя, предводитель дворянства, принимавший участие в следствии по родству, становой и священник, который обязан был увещевать вора. Я был еще мальчик. Мне очень хотелось присутствовать при этой истории, и так как я знал, что меня оттуда прогонят, то я потихоньку пробрался в темный чуланчик и из чуланчика смотрел и слушал. Прежде всего вышел на сцену поп, крякнул и стал увещевать. Потом становой затопал, заорал... Из соседней половины раздавались стоны, истерические вскрикивания... Дядя бегал к маменьке, уговаривал ее: «Soyez raisonnable, ménagez-vous pour vos enfants!» *, прибегал назад, принимался уговаривать преступника возвышенным слогом и тоном благовоспитанного дворянина. Вор не признавался. В комнату, конечно, набрался народ. Между прочими стоял другой отставной солдат и все усмехался. Наконец дядя его заметил. «Ты что смеешься? Знаешь разве

---

* Будьте благоразумны, поберегите себя ради ваших детей! (*фр.*)

что?» — «Дадите мне, ваше благородие, пять рублей — найду деньги». Становой на него кричать: «Ах, ты, мошенник, заодно!» Но дядя догадался — пообещал пять рублей. «Прикажите, говорит, ваше благородие, у него в дегтярке посмотреть; у нас в полку все в деготь деньги прячут!» Как он это сказал, тот в ноги <...>

Один день мне особенно памятен.

Мы после обеда отправились пить кофе в садик при одной из многочисленных карлсбадских кофеен. Нам подали столик, стулья, мы уселись и просидели тут до вечера. Мы не заметили, как садик стал наполняться, как явилась музыка, мы почти не замечали музыки, только досадовали, когда она заиграет слишком громко и заглушит его голос.

«Поэты недаром толкуют о *вдохновении*, — говорил *Тургенев*. — Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не внушает им готовых песен, но особенное настроение, похожее на вдохновение, бывает. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать, еще не знаешь что именно, но чувствуешь, что писаться будет [16]. Вот именно это поэты называют «приближением бога». Я, например: какой я творец?..»

Мы хотели было протестовать, но он улыбнулся нам и продолжал:

— Я только подобие творца, а испытал такие минуты. И эти минуты есть единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто писать бы не стал. После, когда приходится приводить в порядок, что носится в голове, излагать на *бумагу*, — начинается мученье. Вот я вам расскажу, как явилась мне мысль маленького рассказа, который вы, может быть, *помните*, — «Аси».

— Как не помнить! — воскликнула я.

— Ну так вот как это было. Я проездом остановился в маленьком городке на Рейне. Вечером от нечего делать поехал я кататься на лодке. Вечер был прелестный. Ни об чем не думая, лежал я в лодке, дышал теплым воздухом, смотрел кругом. Проезжаем мы мимо небольшой развалины, рядом с развалиной домик в два этажа; из окна нижнего этажа смотрит старуха, из окна верхнего высунулась головка хорошенькой девушки. Тут вдруг на меня нашло настроение. Я стал думать и придумывать, кто эта девушка, какая она, зачем она в этом домике, какие ее отношения к старухе, и так тут же в лодке и сложилась у меня

в голове вся фабула рассказа. А то вот еще: в «Затишье», в сцене свиданья, мне никак не давалось описание утра. Только раз сижу я в своей комнате за книгой, — вдруг точно меня что-то толкнуло, что-то прошептало мне: «Невинная торжественность утра». Я вскочил даже: вот они, вот они, настоящие слова!

— Говорят, Занд, — заметил Петр Михайлович, — писала так легко, что писала прямо набело?

— Да, она долго вынашивала это в себе. У каждого своя манера работать. Со мной бывает разно. Чаще всего меня преследует образ, а схватить его я долго не могу. И странно, часто выясняется мне какое-нибудь второстепенное лицо, а затем уже главное [17]. Так, например, в «Рудине» мне прежде всего ясно представился Пигасов, как он заспорил с Рудиным, как Рудин отделал его, — а после того уже и Рудин обрисовался.

Иной раз напишешь с вечера сцену, как будто хорошо. На другой день перечтешь и придешь в отчаяние; кажется, если бы сам черт на смех водил твоим пером, хуже бы не могло выйти. Так мучаешься над каждой страницей... Я обыкновенно, когда кончу какую-нибудь вещь, перечту, перепишу окончательно набело и уже больше не перечитываю. Дам прочесть кому-нибудь, кто я знаю, что мне правду скажет, — Анненкову, например, — а там уж прямо отправляю в печать.

Лицо Базарова до такой степени меня мучило, что, бывало, сяду я обедать, оно тут передо мной торчит; говорю с кем-нибудь, а сам придумываю: что бы сказал Базаров на моем месте? У меня есть вот какая тетрадь разных предполагаемых разговоров á la Базарова.

В Базарове есть черты двоих людей, — одного медика... (Ну, да на того он похож больше внешностью. Да и медик этот побаловался, побаловался и кончил тем, что все бросил и стал заниматься одной медициной.) Главный материал мне дал один человек, который теперь сослан в Сибирь [18]. Я встретился с ним на железной дороге, благодаря случаю я мог узнать его. Наш поезд от снежных заносов должен был простоять сутки на одной маленькой станции. Мы уж и дорогой с ним разговаривали, и он меня заинтересовал, а тут пришлось с ним ночевать вместе в каком-то маленьком чуланчике на станции. Спать было неудобно, мы проговорили всю ночь.

— А знал он, кто вы? — спросила я.

— Не знаю, вероятно, знал, но это его не стесняло.

Он не считал нужным скрываться ни перед кем. И не рисовался он нисколько, он был вполне совершенно прост. К утру нам захотелось спать. В комнате был диван и стул. Он предлагает мне лечь на диване. Я начал было церемониться. «Да вы не церемоньтесь. Вы на стуле не заснете, а я могу заснуть, как и когда хочу!» Я усомнился. Он говорит: «Это дело выдержки и воли. Вот увидите, через пять минут я буду спать». Сел на стул, сложил руки на груди, закрыл глаза и действительно через несколько минут заснул. Он, говорят, в Сибири имеет большое влияние на ссыльных. Рассказывали мне об нем вот какую штуку: там, куда его сослали, зачем-то нужно было вырыть и перенести на другое место какое-то большое дерево. Он сказал, что может сделать это один. Ему не поверили; он перенес, надорвался и долго болел. Будто бы подобными выходками он главным образом и приобрел влияние.

Разговорились мы об «Отцах и детях».

— Разбор Писарева необыкновенно умен, — сказал Тургенев. — Я должен сознаться, что он почти вполне понял, что я хотел сказать Базаровым [19].

— Из всех обвинений за «Отцов и детей», — заметил Петр Михайлович, — я согласен с одним, что лицо Базарова не окончено. Ведь он описан такими красками, что опиши так юность Наполеона, не будет неправдоподобно, а между тем в романе он не действует. Весь роман основан на любви, и умирает он случайной смертью, точно вы сами не знали, что с ним делать.

— Да, я и действительно не знал. Я чувствовал тогда, что народилось что-то новое; я видел новых людей, но представить, как они будут действовать, что из них выйдет, — я не мог. Мне оставалось или совсем молчать, или написать только то, что я знаю. Я выбрал последнее [20].

— А этот господин, сосланный в Сибирь, — спросила я, — не тот ли самый, которого Чернышевский желал представить в «Что делать?»?

— Да, кажется, он его хотел изобразить в Рахметове.

— Знавали вы Чернышевского?

— Знал.

— Что он такое? — спросил его Петр Михайлович. — Судя по многому, что он писал, он или недобросовестен, или просто глуп.

— Как вам сказать? Он для России не глуп.

— Что значит — для России не глуп?

— У нас между людьми, старающимися перевести теорию в практику, редко бывают очень умные... А насчет добросовестности, — он, напротив, главным образом и влиял-то тем, что проделывал все, что проповедовал. <...>

Зашел разговор о Некрасове.

— Теперь, — сказал Иван Сергеевич, — молодежь поэзии не знает и знать не хочет. Читает только господина Некрасова <...> Кто Некрасова любит, тот Пушкина любить не может; кому Некрасов нравится — тот поэзии не чувствует. Впрочем, это ничего, этого стыдиться не надо. Что же? Если вы ее не чувствуете, вы в этом не виноваты. Только притворяться не следует<...> Некрасов и Пушкин!

Чертог сиял... [21]

Он продекламировал несколько строк.

— И после этого <...> Кто помнит что-нибудь из Некрасова? Все равно — первое попавшееся.

— «Ты подвяжешь под мышки передник...» — начала я.

— «Перетянешь уродливо грудь» [22], — продолжал он <...>

— Да что я нынешнюю молодежь обвиняю! — сказал он. — И мы хороши были! Знаете ли, кого мы ставили рядом с Пушкиным? Бенедиктова! Знаете ли вы что-нибудь из Бенедиктова? Вот я вам скажу. Только его надо декламировать особенным образом, по-тогдашнему, — нараспев и звукоподражательно. Вот слушайте.

Он продекламировал какой-то «Каскад» и представил голосом, как падает каскад с высоты и как ударяется вода о камни.

— А то вот еще. Представьте себе, что вам декламирует стихи армейский офицер, — завитой, надушенный, но — с грязной шеей.

Он сказал стихотворение о кудрях:

— «Кудри кольца, кудри змейки; кудри шелковый каскад...» Стих: «и поцелуем припекать» — надо было говорить так, чтобы слышалось шипенье щипцов... Да-с, и вот какой чепухой восхищались, и восхищались не кое-кто, а Грановский, например, ваш покорнейший слуга и другие, не хуже нас с Грановским. Одно нас только немножко смущало: мы слышали, что Пушкин прочитал и остался холоден. Мы кончили тем, что решили: великий человек Александр Сергеевич, а тут погрешил — позавидовал [23].

Заговорил он о Пушкине.

— Помните ли вы стихотворение «Поэту»? То, что он тут говорит, может служить катехизисом искусства: «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум».

— Не помните ли вы «Чернь»? — сказала я. — За «Чернь» очень бранили, а я ее люблю.

— Прекрасная вещь!..

Он стал декламировать:

— «Поэт на лире вдохновенной...» — и т. д. «И толковала чернь тупая: зачем так звучно он поет?» Эта чернь с наглостью пристает к поэту. Он рассердился. «Молчи, бессмысленный народ». Чернь начинает конфузиться: «Что же, если ты небес избранник...» Певцу она окончательно опротивела: «Подите прочь. Какое дело поэту мирному до вас?..» Знаете ли вы план конца «Египетских ночей», найденный в бумагах Пушкина? Нет, не знаете? Так я вам скажу: первую ночь она назначила эпикурейцу. Он увенчался розами, насладился вполне и умер с твердостью истинного философа. Воин, тот пришел в чертог, напоенный благоуханиями, посмотрел на Клеопатру с презрением, произнес: «Не требую награды...» — завернулся в плащ, лег на пол и пролежал всю ночь. А третьего, юношу, она сама полюбила и не захотела его лишиться. Но он сам восторженно побежал на смерть, воскликнув: «Больше не стоит жить! Я испытал высшее блаженство — и оно не может повториться в жизни смертного!»[24] А хорошо ли вы помните «Анчар»? Что за прелесть! Слушайте: «В пустыне чахлой и сухой...» Ведь это такой протест против деспотизма, какого не могут и приблизительно выразить тысячи обличительных и возбудительных стихотворений. Даже наша цензура, на что глупа, и та поняла, — не хотела пропустить[25].

— А «Брожу ли (я вдоль улиц шумных»?) — попросила я.

Он сказал:

— Конец особенно хорош! — Он повторил еще раз:

«И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять».

Он стал припоминать стихотворение за стихотворением.

— Говорить стихов, как должно, я не умею. Их надо говорить и естественно, и с опьянением.

Он декламировал хорошо, с истинным чувством, хотя немножко по-старинному, немножко слишком восторженно, но это шло к его красивой наружности. И как очарователен был этот странный старик! Со своей молодой любовью к поэзии, со своими разговорами, совсем нисколько не обыденными! Он похож, думала я, на таких юношей, что в книгах описываются, что в жизни никогда не встречаются.

Когда я слушала его, когда я видела его величественную фигуру, его ласковые глаза, его милую улыбку, я чувствовала себя девчонкой перед предметом обожания.

Тургенев иногда объявлял, что он очень болен, что у него какая-то необычайная болезнь, что у него внутри головы, в затылке что-то сдирается, что точно какие-то вилки выталкивают ему глаза... Он хохлится, охает, а потом разговорится, развеселится и забудет о своих недугах. Мы в таких случаях потихоньку подсмеивались, что у нас Бог «закапризничал», как балованный ребенок. Но ребенок он был добрый — каприз у него скоро проходил. На этот раз он чувствовал бушеванье морских волн в голове.

— И знаете, что со мной было сегодня? Я видел привидение.

Он сказал это самым спокойным тоном, точно сообщал самую обыкновенную вещь. Мы, конечно, изумились.

— Как это?

— *Так*, — утром, при солнечном свете. Я сидел у себя, в своей комнате, ни об чем подобном не помышлял, вдруг вижу: входит женщина в коричневом капоте, постояла, сделала несколько шагов и исчезла.

— Что же это? — сказала я. — Верно, болезнь.

— Да, это нервы.

— Вы испугались? — спросила N.

— Нет. Чего же бояться? Я знаю, что это обман зрения. Я часто вижу эту женщину. Сегодня она молчала, а то она иногда скажет несколько слов, и всегда незначащих, и всегда по-французски. Странно, что *по-французски*, — у меня никогда не было близкой женщины-иностранки, из умерших то есть... Я несколько раз видел привидения в своей жизни. Одно время целые месяцы преследовали меня скелеты. Как сейчас помню, это было в *Лондоне*, — пришел я в гости к одному пастору. Сижу я с ним и с его семейством за круглым столом, *разговариваем*, — а между тем мне все кажется, что я у них через кожу, через мясо вижу кости, череп... Мучительное это было состояние. Потом прошло [26] <...>

Иван Сергеевич помолчал немножко.

— Ну да что о болезни толковать. Вот что: лучше придумайте мне имя для героини моего будущего романа. Я, кажется, все женские имена в календаре перебрал.

Он несколько раз говорил нам, что начал роман, что в нем будут представлены революционеры, что героиня будет хорошая девушка, но некрасивая.

— У вас Лидий никогда не было, — сказала я.

— Нет, — кажется, где-то есть. Я хочу назвать ее Марианной.

— Но ведь это имя не русское.

— Она будет польского происхождения [27]. Потом это имя идет хорошенькой женщине. Я уже решил, что и она будет недурна. Видите ли, мне хочется представить нигилистку, честную, добрую, даже нежную, но... с шорами на глазах.

— Но мне кажется, — заметила я, — нигилисток больше нет.

— Как нет? — возразила N.

— Как нет? — сказал и Тургенев. — Есть.

Я хотела сказать, что нет больше нигилистов между способной хорошей молодежью, что нигилисты остались или прежние, начинающие стариться, или между молодыми — недалекие и большей частью неискренние. Но по застенчивости я не договорила.

— А не случалось ли вам встречать... девушек из совсем новых, не нигилисток, а других?

Иван Сергеевич в спокойные минуты никогда не фамильярничал с женщинами, а тут он меня схватил за руку и воскликнул:

— Видел, матушка, видел одну такую! Она в Париже училась медицине. Она блестящим образом выдержала экзамен. Рассказывают, что один из профессоров, старик, из противников учащихся женщин, захотел сбить ее, спросил ее что-то по-латыни. И тут из нее такой Цицерон посыпался, что все присутствующие доктора, которые свою латынь давным-давно забыть успели, совсем сконфузились. Говорят, студенты ей овацию сделали. Мне показывали ее на улице. Она не красавица и не хорошенькая, но лицо довольно правильное, строгое немножко, хорошее и недюжинное. Говорят, она собирается в Константинополь, и предсказывают, что она там большое состояние наживет, потому что в гаремы до сих пор мужчин не допускают, — так медику женщины обрадуются [28].

Пришли музыканты на вокзал, стала набираться толпа.

— Смотрите, сколько рож кругом, — сказал Тургенев. — Знаете, как я разочаровался в вечности? Это было дорогой, в дилижансе, — сидел я, сидел, осмотрелся и подумал: неужто все они могут иметь претензии на вечную жизнь! И с тех пор перестал верить в вечность!

— А прежде верили? — спросила я.

— Ну, и прежде-то вера у меня была не очень крепка.

— Если бы верить в вечность, было бы слишком страшно умирать, — вырвалось у меня.

Тургенев быстро на меня взглянул и призадумался.

— Да, — произнес он медленно, — вечность страшна <...> Как подумаешь, что все кругом будет исчезать, все прежнее, все прошлое, а ты умереть не можешь... Хотя так же и полное уничтожение ужасно...

— Отчего же, если ничего не будешь чувствовать?

— Все-таки ужасно!

<...> Мы отправились гулять <...> Версты за две от города уселись мы отдохнуть <...> Тургенев опять заговорил о своем будущем романе.

— Я не люблю заранее рассказывать об том, что пишу, — это меня расхолаживает. Ну, да так и быть, уже расскажу вам. У меня будут, собственно, три героя, один главный. У нас в России для революционеров два конца — или опомниться, бросить все, или погибнуть. Мой погибнет. А в контраст к девушке мне хочется изобразить красавицу, пошлую и холодную, холодную... как огурец. Ведь у нас, писателей, как-то рука все не поднимается на красоту. Вот я и решился посягнуть на красавицу.

— Да ведь вы поднимали руку на красивых, — сказала я, — в «Вешних водах», например?

— В «Вешних водах»? Эта барыня имеет известную привлекательность для мужчин, — что нам не делает чести; но ведь она вульгарная. А мне хочется разоблачить утонченную, изящную.

— А в «Дыме» — Ирина?

— Ирина все-таки не совсем пошлая женщина.

— Да. Кроме того, Ирина — умница... Скажите, случалось вам в действительной жизни встречать таких умных женщин?

— То есть между русскими женщинами, вы хотите сказать? Да, и между русскими случалось... Как не встречать умных женщин! Как не встречать? Еще какие ум-

ницы бывают!.. Впрочем, Ирина совсем уж не так умна. Она больше «красиво» говорит <...> Вот новая моя героиня совсем уж не будет красиво говорить <...>

Добрый, мягкий Тургенев об одном человеке не мог говорить равнодушно, — бледнел и менялся в лице, — о Николае Павловиче.

— Распространился слух о его смерти, — рассказывал он, — но официального известия еще не было. Приходит ко мне Анненков. «Верно, говорит, брат был во дворце, сам видел, — еще тепленький лежит»[29]. Анненков ушел. Мне не сидится дома, все не верится. Побежал на улицу. Дошел до Зимнего дворца, — толпа. Кого спросить? Стоит солдат на часах Я к нему, делаю грустное лицо, спрашиваю: «Правда ли, что наш государь скончался?» Он покосился только на меня. Я опять: «Правда ли?» Надоел я ему, должно быть, — отвечает срыву: «Правда, проходите». — «Верно ли?» — говорю. «Кабы я такое сказал, да было бы неверно, меня бы повесили...» — и отвернулся. «Ну, думаю, это, кажется, убедительно».

На похороны его смотрел я из квартиры одного знакомого. Народу набралось много. Дам усадили у окошек, мужчины стояли за ними. Вот потянулась процессия. Передо мной одна барыня невыносимо кривлялась, стонала, ломала руки, насильственно рыдала, — давно уж она меня раздражала. Только вдруг восклицает она: «Кто? Какой русский, какой злодей не плачет об нем!» Вы видите, я человек тихий, смирный, но тут я не выдержал, закричал: «Я, я, сударыня, я не плачу!» Она у меня пискнула даже, а сам я скорее за фуражку и вон[30] <...>

Зашел разговор об аресте Тургенева после письма о Гоголе. Он рассказывал, что под арестом он написал «Муму», что Герасим живое лицо, что у его матери действительно был такой немой дворник <...>

Иван Сергеевич говорил, что в «Затишье», в лице Маши, представлена одна девушка, малороссиянка, которую он знал в молодости и в которую он был немножко даже влюблен. И она действительно стихов не любила. Я в самом дело прочел ей раз «Анчар» — и он на нее произвел впечатление.

— Сюжет, конечно, сочинен? — спросил я. — Она не утопилась?

— Конечно. Но она способна была на это.

— Удались мне генералы в «Дыме», метко попал. Знаете ли, когда вышел «Дым», они, настоящие живые генералы, так обиделись, что в один прекрасный вечер в Английском клубе совсем было собрались писать мне коллективное письмо, по которому исключали меня из своего общества. Никогда не прощу Соллогубу, что он отговорил, растолковал им, что уже будет очень глупо. Понимаете ли вы, какое бы торжество было для меня получить такое письмо? Я бы ведь его на стенке в золотой рамке повесил!

— В «Первой любви», — говорил он еще, — я изобразил своего отца. Меня многие за это осуждали, особенно за то, что я этого не скрывал. Но я думаю, что дурного тут ничего нет и скрывать мне нечего. Отец мой был красавец; я могу это сказать, так как я нисколько на него не похож, — я похож лицом на мать. Он был красив настоящей русской красотой. Обыкновенно он держался холодно, даже неприступно, но стоило ему захотеть понравиться, — в его лице, в его манерах появлялось что-то неотразимо очаровательное. Особенно он становился таким с женщинами, которые ему нравились.

— Из всех моих женских лиц я особенно доволен Зинаидой в «Первой любви». В ней мне удалось представить кокетку по природе, действительно привлекательную.

— А мальчик не живое лицо? — спросила я.

— Ваш покорнейший слуга.

— И вы так влюблены были?

— Был.

— И с ножом бегали?

— И с ножом бегал <...>

— Меня женщины мало любили, — часто принимался жаловаться Тургенев. А мы посмеемся: <?> «Какой недовольный у нас Бог! О какой героине его ни спросишь, все оказывается, что между ними что-нибудь да было, а ему все мало». Мы даже раз высказали ему это.

— Ведь я вам не говорю, что меня во всю мою жизнь совсем не любили, но во время моей первой молодости я женщинам совсем не нравился, и они были правы, потому что я был предрянной тогда, пошлый фат, с претензиями... Вдобавок я писал плохие стихи, что делало меня смешным. Женщины стали обращать на меня внимание, ко-

гда я уже сделался литературной известностью и мне было уже под тридцать.

— Я уже хотел бросить литературу, — рассказывал он, — и собрался за границу с тем, чтобы заняться другим. За несколько дней до моего отъезда заходит ко мне Некрасов и просит: «Нет ли у тебя чего-нибудь, что поместить в смесь для балласта?» Я говорю: «Ничего нет. Разве вот маленький рассказец. Только едва ли он годится». — «Ничего, сойдет». Я и дал ему «Хоря и Калиныча». Только живу я себе в Берлине и вдруг, к моему удивлению, узнаю, что рассказ мой произвел эффект. До тех пор я считал себя поэтом, а подобные рассказы писал не для печати, а для собственного удовольствия и уж никак не смотрел на них серьезно. У меня уж и тогда их набралось много.

— Я никогда не мог творить из головы, — говорил он. — Мне, чтобы вывести какое-нибудь вымышленное лицо, необходимо избрать себе живого человека, который служил бы мне как бы руководящей нитью. Оттого-то я никогда и не брался за исторический роман.

— Всякий раз, как я пробовал писать, задавшись какою-нибудь идеей, выходило плохо. Выходило хорошо и нравилось только то, что я писал просто, из какого-то глупого удовольствия описать. Как я понимал что бы и кого бы то ни было.

Раз только со мной случилось, когда я писал сцену прощанья отца с дочерью в «Накануне», я сам так растрогался, что плакал, — и не могу вам передать, какое это было наслаждение!

— Добролюбова я знал мало, Писарева также. Добролюбов казался мне более крупною личностью, а Писарев — более тонкой. Когда Писарев пришел навестить меня, он меня удивил своею внешностью. Он сделал на меня впечатление юноши из чисто дворянской семьи, нежного, холеного, — руки прекрасные, белые, пальцы тонкие, длинные, манеры деликатные. Я останавливался тогда у Василия Боткина. Надо вам сказать, что Боткин бывал часто очень груб. Когда он узнал, что пришел Писарев, он взволновался. «Зачем этот явился? Неужто ты его примешь?» Я говорю: «Конечно, приму, а если тебе неприятно, ты бы лучше ушел». — «Нет, говорит, останусь». Мне очень хотелось, чтобы Боткин ушел, — я знал его и боялся, чтобы он не выкинул чего-нибудь. Но делать было нечего, не мог же

я гнать хозяина из дома. Я их познакомил. Боткин поклонился небрежно и уселся в угол. «Ну, думаю, быть беде». И действительно, — Писарев что-то сказал, как мой Василий Петрович вскочил и начал: «Да вы мальчишки, молокососы, неучи!.. Да как вы смеете?..» Писарев отвечал учтиво, сдержанно, что едва ли г-н Боткин знает достаточно современную молодежь, чтоб всех их огулом звать неучами». Что же касается до молодости, то в этом их винить нельзя, что придет время и они созреют. Таким образом вышло, что поклонник всего прекрасного и утонченного оказался совершенно мужиком, а предполагаемый нигилист, циник — настоящим джентльменом. Я после стыдил Боткина. «Не могу, — отвечал он, — не могу переносить их» [31].

— В Рудине я действительно хотел изобразить Бакунина. Только мне не удалось. Рудин вышел вместе и выше, и ниже его. Бакунин был выше по способностям, по таланту, но ниже по характеру. Рудин все-таки хоть погиб на баррикаде, а Бакунин и на это был не способен.

— Но, однако, — возразила я, — сидел же он в австрийской крепости?

— Да ведь он попал случайно. Он был оратор по природе. В Древней Греции он увлекал бы народ своим красноречием. Он не только не был учен, но даже не был особенно образован, и ум у него был какой-то особенный — и глубокий в некоторых отношениях, и односторонний. А между тем его считали чудом учености и чуть не гением. И надувал он, совершенно ненамеренно, таких людей, например, как Занд, Фарнгаген фон Энзе. Он плохо знал языки; по-французски, по-немецки он говорил отвратительно, — между тем он так заговорил Занд, что та долго ничего слышать не хотела, считала его великим человеком и только уж после нескольких лет знакомства разочаровалась в нем. А Фарнгаген говорил об нем: «Er ist ein der begabtesten Menschen des Jahrhunderts» *. Что же касается до его отношений к деньгам, — совершенно справедливо, что почти не было человека, у которого после четверти часа знакомства он не занял бы денег. Но видите — он брал деньги и забывал, что взял; он совсем их не ценил и не понимал, что другие

* Это один из самых одаренных людей нашего века (*нем.*).

их ценят. Мы вообще не понимали, зачем и куда он тратит. Не было человека с меньшими потребностями, чем Бакунин. Он мог жить во дворце и на чердаке, и не замечать, где живет; он мог есть великолепный, тончайший обед и питаться черным хлебом и не замечать, что ест. И во всем так. Он брал деньги у одного, отдавал другому и не только не считал себя виноватым, но, я уверен, даже не подозревал, что тут может быть вопрос о вине. Вообще об его бесчестности говорили те люди, которые узнают, что Бакунин занял и не заплатил, и обрадуются: «Вот Бакунин хуже нас: долгов не платит»[32] <...>

— Когда я написал Рудина, я еще господина Некрасова не узнал, и мы еще были с ним приятелями. Он говорит мне: «Послушай, ты не будешь в претензии? Мне хочется твоего Рудина заковать в стихи, чтобы он более врезывался в память!» Я говорю: «Ты знаешь, что я до твоих стихов не охотник, — но в претензии не буду, пиши что хочешь». Он написал «Сашу» и, по своему обыкновению, обмелил тип[33].

— До четырнадцати лет, — вспоминал Тургенев, — я был маленький ростом; угрюмый, упрямый, злой и любил математику. Четырнадцати лет я сильно заболел, пролежал несколько месяцев в постели и встал почти таким высоким, каким теперь меня видите. Доктора уверяли, будто я и болел-то от сильного роста. С тех пор я совершенно изменился, — стал мягкий, слабохарактерный, полюбил стихи, литературу, стал склонен к мечтательности <...>

Я призналась раз <ярому поклоннику Достоевского>, что талант Достоевского мне не симпатичен. <...> Он призвал меня на суд перед Тургеневым.

— У Достоевского много хорошего, — сказал Иван Сергеевич.

— Да, — подтвердила я, — «Мертвый Дом»...

— «Преступление и наказание» страшная вещь.

— «Преступление и наказание» хорошо в своем роде, но мы <...> спорили о «Бесах». «Бесы» мне совсем не нравятся.

— Нет, хорошо, — произнес Тургенев как-то неопределенно.

— По-моему, во-первых, роман скучен, а потом, в нем все так туманно, неясно.

— Да, правда, — вырвалось у него. — А впрочем, все-таки хорошо, — прибавил он, как будто поправляясь. <...>[34]

— Толстой, — говорил Иван Сергеевич, — величайший романист нашего времени. Перед его талантом я благоговею. Только, к несчастию, его ум не на высоте его таланта. Кроме того, он чудак во всем. Например, вздумал он заниматься философией, прочел одного Кузена и решил, что теперь он насчет философии всю суть знает, что все остальное будет повторение, что теперь он может своим умом идти дальше. И во всем так. Вот оттого-то в его творениях, там, где он говорит не образами, а берется умствовать, начинается что-то водянистое, часто нелепое <...> Иностранцы его не ценят. «Детство и отрочество» было переведено по-английски и не понравилось, приняли за подражание Диккенсу. Они не привыкли к такого рода тонкому... психологическому анализу. Я сам хотел перевести «Войну и мир» на французский язык, но с пропусками всех рассуждений, потому что я знаю французов, — они за скучным и смешным не увидят хорошего. Несмотря на то что мы с ним давно не видимся, я через общих знакомых просил у него разрешения на перевод и на пропуски. Он отвечал, что пропустить ничего не позволит. Я хотел, по крайней мере, собрать все рассуждения, разбросанные в романе, и поместить в конце книги с умозрениями о войне и пр., чтобы таким образом роман был сам по себе. Он и на это не согласился, и я от перевода отказался. Перевел кто-то другой, и, вероятно, французы читать не станут <...>[35]

— Сегодня Бог не был у источника, — сказал мне Петр Михайлович. — Я зашел к нему справиться о здоровье, он сидит в лиловой фуфайке, перед ним куча писем; говорит, был болен, а теперь выздоровел, а сам так и сияет. Письма эти все из Америки с выражением восторга <к> его таланту. Один из его переводчиков и издатель его сочинений в Америке (Брет-Гарт, кажется) пишет, что издание разошлось быстро, и присылает почтенный куш денег. Один какой-то критик говорит, что американцам особенно нравятся «Отцы и дети», потому что в Базарове они находят что-то «американское». Мы уже съездили с Иваном Сергеевичем в Америку[36].

— Чего эти переводчики только не делали со мной! — жаловался Тургенев. — Один немец, например, даже не

перевел, переделал по-своему «Накануне». Он пожелал, чтобы быть приятным читателям, сделать счастливую развязку, и, вообразите, заставил Инсарова тронуться слезами матери Елены, отказаться от борьбы за родину, остаться в Москве и — поступить на русскую службу! Каково это моему авторскому сердцу! [37]

Часто заводил он речь о своем будущем романе.

— Лица у меня еще не выяснились. В нынешней молодежи есть что-то новое, а случаев к наблюдению мало. Надо ехать в Россию и пожить там. Хотелось бы мне съездить в Цюрих, — там их много, — да ведь они меня, пожалуй, побьют. Недавно, говорят, была там история: они за что-то рассердились на одного русского, хотели его побить, да ошибкой отколотили его секретаря [38]. Когда я был прошлым летом в Орле, хотелось мне очень попасть в один кружок, да невозможно было, не поддавались они на знакомство [39]. Был между ними один человек, который особенно меня интересовал. Он имел большое влияние на весь кружок, преимущественно на женщин. И не то чтобы он был хорош собой, чтобы в него влюблялись, — тут было что-то другое. Раз я своими глазами видел, как он стоял у окна своей квартиры, идет мимо одна девушка, — я знал, что она была незнакома с ним, — он только пальцем поманил, и она пошла к нему <...>

На улицах, на гуляньях незнакомые его осматривали, а бесчисленные знакомые то и дело ему кланялись, ловили его, останавливали. <...> Знакомых своих он избегал. <...>

Показал он, между прочим, Столыпина, высокого-высокого, с крошечной головкой на длинной шее:

— Это брат известного Монго Столыпина, друга Лермонтова. Тот был красавец, такой красавец, что нельзя было пройти мимо него, не остановившись. <...>

Приходит Иван Сергеевич к обеду, молча пожал нам руки, сел и взглянул на нас патетически.

— Вообразите, что со мной сегодня случилось?!

— Что такое?

— Явились ко мне с визитом господин Адамов с господином (не помню, кто был другой), уселись, осыпали меня любезностями и... стали говорить со мной как с

своим единомышленником! И кончили тем, что предложили мне для искоренения вредных идей в России издавать газету с направлением вроде Мещерского! [40]

Мы расхохотались.

— Да, вам хорошо смеяться! А меня они глубоко оскорбили!.. Ну, да покажу я им себя в своем романе, — отделаю их — останутся довольны! <...>

На следующий год (1874-й), в мае, доктора опять отправили нас в Карлсбад.

<...> В Карлсбад приехали мы в конце июня. Там нас ждало письмо от Тургенева. Он писал: «В понедельник выезжаю из деревни и <...> через десять дней буду в Карлсбаде...» Но через два дня получили мы от него другое письмо: — «Человек предполагает, а подагра располагает. Вчера я должен был выехать отсюда в Карлсбад, — а сегодня лежу недвижим в постели с распухшим коленом и принужден ждать у моря погоды. Припадок, кажется, не силен, и я все-таки надеюсь через неделю выехать», и т. д.

Ждали мы его, ждали и неделю, и две, и три и ждать перестали. Наконец раз поутру, <...> переходя через Старую Вильзу, я слышу, что меня зовут. <...> Оборачиваюсь, — коляска, и в ней Тургенев.

— Ах, Иван Сергеевич, — воскликнула я, подбегая к нему. — Наконец-то вы приехали!

— Во-первых, извините, что я не могу сойти к вам, у меня, кажется, опять начинается припадок подагры.

— Неужели? Нельзя ли предупредить припадок?

— Нет. Уж если она, голубушка, схватила человека, так сожми зубы и терпи, — больше ничего не поделаешь! Я теперь еду повидаться с доктором Зегеном, а потом домой и стану ждать, что будет. Ведь я и в деревне, и в Петербурге лежал.

— А мы вас ждали, ждали... Однако я вас задерживаю. Мы лучше к вам зайдем, когда вы вернетесь.

— Я буду дома через полчаса. Я к Зегену даже не выйду, вызову вниз, — боюсь на лестницу подняться.

Мы застали Ивана Сергеевича еще на ногах, но он жаловался, что ноги разбаливаются.

— Неудачная моя поездка на этот раз. Думал над своим романом поработать, а вместо того лежал, лежал и лежал... Вот я вам покажу, какое впечатление произвела на меня деревня нынешний год.

Он подошел к письменному столу, на котором уже успел аккуратно разложить почтовую бумагу, перья, карандаши, портфель. Он вынул из этого портфеля тетрадь.

— Вот смотрите, — это все, что я был в состоянии записать в своем дневнике.

Мы прочли: «Такого-то числа: Растреклятая деревня!..»

— А вы разве ведете дневник? — спросил Петр Михайлович.

— Веду уж давно <...> Кроме других причин, я веду дневник для постоянного упражнения. Для писателя это необходимо. Чуть заленишься, не пишешь некоторое время, — потеряешь привычку, и трудно опять приниматься.

— Что же, ваш дневник будет когда-нибудь напечатан?

— Не-е-ет! Ни в каком случае! Даже в завещании оставлю просьбу сжечь его немедленно после моей смерти.

— Ну, что это! — воскликнула я.

— Это обидно, — сказал и Петр Михайлович. — Ведь у вас в жизни был богатый материал для дневника.

— Что делать! Что делать! Печатать нельзя. Все будет сожжено <...> [41]

— Ну-с, однако, я не досказал вам своих бедствий. Только что отпустило меня, я поскорее собрался. Доехал я до Петербурга, там опять слег и провалялся почти три недели. В Петербурге грязь, пыль, мерзость. Я никому не дал знать о себе, да в то время едва ли кто из моих приятелей и был в Петербурге. Только лежу я раз вечером в своем номере у Демута, вдруг стучат в дверь, — слышу незнакомый голос. Можно войти? Кто бы это, думаю... Входит знаете кто? Помните <...> Топорова, который еще оказался нигилистом. Впрочем, вы, кажется, его всего раз видели. Я, говорит, Иван Сергеевич, слышал, что вы больны, и пришел за вами присмотреть. Я поблагодарил. Он сел. Мы потолковали с ним немножко, потом он объявил мне: вы теперь отдохните, а я пойду в ту комнату, почитаю, а там спать лягу. Да вы что на меня так смотрите? Я ведь за вами ходить пришел. Я, разумеется, сконфузился, а он одно: не ваше это дело! И так все время, пока я был болен, он со мной возился, почти как сиделка. И за это время мы с ним коротко познакомились. Разговаривать с ним трудно — он молчалив. Но, сидя вдвоем да вдвоем, поневоле разговоришься. Рассказывал он мне, между прочим, свою историю. Ну, я вам скажу, только у нас в России могут случаться такие ис-

тории. Во-первых, он оказался незаконный сын которого-то из великих князей, кого именно, он сам не знает, должно быть, он плод мимолетной великокняжеской шалости. Но почему-то царская фамилия приняла в нем особенное участие. Когда он остался сиротой, его взяли во дворец и определили сначала к покойному наследнику. Должность ему дали вроде той, что исполняли в помещичьих домах так называемые казачки, то есть находился он всегда под руками — нужно куда-нибудь зачем послать, его посылают. Вырос он, и об образовании его подумали — сначала хотели было сделать из него медика, но он способности к медицине не оказал. Поучили, поучили его кое-чему и, когда он стал совершеннолетним, избрали ему профессию придворного дантиста. «Да какие же обязанности придворного дантиста?» — спросил я. «Никаких, — отвечал он. — При дворе, конечно, у каждого собственный дантист. Если бы, например, случилось, что все дантисты в Петербурге вдруг исчезли и кому бы нибудь во дворце пришлось выдернуть зуб, то дергать был бы обязан я, и не позавидовал бы я тому, кто попался бы мне в руки. Но так как дантисты все исчезнуть не могут, то я никому никогда зубов не дергал, а оклад мне положили». Итак, Топоров, говорю я ему, вы были придворный дантист. Да, придворный дантист и нигилист. Рассказывал он мне еще, как он одно время вертелся в одном нигилистическом кружке, как он раз без достаточного уважения отозвался о каком-то их божке, как его за это заподозрили в шпионстве и предали всеобщему позору. «Как же это вас предали позору?» — спросил я. «Так, просто объявили мне, что я предаюсь всеобщему позору» <...>

— Не умею я с большими детьми говорить, — сказал Иван Сергеевич <...> С маленькими детьми я люблю возиться. Мне доставляет какое-то физическое наслаждение, когда они по мне лазят, когда их маленькие ручки и свеженькие щечки до меня касаются. А с большими я обращаться не умею, — я не умею угадать, что для них интересно, что нет. И все я боюсь, что говорю с ними недостаточно бережно, боюсь, как бы не оскорбить их детские самолюбия <...>

Разговорились об том, кто как переносит страдания.

— Одного больного я забыть не могу, — рассказывал Тургенев. — Это был мой старый знакомый, русский. Умирал в Париже от водянки. Я каждый день навещал его, умирающего, и каждый день приходил в ужас. Он ни

ходить, ни сидеть, ни лежать уже не мог. Он как-то висел на кресле и беспрестанно захлебывался. Живот у него был гора настоящая. Руки и ноги уже не похожи на руки и ноги. Он знал, что он выздороветь не может, что ему предстоят все большие и большие мучения, а между тем твердил одно и таким страшным задыхающимся голосом: «Ты видишь, в каком я положении, — а ведь я все-таки жить хочу, хочу жить!»

К вечеру Тургенев слег. Петр Михайлович стал навещать его каждый день; я же, к своему огорчению, сначала не ходила **к** нему, боясь его стеснить; но раз, воротившись от него, Петр Михайлович сказал мне <...>: к Богу можно завтра идти, он тебя приглашает <...> Тургенев лежал в шерстяной фуфайке, ноги у него были закутаны пледом. В какой это галерее, на какой картине представлен раненый лев, стала я припоминать, как только увидела его голову с седой гривой, рассыпанной на подушке. Около постели сидел худенький сгорбленный человечек с гладко выбритым, сморщенным, съеженным, каким-то обиженным личиком. После первых приветствий, когда мы уселись, Иван Сергеевич сказал:

— Вот мы с ним говорили об том, что на свете бывали разные властелины: и добрые, и злые, и тираны, и злодеи, но не бывало еще царя-юмориста.

— Как юмориста? — спросил Петр Михайлович.

— Так, юмориста, который бы не мучил, не притеснял людей, а только бы тешился над ними. Я придумывал, что бы он делал... Например, захотел бы он позабавиться над честолюбием людей и придумал бы орден, который могло бы получать только одно лицо в государстве. Прав бы этот орден никаких не давал, но почетнее, выше награды бы не было. Носиться бы должен он был не так, как другие ордена, а под платьем на брюхе. Но главная штука была бы в том, что он был бы тайной, то есть тот, кто получил бы его, был бы обязан дать клятву, что он никому, ни даже отцу, матери, жене, детям не признается, что он и есть единственный счастливец в государстве. И ордена этого царь-юморист никогда никому бы не давал. Теперь представьте себе эту картину, — все придворные мечтают об этом ордене, и каждый старается дать понять другим, что его-то именно и декорировали по секрету... И все друг другу не верят и вместе думают друг про друга: черт возьми! а как в самом деле ему дали!.. Молодые люди мечтают совершить какой-нибудь подвиг, чтобы получить таинст-

венную награду, потому что самая эта таинственность придает ей особенный престиж в глазах дам... А царь-юморист со своего трона наблюдает и про себя посмеивается.

Мы смеялись, сгорбленный человек грустно смотрел и грустно улыбался. Он посидел еще немножко, вздохнул глубоко и ушел. Тургенев покачал ему вслед головой с сожалением и легкой насмешкой.

— Ведь развалиной смотрит, а ему не больше сорока лет, — и укатало его так неудовлетворенное честолюбие. В юности он служил по дипломатической части, и ему везло, — по как-то, в каком-то обществе, при каком-то дворе он по молодости лет проболтался о какой-то дипломатической тайне и этим погубил свою карьеру. И с тех пор вот все томится <...> А что, хороший я ведь орден придумал? Часто мне приходят в голову сюжеты для сатиры, только сатирического таланта у меня нет. С одним сюжетом я долго носился, но для меня он не годится — с ним мог бы сладить разве Вольтер. Хотите, я вам расскажу? Или, может быть, вам будет скучно?

Мы, конечно, поспешили уверить, что нам будет очень интересно.

— В некотором царстве, в некотором государстве в одни прекрасный день упал на землю аэролит и вместе с ним лист бумаги, покрытый каким-то неведомым шрифтом. Лист этот попал в руки ученого. Ученый заинтересовался, стал разбирать, не разобрал, напечатал о своей находке; другие ученые заинтересовались, — собрался целый научный синклит разбирать иероглифы, — наконец прочли. Это оказался обрывок газеты, упавший с дальней планеты. В нем отдавался отчет о публичной лекции одного профессора. В лекции этой, было сказано в газете, дело шло о вновь открытой астрономами маленькой планете. Профессора хвалили, сожалели, что на его чтении произошел скандал, но упрекали его, что он уж слишком злоупотребил гипотезой. Тут было оторвано несколько параграфов, остался только конец отчета. «У нас, — говорил лектор, — раз в год разверзается небо, и мы слышим голос: я есмь, я существую! Но вообразите себе несчастных людей, которые никогда этого голоса не слышат, которые не знают, откуда они пришли, куда идут, знают только, что они родились и должны умереть. В своем сомнении, в своем страхе смерти выдумывают они себе бога и доходят до того, <что> уверуют в него...» — «Невозможно! — закричали в публике. — Невозможно уверовать в собственную вы-

думку!» — «Господа, это гипотеза. Я пойду дальше, — они захотят его олицетворить. Так как он все создал, сообразят они, он может всем распоряжаться, — значит, он всемогущ. Затем в утешение себе они решат, что он всемилостив. Но, вспомнив о болезнях, горестях, бедствиях, они прибавят, что он справедлив и наказывает за грехи... Какой-нибудь вольнодумец возразит, что ведь часто страдают больше всего добрые, а злые наслаждаются. Уверовавшие сначала рассердятся, нападут на вольнодумца, затем придумают... Ну, хоть первобытный грех, который совершил первый человек и за который должно отвечать все человечество во имя высшей справедливости. Потом запутаются, может быть, сочинят даже целую легенду, хоть, например, об том, как бог захотел простить человечеству первобытный грех, захотел по своему милосердию сам искупить его. Для этого он сошел на землю, но не в своем виде, а в виде человека... Он раздвоился... может быть, даже расстроился и все-таки остался один...» — «Вздор! Вздор! Нелепость!» — кричат в публике. «Гипотеза, господа, гипотеза! И так как бог-человек и воплотившись все же должен остаться богом, то не может родиться он, как все люди, — родится он, положим, от девы, которая и после его рождения останется девой...» Тут лектору не дали договорить, стащили его с хохотом с кафедры, надели на него дурацкий колпак...[42]

А то слушайте еще другой сюжет. Была дикая страна. Жители в ней были, как звери, даже религии не имели. Явились туда два цивилизатора. Один из них начал с того, что стал проповедовать религию, религию прекрасную, религию любви, милости, всепрощения. Его не слушали, смеялись над ним, считали сумасшедшим. Товарищ его был много его ниже и по уму, и по характеру, но хитрее, лукавее. Он прислушивался к его словам, запоминал и через некоторое время сам стал проповедовать то же самое, но популярничая, опошляя прекрасные мысли. Над ним не смеялись, у него нашлись даже последователи. Один из этих последователей был человек ловкий, он догадался, распустил слух, что новый проповедник — пророк, настоящий пророк и что у него вместо пупка огромная жемчужина! Тогда весь народ, вся чернь уверовала... Выстроили храм неведомому богу, лжепророка произвели в главные жрецы, его первых последователей сделали также жрецами, и посыпались на них деньги, приношения... А тот, первый проповедник, с ужасом увидал, что его благородные

мысли искажаются... Он пробовал возражать, возражал публично. На него напали как на богохульника, заковали в цепи, судили и приговорили к казни... На площади перед храмом толпа: у преддверья храма на троне сидит главный жрец, окруженный другими жрецами. Посреди площади воздвигнут костер. На костер тащат несчастного: чернь ругается над ним, бросает в него камнями... Вот его втащили, привязали, дрова подожгли. Чернь рукоплещет, жрецы поют хвалебные гимны всемогущему существу, а главный жрец, подняв руки к небу, восхваляет бога милости, бога любви!..

Ивану Сергеевичу было лучше в тот день; он только изредка охал, когда приходилось повернуться. Он был весел, шутил, смеялся <...>

— Ах, да! Постойте уходить: ведь я вам не сообщил, какое приключение еще со мной было, — сказал он с радостной улыбкой. — По дороге из деревни в Москву, на одной маленькой станции, вышел я на платформу. Вдруг подходят ко мне двое молодых людей; по костюму и по манерам вроде мещан ли, мастеровых ли. «Позвольте узнать, — спрашивает один из них, — вы будете Иван Сергеевич Тургенев?» — «Я». — «Тот самый, что написал «Записки охотника»? — «Тот самый...» Они оба сняли шапки и поклонились мне в пояс. «Кланяемся вам, — сказал все тот же, — в знак уважения и благодарности от лица русского народа». Другой только молча еще поклонился. Тут позвонили. Мне бы догадаться сесть с ними в третий класс, а я до того растерялся, что не нашелся даже, что им ответить. На следующих станциях я их искал, но они пропали. Так я и не знаю, кто они такие были <...>

— Я сейчас заходил к Богу, — сказал мне Петр Михайлович. — Ему сегодня получше, и он развеселился, зовет нас вечером, хочет нам прочитать новый рассказ <...>

— Я должен вас предупредить, — сказал <Тургенев>, вынимая тетрадку, — что я прочту вам пустяк. Ко мне пристали: вынь да положь, давай хоть что-нибудь, — обещать-то я обещался, а готового у меня ничего нет. Вот я в деревне и отыскал этот рассказ между заброшенными бумагами и отделал его, насколько мог <...> Это одно из тех личных приключений, которые я, бывало, записывал для собственного удовольствия, никак не воображая, что кто-нибудь когда-нибудь захочет это напечатать.

Не помню, по какому случаю разговор зашел о воспитании.

— Мое убеждение, — говорил Иван Сергеевич, — что можно обучить, но не воспитать. Каким образом, под каким впечатлением складывается характер, до сих пор еще остается неразгаданной тайной. Вот вам пример, — сказал он между прочим. — Нас с братом и Самариных наши отцы воспитывали по одной и той же системе. Я описал подобную систему в «Дворянском гнезде» в детстве Лаврецкого. В это время многие увлекались так называемым спартанским воспитанием. И что же вышло? Я оказался слабохарактерным, расплывчатым, а из Юрия, Дмитрия Самариных вышли люди сосредоточенные, с сильной волей <...> Да, тяжело в те времена приходилось детям. Отец мой только раз в жизни поцеловал меня, — когда я выдержал выпускной университетский экзамен. Последние годы перед смертью он лежал почти недвижим, а мы его, больного, расслабленного, боялись как огня. Каждое утро и каждый вечер мы обязаны были приходить к нему целовать у него руку, но затем уже без позволения не смогли входить в его комнату. Бывало, если сверх положения позовут нас к отцу, мы уже дрожим, — знаем, что недаром.

Тургенев все болел. Он очень тосковал.

— Уж если лежать, так хоть лежать дома, со своими, — жаловался он.

Тургенев наконец вышел из терпения и собрался в Париж.

— Пить воды нельзя, пока припадок продолжается, а кто его знает, долго ли он продолжится — пожалуй, до конца сезона.

Накануне его отъезда мы пришли к нему проститься. Мы застали его в приемной комнате, на диване.

— Видите, я в состоянии немного двигаться, — сказал он нам. — Завтра доведут меня до коляски, довезут до вокзала, усадят в вагон. Я еду на поезде прямого сообщения и надеюсь кое-как добраться. Дам на водку, чтобы ко мне в вагон не пускали, а если это не поможет, то, как кто ко мне полезет, притворюсь сумасшедшим, — пассажиры испугаются и оставят меня в покое. <...>

Вошел другой гость — этому он обрадовался. Это был г-н К., немец лет тридцати пяти, совсем на немца не похожи, — такой подвижный, оживленный. Оказалось что он

десять лет прожил в Америке и обамериканился. Впрочем, Америку он не любил.

— В Америке, — говорил он, — хорошо дело делать, деньги наживать, но жить скверно. С американцем европеец дружески сойтись не может. Там европейцы жмутся друг к другу. Американцы грубы, антипатичны. Ни один из них задаром пальцем не двинет, чтобы помочь человеку, хоть погибай при нем. Вот вам пример: раз при мне наехал дилижанс на человека, переломил ему ноги и почти до смерти раздавил; так что он едва дышал. Я, конечно, бросился к нему. Никто кругом даже внимания не обратил, и когда я остановил прохожего, чтобы он помог дотащить несчастного до извозчика, так он спросил меня: «Это ваш брат?» Они даже не могут представить себе, что можно помочь постороннему из простой жалости.

Рассказывал он еще о неграх.

— Негров освободили! Неграм дали права! Да знаете ли, как американец презирает негра? Говорят в Европе: «Там, в Новом Свете, истинная свобода, нет предрассудков...» Вот я вам что скажу — вашего поэта Пушкина в Америке никто бы в лакейскую не пустил только оттого, что у него предок был черный. Расскажу я вам два факта, которые мне припомнились теперь. Зашел я в магазин, прехорошенькая и совершенно порядочная дама выбирает матерью. Сначала все шло хорошо; захотела она пощупать доброту и сняла перчатку, — вдруг приказчик стал с ней так грубо обращаться, что я вступился за нее. Что же он мне ответил? «Посмотрите ей на ногти, и вы поймете, чего она стоит». В другой раз отправились мы с женой по железной дороге на дачу к знакомым. Нас вышли встретить на дебаркадере. Не успели мы выйти из вагона, как мой знакомый накинулся на меня: «Что вы наделали? Вы компрометировали вашу жену». — «Что такое?» — «Разве вы не заметили, кто около вас сидел?» — «Кто? Барыня какая-то...» — «Вы ей на ногти не посмотрели? Я знаю ее — это квартеронка!»

— Какой славный немец, — сказала я, когда К. ушел.

— Да, — подтвердил Тургенев. — Я его очень люблю. Он бывший эмигрант. В молодости он был заподозрен в участии в каких-то смутах и эмигрировал. А теперь воротился, живет в Берлине, выбран депутатом в рейхстаг. С летами он уходился, но беспокойная жилка в нем все-таки осталась <...> Да не в том дело, я хочу вам сообщить, чем я был занят последние дни. Надо вам сказать, что накануне

моего отъезда из Петербурга вышел я из гостиницы по разным хлопотам; возвращаюсь домой и нахожу у себя букет и визитную карточку: «Анна <Павловна> Философова» <...> Я, конечно, отправился к ней. Она меня приняла крайне любезно, объяснила мне, что как писатель я ей всегда нравился, но что против меня, как человека, не зная меня лично, у нее были предубеждения, а теперь она убедилась, что я человек хороший. <...> Я слышала, говорит, что вы пишете роман о новых людях, так не хотите ли, я вам дам некоторые бумаги, которые вас близко познакомят с этими людьми».

Я, разумеется, не отказался и вот на днях получаю я от нее целый портфель с письмами разных лиц и ее собственный дневник. Все это в высшей степени интересно для меня, только не с той стороны, с которой она думала. Особенно интересно тут одно лицо, молодой человек, который подписывается не иначе, как *«Ваш* Лео, из известного романа Шпильгагена» [43]. Боже мой! Что это за самопоклоняющийся дурак должен быть! Вот вам *образчик*, — он сам об себе говорит: «Я часто сам удивляюсь своим силам: я в двадцать лет постиг до глубины все, что может знать современный человек, я изучил все науки, известные человечеству». Я передаю вам не его словами, но смысл тот же. И все в этом роде. <...> Так вот в чем дело: воспользоваться всем этим для моего романа я очень бы желал, только бы я над Лео и над многими тут фигурирующими лицами жестоко бы посмеялся, а ведь она думала поразить меня и восхитить... Как же быть? Ведь при таких условиях мне нельзя воспользоваться!

— Конечно, нельзя! — подтвердил Петр Михайлович.

— А ведь соблазн велик! Вот что я *придумал*, — напишу я ей откровенно: так и так, сударыня, мы расходимся с вами во мнениях **. Не позволите ли вы мне все-таки высказать свое мнение печатью? Да ведь не позволит.

— Разумеется, не позволит.

— Обидно, очень обидно! У меня в голове уже сложилась целая сцена между моим героем и этим Лео. Герой мой столкнулся бы с Лео в тяжелую минуту колебания и почти полного разочарования, и Лео его бы доконал <...>

В конце мая (1875 г.) двинулись мы опять за границу <...> В Мариенбаде грустно нам жилось <...> В один тоскливый день узнаем мы, что Тургенев приехал в Карлсбад <...>

— Знаешь что? — сказал мне Петр Михайлович *вечером*. — Не съездить ли нам в Карлсбад, на Бога посмотреть.

— В самом деле, съездим <...>

Мы застали Тургенева дома <...> Вошел в комнату господин — немолодой, худощавый.

— Алексей *Толстой*, — назвал его Тургенев.

Толстой был похож и не похож на портрет, приложенный к последнему изданию его сочинений. Черты были те же, но не было у него того мечтательного, как будто даже восторженного взгляда. Вообще, на портрете лицо его украшено и одухотворено. Оно у него было самое обыкновенное <...> Я все мысленно сравнивала Толстого с Тургеневым. «Оба *они*, — думала я, — в высшей степени благовоспитанны, а есть разница. У Толстого заметен оттенок. Эти bonnes manièrs, от которых людям простым становится неловко. У Тургенева же обращение благородное, изящное, и вместе с тем чувствуешь, что в нем нет того джентльменства, которое шокируется из-за пустяков» <...>

— Отгадайте, кто навестил меня *вчера*, — сказал Тургенев, как только пришел к нам в вокзал и *уселся*. — Помните, я вам рассказывал о дневнике Философовой и об одном молодом человеке, что величал себя Лео?

— Помним.

— Ну, так этот самый господин являлся ко мне, нарочно приезжал сюда, чтобы со мной повидаться. И как вы думаете, зачем? Надо вам сказать, я написал тогда Философовой и в письме менаду прочим высказался об нем откровенно. Оказывается, что она мое письмо показала всем своим знакомым, и этого Лео задразнили, что вот Тургенев находит его неумным. Так он приезжал ко мне, чтобы заставить меня переменить мнение о себе, но — я мнения не переменил... И сурово же я с ним разговаривал, даже сам себя не узнал. Он толковал мне: «Вы нас не знаете, мы еще не имели случая действовать...», и все «мы» да «мы»... А я: «Ну вот, когда вы что-нибудь сделаете, вас будут уважать. А до тех пор за что же?» Да, я, может быть, и не решился бы быть с ним таким строгим, если бы у него рот не был такой противный... Такие у него губы неприятные!..

— Не позволила вам Философова воспользоваться ее бумагами для романа? — спросил Петр Михайлович.

— Нет, так, как я хотел, не позволила.

Разумеется, по случаю романа зашел разговор о новых людях.

— Нигилисты, — говорил Иван Сергеевич, — были еще наши дети. Они еще много говорили, мало делали, а эти совсем не говорят и готовы делать, жертвовать собой, только не знают, что делать, как собой жертвовать... И еще я убедился, что большая часть из них чистейшие идеалисты. Я недавно одному из них говорил: «Вам не революционером быть, а элегии писать». Он даже как будто согласился. «Зачем же, спрашиваю, вы не за свое дело беретесь?» — «Так, говорит, надо...» — а у самого лицо растерянное... Другого объяснения он мне не дал, — уж не знаю, не хотел ли он или действительно он сам хорошенько не знал, зачем лезет на рогатину.

А то я еще экземпляр знаю, — тот из принципа женился на крестьянке, и на самой дурной и глупой, которую и мужики-то обегали.

— Зачем же на самой дурной и глупой? — спросила я.

— Кажется, также из принципа, — он женился, чтобы слиться с народом, а видите, народ будто не разбирает, хороша ли, дурна ли жена, только бы хозяйка была. Поселился он с ней в курной избе, начал жить совсем по-мужицки и, конечно, не выдержал. Кончилось тем, что жене он выстроил дом, дал денег, только чтобы отделаться от нее, и, кажется, кроме того, постоянно откупается от нее.

Недолго нам пришлось побыть с Тургеневым, поезд уходил рано. В этот год мы с ним больше не виделись.

Весной (1876 г.) наш домашний доктор стал опять гнать нас за границу. Но только что соберемся, муж мой опять сляжет, и так продолжалось до лета. Наконец воспользовались мы первой передышкой и отправились. Уже на пароходе Петр Михайлович опять слег. Мы остановились в Нижнем, и там он пролежал двое суток, в Москве полторы недели, в Петербурге мы засели на целых три <...> Петру Михайловичу стало полегче, мы решились ехать дальше. Дня за два до назначенного отъезда узнали мы, что Тургенев в Петербурге и остановился у Демута. Петр Михайлович очень обрадовался. «Хоть немножко освежусь, хорошего человека увижу!» Он пошел к нему.

— Иван Сергеевич, — сказал он, возвратившись, — непременно хотел прийти к тебе, но я его просил не ходить <...> Завтра утром я обещался привести тебя к нему, если сил достанет. Он едет послезавтра в Париж, так что мы попадем с ним на один поезд.

Часов в десять утра постучались мы в номер к Тургеневу. Он сам отворил нам:

— А! Очень рад! Входите, входите! Я вам и чай приготовил <...>

— Постойте, что я вам покажу! — Он пошел в соседнюю комнату и принес исписанную бумажку. — Слушайте!

Он прочел стихотворение «Крокет».

— Вчера вечером я был на пресловутой pointe * и там встретился с Горчаковым. Потолковали мы с ним, и вот это стихотворение — следствие нашего разговора [45]. Как вы знаете, у меня поэтического таланта нет, но страстишка к языку богов есть. Нет, нет — и прорвусь... Всю ночь не спал, все стихи сочинял, — прибавил он, добродушно улыбаясь и посмеиваясь сам над собой. — Отдам их напечатать, хоть они и плохи, — насчет этого хочется хоть как-нибудь, да высказаться.

— А что ваш роман? — спросил Петр Михайлович.

— Слава богу, — кончен; сдам его сегодня. Здесь он у меня, в этом столе, — переписан и готов!

— Здесь он у вас? Пожалуйста, выньте его и покажите ей издали.

— Зачем же издали? Если вас интересует, я и вблизи покажу.

Он вынул из стола тетрадь и показал мне. Я прочла заглавие: «Новь».

— Что, Наташа? — поддразнивал меня муж. — Око видит, зуб неймет!

— Скоро, скоро прочитаете, — сказал Иван Сергеевич.

— Какое же скоро, — пожаловалась я. — Не раньше января. И, кажется, он не длинный!

— Как не длинный! Я, против своих правил, растянул его, очень уж мне хотелось все сказать. И не уступлю я из него ни строчки, ни словечка. Я так и Стасюлевичу сказал, — если всего не пропустят, если хоть что-нибудь вычеркнут, беру назад и печатаю за границей. Я знаю, он не понравится; будет та же история, что с «Отцы и дети». Все меня бранить будут, никто мне не поверит, придется ждать молча, чтобы убедились, что я писал то, что видел, и как понял. Если я ошибся, что делать? Беда не большая, будет одним плохим романом больше на свете. Но не думаю, чтобы я ошибся <...>

---

* стрелке (*фр.*).

Взяли мы отдельное купе и только что успели разложить по сеткам свои несессеры и свертки, как у двери показался Тургенев.

— Здравствуйте! Я вас искал, думал, уж не остались ли вы. Я поместился с вами рядом, сейчас устроюсь и приду к вам.

Как сейчас смотрю на него, как он сидел передо мной в вагоне, в темно-синем с ю р т у к е, — такой красивый, ласковый, добрый! Он опять завел речь о своем романе:

— Будет в нем одно словечко, которое может сделаться таким же популярным, как слово «н и г и л и с т», — очень уж оно метко выражает стремление современной молодежи. Только не я его нашел.

— Какое же это словечко? — спросила я.

— Не скажу. Я пока держу его в секрете.

— Кто же его нашел?

— Вообразите, простая мещанка. Когда я останавливался весной в Москве, по дороге в деревню, мне случилось быть в гостях у знакомого мещанина. Позвал он меня на свадьбу сына. На свадебном обеде меня посадили рядом с теткой молодого, бабой бойкой и замечательно умной. Я с ней разговорился и, так как у меня в то время все мой роман бродил в голове, стал я ее расспрашивать, не случалось ли ей видеть кого из тех молодых людей, что «в народ ходят». «А, говорит знаю! Это те, что...»

И сказала она это с л о в о, — у меня даже холод по спине пробежал; вот оно, думаю, слово-то настоящее. Она употребила глагол, а я из него сделал прилагательное. Оно, собственно, значит человек, который хочет сделаться совсем простолюдином.

— Какое же это слово может быть? «Опростонародиться»?

— Нет. Опростонародиться — все-таки заключает в себе что-то вроде осуждения, а она просто определила... Да нет, не спрашивайте, ничего больше не скажу. Узнаете, когда роман прочитаете. И умница же была эта женщина, просто палата ума, что ни скажет — что называется, рублем подарит и говорит просто, спокойно.

Стал он нам рассказывать об эмигрантах.

— Много их ко мне ходит. Большая часть из них бедствует. И у всех одна песня: «Милостыни не хотим, дайте работы!» Я им обыкновенно отвечаю: «Вы просите того, чего всего труднее достать!» Ведь какой работы они просят? Уроков или корреспондентства. Учить они большею час-

тью могут только русскому языку, и то с грехом пополам. А много ли в Париже желающих учиться по-русски? На каждого ученика придется десять учителей. Что же касается до корреспонденций, я сколько раз им доказывал, что у наших редакций есть такие корреспонденты, как Золя и другие, хоть не столь талантливые, но умелые, так кому же охота их брать? Да и об чем они могут писать из Парижа. Что они видят, что знают. Устроил я с помощью госпожи Виардо концерт, и на собранные деньги основалась русская библиотека. Библиотека, собственно, предлог. Я хотел, чтобы у них было место, где бы они могли проводить несколько часов в теплой комнате и где бы они могли собираться, чтобы не быть совершенно потерянными в большом городе. Заходил я к ним недавно туда. Господи! Что за грязь, за хаос <...>

Рассказал он нам о своем последнем свидании с Герценом: «Когда я узнал, что он опасно болен, я поехал к нему. Застал его почти умирающим. Он мне ужасно обрадовался, и мы безо всяких объяснений обнялись» <...>

Зашел спор о дураках.

— Ничего не может быть хуже д у р а к а, — доказывал Петр М и х а й л о в и ч. — Дурак вреднее подлеца. Умный мошенник смошенничает там, где ему нужно, а где ему не нужно делать дурное, он сумеет сделать хорошее. Дурак же везде и всегда напакостит по глупости. Если бы возможно было уничтожить всех дураков на земле, царство бы небесное наступило.

— Что вы, голубчик! Дураков уничтожить?! Да ведь дураки именно те форточки, через которые можно видеть душу человеческую. <...> Они тем и дороги для нас, писателей. Умный человек свернется внутрь себя — прошу покорно его разбирать! Он скрыться умеет. А дурак весь как на ладонке. Дураков уничтожить?! Что вы? Бог с вами! Нет, я дураков люблю. Как их не любить!.. Вот, например, со мной в отделении сидит какой-то господин Веревкин. Он успел мне и фамилию свою сообщить. Стоит взглянуть на него, чтобы узнать, что он глуп, как пробка, а я его полюбил. Мне все в нем мило, как он смотрит, как слова выговаривает. Говорит он так самоуверенно — и все мне объяснял и разъяснял так подробно, чтобы я его хорошенько понял.

— Он знает, кто вы? — спросила я.

— Бог его ведает. Да хоть бы и знал, ему все равно, он литературой не интересуется.

— Есть хорошее средство узнавать провинциальное общество, — говорил Тургенев. — Я, бывало, как приеду в провинциальный город, стараюсь узнать, кто в городе львица. Такие дамы всегда бывают в провинции. Узнаю и познакомлюсь. Тут уж непременно увидишь всех и все и нараспашку. Кто влюблен, кто дурачится, кто ловеласничает, каждый занят своим делом и забывает скрытничать. Прежде мне было лафа наблюдать. А с тех пор, как я сделался известностью, труднее стало, берегутся меня.

— Я только раз был свидетелем, как предчувствие исполнилось, — рассказывал он нам. — Я еще был ребенком тогда. Сидим мы раз летом на балконе, вдруг матушка вскрикивает: «Ах, сердце щемит! Капель!» Чувствую, случилось какое-нибудь несчастье! Впрочем, с ней такие истории происходили часто, иногда по нескольку раз в день. Но на этот раз не успела она сказать, видим, скачет староста без шапки, без седла, ноги хлопают по бокам лошади. Матушка: «Ах! Ах! вот, вот...» Староста соскочил с лошади перед балконом, бледный, испуганный: «Сударыня, несчастье! Рига горит!..» Ну, конечно, истерика, обморок.

Стал Петр Михайлович рассказывать, как он в Симбирске бегает от знакомых, ни к кому не ходит, никого к себе не пускает.

— Напрасно, — возразил Иван Сергеевич. — Без людей не проживешь. Людей оттолкнуть легко, воротить же после трудно <...>

— Читали вы «Пунина и Бабурина»? — спросил Тургенев.

— Читали.

— Мне очень жаль, что мне Бабурин не удался. Он списан с живого лица, с бывшего управляющего моей матери. Он, собственно, больше ничего, как бука, но в то время и букой быть было не шутка. А вот мне хотелось бы, чтобы вы прочли маленькую брошюрку «Они послали».

— Да мы читали.

— Читали? Она интересна потому, что тут я рассказал действительное происшествие, происшествие удивительное.

— Да, — сказала я, — тут удивительно не то, что этот работник пошел, а то, что они вспомнили его послать.

— Конечно. И заметьте, что я ничего не прибавил, нисколько не раскрасил.

В. В. СТАСОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

I

Все наши сношения имели, в большинстве случаев, предметом искусство — живопись, скульптуру и музыку. Искусство нам обоим было равно дорого и интересно, но взгляды наши на него были совершенно противоположны. Тургенев, по своим вкусам и взглядам на искусство, был классик и идеалист, а я не был ни тем, ни другим. Но именно эта-то диаметральная противоположность направления и делала для нас обмен мыслей об искусстве в высшей степени интересным и притягательным. Нам приходилось вечно спорить, при этом мы иногда даже сильно раздражались, становились чуть не врагами, много раз закаивались когда-нибудь еще снова вступать в спор, даже уверяли иногда, сердитые при расставанье, что никогда-никогда не станем даже начинать разговора об *искусстве*, — и все-таки, при первой оказии, снова спорили с ожесточением, чуть не с пеной у рта. В 1878 году, в одном из своих «Стихотворений в прозе», Тургенев говорит:

«Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит. Но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя.

Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни осталась победа — ты, по крайней мере, испытаешь удовольствие борьбы.

Спорь с человеком ума слабейшего, спорь не из желания победы — но ты можешь быть ему полезным.

Спорь даже с глупцом! Ни славы, ни выгоды ты не добудешь... Но отчего иногда не позабавиться.

Не спорь только с Владимиром Стасовым!» *

Несмотря, однако же, на такой строгий приказ другим, сам Тургенев никогда его не исполнял, в отношении к самому себе, и много лет своей жизни проспорил со мною и *до* и *после* этого своего «Стихотворения в прозе» <...>

Я в первый раз увидел Тургенева в 1865 году. Это было в зале Благородного собрания, у Полицейского моста. Тургенев немного опоздал в концерт Русского музыкального общества, который в этот вечер там давался, и, войдя в залу, рассказывал какой-то знакомой своей даме, рядом со мною, отчего опоздал. «Je viens d'entendre pour la première fois le quintetto de Schumann... J'ai l'âme tout en feu» *, — говорил он своим мягким и тихим голосом, немного пришепетывая. Я в первый раз видел эту крупную, величавую, немного сутуловатую фигуру, его голову с густой гривой тогда еще не седых волос вокруг, его добрые, немножко потухшие глаза. Шумана страстно любил тогда весь наш музыкальный кружок, я тоже, и мне было приятно вдруг узнать, что и такой талантливый человек, как Тургенев, поражен Шуманом, как мы. Навряд ли кто-нибудь еще, из всех наших литераторов, знал тогда что-нибудь о Шумане, и тем более — способен был понимать его. Но началась новая пьеса, Тургенев пошел вперед, на свое место, и я его в тот вечер более не видал и не слыхал.

Года два спустя, в 1867 году, мне привелось снова увидеть Тургенева, и опять в концерте, но на этот раз в зале Дворянского собрания. И тут мы уже познакомились. Это было 6-го марта, — день мне очень памятен, — шел концерт Бесплатной музыкальной школы, под управлением Балакирева. В антракте между 1-ю и 2-ю частью подошел ко мне Вас. Петр. Боткин, старинный мой знакомый, и сказал мне: «Тургенев здесь. Ему хотелось бы с вами познакомиться. Хотите?» А надо сказать, что Боткин уже задолго перед тем, за год или больше, рассказывал мне, что Тургенев, еще когда в первый раз прочитал мою статью о Брюллове, напечатанную в «Русском вестнике» в конце 1861 года, был ею очень восхи-

---

* Я только что услышал в первый раз квинтет Шумана... Душа моя в огне (*фр.*).

щен, и потом много раз говорил Боткину, что желает со мной однажды познакомиться. Оно и понятно: мои мнения о Брюллове почти совершенно сходились с его собственными. Мне, конечно, было очень приятно познакомиться с таким знаменитым человеком, как Тургенев, да еще, кроме того, с тем, кто был автор давнишнего предмета моего обожания, — романа «Отцы и дети». Я выждал, пока оркестр кончил увертюру «Король Лир» Балакирева, и потом пошел и пробрался, между рядами стульев, в самую середину залы, где сидел Тургенев рядом с Боткиным. Подле них не было пустого места, и мне пришлось сесть сзади них, в следующем ряду. Как странно должен был происходить наш первый разговор! Я говорил с Тургеневым сзади, наклоняясь к нему вперед, а он должен был вполтела оборачиваться ко мне назад, чтобы слышать меня или сказать мне что-нибудь. Первый заговорил Тургенев и прежде всего повторил мне еще новый раз, какое впечатление произвела на него моя статья о Брюллове. При этом я ему сказал то, чего он, конечно, не знал: что Катков выбросил у меня, ничего вперед не сказавши, целую главу, *вторую,* где я говорил о Рубенсе, Вандике и других живописцах и отношении к ним Брюллова; что Катков только лишь позже, по непечатании статьи, написал мне, а немного спустя и сам лично приехал ко мне извиняться, уверяя, что так лучше, как он теперь устроил. Что тут делать? Конечно, пришлось молчать. Но эта санфасонная расправа, вместе с несколькими другими такими же, была первою причиною, заставившею меня подумать о том, что надо уходить из «Русского вестника». Направление Каткова в 1862 году только окончательно решило меня. Тургенев, в ответ мне, тоже жаловался на деспотизм и своевольство Каткова, рассказывал, как он урезал и изменил многое у него в «Отцах и детях» [8]. Но Тургенев на этом не остановился, он опять воротился к Брюллову и спросил меня: читал ли я его статью об Иванове, где говорится тоже и о Брюллове? Но я этой статьи не знал; она была напечатана в журнале «Век», очень мало распространенном и о котором мне ни от кого не приходилось слышать. «Жаль, — сказал Тургенев, — там я высказываю о Брюллове почти то же, что и вы, — только у вас на сцене вся его жизнь, критика всех его произведений, большая работа, а у меня только говорится о Брюллове вообще». Но тут я заговорил про его роман «Дым», только что все-

го за несколько дней перед тем напечатанный (мартовская книжка «Русского вестника») и про который я уже и раньше того подробно знал от Боткина. «Вот вы и здесь тоже, Иван Сергеевич довольно сильно отозвались про Брюллова», — сказал я*.

— Конечно, конечно, — отвечал Тургенев. — Мы с вами оба одинаково не выносим его, — сказал он. — Иначе и быть не должно. Рано или поздно все у нас будут то же думать... — Но я тотчас же, по поводу «Дыма», перешел к Глинке и спросил Тургенева, неужели он и сам думает о Глинке то самое, что его Потугин. «Ведь это ужасно!» — говорил я. «Ну, Потугин не Потугин, — возразил Тургенев, — тут есть маленькая charge **, я хотел представить совершенного *западника,* однако я и сам многое так же думаю...» — «Как! Глинка только *самородок,* и больше ничего?» — Ну да, конечно, он был талантливый человек, но ведь не был же он тем, чем вы все здесь в Петербурге вообразили и что проповедуете у нас теперь в газетах...» И у нас сию же секунду завязался спор, горячий, сердитый, первый из тех споров, какие мне суждено было вести с Тургеневым в продолжение стольких еще лет впереди. Но мы не долго остановились на одном Глинке. Тургенев перешел к новейшим русским композиторам, которых сильно недолюбливал, и с порядочным презрением отзывался о них. «Что я о них думаю, вы видели в «Дыме», — сказал он, сильно уже волнуясь, «Но скажите, Иван Сергеевич, — спросил я, — много ли вы их знаете, да даже много ли вы могли их и слышать-то в Париже?» — «Когда я бываю в Петербурге, я непременно стараюсь услышать все новое, что у вас тут делается... Это ужасно... Да вот, чего далеко ходить, стоит только послушать, что сегодня вечером здесь подают. В первой части нам пели какой-то «волшебный хор» господина Даргомыжского...» — «Из «Рогданы»?..» — «Ну да, из «Рогданы», или откуда там ни есть... Волшебный хор! Ха, Ха, ха! Прекрасное волшебство! И что это за музыка ужасная! Само ничтожество, сама ординарность. Не стоит в Россию ездить для такой «русской школы»! Это вам везде где угодно покажут: в Германии, во Франции, в любом концерте...

* У Тургенева было сказано в «Дыме»: «Двадцать лет сряду поклонялись этакой пухлой ничтожности, Брюллову...» (*Примеч. В. В. Стасова.*)

** Шарж, преувеличение (*фр.*).

и никто никакого внимания не обратит... Но у вас тут сейчас — великое создание, самобытная русская школа! Русская, самобытная! А потом еще этот «Король Лир» господина Балакирева. Балакирев — и Шекспир, что между ними общего? Колосс поэзии и пигмей музыки, даже вовсе не музыкант. Потом... потом еще этот «хор Сеннанхериба» господина Мусоргского... Что за самообман, что за слепота, что за невежество, что за игнорирование Европы...» В этом тоне продолжалась наша беседа до конца концерта. Правда, мы уже не слушали ни хора из «Демона» барона Шеля, ни «Прощальной песни Дании» Афанасьева. Тургенев вздумал было и на них напасть, но я его остановил, объявив, что *эти* вовсе уже не принадлежат к новой русской школе; и тогда мы, перешагнув через этих композиторов, продолжали свою музыкальную дуэль [3]. Я до того дня, или, точнее, до «Дыма», не знал, до какой степени Тургенев терпеть не может новую русскую музыку и как мало в ней разумеет. Но с этих пор у нас прения о ней уже и не прекращались. Разве в одном только мы сходились: в нелюбви к сочинениям Серова [4]. Тургенев, как и я, мало находил у него дарования и признавал его музыку высиженною, вовсе не оригинальною. Однако же концерт кончился, и мы так много наспорились, что хотя на расставанье жали друг другу руку, но разошлись изрядно окрысившиеся один на другого и уже совершенно в другом расположении духа, чем в начале разговора, час или $1^1/_2$ раньше.

После этого первого свидания прошел антракт в целых два года. Летом 1869 года в Мюнхене происходила всемирная художественная выставка, в Хрустальном дворце, и я на ней был. Для меня накопилось в это время много приятного. Я в первый еще раз видел тогда Мюнхен, его старую и новую картинную галерею, его скульптурный музей, его улицы с историей архитектуры в лицах, по фантазии короля Людвига, — было тут на что подивиться даже и помимо всемирной выставки; наконец мне привелось в те же дни повидаться в Мюнхене с Листом, которого я не видал с 1843 года, в Петербурге, и которого встретил теперь стариком, аббатом, но все тем же увлекательным и увлекающимся великим художником, каким знал его целых четверть столетия раньше, полным энергии, душевной красоты, поэзии, интереса ко всему, все с прежними огненными глазами, все с прежней густой гривой на плечах. Но мне предстояло еще од-

но неожиданное удовольствие — встреча с Тургеневым. Я путешествовал тогда со своим братом Дмитрием; мы остановились в Мюнхене в «Bayrischer Hof». Как-то раз мы остались обедать дома. Часу в 6-м входим в огромную столовую, с золотыми хорами вверху, направо и налево. Места нам были отмечены, но рядом с нами было оставлено еще несколько мест, со стульями, наклоненными к столу, чтобы никто их не трогал. «Какие-то будут тут у нас соседи? Англичане или французы, итальянцы или немцы?» — говорим мы один другому, и в это самое время отворяется дверь залы, и вдали показывается Тургенев: он направлялся к нам, степенно и торжественно ведя мадам Виардо под руку; ее муж и какие-то еще их знакомые шли сзади. И надо же было быть такому случаю: Тургеневу отведено было место именно там, где были опрокинуты к столу стулья; он сел через место от меня; нас разделял мосье Виардо. Но что же произошло из нашей встречи? То, что ни я, ни Тургенев, мы вовсе не обедали в тот день, и проворные учтивые кельнеры уносили у нас из-под носу одну тарелку за другою. У нас сразу затеялся такой оживленный разговор, что нам было не до еды. Оно было не очень-то учтиво, особливо в нашей тогдашней огромной и аристократической столовой зале, битком набитой, провести весь обед в каком-то горячем споре, иной раз даже с прорывавшимися довольно громкими словами и фразами, да еще так, что весь разговор происходил за спиной мосье Виардо, — но что же делать, — дело шло о слишком интересных уже предметах [5]. Мадам Виардо, сидевшая против нас через стол, с удивлением на нас поглядывала, и, ничего не понимая по-русски, только изредка перебрасывалась коротенькими фразами со своим мужем. В 1883 году, незадолго до смерти Тургенева, я был в Париже у мадам Виардо и, припоминая старинные времена, напомнил ей тоже и про этот мюнхенский знаменитый наш обед, — она его живо вспомнила. «Еще бы! Он был такой курьезный, совершенно необыкновенный!» — сказала она. Предметов для спора у нас тогда накопилось пропасть. Конечно, были пункты, где мы с Тургеневым сходились; например, мы оба одинаково терпеть не могли и Корнелиуса, и Каульбаха [6], которыми так торжественно парадирует Мюнхен и которые так дороги каждому немецкому сердцу, а нам были несносны по своей деревянности, педантству и условности; мы сходились также в нелюбви ко множеству других не-

мецких художников, — но в то же время не сходились во множестве других вещей. Тургенев был великий поклонник всей новой французской школы [7], я — далеко не безусловно признавал ее, и это тотчас вело к бесконечным прениям pro и contra. Но, сверх того, у нас речь шла также и о Листе. Для меня Лист был великим представителем великого движения в современной музыке, и я, полный присутствием Листа в Мюнхене, с жаром рассказывал Тургеневу про гениальные его создания «Mephisto-Walzer» и «Dause macabre», с которыми, в конце шестидесятых годов, стала ревностно знакомить петербургскую публику Бесплатная школа. Тургенев их не знал, да и знать не желал; [8] он застыл в Бетховене и Шумане и дальше в музыке ничего не признавал. Так мы и проговорили с Тургеневым в продолжение всего обеда, то споря, то соглашаясь, то совершенно расходясь, то восторгаясь вместе тем, что обоим нам одинаково нравилось.

Спустя немного месяцев мы встретились с Тургеневым — уже в Петербурге. Весной 1870 года открылась в Соляном городке всероссийская выставка. Я так восхищался всею выставкою вообще, и, еще более, талантливыми попытками молодого Гартмана создать что-то новое и оригинальное в русском архитектурном стиле, что бывал на выставке решительно всякий день. Но однажды, в конце мая, я вдруг повстречался на выставке с Тургеневым, который только что приехал в Петербург из Парижа, и мы как встретились в большой крайней зале направо, так остановились тут и, не трогаясь с места, проговорили друг с другом добрых часа полтора или два. В разговоре с Тургеневым для меня было всегда столько обаятельного, прелестного, хотя бы даже он на меня нападал и сердился. Он был так образован по-европейски, он столькими интересовался, его разговор был всегда так далек от всего поверхностного, ничтожного, его речь была иной раз так художественна и талантлива — что невольно он к себе притягивал. На этот раз я заговорил с ним про новый, столько дорогой для меня, шаг русской архитектуры, начинающей выходить из постылой европейской рутины и пошлой подражательности. Еще всего за несколько минут вступив в дом выставки, Тургенев не успел еще даже осмотреться вокруг; он еще ничего не видел. Но я тотчас обратил его внимание на то, что стояло и расстилалось вокруг нас, стоило только поднять глаза, — и Тургенев, столько художественный, не мог не сознаться со мной,

что в самом деле что-то новое, талантливое, оригинальное и изящное начинается в нашей архитектуре. Однако он гораздо менее восхищался, чем я. Потом я рассказывал ему про торжество, которое мы собирались сделать Балакиреву 30 мая, и поднести ему, в зале городской думы, в самый троицын день, большой серебряный венок и адрес. Это был протест всех приверженцев новой музыкальной русской школы против ретроградов Русского музыкального общества, только что радостно вытеснивших Балакирева из своей среды и отнявших у него дирижирование концертами этого общества [9]. Но Тургенев мало сочувствовал новой русской музыке, и события тогдашней ожесточенной борьбы двух лагерей оставляли его равнодушным. И, поговорив еще немного про всероссийскую выставку, главные художественные примечательности которой я рассказал ему второпях все целиком, так как знал всю выставку наизусть как свои пять пальцев, — мы перешли к Франции, Парижу, Наполеону III и Виктору Гюго. Последнего Тургенев терпеть не мог и не мог удержаться, чтоб не напасть сейчас же на его последние стихотворения, гремевшие повсюду в Европе, перед самым взрывом прусской войны [10]. Мы немного поспорили о Викторе Гюго, но зато остались совершенно одного мнения про Наполеона III и оподленную им Францию, среди которой Тургенев принужден был жить. Тургенев говорил про Наполеона III с бесконечным негодованием и злобой. Разошлись мы в самом дружеском расположении духа.

В следующем, 1871 году Тургенев был в Петербурге в марте и апреле. Мы виделись с ним несколько раз, и тут я получил от него первое письмо ко мне. Он приглашал меня, от имени распорядителей, приехать 4 марта в гостиницу Демута на большое собрание всех наших литераторов, художников и музыкантов. Это была затея Рубинштейна, вознамерившегося устроить в Петербурге нечто вроде художественного клуба. В большой зале Демута собралось несколько сот человек; произносились речи — всего более и длиннее говорили литератор граф Соллогуб и скульптор Микешин, говорили много и долго, хотя без особенного склада, о необходимости «единения» художников, об океане, солнце и многом другом, столько же подходящем и делу; произнес несколько слов и сам Рубинштейн, а в конце вечера сыграл, ко всеобщему удовольствию, увертюру «Эгмонт». Но из всего собрания этого, где все мы простояли целый вечер на ногах, шумя и волнуясь, — и из всей

его бестолковщины и сумятицы ровно ничего не вышло. Через неделю снова собрались в той же зале, опять одни говорили речи, другие слушали, а Рубинштейн играл, — но народу было гораздо меньше, все разошлись — и на том все дело и покончилось: никакого художественного клуба и общества не склеилось. Должно быть, в нем и не было никакой потребности [11].

Но спустя несколько недель произошло событие, которое глубоко поразило нас обеих — и Тургенева и меня. В Академии художеств, в одной из скульптурных мастерских, была выставлена статуя Антокольского «Иван Грозный». На этот раз мы уже не думали с Тургеневым врозь; мы одинаково были восхищены, удивлены. Тургенев еще вовсе не знал Антокольского, не видал ни одного его произведения; я же знал и его самого еще с конца шестидесятых годов, а про первое его произведение «Еврей-портной» писал в газетах еще в 1864 году (это выпало мне на долю раньше всех) как про такое произведение, которое много обещает. Но я никак не ожидал так скоро увидать у Антокольского такое высокое и оригинальное произведение, как «Иван Грозный». Я тотчас же напечатал в «СПб. ведомостях» статью, которою старался обратить внимание нашей публики на крупное новое художественное явление. Тотчас же, с первого дня, толпа повалила в Академию. Одна особа, очень интеллигентная и интересующаяся русским искусством, сказала мне: «Посмотрите, В. В., вы пригнали сюда весь Петербург». Спустя неделю Тургенев напечатал в той же газете превосходную статью про Антокольского [12]. И с тех пор самое глубокое и симпатичное чувство к таланту Антокольского никогда не прекращалось у Тургенева. Он много раз говорил мне про него в своих письмах. Когда, впоследствии, спустя лет 10, французский институт принял Антокольского в число своих членов, Тургенев с радостным восхищением рассказывал всем своим знакомым в Париже, какое это было необыкновенное избрание и как Антокольского институт утвердил *единогласно,* par acclamation *.

Почти в те же самые дни, весной 1871 года, появилась на выставке картина Репина «Дочь Иаирова» [13], за которую Академия дала автору Большую золотую медаль, и Тургенев писал мне в том же году: «Мне очень было приятно узнать из вашей статьи, что этот молодой мальчик

---

* без голосования (*фр.*).

так бодро и быстро подвигается вперед [14]. В нем талант большой и несомненный «темперамент» живописца». С этих пор у нас с Тургеневым много и часто речь шла о Репине, хотя наша оценка не всегда была одинакова. Нам не раз приходилось спорить.

Но где мы всего более расходились, это по части музыки. Тургенев очень мало знал и еще менее понимал русскую школу, но нелюбовь к ней была у него очень сильна. Он много лет своей жизни провел в Париже, в кругу г-жи Виардо, артистки, бесспорно очень образованной и высокоталантливой, но давно уже остановившейся на вкусах и понятиях времен своей юности и ничем не приготовленной к уразумению тех стремлений, которые одушевляли новую русскую школу. Тургенев вместе с нею продолжал восхищаться только Моцартом и Глюком (которых оперы мадам Виардо сама в прежнее время с громадным успехом певала на театрах Европы), Бетховеном и Шуманом, которых он слыхал в парижских и петербургских концертах, но дальше уже не шел и относился с самым враждебным пренебрежением к русской школе, которая не успела еще получить общеевропейского патента и перевоспитываться в пользу которой ему уже было не в пору. Еще в «Дыме» Тургенев, устами своего Потугина, самым неприязненным образом отзывался о новых русских музыкантах и уверял, что «у последнего немецкого флейтщика, высвистывающего свою партию в последнем немецком оркестре, в двадцать раз больше идей, чем у всех наших самородков; только флейтщик хранит про себя эти идеи и не суется с ними вперед в отечестве Моцартов и Гайднов; а наш брат-самородок трень-брень, вальсик или романсик, и, смотришь, — уже руки в панталоны и рот презрительно искривлен: я, мол, гений...» Непочтение к старшим (Моцарту и Гайдну) было тут для Тургенева всего нестерпимее; он не желал, чтобы какие-то трень-брень «совались вперед», всяк, дескать, сверчок знай свой шесток, и вот он писал мне однажды, в 1872 году, что весь «Каменный гость» Даргомыжского — ничтожный писк, собрание вялых, бесцветных, старчески бессильных речитативов; [15] что, кроме Чайковского да Римского-Корсакова (которых он знал, впрочем, всего только по нескольким *романсам),* всех остальных новых русских музыкантов стоило бы — в куль да в воду! «Египетский фараон Рампсинит XXIX (прибавлял Тургенев в комическом азарте) так не забыт теперь, как они будут забыты через 15—20 лет.

Это одно меня утешает!» Пророчество Тургенева о полной погибели новой русской школы — не оправдалось, да и сам он, по-видимому, сознавая, как его изречения были поверхностны и как он мало, в сущности, или, точнее сказать, почти вовсе не знал новую русскую музыку, — просил меня, в первый же приезд его в Россию, устроить так, чтобы ему можно было послушать новую русскую музыку, и не одни только *романсы,* по и оперы, и инструментальные сочинения. Он знал от меня, что наш музыкальный кружок часто собирается и что на этих собраниях выполняют, в пении с фортепиано, целые акты и сцены из новых русских опер: «Каменного гостя», «Псковитянки», «Бориса Годунова», «Ратклиффа», а в 4-ручном исполнении — целые симфонии, увертюры и другие инструментальные создания новой нашей школы. Но товарищи композиторы долго отказывались что-нибудь исполнять для Тургенева. Все восхищались его романами, повестями, все были искренние поклонники его таланта, но были возмущены его презрением к новой нашей музыкальной школе; они думали, что нечего хлопотать о просвещении человека слишком мало музыкального по натуре, да вдобавок слишком застывшего, за границей, в старых классических предрассудках. Поэтому все решительно отказались исполнять для Тургенева «Каменного гостя», который в начале семидесятых годов исполнялся в наших маленьких собраниях очень часто. Всех более против этого был — Мусоргский. Тургенев так никогда и не слыхал «Каменного гостя». Пока его давали у нас зимой на театре, Тургенева не бывало в Петербурге, в нашем кружке он его также не услышал; а как эта столько новая по всем формам музыка исполнялась в доме у г-жи Виардо — отгадать нельзя, но сомнительно, чтоб способны были исполнить эту новую, эту совершенно оригинальную музыку так, как желал сам автор и как исполнялась она по его указаниям в нашем кружке, — французские певцы и певицы, возросшие только на Глюке, Моцарте и преданиях классической и итальянской школы. Новая музыка требовала и нового исполнения, а ни о том, ни о другом Тургенев так никогда и не получил настоящего понятия. Из новых русских оркестровых сочинений он, кроме «Садко» Римского-Корсакова, кажется, почти ничего не слыхал. Зато и вражда его к новому, неведомому ему музыкальному направлению никогда не изменилась.

Но в мае 1874 года, когда Тургенев был снова в Петер-

бурге и снова просил меня дать ему послушать новой русской музыки, мне удалось устроить у себя музыкальное собрание, где присутствовал весь наш музыкальный кружок и где был также Рубинштейн, в те годы иногда нас посещавший. Вся первая половина вечера была наполнена игрой Рубинштейна. Он, по-всегдашнему, великолепно исполнил несколько пьес Шопена и Шумана, — всего изумительнее по таланту и поэтичности большие вариации Шумана и его же «Карнавал». Мы все были на седьмом небе; Тургенев вместе со всеми нами. Он был полон невыразимого энтузиазма и восхищения. Но когда Рубинштейн уехал в 10-м часу вечера, торопясь застать поезд в Петергоф, и мы остались одни — Тургенев и наша музыкальная компания, с которою он только что успел перезнакомиться, — с ним сделался припадок, который нас всех перепугал. Он стоял посреди комнаты, держа чашку чаю в руках, и разговаривал со своими новыми знакомыми, приготовляясь слушать последний акт «Анджело» Кюи, по его словам, очень его интересовавший, как вдруг он почувствовал нестерпимые боли в пояснице и в боку. Сначала он только стонал, но скоро потом не мог более сдерживаться и громко кричал. Мы Тургенева увели в кабинет, раздели и уложили; около него стал хлопотать Бородин, он сам был когда-то врач, прежде чем сделаться профессором химии, Тургеневу закутали поясницу горячими салфетками, это его немного успокоило, но он продолжал стонать и по временам громко вскрикивать от острой боли. Сначала он приписывал свое нездоровье русскому завтраку, которым его угостили в тот день в «колонии малолетних преступников», которую он в тот день посетил. «Это проклятое русское кушанье! — восклицал он страдальческим голосом, — эти жирные пироги, от которых я отвык в Европе! И надо же мне было ездить в эту колонию!» Однако он скоро убедился, что боль — не желудочного свойства и что это только мучительный, громадно разросшийся припадок той самой болезни, которая так давно ему была знакома — подагра. Наш вечер расстроился. Все ходили на цыпочках подле комнаты, где лежал Тургенев, все говорили шепотом; о музыке не было и помину. Когда прошел страшный острый припадок и боль немного приутихла, мы бережно проводили Тургенева по лестнице, и его повез в гостиницу Демута, где он тогда жил, В. П. Опочинин, который тоже должен был исполнять у нас в тот вечер несколько романсов «новой русской школы», для Тургенева. Про этот самый

припадок болезни он писал спустя несколько дней, 16 мая, своему приятелю Я. П. Полонскому: «Со мною произошло пакостное дело. Нежданно-негаданно нагрянула подагра — да такая, какой отроду не бывало: разом в обеих ногах, в обоих коленях, просто все онёры. Мучился я сильно и теперь едва начинаю пол*о*зить по комнате на костылях; однако доктор обнадеживает, что в субботу можно будет уехать, так как мне все-таки нужно попасть в Карлсбад <...>» Но этот мучительный приступ подагры, кроме всего остального, имел результатом также и то, что нам так и не удалось показать Тургеневу новые русские оперы, симфонии, совершенно оригинальную, во всей музыке, «Детскую» Мусоргского, русскую декламацию. Другого случая со всем этим познакомить Тургенева так больше никогда и не представилось.

Еще дня за два, за три до этого неудавшегося вечера Тургенев был у меня в публичной библиотеке. Мы по-всегдашнему много разговаривали с ним о разных художественных делах, по-всегдашнему много тоже и спорили об иных вопросах искусства, и когда коснулась как-то случайно речь в некоторых произведений самого Тургенева, я ему сказал: «Да, вот, Иван Сергеевич, я давно хотел вам сказать одну вещь. Вы знаете, как я глубоко чту многие из ваших созданий, конечно, всего более «Отцов и, детей» — мы столько раз уже о них говорили; мне кажется, я никогда довольно не наговорюсь о Базарове, об Анне Павловне... Помните, сколько я вам тоже говорил и про мои восхищения иными, даже маленькими, вашими вещами... «Муму», «Рассказ о соловьях» — мало ли чем еще. Но вот чего я не могу понять в вашей натуре. Как это, вечно писавши о любви, рисовавши сотни любовных сцен, вы в романах и повестях никогда не дошли до изображения страсти [16]. Одна только сцена Базарова с Анной Павловной дошла до этого градуса белокаления. Везде в других местах страсть, чувство — очень умеренные, скромные. Конечно, тут везде и всегда много грации, прелести — но и только. Дело дальше никогда не шло ни в «Дворянском гнезде», ни в «Дыме», да просто — нигде, нигде. Что это за чудо?» Тургенев отвечал мне: «Всякий делает что может. Видно, я больше не мог. Да что об этом говорить — что есть, то есть. Давайте лучше говорить о Пушкине. Вот это настоящий великий человек, а я — я делал что мог...» И мы действительно принялись говорить в сотый раз о Пушкине. Но и тут я не раз спорил с Тургеневым, и, как ни

восхищался «Каменным гостем», «Сценами из рыцарских времен», «Борисом Годуновым» и множеством других великих созданий, я постоянно указывал моему собеседнику, что не могу же я восхищаться, при всем великолепии стиха, такими фальшивыми и кривыми вещами, как «Изба», «Радищев» и т. д. Разве это не пятна на чудесной, могучей и поэтической личности Пушкина, точь-в-точь как «Переписка с друзьями» и множество всяческого пиэтистического сора и отребья на памяти другого русского великого писателя — Гоголя? Но Тургенев не хотел ничего этого знать и отстаивал своего обожаемого любимца Пушкина, целиком находил все у него удивительным[17]. Может быть, и он сам думал, как его Потугин: «Нет, будемте посмирнее да потише: хороший ученик видит ошибки своего учителя, но молчит о них почтительно; ибо самые эти ошибки служат ему в пользу и наставляют его на прямой путь...» Вот именно подобного «молчания» и «лжепочтения» я никогда и не признавал. К чему они? Неужели выиграет что-нибудь великий талант, великий человек, когда станут почтительно замалчивать его заблуждения, его ошибки, его фальшивый, иногда, образ мыслей; когда станут бережно утаивать их как что-то запрещенное и непозволительное? Какая близорукость, какое невинное фарисейство! На эту тему мы много раз спорили с Тургеневым. Но он был беспредельный фанатик и Пушкина и Гоголя. На эту же тему мы снова спорили и в один из тех дней, в конце мая, когда Тургенев поправился после страшного своего приступа подагры. Я тогда часто посещал его в гостинице Демут, и беседы наши длились по многу часов. В этот вечер Тургенев был особенно оживлен, даже почти раздражен, не знаю, какими «неприятностями» (как он говорил), в продолжение дня. Я этого вначале не замечал. Разговор съехал незаметно на Пушкина, и мы снова спорили с большим жаром. Однако когда мы сошлись на котором-то мнении, я с удивлением указал на это Тургеневу: мы редко были согласны. Он расхохотался, зашагал быстро по комнате в своей толстой мохнатой курточке и плисовых сапогах и, размахивая руками, громовым голосом и комично продекламировал: «Согласны?! Да если б пришла такая минута, когда бы я почувствовал, что в чем-нибудь с вами согласен, я побежал бы к окну, растворил бы его и закричал бы на улицу проходящим (он в эту минуту подковылял все еще больными своими ногами к окну, на Мойку, и делал жест, будто отворяет его и высовывается на набереж-

ную): «Возьмите меня, возьмите меня и свезите меня в сумасшедший дом, я со Стасовым согласен!!!» Я долго хохотал до слез, чуть не до истерики от восхищения от этой талантливой комической выходки. Тургенев долго хохотал вместе со мною, просто до упаду, и вечер кончился у нас в таком счастливом и веселом расположении духа, как редко случалось. Скоро потом Тургенев уехал из Петербурга. Я тогда же рассказывал эту прелестную комическую сцену всем знакомым, несколько раз напоминал потом о ней и Тургеневу. После того он несколько раз в письмах и ко мне, и к другим своим знакомым высказывал ту же самую мысль, но уже далеко не в такой картинной талантливой и комической форме. Мне он писал в апреле 1875 года: «То, что вы говорите о Харламове, меня не удивило; это в порядке вещей, зная радикальное, можно сказать, антиподное противоречие наших воззрений в деле искусства и литературы, и я скорее удивлялся случайному их совпадению в отношении к «Анне Карениной»[18]. «Господи! — думалось м н е , — неужели я потерял столь до сих пор мне верный критериум того, что я люблю и что я ненавижу, а именно: абсолютно противуположное мнение В. В. Стасова». Но я подумал, что вы обмолвились...» В феврале 1882 года он писал Д. В. Григоровичу, что я очень полезен ему, избавляя его часто от труда собственной критики: «Когда ему (В. В. Стасову) что нравится, я уже наверное наперед знаю, что это мне противно, и наоборот...» От этого всего далеко-далеко до веселого, светлого комизма демутовской сцены.

В начале 1875 года Тургенев очень сильно рассердился на меня за напечатание в «Пчеле» отрывков из некоторых писем ко мне Репина, находившегося тогда за границей. Все преступление Репина состояло в том, что он осмеливался судить о картинах и фресках Рафаэля в Риме (далеко, впрочем, не лучших его созданиях) со своей собственной точки зрения, не по общепринятому издревле шаблону, а о новом французском искусстве — тоже не по общепринятой мерке и масштабу[19]. И то и другое было невыносимо Тургеневу, это нарушало все его привычки, весь давно установившийся художественный его культ <...> Смелая речь и мысль молодого, страстного, рвущегося вперед Репина должна была звучать для него как преступление, как святотатство. Он, к тому же, вовсе не знал, что многие новые художники и критики Европы, помимо наших, начинают думать и иногда высказывать об иных созданиях преж-

него искусства. Это все еще до него не доходило в блаженный его домик rue de Douai, 50. Репин должен был представляться ему непростительным смельчаком, дерзким выскочкой. Еще более казался ему преступен я, осмелившийся печатать такие преступные мысли, такую заносчивую критику. Мне сам Тургенев ничего не написал вначале, но до меня доходили слухи, выдержки из его писем. В марте 1875 года он писал в Петербург: «Стасов как обухом съездил бедного Репина: он ходил здесь (в Париже) как ошеломленный. Вот чисто медвежья услуга. Кто не писал глупостей на своем веку… Теперь это понемногу забывается; но Репину здесь не ужиться: ему, говорю это с сожалением, место в Москве, где в его лице прибавится один новый непризнанный гений. Малый очень хороший, но страстный, нервный и с талантом очень умеренным...» Тургенев перестал уже, таким образом, находить, как за четыре года прежде, в 1871 году, что у Репина *талант большой и несомненный темперамент живописца:* ему несравненно выше казался Харламов за свой «европеизм», за отсутствие национальности и личной оригинальности. Он его признавал «первым современным портретистом Европы» [20]. Впрочем, в 1882 году в письме к Крамскому Тургенев опять с большим почетом говорит про Репина как про художника, произведшего большое впечатление в Европе.

Летом 1875 года я был в Париже, на большой международной географической выставке, и, желая разъяснить хоть последние наши недоразумения с Тургеневым, я просил его назначить мне свидание, где бы нам можно было об многом и подольше поговорить. Он охотно принял мое предложение, и мы целой компанией завтракали и провели полдня в августе месяце в одном ресторане на бульваре Гаусман [21]. Тургенев привез с собою несколько знакомых (помню только гг. Жуковского и Колбасина). День был такой жаркий, и мы так разгорячились в споре, что сняли наконец свои сюртуки, и после завтрака спорили, расхаживая по комнате. На месте не сиделось. Много спорили и о репинских письмах, но еще более о проекте памятника Пушкину Антокольского, над которым тогда не мало потешалась, кроме Тургенева, почти и вся русская пресса, с фельетонистами во главе. Тургенев, враг всякой новизны в искусстве, всего более нападал на пьедестал, состоящий из скалы, вокруг которой шли, по крутой дорожке вверх, к Пушкину, сидящему на верху горы, все главные действующие Лица его созданий: Борис Годунов! Мазепа,

Русалка и т. д. Тургенев находил это смешным, карикатурным. *Нигде в Европе таких пьедесталов не делают* [22]. Что за шествие типов! ха-ха-ха-ха-ха-ха!! Я отстаивал Антокольского и его поэтичную оригинальную идею, ссылался на самого Пушкина и его чудное стихотворение «Осень» *, — Тургенев ни с чем не соглашался и только много раз, сердито насмехаясь, повторял: «Шествие типов, шествие типов!» Наконец он до того рассердился, до того разгорячился, что, надевая снова сюртук и прощаясь со мною, весь раскрасневшийся и пламенеющий, он, хотя и смеясь и пожимая мне руку, несколько раз прокричал мне: «Враг, враг, враг!»

После этого мы поменялись несколькими письмами, очень дружелюбными, но когда, год с небольшим спустя, появился его новый роман «Новь», там оказался выставленным в карикатурном виде «наш всероссийский критик, и эстетик, и энтузиаст Скоропихин». «Что за несносное создание, — говорит про него Паклив. — Вечно закипает и шипит, ни дать ни взять бутылка дрянных кислых щей. Половой на бегу заткнул ее пальцем вместо пробки, в горлышке застрял пухлый изюм — она все брызжет и свистит; а как вылетит из нее вся пена — на дне остается всего несколько капель прескверной жидкости, которая не только не утоляет ничьей жажды, но причиняет одну лишь резь. Превредный для молодых людей индивидуум...» В конце романа этот же самый Скоропихин, «знаете, наш исконный Аристарх», — хвалит плохих, безобразных певцов — «это, мол, не то что западное искусство! Он же и наших паскудных живописцев хвалит. Я, мол, прежде сам приходил в восторг от Европы да итальянцев, а услышал Россини и подумал: э! э! Увидел Рафаэля: э! э! И этого: э! э! нашим молодым людям совершенно достаточно, и они за Скоропихиным повторяют: э! э! и довольны, представьте!..» Спустя год или полтора, при личном свидании в Петербурге, я спрашивал, смеясь, Тургенева: «Меня уверяют многие, что Скоропихин, это у вас — я. Правда, Иван

---

* ...И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
...И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей,
И мысли в голове волнуются в отваге.
...Минута, и стихи свободно потекут...
(*Примеч. В. В. Стасова.*)

Сергеевич?» Он в ответ тоже смеялся и сказал: «Да, конечно, отчасти и вы, но тоже и многие другие...»[23] — «Ну хорошо; но неужели, Иван Сергеевич, вы у меня только и нашли, что несколько дрянных капель на дне, от которых только живот режет?» Он в ответ тоже только улыбался и кое-как отбояривался. Это было в марте 1879 года, когда я пришел посетить Тургенева, страдавшего от подагры и лежавшего на диване в меблированных комнатах, на углу Малой Морской и Невского. Мы в это свидание опять, по-всегдашнему, много наговорились и наспорились. Тургенев был очень оживлен, несмотря на болезнь, и, по-всегдашнему, утверждал, что русское искусство куда не далеко ушло, и далеко-далеко ему до европейского, особенно до французского искусства, его фаворита. Но это свидание наше кончилось совсем не так, как началось. Пришел навестить Тургенева М. Е. Салтыков, которого я тут видел первый раз в жизни. Скоро речь пошла о Золя и последнем его романе «Нана», о котором тогда так много везде говорили. Я уже раньше слышал от В. В. Верещагина, как этот роман не нравится М. Е. Салтыкову, — и у нас тут же пошел о нем горячий спор. Мой оппонент ничего не находил в романе, кроме цинизма и непристойностей [24]. Я, напротив, находил в нем много таланта и художественности; я ссылался, как на судью, на самого Тургенева; я спрашивал его, неужели не талантлива и не художественна, например, хоть сцена старух, играющих в кухне в карты, в ту минуту, когда Нана должна идти, с отвращением, на «проклятую работу», или, например, сцена обеда отставных куртизанок, за городом. Тургенев, потягиваясь на своем диване, соглашался со мною, что это все действительно и талантливо, и художественно [25]. Но ему гораздо еще интереснее был наш оживленный спор о Золя, и он просто точно смаковал какое-то приятное кушанье. Ему было очень забавно, очень потешно, точно петушиный бой перед ним происходит.

В следующем, 1880 году Тургенев приехал ко мне в гости, в Париже, как раз в самые мои именины, 15 июля, вместе с В. П. Гаевский. Они у меня пробыли несколько часов. Я ему рекомендовал молодого нашего гравера В. В. Матэ, только что присланного, для усовершенствования в своем деле, Академией художеств, и просил его позволить Матэ снять с себя и награвировать портрет. Я ручался, что портрет выйдет очень даровит и изящен. Тургенев согласился, и скоро потом начались сеансы на

даче у Тургенева, в Буживале [26]. Но на этот раз беседа шла у нас всего более о Пушкинском торжестве в Москве, откуда Тургенев только незадолго перед тем воротился. Сначала ему не хотелось об этом распространяться, так досадно было; но когда он потом услыхал, что я думаю о всем, происходившем на открытии памятника, судя по русским газетам, он мало-помалу разговорился и рассказал, как ему была противна речь Достоевского, от которой сходили у нас с ума тысячи народа, чуть не вся интеллигенция, как ему была невыносима вся ложь и фальшь проповеди Достоевского, его мистические разглагольствования о «русском все-человеке», о русской «все-женщине Татьяне» и обо всем остальном трансцендентальном и завиральном сумбуре Достоевского, дошедшего тогда до последних чертиков своей российской мистики. Тургенев был в сильной досаде, в сильном негодовании на изумительный энтузиазм, обуявший не только всю русскую толпу, но и всю русскую интеллигенцию [27].

Это было последнее личное мое свидание с Тургеневым. Переписка между нами еще продолжалась, но мы уже больше не видались.

И. Е. РЕПИН

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ
ПИСЬМО К В. Ф. ЗЕЕЛЕРУ

Конец июля — начало августа 1928, Пенаты

Исполняя Ваше желание — писание портрета Ив. Серг. Тургенева опишу со всеми подробностями. Из Москвы, от П. М. Третьякова, я получил от него заказ на этот портрет. Поселился в Париже недалеко от Тургенева, чтобы не затрудняться расстоянием... Иван Сергеевич принял меня очень ласково, и 1-й сеанс прошел в блаженной *удаче...* [1] И я радовался, и Ив. Серг. поздравлял меня с успехом!..

На другой день, утром перед началом сеанса, я получил от Ив. Серг. длинную записку: он описывал подробно, что м-м Виардо *забраковала* этот портрет... Я *непременно* должен начать *на новом холсте...* Ей особенно не нравилось выражение лица! что особенно восхищало нас! После долгого уговора я с отчаянием повернул свой холст... Надо было, *по мнению м-м Виардо,* взять другой *поворот* — другого *профиля* — этот *не хорош* у Ив. Сергеевича... [2]

Все повернулось!?!...

Началось долгое, старательное писание — *мое;* и долгое, терпеливое *позирование* Ив. Серг. — уже не увенчавшееся желанным успехом (а *рукам* этого портрета посчастливилось быть замеченными Вл. Вас. Стасовым) [3].

Портрет этот был приобретен на моей выставке в *Москве* Саввой Ивановичем Мамонтовым. Он подарил этот портрет Румянцевскому музею, где он и висел долго [4]. Теперь я не знаю, где этот портрет; но каждый раз я не могу равнодушно вспомнить записанную *сверху* голову, которая бы-

ла *так удачна по жизни и сходству...* Но за это большое огорчение я был награжден *энным количеством времени,* — интимно проведенным мною в обществе очаровательного Ив. Сергеевича...

Ив. Сергеевич был очень популярен, особенно в кругу *нигилистов.* Все они стремились видеть литературного бога и излить ему душу...

Поглощенный божественной моделью, я много выслушал интересных повестей разбитых сердец. Здоровое, бодрое сердце Ив. Серг. тогда было полно очаровательной испанкой — м-м Виардо. И я был свидетелем этого беспримерного очарования этого полубога, каким был Тургенев.

Однажды утром Ив. Серг. особенно восторженно-выразительно объявил мне, чтобы я приготовился: *сегодня нас посетит м-м Виардо...* «М-м Виардо обладает, — рассказывал Тургенев, — большим вкусом. У них, по четвергам, собирается большое общество! Вы также приглашены, и я Вас прошу быть *во фраке,* так принято... Бывает *Сен-Санс* и много других, очень интересных лиц... Было время, когда был жив, *бывал здесь* Гуно»...[5] И *все это здесь,* в доме Виардо, на рю де Дуэ... о, я забегаю вперед... Ведь я жду м-м Виардо!..

Звонок!.. И я не узнал Ив. Серг. — он уже был озарен розовым восторгом! Как он помолодел!.. Он бросился к дверям, приветствовал, суетился — куда посадить м-м Виардо! (я уже ранее был инсценирован — как мне кланяться, что говорить — не много: по моим знаниям языка)...

М-м Виардо, действительно, очаровательная женщина, с нею интересно и весело. *Но на нее не надо было глядеть анфас* — лицо *было неправильно,* но глаза, голос, грация движений!.. Да, эта фея была уже *высшей породы...* Как есть: это *уже высшая порода!..*

На вечерах, по четвергам, я увидел, что мадам Виардо действительно руководит приговором о достоинствах *новых явлений в искусствах.*

К ней обращаются за объяснениями. И мосье Виардо — муж — также ждет приговора супруги. Это был коренастый крепыш с простым лицом и белыми волосами. Писатель, критик по профессии. Сам Тургенев особенно дорожил его мнением и ждал его приговора.

На вечерах Виардо Тургенев всегда был весел и оживлен; дети м-м, особенно Поль — скрипач, кричали гром-

ко: «Тургениеф, Тургениеф!..» Ив. Серг. особенно любил шарады и необыкновенно живо и талантливо быстро преображался сам и всю сцену перестраивал... Мебель, столы, диваны — все служило до невероятной неузнаваемости. А Сен-Санс, как молодой мальчик, прыгал и оживлял сцену и себе моментально придумывал костюмы и неузнаваемо преображался сам.

В то время наш молодой художник *А. А. Харламов* писал портреты м-сье и м-м Виардо, и эти два портрета были выставлены в Палэ д-Индустри. Мы их видели и очень восхищались... «Еще бы, — серьезно сказал Ив. Серг., — *ведь Харламов теперь — лучший портретист в Париже,* а следовательно, и *во всем мире».* Харламов был уже признан госп<ожой> Виардо: следовательно, Харламов был уже известен. И действительно, Харламов писал техникой *особой красоты.* Он изучал Рембрандта, копировал в Гааге его «Урок анатомии»[6]. И действительно, техника Харламова была так красива!

У Тургенева была в то время своя галерейка картин. Он *обожал* пейзаж Т. Руссо и также любил простенькую вещицу Харламова — натюрморт «Две груши». Эти груши были так сладко написаны, что их хотелось съесть!..

Вообще галерея Тургенева была невелика, но приобреталась с большим вкусом, с выбором истинного любителя. У него были драгоценные перлы искусства. Тургенев уважал вкус мосье Виардо и верил ему. Он сам — как это <ни> странно, — при совершенно аристократических данных своей культуры, был очень скромен и до робости деликатен. Уважать *авторитеты* — это была в нем еще университетская традиция. Так как я жил недалеко, то Ив. Серг. заходил ко мне частенько, был нараспашку, и с ним было очень интересно. На *все* он имел свой оригинальный взгляд. Видел много и в Европе, и в России; и знал превосходно русский народ и *его язык.*

Я был очень хорошо рекомендован Тургеневу, но сам он был очень *сдержан* по отношению к моему *искусству.* Я думаю, тут было мешающее мнение *петербургской среды,* целого круга во главе со Стасовым; и это не располагало парижских эстетиков в мою пользу: мы ведь были идеалисты на социальной закваске... Тургенев же — особенно вследствие своего аристократизма — был эстет.

Тургенев любил повеселиться в холостой компании. В Латинском квартале *был скромный ресторанчик,* где обедали некогда, по преданию, Жорж Санд, Гейне и другие

любимые знаменитости, а с нами: братья Вырубовы — химики, Поленов, П. В. Жуковский — сын поэта, Боголюбов и другие немногие [7]. Обед стоил 20 франков. И тут, со всеми онерами: повар приносил рыбу, показывал хозяину, — Ив. Серг. Тургенев был и м , — и все редкости обеда, как принято... Было очень весело... Хорошее вино — настоящее бордо! Ив. Сергеевич веселил всех. В нем просыпался студент. Огромный рост, седая прядь и веселые глаза... Звонкий голос и живая студенческая речь... Это так нас опьяняло!!

Когда что-нибудь из моих работ особенно трогало Ив. Сергеевича, то он с волнением говорил: «Надо непременно, чтобы Виардо однажды посмотрел Ваши работы»... И я дождался этого. Этот беловолосый авторитет, которого я встретил с большой робостью, вооружился пенсне и совсем близко-близко уткнулся носом в картину — меня уже начала пробирать авторская дрожь... Я отошел подальше и уже не смел спросить Тургенева о приговоре авторитета. Но почти был уверен, что он не был в мою пользу. Я знал, что я этой марки не выдержу...

Иван Сергеевич симпатизировал мне лично, и это особенно я заметил по одному случаю. В Париже я начал трактовать *Христа в Гефсиманском саду;* он идет навстречу *толпе,* которая *вооружилась его арестовать* и идет на него с дрекольями. Так как я часто и много увлекался этим сюжетом, то у меня первое время шло *увлекательно!!* Тургенев при первом взгляде на начало остановился со вниманием. По разносторонности своей натуры, он увлекался всем и был всегда независим в своих увлечениях и ценил новизну. В другой раз он зашел и говорил много интересного по поводу начатой картины... Но в третий раз, когда он захотел еще взглянуть на Христа, — его *уже не было.* Я записал картину: Стенькой Разиным на лодке... [8] Тургенев, когда узнал это, взглянул на меня своими выразительными глазами, до невероятности удивился... И я заметил, что он уже посмотрел на меня, как на психически *неблагополучного...* Да, действительно, этим пороком, *«самоуничтожением»,* я страдаю и по сие время; и часто даже ночью, проснувшись, я невыразимо страдаю при воспоминании о погубленных своих жертвах.

Ваш Илья Репин.

А. Ф. КОНИ

ИЗ КНИГИ «НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ»

И. С. ТУРГЕНЕВ

В первый раз я близко встретился с Тургеневым в 1874 году, в один из его кратковременных приездов в Петербург. Его вообще интересовали наши новые суды, а затем особое его внимание остановил на себе разбиравшийся в этом году при моем участии, в качестве прокурора, громкий, по личности участников, процесс об убийстве помещика одной из северных губерний, соблазнившего доверчивую девушку и устроившего затем брак ее со своим хорошим знакомым, от которого он скрыл свои предшествовавшие отношения к невесте. Я говорил подробно об этом деле <...> в записках судебного деятеля [1].

Переписка участников этой драмы, дневник жены и личность убийцы, обладавшего в частной и общественной жизни многими симпатичными и даже трогательными свойствами, представляли чрезвычайно интересный материал для глубокого и тонкого наблюдателя и изобразителя жизни, каким был Тургенев. Он хотел познакомиться с некоторыми подробностями дела и со взглядом на него человека, которому выпало на долю разбирать эту житейскую драму пред судом. Покойный Виктор Павлович Гаевский привел Тургенева ко мне в окружной суд и познакомил нас. Как сейчас вижу крупную фигуру писателя, сыгравшего такую влиятельную роль в умственном и нравственном развитии людей моего поколения, познакомившего их с несравненной красотой русского слова и давшего им много незабвенных минут душевного умиления; вижу его

седины с прядью, спускавшеюся на лоб, его милое, русское, мужичье, как у Л. Н. Толстого, лицо, с которым мало гармонировало шелковое кашне, обмотанное, по французскому обычаю, вокруг шеи, слышу его мягкий «бабий» голос, тоже мало соответствовавший его большому росту и крупному сложению. Я объяснил ему все, что его интересовало в этом деле, прения по которому он признавал заслуживавшими перевода на французский язык, а затем, уже не помню, по какому поводу, разговор перешел на другие темы. Коснулся он, между прочим, Герцена, о котором Тургенев говорил с особой теплотой <...>

Когда Гаевский напомнил, что Иван Сергеевич хотел бы посмотреть самое производство суда с присяжными, я послал узнать, какие дела слушаются в этот день в обоих уголовных отделениях суда. Оказалось, что там, как будто нарочно, разбирательство шло при закрытых дверях и что в одном рассмотрение дела уже кончалось, а в другом еще продолжалось судебное следствие. Я повел Тургенева в это последнее отделение и, оставив его на минуту с Гаевским, вошел в залу заседания, чтобы попросить товарища председателя разрешить ему присутствовать при разборе дела. Но этот тупой формалист заявил мне, что это невозможно, так как Тургенев не чин судебного ведомства, и что он может дозволить ему присутствовать лишь в том случае, если подсудимый — отставной солдат, обвинявшийся в растлении восьмилетней девочки, — заявит, что просит его допустить в залу как своего родственника. В надежде, что Тургенев, вероятно, почетный мировой судья у себя в Орловской губернии, я обратился к нему с вопросом об этом, но получил отрицательный ответ. Мне, однако, трудно было этому поверить, и я послал в свой кабинет за списком чинов министерства юстиции, в котором, к великой моей радости и к не меньшему удивлению самого Тургенева, оказалось, что он давно уже почетный мировой судья, и даже по двум уездам. Он добродушно рассмеялся, заметив, что это с ним случается не в первый раз и что точно так же он совершенно случайно узнал о том, что состоит членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности [2]. Я увидел в этом нашу обычную халатность: даже желая почтить человека, мы обыкновенно не умеем этого доделать до конца.

Введенный мною в «места за судьями» залы заседания Тургенев чрезвычайно внимательно следил за всеми подробностями процесса. Когда был объявлен перерыв и судьи

ушли в свою совещательную комнату, я привел туда Тургенева (Гаевский уехал раньше) и познакомил его с товарищем председателя и членами суда. В составе судей был старейший член суда, почтенный старик труженик, горячо преданный своему делу, но, кроме этого дела, ничем не интересовавшийся. Он имел привычку брюзжать, говорить в заседаниях сам с собою и обращаться к свидетелям и участвующим в деле с вопросами, поражавшими своей неожиданной наивностью, причем вечно куда-то торопился, прерывая иногда на полуслове свою отрывистую речь. «Позвольте вас познакомить с Иваном Сергеевичем Тургеневым, — сказал я ему и прибавил, обращаясь к нашему гостю: — А это одни из старейших членов нашего суда — <Сербинович>». Тургенев любезно протянул руку, мой «старейший» небрежно подал свою и сказал, мельком взглянув на Тургенева: «Гм! Тургенев? Гм! Тургенев? Это вы были председателем казенной палаты в...» — и он назвал какой-то губернский город. «Нет, не был», — удивленно ответил Тургенев. «Гм! а я слышал об одном Тургеневе, который был председателем казенной палаты». — «Это наш известный писатель», — сказал я вполголоса. «Гм! писатель? Не знаю...» — и он обратился к проходившему помощнику секретаря с каким-то поручением.

В следующий приезд Тургенева я встречал его у М. М. Стасюлевича и не мог достаточно налюбоваться его манерой рассказывать с изящной простотой и выпуклостью, причем он иногда чрезвычайно оживлялся.

Я помню его рассказы о впечатлении, произведенном на него скульптурами, найденными при пергамских раскопках. Восстановив их в том виде, в каком они должны были существовать, когда рука времени и разрушения их еще не коснулась, он изобразил их нам с таким увлечением, что встал с своего места и в лицах представлял каждую фигуру. Было жалко сознавать, что эта блестящая импровизация пропадает бесследно. Хотелось сказать ему словами одного из его «Стихотворений в прозе»: «Стой! каким я теперь тебя вижу — останься навсегда в моей памяти!» Это желание, по-видимому, ощутил сильнее всех сам хозяин и тотчас же привел его в исполнение зависящими от него способами. Он немедленно увел рассказчика в свой кабинет и запер его там, объявив, что не выпустит его, покуда тот не напишет все, что рассказал. Так произошла статья Тургенева «О пергамских раскопках», очень интересная и содержательная, но, к сожалению, все-таки не

могущая воспроизвести того огня, которым был проникнут устный рассказ[3]. Раза два, придя перед обедом, Тургенев посвящал небольшой кружок в свои сновидения и предчувствия. Это были целые повествования, проникнутые по большей части мрачной поэзией, за которою невольно слышался, как и во всех его последних произведениях, а также в старых — «Призраках» и «Довольно», — ужас перед неизбежностью надвигающейся смерти. В его рассказах о предчувствиях большую роль, как и у Пушкина, играли «суеверные приметы», к которым он очень был склонен, несмотря на свои пантеистические взгляды.

Зимою 1879 года Тургенев был проездом в Петербурге и жил довольно долго в меблированных комнатах на углу тогдашней Малой Морской и Невского[4]. Старые, односторонние, предвзятые и подчас продиктованные личным нерасположением и завистью нападки на автора «Отцов и детей», вызвавшие у него крик души в его «Довольно», давно прекратились, и снова симпатии всего, что было лучшего в русском мыслящем обществе, обратились к нему. Особенно восторженно относилась к нему молодежь. Ему приходилось убеждаться в заслуженном внимании и теплом отношении общества почти на каждом шагу, и он сам с милой улыбкой внутреннего удовлетворения говорил, что русское общество *его простило.* В этот свой приезд он очень мучился припадками подагры и однажды просидел несколько дней безвыходно в тяжелых страданиях, к которым относился, впрочем, с большим юмором, выгодно отличаясь в этом отношении от многих весьма развитых людей, которые не могут удержаться, чтобы прежде всего не нагрузить своего собеседника или посетителя целой массой сведений о своих болезненных ощущениях, достоинствах врачей и качествах прописанных медикаментов. Придя к нему вместе с покойным А. И. Урусовым, мы встретили у него Салтыкова-Щедрина и присутствовали при их поразившей нас своей дипломатичностью беседе, что так мало вязалось с бранчивой повадкой знаменитого сатирика. Было очевидно, что есть много литературных, а может быть, и житейских вопросов, по которым они резко расходились во мнениях. Но было интересно слышать, как они оба тщательно обходили эти вопросы не только сами, но даже и тогда, когда их возбуждал Урусов.

В конце января этого года скончался мой отец — старый литератор тридцатых и сороковых годов и редактор-издатель журнала «Пантеон», главным образом посвя-

щенного искусству и преимущественно театру, вследствие чего покойный был в хороших отношениях со многими выдающимися артистами того времени. В бумагах его, среди писем Мочалова, Щепкина, Мартынова и Каратыгина, оказался большой дагерротипный портрет Полины Виардо-Гарсиа с любезной надписью. Она изображена на нем в костюме начала пятидесятых годов, в гладкой прическе с пробором посредине, закрывающей наполовину уши, и с «височками». Крупные черты ее некрасивого лица, с толстыми губами и энергическим подбородком, тем не менее привлекательны благодаря прекрасным, большим, темным глазам с глубоким выражением. Среди этих же бумаг я нашел стихотворение забытого теперь поэта Мятлева, автора «Сенсаций госпожи Курдюковой дан л'етранже», пользовавшихся в свое непритязательное время некоторой славой и представляющих скучную в конце концов смесь «французского с нижегородским». В таком же роде было и это его стихотворение, помеченное 1843 годом. Вот оно:

Что за вер-до, что за в е р - д о , —
Напрасно так певицу называют.
Неужели не понимают,
Какой небесный в ней кадо?
Скорее слушая сирену,
Шампанского игру и пену,
Припомним мы. Так высоко
И самый лучший вёв Клико
Не залетит, не унесется.
Как песнь ее, когда зальется
С о л о в у ш к о ю. — Э, времеан,
Пред ней водица и Креман!
Она в «Сомнамбуле», в «Отелло» —
Заткнет за пояс Монтебелло,
А про Моет и Силлери
Ты даже и не говори!

По времени оно относилось к тем годам, когда впервые появилась на петербургской оперной сцене Виардо и когда с нею познакомился Тургенев, сразу подпавший под обаяние ее чудного голоса и всей ее властной личности. Восторг, ею возбуждаемый в слушателях, нашел себе выражение в приведенных стихах Мятлева, но для массы слушателей Виардо он был, конечно, преходящим, тогда как в душу Тургенева этот восторг вошел до самой сокровенной ее глубины и остался там навсегда, повлияв на всю личную жизнь этого «однолюба» и, быть может, в некоторых отношениях исказив то, чем эта жизнь могла бы быть. Несомненно, что описание Тургеневым внезапно налетев-

шей на некоторых из его героев любви, вырвавшей подобно буре из сердца их слабые ростки других чувств, — и те скорбные, меланхолические ноты, которые звучат в описаниях душевного состояния этих героев в «Вешних водах», «Дыме» и «Переписке», имеют автобиографический источник. Недаром он писал в 1873 году г-же Комманвиль: «Votre jugement sur «Les Eaux du Printemps» est parfaitement juste; quant à la seconde partie, qui n'est ni bien motivée, ni bien nécessaire, je me suis laissé entraîner par des souvenirs» *[5]. Замечательно, что более чем через тридцать пять лет после первых встреч с Виардо, в сентябре 1879 года, Тургенев начал одно из своих чудных «Стихотворений в прозе» словами: «Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти: «Как хороши, как свежи были розы...» Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча; я сижу, забившись в угол; а в голове все звенит да звенит: «Как хороши, как свежи были розы...» Оказывается, что забытое Тургеневым и слышанное им *где-то* и *когда-то* стихотворение принадлежало Мятлеву и было напечатано в 1843 году под названием «Розы». Вот начальная строфа этого произведения, звучавшая чрез три с половиной десятилетия своим первым стихом в памяти незабвенного художника, вместе с Мятлевым восхищавшегося Виардо-Гарсией:

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

В этот свой приезд Тургенев снова часто бывал у М. М. Стасюлевича и много рассказывал с большим оживлением и жизненной бодростью в голосе и взоре. Выше всех и краше всего для него был Пушкин. Он способен был говорить о нем целые часы с восторгом и умилением, приводя обширные цитаты и комментируя их с особой глубиной и оригинальностью. В этом сходился он с Гончаровым, который также благоговел перед Пушкиным и знал наизусть не только множество его стихов, но и выдающиеся места его прозы. На почве преклонения перед Пушкиным произо-

---

* Ваше суждение о «Вешних водах» совершенно правильно; что же касается второй части, которая недостаточно обоснована и не необходима, я дал себя увлечь воспоминаниям (*фр.*).

шел у Тургенева незабвенный для всех слушателей горячий спор с Кавелиным, который ставил Лермонтова выше. Романтической натуре Кавелина ропщущий, негодующий и страдающий Лермонтов был ближе, чем величавый в своем созерцании Пушкин. Но Тургенев с таким взглядом примириться не мог, и объективность Пушкина пленяла его гораздо больше субъективности Лермонтова. Он с любовью останавливался на указаниях Пушкина на источники и условия поэтического творчества, поражался их верностью и глубиной и с восторгом цитировал изображение Пушкиным прилива вдохновения, благодаря которому душа поэта становится полна «смятения и звуков». В словах его с очевидностью звучало, что и он в своем творчестве не раз испытал такое смятение [6].

Почти всегда в бодром настроении духа, он бывал в это время неистощим в рассказах из своей жизни и своих наблюдений. Так, например, он рассказал нам, как однажды, идя по улице уездного города (кажется, Обояни или Мценска) вместе с известным по «Запискам охотника» Ермолаем, он встретил одного из местных мещан, которому Ермолай поклонился, как знакомому. «Что это, — спросил Тургенев, когда тот прошел мимо, — лицо-то у него как расцарапано, даже кровь сочится!» — «И впрямь! — ответил Ермолай, — спросить надо. Эй! Семеныч, подожди малость!» И когда они оба подошли к остановившемуся, то Ермолай сказал ему: «Что это у тебя лик-то какой: весь в царапинах?» Мещанин провел рукой по лицу, посмотрел на следы крови на ладони, вздохнул, вытер руку об изнанку полы своей чуйки и, мрачно посмотрев на Тургенева, вразумительным тоном сказал: «Жена встретила!» В другой раз, описывая свое студенческое житье в Петербурге, Тургенев, с удивительной живостью подражая голосу своей квартирной хозяйки-немки, передавал, как она, слушая его ропот на судьбу, не баловавшую его получением денег из отчего дома, говаривала ему: «Эх, Иван Сергеевич, нэ надо быть грустный, man soll nicht traurig sein; * жисть это как мух: пренеприятный насеком! Что дэлайт! Тэрпэйт надо!»

Когда настал день отъезда Тургенева, то, желая доставить ему удовольствие и в то же время избавить его от каких-либо личных объяснений, я послал ему портрет Виардо, принадлежавший моему отцу. Но он успел мне

---

* не надо грустить (*нем.*).

ответить. «Любезнейший Анатолий Федорович! — писал он мне 18 марта 1879 года. — Я не хочу уехать из России, не поблагодарив вас за ваш для меня весьма драгоценный подарок. Дагерротип моей старинной приятельницы, перенося меня за тридцать лет назад, оживляет для меня то *незабвенное* время. Примите еще раз мое искреннее спасибо. Позвольте дружески пожать вашу руку и уверить вас в чувствах неизменного уважения преданного вам Ив. Тургенева».

Летом того же года мне пришлось быть в Париже одновременно с М. М. Стасюлевичем и его супругой. Тургенев жил в это время там (rue de Douai, 4), и Стасюлевич пригласил нас обоих завтракать к Вуазену, где готовили каких-то особенных куропаток, очень расхваливаемых Иваном Сергеевичем. Было условлено, что я заеду за Тургеневым и мы вместе в назначенный час приедем к Вуазену. На мой звонок мне отворил весьма неприветливый concierge * и, узнав мою фамилию, указал мне на верхний этаж, куда вела лестница темного дерева с широким пролетом в середине, и отрывисто сказал мне: «Vous êtes admis» **. Проходя мимо дверей того этажа, который у нас называется бельэтажем, я услышал за ними чей-то довольно резкий голос, выделывавший вокальные упражнения, прерываемые по временам чьими-то замечаниями. Наверху меня встретил Иван Сергеевич и ввел в свое помещение, состоявшее из двух комнат. На нем была старая, довольно потертая бархатная куртка. Царившая в комнатах «оброшенность» неприятно поразила меня. На маленьком закрытом рояле и положенных на него нотах лежал густой слой пыли. Штора старинного прямого образца одним из своих верхних углов оторвалась от палки, к которой была прикреплена, и висела поперек окна, загораживая отчасти свет, очевидно уже давно, так как и на ее складках замечался такой же слой пыли. Расхаживая, во время разговора с хозяином, по комнате, я не мог не заметить, что в соседней небольшой спальне все было в беспорядке и не убрано, несмотря на то что был уже второй час дня. Мне невольно вспомнился стих Некрасова: «Но тот, кто любящей рукой не охранен, не обеспечен...»[7] Видя, что оживленная беседа с Тургеневым, очень интересовавшимся событиями и ходом дел на родине, может нас задержать, я напомнил

---

* привратник, швейцар (*фр.*).
** Вас примут (*фр.*).

ему, что нас ждут. «Да, д а , — заторопился о н , — сейчас я оденусь!» — и через минуту вошел в темно-сером пальто из какой-то материи, напоминавшей толстую парусину. Продолжая говорить, он хотел застегнуться и машинально искал пуговицу, которой уже давно на этом месте не было. «Вы напрасно ищете п у г о в и ц у , — заметил я, с м е я с ь , — ее нет!» — «Ах! — воскликнул о н , — и в самом деле! Ну, так мы застегнемся на другую». И он перевел руку на одну петлю ниже, но соответствующая ей пуговица болталась на ниточках, за которыми тянулась выступившая наружу подкладка. Он добродушно улыбнулся и, махнув рукою, просто запахнул пальто, продолжая разговаривать. Когда, спускаясь с лестницы, мы стали приближаться к дверям бельэтажа, за ними раздались звуки сильного контральто, тоже, как казалось, передававшие какое-то вокальное упражнение. Тургенев вдруг замолк, шепнул мне: «ш-ш!» и сменил свои тяжелые шаги тихой поступью, а затем остановился против дверей, быстрым движением взял меня ниже локтя своей большою, покрытой редкими черными волосами рукою и сказал мне, показывая глазами на дверь: «Какой голос! До сих пор!» Я не могу забыть ни выражения его лица, ни звука его голоса в эту минуту: такой восторг и умиление, такая нежность и глубина чувства выражались в них... За завтраком он был очень весел, много рассказывал о Золя и о Доде и ядовито подсмеивался над первым из них, когда я обратил его внимание на то, что одна из последних корреспонденций Золя в «Вестнике Европы» о наводнениях в долине Луары есть, в сущности, повторение того, что рассказано автором в одном из ранних его произведений, в «Contes à Ninon», под названием «Histoire du grand Médéric»[8]. «Да, д а , — сказал о н , — Золя не прочь быть именинником и на Онуфрия и на Антона!» Под конец наша собеседница как-то затронула вопрос о браке и шутливо просила Тургенева убедить меня наложить на себя брачные узы. Тургенев заговорил не тотчас и как бы задумался, а потом поднял на меня глаза и сказал серьезным и горячим тоном: «Да, да, женитесь, непременно женитесь! Вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость, когда поневоле приходится приютиться на краешке чужого гнезда, получать ласковое отношение к себе как милостыню и быть в положении старого пса, которого не прогоняют только по привычке и из жалости к нему. Послушайте моего совета! Не обрекайте себя на такое безотрадное будущее!» Все это было ска-

зано с таким плохо затаенным страданием, что мы невольно переглянулись. Тургенев это заметил и вдруг стал собираться уходить, по-видимому недовольный вырвавшимся у него заявлением. Мы стали его удерживать, но он сказал: «Нет, я и так засиделся. Мне надо домой. Дочь m-me Viardot больна и в постели. Может оказаться нужным, чтобы я съездил к доктору или сходил в аптеку». И, запахнув свое пальто, он торопливо распростился с нами и ушел. Впоследствии, просматривая его письма к Флоберу и прочитав письмо от 17 августа 1877 года, где говорится: «Caen? pourquoi Caen? direz-vous, mon cher vieux. Que diable veut dire Caen! Ah, voilà! Les dames de la famille Viardot doivent passer quinze jours au bord de la mer, soit à Luc, soit à St.-Aubin, et l'on m'a envoyé en avant pour trouver quelque chose» *, — я вспомнил слова Тургенева за нашим завтраком.

Лет двенадцать тому назад я передал свои впечатления от этой встречи с Тургеневым покойному Борису Николаевичу Чичерину, и он вспомнил, что однажды при нем и при Тургеневе, в первой половине шестидесятых годов, зашел разговор о необходимости выходить из фальшивых положений, оправдывая тем изречение Александра Дюма-сына: «On traverse une position équivoque, on ne reste pas dedans» **.

«Выдумаете?! — с грустной иронией воскликнул Тургенев. — Из фальшивых положений не выходят! Нет-с, не выходят! Из них выйти нельзя!..»

В последний раз я видел его в Москве, в июне 1880 года, на открытии памятника Пушкину. Это открытие было одним из незабвенных событий русской общественной жизни последней четверти прошлого столетия. Тот, кто в нем участвовал, конечно, навсегда сохранил о нем самое светлое воспоминание. После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет, с начала 1880 года стало легче дышать, и общественная мысль и чувство начали принимать хотя и не вполне определенные, но, во всяком случае, более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все начало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг

---

* Кан? почему Кан, скажете вы, мой старый друг. На кой черт этот Кан? А дело вот в чем. Дамы семейства Виардо должны провести две недели на берегу моря в местечко Люк или Сент-Обен; я отправлен вперед подыскать для них что-нибудь (*фр.*).

** Из двусмысленного положения выходят, в нем не остаются (*фр.*).

пронеслись свежие струи чистого воздуха — и все постепенно стало оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве. Мне пришлось в нем участвовать в качестве представителя Петербургского юридического общества и начать испытывать прекрасные впечатления, им вызванные, с самого момента выезда в Москву. Дело в том, что открытие памятника было первоначально назначено на 26 мая, но смерть императрицы Марии Александровны[9] заставила отнести это открытие на 2 июня, а какое-то недоразумение при вторичном докладе о том председателя комиссии по сооружению памятника, принца Петра Георгиевича Ольденбургского, вызвало новую отсрочку до 6-го июня. Между тем управление Николаевской железной дороги объявило об отправлении экстренного удешевленного поезда в Москву и обратно для желающих присутствовать при открытии памятника. К 24-му мая на поезд записалась масса народу. Когда последовала отсрочка, большинство тех, кого поездка интересовала исключительно своею дешевизной, а в Москву привлекали личные дела, отказалось от взятия записанных на себя билетов, хотя все-таки осталось довольно много желавших ехать. Но после второй отсрочки записавшимися на поезд оказались исключительно ехавшие для участия в открытии памятника. Поэтому поезд, отправившийся из Петербурга 4-го июня в четыре часа, носил совершенно своеобразный характер. В его вагонах сошлись очень многие видные представители литературы е искусства и депутаты от различных обществ и учреждений. Общность цели скоро сблизила всех в одном радостном ощущении того, что впоследствии А. Н. Островский назвал в своей речи «праздником на нашей улице». Хорошему настроению соответствовал прекрасный летний день, сменившийся теплым и ясным лунным вечером. В поезде оказался некто Мюнстер, знавший наизусть почти все стихотворения Пушкина и прекрасно их декламировавший. Когда смерклось, он согласился прочесть некоторые из них. Весть об этом облетела поезд, и вскоре в данном вагоне первого класса на откинутых креслах и на полу разместились чуть не все ехавшие. Короткая летняя ночь прошла в благоговейном слушании «Фауста», «Скупого рыцаря», отрывков из «Медного всадника», писем и объяснений Онегина и Татьяны, «Египетских ночей», диалога между Моцартом и Сальери. Мюнстер так приподнял общее настроение, что, когда он окончил, на середину выступил

Яков Петрович Полонский и прочел свое прелестное стихотворение, предназначенное для будущих празднеств и начинавшееся словами: «Пушкин — это старой няни сказка». За ним последовал Плещеев, тоже со стихотворением ad hoc *, — и все мы встретили, после этого поэтического всенощного бдения, восходящее солнце растроганные и умиленные.

В день приезда в Москву последовал торжественный прием депутаций в зале городской думы и чтение адресов и приветствий [10], причем вследствие того, что юридические общества прислали представителей, не озаботясь снабдить их адресами, я прочел петербургский адрес как приветствие от *всех* русских юридических обществ, в группе представителей которых общее внимание привлекала доктор прав Лейпцигского университета Анна Михайловна Евреинова. На другой день, с утра, Москва приняла праздничный вид, и у памятника, закутанного пеленой, собрались многочисленные депутации с венками и хоругвями трех цветов: белого, красного и синего — для правительственных учреждений, ученых и литературных обществ и редакций. Ко времени окончания литургии в Страстном монастыре яркие лучи солнца прорезали облачное небо, и, когда из монастырских ворот показалась официальная процессия, колокольный звон слился с звуками оркестров, исполнявших коронационный марш Мендельсона. На эстраду взошел принц Ольденбургский со свитком акта о передаче памятника городу. Наступила минута торжественного молчания; городской голова махнул свитком, пелена развернулась и упала, и под восторженные крики «ура» и пение хоров, запевших «Славься» Глинки, предстала фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головой. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину перед собою и временное забвение. У многих на глазах заблистали слезы... Хоругви задвигались, поочередно склоняясь перед памятником, и у подножья его стала быстро расти гора венков [11].

Через час в обширной актовой зале университета, наполненной так, что яблоку негде было упасть, состоялось торжественное заседание. На кафедру взошел ректор университета Н. С. Тихонравов и с обычным легким косно-

---

* к случаю (специально для этого празднества написанным) (*лат.*).

язычием объявил, что университет, по случаю великого праздника русского просвещения, избрал в свои почетные члены председателя комиссии по сооружению памятника академика Якова Карловича Грота и Павла Васильевича Анненкова, так много содействовавшего распространению и критической разработке творений Пушкина. Единодушные рукоплескания приветствовали эти заявления. «Затем, — сказал Тихонравов, — университет счел своим долгом просить принять это почетное звание нашего знаме...», но ему не дали договорить. Точно электрическая искра пробежала по зале, возбудив во всех одно и то же представление и заставив в сердце каждого прозвучать одно и то же имя. Неописуемый взрыв рукоплесканий и приветственных криков внезапно возник в обширной зале и бурными волнами стал носиться по ней. Тургенев встал, растерянно улыбаясь и низко наклоняя свою седую голову с падающею на лоб прядью волос. К нему теснились, жали ему руки, кричали ему ласковые слова, и, когда до него наконец добрался министр народного просвещения Сабуров и обнял его, утихавший было шум поднялся с новой силой. В лице своих лучших представителей русское мыслящее общество как бы венчало в нем достойнейшего из современных ему преемников Пушкина. Лишь появившийся на кафедре Ключевский, начавший свою замечательную речь о героях произведений Пушкина, заставил утихнуть общее восторженное волнение.

В тот же день на обеде, данном городом членам депутаций, произошел эпизод, вызвавший в то время много толков. На обеде, после неизбежных тостов, должны были говорить Аксаков и Катков. Между представителями петербургских литературных кругов стала пропагандироваться мысль о демонстративном выходе из залы, как только начнет говорить редактор «Московских ведомостей», в это время уже резко порвавший с упованиями и традициями передовой части русского общества и начавший свою пагубную проповедь исключительного культа голой власти, как самодовлеющей цели, как власти an und für sich *. Но когда, после красивой речи Аксакова, встал Катков и начал своим тихим, но ясным и подкупающим голосом тонкую и умную речь, законченную словами Пушкина: «Да здравствует разум, да скроется тьма!» — никто не только не ушел, но большинство — временно

* самой для себя (*нем.*).

примиренное — двинулось к нему с бокалами. Чокаясь направо и налево с окружавшими, Катков протянул через стол свой бокал Тургеневу, которого перед тем он допустил жестоко «изобличать» и язвить на страницах своей газеты за денежную помощь, оказанную им бедствовавшему Бакунину. Тургенев отвечал легким наклонением головы, но своего бокала не протянул. Окончив чоканье, Катков сел и во второй раз протянул бокал Тургеневу. Но тот холодно посмотрел на него и покрыл свой бокал ладонью руки [12]. После обеда я подошел к Тургеневу одновременно с поэтом Майковым. «Эх, Иван Сергеевич, — сказал последний с мягким упреком, — ну, зачем вы не ответили на примирительное движение Каткова? Зачем не чокнулись с ним? В такой день можно все забыть!» — «Ну, нет, — живо отвечал Иван Сергеевич, — я старый воробей, меня на шампанском не обманешь!»

Вечером, в зале Дворянского собрания, был первый из трех устроенных в память Пушкина концертов, с пением и чтением поэтических произведений. На устроенной в зале сцене стоял среди тропических растений большой бюст Пушкина, и на нее поочередно выходили представители громких литературных имен, и каждый читал что-либо из Пушкина или о Пушкине. Островский, Полонский, Плещеев, Чаев, вперемежку с артистами и певцами, прошли пред горячо настроенной публикой. Появился и грузный, с типическим лицом и выговором костромского крестьянина, всклокоченный и с большими глазами навыкате Писемский. Вышел наконец и Тургенев. Приветствуемый особенно шумно, он подошел к рампе и стал декламировать на память, и нельзя сказать, что особенно искусно, «Последнюю тучу рассеянной бури», но на третьем стихе запнулся, очевидно его позабыв, и, беспомощно разведя руками, остановился. Тогда из публики, с разных концов, ему стали подсказывать все громче и громче. Он улыбнулся и сказал конец стихотворения вместе со всею залой. Этот милый эпизод еще более подогрел общее чувство к нему, и когда, в конце вечера, под звуки музыки все участники вышли на сцену с ним во главе и он возложил на голову бюста лавровый венок, а Писемский затем, сняв этот венок, сделал вид, что кладет его на голову Тургенева, — весь зал огласился нескончаемыми рукоплесканиями и громкими криками «браво». На следующий день, в торжественном заседании Общества любителей российской словесности в том же Дворян-

ском собрании, Иван Сергеевич читал свое слово о Пушкине с большим одушевлением и чувством, и заключительные слова его о том, что должно настать время, когда на вопрос, кому поставлен только что открытый накануне памятник, простой русский человек ответит: «Учителю!» — снова вызвали бурную овацию [13].

Три дня продолжались празднества и растроганное настроение так или иначе причастных к ним, причем главным живым героем этих торжеств являлся, но общему признанию, Тургенев <...>

С этих пор я больше не видел Тургенева, но получал от него из Парижа поклоны через М. М. Стасюлевича. Он разрешил последнему показать мне осенью 1882 года в рукописи «Стихотворения в прозе». Среди них были не напечатанный тогда «Порог» (разговор Судьбы с русской девушкой) и полная добродушного юмора вещица, кончавшаяся словами: «Но не спорь с Владимиром Стасовым», шумным и яростным спорщиком, приводившим Тургенева в отчаяние своими нападками на Пушкина. Она, сколько мне известно, не была никогда напечатана, а «Порог» Тургенев сам просил Стасюлевича выкинуть, говоря в своем письме: «Чрез этот «Порог» вы можете споткнуться... особенно если его пропустят, а потому лучше подождать». Рукопись дана была мне поздно вечером, и я провел всю ночь, читая и несколько раз перечитывая эти чудные вещи, в которых не знаешь, чему более удивляться — могучей ли прелести русского языка или яркости картин и трогательной нежности образов. Я высказал все это в письме к Стасюлевичу, выразив лишь сомнение, правильно ли в «Конце света» употреблено слово «круч» вместо «круча», а он, как оказалось, послал мое письмо в подлиннике Тургеневу. «Спасибо за сообщенное мне письмо Кони, — писал ему 25 сентября 1882 года Иван Сергеевич. — Очень оно меня тронуло, и я буду хранить его как документ. И «круч» — и «круча» существуют; но «круча», я думаю, грамматически правильнее».

Менее чем через год Иван Сергеевич опочил, после тяжких страданий, а 27 сентября 1883 года грандиозная похоронная процессия с венками и эмблемами, с трогательными, благодарственными надписями проводила его дорогой прах на Волково кладбище и опустила в землю в том месте, где через два года упокоился и Кавелин.

М. М. КОВАЛЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

Я встретился с Тургеневым в 1878 году, в Париже. Боборыкин повел меня к нему, и мы целое утро пробеседовали о предстоявшем литературном конгрессе и о том, стоять ли русским писателям «за» или «против» признания литературной собственности иностранцев. Из всех нас один Тургенев мог быть лично заинтересован в том, чтобы вопрос этот был решен в утвердительном смысле. Притом, подобно Боборыкину, он полагал, что грубое, безграничное отрицание этого права иностранных авторов было бы явной несправедливостью. Несмотря на все это, он согласился в конце концов с Полонским и мною, что безусловное признание за переводчиками обязанности вознаграждать литераторов сделало бы немыслимым появление на русском языке целого ряда ученых сочинений, так как последние и без того едва окупаются переводчикам. Тургенев не только примкнул к этому мнению, но и добровольно принял на себя защищать его на конгрессе, что при тогдашнем настроении французских газет и литературных кружков было своего рода героизмом [1].

Два дня спустя я встретил Ивана Сергеевича на конгрессе, который, по предложению Абу, избрал его своим действительным президентом (почетным считался Виктор Гюго). Как председатель Тургенев был из рук вон плох. Абу постоянно дергал его сзади, напоминая ему об его обязанностях. Я не видал его никогда в более затруднительном положении. Он просто недоумевал, что ему делать, чтобы прекратить шум и разговоры в разных концах залы (собрание заседало в Grand Orient — парижском храме масонов). Он то вставал, собираясь что-то сказать,

и не говорил ничего, то давал голос не в очередь и, наконец, к довершению собственного смущения, уронил звонок. «Что это за председатель, — послышались ему голоса соседей, — когда он не умеет даже держать звонка». Бедный Иван Сергеевич стал извиняться, ссылаясь на то, что обстановка, в которой он провел большую часть жизни, не могла приучить его к практике «дебатирующих собраний» (assemblées délibérantes). Когда в ближайшем заседании ему самому пришлось высказаться по вопросу о гарантиях французской литературной собственности в России и он открыто стал на сторону переводчиков против авторов, то в собрании поднялся такой гам, что Ивану Сергеевичу не удалось и досказать до конца своей мысли. Всего более шумел кн. Любомирский, утверждая, что переводчики просто наживаются его романами, теми самыми романами, которые только и можно встретить что в фельетонах мертворожденных газет. Если как председатель Тургенев потерпел полное фиаско, то как литератор он мог похвалиться большим успехом. В начале и конце сессии его окружали писатели разных стран, уверяя его, например, — как он сам мне это рассказывал, — что в Бразилии имя его столь же популярно, как имя Виктора Гюго и Ксавье де Монтепена *[2].

Торжественное заседание Литературного конгресса, состоявшееся в Шателэ, было также для него триумфом. За исключением речи Гюго, ни одна не была покрыта такими дружными аплодисментами, как коротенькая, просто написанная и еще проще прочтенная аллокуция Тургенева. Иван Сергеевич вспоминал в ней о том, как сто лет назад в Париже Фонвизин был свидетелем овации, устроенной Вольтеру в театре, и ставил этот факт в параллель с приемом, какой литераторы всего мира делают в его присутствии Гюго. Отправляясь от этого, он обозревал в немногих словах весь ход развития русской словесности от Фонвизина и до Льва Толстого включительно и указывал, что внесено ею нового в литературный капитал человечества[3]. Безыскусственность и искренность, с какой Тургенев произнес все это, сделали на собрание тем большее впечатление, что перед этим ему только и слышались что громоносные раскаты Гюго — ambassadeurs de l'esprit humain, rois de la pensée (послы челове-

---

* Весь смысл иронии, конечно, в сопоставлении этих двух имен. (*Примеч. М. М. Ковалевского.*)

ческого разума, цари мысли), эпитеты, правда, весьма лестные, но которых все же не могли принять за чистую монету девять десятых присутствовавших. Слишком уже были они далеки от представительства, а тем более от царения над человеческой мыслью.

В том же году мне привелось встретиться с Тургеневым в Лондоне. Аштон Дильк, переводчик «Нови», пригласил его к себе завтракать. Сколько помнится, кроме меня и одного молодого американца, не было никого.

Тургенев с обычной своей приветливостью раскрыл мне при встрече свои широкие объятия, и мы троекратно облобызались по русскому обычаю. Англичане с улыбкой следили за нами, как бы отмечая характерную народную черту. Иван Сергеевич говорил по-английски грамматически правильно, но с нескончаемыми запинками: он, видимо, подыскивал слова и выражался уже «чересчур книжно». Я узнал от него, что он приехал в Лондон прямо из Кембриджа. В окрестностях этого города он охотился у своего приятеля Голя, от него заехал к Льюису и провел целый день на его даче в обществе Джорж Эллиот [4]. «Даниель Деронда», предпоследний роман знаменитой английской писательницы, появился в печати за шесть месяцев до приезда Тургенева в Англию. Льюис был в восторге от него, уверяя всех и каждого, что никогда ничего лучшего не выходило из-под пера его жены. Английская критика между тем отнеслась к роману сдержанно и холодно <...> Не находя отголоска своим восторгам даже в тесном кружке ближайших приятелей, Льюис с жадностью набросился на Тургенева, желая разузнать, что он думает о романе. «Представьте себе, — сказал он ему, — что вы назначены в присяжную комиссию и что вашему решению подлежит вопрос о том, какое из произведений моей жены должно быть поставлено во главе остальных? Скажите, в пользу какого из ее романов подали бы вы ваш голос?» — «Несомненно в пользу «Мельницы на Флоссе», — ответил Тургенев, — это самое безыскусственное и художественное из сочинений вашей жены». Льюис начал спорить, утверждать, что Тургенев недостаточно вчитался в «Даниеля Деронду», что сам он как следует оценил это произведение только после неоднократного чтения. Все было бесполезно: наш художник остался непреклонен в своем предпочтении простоты и безыскусственности, с которой Эллиот в «Мельнице на Флоссе» рисует нам жизнь английского простонародья и средних классов.

Американец, позванный на завтрак Аштоном Дильком, сам оказался писателем и поклонником литературных произведений Тургенева. В этот день я в первый раз узнал, что наш писатель хорошо известен и по ту сторону океана.

В Англии, как говорила мне Джорж Эллиот, Тургенева читали мало, хотя и ценили много. Слишком уже далека от нас ваша жизнь, говорила мне по этому случаю английская писательница; ценить в Тургеневе мы можем только его художественность, а эта сторона писателя понятна лишь немногим истинным любителям и знатокам дела.

В Америке, наоборот, недавнее освобождение негров из неволи как бы породнило общество с тем из русских писателей, который всего громче подымал голос за свободу крестьян: «Записки охотника», как я сам имел случай убедиться в бытность мою в Соединенных Штатах, хорошо известны там читателям не только высшего, но и среднего общества. Тургеневу удалось даже создать нечто вроде маленькой школы в среде американских романистов.

Генри Джемс ставит его открыто выше всех современных беллетристов. Кебль не скрывает того, что Тургенев для него образец [5]. Бойесен признает в нашем великом писателе ту же художественность, что и у Гете, которого он так любит и так хорошо знает *.

Тургенев рассказывал нам за завтраком много интересных подробностей о пребывании его в Оксфорде и Кембридже. (Прежде, чем посетить Голя, он заехал в Оксфорд.) Очень утешало его то обстоятельство, что в Оксфорде известный математик Смис упомянул ему о Чебышеве и о Коркунове, так рано погибшем для науки, как о величайших математических гениях.

В Оксфорде Тургенева принимал Макс Мюллер, и об этом приеме я узнал впоследствии довольно интересные подробности от Рольстона. Незадолго до приезда в Англию Тургенев, уступая охватившему всех русских чувству негодования против своекорыстной политики Англии на Востоке, написал стихотворение под названием «Крокет в Виндзоре»; в этом стихотворении рассказывалось, между прочим, что королева, думая поднять шар, подымает окровавленную голову болгарского мальчика. Как назначенный королевой (Regions professor), Макс

---

* Б о й е с е н — автор очень распространенного не только в Америке, но и в Германии комментария к «Фаусту». (*Примеч. М. М. Ковалевского.*)

Мюллер недоумевал, принять ли ему у себя Тургенева или нет, и, не зная, как поступить, обратился к Рольстону с вопросом: правда ли, что Тургенев недавно печатно задел английскую королеву? Рольстон поручился за Тургенева, что он ее никогда не задевал.

Иван Сергеевич принят был в Оксфорде как нельзя лучше: ночевал в доме у Макса Мюллера и так очаровал всех своею манерой, что на следующий год выбран был оксфордским сенатом в почетные доктора гражданского права. Тургенева очень забавляло то обстоятельство, что он, не знавший, как заключить наипростейшую сделку, на старости лет попал в доктора гражданского права. Этой чести он был удостоен за ту роль, какую на Западе вообще приписывают ему в деле освобождения крестьян. Некоторые англичане и французы до сих пор не прочь думать, что крестьян освободили у нас потому, что Тургенев написал свои «Записки охотника».

Помню я рассказ Ивана Сергеевича о том, как провозглашали его доктором. Явился он в освященной обычаем мантии, прикрывая свои седины докторским колпаком. Вошел он не без некоторого волнения, опасаясь, что публика начнет свистать ему, так как торжество совпало с эпохой самого враждебного настроения англичан против России. Ничуть не бывало. В двух-трех местах залы послышались даже слабые аплодисменты [6].

Тургеневу еще раз пришлось побывать в Англии, за год до смерти. Его переводчик Рольстон воспользовался этим случаем, чтобы устроить ему маленькую овацию. Он созвал на банкет тех немногих писателей, которые не успели еще покинуть Лондона вместе с окончанием «сезона». (Тургенев на этот раз приехал в Англию в начале сентября.)

Иван Сергеевич встретился за обедом с покойным Тролопом, Блеком и целым рядом сотрудников «Times» и «Daily News». Последние, по его словам, уверяли его в том, что очень уважают его за содействие, оказанное им освобождению крестьян, но что, к сожалению, ничего не читали из его произведений.

Рольстон не только угостил Тургенева хорошим обедом и приятным обществом, но и заставил его выслушать целый ряд писем и телеграмм, полученных им от разных английских знаменитостей, с извинением, что, по домашним обстоятельствам, они не могут присутствовать на банкете.

В заключение добрый хозяин навел решительный ужас на своего гостя, объявив, что при ближайшем посещении

им Англии банкет будет дан ему в Экзетер-Голе и что на него приглашены будут сотни человек [7].

В 1879 году, в феврале, Тургенев, по случаю смерти брата, вызван был в Москву. Узнавши о его приезде, я пригласил его к себе и представил ему ближайших сотрудников редактируемого мною в то время «Критического обозрения». Было нас человек 20. На правах хозяина я провозгласил первый тост за Тургенева как за любящего и снисходительного наставника молодежи.

Тургенев не дослушал этого приветствия и разрыдался! На следующий день я получил от него записку, в которой он, между прочим, писал мне: «Вчерашний день надолго останется в моей памяти как нечто еще не бывалое в моей литературной жизни...» Вот как балует наше общество своих гениальных художников!

Помню я, как Тургенев, как бы в ответ на мой тост, предложил нам молчаливо выпить в память Белинского. С каким жаром, с какой любовью говорил он о своем приятеле: «Сколько задушевной искренности и теплоты было в этом человеке. За то же и ценили мы каждое его слово. Получить одобрение от Белинского было нелегко, и кто удостоился этой чести, мог назвать себя счастливым. Вы не судите о Белинском по одним его статьям. Он принадлежит к числу тех людей, которые стоят выше своих произведений. Его слог тягуч и подчас скучен, в разговоре же было столько живости и огня. Я мало читал Белинского, он повлиял на меня своими беседами...» <...>

Два дня спустя Тургенев явился на публичное заседание Общества любителей российской словесности. Прием, сделанный ему, превзошел все мои ожидания. При его появлении в зале (заседание происходило в физической аудитории) поднялся буквально гром рукоплесканий и не стихал несколько минут [8]. Едва смолкнул шум аплодисментов, как послышался с хоров голос студента Викторова. «Вас приветствовал недавно кружок молодых *профессоров*, — сказал *он*. — Позвольте теперь приветствовать вас *нам*, — нам, учащейся русской *молодежи*, — приветствовать вас, автора «Записок охотника», появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения». Викторов подробно развил ту мысль, что Тургенев никогда не стоял так близко к пониманию общественных задач и стремлений молодежи, как именно в эту юношескую эпоху своей литературной деятельности. Сказанные им слова: «Вам не написать более «Запи-

сок охотника», были поняты многими в том смысле, будто Викторов вздумал прочесть Тургеневу какую-то нотацию. В действительности же он, по-видимому, хотел сказать только то, что эпоха сороковых—пятидесятых годов была понята Тургеневым глубже и всестороннее, нежели последующая. Ответ Тургенева был как нельзя более кстати: «Я отношу ваши похвалы более к моим намерениям, нежели к исполнению, — сказал он, — от всей души благодарю вас!» [9]

Толпа проводила Тургенева с такими же овациями, с какими он был принят. Те же овации сопровождали каждый его шаг в Москве. По просьбе студентов он согласился прочесть отрывок из «Записок охотника» на музыкально-литературном вечере, данном Обществом пособия нуждающимся студентам [10]. Толпы студентов провожали его при разъезде, не прекращая своих аплодисментов, пока один из полицейских, под предлогом защитить Тургенева от натиска толпы, схватил его под руку в буквально вывел из залы, в то же время, говорил мне потом Тургенев, уверяя его, что сам принадлежит к числу горячих почитателей его таланта.

У председателя Общества любителей российской словесности и у целого ряда московских знакомых Тургенева возникла мысль почтить его приглашением на литературный банкет. Мне пришлось распоряжаться устройством этого праздника.

Приглашения были разосланы самым разнообразным лицам, сколько-нибудь прикосновенным к литературному делу. Исключение было сделано для одних лишь сотрудников «Московских ведомостей». Их присутствие могло бы быть сочтено Тургеневым за оскорбление. Банкет удался как нельзя лучше, несмотря на изобилие тостов и плохих стихов. Наш известный адвокат Плевако в этот день был в ударе и весьма удачно импровизировал речь, в которой сравнивал русскую литературу с «Преторским эдиктом», впервые внесшим начало гуманности в суровую римскую среду, а самого Тургенева величал претором. Тургенев отвечал на все эти тосты коротеньким словом, в котором старался оттенить свое отношение к молодежи, объявлял о своей солидарности с ее лучшими стремлениями, с ее исканием истины и добра, за что на следующий же день получил выговор от «Московских ведомостей» [11].

Между москвичами оказалось так много старых знакомых Тургенева, и их желание видеть его у себя и пока-

зать своим близким было так сильно, что я почти не видел Ивана Сергеевича иначе, как в торжественной обстановке... И у кого ему не пришлось только побывать! И кого только не заставал я у него по утрам! И студентов, и актеров, и учениц консерватории, и живописцев, которые добивались позволения снять с него портрет и придавали затем кирпичный цвет его коже, и членов Английского клуба, которые так-таки и расстроили ему желудок и сложили его в постель. Едва оправившись от подагры, Тургенев уехал в Петербург, где его снова чествовали, снова закармливали и, наконец, отпустили больным и разбитым в Париж[12].

Год спустя Тургенев приехал в Москву для присутствия на праздниках, устроенных по случаю открытия памятника Пушкину <...> Тургенев несколько раз присутствовал в комитете общества, помогал нам своими советами, писал по нашей просьбе в разные концы Европы, приглашая своих товарищей по перу отозваться на наш первый общественно-литературный праздник.

В ответ на это воззвание получены были письма и телеграммы от Виктора Гюго, Теннисона, Флобера и целого ряда других заграничных писателей[13]. Я никогда не видел Тургенева более умиленным, как в ту минуту, когда с памятника упала завеса и пред ним предстал Пушкин, приветствуемый громким «ура», тот самый Пушкин, которого Тургенев помнил живо лежащим в гробу и локон которого он носил на себе. В то же утро сам Иван Сергеевич сделался предметом самой неподготовленной, самой неожиданной для него овации. Выстроенные в ряд ученики наших классических и реальных гимназий узнали проходившего мимо них Тургенева и разразились громким «ура» <...>

Тургенев стоял решительно за то, чтобы всем приглашенным идти непременно на устроенный думой обед, невзирая на неприятность неизбежной встречи; «...если *Катков*, — писал он в письме к одному из лиц, державшемуся противоположного *взгляда*, — что-нибудь себе позволит, мы встанем и удалимся». Катков позволил себе протянуть бокал в его направлении, но при всем своем добродушии Иван Сергеевич уклонился от этой дерзкой попытки возобновить старые отношения. «Ведь есть вещи, которых нельзя *забыть*, — доказывал он в тот же вечер *Достоевскому*, — как же я могу протянуть руку человеку, которого я считаю ренегатом?..» Слово, сказанное Тургеневым на публичном заседании, устроенном в память Пуш-

кина, по содержанию своему было рассчитано не столько на большую, сколько на избранную публику.

Не было в нем речи ни о русском человеке как «всечеловеке», ни о необходимости человеку образованному смириться пред народом, перенять его вкусы и убеждения. Тургенев ограничился тем, что охарактеризовал в нем Пушкина как художника, отметил редкие особенности его таланта, между прочим способность «брать быка за рога», как говорили древние греки, то есть сразу, без подготовления, приступать к главной литературной теме. Не ставя Пушкина в один ряд с Гете, он в то же время находил в его произведениях многое, достойное войти в литературную сокровищницу всего человечества. Сказанное им было слишком тонко и умно, чтобы быть оцененным всеми. Его слова направлялись более к разуму, нежели к чувству толпы. Речь была встречена холодно, и эту холодность еще более оттенили те овации, предметом которых сделался говоривший вслед за Тургеневым Достоевский [14].

Выходя из залы, Тургенев встретился с группой лиц, несших венок Достоевскому; в числе их были и дамы. Одна из них в настоящее время живет вне России по политическим причинам. Дама эта оттолкнула Ивана Сергеевича со словами: «Не вам, не вам!»

Со времени Пушкинских праздников мне не суждено было более встретиться с Тургеневым в России. Я уехал на два года за границу и неоднократно виделся с ним в Париже. В одном доме со мною жил М. Е. Салтыков, и мы несколько раз сходились обедать втроем, а однажды вместе с Арапетовым и Демонтовичем были приглашены Тургеневым в Буживаль [15]. Мне остался памятным этот день. Салтыков был в духе, юморизировал нескончаемо и все же кончил тем, что под конец рассердился на Арапетова, заметившего ему, что в его глазах автор «Головлевых» и «Истории одного города» перерос головою самого Гоголя. «Что вы, Гоголя? страшно и подумать!» — отвечал ему решительно Салтыков и взглянул на него так грозно, что дальнейший разговор на эту тему сделался невозможным. Не помню, в этот ли день или при другом случае мне пришлось услышать и от Тургенева личную оценку его литературной роли в России. Если не ошибаюсь, тот же Арапетов на правах старого приятеля стал нападать на него за излишнюю скромность. «Право, — отвечал ему Тургенев, — я иногда читаю во французских журналах похвалы своим повестям и сам спрашиваю себя:

«Будто бы это уже так хорошо? Не много ли в этих похвалах условного, того, что французы называют «cliché». Ведь не Гете же я какой-нибудь? и фантазии-то большой у меня нет, и фабулу-то выдумать мне не легко, особенно теперь, когда воображение уже не действует, как прежде. Мне всегда нужна встреча с живым человеком, непосредственное знакомство с каким-нибудь жизненным фактом, прежде чем приступить к созданию типа или к составлению фабулы; конечно, я не какой-нибудь фотограф, я не срисовываю своих образцов, но уже Белинский заметил, что что-нибудь выдумать, взять что-нибудь из головы, я совершенно не способен, а впрочем, цену себе знаю не хуже другого; у меня нет силы таланта, какой обладает Лев Толстой, я бы никогда не мог написать ничего подобного сцене свидания Анны Карениной с ее детьми. Я не поставлю себя также в ряд с Островским. Разве за ними? Разумеется, я не говорю о Салтыкове — это особый талант. Как сатирик, он не имеет себе равного». (Тургенев сам читал однажды на литературном утре в Париже «Двух генералов» Салтыкова и позаботился о переводе их на французский язык.)[16]

Из разговоров с Иваном Сергеевичем я узнал, как сложилась его литературная репутация в Париже, Более всего содействовал ей Мериме[17], а за ним Ламартин. О знакомстве с последним Тургенев рассказал мне следующий любопытный анекдот: Ламартин в последние годы своей жизни стал знакомить французскую публику с иностранными писателями; он издавал отрывки из их произведение снабжая их своими предисловиями и послесловиями. Однажды очередь дошла и до Тургенева[18]. Узнавши об этом, Мериме посоветовал Тургеневу заявить лично свою благодарность Ламартину. Тургенев послушался совета, превозмог свою лень и отправился к Ламартину. «Дорогой я стал придумывать, что мне сказать ему, — рассказывал мне Иван Сергеевич, — и придумал следующее: как муха, попавши раз в янтарь, переживает столетия, так и я обязан вам тем, что не сразу исчезну из памяти французских читателей. Фраза-то была придумана недурно, — говорил по этому случаю Иван Сергеевич, — да мало было в ней правды. Ведь не муха же я, да и он не янтарь. И что же вышло? Как стал я говорить ему свою фразу, так и смешался; твердил: муха... янтарь... Но кто муха и кто янтарь — этого Ламартин так себе и не выяснил».

О Мериме Тургенев выражался обыкновенно как об

очень умном человеке и прекрасном стилисте... «Что же мне недостает?» — спросил его однажды Мериме. «Теплоты и фантазии!» — отвечал ему Тургенев.

Из новейших французских писателей Тургенев был всего ближе с Флобером. Они сошлись и как реалисты в искусстве, и как великие художники, и как старые холостяки. По рассказам Тургенева, Флобер был добродушнейшим человеком и ненавидел только одно: всякое, даже мельчайшее проявление того, что он называл буржуазностью. Бувар и Пекюше с их самодовольной ограниченностью и банальностью — воплощение того, что в глазах Флобера было связано с понятием о буржуазности. Флобер был не только великий писатель, но и необыкновенно начитанный человек [19]. Знакомство его с иностранными литературами было весьма основательное. «Золя, — говорил мне Тургенев, — коробил нас обоих своей необразованностью. Однажды стал он говорить о себе как о первом решительном противнике романтизма». «Ну, а Гейне?» — спросил я его; но оказалось, что об этой стороне деятельности Гейне Золя ничего не слыхал.

Никто из французских писателей, по мнению Тургенева, не обращал такого внимания на форму своих произведений, как Флобер. «Однажды принес я ему, — рассказывал Тургенев, — одну из повестей Белкина, переведенную мною на французский язык [20]. (Тургенев был превосходнейшим знатоком французского языка, так что Тэн говорил о нем, что его язык — язык французских салонов XVIII века.)

Прочитавши мой перевод, Флобер сказал мне: «Нет, так нельзя! Это все надо пересмотреть! Вы слишком часто употребляете одно и то же слово, а если не одно и то же, то однозвучное», — и тут же на моих глазах принялся за пересмотр рукописи. Он вычеркивал целые строчки, снабжал поля собственной редакцией; затем, недовольный своими поправками, вычеркивал все снова, восстановлял прежний текст и на этот раз уже с озлоблением принимался за вторичную его переделку. «Нет! Сегодня ничего не выйдет! — сказал он мне в заключение. — Нужно время! Дайте мне подумать!» Когда через две недели я зашел к нему за рукописью, я не узнал собственного перевода. Но что же это был за слог! Нет, таким слогом во Франции никто не пишет!..»

Из молодых приятелей Флобера Тургенев никого не ценил в такой степени, как Ги де Мопассана. «Из начинающих писателей у нас в России нет ему равного, — ска-

зал он мне однажды. — Пожалуй, Гаршин», — прибавил он, несколько подумавши [21].

Когда Флобер впал в бедность, что случилось с ним за год до его смерти, Тургенев стал убеждать его занять какую-нибудь должность в Париже. Услышавши, что Гамбетта открыто высказался в пользу замещения Флобером вакантного места библиотекаря в Мазаринской библиотеке, Тургенев по настоянию общих друзей Флобера, поехал в Руан убедить автора «Мадам Бовари» принять это предложение. Флобер согласился; а между тем, по чисто личным соображениям, та же должность была обещана друзьями Гамбетты, если не ошибаюсь, Иснару; Тургенев написал Гамбетте о результате своих переговоров с Флобером и не получил ответа. Написал другой раз — тоже молчание. Тогда он решился действовать на него чрез г-жу Adam, на вечерах которой бывал Гамбетта. Газеты передали в свое время о довольно неуважительном отношении Гамбетты к этой просьбе. Но, насколько мне известно из слов самого Тургенева, дело было не совсем так, как рассказал это «Figaro». Зная, что место уже обещано другому, Гамбетта с нетерпением заметил m-me Adam: «Не настаивайте, пожалуйста! это невозможно!» [22] И когда хозяйка подвела к нему Тургенева, ища как бы поддержки собственному ходатайству, Гамбетта не поднялся с кресла только потому, что не заметил Тургенева, так как в это время смотрел в другую сторону своим одиноким глазом. (Известно, что Гамбетта потерял правый глаз еще в школе.) Когда умер Флобер, Тургенев согласился на назначение его в комиссию по устройству памятника великому французскому писателю. Исполняя возложенные на него обязанности, он, между прочим, обратился и к русским читателям с приглашением принять участие в подписке на сооружение памятника. Флобер был и доселе остается весьма популярным писателем в России. Я знаю о существовании в Петербурге целого кружка, поставившего себе целью изучение произведений Флобера. Так как никто больше П. Д. Боборыкина не содействовал распространению этой известности, то Тургенев счел нужным обратиться с письмом к нему. Многим памятен еще тот ряд обвинений, который посыпался за это на Тургенева со стороны наших московских народолюбцев, увидевших чуть не измену русским интересам в этом вполне понятном желании: привлечь к чествованию человека ему близкого и дорогого всех его почи-

тателей, где бы они ни жили[23]. Но чего русские читатели, вероятно, не знают — это то, что одновременно Тургенев получил из Москвы несколько анонимных писем, в которых его называли «лакеем и прихлебателем Виктора Гюго». Влияние Флобера, как мне кажется, сказывается в последних произведениях Тургенева, в тщательности, с которой он стал отделывать свой слог, в преобладающем значении, какое мало-помалу приобрела у него форма над содержанием, и в равнодушии, с которым он стал относиться к самой фабуле. Последнее, впрочем, объясняется еще и меньшей живостью воображения, на которую года за три до смерти стал жаловаться Тургенев. «Помню я, как живо рисовались предо мною в прежнее время выводимые мною типы, — говорил он. — Когда я писал заключительные строки «Отцов и детей», я принужден был отклонять голову, чтобы слезы не капали на рукопись. Теперь уже не то!» Как тонкий наблюдатель, как человек, зорко следивший за переменой в общественных течениях, Тургенев чуял зарождение чего-то нового в нашем обществе, еще не изображенного им в «Нови». Но неопределенность, с которой высказывалось это новое течение к концу царствования Александра II, сама служила препятствием к художественному его воспроизведению. До многих, вероятно, дошел слух о подготовляемом Тургеневым новом романе. Этот роман не был даже начат Иваном Сергеевичем[24].

Правда, его приятели надеялись, что автор «Отцов и детей» снова подарит русскую публику поистине общественным романом. Однажды пишущий эти строки позволил себе даже открыто обратиться к Тургеневу с просьбой написать этот роман и в общих чертах отметил те стороны нашей общественной жизни, которые не были еще затронуты Тургеневым. Признавая существование этих сторон, Тургенев в то же время ответил: «Слушая вас и соглашаясь с вами, все же недоумеваю, какое художественное произведение может выйти из попытки изобразить еще не вполне определившиеся течения. Вы сами говорите об их слабости и отсутствии под ними твердой почвы. Уж не назвать ли мне мой новый роман «Трясиною»? Нет! Вы требуете от художника невозможного! Вы требуете, чтобы он дал бесформенности форму!» До последнего времени Тургенев не переставал интересоваться отношением к нему русских читателей. Не ожидая беспристрастной оценки себе со стороны некоторых враждебных ему органов нашей печати, он в то же время желал знать, какое

впечатление производят его новые повести на близких приятелей и на некоторые литературные кружки. Всего выше ставил он мнение П. В. Анненкова и не печатал ничего без его совета. Рукописи отправлялись из Парижа в Баден и возвращались обратно, снабженные примечаниями Анненкова. До последнего времени также Тургенев обращался и к живущим в России приятелям с просьбой откровенно сказать ему, что думают о его новых вещах. В одном из своих писем ко мне он говорит о сочувствии, высказанном ему с отдаленнейших концов России по случаю его болезни, как о той «волне», которая поддерживает его на поверхности и не дает ему пойти ко дну. Уведомляя о близком появлении его «Стихотворений в прозе», он прибавляет: некоторые, быть может, придутся вам по нутру; если не поленитесь, то передайте мне впечатления ваше и ваших товарищей. «Für das grosse Publicum das ist Caviar» *. Ну, а для немногих?

Я хотел бы еще сказать два слова о будничной жизни Тургенева. Жил он, как известно, в Париже в семействе Виардо, с которым связывала его старая дружба. Преданность его этому семейству была безгранична. Когда приятели упрашивали его вернуться и навсегда поселиться в России, он обыкновенно отвечал им: «Не думайте, что меня удерживает за границей привычка или пристрастие к Парижу; не думайте, что у меня здесь много друзей или близких знакомых. Я не в состоянии указать ни одного дома, в котором бы мог запросто провести вечер; но жить вдали от своих мне тяжело. Переезжай они завтра в самый невозможный город: Копенгаген, что ли, я последую за ними».

Помню я, как часто Тургенев бросал нас среди обеда, чтобы, как он выражался, проводить своих дам (г-жу Виардо и ее дочерей) в оперу или в театр. Помню, как отказывался он от целого ряда приглашений, не желая пропустить вечернего чтения или партии экарте. Не обедать или не завтракать дома было для него лишением, и он соглашался на него только ради свидания с соотечественниками. Живя по личным причинам в Париже, он в то же время служил русским интересам. Мы называли его шутя «послом от русской интеллигенции». Не было русского или русской, сколько-нибудь прикосновенных к писательству, живописи или музыке, о которых так или иначе не хлопотал бы Тургенев. Он интересовался успе-

* Для неискушенных — это деликатес (*нем.*).

хами русских учениц г-жи Виардо, вводил русских музыкантов в ее кружок, состоял секретарем парижского клуба русских художников, заботился о выставке их картин, рассылал в парижские редакции рекламы в их пользу, снабжал обращавшихся к нему личными рекомендациями, ссужал нуждающихся соотечественников деньгами, нередко без отдачи, хлопотал лично и чрез приятелей о своевременной высылке денег заграничным корреспондентам и не отказывался даже от непосредственного ходатайства пред властями за эмигрантов, не настолько скомпрометированных, чтобы не иметь возможности рано или поздно вернуться на родину <...> [25]

С покойным государем Александром III Тургенев познакомился в Париже. Желая видеть его, государь обратился к Орлову и просил запросто пригласить на завтрак в посольство. Тургенев рассказывал мне следующее об этом свидании: Александр Александрович спросил его, почему он не присутствовал на юбилее Крашевского. Тургенев сослался на болезнь. Его собеседник посмотрел на него многозначительно и сказал: «Хорошо сделали, Иван Сергеевич! Хорошо сделали!» Действительная же причина, почему Тургенев не был на юбилее, та, что сам Крашевский, любивший Тургенева, просил его не приезжать, так как не рассчитывал на хороший прием русского со стороны своих соотечественников [26].

Когда я спрашивал Тургенева об его последней поездке в Россию и о том, являлся ли он ко двору, он отвечал мне: «Что бы я там стал делать?»

Григорович неоднократно старался заманить его туда, но на этот раз Тургенев обнаружил несвойственное ему упорство. С тем же упорством отклонил он предложение повидаться с Аксаковым, несмотря на старинные отношения с ним [27]. «Не могу же я искренне беседовать с человеком, который считает меня чуть не поджигателем», — заметил он по этому случаю.

Нечего и говорить, что Тургенев нимало не сочувствовал терроризму. Он постарался даже оттенить свое отношение к событию 1 марта 1881 года личным присутствием на панихиде. Когда крестьяне села Спасского обратились к нему с просьбой о денежной помощи на открытие часовни в память Александра II, он не отказал им в их ходатайстве. С другой стороны, он не отказывал также в ссудах без отдачи тем из русских, которые на чужбине оставались без денег, не спрашивая их об их убеждениях.

Н. М.

ЧЕРТЫ ИЗ ПАРИЖСКОЙ ЖИЗНИ И. С. ТУРГЕНЕВА

Приехавши в 1879 году в Париж «освежиться и подышать иным, более здоровым, воздухом» после продолжительной петербургской хандры, я, естественным образом, пожелал воспользоваться пребыванием здесь знаменитого русского романиста, произведения которого доставили каждому из нас столько высокопоэтических минут, и лично познакомиться с ним. Лучшим способом, как мне сообщили, было письменно попросить у него свидания. Я так и сделал, и через несколько дней получил от Ивана Сергеевича ответ, в котором он приглашал меня зайти к нему в определенный день, прибавляя, что слышал обо мне от одного общего знакомого. В условленный день, в 12 часов, я приехал в послал карточку. Слуга проводил меня в кабинет. Иван Сергеевич сидел за письменным столом и перебирал кипу исписанной бумаги.

— Очень рад вас видеть; мне еще на прошлой неделе о вас говорили. Вы из Х.?

В его встрече не было той изысканной любезности, от которой делается неловко, той покровительственной сладости, с какою встречают большие люди обыкновенных смертных; напротив, в тоне и движениях его сказывались спокойная простота и дружеское радушие, точно в комнату вошел обычный посетитель. Я сразу почувствовал себя как дома, в обществе давно знакомого человека. Последовали расспросы о России, о настроении и веяниях, обо мне и моей жизни, причем мое внимание обратило то обстоятельство, что Иван Сергеевич глав-

ным образом интересовался тем, как я смотрю на различные факты общественной жизни и каковы мои симпатии, антипатии и желания.

«Наблюдает тип, — вдруг пришло мне в голову, — надо быть осмотрительнее и взвешивать слова». Но я почувствовал себя окончательно неловко, когда заметил, что хозяин внимательно наблюдает мою фигуру и жесты во время речи. Это сознание, что за тобою наблюдают, невольно делает тебя неестественным и сдержанным, словом, не тем, что ты есть, и я испытывал всю неловкость такого положения каждый раз, когда бывал у Тургенева. Чувствуешь, что в тебя всматривается и притом такой тонкий наблюдатель, который часто по одному жесту или гримасе определяет характерную черту человека. Ужасно неловко.

Впоследствии, когда я чаще заходил к Ивану Сергеевичу и ближе познакомился с ним, ощущения мои до известной степени оправдались. «Все мои повести, — говорил он, — или, по крайней мере, детальная сторона их, представляют почти фотографический снимок с того, что я видел и слышал. Я часто соединяю ваше лицо с словами вашего приятеля NN и с жестами Т., но ни того, ни другого, ни третьего не выдумываю, а списываю. После каждой встречи с знакомой и незнакомой личностью я вношу в свою тетрадь все обратившие мое внимание характерные черты наружности и речи моих собеседников. По этим характерным и выдающимся чертам я стараюсь воспроизвести целую фигуру, сливая, где это можно, черты нескольких родственных лиц в одну». С течением времени, познакомившись ближе, я стал менее сдержан и много рассказывал Ивану Сергеевичу о внутренней жизни, взаимных отношениях и типических чертах той среды, которой он всегда живо интересовался и за которой в последние годы следил с особенным вниманием, — среды русской молодежи. В его настойчивых расспросах и пристальном вглядывании в посещавшую его молодежь заметно было желание проверить сыпавшиеся на него со всех сторон обвинения в том, что он не знает этой молодежи, не понимает ее внутренних мотивов и распространяет на ее счет плоды его собственной фантазии. Тут часто заметно было сильно задетое самолюбие, желание во что бы то ни стало убедить самого себя, что он прав и обвинения неосновательны, и признаки некоторой горечи и досады, доходившей иногда до раздражительных выходок, до азарт-

ных филиппик, приводивших его в пылу разговора к крайним и опрометчивым выводам и эпитетам, от которых он, спустя несколько минут, успокоившись, спешил отказаться. Пуще всего в таких стычках он боялся обидеть собеседника и оставить его под неприязненным к нему впечатлением, вследствие чего подчас происходила крайне забавная сцена. Однажды я застал его в разгаре такой филиппики. Громко раздавались слова: «Это ведь холопство! идолопоклонство! Нельзя же ни во что не верить и, в то же время, поклоняться идолам, слагать гимны статуе!.. Вот, батюшка, — вдруг обратился он ко мне, — будьте свидетелем и полюбуйтесь — чуть-чуть не анархист по убеждениям, а приходит в восторг от лакейского гимна статуе, добро бы еще живому человеку, а то статуе. Этак недалеко до гимнов панталонам великого человека. Где же тут последовательность убеждений?!»

Речь шла о какой-то нелепой оде на статую одного великого человека, от которой (то есть от оды) был в восторге собеседник Ивана Сергеевича, «чуть не анархист».

— Вы сегодня раздражительны, Иван Сергеевич, — спокойно сказал собеседник, берясь за шляпу, — а вам сердиться вредно. Я уж лучше зайду в другой раз. До свидания!

Иван Сергеевич встрепенулся.

— Батюшка, да вы, кажется, обиделись? Извините, черт с ней, с одой; поговорим лучше о вас.

И разговор сразу принял мирное направление — а жизни, нуждах и занятиях собеседника, о России, литературе и т. и.

Редко можно было застать Ивана Сергеевича одного. В приемные часы всегда приходилось заставать у него одного или несколько человек за беседой о самых разнообразных предметах, начиная политикой и кончая веселыми анекдотами. Преимущественно это была учащаяся молодежь, начинающие писатели, иногда художники, изредка французский литератор. Надо заметить, что большой разборчивостью в выборе посетителей Иван Сергеевич не отличался и его нередко можно было застать за приятельской беседой с людьми весьма сомнительными. Этой безразборчивостью в выборе знакомства и подчас друзей он в значительной степени был обязан преобладанием в нем художественного и эстетического чувства, заставлявшего его иногда сразу облю-

бовать человека из-за одного красивого жеста, из-за удачного оборота фразы, из-за меткого эпитета, адресованного в чью-либо сторону. Облюбует — и возится с ним, как с детищем, до какой-нибудь крупной неприятности или пока кто-нибудь не откроет ему глаз и не представит облюбованного в настоящем свете.

Отчасти эта слабость к быстрым и обширным знакомствам с самыми разнообразными людьми объясняется скукой и не покидавшим никогда Ивана Сергеевича, подчас весьма тяжелым, сознанием своего одиночества, на которое он часто жаловался. Как ни близка была ему семья Виардо, но она не могла наполнить его личной жизни: так его отделяло от нее резкое различие умственных и нравственных интересов, общественных тенденций, идеалов, вкусов и забот, — разница, которая, весьма вероятно, приводила часто к взаимному непониманию и некоторой друг другу чуждости. Это сквозило нередко в элегическом тоне речей Ивана Сергеевича о себе и своей личной жизни.

«Вам нельзя жаловаться, — говорил он иногда, — у вас есть свой теплый домашний угол, где вас вполне понимают, вам сочувствуют и разделяют все ваши идейные интересы, — угол, куда вы всегда можете укрыться от жизненных невзгод, отдохнуть и набраться сил для новой борьбы; мое положение несколько иное. У меня есть близкие друзья, люди, которых я люблю и которыми любим; но не все, что мне дорого и близко, также близко и интересно для них; не все, что волнует меня, одинаково волнует и их... Отсюда понятно, что наступают для меня довольно продолжительные периоды отчуждения и одиночества». Это постоянное сознание своего одиночества там и сям сквозит и в его «Стихотворениях в прозе», с замечательной верностью выразивших его душевное настроение за последние годы. «Нахохлились оба (голубя) — и чувствуют каждый своим крылом крыло соседа. Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них... хоть я и один... один, как всегда» («Голуби», «Стихотворения в прозе»).

Это-то одиночество, это постоянное пребывание в чуждой его духовным интересам среде, это отсутствие близкого прикосновения русской жизни и поддерживало в нем вечную потребность в знакомстве с русскими людьми, в которых, как и в нем, жил еще интерес к России, к ее судьбе, к русской жизни и литературе, с которыми он

мог беседовать об этой близкой его сердцу жизни, как бы он сам ни расходился с этими людьми или многими из них во взглядах на вещи, симпатиях, стремлениях и даже воспитании. Все-таки эти люди составляли для него суррогат той русской среды, которой ему недоставало в Париже и в близости которой он, как крупный русский писатель и художник, чувствовал настоятельную умственную и нравственную необходимость.

Как писателя-беллетриста его особенно интересовала русская беллетристика, за которой он внимательно следил и в которой знал и помнил всякую мелочь. В народничестве и преобладании народного типа в современной русской беллетристике Иван Сергеевич видел историческую необходимость и, так сказать, органическую ступень развития литературы, хотя и не особенно симпатизировал ему и видел в писателях этого преобладающего у нас направления, за весьма редкими исключениями, собирателей и поставщиков сырого материала, которым воспользуются грядущие таланты для своих художественных творений.

Живо принимая к сердцу успехи и интересы русской литературы, Иван Сергеевич обнаруживал особенную слабость к начинающим литераторам, внимательно прочитывал неимоверное количество представляемых ему на просмотр рукописей, старался пристроить то, что могло быть напечатанным, поправлял и просиживал иногда целые часы с авторами, указывая им на недостатки их произведений.

— Как вам не скучно, Иван Сергеевич, возиться постоянно с этим хламом? Признайтесь, что до смерти надоело, — обращался я к нему, заставая его почти всегда с карандашом в руках и за грудой исписанных тетрадей.

— Совсем нет. Я ведь ничем обязательным не занят, времени у меня много, и всегда рад сделать все, что могу. Сам я пишу теперь очень мало; единственную услугу, какую я могу оказать русской литературе, — это помогать советами и указаниями начинающим писателям и уговаривать неспособных к писательской карьере заняться чем-нибудь другим... Стихоплетов вот нынче развелось не в меру; не люблю я этого: страсть к виршам погубила немало народу.

И действительно, мне приходилось присутствовать при том, как Иван Сергеевич уговаривал поэтов или мнивших себя таковыми бросить пагубную привычку

писать стихи и заняться лучше хоть газетными фельетонами.

— У нас и фельетонистов-то порядочных нет: посмотрите, какая все это тяжелая артиллерия, как все эти фельетоны вялы, скучны и безжизненны. Разве вот Суворин с братией сорвется и пустится валять вприсядку, но ведь это талант особого рода; беда наша в том и состоит, что талант приходится признать за газетами, подобными суворинскому «заведению»... Весело тут, пляшут себе трепака, вот публика и валом валит к ним. Возьмите, например, хоть «Порядок»: честный орган и с самыми благими намерениями, а куда он годится с своей тяжеловесностью, неповоротливостью, с своим балластом? Где же ему устоять против увеселительного заведения Суворина?.. Нет, выработайте в себе дельного и занимательного фельетониста, критика, полемика даже, и этим сослужите посильную службу литературе <...> [1]

Больше всего огорчало его во всех доставлявшихся произведениях недостаток художественной отделки и чувства изящного.

— Характерная черта нынешних молодых писателей, да и вообще молодых людей, с которыми мне приходится здесь встречаться, — говорил он иногда, — это, во-первых, какая-то угрюмость, во-вторых, презрение к красивой форме, к изящному. У них бывает наблюдательность, трезвость взгляда, способность умно и толково изложить факт и детали, но нет художественной формы и недостает творческой силы. Отчасти это происходит от недостатка художественного и литературного образования, на которое нынче, к несчастью, мало обращают внимания, от незнакомства с русскими и европейскими классиками; [2] отчасти же... оттого, что жизнь у нас теперь слагается как-то нелепо, безобразно, точно урывками...

Наткнувшись на талантливую вещицу, он был счастлив, и это служило ему достаточной наградой за всю скуку груды других статей <...>

Разумеется, эта масса знакомства, эта постоянная сутолока, эти деловые и приятельские отношения и беседы с людьми тоже не доставляли ему полного личного удовлетворения. Он все-таки чувствовал себя одиноким в толпе, чувствовал, что среди этой массы народа мало людей, относившихся к нему вполне тепло и искренне; отсюда недовольство людьми, доходившее иногда до болезненной подозрительности и боязни, что молодежь

относится к нему как к человеку хотя и хорошему, но не искреннему, отсталому, смотрящему на нее враждебно, что она видит в его последних произведениях брюзгливого старика, которому все представляется в мрачном виде; отсюда и мрачные мысли о людской сухости и неблагодарности ко всему, что он посильно делает, так резко и несколько даже неприятно выразившиеся в его «Стихах в прозе», где на «Пиру Верховного Существа» в первый раз встречаются две незнакомки — Благодетельность и Благодарность, а в стихотворении «Услышать суд глупца» встречаются такие горькие строки:

«...Есть удары, которые больнее бьют по самому сердцу... Человек сделал все, что мог; работал усиленно, любовно, честно... И чистые души гадливо отворачиваются от него, честные лица загораются негодованием при его имени... Ни ты нам не нужен, ни твой труд; ты оскверняешь наше жилище — ты нас не знаешь и не понимаешь. Ты наш враг. Что тогда делать этому человеку? Продолжать трудиться, не пытаться оправдываться и даже не ждать более справедливой оценки...

Будем стараться только о том, чтобы приносимое нами было точно полезной пищей...

Горькая неправая укоризна в устах людей, которых любишь... Но перенести можно и это...

«Бей меня, но выслушай!» — говорил афинский вождь спартанскому.

«Бей меня — но будь здоров и сыт!» — должны говорить мы».

В этих «стихах» вылилось целиком то горькое чувство обиды и недовольства отношением к нему людей, к которому он часто возвращался и в приятельских беседах. Однако философское, по-видимому, правило — делать свое дело и не обращать внимания на суд людской — не мешало ему живо интересоваться впечатлением, какое производили его последние произведения, и прислушиваться ко всякой оценке. После появления «Отчаянного» и «Стихов» он, с каким-то беспокойством, просил всякого, посещавшего его, сказать искренне, что он думает об этих произведениях, и всякое сколько-нибудь тенденциозное замечание приводило его в раздражительность.

— Мне приписывают враждебное намерение унизить современную протестующую молодежь, связав ее генетически с моим «Отчаянным», — говорил однажды Иван

Сергеевич. — Я не имел этого в виду, как вообще не задаюсь в своих произведениях никакими тенденциозными целями. Я просто нарисовал припомнившийся мне из прошлого тип. Чем же я виноват, что генетическая связь сама собой бросается в глаза, что мой «Отчаянный» и нынешние — два родственные типа, только при различных общественных условиях: та же бесшабашность, та же непоседливость и бесхарактерность и неопределенность желаний, не лишенные, при всем том, известной прелести и симпатичности?

— Но, позвольте, Иван Сергеевич, ведь ваш «Отчаянный» просто недоросль из дворян времен крепостного права, который...

— Знаю, знаю, что вы скажете, — раздражительно прерывал он собеседника, — но ведь я могу судить только по тем людям, которых я знаю, с которыми встречался лицом к лицу: представляют же они хотя до известной степени свою среду?.. [3]

— Впрочем, вам лучше их знать; я ведь и не претендую на непогрешимость, — прибавлял он через минуту. — Вообще я и сам не придаю большого значения последним своим писаниям. Это пробы пера после долгого молчания. Вот я занят теперь более серьезной вещью; мне давно хочется написать роман, в котором выразилась бы коренная разница духовных основ русского человека и француза; показать в этом романе глубину психических причин и мотивов у русского протестанта и отщепенца рядом с формализмом и традиционной шаблонностью французского революционера, который никогда не выходит из раз установившихся рамок, идет по утоптанному руслу, верит в себя и в свои формулы, тогда как русский вечно копается в своей душе, вечно занят разрешением нравственных вопросов и исканьем правды... Не знаю только, удастся ли мне довести дело до конца и справиться с сюжетом [4]. Стар я, умру скоро.

Роман этот, основная идея которого сильно занимала Тургенева, так что он постоянно о ней заговаривал, был уже, по-видимому, им давно начат, ибо, говоря о нем, Иван Сергеевич указывал на лежащую перед ним кипу исписанных листов. Героями его, судя по словам покойного, должны были быть русская девушка-революционерка, вышедшая замуж за французского социалиста и скоро понявшая всю глубину духовного различия и взаимного непонимания между ею и мужем. Одно из видных

мест в романе должен был занимать тип русского социалиста-мистика, искавшего разрешения социально-нравственных вопросов в новой религии, — тип, списанный Иваном Сергеевичем с натуры, с лица, с которым он вел за границей долгие беседы и переписку.

Несмотря на свою нелюбовь к славянофилам аксаковского пошиба и свое так называемое «западничество» (термин весьма неопределенный и глупый, но почему-то получивший твердое право гражданства в русской печати), Тургенев особенно любил беседы на тему о нравственной и психической разнице между русским и западноевропейским человеком — разнице, придававшей совершенно особый склад жизни, культуре и всему будущему русского народа.

— Обратите главное внимание на то обстоятельство, — заметил он мне, говоря об одной моей статье, — что в русском народе продолжаются психические процессы самоопределения и искания правды и идеала, тогда как во Франции замечается во всех классах какая-то культурная окристаллизованность, нравственная и идейная законченность, точно нация исчерпала весь запас своих духовных сил...[6] Вот вы сказали здесь, что во Франции, при напряженной экономической борьбе и розни классов, бросается в глаза сплошное единство и тождественность вкусов, стремлений, юридических и нравственных понятий и идеалов, словом, сплошная культурная тождественность во всех слоях общества, начиная от главы государства, от богача и кончая самым бедным крестьянином, тогда как в России, при отсутствии определившейся борьбы и антагонизма общественных классов, существует несколько различных культурных типов. Эта разница культурного строя двух народов, — продолжал Иван Сергеевич, — имеет важное политическое значение. Она причиной трогательного и вместе с тем трагического положения русского борца за прогресс: оттого что у нас нет еще пока классовой экономической борьбы, он, то есть этот борец, принадлежа сам к привилегированному, обеспеченному материально классу, отстаивает интересы обездоленного народа; и в то же время он не встречает поддержки и сочувствия в том самом большинстве, за интересы которого он стоит, ибо между ним и этим большинством — взаимное идейное и культурное непонимание и рознь. В этом вся драма русского идейного человека, в этом заключается причина его изолированности, почти бес-

цельности его попыток, его ошибок и преждевременной, бесполезной гибели массы энергических и честных сил...

— Другая характерная разница между русским и французом, — замечал дальше Иван Сергеевич, — выражается в удивительной позитивности умственного склада мыслящего русского человека. Французов поражает полное отсутствие у русской молодежи религиозного чувства. Француз бывает libre penseur'ом * по убеждению, по принципу, тогда как русский libre penseur является таким по натуре. Француз вечно воюет с божеством, тогда как русский неверующий человек даже не вспоминает о нем. Француз, даже в свободомыслии и неверии, продолжает соблюдать форму и обрядность, натуре же русского человека не свойственны никакая обрядность, никакой ритуал. Та же самая черта повторяется у русского человека во всем — и в политике, и в нравственности. То же отсутствие священных формул, традиций и кумиров, стремление стать выше всего, преклоняться только перед высоким идеалом человека, перед идеей абсолютной нравственной свободы личности, которая сама по себе мерило, судья и господин... При всем том, при таком видимом материализме русского человека, он на самом деле в высокой степени идеалист, что доказывается его вечной верой в человеческую натуру, в нравственное самоусовершенствование и идеал...

— Мои приятели-французы, — сказал мне однажды Иван Сергеевич, — в недоумении спрашивали меня, как это русская женщина, весьма часто не будучи ни религиозной, ни суеверной, в то же время, по-видимому, остается целомудренной? У нас, французов, — говорят они, — женщина если не религиозна, то развратна; средины между религией и адюльтером у нее не бывает. У вас, русских, между тем как-то совмещаются и религиозный индифферентизм и целомудрие. Неужто это происходит от отсутствия темперамента у вашей женщины? Но ведь есть же у нее темперамент на страстную преданность идее, самоотверженность, неуклонность в преследовании цели?..

— Они не могут этого переварить, — продолжал он. — Большинству даже образованных французов трудно понять, что идейность, преобладание духовных интересов над потребностями плоти, отсутствие привычки к

---

* свободомыслящим (*фр.*).

мещанской сытости и комфорту, одолевших современных французов, а вместе и их женщин, то ничтожное значение, которое вообще имеют в русской жизни материальная обстановка и материальные блага, — все это вместе и спасает русскую женщину и от ханжества, и от разврата, и толкает ее в мир принципов, в мир самоусовершенствования и самоотречения.

— Обратите внимание, — говорил Тургенев, — на современное французское искусство, театр, роман, даже поэзию: везде преобладает форма и голый материальный предмет, все представлено в высшей степени тщательно, детально и красиво, но ничего не говорит ни мысли, ни чувству... Надо заметить, впрочем, что французы никогда во всей их истории и не отличались глубиной и силой психических процессов. Они в этом отношении стояли всегда ниже англичан и немцев. Форма у них всегда преобладала над содержанием, слово над душевной работой, потребность скорее и красивее высказаться не давала им времени глубоко и всесторонне думать. Этим, быть может, объясняется процветание у французов ораторского искусства и стиля и отсутствия философии, психологии и драмы. Но это только черта, так сказать, органическая и национальная. Ее усиливают в значительной степени причины исторические. Французы, можно сказать, закончили известный круг культурного развития, удовлетворились и точно окристаллизовались в нем, исчерпав весь запас своих духовных сил, тогда как мы, русские, еще духовно прогрессируем, растем, ищем истины, новых форм жизни и красоты и пр.

Он говорил так плавно и увлекательно, так воодушевлялся, что не хотелось прерывать его возражениями.

— Но не происходит ли вся эта разница, — замечал я наконец, — просто оттого, что русские не достигли еще той степени культурно-экономического или, как теперь говорят, капиталистического развития, которое вырабатывает и создает в народе или, по крайней мере, в некоторых классах его определенный склад нравственных понятий, личных, семейных и общественных отношений, своеобразные идеалы, и проч., и не будем ли в таком же положении и мы, русские, когда переживем то, что пережили французы, и, исчерпав запас своих духовных сил, удовлетворимся в свою очередь?

— Отчасти да, но только отчасти, — мне кажется, поскольку это зависит от исторического процесса раз-

вития. Но не одни исторические и экономические причины определяют жизнь народа, а также и его национальные, психические, бытовые, географические и разные другие свойства и *особенности*, — и эти-то свойства, я твердо уверен в том, помешают русскому человеку закончиться и замереть в той форме, в какой замерли, по-видимому, французы.

— Но неужто вы *думаете*, — заметил я, — что они окончательно замерли, что не произойдет вскрытия этой коры и пробуждения к новой жизни?

— Нет... Разумеется, возможно вскрытие, как вы выражаетесь, и поворот в иную сторону, по новому руслу психической жизни масс. Но пока я не вижу, я не могу указать пунктов и точек, где произойдет вскрытие, ибо все покрыто толстой корой сытомещанской культуры, ибо даже рабочая масса заражена ею, и даже так называемые вестники новой жизни, проводники новых идеалов — социалисты. Каковы они, социалисты, во Франции, сколько их, что они сказали до сих пор нового — вы сами видите! Если возникнет что-нибудь новое, то не отсюда; тут только сухие, мертвые доктрины, механическое повторение старых, когда-то грозных формул, перешедших теперь в житейский обиход и разменявшихся на мелкую монету. Если и вскроется лед, если и появятся новые духовные всходы, то не из такого семени, способного дать только пустоцвет, а из более здорового и нетронутого источника. Но где, когда, в какие выльется формы — решать не берусь; я в эту область мало заглядывал. Вам, молодым, идущим в уровень с жизнью, это лучше знать...

Вообще Иван Сергеевич был мало знаком с современной постановкой социально-экономического вопроса в Европе, избегал прямых ответов на него, сам сознаваясь в своей некомпетентности в этой области, и не любил говорить о нем, предпочитая вращаться в сфере эстетики, искусства и нравственно-политических вопросов.

Из приведенных мною здесь отрывочных бесед уже можно сделать заключение о том, как смотрел Тургенев на вопрос о так называемых славянофильстве и западничестве. Суровое, по-видимому, отношение к Франции не мешало ему любить эту страну как вторую родину, потому, что, говорил он, «нигде не живется так легко, не дышится так свободно, не чувствуется так по себе и у себя дома, как во Франции». Как умный че-

ловек, обладавший тонким нравственным и художественным чутьем и разносторонним образованием, Тургенев, ненавидя от души фанатическое византийское славянофильство, приписывающее славянскому или, вернее, русскому племени какую-то провиденциальную роль в истории и стремящееся изолировать его от влияния западной цивилизации, — Тургенев, говорю я, не мог не видеть национальных особенностей племени и не признавать за ними глубокого культурно-исторического значения. Но в то же время, как человек развитый и европейски образованный, как ум, стоящий выше предрассудков, он всем своим существом был предан европейской цивилизации, европейским политическим идеалам и философской мысли и страстно желал широкого и свободного водворения их в своем отечестве. Желал, конечно, только, так как не имел ни инициативы, ни возможности, ни энергии что-нибудь делать в этом направлении, если не считать его всем известной литературной деятельности. «Мы, то есть я и мои друзья, — говорил он, — честные и искренние либералы и от всей души желаем воцарения в России благоденствия, правды и свободы; мы готовы много работать для достижения этих благ, но все мы, сколько нас ни есть, все хорошие и нескупые люди, не решимся рискнуть для этого самой ничтожной долей своего спокойствия, потому что нет у нас ни темперамента, ни гражданского мужества... Что делать? Надо сознаться, что малодушие присуще нашей натуре, что мы говорим рабским языком даже тогда, когда нам приказывают говорить правдиво и смело».

Едва ли у Ивана Сергеевича была своя определенная политическая программа. В этом отношении он, вероятно, находился всегда под большим или меньшим влиянием своих политических друзей, хотя сам он, как человек, неспособный уложиться в тесные рамки какой-нибудь исключительной политической доктрины, нередко находил их (то есть своих друзей) узкими, чересчур доктринальными и односторонними. Как художнику и поэту ему была присуща способность увлекаться каким-нибудь героическим поступком, какой-нибудь высокой нравственной чертой людей, принадлежащих к несимпатичной ему, даже враждебной, партии, и, вследствие этого, высказывать самые противоречивые взгляды и симпатии. Если он в своем известном письме к г. Стасюлевичу довольно определенно изложил свои политические сим-

патии и антипатии [6], если он с негодованием отнесся к «безобразиям последнего времени», то в дружеской беседе с приятелями он с не меньшим негодованием говорил о безобразиях иного рода и направлениях и искренне болел душою о том общественном и нравственном хаосе и сумбуре, которые царили в его отечестве.

Тургенев был либерал в самом широком и лучшем смысле этого слова, и ни одному сколько-нибудь здравомыслящему человеку не взбредет в голову заподозрить его в какой бы то ни было прикосновенности к социально-революционным доктринам. Вот почему (замечу мимоходом) буря, поднятая в этом смысле в русских газетах по поводу письма г. Лаврова, перепечатанного в «Московских ведомостях» [7], не лишена некоторого комизма. Обиднее всего то обстоятельство, что наибольшая часть этого комизма выпадает на долю газет, защищающих доброе имя Ивана Сергеевича.

Я не берусь и считаю излишним здесь решать вопрос, имел ли право г. Лавров помещать свое заявление и в какой степени оно соответствует истине. Факт тот, что такое заявление появилось. Нужно быть в ужасной степени напуганным и обладать изумительной способностью терять присутствие духа и здравого смысла, чтобы поднимать такой панический гвалт при чьем бы то ни было голословном (основательно ли оно или лживо — это все равно) заявлении о политических симпатиях человека, притом человека уже умершего, да притом еще, наконец, составляющего славу и гордость России <...>

Помогал ли Иван Сергеевич или не помогал своими средствами какому-нибудь заграничному изданию на русском языке — разве это может изменить в ту или другую сторону значение Тургенева для России, покрыть его позором или как-нибудь запятнать его имя? Разве для кого-нибудь остается тайной, что Тургенев был дружен с Герценом? Разве же эта всем известная дружба падает пятном на имя Тургенева, уменьшает его значение, разве это помешало ему оставаться мирным либералом, чуждым революционных тенденций, ездить свободно в Россию, вызывать и принимать общественные овации и снова спокойно возвращаться в Париж?

Поэтому мне кажется, что защитники Тургенева (если только тень великого писателя не вознегодует против дерзкой попытки, например, г. Суворина записаться в его друзья и з а щ и т н и к и), — что друзья Тургене-

ва слишком поусердствовали и уподобились тем доброжелателям, о которых покойный Иван Сергеевич добродушно говорил: «Избавьте меня от друзей, а враги мне не страшны».

Всем знавшим и не знавшим лично Ивана Сергеевича Тургенева было известно, что он не революционер-социалист, а мирный сторонник прогресса и свободы, как все мы, грешные и чающие движения воды, — прогрессист, ждавший от дальнейших преобразований великих благ для своей родины. Так называемому нигилизму он, по натуре своей, не только не сочувствовал, но, как сам искренне сознавался, знал его только издали и плохо понимал. Не говоря уже о революционерах последнего времени, он даже к мирным пропагандистам на русской почве относился крайне скептически и подчас насмешливо, что не мешало ему в отдельных, близко известных ему личностях находить много прекрасных качеств. «Нам нужно, — говорил он, — не вносить новые общественные и нравственные идеалы в народную среду, а только предоставить ей свободу возделывать и растить те общественные идеалы и нравственные принципы, зародыши которых кроются в ней самой. Я не принадлежу к тем людям, которые проповедуют необходимость учиться у народа, искать в нем идеал и правду и, отказавшись от добытого и усвоенного европейской цивилизацией, отказаться от своей культурной личности и принизиться до народного уровня. Это и нелепо, и невозможно. Но и насильственно вламываться в народную жизнь, с чуждыми ему принципами и теориями (а таковы все социально-революционные доктрины и все попытки пересадить их на русскую народную почву), — нет никакого резона; лучше предоставить народу полную свободу устраиваться самому, предоставляя ему только все необходимое и ограждая от всяких корыстных и бескорыстных набегов на его жизнь».

С напряженным вниманием следил Иван Сергеевич по русским и иностранным газетам и журналам за всем, что делается в России, останавливался на каждом безобразном явлении, с желчью указывал на него своим посетителям. В последние два года, благодаря, быть может, быстро развивавшейся болезни, он становился все угрюмее и мрачнее и часто говорил о смерти, которая лишит его возможности окончить кое-что из задуманного. Мыслям о смерти посвящена значительная часть его «Стихов в прозе». «Настали темные, тяжелые дни... Свои болезни,

недуги людей милых, холод и мрак старости... Все, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, никнет и разрушается. Под гору пошла дорога».

С каждым днем утрачивалась вера в себя, в свои силы, в русский общественный прогресс. «Стар я, скоро умирать придется, — говорил он, меланхолически глядя на камин. — Знаете ли, мне кажется, что человек, как только перестает увлекаться красотой и женщиной, становится уже неспособным на художественное творчество. Я уже чужд подобным увлечениям — и вдохновение покинуло меня».

«Я узнал тебя, богиня фантазии! Ты посетила меня случайно — ты полетела к молодым поэтам».

«О, поэзия! Молодость! Женская, девственная красота! Вы только на миг можете блеснуть передо мною — ранним утром ранней весны!» («Стихи в прозе».)

— Полноте, Иван Сергеевич, вы еще напишете большой роман.

— Нет, если я еще оставлю что-либо интересное, так это будут мои записки, в которых рассказ ведется с конца прошлого века [8].

— Будет вам шататься за границей, — говорил он, когда мы виделись в последний раз, — поезжайте в Россию. Здесь вы только истреплетесь и изверитесь. Как ни тяжела для мыслящего человека русская атмосфера, там все-таки вы на родной почве, которая постоянно воздействует на вас, дает пищу и направление вашей мысли, поддерживает жизнь и энергию. Поезжайте; вы еще недостаточно стары, чтобы вполне оценить разрушительное действие жизни вне родственной среды, вне общественных связей и обязанностей, без определенной цели и деятельности... Я лучше вас был приспособлен к жизни за границей, да и то, в сущности, прозябаю и все чего-то жду... и не дождусь уж теперь...

В последние три-четыре месяца болезни Ивана Сергеевича я не виделся с ним, вследствие моего отсутствия из Парижа; когда я вернулся в сентябре, Тургенева уже не было, и мне пришлось отдать последнюю честь покойному в подполье русской церкви, а затем на Северном вокзале, в день отправки тела в Россию.

Е. АРДОВ (АПРЕЛЕВА)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

Это было в марте 1871 года, вскоре после кончины А. Н. Серова [1]. Мы собрались у вдовы покойного композитора, В. С. Серовой, и в ожидании Тургенева сидели в небольшой, скромно, если не скудно меблированной комнате, служившей музыкальной чете, кажется, чем-то вроде гостиной.

Старшая дочь Полины Виардо, г-жа Луиза Эритт, жила в это время у В. С. Серовой, и ее-то и хотел навестить Иван Сергеевич в этот достопамятный для меня вечер <...>

Тургенев приехал прямо с вечера в пользу литературного фонда, на котором он читал; приехал поздно. Мы уже потеряли надежду его увидеть <...> [2]

Продолжая начатый в передней разговор, Тургенев, надевая pince-nez на плоской черной ленте, замешкался несколько в дверях.

— Ошикали!.. Форменным образом ошикали! — смеясь, говорил он на ходу и с этими словами вошел к нам <...>

Г-жа Эритт представила меня ему.

Он мягко обхватил мою руку своею красивой, выхоленной белой рукой и остановил на мне внимательный, как бы испытующий взгляд прекрасных, вдумчивых и несколько грустных глаз <...>

— Ошикали! — повторил он, все так же посмеиваясь.

Смеялся он заразительно, по-детски, обнаруживая белые, частые, мелкие зубы сквозь седые усы, соединявшиеся с серебристо-белою, волнистою, мягкою, как шелк, бородой.

— Странное ощущение, когда шикают!.. Я подождал, постоял, поклонился и ушел с эстрады.

— Voyons, Tourguéneff!.. Это вы говорите только для красного словца, — сказала г-жа Эритт. — Никто Тургеневу не станет шикать!

— Факт остается фактом, — настаивал он на своем.

А факт был тот, что его встретили аплодисментами и аплодисментами же. сопровождали чтение. Только в задних рядах раздался слабый протест. Взрыв аплодисментов покрыл его, но настороженное ухо автора «Отцов и детей» уловило и этот намек на протест, который как бы подтвердил нарекание, вызванное со стороны молодежи знаменитым романом.

Со времени появления «Отцов и детей» Иван Сергеевич, как он мне впоследствии рассказывал, получил немало писем обвинительного свойства. В резких выражениях и брани авторы писем не стеснялись... Один из них даже дошел до письменного заявления, что де... «такого» (следует грубое ругательство) «не зазорно и подстрелить из-за угла» (sic!).

Иван Сергеевич рассказывал, что в письмах из Гейдельберга ему грозили приехать в Баден-Баден, где он жил, со специальной целью «разделаться» с ним...[3]

Угрозы оставались угрозами, но обвинения и непопулярность, размеры которой он, впрочем, живя за границей, преувеличивал, не могли не наложить своей печати <...>

— Позвольте вас проводить, — обратился он ко мне.

Неожиданность предложения, волнение, робость, овладевшие мною при мысли, что я весь долгий путь с Васильевского острова до Гагаринской, где жили мои родители, проеду с глазу на глаз с писателем, к которому относилась с юношеской восторженностью, лишили было меня слов; но он заговорил так просто, так добросердечно, лишь только попавшийся нам плохой извозчик тащил нас кое-как по рыхлому снегу, что я скоро оправилась и спокойно, без трепета могла слушать и отвечать ему <...>

— Россия переживает такое время, когда художественные произведения ей не нужны, — сказал он между прочим. — Вы говорите, — продолжал он мне в ответ, — о влиянии, какое я будто бы имею, о той любви, какою пользуюсь... Это относится к прошлому, а теперь я вижу только резко выраженную враждебность... Новые птицы,

новые песни... Нам, отсталым писателям, пора и умолкнуть... <...>

Три-четыре дня спустя мы снова коротали вечер в ожидании Тургенева у В. С. Серовой. Он и в этот раз приехал поздно, прямо с педагогического диспута Софьи Константиновны Кавелиной с известным преподавателем истории Сиповским, если не ошибаюсь.

Впечатление, вынесенное им с этого диспута, было огромное, потрясающее.

Молоденькая, восемнадцатилетняя девушка, с ясными глазами, в сером платье и белом платочке на шее, поразила его и многосторонним знанием, и точностью, определенностью приводимых ею доводов, и тою простотой, искренностью и сдержанностью, с которыми она вела прения в присутствии многочисленных слушателей.

Тургенев был очарован, но его приводило в восхищение и внушало ему какое-то трогательное благоговение главным образом то, что эта очаровавшая его девушка была *русская* девушка. В ней он видел нарождающийся новый тип честной, благородной *русской* женщины, бодрой, умной, кроткой, веселой при изумительном трудолюбии и обширном образовании [4].

Лицо его, когда он это высказывал, сияло, и глаза утратили обычное грустное выражение. Для него вечер в педагогическом собрании, на котором так блистательно выступила талантливая, симпатичная русская девушка, составлял радостное событие, и радость эта подтверждала его горячую любовь к родине... Какими несправедливыми показались мне упорно преследующие его упреки в том, что он, живя за границей, изменил России, разлюбил ее...

В этот приезд в Петербург я более с Тургеневым не встречалась.

Года четыре спустя г-жа Эритт тайком от меня отправила ему два или три записанных мною, по ее просьбе, рассказа, импровизированных в длинные зимние вечера, которые мы проводили с нею в Дрездене. Рассказы эти утрачены; содержания их не помню, но отзыв Ивана Сергеевича побудил меня приняться за более серьезную работу.

Первая часть задуманного романа была ему отправлена на рассмотрение с просьбой дать мне, в виду его отъезда в Россию, рекомендательные письма к лицам, причастным к литературе.

Полученное от него письмо служит лишним доказательством того внимания и той бережности, с какими он относился к начинающим писателям, не жалея времени на чтение незрелых произведений и радуясь как находке малейшему проблеску дарования [5]. Впоследствии мне пришлось еще больше убедиться и в его терпении, и в его неиссякаемом доброжелательстве. Вороха рукописей, заваливавших стол в Париже, неутомимо и с одинаковым вниманием разбирались и рассматривались <...>

Рекомендательные письма Ивана Сергеевича ввели меня в круг московских писателей и способствовали моему тесному знакомству с А. Ф. Писемским. О нем, о его средах, на которых неизменными гостями были А. Н. Островский, П. И. Мельников (Печерский), А. И. Кошелев, С. А. Юрьев и другие, я писала Тургеневу подробно и под свежим впечатлением. Черновики некоторых этих писем сохранились, но, к сожалению, его письма, адресованные мне в Москву, утрачены.

Дальнейшее знакомство продолжалось в Париже, куда в начале 1876 года переехала на жительство г-жа Луиза Эритт. День моего приезда, в марте того года, совпал с одним из знаменательных четвергов Полины Виардо, на которых появлялись все звезды музыкального, писательского и артистического мира <...> [6]

Салон, куда весь артистический мир Парижа стремился попасть, был убран в строго выдержанном стиле. Ничего лишнего, много простора. Белая лакированная мебель, обшитая светлым шелком, не загромождала середины комнаты. Слева от рояля две ступеньки вводили в картинную галерею, освещенную сверху. Здесь помещался орган и находилось несколько немногочисленных, но очень ценных картин. Между ними превосходный портрет масляными красками Тургенева, работы Харламова, на мой в з г л я д, — лучший из всех мне известных портретов писателя, передававший и его черты, и характерное выражение его глаз и лица, не говоря уже о мастерском исполнении всего целого.

Салон, в который мы первоначально вошли, соединялся посредством раздвоенной стены с кабинетом г. Луи Виардо, мужа знаменитой певицы <...> Это был тогда человек лет семидесяти, сдержанный, даже несколько чопорный по внешнему <виду>, но бодрый, крепко сложенный, коренастый, среднего роста, с очень крупными чертами лица, на котором улыбка появлялась редко, и когда

появлялась, то придавала серьезному, суровому лицу выражение особого добродушия.

Превосходный переводчик «Дон-Кихота» Сервантеса, знаток живописи, составитель известных каталогов картинных галерей Лувра, Мадрида, Дрездена, Ватикана и др., Луи Виардо пользовался заслуженной репутацией образованного и стойкого в политических убеждениях человека. Он был антиклерикал и антиимпериалист с головы до ног и никогда ни при каких обстоятельствах этими убеждениями не поступался <...>

Прошло полчаса. На лестнице, ведущей во второй этаж, послышались скорые, легкие шаги; дверь салона распахнулась, и ко мне быстро направилась дама в черном кружевном платье. Большие, навыкате, близорукие глаза ласково смотрели на меня. Но стремительно поспешая вперед, она задела ногой кайму ковра, на котором я стояла, споткнулась и упала на одно колено.

— De prime abord — à vos pieds! * — воскликнула она весело.

Но не успели Форэ и Марианна подбежать к ней, как она гибким молодым движением поднялась уже на ноги и бросилась с протянутыми руками ко мне.

Я была поражена и гибкостью, и стремительностью, и грацией, разлитой во всей фигуре Полины Виардо, далеко, однако, не безукоризненно сложенной, и сразу поняла то обаяние, которое с первого взгляда производила эта великая артистка и очаровательная женщина на всех окружающих, не имея при этом за собой преимущества красоты. Прекрасны были у нее нос, лоб, волосы, придававшие верхней части лица, в профиль, вид камеи, изящные маленькие уши и совершенной формы бюст и руки. Глаза, отражавшие каждый оттенок настроения, своей выпуклостью не соответствовали понятиям о красоте; не соответствовали понятиям этим и толстые губы, и слишком широкие бедра... Тем не менее общий облик был обаятелен, настолько обаятелен, что эта пятидесятивосьмилетняя женщина заслонила собой и юную прелесть своих молоденьких дочерей, — вторая дочь, хорошенькая m-me Claudie Chamerot, в это время тоже приехала с мужем, — и эффектных, блестящих дам, съехавшихся в тот вечер в ее салон.

---

* Сразу же — к вашим стопам! (*фр.*)

Были: Сен-Санс, Сарасатэ, появился вслед за ними Шарль Гуно... Салон наполнился изысканною публикой, центром которой с начала до конца оставалась гениальная хозяйка дома. Но музыкальная часть вечера еще не начиналась, когда в дверях показался Тургенев, а с ним рядом — плотный, рослый господин с красноватым, широким лицом, вниз спускавшимися длинными усами, и маленькими, зоркими, светлыми глазками, наружностью напоминающий отставного майора. То был Густав Флобер. Оба писателя на мгновение остановились в дверях <...> Здесь, в этом салоне, где сосредоточивалось все, что писательский, музыкальный и артистический мир Парижа мог предложить наилучшего, где блестели звезды первой величины, здесь, среди утонченной художественной обстановки, наружность Ивана Сергеевича еще больше выделялась своей выразительностью и духовною красотой, чем в Петербурге в плохо освещенной, по-студенчески обставленной квартирке на Васильевском острове <...>

В этот вечер Полина Виардо принимала участие в исполнении только в качестве блестящего аккомпаниатора. Она вообще редко выступала как певица не только на эстраде, но и у себя дома. За все довольно продолжительное время знакомства мне удалось слышать ее всего дважды. Раз неожиданно в один из четвергов она сдалась на просьбы, и выбор ее пал на сцену лунатизма леди Макбет из оперы Верди. Сен-Санс сел за рояль.

Госпожа Виардо выступила на середину залы. Первые звуки ее голоса поражали странным гортанным тоном; звуки эти точно с трудом исторгались из какого-то заржавленного инструмента; но уже после нескольких тактов голос ее согрелся и все больше и больше овладевал слушателями. Все притаили дыхание и с замиранием сердца ловили горячие, страстные звуки; все проникались ни с чем не сравнимым исполнением, при котором гениальная певица так всецело сливалась с гениальной трагической актрисой. Ни один оттенок страшным злодеянием взволнованной женской души не пропал бесследно, а когда, понижая голос до нежного ласкательного пианиссимо, в котором слышались и жалоба, и страх, и муки, певица пропела, потирая белые прекрасные руки, свою знаменитую фразу: «Никакие ароматы Аравии не сотрут запаха крови с этих маленьких ручек...» — дрожь восторга пробежала по всем слушателям.

При этом — ни одного театрального жеста, мера во всем; изумительная дикция: каждое слово выговаривалось ясно; вдохновение, пламенное исполнение в связи с творческой концепцией исполняемого, довершали совершенство пения.

За арией леди Макбет последовал «Erlkönig» * Шуберта, тоже с аккомпанементом Сен-Санса. Мне случалось слышать эту всем известную балладу в исполнении многих выдающихся певиц и певцов, — Полина Виардо затмила всех. Лесная драма проносилась перед вами: и сдержанный, степенный голос отца, и испуганный шепот, жалобы и вопль о пощаде младенца, и вкрадчивый, манящий голос Лесного царя, переходящий в страстный, властный призыв. Впечатление получалось потрясающее!.. [7]

Трудно было поверить, что так молодо, пылко, вдохновенно поет пятидесятивосьмилетняя женщина, у которой, по ее же словам, сохранилась в голосе всего лишь одна октава.

Как бы желая показать всю разносторонность таланта, столь прославленного меломанами сороковых годов, Полина Виардо в тот же достопамятный вечер исполнила по-испански с одним исполнителем-тенором, оперным певцом, комический любовный дуэт негра с негритянкой.

Неподдельная веселость, кокетливая жеманная игривость влюбленной негритянки, выдвинув партию сопрано легкого, жанрового дуэта, действительно явились новым доказательством гибкости и разнообразия изумительного таланта Полины Виардо, по силе музыкального понимания и творческой передаче доселе не имеющей себе никого равного.

«В каждой исполняемой ею роли она давала цельный образ соответственно обстановке эпохи, в которой жило данное действующее лицо, согласно темпераменту этого лица, — говорил Тургенев, вспоминая блестящий период театральной деятельности певицы. — Кто не слыхал, не видал ее в «Орфее» и «Ифигении» Глюка, в «Фиделио», в Дездемоне, Норме, Розине («Севильский цирюльник»), тот не может понять энтузиазма, который овладевал всем зрительным залом, когда Полина Виардо появлялась на сцене!» <...>

На другой день моего приезда в Париж, ровно в 11 часов утра, камердинер Ивана Сергеевича, извещенный

---

* «Лесной царь» (*нем.*).

снизу звонком привратницы, отворил мне на площадке верхнего этажа дома 50 rue de Douai дверь в помещение своего господина <...>

Здесь, в этом скромном, из трех комнат состоящем помещении, проводил Тургенев зимние месяцы со дня переезда из Баден-Бадена в Париж. Сюда, как мусульмане в Мекку, стекались знаменитости всех национальностей; сюда же являлись в бесчисленном множестве соотечественники и соотечественницы всякого состояния, настроения, направления <...>

Редко кто выходил отсюда неудовлетворенным. Тургенев не умел отказывать, и если не мог удовлетворить просьбу тотчас же, то давал обещание по возможности ее исполнить. Обещаний своих он не забывал, что мог — делал, и огорчался искренне, если попытки не увенчались успехом.

Ивана Сергеевича часто упрекали в «популярничанье». Каким он был в молодости — не знаю. Мне пришлось познакомиться с ним за несколько лет до его кончины, когда он приблизился к шестидесятилетнему возрасту.

В это время его мягкость, снисходительность и чарующая простота обаятельно действовали на всех, кто к нему подходил. Он был и остался большим барином в силу своего происхождения и той сферы материального обеспечения, в которой вырос, в силу привычки благовоспитанности, от которой не мог, да и не желал отрешаться; но барство его проявлялось не в оскорбительном высокомерии в обхождении с теми, кто стоял ниже по происхождению или состоянию, а в брезгливом отношении ко всему мелкому, пошлому, наглому, лживому и продажному.

Когда камердинер распахнул передо мной дверь, Тургенев сидел за письменным столом спиной к свету, лицом к выходу. Тонкая, вязаная, темная вареза облекала его могучий стан. Он встал, подошел поздороваться и, предложив сесть к столу, вернулся к своему рабочему креслу, но скоро снова встал и продолжал беседу, то шагая по ковру, то останавливаясь передо мной и пристально, пытливо в меня всматриваясь. Мне казалось, что он не столько старается проникнуть в мои мысли, как уловить особенности лица, жестов, выражения... Беседа шла о второй части моего романа, рукопись которого лежала на столе. Взятая тема, ввиду неопытности автора в житейских отношениях, и как раз именно в тех самых отношениях, которые автор попытался затронуть,

удивила его, но не вызвала ни улыбки, ни снисходительной небрежной критики <...>

Помню, как увлекался он романом, появившимся под заглавием «Варенька Ульмина» в «Вестнике Европы».

Роман этот в рукописи был первоначально прислан Ивану Сергеевичу. Он нашел в этом произведении печать оригинальности, сильный красочный слог, настроение — одним словом, недюжинный талант. К этому роману он отнесся как к родному детищу <...> [8]

В своих увлечениях он мог ошибаться и воображением дополнять недочеты того или другого произведения, но в этих увлечениях, может быть, более, чем в чем-либо другом, выступало желание, найдя хотя бы крупицу дарования, поощрить к труду, имея в виду возможное нарождение и развитие нового на пользу России таланта.

Не всегда, однако, он поощрял. Меня просили узнать мнение его об одной присланной ему повести...

«Удивительное дело, — сказал он в ответ. — Композитор проходит теорию музыки, гармонию; живописец не напишет картины, не ознакомившись с перспективой, красками, рисунком; в архитектуре, в скульптуре требуется первоначальная школа. Только принимаясь за писательство, полагают, что никакой школы не нужно и что доступно оно каждому, кто обучался грамоте <...> Автор повести, о которой вам писали, несомненно, — человек грамотный и, несомненно, полагает, что этого совершенно достаточно, чтобы «накатать» повесть <...> Я отослал ее ему обратно без всяких комментарий» <...>

Не выносил он также повестей «с направлением».

«Можно быть рабским подражателем того или другого известного писателя, — говорил он, — можно быть жалким кропателем бесцветных, водянистых рассказцев, но для чего к тягучей, бездарной беллетристической форме пристегивать «идею»... <...>

Из первоклассных французских писателей в кабинете Ивана Сергеевича, кроме Флобера, я встречала Эмиля Золя, Флобер относился к Тургеневу с каким-то особенным нежным благоговением, но и в обращении Золя чувствовалось глубокое уважение.

Золя — плотный, ширококостный, с круглым заурядным лицом — напоминал скорее богатого, изрядный капиталец скопившего собственника, чем писателя; только глаза, серьезные и вдумчивые, изобличали мыслителя. Он говорил мало, больше слушал. В то утро, когда мне

в первый раз пришлось увидеть его, речь зашла об его романе «Assommoir». Успех этого романа превзошел ожидание автора [9]. До этого романы Золя расходились вообще довольно туго.

— Да и теперь, — заметил он с улыбкой, — я обязан успехом женщинам и... духовенству. Мой издатель утверждает, — пояснил он, — что на десять покупателей моей книги приходится четыре женщины и четыре духовных лица...

На первом представлении нашумевшей комедии Эркмана-Шатриана «L'ami Fritz» [10] мне довелось увидеть и Альфонса Доде... Мы шли, направляясь за толпой, к выходу по узким коридорам «Comédie Française», когда с нами столкнулся, протискиваясь сквозь толпу, человек маленького роста, узкоплечий, с огромною головой, точно отнятой от другого туловища; громадная, густая, длинная до плеч шевелюра, темная борода и прекрасные, мягкие, бархатные глаза довершали симпатичный, общеизвестный по фотографиям облик блестящего романиста. С порывистостью и живостью южанина приветствовал Тургенева автор «Fromont jeune et Risler ainé» и, кинув на ходу вскользь похвалу пьесе Эркман-Шатриана, напомнил, удаляясь, об очередном литературном обеде, на котором сходились еженедельно братья Гонкуры, Флобер, Золя, Альфонс Доде и Тургенев.

Когда мы двигались в толпе по тесным закоулкам «Дома Мольера», вокруг нас раздавался сдержанный благоговейный шепот: «C'est Tourguéneff!.. Le grand Tourgueneff!» * Подобного рода восклицания мне приходилось слышать каждый раз, когда Иван Сергеевич одновременно с нами появлялся в концерте, в театре, вообще среди какого-нибудь сборища. Львиная седая голова, высокий рост, характерное, белою шелковистою бородой обрамленное лицо обращали на него общее внимание. Редкий из парижан не знал, кому принадлежит эта выдающаяся наружность, и часто приходилось мне сопоставлять уважение, поклонение чужестранцев с холодностью, непониманием, порицанием, а нередко и грубым отрицанием соотечественников по отношению к своему знаменитому писателю <...>

«Наступили новые времена, нужны новые люди, — говорил он. — Устарелому писателю надо умолкнуть...»

---

* Это Тургенев!.. Великий Тургенев! (*фр.*)

А между тем новые люди, новые течения мысли, намечавшиеся в России, продолжали привлекать его внимание.

Некий г. N, русский, поселившийся временно в Париже, возбудил в нем живейший интерес. Когда и при каких обстоятельствах Тургенев с ним познакомился, я не знаю, но в разговоре он часто о нем упоминал... Однажды мы с N почти одновременно вошли в кабинет писателя. Иван Сергеевич нас познакомил. Наружность N была незаурядная. Далеко не юноша, лет 30-ти, рослый, плечистый, борода окладистая, лоб умный, рот резко очерченный, с плотными губами, взгляд быстрый, глаза наблюдательные. Он сел или, скорее, повалился на диван и, опираясь ладонью на колено, не менял принятой позы, как не менял непроницаемого выражения лица. Говорил он мало, выражался односложно, как бы давая понять, что мог бы сказать гораздо больше, если бы считал это нужным.

Беседу вел Тургенев. Он сидел в кресле против своего собеседника, не спуская внимательного, доброжелательно-испытующего взора с его лица. Каждое отрывистое возражение, небрежное замечание неразговорчивого и, несомненно, высокомерно державшегося гостя — порой N ограничивался просто неопределенным мычанием — он, казалось, ловил с жадным интересом и задерживал в неисчерпаемом кладезе своей памяти, пропуская совершенно без внимания то, что в обращении N могло быть лично для него оскорбительным.

— Носится с ним, — говорили мне соотечественники, посмеиваясь над «ухаживанием» Тургенева за N, как они выражались, — а N морочит «старичка»... На, дескать, пиши с меня тип для нового задуманного романа.

Вряд ли N мог «морочить» Ивана Сергеевича и вряд ли «поза» ускользнула от наблюдательности писателя. Но он умел отбросить внешнее, ненужное; не давая этому ненужному затемнять того, что казалось ему существенным. Факты, свидетельствующие о силе воли, неустрашимости и находчивости, — вот что заинтересовало Тургенева в N и побуждало искать в этой личности тот нарождающийся тип твердо идущего к намеченной цели человека, которого он надеялся, мнил, хотел видеть в представителях нового поколения.

Лица, с грехом пополам окончившие неудовлетворительный курс неудовлетворительного русского среднеучебного заведения и часто не переступившие даже за половину университетского курса, считали себя впра-

ве относиться «с кондачка» к одному из самых образованных людей нашей родины, первоклассному притом писателю, который за свою долгую плодотворную жизнь ни одной строки не написал против своего убеждения; никогда не потворствовал своим пером ходячим вкусам и требованиям преходящих веяний, и при всей своей мягкости, впечатлительности продолжал, живя и вдали, любить Россию, как любят ее на чужбине, как любил ее другой большой писатель, А. И. Герцен, какою-то жгучею, мучительною любовью, отдавая ей все помыслы, талант свой и труд, хотя именно из России шли все те удары, которые заставляли его временно сомневаться в собственных силах.

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может *обойтись*», — писал он еще в 1859 году.

Так думал он и шестнадцать лет спустя.

В апреле, одновременно с семейством Виардо, Иван Сергеевич переехал в Буживаль, на свою дачу «Les Frênes». В мае и я по приглашению г-жи Виардо поселилась у нее в «Les Frênes» на все лето.

Дача Тургенева находилась саженях в двадцати от дачи г-жи Виардо. Подниматься приходилось к обеим дачам от набережной Сены легким подъемом в гору, где на некоторой высоте белелась меж ясеней дача Полины Виардо, а на том же уровне, справа от нее, точно выступая из корзины цветущих фуксий и махровых пеларгоний, густою кустистою порослью обхвативших словно пестрым ярко цветным поясом фундамент, бросался в глаза грациозный, изящный, как игрушка, резьбой украшенный «chalet» * Ивана Сергеевича.

Швейцарский и русский стиль удачно соединялись во внешнем виде летнего приюта писателя, а внутри все отличалось строгою простотой и комфортом <...> Кроме общего сохранившегося в памяти впечатления художественного сочетания красок и линий во всей обстановке, мне припоминаются артистически расписанные стекла в дверях с изображением картин из русской жизни, в разных ее проявлениях: зимние пейзажи, сцены охоты, избы, сани, тройки.

Но лучшим украшением этой очаровательной дачи был, несомненно, кабинет Тургенева во втором этаже,

---

* швейцарский домик (*фр.*).

обширный, высокий, светлый, где темно-красным обоям соответствовали массивные, черного дерева кресла, стулья, диван, обтянутые красным сафьяном, художественной работы книжные шкафы, черного же дерева внушительных размеров письменный стол, крытый тоже красным сафьяном. Свет проникал с двух сторон. Три окна выходили в парк, а одно, более широкое, приспособленное для занятий живописью, было проделано в фасаде. Отсюда открывался вид на Сену и ее расцвеченные садами и кокетливыми дачками берега. Близ этого окна помещался всегда мольберт с начатою или законченною картиной.

Вторая дочь г-жи Виардо, Claudie Chamerot, проводившая лето с мужем и малюткой-дочерью у родителей в «Les Frênes», занималась живописью, и для нее-то и был устроен в кабинете уголок мастерской художника <...>

День в «Les Frênes» начинался довольно рано <...> Иван Сергеевич утром не выходил из своего «Шале»; редко появлялся он и ко второму завтраку, в таких случаях присаживался в сторонке и выпивал только чашку крепкого чаю. Самовар обязательно подавался к этому завтраку.

Часа в три, по окончании уроков пения, не прекращавшихся и летом, мы сходились обыкновенно у него в кабинете. Claudie садилась за мольберт, я — в некотором расстоянии от нее, — она писала с меня портрет, — г-жа Виардо занимала место у круглого стола с каким-нибудь рукодельем, Марианна тоже, а г-жа Эритт читала вслух что-либо из новейших произведений английских или французских писателей. Помнится, предметом чтений в то лето был только что появившийся растянутый роман Джоржа Эллиота «Даниель Деронда».

Иван Сергеевич часто присутствовал при этих чтениях. Он сидел у письменного стола; иногда слушал и вставлял замечания, иногда балагурил, причем Claudie или Марианна вскакивали, тормошили его, зажимая ему рот и восклицая:

— Voyons, Tourguel, — то было дружеское прозвище, данное ему молодою женскою половиной семейства Виардо, — voulez-vous nous laisser tranquilles!.. Nous voulons écouter... *

---

* Постойте, Тургель... не будете ли вы столь любезны оставить нас в покое! Мы хотим послушать... (*фр.*)

Иногда чтение надолго прерывалось шутками, смехом, бесчисленными анекдотами, которыми Тургенев так и сыпал в часы хорошего расположения духа и первый добродушно смеялся, заставляя смеяться других; иногда во время чтения он пробегал свою многочисленную корреспонденцию или же присаживался к мольберту Claudie и следил за ее кистью.

Изредка по воскресным дням мы оставались в гостиной. Г-жа Виардо садилась за рояль. Одно утро, помню, было посвящено на ознакомление с партитурой оперы «Кузнец Вакула» Чайковского, другое — на исполнение Шопена. Как современница Шопена, лично его знавшая, слышавшая его игру, обладая притом превосходною техникой, Полина Виардо передавала шопеновские ноктюрны, вальсы, мазурки, прелюды с выдающеюся экспрессией и законченностью... Слушая проникновенную игру, Тургенев сидел в отдалении в кресле и, прикрыв глаза рукой, казалось, весь отдавался настроению музыки.

Сам он ни на одном инструменте не играл. Любил больше всего Моцарта, Шуберта, затем Шумана, Шопена и не любил Вагнера. У него, по его словам, на первом представлении «Тангейзера», жестоко тогда освистанного, имелся тоже на всякий случай ключ в кармане... Пустил ли он его в дело, не знаю... Помнится, он, смеясь, уверял, что общий пример его увлек... Как бы то ни было, но и впоследствии Вагнер не пользовался его симпатиями и только позднейшими произведениями вызывал в нем некоторый интерес.

К обеду, около семи часов вечера, собиралась вся семья; бывали часто и посторонние. Застольную беседу направлял обыкновенно Тургенев. Он любил говорить и говорил хорошо, уснащая свой разговор меткими, тонкими замечаниями, наблюдениями, описаниями. Его слушали не только охотно, но всегда с живейшим вниманием. Мимолетная встреча, обрывок мелодии, запах цветка, мысль, выраженная и схваченная на лету, складывались у него мгновенно в образы...

Однажды, возвратясь из Парижа к обеду в «Les Frênes», он рассказывал за столом о разных встречах, впечатлениях и между прочим упомянул, что на одной из улиц он взял фиакр. Проехав немного, он почувствовал сильный запах фиалок. Сначала он думал, что аромат фиалок несся в спущенное окно фиакра из корзины сидев-

шей где-нибудь невдалеке продавщицы цветов, но никакой продавщицы поблизости не было. Фиалками пахло внутри фиакра; запахом фиалок была пропитана пошлая, обтертая столькими спинами, захватанная столькими руками обивка фиакра. Хорошенькая женщина ехала, верно, перед тем в этом фиакре... Букет фиалок лежал у нее на коленях; фиалки держала она в руках, фиалками благоухала ее одежда.. Куда она ехала?.. Одна ли она ехала? Что она думала... Что чувствовала, когда, вдыхая аромат, прижимала душистые, прохладные фиалки к лицу?.. Грациозный женский образ, полный поэзии и прелести, уже намечался, готовый войти в «Стихотворения в прозе», но Иван Сергеевич только мимоходом коснулся его, и видение исчезло среди других образов, которые возникали, чередуясь, в его беседе, когда он был в ударе...

Иногда он спорил, и спорил ожесточенно, но никогда не переходил на личность, никогда не оскорблялся колкостями и нападками, часто едкими и не без оттенка раздражения, на его мнения.

Заговорили как-то о новейших типах женщин, проникших в литературу. Тургенев заметил, что женщина нынче играет первенствующую роль, так как к ней перешла энергия борца, утраченная изнуренными пессимизмом мужчинами, и ей по праву принадлежит будущее <...>

Он много ходил днем по парку, всего чаще один, изредка с г-жой Виардо, с которой он совещался о своей работе, и которой читал каждую главу своего нового романа. Она прекрасно понимала по-русски, отлично выговаривала, когда ей приходилось петь русские музыкальные произведения, но говорить стеснялась...

— Ни одна строка Тургенева с давних пор не попадала в печать прежде, чем он не познакомил меня *с нею*, — сказала она мне *раз*. — Вы, русские, не знаете, насколько вы обязаны мне, что Тургенев продолжает писать и *работать*, — заметила она однажды в шутку.

Это не было тщеславным самообольщением. Даже поверхностное знакомство с этой гениальной артисткой делало понятным то влияние, которое она должна была, не могла не иметь на восприимчивую, впечатлительную натуру писателя. Ее ум, художественный вкус, умение схватывать существенное и отбрасывать мелкое, не важное, ее разностороннее *образование*, — она в совершенстве владела испанским, итальянским, английским, немецким *языками*, — наконец, ее энергия, трудолюбие

и непоколебимая, никому и ничему не поддающаяся сила воли должны были в часы ослабления художественного творчества действовать ободряющим и побуждающим к деятельности образом <...>

Над дачей г-жи Виардо, в глубине парка, на верхней площадке, стоял домик-беседка <...> Из окна этого укромного домика мне приходилось незаметно наблюдать за Иваном Сергеевичем, когда он, совершая обычную прогулку, медленно шел по крайней аллее в близком расстоянии от меня. И лицо и походка выражали утомление и печаль. Мне казалось, что в такие минуты уединения он чувствовал себя одиноким и оторванным от родной почвы и сознавал, что как ни близка ему дружеская семья и как ни любим он всеми членами этой семьи, а все-таки он волей судьбы «прилепился к краешку чужого гнезда», — как он выразился в письме к приятелю <...>

В конце мая мы предполагали все отправиться на несколько дней в Nohant к Жорж Санд, с которой семейство Виардо и Тургенев неизменно поддерживали многолетние дружеские отношения. Моему нетерпеливому ожиданию познакомиться со знаменитою писательницей не суждено было исполниться. Получилось письмо из Nohant о тяжкой болезни Жорж Санд и вслед затем известие о ее кончине *. Известие это поразило Ивана Сергеевича, который неоднократно подолгу гостил желанным гостем в Nohant, но особенно оно подействовало на г-жу Виардо <...> [11]

Несколько дней спустя Тургенев уехал в Россию, куда его призывали расстроенные дела по имению. Он отличался, как известно, доверчивостью и непрактичностью. Несмотря на достоверные и непреложные факты, доведенные до его сведения, о неудовлетворительном управлении его имением, Иван Сергеевич долго медлил положить этому предел. В конце концов он решился, однако, поехать в Спасское с тем, чтобы переменить управляющего [12].

Письма его по поводу свершившегося события полны юмора. Объявив свой ультиматум и выдержав от рассчитанного управляющего целый поток угроз и грубостей, он, кипя от бешенства, молча смотрел из окна, как воз за возом увозили имущество кичливого пана,

---

* Жорж Санд скончалась 8 июня 1876 года. (*Примеч. Е. Ардова-Апрелевой.*)

примечая среди этого имущества знакомые, несомненно, всегда в Спасском находившиеся предметы, пока и сам управляющий не выехал из ворот; тогда, словно опомнившись, он выскочил, в свою очередь, за ворота, и, грозя кулаком вслед благополучно отъехавшему уже далеко управляющему, разразился самою неистовою бранью. Облегчив себя этим взрывом никому не повредившей ярости, он вернулся в дом и принялся в юмористическом тоне, не щадя себя, описывать эту комическую сцену в письме г-же Виардо <...> Тургенев, описывая свое пребывание в Спасском, сказал между прочим, что слышал от одной старухи крестьянки слово, которое для него было comme un coup de foudre... * Он внесет его в свой роман... Изумительно меткое выражение и такое простое, несложное, такое многозначащее... Оно должно стать таким же прозвищем, как «нигилист» <...>

А слово это было «опроститься, опростелые»...

Мое возвращение в Париж прервало на некоторое время оживленные общения с обитателями «Les Frênes», которые переехали только позднею осенью. Иван Сергеевич, однако, еще до переезда на зиму в дом 50, rue de Douai, поднялся ко мне однажды на пятый этаж.

Он привез рукопись рассказа **, написанного мною в «Les Frênes» и оставленного ему для прочтения. Не могу припомнить в точности всего сказанного им по поводу рассказа. Осталось воспоминание о том изумительном внимании, с которым Тургенев отнесся и к этой второй работе начинающего писателя.

Рассказ вслед за тем был переведен на французский язык и по предложению Тургенева прочитан зимой в салоне г-жи Виардо в присутствии членов семьи и нескольких посторонних лиц <...>

На другой день в обычный час Иван Сергеевич с доброю улыбкой приветствовал меня в своем кабинете. Рукопись перевода лежала у него на столе.

— Великолепный, великолепный перевод, — повторял он. — Я был бы рад, если бы меня так переводили!..[13] Ну-с, почин сделан... X, — он назвал одного из бывших на чтении слушателей, — вернул мне незадолго до ваше-

---

* Как удар грома (*фр.*).

** «Apollon Markowitch», «Indépendance Belge», 1877 г. — «Аполлон Маркович», «Наш век», того же года. (*Примеч. Е. Ардова-Апрелевой.*)

го прихода рукопись <...> Он истинно расположен к вам и огорчился потому, что хотя рассказ ему и понравился, но он считает его… безнравственным!..

Иван Сергеевич встал и, шагая по кабинету, заговорил о той пропасти, которая разъединяет русского и француза различием их основного миросозерцания.

— Французы — формалисты, и твердо стоят на букве закона; стоят все: и заурядные, зажиревшие буржуа, и лица высокой культуры… В вашем рассказе многократно обманутый, оскорбленный муж продолжает с любовью относиться к жене до последней минуты ее жизни… Такое отношению не только глупо в глазах каждого уважающего себя француза, но прямо безнравственно, ибо закон не прощает, а подвергает заслуженной каре жену за измену <...>

Сезон начинается поздно в Париже, и четверги возобновились в декабре, если не позже. Но, кроме четвергов, у г-жи Виардо собирался по воскресным вечерам интимный кружок. Бывали Ренан, Анри Мартен, Литтрэ, Сен-Санс, Форэ, Годар и др. Из русских частым посетителем вечеров был Панаев и его талантливая дочь [14].

Молодежь устраивала шарады в действиях, затевала разные игры. В шарадах участвовал и Тургенев, внося много оживления, остроумия и беспредельного добродушия в эти забавы [15]. К слову сказать, его деятельное участие в играх и веселье молодежи никого не повергало в изумление. Ренан, Анри Мартен, работавшие по четырнадцать часов в сутки — нормальный рабочий день француза, — не считали для себя предосудительным отдаваться часа на два самым наивным, самым детским развлечениям, как, например, игра в фанты, причем Ренану, человеку необыкновенной толщины и насчитывавшему уже тогда около семидесяти лет, приходилось, по нашему назначению, прыгать через платок, что он и проделывал при общем неудержимом хохоте самым простодушным образом <...>

Час обеденный, час отдыха для всех давал повод в Париже, как и в «Les Frênes», к оживленной беседе. Касалась она разных предметов, реже всего политики. На Тургенева зимой довольно часто, однако, находило настроение пессимистическое — под влиянием ли повторяющихся мучительных припадков подагры или других неизвестных мне причин <...> [16]

В эту зиму некая Мари Дюма задумала давать музыкально-драматические «matinées» — утренние представления — для ознакомления парижан с произведениями различных национальностей. Дошел черед и до русского утра. Мари Дюма прислала г-же Виардо ложу.

Программа состояла из первого действия «Русалки» Пушкина, сцен из «Каменного гостя» его же (Дон-Жуан и Донна Анна) и вокально-оркестровой части. Драматическому отделению предшествовала лекция (conférence) о русской литературе. Лектор начал прямо с Жуковского, остановился несколько дольше на Пушкине и перешел к новейшей литературе, «знаменитейшего представителя *которой*, — закончил *он*, — мы имеем честь видеть в стенах этого зала».

С этими словами лектор обернулся с поклоном к нашей ложе, где позади дам сидел Тургенев. Публика встала; раздались дружные аплодисменты, Тургенев вынужден был тоже встать и раскланяться. Аплодисменты продолжались довольно долго, и довольно долго Тургенев не садился и поклонами благодарил публику.

Наконец все успокоилось. Занавес поднялся. Казалось бы, после такой овации другой, менее непосредственный человек отнесся бы или, по крайней мере, пытался бы отнестись снисходительно к исполнению, но Тургенев не допускал искажения произведений того, кого считал он светочем России, русского народа, русской литературы... А исполнение «Русалки» было жалкое... Особенно комическую фигуру представлял Князь — жиденький французик в каком-то шутовском костюме, не то кучерском, не то цыганском, с его забавным размахиванием рук и непрерывным встряхиванием головы... Мы с трудом удерживались от смеха. Тургенев не смеялся. Сжимая кулаки, он, не стесняясь, громкими резкими восклицаниями выражал негодование и, только уступая нашим просьбам, согласился... не замолчать, а выйти из ложи <...>

Между тем получились последние исправленные корректурные листы первой части «Нови». Иван Сергеевич передал их мне для прочтения <...>

Вскоре вслед затем познакомилась я в корректурных же листах и со второй частью «Нови» <...> Мы свиделись за воскресным обедом.

После обеда, когда в салоне начали собираться посторонние посетители, Иван Сергеевич подсел на стул сзади меня в уголке за роялем и вполголоса спросил:

— Ну что?!

— «Новь»?.. Чудесно!.. Прочитано в один присест, запоем... Но...

— Но вы не удовлетворены?

— Но «*они*» вам чужды.

Иван Сергеевич понял, что говорится об Остродумове, Маркелове и др.

— И в душе несимпатичны... Помимо воли вы отнеслись к ним холодно...

— Может быть, может *быть*, — сказал он, будто несколько огорченный <...>

Припоминая эту краткую, ярко, со всеми деталями места, где она происходила, внедрившуюся в память беседу, меня поражает в то прошлое время — недостаточно мною оцененное трогательное смирение, с каким всемирно известный писатель выслушал мнение лица, сравнительно молодого, во всех отношениях неопытного и которое не могло иметь никакого авторитета в его глазах...

Газетные и журнальные отзывы о «Нови» известны. Тургенев видел в них подтверждение той непопулярности, которая, по его мнению, продолжала господствовать вокруг его имени в русском обществе...

В самый разгар сезона в салоне г-жи Виардо, по примеру прошлых лет, состоялось литературно-музыкальное утро в пользу русской библиотеки в Париже. Салон наполнился многочисленною русскою публикой.

Госпожа Виардо исполнила романс Чайковского «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду» со свойственною ей страстью, выразительностью и безукоризненной дикцией. Тургенев прочитал отрывок из «Дыма»: «Встреча на станции Литвинова с братьями Губаревыми» и сцену бегства из дома Сипягина Марианны с Неждановым.

Комические сцены удавались ему лучше лирических. Читал он, однако, вообще превосходно, просто и отчетливо. В числе исполнителей находились Поль Виардо (скрипка) и, если не ошибаюсь, С. И. Танеев — рояль [17]. Успех утра был во всех отношениях огромный. Мы, домашние и притом неплатные слушатели, изображая из себя раек, скучились в смежной столовой и, кто стоя, кто сидя на *столе*, — стулья все были вынесены в *залу*, — выражали свой восторг аплодисментами. Иван Сергеевич неоднократно кланялся в нашу сторону, что, разумеется, вызывало новые клики и аплодисменты, которые подхватывала и степенная, чопорная публика первых рядов.

Однажды в Париже, войдя днем в кабинет Тургенева, я застала у него даму, очень полную и высокую, с круглым, чисто русским лицом, господина с обликом французского капиталиста и двух детей, от 3-х до 6-ти лет: мальчик и девочка.

— Дочь моя, зять и внуки, — заметил Иван Сергеевич своим ровным ленивым голосом, представляя меня поднявшейся с дивана даме и ее семье <...>

Кроме русского лица да голоса слегка нараспев, ничто не выдавало ее происхождения. России она, конечно, не помнила.

В апреле 1877 года я вернулась в Москву, а в начале июня того же года Тургенев приехал в Петербург [18]. Прожив большую часть молодости в Петербурге и за границей, я не знала вовсе русской деревни, и мне вздумалось пожить некоторое время в Спасском, о чем я и написала Ивану Сергеевичу. Прилагаю его ответ: «<...> С великим удовольствием соглашаюсь на ваше изъявленное желание — и предоставляю вам весь мой деревенский дом в Спасском, спальное и столовое белье и пр. <...>» [19].

Обстановка флигеля была старинная. В гостиной — широкие, мягкие, зеленым сафьяном обтянутые диваны, позволяющие лечь и вдоль и поперек; удобные и тоже широкие кресла с мягкими налокотниками и валиками для головы. Массивные преддиванные столы, горка с остатками старинных чашек и безделушек; тяжелые зеленые старинные занавеси на окнах, устойчивые, работы крепостных столяров ломберные и шахматные столики <...>

Кабинет был одновременно и спальней писателя. Ширмы, обтянутые малиновой тафтой, заслоняли кровать. Между двух окон, выходивших в сад на скрытую густой порослью церковную ограду, стоял по длине комнаты письменный стол.

Смежная с кабинетом узкая проходная комната, уставленная мебелью из карельской березы и книжными шкафами, носила название «казино». Три двери — одна в кабинет, другая — на низенькое крылечко в сад, третья — в большую, очень светлую комнату с биллиардом посредине и библиотечными шкафами из ясеневого дерева вдоль всех стен от полу до потолка. Шкафы эти заключали более двух тысяч томов полных собраний сочинений писателей XVIII столетия, преимущественно энциклопедистов, а также русских старинных изданий и журналов.

В шкафах «казино» были собраны европейские классики. Особенною полнотой отличалась немецкая литература XVIII и XIX столетий.

Флигель с его домашним обиходом находился в 1877 году в ведении Захара, старого камердинера Тургенева <...>

Подавая чай или обед, Захар — старинной выправки человек, высокий, худощавый, пожилой, с бельмом на глазу — становился в дверях и, заложив одну руку за спину, охотно вступал в беседу, причем с благоговейной нежностью говорил об Иване Сергеевиче, которого он в молодые годы сопровождал и в Петербург, и в Москву, и с почтительною иронией докладывал о «мамаше их» Варваре Петровне <...>

Анекдотов о властной самодурке-помещице ходило множество, составляя резкий контраст с былью и небылицами, которыми уснащались россказни об ее знаменитом сыне... В первых преобладали черты жестокости, самоуправства, властолюбия, эгоизма и невнимания к правам человека, будь то родной сын или «раб»; во вторых — черты гуманности, мягкости, подчас излишней, доверчивости, подчас наивной, и ни одной черты, унижающей человеческое достоинство.

В рассказах ли Захара, или дряхлого дворового, бывалого охотника, послужившего прототипом Ермолаю («Записки охотника»), или не менее дряхлой богаделки, знавшей «благодетельницу» Варвару Петровну и умилявшейся над ее барской добродетелью, а попутно восхвалявшей сынка благодетельницы, «ясного сокола, батюшку нашего Ивана Сергеевича»... или в повествованиях испитого фельдшера, бывшего крепостного Варвары Петровны, — личность Тургенева являлась всегда светлою, ясною, ничем не запятнанною <...>

— Эту вот аллею, — говаривал Захар, почтительно следуя за мной по саду, — Иван Сергеевич сами насадили... Каждое дерево собственными руками сажали... В этой беседке часто, когда приедут, сидят с книжкой... А вон на той скамейке, что под двумя братьями, — так называлась оригинальная ель, двойной ствол которой, сплетаясь, рос из одного корня, — частенько в прежнее время, когда Иван Сергеевич подолгу в Спасском проживали, сиживали гости: Панаев, Некрасов, Григорович, Полонский, Шеншин, — они же Фет... Граф Лев Николаевич Толстой тоже, бывало, наезжали <...>

В Спасском, близ церкви, через дорогу, находилась

богадельня, построенная еще при Варваре Петровне. Здесь в 1877 году доживали свой век несколько старух. Не раз заходила я к ним и беседовала об их нуждах и о старине. Благодаря ли вниманию, меня окружавшему, или по другой причине, но богаделки решили, что я дочь Ивана Сергеевича и прямая его наследница. Толки эти распространились и по селу Спасскому... Иная баба, встречая меня на селе, зазывала к себе, потчевала, чем могла, и, умильно покачивая головой, заявляла, что будто весь народ, когда видит меня в церкви, думает: «И лицом-то она вся в тятеньку свово, барина нашего Ивана Сергеевича».

Мои протесты ни к чему не вели. «Скрывает!» — говорили бабы, хитро подмигивая друг другу. Конечным же выводом слагавшейся помимо моей воли легенды явились просьбы и обращения ко мне со всякими нуждами.

О некоторых просьбах я сообщала Ивану Сергеевичу. Он писал в ответ:

«<...> Любезнейшая Елена Ивановна! Мне действительно известна кандидатка в богадельню, о которой вы говорите, — и я не вижу препятствий ее поступлению на открывшуюся ваканцию <...> Я очень рад, что Спасское продолжает вам нравиться. Меня очень трогает то, что вы говорите о чувствах спасских жителей ко мне — одним доказательством больше, как легко заслужить любовь русских крестьян. Вся моя заслуга состоит в том, что я им никогда не делал зла — и даже, по мере возможности, делал немножко добра, которое, в сущности, ничего мне не стоило и не лишало меня ни единой прихоти. Легенда о нашем родстве, очень для меня лестная, вероятно, имеет основанием тот факт, что вы Ивановна; впрочем, она служит доказательством, что вы крестьянам нравитесь; вот они и приурочили вас ко мне. Я уверен, что пребывание ваше в деревне будет полезно вам и с литературной точки зрения: набирайтесь как можно больше впечатлений — но не думайте — пока — передавать их. Это придет со временем. Резервуар не может в одно и то же время набирать в себя воду и выпускать ее. «Записки охотника» накоплялись во мне целых 10 лет <...>» [20].

Иван Сергеевич обладал редкою способностью проникаться настроением чужого художественного произведения, воспринимать и отличать то, что в нем было истинно прекрасного. Но никто из современных ему писателей не ставился им на такую высоту, как граф Лев Николаевич Толстой.

О бывших между ними недоразумениях Тургенев упомянул как-то раз, и то вскользь, не входя в подробности.

В 1878 году, приехав в начале августа в Москву, он навестил меня в редакции «Русских ведомостей», где я в то время работала, и первым делом сообщил, что написал Льву Николаевичу о своем желании навестить его в Ясной Поляне и уже получил радушное приглашение приехать [21].

«Вы не можете себе представить, как я рад этой поездке, — говорил он. — Я уверен, что теперь всем недоразумениям конец... С моей стороны, по крайней мере, все давно забыто. Я немедленно еду и уж из Ясной Поляны проеду в Спасское. Что вам привезти на память из Спасского?.. Издание Жорж Санд, что в шкафу «казино»? Прекрасно; не забуду... Привезу с удовольствием» <...>

По возвращении из Спасского он приехал ко мне снова в редакцию «Русских ведомостей» с большим томом Жорж Санд, издания 1838 года в руках <...>

По-видимому, свидание с Львом Николаевичем удовлетворило его во всех отношениях, мало того, — придало ему какую-то особую бодрость. По крайней мере, никогда не видела я его таким веселым и помолодевшим, как в этот его приезд.

Мы часто встречались у А. Ф. Писемского и предприняли несколько совместных поездок, между прочим, в Абрамцево по Ярославской железной дороге, близ ст. Хотьково, к г-же Мамонтовой, с которою он желал познакомиться, и в Кунцево — к Павлу Михайловичу Третьякову.

В Абрамцеве Иван Сергеевич бывал в молодости у Сергея Тимофеевича Аксакова, и ему хотелось вновь увидать ту узкую извилистую речку, на берегу которой он с автором «Семейной хроники» предавался ужению рыбы, тот дом, где проживала тесно сплоченная дружная патриархальная семья, где он вступал в горячие споры с Константином Аксаковым, с одной стороны, приводившим его, молодого западника, в негодование ультраславянофильским миросозерцанием, а с другой — в умиление перед сыновним культом престарелого отца, «и где на старом аксаковском пепелище водворились новые люди, новая жизнь»...

Об Аксаковых, отце и сыновьях, Константине и Иване Сергеевичах, заговорил он снова, когда, поздно вечером, после блестящего приема и не менее блестящих проводов,

устроенных ему владельцами Абрамцева, мы остались одни в вагоне, и, как всегда, едва намеченными образами вызывал целые картины пережитых им впечатлений и яркие характеристики сошедших в могилу лиц...

Припоминается мне эпизод со щукой... Иван Сергеевич с обычным юмором начал было рассказывать, как он в один из своих приездов в Абрамцево поймал большую щуку, как он волновался, хватая щуку, упавшую с леской на траву и бившуюся в тщетных усилиях сорваться с крючка, и какое непритворное огорчение и зависть к удаче своего молодого товарища испытывал Сергей Тимофеевич — страстный рыболов, — у которого в этот день клевала только мелкая, ничтожная рыбешка...

Рассказ этот со всеми подробностями местности неожиданно прервался. Слабый вздох донесся до нас с противоположного конца отделения, куда на одной из промежуточных станций близ Москвы вошла дама под вуалью.

Услышав вздох, Тургенев оглянулся. Дама, сидя спиной к нам, смотрела в окно и время от времени прижимала руку к виску.

— Не больна ли? — наклонясь ко мне, шепнул Иван Сергеевич. — Может, холера?

Я рассмеялась. Добродушно смеясь, в свою очередь, он, однако, пошарил в ручном мешке, вытащил флакон одеколона, с которым никогда в пути не расставался, окропил меня, себя, наши диваны и украдкой брызнул несколько капель в сторону все в той же позе неподвижно сидевшей незнакомки и затем, убрав флакон, продолжал рассказ.

Вскоре после поездки в Абрамцево мы условились ехать в Кунцево.

Приехав к нему в назначенный час в квартиру управляющего удельною конторой И. И. Маслова, у которого Иван Сергеевич всегда останавливался, я застала у него пожилую даму, всю в черном, небольшого роста, худощавую, с очень быстрыми темными глазами и порывистыми движениями. То была мать Скобелева [22]. Язвительно и резко заговорила она, после того как Иван Сергеевич меня ей представил, о происках и интригах, жертвой которых, по ее словам, сделался ее прославленный сын в русско-турецкую войну...

«Ему всем обязаны, — заключила она, — а между тем наградой ему была только клевета, клевета, клевета!»...

Она говорила стоя, с большим волнением, и не только резкие черты лица ее, но и узкие плечи и руки — все находилось в движении, Иван Сергеевич внимательно слушал, по обыкновению запечатлевая в памяти особенности жестов, речи, выражения лица...

Не думал он, что дни этой не по летам подвижной, пылкой, честолюбивой, энергичной женщины уже сочтены... «Паломничество к любимому писателю», как она сама именовала свое посещение его, оказалось последним... Она была ограблена и зверски убита, как известно, в предпринятую ею поездку в славянские земли.

Визит г-жи Скобелевой затянулся, и уже стемнело, когда мы сели в карету, чтобы ехать в Кунцево. Темнота усилилась набежавшими облаками. За разговором мы не заметили, что начал накрапывать дождь. Вдруг он хлынул как из ведра. Мы уже доехали до Кунцева, но кучер повернул не туда, куда следовало, и, въехав в какой-то узкий переулок, объявил, остановив лошадей, что не знает, в какую сторону надо теперь свернуть. Тургенев, всю дорогу балагуривший и смешивший меня анекдотами, высунулся наполовину в окно и начал вопить тоненьким голоском:

— Помоги-и-те! Помоги-и-те!

Со всех дачных дворов поднялся неистовый лай собак. В опущенное с моей стороны стекло просунулись растерянные лица двух дворников, а за ними испуганно заглядывали в карету чьи-то другие лица. От смеха я не могла слова вымолвить, а Тургенев, потешаясь произведенным переполохом, все еще вопил, высунувшись в окно:

— Помоги-и-те!

С дворниками, ночными сторожами на козлах, подножках и на запятках въехали мы в ворота дачи Третьяковых, от которой, как оказалось, мы были всего в нескольких шагах.

Комический эпизод привел Ивана Сергеевича в самое веселое настроение, и весь вечер держал оп под властью своего мягкого незлобивого юмора осчастливленных его приездом хозяев и их домочадцев.

Вскоре после того он уехал в Буживаль.

В январе 1879 года, поднимаясь по лестнице в помещение петербургского кружка художников, где в тот вечер выступала в «Грозе» Стрепетова [23], я неожиданно увидела впереди себя Тургенева, предполагавшего приехать в Петербург только весной. Для него мой приезд из Москвы был

также неожидан. Разговаривая, мы вошли в театральную залу, переполненную публикой. Лишь только высокая фигура Тургенева появилась в дверях, какой-то трепет и шепот пронесся по рядам стульев; все начали вставать, и зала разразилась аплодисментами. Тургенев, несколько озадаченный, на мгновение остановился, потом заторопился двинуться вперед вслед за распорядителем, сопровождаемый дружными аплодисментами.

— Что это? — сказал он мне взволнованным голосом. — Настроение будто изменилось.

Изменившееся, по его мнению, настроение еще ярче выразилось в Москве, где в феврале он согласился читать на заседании Общества любителей российской словесности. Бурными, долго не умолкавшими аплодисментами встретили его, лишь только он взошел на эстраду, и восторженными овациями благодарили за чтение, по окончании которого на эстраду вошел студент и, поднесши Ивану Сергеевичу лавровый венок, произнес краткую прочувствованную речь. Тургенев положил венок к подножию находившегося на эстраде бюста Пушкина и ответил несколькими словами, вызвавшими новую бурю восторгов. Студенты толпой, кликами и аплодисментами провожали писателя по коридорам до швейцарской и высыпали бы на улицу, если бы полиция не поспешила закрыть дверь, когда Тургенев вышел на подъезд. Пристав предупредительно и почтительно подсадил Ивана Сергеевича под руку в карету.

— С честью провожают! — смеясь, сказал он, когда дверка кареты за нами захлопнулась.

Голос его дрожал. Он откинулся в угол кареты и, против обыкновения, молчал, сказав только, как бы про себя:

— Мог ли я это предвидеть!

А. Ф. Писемский ожидал нас после заседания к ужину. Но и за ужином Тургенев был менее разговорчив, чем всегда. Он казался утомленным, и только глаза его светились каким-то необычным, радостным светом.

А. Н. ЛУКАНИНА

МОЕ ЗНАКОМСТВО С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ
(Из воспоминаний)

Он сидел у себя в спальне и писал письма. Ноги его были закутаны толстым одеялом. В этой комнате, устроенной на французский лад и имеющей характер скорее гостиной, где за ширмами поставлена кровать, меня поразил его собственный портрет, — до того он хорош. Не знаю, кем он написан, Крамским или Репиным, но вообще он — произведение глубоко талантливого художника. На нем Иван Сергеевич представлен в высокой мягкой войлочной шляпе; как славно отливают из-под нее серебристые длинные волосы, как жизненно смотрят темно-сине-серые глаза! Разговор в этот раз шел о русском народе и его характере. Иван Сергеевич горячо утверждал, что русский крестьянин умен, умнее всякого другого крестьянина. «Но странно, — говорил он, — что крестьяне, избирая свое деревенское, мирское начальство, никогда не выбирают умных, а скорее туповатых, хотя и честных людей. И около этих туповатых людей непременно приютится famulus, писарь, юркий, хитрый пройдоха. Это правило. И такие пройдохи встречаются в народе сплошь, но они не приобретают его уважения, а только забирают в руки власть при помощи страха. Их не выбирают не только в старосты, но никуда, однако они тем не менее царят над деревней, нося название мироедов».

Между прочим Иван Сергеевич рассказал следующее: «Как-то был я недавно в деревне. Я остался в хороших отношениях с крестьянами покойной матушки. Раз приходит ко мне староста, именно такой почтенный и тупова-

тый человек, как я говорил, и просит моего совета и помощи: «Вы, мол, Иван Сергеевич, продали земли соседу мельнику, а теперь этот мельник нас заел»... Оказывается, что этот мельник, пройдоха и плут, действительно забрал целую деревню в кабалу: он дошел до того, что по земским дорогам ставил заставы и брал деньги с проезжих крестьян. Мужики пеняли на меня за то, что я ему продал землю и тем дал ему возможность засесть в их соседстве. Ну, надо было помочь, но как? — я не знал. Оказалось, что мельник сам доставил нам возможность наказать его: он дал кому-то сделать планы купленной земли, и планы были сделаны фальшивые — на них-то мельник и основывал свои заставы, по ним переставлял межи и т. и. К счастью, был жив старик-землемер, знавший всю местность и имевший уцелевшие копии старых планов. Я позвал его и решил напугать мельника, надеясь, что это мне удастся. Я пригласил и его к себе для переговоров с крестьянами по поводу спорных межей. Мельник согласился прийти. Крестьяне собрались на площадке перед моим домом. Явился мельник — пошли перекоры. Когда он стал доказывать, что спорная земля его, то я сделал coup de théâtre * и вынес старый, верный план. Мельник струсил, но трусить стал и я: из крестьянской толпы, стоявшей за мной, послышался глухой гул, и она стала напирать — мельник вдруг весь съежился и побледнел. Я оглянулся — и сам похолодел. Глаза у мужиков как-то посоловели и выражение лиц сделалось совсем особенное — я ожидал, что вот эта толпа, разъяренная, сейчас бросится вперед и растерзает мельника. Но тут на меня вдруг нашло вдохновение: я бросился к мельнику, затопал на него, закричал, обещал его согнуть в бараний рог, в Сибирь сослать... Я сам не помню, чего не наговорил... Мельник молил о пощаде. У толпы отлегло. «Го... го... го», — послышался за мною смех, — и я вздохнул — прошло: теперь никого не убьют» <...> [1]

Придя в следующий раз к Ивану Сергеевичу, я застала его уже совершенно здоровым. У него сидел г. Ханыков. Только что получилось известие о смерти Некрасова [2]. Иван Сергеевич до сего времени не хотел признавать в Некрасове поэта **. Теперь вот что Иван Сергеевич высказал:

---

* неожиданный жест (*фр.*).

** Он говорил, что ни одного из стихотворений Некрасова невозможно запомнить дословно, между тем как стих Пушкина неизгладимо запечатлевается в памяти. (*Примеч. А. Луканиной.*)

«Я, может быть, ошибаюсь. Но что у Некрасова неотъемлемо — это его искреннее чувство любви к народу; ему он никогда не изменял. В частной же своей жизни он был эгоист» <...> Вернувшись домой, я тотчас набросала все выше сказанное. Дальше будет нечто вроде дневника.

1878 ГОД

12 февраля <...> Я спросила Ивана Сергеевича, стоит ли, чтобы я занялась своей «Палатой № 103»?

— Непременно займитесь — отвечал он, — только нужно, чтобы я сам свез рукопись, иначе она сгинет. Она должна попасть в журнал не то что при рекомендации, а при пояснении. «Палата № 103» написана хорошо, хотя местами не то повесть, не то серьезная статья. Ну, да это можно отчасти поправить несколькими штрихами. Что касается «Березая», то вы в нем сделали одну ошибку, которой теперь уже поправить нельзя; тем не менее и это вещь хорошая [3]. Ошибка же вот какая: у вас рассказ несколько раз прерывается возвращениями к прежнему, старому — этого делать не следует, это утомляет читателя. Вы нигде этого не найдете, например, у Диккенса. Вот кто умеет забрать читателя в руки, хотя и у него есть слабые стороны, как, например, слащавость в изображении добродетельных героев и героинь, их семейных отношений и т. д. <...>

Я прочла Ивану Сергеевичу «Птичницу». Он остался доволен, но посоветовал мне изменить одно место. Именно я заставила Думушку рассказать свое детство в то время, когда она сидит запертая в бане после попытки отравить мужа. «Это неверно, — заметил Иван Сергеевич, — трагическое положение, в котором находится Думушка, не допускает рассказа о мелочах обыденной жизни ребенка. Думушка может молчать или делать что ей угодно, только не так рассказывать».

— Отчего вы не напишете чего-нибудь уже не как рассказ от имени какого-нибудь лица, а просто описывая события, как они совершались, — сказал мне Иван Сергеевич, — вот эту пробу своих способностей вам следовало бы сделать. Именно: написать такую вещь, где вовсе не выступало бы «я». — Затем он вообще говорил об объективном отношении к вещам и привел Пушкина в пример, говоря, что это величайший мастер в этом отношении. — Или

еще Шекспир. Вы у Шекспира нигде не видите его самого — везде перед вами только жизнь, так верно переданная, что вам кажется, будто все само совершается на наших глазах.

1 марта. Вчера я получила письмо от Ивана Сергеевича с приглашением явиться к нему <...> Иван Сергеевич заговорил опять о «Птичнице» и «Березае» и посоветовал мне поскорее окончить «Птичницу», предлагая взять обе вещи с собою, когда поедет в Россию в начале апреля. Пусть тогда Стасюлевич выберет, которую захочет, прибавил он [4].

Я спросила, почему бы не напечатать «Березая», так как он уже готов.

«Дело вот в чем, — отвечал Иван Сергеевич, — «Любушка» произведет впечатление [5] — второго вашего произведения будут ожидать, многие нарочно будут подкапываться, а в «Березае», я уже вам говорил, построение не хорошо. Что касается «Птичницы», то она в архитектурном отношении хороша, — а вам нужно, чтобы под вашу вторую вещь нельзя было подкопаться».

Я сказала, что для меня эта «архитектура» — самая трудная вещь и что я не знаю ни одного приема для расположения статей.

«И я никаких особенных приемов не знаю, — отвечал Иван Сергеевич, — я думаю, что навык приобретается работой. Я скажу вам, как я пишу, то есть писал — теперь я уже давно не пишу ничего. Я делал так: выбрав сюжет рассказа, я брал действующих лиц и на отдельных листках писал их биографии. Затем излагал весь рассказ на двух-трех страницах коротко и просто, ну, как для детей пишут. После этого я уже начинал писать самый рассказ. Из биографий остается очень мало, иногда лица изменяются и по характеру, но такой способ очень помогает. Впрочем, сознаюсь, что постройка повестей, архитектурная сторона их, у меня самая слабая». Затем Иван Сергеевич перешел опять к прежнему, прерванному разговору о Пушкине и Шекспире. «У Пушкина, — сказал он, — нет ни одного стихотворения следующего рода, именно, где бы автор начал описывать что-нибудь из обыденной жизни или вообще что-нибудь совершающееся вокруг него, и потом сказал бы: «Так и во мне...» и т. д. А такие стихотворения встречаются даже у Гейне. Возьмите «Анчар» Пушкина, Он тут хотел изобразить тлетворное влияние тирании, между тем он окончил так:

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами —
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями.

Принес — и ослабел, и лег
Под сводом шалаша, на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

Не сказал он: «Так тирания гнетет и умерщвляет все вокруг себя» и т. и. Затем, когда вы пишете, пишите как можно проще. Мысль может быть какая угодно: чем новее, чем оригинальнее, тем лучше; выражение же ее никогда не должно быть вычурно. Посмотрите у Шекспира: в самых высоких и трагических местах он переходит в прозу. Вычурность, подчеркиванья и т. и. большею частью служат прикрытием пошлости и посредственности. Когда вы переписываете свои работы, вычеркивайте не только неясности, но и все то, что вам самой может показаться слишком красиво, что поражает вас самое. Вы, в сущности, сидите с головой во всем том, что описываете, вы не судья, и если вам что-либо особенно нравится, то это нравится вам, автору; читатель может отнестись совсем иначе, ему нет дела до того, что нравится вам лично. К несчастью, теперь очень много писателей, которые «словечка в простоте не скажут». Возьмем для примера г-на Евгения Маркова. Пишет он много, скучно, бесталанно; таланта у него нет ни малейшего, однако есть литературный навык и писать он может. Но зато что ни слово, то в нос шибнет. Знаете вы его роман «Черноземные силы» [6]. Маркову надоел отрицательный тон нашей литературы, и он принялся за задачу выставить тип положительный — помещика, который не отстает от народа, живет с ним, понимает *его*, — все подражание Льву Толстому, этому громадному таланту. Выводит он там и девушку, умную, пылкую, но предназначенную для обыкновенного, естественного женского удела — рождать и воспитывать детей. Герой и героиня влюбляются друг в друга, как водится, слушают весной соловьев... и чего-чего только не выделывают и соловьи, и герой с героиней. После всей этой поэзии вдруг фраза в таком роде: «Вся природа ликует, живет и любит, и выс-

шее произведение природы — человек — тоже... Весна подействовала на организм Веры...» и т. д. За подлинность фразы, конечно, не ручаюсь, но смысл тот — и как это грубо, как пошла та грубая нитка, на которую автор нанизывает свои картины...» Тут нас прервали <...>

18 марта, понедельник. Сегодня я застала Ивана Сергеевича не только здоровым, но и вполне бодрым.

— К сожалению, — сказал он мне, — я не могу ехать с вами к Антокольскому. Я продаю свои картины;[7] часть их в деревне — поэтому я через три четверти часа должен ехать в Буживаль. Я напишу Антокольскому записку, которую попрошу вас передать ему. — Затем он объяснил мне, как найти мастерскую Антокольского, и наконец заговорил по поводу «Птичницы». Я сказала ему о сделанных мною переделках. По этому случаю Иван Сергеевич повторил мне свое мнение относительно недостатков «Березая» и снова дал совет написать что-нибудь не в форме чьего-либо рассказа, то есть не от чьего-либо имени, а просто описательно.

— Писать от чьего-либо имени, — говорил он, — очень выгодно в известных случаях и невыгодно в других. Например, в вашем «Березае» старик Михайлыч, придя просить господ своих помочь в несчастии мужу Глафиры, застает их за чайным столом, — вечер, прекрасная тихая деревенская обстановка, но не старик должен ее описывать. Опиши это автор — и это было бы прекрасно, старик же слишком глубоко поражен своим горем, чтобы обращать внимание на обстановку. Между тем, если бы вы писали в третьем лице, то могли бы оставить старика дожидаться господского решения, а покуда набросали бы в нескольких чертах всю описанную им чрезвычайно верную картину.

Я возразила, что мне кажется возможным допустить описание, сделанное Михайлычем, так как случается же — да и со всяким почти из нас бывало, — что в весьма горькие или торжественные минуты мы вдруг начинаем рассматривать и замечать посторонние вещи до мельчайших подробностей.

— Да, это бывает, но у умов уже более культивированных, — заметил Иван Сергеевич. — Теперь еще одно: конечно, художник имеет право для цельности своего произведения иногда несколько перешагнуть за границы строгой реальности, но я думаю, что в этом случае вы немножко далеко шагнули. И вот еще что: мне кое-где в вашем рассказе чувствуется, как будто вы *хотите* красиво выра-

жаться и поэтому говорите каким-то легендарно-сказочным языком. Кроме того, не нужно ли было бы в иных, весьма драматических местах, отбросить некоторые народные усеченные формы — я вам укажу на них в следующий раз. Они производят вот какое впечатление: будто автор даже в самых потрясающих местах занимался мелочами, то есть думал, как бы ему сказать именно так, как говорит *мужик*, — другими словами, что автор писал потрясающие вещи и сам оставался в это время холоден. Это охлаждает и читателя. Я вовсе не хочу заставить крестьян говорить тем книжным языком, которым они говорят у некоторых писателей, вовсе не в этом и дело... но я лучше укажу вам те места в вашем рассказе, которые имею в виду. Заметьте, что у нас многие злоупотребляют народным языком — то есть употребляют народную речь и заставляют говорить крестьян о том, чего они в известный момент не могут ни думать, ни чувствовать.

После этого Иван Сергеевич опять посоветовал мне писать объективным повествовательным языком и меньше прибегать к народному. Я отговаривалась тем, что не сумею этого, что возможность писать хорошим русским языком отнята у меня бесконечными переводами, которые я делала, и чтением текущей литературы с ее слогом, годным не то для фельетонов, не то для передовых газетных статей... Я доказывала, что свежим, нетронутым, осталось у меня только воспоминание о народной речи и что мне необходимо сильно поработать, чтобы создать себе сколько-нибудь порядочный слог.

— Конечно, вам придется *поработать*, — отвечал Иван Сергеевич, — всем приходится.

Я сказала, что мне нужно многое перечитать...

— Возьмите *Пушкина*, — перебил меня Иван Сергеевич. — Его предисловие к «Египетским ночам» до слов: «Чертог сиял...» представляет лучший образец русской речи, который я когда-либо читал. Из Пушкина целиком выработался Лермонтов — та же сжатость, точность и простота. Но у Лермонтова кое-где проглядывает рисовка, он как будто красуется. Первые произведения Пушкина по слогу ниже последних — в них слог какой-то *рубленый*, — Пушкин как будто боялся написать не по-русски, как будто стеснялся чего-то. Что касается Лермонтова, то у него еще другой недостаток: в «Княжне Мери» есть точно отголосок французской манеры. Зато какая прелесть «Тамань»! Но и там он иногда красуется. Толстой писал пре-

лестные вещи, это, без сомнения, самый талантливый из наших современных беллетристов, но слог его крайне неправилен, полон галлицизмов, запутан и т. д. У Толстого прекрасное понимание красоты, образов, положений — грамматического же чутья никакого. Какое совершенство по содержанию его «Казаки», «Семейное счастие» мне по мысли не понравилось, я прочел его раз и почти позабыл. В «Войне и мире» есть прекрасные места. Совершенную противоположность с Толстым представляет Гончаров — правилен, широковещателен, сух и скучен... хотя я считаю его также выдающимся из ряду писателем. Гоголь... если есть у нас гениальный русский писатель, то это Гоголь... что же касается до его слога, то он никуда не годится. Гоголь почти не знал по-русски. Посмотрите вы, в какую он вдается невыносимую риторику хоть бы в отрывке «Рим», там, где говорит о глазах Аннунциаты. Вообще же слог его запутанный, отличающийся чисто малороссийской мешковатостью... Я запрятал бы Гоголя подальше от всякого начинающего писателя... я говорю по отношению к слогу... Из наших новейших писателей...» Но в эту минуту пришли сказать, что карета Ивана Сергеевича приехала, и разговор окончился или, скорее, оборвался на полуслове, и я отправилась к Антокольскому <...>

26 марта <...> На мою благодарность за доставленную мне возможность видеть «Христа» Антокольского Иван Сергеевич заметил: «Да, это гениальная вещь!» *

Хотели было разбирать «Березай», но времени не было. Я сообщила Ивану Сергеевичу о том, что получила по поводу «Любушки» письмо из России, где меня обвиняют в том, что я подделываюсь под Кохановскую.

— Под Кохановскую? — с удивлением воскликнул Иван Сергеевич. — Да ведь она забыта и похоронена... Вообще судьба Кохановской очень печальна, а была она человек с большим талантом. Я помню, как появился ее первый рассказ «Гайка», в «Пантеоне», кажется. Он поразил меня и произвел впечатление в литературных кружках [9]. Она отлично владеет русским языком, и у нее действительно проходит живая народная струйка. Но потом она исписалась, вспомните только ее «великую сидельницу», проводящую жизнь «вытянувшись в молитвенную струну»!

Суббота, 30 марта 1878 г. Сегодня Иван Сергеевич помогал мне просматривать «Березай». Многое было повторено из того, что говорено было раньше, именно о том, что следует избегать слащавости в речи, уж хоть бы для того,

чтобы не уподобиться Кохановской, — что не следует влагать в уста крестьян слишком тонкого анализа и т. д.

Говоря дальше о поправках в «Березае», я высказала горе по поводу того, что когда же наконец научишься владеть слогом, когда узнаешь меру, в какой пользоваться известной окраской, до каких пор будет продолжаться это, так сказать, шатание?

Иван Сергеевич засмеялся.

— До самыя смерти, Марковна! — полуторжественно произнес он и прибавил: — Я вспомнил житие протопопа Аввакума, вот книга! Груб и глуп был Аввакум, порол дичь, воображал себя великим богословом, будучи невеждой, а между тем писал таким языком, что каждому писателю непременно следует изучать его. Я часто перечитываю его книгу.

Иван Сергеевич встал, порылся в книжном шкафу и достал «Житие Аввакума». «Вот она, — сказал он, — живая речь московская... Так и теперешняя московская речь часто режет ухо, а между тем это речь чисто русская»... Он стал читать: *

«Та же с Нерчи реки паки назад возвратились к Русе; пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под робят, и под рухлядишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пешие, убивающися о лед. Страна варварская, иноземцы не мирные; отстать от людей не смеем и за лошадьми идти не поспеем; голодные и томные люди; протопопица бедная бредет, бредет, да и повалится, а иной томный же человек на нее набрел, тут же и повалился, оба кричат: «Матушка, государыня! прости!» А протопопица: «Что ты, батька, меня задавил!» Я пришел. На меня, бедная, пеняет, говоря: «Долго ли мука сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна! до самыя смерти». Она, вздохня, отвечала: «Добро, Петрович; ино еще побредем» **. — Дальше Иван Сергеевич еще прочел страницы 66 и 67 <...>

— Сравните с этим языком, — заговорил опять Иван Сергеевич, — книжный язык того же времени, ну хоть как пишет боярин Артамон С. Матвеев, ученый человек того времени: «А» — да — «да»... сухо, утомительно... У Аввакума не то, он живою речью писал. Когда-то напал на меня М. Погодин:

---

* Я впоследствии дословно выписала прочитанные Иваном Сергеевичем места. (*Примеч. А. Луканиной.*)

** 45 стр. «Жития». (*Примеч. А. Луканиной.*)

— Вы, новые писатели, по-русски не знаете... В каком смысле, например, употребляете вы слово «обыденный»?

— Вот что я ему отвечал: «Я употребляю его в том смысле, в котором оно значит: обыкновенный, тривьяльный, привычный... Одним словом, в том смысле, для которого у нас по-русски нет другого выражения, хотя знаю, что оно значит: «сделанный в один день». Да вообще, какое мне дело до того, что значило слово прежде, если оно, употребленное иначе, верно передает мою мысль. Если вас самого разобрать в этом отношении, то у вас встретится такая куча галлицизмов и тому подобного, что русского, пожалуй, ничего и не останется. Русский язык вообще грабитель: в нем и латинские и греческие обороты; да он и сам себя грабит, сам с собою не церемонится... Вспомните о наших глаголах, возьмите хоть глагол идти — нет у него будущего времени — взял предлог «по» и сочинил «пойду»...

Иван Сергеевич сделал мне затем несколько замечаний относительно слога. «У вас в народной речи часто встречается, например: «какиими» вместо «какими». Это совершенно верно, что русский человек любит ставить ударение на третьем слоге перед концом, но это режет ухо, когда слишком часто повторяется. Даже Карамзин подметил эту особенность русской народной речи, и это единственная черта народности, внесенная им в свой слог, — так, например: «Ударил колокол в Новег*о*роде».

После этого Иван Сергеевич заговорил о том, как вообще пишет художник и как должен писать ввиду цензуры. Вот какой совет он дал мне: «Пишите так, как вам хочется, не урезывайте себя сами, редактор уже выпустит то, что нецензурно. Художник не должен писать ввиду чего-нибудь, он передает жизненную правду; в том, во что она складывается, он не виноват; нечего обращать внимание и на то, что говорит критика... вот А. в февральском № «Слова» называет меня правительственным «башибузуком», говорит, что я со времени «Отцов и детей» добиваю не мною раненных» <...>[10]

Затем Иван Сергеевич заговорил о том, что видел на сцене «Les Misérables» * Виктора Гюго.

— Какая это ложь! — восклицал он. — Везде ложь,

* «Отверженные» (*фр.*).

от начала до конца все фальшиво, все высказываемые чувства от первого до последнего... Хоть бы эта сцена, где священник отдает Жан Вальжану подсвечники. А это, например: Жан Вальжан приходит, чтобы убить его, и не убивает потому, что на лице его видит слияние двух Светов: света луны и внутреннего духовного света! Нет, в нашей литературе вы этого не найдете. Наш вымысел беден, мы часто скучны, но мы не настолько отдаляемся от жизненной правды, как французы.

Я заметила, что это, вероятно, зависит прямо от французского характера, — так даже у Эмиля Золя, которого так хвалят за реальность, по-моему, часто проглядывает фальшь.

— Да, — сказал Иван Сергеевич, — но у Золя это от другой причины, он уже пересаливает в реальности, он пишет с предвзятою мыслью.

По поводу французской литературной фальши я вспомнила о невообразимой мелодраме, не помню чьей, «Une Cause célèbre», из-за которой в «Ambigu» теперь рыдает весь Париж.

— Ну, это еще не так плохо, — сказал Иван Сергеевич, — пусть они и приврут что-нибудь в аксессуарах, — пусть, например, скажут, что в комнате, где может поместиться десять человек, поместилось пятьдесят, — я это. прощу, если чувства этих пятидесяти будут верно переданы <...>

4 ноября 1878 г. <...> Мы опять говорили о моих делах; между прочим я сказала, что хочу взяться за переводы и выборки из сочинений Дюранти и что к этому побуждают меня отзывы Золя о нем.

— Но ведь Золя очень плохой критик, — сказал Иван Сергеевич. — Вся критика его сводится на то, что он «свой» товар расхваливает — он хвалит только тех, кто пишет так, как он считает нужным писать.

— А мне он как критик нравится больше, чем как романист.

— Не знаю, — уклончиво отвечал Иван Сергеевич. — А вот посмотрите еще и его пьесы и вспомните то, что он говорил о драме во Франции. Все это как будто только на словах — реализм этот у них. Из всех его пьес «Thérèse Raquin» одна только и стоит чего-нибудь. Посмотрите его «Bouton de Rose». Когда он писал его, то говорил, что пишет безделку для Пале-Рояля, а когда пьеса провалилась, то он надулся и везде повторял: «C'est peut-être ce que j'ai

fait de meilleur» *[11]. И в самом деле, разве у него есть то, что есть, например, у Островского и что французы начинают понимать, хотя мало, именно: развитие характеров на сцене. Нет, у них все идет живо, действия много, а говорит всякий не то, что ему по ходу и развитию дела следует говорить, но то, что автор вложит ему в уста. Я раз заметил это одному французу по поводу пьес и указал, что данное действующее лицо хотя и говорит умные и острые вещи, но что это вовсе не то, что ему следовало бы говорить, и что я считаю автора в этом случае неправым.

— *Вы* неправы, — отвечал француз, — автор прекрасно сделал; если вещь хорошо сказана, то чего же вам больше нужно? Вы уж слишком требовательны.

Мы опять вернулись к рассказам Дюранти. Я очень хвалила «Un Accident», говоря, что это вещь замечательная по простоте и правде, но что я, однако, боюсь, что она не понравится русской публике. У нас потребуются более сильные ощущения, а здесь впечатление производится не отдельными сильно действующими сценами, а всем рассказом в целости, да и то если в него вдумаешься.

— Вы слишком строго относитесь к нашей читающей публике, — отвечал Иван Сергеевич, — правда, она у нас и невежественна и тенденциозности требует, но у нее есть то, чего у французской публики нет: у нее есть чутье правды, и если только вещь правдива, то она впечатление произведет. Оттого у нас литература все-таки сила. Посмотрите в Германии: кто там думает о литературе? Кому до нее какое дело? И что пишут немцы? Каждый их роман не то трактат, не то поучение, пересыпанное нравственно-философскими максимами (des maximes). У нас другое.

Я передала Ивану Сергеевичу мнение Tessier-du-Motay, разделяемое, по его словам, многими французами, именно, что русский роман представляет смесь китайского с греческим...

— Да греки романов не писали! — воскликнул Иван Сергеевич.

— Ну, конечно, только этот господин, говоря таким образом, хотел выразить, что у нас, русских, есть греческая манера докапываться до начала всех начал... Ума, — говорил он, — и наблюдательности потрачено гибель, а читать скучно...

— Да, им наша беллетристика кажется скучной и се-

* Это, пожалуй, лучшее, что я создал (*фр.*).

рой... — Иван Сергеевич вдруг засмеялся. Что, он комплимент хотел сказать русским? <...>

25 ноября <...> Речь как-то зашла о славянофильстве.

— Я ненавижу славянофилов, — сказал Иван Сергеевич, — они всех губили, кто приходил с ними в соприкосновение, и Кохановскую и Гоголя... Я их ненавижу за то, что они, в сущности, вовсе не русские люди, а немцы больше самих немцев... во-первых, они систематики, а систематичность чужда русскому человеку...

— А вот они так вас западником ругают, говорят, что вы потому и в «неметчине» живете, что Россию не любите!..

— Что за вздор! Нет, вы слушайте: славянофилы создали себе идею о русском человеке и подгоняют всю русскую жизнь под эту идею... Для них русский человек и западный человек составляют две противоположности... А какая, в сущности, между нами разница? Мы ветви одного и того же родословного индоевропейского дерева. Одна ветвь выросла в одну сторону, другая в другую; а славянофилы считают, что нет, что мы два разных дерева и что если в данном случае европеец поступит так, то русский, только в силу того, что он русский, должен поступать наоборот. Кто говорит, — конечно, мы во многом отличаемся от западноевропейских народов... Возьмите хоть. то, что вы говорили об индивидуализме, — я согласен с вами: русский гораздо меньше индивидуалист, чем западный европеец. Сравните даже и грамматические формы: что может быть индивидуальнее французского глагола? И что может быть шире и более обще глагола русского? И нравственность у нас другая, у нас больше общественного чувства, развивавшегося на почве русской общины <...> Однажды Мериме сказал мне вещь, которую я никогда не забуду, — он сказал, что «русское искусство через правду дойдет до красоты»...

— Вот вы-то, пожалуй, больше славянофил, чем сами славянофилы, — смеясь, перебил X. — Во всяком случае, вы больше их сделаете для России и русских; с вашими взглядами можно мириться, да вы и больше их любите Россию и сумеете так подойти к Западу, что и он Россию полюбит.

Иван Сергеевич продолжал говорить:

— На выставке русский художественный отдел бледен, но везде видно стремление к правде... так и в литературе.

Заговорили о русских живописцах. X рассказывал, что он знаком с кружком молодежи из художников, которые у нас в Петербурге решили избавиться от академической рутины и искать новых путей для искусства. Один из его знакомых молодых художников рассказывал ему, что ему в академии задали следующую тему: изобразить на картине тот момент, когда Авраам прогоняет Агарь, причем Агарь должна стоять вдалеке, а Измаил должен отвернуться, потому что ребенку неприлично смотреть на то, как ссорятся старшие. От всего этого картина вышла неестественна и ни на что не похожа.

— Так, так, — говорил Иван Сергеевич, — молодежь эта права в том, что ищет лучшего... но не права она в том, что считает Рафаэля, Доминикино и так далее дребеденью. Это опять что-то странное: ей бы учиться во многом нужно у Запада...

— Они будут, будут, — утешал X. — И на отделку картин будут обращать внимание; уж и теперь у нас есть талантливые люди... Крамской, Шишкин...

— Да, но Шишкин талант второстепенный... лес он знает хорошо, ель, сосну, но и тут ему еще многое нужно <...>

1879 ГОД

4 января <...> Я застала Ивана Сергеевича в ту минуту, когда он готов был ехать на похороны Марка Гинцбурга <...>

В это время доложили, что пришел некто Y. — Г-н Y оказался небольшим, худеньким человеком, говорившим с улыбкою и жидким тенорком <...> Скоро Y ушел <...>

Я заметила, что Y, должно быть, душевнобольной, меланхолик...

— Да, — отвечал Иван Сергеевич, — но если бы при этом он был талантливый и умный человек — он был бы интересен; теперь же он противен.

Я напомнила, что Гейне был тоже страшно подозрителен.

— Там было другое: я думаю, что Гейне просто шутил, — отвечал Иван Сергеевич. — Я видел Гейне всего раз, встретил его в Пале-Рояле; он был уже полуразрушен болезнью. Гейне был зол и остер. Во всяком обществе, где он бывал, он завладевал всем разговором. Перед ним пасовали все остряки-французы, несмотря на то что

он не вполне владел французским языком. Стоило заговорить с ним, чтобы он тотчас обидел вас зло и едко. Il turlupinait tout le monde *. Переострить французов ему удавалось потому, что острота его имела более глубокую поэтическую подкладку, чем их поверхностная болтовня. Он был настоящий поэт.

Затем Иван Сергеевич стал говорить о полученном им рукописном романе г-жи С. «Варенька Ульмина».

— Роман этот прекрасная вещь, — сказал он, — это вещь страстно написанная; когда ее читаешь, то оторваться не можешь. Удивительно, как могла это написать девушка, находящаяся в той обстановке, в которой живет госпожа С. Я был у них, провел короткое время в их деревне. У них мать, добрая старушка, брат, идеалист, человек сороковых годов. Я видел десятки подобных людей в кружке Грановского и Станкевича, особенно в кружке Станкевича. Этот брат заставил меня помолодеть на сорок лет, когда я его увидел. Это идеалист, относящийся, однако, слегка насмешливо даже к самому себе. Самой госпоже С. двадцать шесть лет. По внешнему виду она ничем не поражает <...> Вот *что* поразило меня в их семье — это сестра госпожи С. Если бы мне пришлось описывать женщину-преступницу, убийцу, я непременно придал бы ей такую наружность: низкий лоб, огромные глаза почти на вершок расстояния друг от друга, какие-то ужасно красивые губы и маленький прямой нос с широко открытыми ноздрями... Притом она не говорила ни слова, «здравствуйте, прощайте» — больше ничего. Мать относилась к ней с любовью, и в то же время в этом отношении слышалось: «Иди, иди, ты ведь не наша, ты отрезанный ломоть...» Покуда она сидела молча, насупившись в своем углу, мне так и казалось, что ей думается: «А ну-ка, возьму я да и уйду из этого добродетельного дома к цыганам!..»

Я заметила Ивану Сергеевичу, что я тоже думаю, что вряд ли «Варенька Ульмина» будет встречена с симпатией — теперь интересы общества устремлены к вопросам общественным, а их автор вовсе не касается...

— А хоть бы и так! — крикнул Иван Сергеевич. — Если автор поэт, глубоко прочувствовал свой предмет, страстно описал его, то он имеет право на существование, хотя бы он был всего один на свете со своим направлением и стремлением. Красота имеет право на существование, она в конце

* Он всех высмеивал (*фр.*).

концов вся цель человеческой жизни. Правда, любовь, счастье — все соединяется в красоте. Древние греки были переполнены чувством красоты. Я читал перевод Платона Джоуетта (перевод Шлейермахера плох), у меня болела душа от того, насколько мы пали сравнительно с греками. Описание смерти Сократа, описание некоторых поступков Алкивиада и суда над ним — да это верх совершенства! А простота какая! Вы читаете словно короткий протокол и в то же время чувствуете, что этот Сократ, этот полулежащий, полусидящий человек — бог! А почему — черт его знает... этого не объяснишь.

Иван Сергеевич задумался, потом на лицо его набежала какая-то горькая грусть. «У нас был Пушкин, — сказал он, — у него иногда являлся этот отблеск божественного света красоты, а больше-то никого и нет».

После этого он вдруг снова заговорил о романе г-жи С.

— Да, я думаю, что госпожа С. в своей родне видела кое-что похожее на то, что описала. Знаете, нет ни одной русской дворянской семьи, где не было убийства или вообще какого-нибудь преступления. Не мудрено, если госпожа С. многое знала и видела между своей многочисленной родней.

После этого мы опять заговорили о поэзии; я указывала Ивану Сергеевичу на стихотворение Полонского:

Что она мне? Не жена, не любовница
И не родная мне дочь...
Отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь... [12]

— Да, это хорошее стихотворение, — отвечал Иван Сергеевич. — Поэт тот, который открывает горизонты. Он вызывает в читателе известное чувство, очерчивая главные контуры картины, и читатель строго-логически дополняет ее.

Я указала как на противоположность на стихотворение Я—ва в ноябрьской книжке «Отечественных записок».

— Да это не поэт, это аналист, — отвечал Иван Сергеевич, — вы правы, считая его прозаиком; он ничего не потерял бы, а, напротив, только бы выиграл, если бы переделал свои стихи в прозу. Читатель не идет, не может тут идти дальше автора, он довольствуется тем, что ему описали так подробно, и не точно, не характерно. Смотрите это описание утопленника: и слеза сочится, и глаза выпучены, и пух нежный на губах. Если уже лицо

утопленника одутловато и глаза выпучены, то тот, кто видит его, не заметит ни слезы, ни пуха... Да, не умеют теперь пользоваться эпитетом, а ведь это великое дело уметь пользоваться им так, как это делал Пушкин:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной...

Помните это начало «Анчара». Тут в двух стихах все описание пустыни исчерпано, больше нечего и говорить о ней: она перед вами во всей своей страшной правде.

<...> Иван Сергеевич заговорил о русских, живущих в Париже на левом берегу Сены.

— Никогда не было такого количества чающих движения воды (нуждающихся) и никогда не было так мало воды. Прежде я мог помогать — теперь и у меня средств мало. Кроме того, за последние два года мое значение начинает теряться: вот Д. [13] не ответил на письмо, которое я написал ему, Орлов начинает плохо относиться... Все эти господа пришли к тому убеждению, что я неисправный человек и что никогда от меня добра не выйдет, — и отвернулись. Но я все-таки не перестану поступать, как поступал, и буду хлопотать и надоедать всем и каждому с моими русскими. А плохо, плохо... Я прежде принимал всех, теперь я уже прошу, чтобы ко мне обращались письменно... Все-таки легче ответить письменно, что не могу ничего сделать, чем лично, в глаза отказать человеку <...>

29 апреля 1879 г. Много воды утекло с тех пор, как я не видала Ивана Сергеевича. Вскоре после моего последнего посещения я узнала, что брат его умер [14] и что Иван Сергеевич едет в Россию. Я не видела его перед отъездом. Потом начались газетные толки о том, как его в России принимают, как молодежь толпами ходит к нему. Затем Иван Сергеевич вернулся <...>

Я застала его уже одетым для выезда. Он показался мне здоровее и бодрее, нежели когда-либо <...>

<...> Речь перешла к самому Ивану Сергеевичу и поездке его в Россию.

Иван Сергеевич говорил про Москву.

— Когда я пришел на обед, я не только не думал говорить речи, но не ожидал ничего... вдруг такая единодушная, шумная демонстрация... Тут не было не только времени радоваться, но я сначала даже не понял, в чем дело...

— Мы радовались з д е с ь . . . — вставила я.

— Потом везде... в Петербурге то же. Студенты хотели толпой провожать меня, но я не согласился. В Петербурге я принимал приходивших частным образом. Они шли, шли без конца студенты, студентки... Раз пришло их, этих молодых барышень, слушательниц курсов, человек десять. В это же время была у меня госпожа Я. с приятельницами, и я стал сравнивать женскую молодежь шестидесятых годов с молодежью теперешней. Теперешние женщины далеко выше. Они такие простые, свежие... Знают, чего хотят... Нигилистки шестидесятых годов — словно надломленные... сухость какая-то, недостаток жизни, отчужденность от нее...

Помолчав немного, Иван Сергеевич прибавил: «Я теперь чувствую тягость житья за границей — нельзя отрываться от родины и быть там только наездом, нельзя стоять одной ногой там, а другою здесь. Придется вернуться туда и жить там, конечно, не в Петербурге и не в Москве, а в деревне или во внутренних городах... но тяжело отрываться и от того, с чем сжился здесь...»

Иван Сергеевич проговорил эти последние слова тихо, глубоко наклоняя голову над столом, за которым сидел.

3 мая 1879 г. Сегодня я пошла к Ивану Сергеевичу по его зову. Я застала у него Павловского, с которым Иван Сергеевич и познакомил меня, прося меня взяться за перевод на французский язык статьи его «В одиночном заключении». Я взялась <...>

Тут пришел Антокольский. Иван Сергеевич сейчас принес ему показать лепной бюст, говоря, что он относится к шестнадцатому столетию. Бюст представлял молодую девушку; нос был немного отбит и реставрирован. Это было то, что называют: «terra cotta». Иван Сергеевич объяснил, что работа принадлежит художнику той школы, которая старалась приблизиться к правде, не выдумывая фигур, а прямо снимая портреты. «И в о т , — добавил о н , — эта барышня жила... давно нет ее, давно нет сотен людей, живших после нее, а мы ее видим... видим, что в шестнадцатом столетии была именно вот такая барышня, немного мечтательная... она ведь и не совсем добрая, посмотрите на нее: она себе на уме. А как все это деликатно сделано, взгляните на эти немного припухшие веки... Я купил ее у брокантера за семьдесят франков — рискнул; там были все дрянные вещи, только этот бюст и поразил меня, но я думал, что ошибаюсь. Мне, однако,

знаток X сказал: «Какой дурак продал ее вам так дешево!»

Антокольский подтвердил, что вещь хорошая; он осмотрел бюст и решил, что это, однако, слепок, а не оригинал, и вошел по этому поводу в технические подробности <...>

27 мая 1879 г. За это время я несколько раз бывала у Ивана Сергеевича по своим личным делам. Дело перевода статьи г. П—го казалось сложнее, нежели я думала. Дня три тому назад я сочла нужным пойти к Ивану Сергеевичу, чтобы попросить его взять на себя ответственность за некоторые необходимые, по моему мнению, стилистические поправки; он обещал мне это. Я высказала Ивану Сергеевичу, что слышала от вполне заслуживающих доверия людей, что П—кий в высшей степени самолюбив и что я поэтому боюсь, чтобы не вышло у нас с ним каких-нибудь неприятностей. Иван Сергеевич успокоил меня, говоря, что устроит все к лучшему.

— Что же касается самолюбия начинающих авторов, — прибавил он, — то с ним ничто не в состоянии сравняться. Когда вы хвалите молодого автора, то, как бы ни были преувеличены ваши похвалы, он все принимает за должное. Если же вы начнете порицать его, то он всегда припишет это вашему невежеству или неспособности его понять. Даже если начинающий автор и не высказывает ничего подобного своему критику, тем не менее он это думает. Пресмешные бывают случаи вследствие этого. Я помню случай с Белинским, — это было во времена «Московского телеграфа». Является к Белинскому молодой человек и приносит рукопись, прося прочитать ее и поместить ее в журнал, если она годится. Статья оказалась недурна, и Белинский согласился на то, чтобы она была напечатана. Тогда молодой автор поставил условием, чтобы она была непременно помещена в конце или начале книги и чтобы каждая страница была обнесена каймой [15]. Белинский отказался от помещения ее на таких условиях. После мы все вместе сочинили по этому поводу шуточные стихи, описывавшие похождения молодого автора, — припев был такой:

Обнесу тебя каймою,
Помещу тебя в конец.

Затем Иван Сергеевич сказал мне, что литературное утро назначено на двадцать седьмое мая, то есть на сегодняшний день, и обещал дать несколько приглашений,

которые я и получила. К трем часам я была в rue Douai вместе с двумя знакомыми. В прихожей нас встретили Поль Виардо и Иван Сергеевич и, отобрав у нас билеты, указали нам места. Иван Сергеевич был весел, свеж, полон жизни. Оделся он, благодаря торжественному случаю, в черный фрак, в котором был так же хорош и непринужден, как в своей душегрейке с лиловыми шелковыми рукавами. Мы попали в маленькую столовую рядом с залой и сидели прямо против двери, ведшей на эстраду, где помещались исполнители. Прежде всего гг. Димер и Виардо исполнили сонату Рубинштейна, затем читал Иван Сергеевич. Затем пели Марианна Виардо, сама m-me Виардо и опять играли Димер и Поль Виардо. Иван Сергеевич еще читал два раза. Но читал он, по-моему, на этот раз несколько хуже, чем в прошлом году, и не так громко, точно ему было трудно; иногда он как будто несколько торопился, иногда понижал голос до того, что мы, в пятом ряду, его уже не слышали. Чтение свое он начал без всякого предисловия так: «О том, как мужик двух генералов прокормил», сказка для детей и преимущественно для взрослых. Если я и сказала, что Иван Сергеевич хуже читал, чем в прошлом году, то тем не менее он читал очень хорошо — никогда я не наслаждалась больше Щедриным, как при этом чтении [16]. Но публика, очень многочисленная на этот раз, отнеслась к прочитанному довольно холодно. Да оно и понятно — это была богатая публика. Что касается нас, задних и боковых, то мы и смеялись и восхищались — вообще у нас это чтение имело большой успех. Чтению «Цыган» Иван Сергеевич предпослал несколько слов. «Милостивые государи, — обратился он к публике, — я, конечно, не позволю себе высказать сомнения в том, чтобы каждый из вас не читал и не знал «Цыган» Пушкина. Но многие читали их давно и мало кто перечитывал их в то время, когда понимание его сложилось в полной силе. А между тем «Цыгане», может быть, лучшая из поэм Пушкина, нашего великого гения, так давно умолкшего и, увы, не нашедшего себе ни одного вполне достойного преемника».

Потом Иван Сергеевич начал читать. «Цыган» он читал превосходно. Он делал пропуски, потому что вся поэма слишком длинна, чтобы быть прочитанной в один раз на литературном чтении. Лучше всего Иван Сергеевич прочел то место, где старик цыган говорит Алеко, чтобы он оставил табор.

Кончив, Иван Сергеевич почти выбежал в столовую и, обращаясь к сидевшему тут же г. Ар—ву, сказал, хлопнув рукою по книге и бросая ее на стол: «Чудесная вещь! И сказать, что она пятьдесят пять лет тому назад написана... не написана — из стали выкована!»

Иван Сергеевич остался в столовой и сел невдалеке от меня. Когда пела Марианна Виардо, он утирал слезы. Когда m-me Виардо спела «И сладко и больно» Чайковского, Иван Сергеевич совершенно воодушевился. «Замечательная старуха какая!» — обратился он опять к Ар—ву. И действительно, когда m-me Виардо поет, она сама жизнь, сама страсть, само искусство. Она не чужое передает, она сама как будто свое переживает... Я понимаю, что ее слушали страстно, так же страстно, как сама она жила на сцене. Когда дело дошло до последнего чтения Ивана Сергеевича, то он вышел на эстраду и обратился к публике со словами: «Господа, мы только что находились под такими глубокими поэтическими впечатлениями, что мне не хотелось бы читать вам моих прозаических записок... Я прочту вам пушкинского «Гусара»...

«Нет, нет, — закричала почти вся зала. — «Записки охотника»! «Записки охотника»! <...>

4 августа 1879 г. <...> Сегодня я пошла к нему, чтобы прочесть ему вновь написанную мною вещь. Из пригласительной записки Ивана Сергеевича я поняла, что мне нужно ехать в Буживаль. Я была нездорова, и мне вовсе не нравилось, что надо отправляться так далеко. Однако в конце концов я осталась довольна тем, что видела «Les Frênes» — они стоят того. Это большая дача, дом стоит на горе вправо; еще выше и правее находится chalet, в котором живет Иван Сергеевич. Гора вся зеленая, на заднем плане и по бокам деревья, посредине луг, на котором разбросаны цветники, наполненные тысячами бегоний и фуксий всех родов и сортов. Меня несколько удивило, что я вижу только бегонии и фуксии да еще красные крапивки. Я пошла по правой дорожке, — она повела меня вдоль оранжерей, на гору, в густую крутую аллею, где становилось все темнее; вправо журчал ручей, и к дому я вышла из-под раскидистой плакучей ивы. Меня провели в chalet Ивана Сергеевича <...> В течение разговора я высказала, что мне очень нравятся «Les Frênes».

— Хорошо-то тут хорошо, — отвечал Иван Сергеевич, — но есть и неудобства. Вид хорош с горы на Сену,

но ничего не растет, кроме некоторых пород деревьев. Нет ни фруктов, ни цветов. Что касается фруктов, то французские мне вообще не нравятся, русские лучше. Мне говорят, что мне это кажется, потому что я в России жил, когда был молод, а теперь я стар, но это неправда. А из цветов тут есть только бегонии и фуксии, да и с теми возня — на зиму их ставят в оранжерею — хлопотно и дорого. Земля тут представляет тотчас под черноземом слой синей глины — почва сырая и холодная.

— Я не сожалею об отсутствии цветов, — продолжал Иван Сергеевич, — я их терпеть не могу. Моя матушка была страстная любительница цветов — я нигде не видел таких тюльпанов, как у нее. Но все это цветоводство сопровождалось самой ужасной жестокостью к садовникам. Их секли за все и про все. Конюшня была близка — я все слышал. Как-то раз кто-то вырвал дорогой тюльпан. После этого всех садовников пересекли. Еще связано у меня с цветами воспоминание. Один из крепостных мальчиков выказал способности к рисованию. Его отдали в Москву учиться живописи. Он стал настолько хорошим художником, что ему поручили написать потолок в Большом московском театре. Потом матушка выписала его назад в деревню и поручила ему писать с натуры цветы. Он их писал тысячами — и садовые и лесные... писал с ненавистью, со слезами... они опротивели и мне. Бедняга рвался, зубами скрежетал — спился и умер.

Далее Иван Сергеевич рассказывал еще о крепостных, которых его мать отдавала в ученье, и, между прочим, об одном, которого поместили в пансион, где он отлично выучился по-французски. Потом он чем-то не угодил своей госпоже, и его отдали в солдаты. Он дослужился до офицерского чина и после этого приехал в деревню повидаться с своими родными. Ни офицерского чина, ни приезда матушка Ивана Сергеевича не могла простить ему и не позволила ему даже войти в избу его родного брата <...>

21 декабря 1879 г. <...> В течение разговора речь зашла о сыне Ч. «Я сейчас до того кричал, что охрип, — сказал Иван Сергеевич. — Был у меня сын Ч. и читал мне свои вялые стихи и потом вдруг заговорил о том, что все дурно, что только будущее будет хорошо, что тогда будет «красота», а теперь ее нет, и что все люди «звери». Я ему сказал: «Если бы я был зверь, я бы теперь бросился на вас и укусил бы вас, а я вот вас слушаю!» Не понимаю

я этих людей, которые ничего хорошего в прошлом не признают. Разве для них не существует ни Гомер, ни Шекспир? Эти люди, когда бы им показали самую красивую в мире женщину, непременно сказали бы: «О, тогда, в будущем, красота будет совсем другая, лучше чем теперь!» — как будто будущее не сложится из элементов прошедшего. Он напомнил мне Хомякова: тот тоже все ругал в литературе, а сам взял да и написал трагедию, которая не что иное, как сколок с Шиллера. Так и этот юноша: все плохо в прошлом и все теперь плохо у других, а сам пишет — значит, считает свои стихи хорошими... Есть такие люди, которые действительно сознают, что теперь все плохо, но зато они и себя считают неспособными произвести что-нибудь хорошее, и поэтому ничего не производят... но таких людей немного...» <...> [17]

1880 ГОД

30 ноября 1880 года <...> В последнее свое посещение я оставила Ивану Сергеевичу для прочтения первую часть своей статьи «Год в Америке» <...> Вчера я отправилась к нему с тем, чтобы передать ему вторую часть <...>

<...> Иван Сергеевич посоветовал мне поскорее переписать первую часть и послать ее в «Вестник Европы», обещая, с своей стороны, замолвить за нее слово, говоря, что она написана просто, объективно и небезынтересно.

— Я надеюсь, что «Вестнику Европы» я нужен, — заметил он, — и, следовательно, *там* исполнят мою просьбу поместить вашу статью. Я так долго задержал ее, потому что был очень занят. Я очень долго не работал, а теперь написал небольшую вещь. Стоила она мне неимоверных трудов — одна переписка ее отозвалась на мне такими головными болями, такою усталостью, каких я никогда не испытывал. И, наверно, вещь будет плохая... то есть, может быть, и не совсем плохая, но, во всяком случае, слабая. Я послал ее Анненкову, которому даю на прочтение все свои вещи до напечатания... посмотрю, что он мне о ней скажет. Это этюд, короткая вещь, где я описываю два типа старых помещиков. Был у меня старик дядя: родился он при Елизавете, а сам был человек екатерининских времен и глупый. Жена его родилась тоже

чуть не при Елизавете. Этот мой дядя был человек хотя глупый, но очень своеобразны, вот почему мне в вздумалось описать эту чету[18].

1881 ГОД

8 января 1881 г. <...> Вчера я снова отправилась в rue de Douai и застала Ивана Сергеевича уже на ногах; в комнате, однако, стояла пара костылей, и я поняла, что дело опять идет о подагре. Иван Сергеевич поразил меня своею худобою и бледностью: куда девался здоровый и бодрый вид его, которому я порадовалась в нем осенью. Я спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал, что лучше, но все еще слаб.

— У меня был припадок подагры в сердце, — сказал он, — потом она перешла в колено и к этому прибавилось lumbago в форме судорог, а потом ischiatique. Такой боли я еще никогда не испытывал. Мне казалось, что в мое колено вцепилась зубами большая собака и рвет и грызет его. Теперь мне лучше благодаря впрыскиваниям морфия. Я бы и теперь не встал, да мне необходимо выйти сегодня из-за картины Куинджи. Дело в том, что картина эта очень хороша — это вид Днепра при лунном свете, — газеты наши прокричали про нее, что до нее вовсе и живописи не было... Это, положим, вздор, но картина все-таки хороша. Ее приобрел великий князь Константин Константинович и захотел поместить ее на своем фрегате, чтобы иметь ее с собою во время кругосветного плавания. Мне хотелось, чтобы она была выставлена здесь в «Salon», она, наверно, получила бы медаль... Я просил об этом великого князя и о том, чтобы выставить ее у З. Я напечатал также о ней в газетах, но, к сожалению, из этого ничего не вышло: ее ходили смотреть только русские, да и то мало. Теперь я получаю телеграмму из Шербурга сейчас же выслать туда картину, а так как *я* отдал ее З., то один только я и могу получить ее обратно <...>[19]

Перед уходом я сказала Ивану Сергеевичу, что хочу написать в редакцию «Вестника Европы», что хорошо было бы, если бы она выслала мне денег, так как они мне в настоящую минуту нужны.

— Вот что мы сделаем, — сказал Иван Сергеевич, — это будет скорее и проще: я вам дам от себя, а редакция вышлет мне... вот сто рублей, разменяйте их, возьмите

себе сто или сто пятьдесят франков, а остальные принесите мне — часть этих денег пойдет на памятник Флоберу. Какая теперь на меня руготня идет за мое предложение сбора на этот памятник! Газеты, анонимные письма, вырезки из газет сыплются на меня. В одной газете был напечатан целый вымышленный разговор по этому поводу. Один добрый человек вырезал его и прислал мне с собственною прибавкою карандашом. Разговор кончается словами: «Что же теперь делать с господином Тургеневым за это предложение сбора на памятник Флоберу?» — «Бить надо!» — прибавил карандашом приславший вырезку. Какая-то дама из Одессы, называя себя моею бывшей почитательницей, пишет мне, что я поступаю нечестно, что я обязан объяснить свой поступок... Меня упрекают, что я забыл Россию, что у нас своим родным авторам нет памятников... И все это из-за нескольких несчастных грошей, которые всякий волен дать или не дать... О Русь! сколько в ней грубости, как только поскребешь верхушку. Ну, где бы это было возможно, кроме России? Предположим, что какой-нибудь писатель здесь, во Франции, имел бы друга автора в России и этот друг умер бы, а француз заявил бы предложение пожертвования ему. на памятник. Я вполне уверен, что ни один француз ничего бы не дал, но зато никому не пришло бы в голову ругаться из-за этого или обвинять предложившего в нечестности. Меня и в западничестве обвиняют... хороши эти славянофилы, обвиняющие меня в западничестве. Вот они, например, г. X. с его постыдным процессом с крестьянами. А ведь он славянофил, народник, у него бывают собрания молитвенные с воздеванием рук, как у пашковцев. И они, эти люди, кричат о том, что народ скажет последнее слово всяческой мудрости <...>

2 ноября 1881 г. В течение года Иван Сергеевич ездил в Россию, и я по обыкновению на летние месяцы уезжала из Парижа. Сегодня, после долгого перерыва, я опять увиделась с ним. Он произвел на меня странное впечатление. В разговоре он бранил Запад, сравнивал Л. Толстого с Виктором Гюго, говорил, что Толстой гениален, а Гюго только напыщенный ритор, что за Толстым будущее, что его гениальная простота делает его первым в мире художником... Положим, он подобное говорил и раньше, но несколько иначе, в другом тоне, с другой окраской. Показался он мне также сильно постаревшим, он точно опустился, согнулся.

1882 ГОД

8 июня 1882 г. За эту зиму я несколько раз была у Ивана Сергеевича. Меня опять приглашали читать на литературном вечере общества художников, но по различным причинам, о которых здесь не место говорить, я отказалась. Иван Сергеевич был, по-видимому, недоволен этим отказом и немножко посердился на меня. Он давно уже болен; теперь ему, однако, лучше. У него angina pectoris, он лежит все время в постели, и настроение его невеселое и какое-то озлобленное, одним словом, вовсе не похожее на то, что привыкли видеть в нем встречавшиеся с ним люди. Но за нынешнюю зиму ему и пришлось вытерпеть немало. Помимо семейных горестей, глубоко расстроивавших его, ему пришлось еще сделаться мишенью гнуснейших сплетен. Часть из них он передавал мне, и приходилось только удивляться грязной изобретательности лиц, пускавших их в ход. Все это так глубоко действовало на Ивана Сергеевича, что он, никогда никому не отказывавший в своей помощи, стал даже отстраняться от всяких подобных дел <...>

23 декабря 1882 г. Застала я сегодня Ивана Сергеевича опять больным. Опять та же боль в плече, мешающая ему ходить. В продолжение всего времени, пока я у него была, он ни разу не улыбнулся. Первое, что он мне сказал, относилось к повести Н. И. П.—го «Савка»:

— У автора бесспорно есть талант, наблюдательность и юмор, но есть много недостатков: он ставит второстепенные лица наряду с главными и теряется в подробностях. Я боюсь, что М. М. Стасюлевич не поместит его рассказа, между тем как Юрьев, издатель «Русской мысли», который сам художник и литератор, поймет, что «Савка» — рассказ, стоящий того, чтобы на него обратить внимание [20]. Конечно, не нужно будет претендовать на него, если он что-нибудь выкинет или изменит, — господа редакторы считают за собою это право изменения и урезывания... Они даже и меня и Толстого изменяют <...>

Я удивилась.

— Вот и подите. Послал я М. М. Стасюлевичу рассказ «После смерти» — дело идет о молодом человеке, который влюбился в женщину после того, как она умерла, — это психологический этюд. Ну, Михаил Матвеевич нашел это

заглавие слишком lugubre * и изменил — назвал рассказ именем этой женщины (Клара Милич), а оно и не идет вовсе, потому что она тут лицо вполне второстепенное [21]. А Толстой — личность бесспорно крупная — перестал писать, потому что его не хотели печатать без изменений, И вот еще что: публика в этом случае за редакторов. Издатель-редактор хочет, чтобы его журнал придерживался известного направления. Он, в сущности, прав — он знает, чего требует читающая его публика. А теперь нашей публике ни авторитеты, ни художества не нужны: она требует, ищет известной тенденциозности.

Я вставила, что ее за это осуждать нельзя.

— Прекрасно, но художественности, искусству тут места уже и нет, и редактор режет, изменяет все, что хочет и как хочет... Мы у них вполне в руках и связаны по рукам и по ногам <...>

Я стала его просить добыть для автора «Савки» какой-нибудь работы, так как знаю, что она ему нужна,

— Если бы вы мне сказали, чтобы я достал птичьего молока, то это было бы легче сделать, чем достать работы теперь. Видите это кресло, на котором я с и ж у , — оно просижено людьми, приходящими сюда просить работы, которой нет <...>

1883 ГОД

11 июля 1883 г. <...> Я месяца два уже не видела Ивана Сергеевича, когда поехала к нему в начале марта (а может быть, и в конце февраля); я пробыла у него очень недолго, переговорила с ним о деле, которое привело меня к нему, и затем ушла. Он сидел в кресле, сильно похудевший, говорил тихо и слабо и жаловался опять на боли в плече и на то, что ходить и стоять не может. В течение зимы он еще перенес операцию, ему вырезали небольшую «неврому». Накануне операции я была у него; это было, если не ошибаюсь, в конце прошлого декабря [22]. В тот день он был сравнительно бодр и весел и о предстоящей операции говорил так спокойно, точно дело шло о чем-то обыденном и совершенно не важном. Я приходила к нему тогда по поводу одной работы, которую он хотел мне п о р у ч и т ь , — дело шло о переводе романа «Une vie» Ги де Мопассана о подлинной рукописи до появления ее во французской не-

* мрачным (*фр.*).

чати, но из этого ничего не вышло. А между тем Иван Сергеевич дал уже Мопассану от себя вперед тысячу франков. Работа эта была сначала отдана другому переводчику, но он сделал ее так плохо, что она оказалась никуда негодною; [23] при этом он слишком долго продержал рукопись у себя, и время ушло. Я должна была переводить продолжение, а Иван Сергеевич брался исправить начало, но, как я сказала, оно было слишком плохо и потребовало бы долгого труда, а времени до появления книги Мопассана оставалось мало, так это дело и было оставлено. В течение марта и апреля я два раза была в rue de Douai, но Ивана Сергеевича не видела; ему было очень плохо, как мне говорили, и он успокаивался только благодаря впрыскиваниям морфия. Когда я в последний раз заходила в rue de Douai, на дворе стояла карета, и мне объяснили, что Ивана Сергеевича перевозят в Буживаль, что с ним два доктора и что хотя ему настолько лучше, что он ехать может, но что в общем состояние его все-таки очень плохое. В конце мая Н. И. П. решился поехать к Ивану Сергеевичу в Буживаль. Он был принят, но застал Ивана Сергеевича в таком положении, что, как говорил мне, вернувшись, ни о чем другом не мог думать и мучился мыслью, что решился беспокоить умирающего. Иван же Сергеевич по всегдашней доброте своей велел ему привезти его повесть «Савку», чтобы еще раз перечитать ее и затем дать ему рекомендацию либо к г. Стасюлевичу, либо к г. Юрьеву. Но так как сам написать письмо Иван Сергеевич был не в силах и находил неудобным, чтобы похвалы «Савке» были написаны рукою самого автора, то послал П. за мною с тем, что письмо это продиктует мне. Я поехала в Буживаль, не ожидая испытать того, что почувствовала при виде Ивана Сергеевича. Это был уже не тот мощный, полный жизни и силы большой, чисто русский человек. Это был худой, слабый, изнуренный, словно восьмидесятилетний старик. На руки его было страшно смотреть, нос был длинный, глаза впали. Круглое лицо тоже удлинилось, волосы поредели, пожелтели и сбились, голос еле можно было расслышать... Я едва могла выдержать при нем и так горько разрыдалась в другой комнате, что m-lle Arnold *, ходившая за ним, насилу могла унять меня. Потом я вернулась к Ивану Сергеевичу, и он поручил

* Бывшая воспитательница детей Виардо. (*Примеч. А. Луканиной.*)

мне самой составить письмо к М. М. Стасюлевичу, говоря: «Я настаиваю на том, чтобы повесть была послана Стасюлевичу, а не Юрьеву». Но почему, этого он не объяснил <...>

Уходя, я сказала Ивану Сергеевичу, что если ему вообще нужно будет что-нибудь русское писать, то я к его услугам и буду счастлива явиться по первому зову.

Через день я получила записку, что нужна. На этот раз я застала Ивана Сергеевича в постели, в *спальне*, — в последний мой приезд он лежал на диване в гостиной. Он продиктовал мне письма к гг. Анненкову, Полонскому, Щепкину. Диктовал он медленно, очень слабым голосом, но с совершенно отчетливою мыслью. Ни одного слова не пришлось ему изменять в письмах по прочтению их.

Я имела бестактность сказать Ивану Сергеевичу, что нахожу, будто у него сегодня вид лучше. Он ужасно рассердился.

— Эти дамы всегда так, всегда... Вот Charcot — вид у него ужасный, какого-то кутилы-мученика, а он здоров! Charcot же и говорил тут одной даме, что хороший вид ничего не *значит*, — что можно иметь прекрасный вид — и быть накануне смерти <...>

Когда Иван Сергеевич в следующий раз послал за мною, то опять диктовал мне письма гг. Топорову и Щепкину, а также еще одному доктору по поводу какого-то нового лекарственного средства. При этом присутствовала г-жа Виардо. Она довольно строго уняла Ивана Сергеевича, когда он было разговорился, прося его de ne pas se fatiguer *. Иван Сергеевич между прочим рассказал, что он пригласил к себе письменно докторшу С., а когда она приехала, то он потребовал от нее яду **. Рассказывал он это просто, спокойно, даже с юмором и при этом удивительно хорошо представил, как она отказалась дать и прибавила педагогическим тоном: «Помилуйте, как это можно!»

Когда г-жа Виардо вышла, Иван Сергеевич вдруг впал в какое-то отчаяние и с глубокой мукой в голосе, в котором слышны были и слезы, произнес:

— Я сам себе гадок, себе противен; зачем я живу, для чего — тряпка какая-то... Как бы я хотел теперь лежать рядом с моим другом в земле... **

---

* не утомляться (*фр.*).

** Он говорил о г. Виардо, умершем незадолго перед тем. (*Примеч. А. Луканиной.*)

Я не знала, что и сказать, но в это время кто-то вошел, и Иван Сергеевич успокоился.

Вчера я опять была у него и нашла его в гораздо лучшем состоянии. Он был одет и лежал на кушетке. Его на днях вывозили в экипаже. Он начинает понемногу есть, между тем как за последнее время питался только молоком. Говорят, ему дают теперь йодистый калий. Он жалуется, что от этого у него сильный насморк, плохой вкус во рту и точно свинец в желудке. Но тем не менее ему лучше. Он принимает йодистый калий уже с месяц, и улучшение акцентируется, говорят, что врачи надеются на выздоровление. Он, однако, опять жалуется на боль в плече. Между тем m-lle Arnold говорит, что в общем ему неизмеримо лучше. Она говорила мне, что у него в марте действительно бывал бред и видения, но что он все помнит, что ему чудилось. Как и раньше, Иван Сергеевич диктовал мне письма по своим денежным делам и по имению. По-видимому, ему пришлось понести кое-какие потери, что весьма печально в такое время, когда ему именно нужны деньги: врачи еще толкуют о том, что ему на зиму нужно ехать на юг. Ему, во всяком случае, настолько лучше, что третьего дня он собственноручно написал письмо графу Льву Толстому * <...> [25]

Потом он забеспокоился и стал жаловаться на боли. Я спросила, нельзя ли что-нибудь сделать для него. Он отвечал:

— Надо впрыскивание морфия, но теперь час, когда я должен есть... Они меня заставляют, и я должен подвергаться этой неприятной операции питанья, когда мне этого вовсе не хочется...

Я пошла позвать m-lle Arnold, и Иван Сергеевич начал завтракать, а я ушла. В саду я встретила m-me Duvernaye, и она рассказала мне, как раздражали Ивана Сергеевича газетные толки о нем. Потом мне то же рассказывала и m-lle Arnold. Она уверяла меня, что он и у нее выпрашивал яду, а раз стал требовать от г-жи Виардо, чтобы она выбросила его в окно, на что та ответила:

— Mais, mon cher Tourguéneff, vous êtes trop grand et trop lourd et puis cela vous ferait du mal! **

---

* То самое письмо, где он уговаривает его не отказываться от литературной деятельности. (*Примеч. А. Луканиной.*)

** Но, дорогой мой Тургенев, вы слишком большой и тяжелый, кроме того, это бы вам повредило (*фр.*).

Ответ этот рассмешил Ивана Сергеевича, и он на время успокоился.

Нужно сказать, что раз m-lle Arnold сильно напугала и расстроила меня по поводу Ивана Сергеевича. Она рассказала мне, что д-р Б. [26] советовал ей иногда заменять морфий водою при впрыскиваниях. Она это и делала.

— Берите для этого лучше дистиллированную воду, — заметила я, — тогда вы будете уверены, что вода чиста.

— Дистиллированная вода — это лавровишневые капли? — спросила она.

— Нет, нет, как можно, — сказала я и объяснила ей, что такое дистиллированная вода и что такое лавровишневые капли.

В следующий мой приезд она опять спросила меня:

— Не правда ли, дистиллированная вода — это лавровишневые капли?

Я чуть не вскрикнула от испуга.

— Надеюсь, что вы не вспрыскивали ему лавровишневых капель, — ведь я объяснила вам, что это такое?

— Ах, ведь и в самом деле! — спохватилась она. — Я ведь это и сама знала, как это я забыла!

После этого я почти две ночи не спала; особенно же испугалась я, когда дня через три после этого разговора Г. опять прибежал сообщить, будто Иван Сергеевич умер и что об этом уже пишут в газетах. На этот раз это, к счастью, также оказалось лганьем, но я несколько дней после этого страдала сильнейшими головными болями от страха за то, что могла вообще наделать m-lle Arnold.

После этого я опять была у Ивана Сергеевича. Состояние его было то же.

1 октября 1883 г. Последний раз я видела Ивана Сергеевича в пятницу, десятого августа. Я нашла его не особенно слабым. В последнее время он несколько раз посылал за мною и, между прочим, поручил мне перевести на русский язык рассказ его «Пожар на море». Окончив работу, я отвезла ее в Буживаль. Я застала Ивана Сергеевича сидящим на балконе. Вскоре из Парижа вернулась г-жа Виардо и привезла ему сандвичи, которые он любил. Он с аппетитом съел их. Он показался мне несравненно бодрее прежнего, шутил, улыбался. Взяв у меня перевод «Пожара на море», он сказал, что у него есть еще другой рассказ, который он тоже диктует по-французски г-же Виардо и даст мне перевести, но что теперь рассказ этот еще не готов.

— Работа моя разрастается, — сказал он по поводу второго рассказа. — Это уже не рассказ, но еще и не повесть.

Относительно моего перевода оп, просмотрев его, заметил, что там вкралось несколько галлицизмов, но в общем остался доволен.

Мне необыкновенно больно писать теперь это. Глядя тогда на Ивана Сергеевича, я так была уверена, что он поправится. Я сказала ему, как мне нравится «Пожар на море» по картинности и простоте, а главное — по правде описанных там ощущений.

— Все это так точно и было, — ответил Иван Сергеевич, задумчиво улыбаясь и словно вглядываясь далеко, далеко в прошлое. — Мне было тогда восемнадцать лет...

А жить ему еще так хотелось, голова так хорошо работала.

Я прочла в газетах, что тело его увозят именно сегодня в Россию. Я не могу при этом присутствовать, сил нет, мне так жаль, жаль, жаль его.

Последнее мое посещение Ивана Сергеевича еще и потому оставило во мне обманчивое впечатление, полное надежды на выздоровление, что он довольно долго говорил со мной о делах — не моих, а совершенно посторонних людей; и тут, как всегда, высказывалась его необыкновенная доброта и забота о всех людях, пытающихся пробить себе дорогу на литературном поприще.

— Приезжайте в воскресенье двенадцатого, — сказал он мне на прощанье и обещал дать тогда свой второй рассказ [27]. Окончен ли он вообще — не знаю. Быть у Ивана Сергеевича я больше не могла — я сама захворала и, чтобы поправиться, должна была на несколько недель уехать в деревню. Там меня и застигла весть о его смерти.

Л. Ф. НЕЛИДОВА

ПАМЯТИ И. С. ТУРГЕНЕВА

I

У Н. Вагнера — Кота Мурлыки — есть сказка: «Колесо счастья». В одном месте герой ее говорит: «В этот день я был на вершине колеса счастья».

Эти слова я готова была повторить о себе в один из дней осени 1879 года. Мне подали письмо из Петербурга со штемпелем «Вестника Европы», надписанное уже знакомым мне почерком.

Письмо было от М. М. Стасюлевича. Оно состояло всего из нескольких строк. С редкой внимательностью почтенный редактор извещал меня, что получил из Парижа от И. С. Тургенева отзыв о моем только что появившемся в последней книжке журнала небольшом очерке [1]. Думая сделать мне приятное, Михаил Матвеевич пересылал мне самое подлинное письмо.

Я хорошо помню тогдашнее свое чувство: в первую минуту мне показалось, что это сон, что я брежу. Но листок почтовой бумаги был у меня в руках.

Помню чувство восторга, до боли сжавшее сердце. Не могло же это быть мистификацией! В конце письма стояла подпись: Ив. Тургенев. Конец, как не имевший отношения ко мне, был перечеркнут, а начало и середину занимали рассуждения о моем очерке и необыкновенно благосклонный отзыв о нем.

Я читала и перечитывала письмо. Одна фраза в нем особенно приводила меня в восхищение: «Кто *этот* Л. Н.?» Никакие похвалы не доставили бы мне такой радости, как этот вопрос. Значит, вещь была написана так, что нельзя было узнать, что ее писала женщина.

Я мечтала о возможности увидеть Тургенева. Его ждала в Петербурге. Он писал о своем приезде поэту Полонскому.

Кроме Я. П. Полонского, у нас оказался еще и другой общий знакомый — Александр Васильевич Топоров. Оба они обещали привести к нам Тургенева, как только он приедет в Петербург.

Чтобы понять в полной мере значение этого обещания, нужно знать, чем был для нас — людей того времени — Тургенев. Я знала некоторые из его произведений наизусть или, по крайней мере, настолько, чтобы заметить малейшую неточность в передаче или пропуск при чтении. И это не только в таких напоминающих стихотворения в прозе вещах, как эпилог из «Дворянского гнезда», а и в других, менее знаменитых, как, например, «Дым».

Помню, мне случилось слушать чтение известной сцены после объяснения между Ириной и Литвиновым. Читавший дошел до слов: «...и роскошные плечи, плечи молодой царицы, дышали свежестью и жаром...» Чтец остановился на конце строчки, не заметив продолжения, а я не выдержала и закричала, возмущенная: «и жаром неги». Нельзя так читать! Я не только помнила — я чувствовала, что так закончить фразу было нельзя. Это была бы не тургеневская фраза.

В предисловии к своим «Poèmes en prose» * Бодлер писал: «Кого из нас не посещало честолюбивое мечтание добиться чуда — прозы поэтической и музыкальной, без ритма и без рифм, достаточно гибкой и довольно прихотливой для того, чтобы примениться к лирическим волнениям души, к мечтательным порывам, к движениям совести»...

Это мечтание, это чудо осуществил Тургенев.

Много лет прошло с того времени, много было других влияний, но понимание красоты языка, красоты фразы, любовь к этой красоте, к музыке речи дал людям нашего поколения он.

Толстой своей поразительной силой изобразительности нередко затмевал его. После описания смерти Николая Левина, измучивающего читателей так, как будто бы они присутствовали при настоящей агонии, кажется бледным и деланным описание смерти Инсарова в «Накануне». «Прощай, моя бедная! Прощай, моя родина!» Едва ли так

* «Стихотворениям в прозе» (*фр.*).

в минуту смерти будет говорить умирающий человек. Но все же не Толстому, а Тургеневу дано было написать Лизу из «Дворянского гнезда», вместе с пушкинскими Татьяной и «Капитанской дочкой» лучшее, что есть в русской литературе. И не Толстой, а Тургенев изобразил Базарова и его смерть, единственную в своем роде.

Крестьяне, простые люди, умеют умирать и относятся к смерти спокойно в просто. В литературе есть несколько описаний таких смертей. Но Базаров — не простой человек; он гораздо сложнее, нежели хочет показать сам, когда, разговаривая с любимой женщиной, отрицает значение искусства и всей изящной стороны жизни. И он встречает так внезапно обрушивающуюся на него смерть как сильный духом человек и выдерживает мужественно последнее испытание.

«Отцы и дети» появились, когда я еще не была в состоянии следить за литературными спорами; но мне впоследствии казались непостижимыми нападки на Тургенева и все возникшие из-за Базарова недоразумения.

Поистине можно сказать, что «книги имеют свою судьбу»! Чего желали недовольные от писателя? Разве не ясно, что такой, как он есть, Базаров головой выше всех окружающих! И разве не поразительно, что именно он, Тургенев, которого все, начиная с него самого, постоянно упрекали в слабости и бесхарактерности, мог создать Базарова, этот образец настоящего мужского характера, каких в литературе, как и в жизни, у нас меньше всего!

II

<...> *Он* приехал и сидел в нашей гостиной. Мы говорили о Флобере, о литературе и условились свидеться на другой день в доме Я. П. Полонского. За мною должен был приехать, чтобы отвезти меня туда, Топоров.

Этот наперсник Тургенева за последние годы его жизни в Петербурге заслуживает, чтобы о нем сказать несколько подробнее. В свое время он был лицом довольно известным в литературных кружках Петербурга, несмотря на свое скромное положение. По профессии Александр Васильевич Топоров был придворный зубной врач, никогда, кажется, не занимавшийся зубоврачеванием. Это не мешало ему иметь казенную квартиру в дворцовом ведомстве, а служил он, кажется, в каком-то коммерческом

обществе. Впрочем, настоящей своей профессией он сделал служение знаменитостям, главным образом литературным. Это был настоящий диккенсовский тип, трогательный по-своему и оригинальный. Служил он своим кумирам усердно, бескорыстно и не подобострастно. Вначале предметом его поклонения был В. А. Слепцов, для которого он исполнял поручения, брал на себя устройство его литературных вечеров и практических дел, доставал для него деньги, когда в них случалась надобность.

В одной из петербургских газет того времени был помещен стихотворный фельетон под названием «Невский проспект». Помню из него две строки:

«...проезжал Николай Алексеич (Некрасов) в коляске.

Там Слепцов и его адъютант Топоров проходили нередко...»

Умер Слепцов — и Топоров прикомандировался адъютантом к Тургеневу, стал для него хлопотать, бегать, исполнять поручения. Познакомились они через поэта Полонского, в доме которого Топоров был принят как свой. С ним не считались визитами, никто долгое время не знал, где и как он живет, и редко кому, разве по какой-нибудь экстренной надобности, случалось попадать в его квартиру. Квартира эта, по описаниям, была оригинальная: две крошечные комнаты помещались в конце длинного, темного каменного коридора. В первой комнате, с окнами, напоминавшими бойницы, стены были все увешаны засохшими венками, цветочными и лавровыми, с лентами и надписями, поднесенными в разное время знаменитостям, при которых он состоял.

Из своих комнаток Александр Васильевич выходил на люди всегда чисто в хорошо одетый, всегда благодушный и довольный и готовый оказать услуги <...>

В назначенный вечер, аккуратно в условленный час, Топоров приехал за мной на Надеждинскую и повез на Фонтанку, где в старом, неприветливом доме, наверху, во дворе, жили тогда Полонские, у которых я и увидала его в первый раз.

Сам поэт в то время, как, впрочем, и до конца жизни, занимал, как известно, место цензора по иностранной литературе. Невольно вспоминается мне при этом рассказ о М. Е. Салтыкове, когда ему пришлось в первый раз попасть на квартиру к цензору и застать его в семейном кругу, за столом, подвязанного салфеткой перед

тарелкой супа. Салтыков долго повторял после этого с глубочайшим изумлением: «Цензор суп ест! Нет, подумайте, каково — цензор суп ест!» По его словам, он представлял себе до того цензора существом особой породы, которое может... ну, живьем, что ли, глотать маленьких детей. И вдруг, как и все... суп ест!

Жилище и семья Якова Петровича, несмотря на близость к цензуре, сразу располагали к себе и поколебали во мне ходячее московское мнение о негостеприимном и холодном Петербурге. Это была в то время самая радушная, милая семья, в которой чувствовал себя хорошо каждый, кто в нее попадал, и где любило собираться по пятницам большое и разнообразное общество.

Эти пятницы еще ждут своего описателя; они стоят того. Из литераторов я встречала на них Григоровича, Лескова, поэта Козлова, впоследствии Мережковского и З. Гиппиус. Бывали и художники — Чижов, Репин, и музыканты. Приезжал и играл сам Антон Григорьевич Рубинштейн [2].

III

Обещанный визит Тургенева, о котором гостеприимные хозяева оповестили своих знакомых, собрал, разумеется, особенно много народа. Большая, немного низкая комната в пятом этаже не была еще полна, когда мы вошли.

Едва я успела поздороваться с хозяйкой, как Топоров увел меня в кабинет, где курили и сидели мужчины, находя, что мне, в новом звании литератора, нечего делать в гостиной с дамами. Он всячески подчеркивал это мое отношение к литературе. В то время это, конечно, нравилось мне.

И все же, несмотря на литературу, мне было неловко и страшно входить в этот накуренный кабинет с большим письменным столом посредине, тесно заставленный старинной, красивой мебелью. Мне представили ближайших ко мне мужчин, и я села на низкий диван недалеко от дверей, рядом со своим спутником. С величайшим интересом я разглядывала собравшихся людей, из которых многих видела в первый раз. Топоров знал всех и называл мне их имена.

В противоположном углу кабинета, у стола, шел оживленный разговор. Высокий седой человек громко хохо-

тал, часто откидывая назад голову и, как это нередко бывало, шутил над добродушием Якова Петровича. До меня донеслись слова:

— Полонский непременно откопает себе новый талант и носится с ним. Вот теперь какой-то у него Л. Н. Говорят, это женщина. Ну, если женщина, то, наверное, попадья. Ничего хорошего! Какая нелепая полоса...

Мне сделалось страшно неловко: я краснела и не знала, что делать — оставаться или уйти. Но седого человека уже дергали за рукав, кивали в мою сторону, и спустя минуту он сам, как ни в чем не бывало, направлялся ко мне через весь кабинет. С самым непринужденным видом он поклонился, назвал себя и сел рядом со мной на диван.

Это был Григорович, в то время, несмотря на седину, полный жизни, остроумия и веселости. Вероятно, он не знал, что я слышала его последние слова, а может быть, решил сделать вид, что не знает этого; но мне было неловко и больно, когда он тут же сразу наговорил мне множество любезных вещей по поводу моего злополучного очерка, не замечая или не желая заметить моего смущения.

Оно, впрочем, продолжалось недолго. Я скоро простила двуличность своему собеседнику. Он был до того заразительно весел и остроумен, что нельзя было не простить его и не смеяться вместе с ним <...>

Среди веселого разговора я не заметила, как исчез Топоров, как ушел хозяин дома, и прошло уже довольно времени, когда ко мне подошли И. и А. — молодые в то время люди, часто бывавшие в доме Полонских.

— Помилуйте, что же вы здесь сидите! Разумеется, давно приехал. Хотите видеть мастита беллетриста, взирающа и глаголюща. На сей раз самого себя превзошел <...>

Я вышла в залу и не могла не подумать, как трудно, вероятно, везде, а в особенности у нас в России, чувствовать себя знаменитым человеком.

Не только не было ни малейшей важности, никакой позы в том, как держал себя Тургенев, — но мне, на мой восторженный взгляд, он показался именно как-то чересчур, по-стариковски прост.

Он стоял, слегка сгорбившись, прислонясь спиной к роялю, разговаривал с незнакомыми мне людьми и среди разговора — о ужас! — вынул из кармана большой пестрый фуляровый платок, точь-в-точь такой, какой вынима-

ли актеры Малого театра, когда играли в пьесах Островского.

Это было уже слишком! Я смотрела на него, и мне так сильно хотелось, чтобы он был не такой, не старый, а молодой, стройный и красивый, он — автор «Призраков», и «Аси», и «Первой любви»...

Радость, когда он узнал меня и приветливо подошел ко мне, заглушила все другие чувства. Он был хорош и такой, какой он был. Я была счастлива тем, что могла быть подле него.

— Да, а вот вы бы посмотрели, как бы он отнесся к вам, если бы тут был баварский король! — говорил мне И. за длинным чайным столом, уставленным тортами и блюдами с бутербродами, по петербургскому обыкновению <...> — Вы знаете, ведь он у себя в вилле в Бадене принимал королей.

— Я думаю, что не стала бы соперничать с королями и примирилась бы с тем, чтобы он был любезнее с королевой, нежели со мной <...>

Стол был слишком длинен, и не мог завязаться общий разговор. Тургенев был молчалив, не умел или не хотел привлечь к себе общего внимания. Больше всех и громче всего говорил Григорович, но его остроты и сравнения восхищали, кажется, главным образом меня как приезжую. Остальные, должно быть, привыкли к ним и мало ценили их.

IV

После пятницы у Полонских мы не видались несколько времени. Я уже начинала опасаться, что Тургенев забыл меня и без приезда баварского короля, когда в одно ненастное петербургское утро к нам приехал Топоров и передал мне просьбу Тургенева навестить его. Он был болен, и ему было запрещено выходить.

Во время его болезни я стала его видеть так часто, как только могла, и как, разумеется, мне никогда не пришлось бы видеться с ним, если бы он был здоров.

Болезнь была подагра, которою он и раньше страдал. На этот раз приступ ее был особенно трудный и мучительный. Он лежал в постели, к нему ездили доктора.

Мы поднялись по чугунной лестнице в третий этаж дома на Малой Морской. Это были меблированные комнаты.

Из раскрытых дверей маленькой передней я увидела

старинный диван и на нем лежащего большого человека с знакомой седой прекрасной головой, которая резко выделилась на темной обивке дивана, когда он навстречу нам приподнялся.

После первых же приветствий Топоров уехал за какими-то покупками. Это он заранее так решил, находя, что вдвоем нам легче будет разговориться.

Но разговор не налаживался. Я чувствовала себя стесненной и была ненаходчива. Тургенев был мрачен. Он видимо страдал. Топоров не возвращался.

Не зная, что придумать, я предложила почитать вслух газету и нечаянно уронила ее на ковер между диваном и столом.

Тургенев потянулся за нею.

Я не успела предупредить его движение. Он сделал себе больно и застонал.

И вдруг все для меня переменилось.

Поднимая газету, я в первый раз близко заглянула в его лицо. Не автор «Дворянского гнезда», «Отцов и детей» и пр. и пр., не знаменитый Тургенев в эту минуту был передо мною, а просто старый, больной человек, которому было нехорошо и одиноко в чужом городе, в чужой мрачной комнате, который устал *лежать*, — и не газетами нужно было его занимать.

Нам удалось придумать для него новую позу на диване, с подушкой за спиной; для ноги придвинут был мягкий стул, и в новом положении боль понемногу стала утихать. Нужно было подложить что-нибудь под локоть, но огромная, тяжелая подушка оказалась в такой заношенной, грязной наволочке, что нельзя было не поразиться ее видом.

Попросив разрешения, я позвонила. Вместо лакея вошел сам хозяин — петербургский немец, толстый, в коричневом пиджаке. Замечание относительно наволочек, видимо, смутило его. Он очень извинялся и прислал тотчас же горничную с чистым бельем. Вдвоем с нею мы быстро все переменили и устроили, добыли скамеечку для здоровой ноги.

Вместе с девушкой возвратившийся Топоров передвинул по-другому мебель в комнате. Я не могу теперь вспомнить, но какой причине, но не было ламп, и мы зажгли свечи в канделябрах на камине и на столе.

Топоров воодушевился и по нескольку раз переставливал одну и ту же вещь в комнате, а Иван Сергеевич

в темной, мягкой куртке, с пледом на ногах, с огромной подушкой в чистой наволочке под рукой, радуясь затихшей боли, благосклонно смотрел на нашу возню и давал также и свои указания.

— Пыльные занавески, — повторил он, улыбаясь. — Пыль, мне кажется, так же свойственна занавескам, как роса траве. И как это вы могли заметить! А я вот неделю жил и не замечал. И мои в Париже, наверное, не заметили бы.

Топоров неодобрительно проворчал что-то про себя, а я прямо спросила:

— Кто не заметил бы, Иван Сергеевич?

— Мои дамы, — отвечал он. — Вы знаете, я ведь в Париже живу не один. Вокруг меня целая семья, с которой я прожил уже более тридцати лет, семья Виардо.

— Да, я слышала, — отвечала я, с любопытством приглядываясь к нему и прислушиваясь к тону, которым он говорил.

Раньше во время его визита к нам и у Полонских мы говорили о вопросах общих и отвлеченных, говорили о литературе. Теперь он в первый раз заговорил о себе. Мне непременно хотелось продолжать разговор.

Подали самовар.

Топоров стал развертывать свертки и бумажные мешочки. В маленькой банке было варенье из поляники, с оригинальным, немного затхлым запахом. По выражению Тургенева, им могли бы угощать друг друга египетские мумии. Его особенно любил Иван Сергеевич, и Топоров откуда-то его добывал.

За чаем я узнала, что семейство госпожи Виардо состояло из мужа, сына и трех дочерей. Старшую из дочерей, Луизу, я встречала раньше за границей, но к ней именно Иван Сергеевич относился холодно и почти о ней не упоминал. Зато о самой госпоже Виардо и двух ее других дочерях он говорил не иначе как с восторженной нежностью и преданностью.

Мне захотелось видеть их фотографии. Иван Сергеевич тотчас же попросил Топорова принести портфель и достал оттуда положенные в конверт три фотографические карточки. Портрет г-жи Виардо был и раньше знаком мне. Это — некрасивое в обычном смысле, но очень интересное лицо южного типа, с прекрасными черными глазами. На сцене, в костюме она должна была быть очень эффектной. В складе губ, в выражении глаз, в посадке

головы чувствовалась энергичная, сильная, властная натура. Такою именно изображал ее в своих рассказах нам и сам Тургенев.

Меня поражало, как он охотно и легко говорил о своих отношениях к Виардо. Первое время я очень стеснялась и избегала этого разговора, но Тургенев сам возвращался к нему.

Обе дочери г-жи Виардо были красивее ее самой, и я очень восхищалась их наружностью.

— Ну вот, посмотрите внимательнее, — сказал Иван Сергеевич, дотрогиваясь рукой до карточек, которые я не переставала держать перед собой. — Эти две молодые женщины... я люблю их обеих, но одну люблю очень, а другую люблю еще больше и больше всего на свете. Угадаете ли вы — которую?

Я молча поднесла к нему карточку той, которая казалась мне привлекательнее. Тургенев засмеялся и кивнул головой.

— Угадали! Это Марианна, а ту, старшую, зовут Claudie [3].

Тургенев продолжал говорить о них, о их необыкновенной музыкальности, прекрасных голосах. Он с удовольствием пил чай с свежим калачом и становился словоохотливее, рассказывая о «своих дамах», как он всегда их называл. Топоров играл роль хозяина за столом, резал хлеб, подвигал масло, угощал вареньем, но с первых же слов о семействе Виардо на лице его установилось недовольное, как бы даже обиженное выражение, — и — странное дело — то же остроревнивое чувство начинала чувствовать также и я.

Теперь я понимаю, что это было несправедливо: каждый человек имеет право взять свое счастье там, где находит его. Но тогда в голове шевелились спутанные мысли, вроде того, что: «Вот наш Тургенев, наш любимый писатель, и какие-то иностранки, ради которых он не живет в России», и т. д.

И как это бывает иногда, может быть, именно наш вид, впечатление от его слов, которое мы не сумели скрыть, подзадоривали Тургенева и заставляли его усиливать то, что он хотел сказать.

В то время «Новь» вышла еще недавно (написана в 1876 г.), о ней еще продолжали говорить. Героиня ее была названа в честь Марианны Виардо. Г-жа Виардо, по словам Тургенева, интересовалась его произведениями, хотя

несравненно менее, нежели романсами Чайковского. Ее муж — «mon ami» — «мой друг Виардо», как он его назвал — перевел некоторые из его вещей на французский язык; молодое же поколение совершенно не интересовалось его литературной деятельностью. И тем не менее, смотря на нас оживившимися, ласковыми глазами, Тургенев как бы даже с некоторым упорством продолжал говорить о своей привязанности ко всей семье, интересы которой, по его словам, были ему дороже и ближе всяких других интересов собственных, общественных и литературных. Он уверял, что простое письмо с известием о состоянии желудка маленького ребенка Claudie для него несравненно любопытнее самой сенсационной газетной или журнальной статьи.

— Не может быть. Вы клевещете на себя, Иван Сергеевич, — сказала я.

— Ничуть. Вы ведь совсем не знаете меня. Да вот вам пример: предположим, что каким-нибудь образом мне было бы предоставлено на выбор: быть... ну, скажем, первым писателем не только в России, а в целом мире, но зато никогда больше не увидеть их (он поднял и обратил к нам карточки, зажатые в ладони). Или же наоборот: быть не мужем — нет, зачем! — а сторожем, дворником у них, если бы они уехали куда-нибудь... на остров Вайгач или Колгуев, — я ни одной минуты не колебался бы в выборе.

— Ну, вот еще! Выдумали! — с неудовольствием заметил Топоров.

— Нет, это не выдумка. А вам разве так не случалось полюбить? — обратился он ко мне. — Никогда? Расскажите мне ваш первый роман.

— «Первую любовь», — сказала я.

Но мне не хотелось рассказывать. Мне хотелось слушать. Я смотрела на него, слушала, и мне становилось все больше и больше жаль этого бедного, огромного, знаменитого человека, у которого была слава, было так много всего, и не было того, что было нужно ему, по-видимому, более всего другого.

— Слава — да... знаменитость — да... любимая деятельность... — задумчиво говорил Тургенев, поворачивая в руках старенькую черную табакерку с облезшим лаком. — У меня, разумеется, совершенно отдельное помещение в Париже... Бывают дни, когда я готов был бы отдать всю свою знаменитость за то, чтобы вернуться в свои пустые комнаты и наверное застать там кого-нибудь, кто сейчас

бы заметил и спохватился, что меня нет, что я опаздываю, не возвращаюсь вовремя. Но я могу пропасть на день, на два, и этого не заметит никто. Подумают, что я отозван куда-нибудь. Жизнь бойко течет в Париже...

— Кто же виноват! — горячо отозвался Топоров. — Женились бы, жена бы ждала.

V

Я все надеялась, что кто-нибудь непременно приедет из Парижа, и никак не могла представить себе, чтобы такой знаменитый человек, как Тургенев, мог оказаться в таком грустном и беспомощном положении, в каком он был. Но, очевидно, такова участь одиноких людей. А он был одинок. За все время его болезни никто из семейства Виардо не собрался приехать к нему. Днем его навещали петербургские знакомые и друзья, приходили поклонники и поклонницы. Нередко его большая и мрачная приемная комната была полна народу. Приезжали элегантные дамы в нарядных туалетах, приходили курсистки и студенты.

Многолюдство утомляло больного; к обеденному часу все обыкновенно расходились, и по вечерам он оставался один — и тут-то оказывал ему неоценимые услуги верный Топоров. Он ухаживал за ним, как нянька, переводил его с кровати на диван, бегал за лекарством, сопровождал в ванну.

Иногда заходил но вечерам кто-нибудь из друзей, всего чаще Полонский, изредка Григорович; но еще чаще не было никого.

Для меня это были незабываемые вечера. В отношении ко мне Тургенева было много доброты, которая трогала и радовала меня. И он радовался, когда я приходила. Это было так естественно: ему было так скучно. Часто я замечала его внимательный, рассматривающий взгляд, и не любила этого взгляда. А он любил рассказывать что-нибудь и следить за впечатлением.

В моих воспоминаниях в годовщину его кончины я привела три его рассказа, записанные с его слов («Русские ведомости», № 239, 1884 г.).

Рассказывал Тургенев удивительно, красиво и плавно, точно книгу читал. Я позволю себе привести эти рассказы, неизвестные, по всему вероятию, современным читателям.

МУЗЕЙ

Я был болен и лечился морскими купаньями в Вентноре — маленьком городке на острове Уайте.

Местечко это не пользуется особой известностью; публика мало посещает его, да и нет в нем ничего такого, что могло бы привлекать ее туда.

Пологая и широкая полоса желто-бурого песку, образующего морской берег, ничем не застроенный и лишенный растительности, стелется далеко за пределами города. Бутылочного цвета зеленые волны — холодные, северные волны — добегают с приливом до черты однообразных построек. После отлива на влажном, твердом песке, покрытом прядями водорослей, видны выпрямленные Фигуры прогуливающихся англичан.

Впоследствии я узнал, что в Вентноре было также излюбленное место для общественных гуляний. Это был так называемый «музей».

Из любопытства и от скуки я отправился взглянуть на него.

Мне указали ветхое строение, небольшой сарай, в котором — очевидно, уже впоследствии — несимметрично пробиты были узкие отверстия редких окон.

Человек с ключом в руках, благообразный англичанин в войлочной шляпе и сюртуке с перламутровыми пуговицами, поджидая посетителей, сидел на скамейке у входа в «музей». Он с достоинством поклонился мне, отпер дверь и пригласил войти.

Я не сразу огляделся, после яркого дневного света, в полутемноте. Сарай походил внутри на наши риги, только с настланным дощатым некрашеным полом.

По стенам, на полу и на двух скамьях развешаны и расставлены были диковинные редкости.

Большею частью это были все предметы, выброшенные на берег после кораблекрушений. Тут были обломки старинной утвари, разнообразной мебели, разбитой посуды. Окаменелости, морские звезды и раковины симметрично разложены были на полу вдоль стен.

Большой, громоздкий предмет в дальнем углу невольно обратил на себя мое внимание. Я приблизился.

Передо мной была кормовая часть старинного, по некоторым признакам итальянского судна. Изящно изогнутая, с выдающеюся верхнею частью старинная галера жи-

вописно вырисовывалась в мягком, как бы вечернем освещении на фоне ближней белой стены.

Рассмотрев пристальнее, я убедился, что, по крайней мере, этот нумер музейных редкостей (они все были по нумерам) был несомненно древнего происхождения.

Постройка была так ветха, что, казалось, могла рассыпаться от малейшего прикосновения. Мыши и черви источили ее во всех направлениях. Искрасна-желтый, ржавый налет вековой плесени покрыл истлевшее дерево. В одном месте налет этот был не так густ, и мне почудились под ним едва видневшиеся, полуистертые черты.

Я пригнулся ближе и прочел надпись — очевидно, название корабля: «La Giovane Speranza» — «Молодая надежда».

Мне понравился рассказ, и Тургеневу было видимо приятно мое восхищение. Он много смеялся, между прочим, над моей боязнью привидений и уверял, что у привидений картонные носы и что стоит крикнуть на них: У-у! — и они исчезнут.

В то время он решительно отвергал все мистическое, а между тем так скоро пришлось встретиться с мистицизмом в его же собственных произведениях: в «Кларе Милич» и в «Песне торжествующей любви»,

Но уже и в то время он охотно и много говорил... о светопреставлении. Я рассказывала ему, как моя няня ждала светопреставления каждую ночь, и я вместе с нею привыкла бояться и также ждать. А он рассказывал, как он воображает себе светопреставление. Я вспомнила эти разговоры, когда читала два стихотворения в прозе на эту тему.

Помню другой его рассказ, из-за которого у нас вышел спор. Для ясности приведу его, как он был у меня записан и напечатан в «Русских ведомостях».

ПРОЩАНИЕ

Это было давно, в те ныне прошедшие уже времена, когда в русских дворянских нравах было ездить друг к другу в гости и гостить подолгу, по неделе, по две, с лошадьми, детьми и домочадцами.

Однажды мне случилось провести несколько дней именно в таком старинном, гостеприимном доме. В нем собралось и проводило время все местное общество. Было много молодежи, молодых и красивых женщин и девушек. Все отдавались беспечному веселью с увлечением молодости. Удовольствия были просты и незатейливы: гулянье в рощах, катанье на лодке и домашние игры по вечерам.

Среди женских молодых лиц я невольным образом обратил внимание на одно лицо: то была девушка, также из приезжих гостей, подруга юной хозяйки дома. Она не была ни привлекательнее, ни красивей других, и я, может быть, вовсе и не приметил бы ее, если бы не ее взгляд — задумчивый и печальный взгляд, который она не раз останавливала на мне внимательно и упорно.

Я чувствовал себя постоянно под влиянием этого взгляда и не знал, что сделать, чтобы освободиться от него.

Я пробовал заговаривать с нею. Она отвечала каждый раз с громким, видимо ненатуральным, деланным смехом, и то, что она говорила, не было ни значительно, ни интересно.

Наконец наступило время отъезда. Я уезжал вдвоем с товарищем, сыном хозяев дома. Оба мы вышли уже на балкон, и общество собралось туда, провожая нас. Все было готово. Обменявшись последними рукопожатиями, мы спускались уже по лестнице, как вдруг чей-то голос сверху окликнул меня.

Я обернулся. Опершись сложенными руками на перила балкона, в расстоянии не более аршина над моей головой, стояла она — черноглазая, смешливая девушка.

В первую минуту я едва узнал ее — так переменилось ее лицо. Оно было покрыто смертельною бледностью; расширившиеся глаза блистали чудным блеском, но все попрежнему улыбались нежные, вздрагивающие губы, и тихо, не выдавая в голосе волнения и не изменяя тона, она произнесла:

— Возьмите меня... с собой! Возьми меня.

— Но я... Я уезжаю... Куда же?.. — пролепетал я. Я был ошеломлен.

— Возьми меня... отсюда. Навсегда!

Сложенные руки ее внезапно распались, и она протянула их перед собой.

— Любезный друг! Вы заставляете ожидать себя! — окликнул меня весело голос приятеля внизу.

Я сбежал с лестницы и через минуту сидел уже в эки-

паже. Лошади обогнули двор и поехали аллеей, как раз мимо дома. Я поднял голову.

На балконе, с бессильно повисшими руками, все так же стояла молодая женщина. Ее глаза еще раз на мгновение остановили на мне свой загадочный взор; укоризна почудилась мне в нем, в твердо сложенных, побледневших губах...

Я успел разглядеть, как кто-то там же на балконе подошел к ней и заговорил с нею; она отвечала с своим всегдашним неестественно громким смехом.

Кругом также все засмеялось и зашумело вдруг. Смеялись и мы, плавно катясь в покойном экипаже по мягкой, пыльной дороге; но тайное и непонятное мне самому волнение все время не покидало меня. Я не спрашивал себя: хорошо ли, худо ли сделал я? Но образ девушки с протянутыми руками спустя много лет все еще жил в моем воображении.

Тургенев удивительно это рассказал, и я, конечно, не умела передать всей прелести рассказа.

Мне было жаль девушку с протянутыми руками. Я так понимала ее чувство, это чувство женской беспомощности и покинутости, и желание удержать улетающее счастье. Пусть она обманывала себя, но ей казалось, что вот оно явилось к ней хотя бы на мгновение, и вдруг нет его. Уезжает свободный любимый человек, гаснет мелькнувший солнечный луч, а для нее настанут будни, долгие будни, те характерные серые будни прежнего беспросветного женского существования.

— Это было нельзя! Вы не должны были так ее оставлять!

Мне показалось, будто Тургенев недоволен тем, что я говорю.

— Да, но что же я мог сделать, по-вашему?

— Сделать ее счастливой. Все дело в том, чтобы суметь дать счастье, хоть на один день, но чтобы воспоминания о нем хватило бы потом на всю остальную жизнь. Вы больше не встречали ее?

— Никогда.

— И не жалели о ней? Может быть, она думала: хоть день, да мой.

— Нет. Я ее не любил. Для этого нужно быть донжуаном. А какой же я донжуан!

Играли ли женщины вообще большую роль в жизни Тургенева? Одна женщина — да, но другие? Не могла же знаменитая иностранка, как ни исключительно богата была ее натура, одна заставить его пережить все те оттенки чувства, изображение которых мы находим в его романах. И с кого-нибудь писал же он своих удивительных русских девушек, своих героинь!

Помню, как Тургенев превосходно и с увлечением рассказывал об игре Виардо в «Пророке» и в «Жидовке». К ней же, конечно, относится и его вдохновенное, знаменитое стихотворение в прозе: «Стой!» Но не только нет нигде ее портрета: ни одного близко похожего характера, изображения властной, сильной и в то же время даровитой, артистической женской натуры мы не встречаем в его произведениях. Он как бы не дерзал касаться в литературе лица слишком близкого для него в жизни.

А между тем надежды на возможность перемены в его судьбе, горячие, хоть и неосновательные, возлагались не одним легкомысленным Топоровым. Были случаи, когда, по словам его близких друзей, что-то как будто бы и налаживалось.

Тургенев начинал заговаривать о том, чтобы подольше остаться в России, пожить у себя в Спасском. Молодые и интересные женщины гостили в его деревенском доме. Затевались общие литературные предприятия, начинались усовершенствования по усадьбе и по школе...

Но достаточно было малейшего подозрения там, в Париже, довольно было одного письма оттуда, из «Les Frênes» в Буживале, или из rue de Douai в Париже — и все завязывавшиеся связи мгновенно разрывались, и Тургенев бросал все и летел туда, где была Виардо.

В его произведениях есть несколько мест с описанием того, как нечто подобное случается или может случиться. Стоит вспомнить «Вешние воды», «Переписку» <...>

Свое «рабство» он сам нес покорно, но не безропотно. Бессильные и часто горькие жалобы вырывались у него по самым разнообразным поводам. В этом сходятся почти все воспоминания о нем.

Помню, как-то вечером пришел навестить его Яков Петрович Полонский, сам на этот раз также совсем больной. У него болели зубы, и голова была завязана голубой вязаной шелковой косынкой с длинной бахромой. Эта бахрома, перепутавшись с волосами и бородой, придавала необыкновенно забавный вид его больному лицу, так что,

несмотря на все сочувствие, трудно было удержаться от улыбки.

Но Тургенев не улыбался.

Он смотрел с серьезным и грустным видом и сказал:

— Вы смеетесь, а знаете ли, что я думаю? Я думаю, что вот эта косынка — женская косынка... И она дана и завязана была любящей рукой. Счастлив тот, подле кого есть такая рука. Не всякому отпущено это счастье судьбой.

— Человек своими руками творит свое *счастье*, — глубокомысленно заметил Топоров.

— Не всегда и не всякими руками можно это *сделать*, — улыбаясь, сказал Тургенев <...>

VI

Главное содержание разговоров с Тургеневым и самая большая для меня прелесть их были, разумеется, его рассуждения о литературе. Я наслаждалась беседой с человеком, для которого, как и для меня, герои романов, выдуманные люди, были часто реальнее, интереснее и ближе настоящих людей.

Помню длинный разговор о том, в какой мере и каким путем художник может пользоваться действительностью как материалом для своего литературного творчества. Тургенев разрешил этот вопрос наглядным примером, написав «Клару Милич».

Я долго не знала, с какой целью он подробно и настойчиво расспрашивал меня о моем знакомстве с А., с певицей К. Те же вопросы предлагал он также Ж. А. Полонской[4]. А затем мы обе прочли прекрасную повесть — и узнавали и не узнавали свои рассказы в художественном их претворении.

От литературы разговор нередко переходил к живописи и музыке. Тургенев не разделял моего пристрастия к Боттичелли и Гвидо Рени, хотя соглашался, что и у того и у другого есть хорошие вещи. В свою очередь, он называл мне свои любимые картины; между ними я помню «Юдифь» Аллори. Восхищался он также французскими художниками — Милле, Коро и в особенности Теодором Руссо, один из пейзажей которого, по его словам, он даже приобрел и поместил в своей парижской квартире.

Расспрашивая меня как-то о моих впечатлениях от петербургского Эрмитажа, он сказал с той милой болт-

ливостью, которая была у него иногда во время наших вечерних разговоров:

— Я иногда представляю себе, что если бы мне, положим, удалось оказать какую-нибудь необычайную услугу государю; он тогда призвал бы меня к себе и сказал: «Проси у меня, чего хочешь, хоть полцарства». А я бы ему отвечал: «Ничего мне не нужно; позвольте мне взять только одну картину из Эрмитажа».

Я, разумеется, заинтересовалась тем, какая это могла быть картина.

— Мадонна Мурильо? Della sedia? [5]

Но Тургенев качал головой.

— Нет, не угадаете. Не мадонна, а есть там одна рембрандтовская картинка. Вы ее и не заметили, вероятно. Она не бросается в глаза. Стена, темный фон, раскрытая дверь, а в дверях девочка стоит, в руках у нее метла. Стоит и смотрит перед собой. Больше ничего. Но какая сила жизни в этом лице! Да, вот это мастерство: суметь закрепить ее на полотне. Это лучше всяких мадонн <...>

Гораздо более, чем живопись, мне кажется, Тургенев любил и ценил музыку. Помню его восхищение Шуманом. Из русских композиторов того времени он особенно высоко ставил Чайковского.

Вспоминается мне один наш разговор по поводу русских песен. Тургенев рассказывал, как ему случилось обедать с англичанами в большом обществе в Лондоне. Среди присутствовавших находился Теккерей.

Разговор зашел о музыке, о народных песнях. Теккерей сказал, что не имеет понятия о русских песнях, и выразил желание послушать их.

Я не могу вспомнить теперь, кому пришлось исполнить это желание знаменитого писателя — самому ли Ивану Сергеевичу или тут был еще кто-нибудь из русских, который спел песню; но эффект пения получился совершенно неожиданный для меня.

Песня была выбрана прекрасная, старинная, — известная «Лучинушка».

Теккерей не дослушал ее до конца, повалился на диван и начал хохотать так, что весь его большой живот колыхался от хохота.

— Что же могло ему показаться таким смешным? Ну, а вы что же сделали? — спросила я.

— Что же я мог сделать! — возразил Тургенев. — Очевидно, ему были настолько чужды эти звуки... <...>

VII

<...> Помню, в то время и впоследствии меня поражали неутомимое внимание и серьезность, с которыми относился Тургенев к разговорам о литературной работе, к рукописям и к литературным планам самых наивных и неопытных начинающих писателей. Он не любил слова «писательница» и говорил, одинаково относя к женщине или к мужчине, что есть «писатель» и у каждого есть муза <...>

Была ли причиной этому близость открытия памятника Пушкину или необыкновенная любовь к нему Тургенева, но мы всего чаще говорили с ним о Пушкине. Мы оба многое знали из него наизусть, и Иван Сергеевич заставлял меня произносить целые главы из «Евгения Онегина».

Помню, как на строфе:

...с каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны, —

он меня остановил и сказал:

— Заметили ли вы это выражение: «С каким тяжелым умиленьем»? А! Понимаете ли вы, как это сказано? Я дал бы себе отрезать по мизинцу на каждой руке за то, чтобы суметь так сказать. Вот что нужно изучать, учить *наизусть*, — стихи и прозу. Вот вам образец!

ИНОСТРАННЫЕ МЕМУАРИСТЫ О ТУРГЕНЕВЕ

ЛЮДВИГ ПИЧ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

I

Я рассказывал уже читателям «Schlesische Zeitung» в фельетоне под заглавием «Майские дни в Париже», — каким я его тогда нашел. Великий, красивый и добрый, — так определил Тургенева один из парижских писателей; таким он был как человек и как автор; таковы же были его ум, сердце и наружность. Таким он был, когда я в последний раз был у него в Париже, в доме № 50, на улице Дуэ (rue de Douai), когда красивая могучая рука его жала мою руку и он в последний раз обратил ко мне на прощанье свое величавое лицо, окаймленное бородой и длинными белоснежными волосами, с милой грустной улыбкой в серокарих глазах поэта. Таким же видел я его, когда в первый раз встретился с ним, в незабвенный для меня ноябрьский вечер 1846 года, в Берлине [1], на лестнице старой газетной читальни Юлиуса, на углу улиц Обервальштрассе и Егерштрассе. Спускаясь по лестнице, я остановился, как бы очарованный видом могучей фигуры и лица молодого иностранца, закутанного в шубу и подымавшегося мне навстречу. Никогда я не испытывал подобного впечатления от одной наружности человека; никогда мое чувство не подсказывало мне так непосредственно и инстинктивно: «Это необыкновенный человек!» Мог ли я тогда предвидеть, какое сильное влияние будет иметь этот человек несколько лет спустя на вторую половину моей жизни? Тогда его волосы, поседевшие после 1868 года, были еще темно-русыми

и, вместо бороды, только короткие русые усы затеняли его верхнюю губу. Головой и ростом он напоминал нам Петра Великого в молодости, хотя он и не имел ничего общего с полудикой и необузданной натурой великого преобразователя России. Эти массивные голова и тело вмещали в себе утонченный ум, добрую и мягкую, гуманную душу. Это был человек, не сделавший никому ни малейшего вреда, кроме разве животных, убитых им на охоте, так как он всю свою жизнь был страстным и неутомимым охотником.

Через несколько дней после этой первой встречи меня представил один мой приятель, который шесть лет тому назад близко познакомился с Тургеневым. Это произошло в известной пивной Шейбле, на углу Францёзишер и Маркграфенштрассе, которую в то время посещали все выдающиеся представители наук и искусств. Мой знакомый много рассказывал мне о молодом талантливом русском, Иване Тургеневе, которого он, к немалому его удивлению, за два дня до того, снова встретил в Берлине. Незадолго до полуночи в пивную вошел тот иностранец, которого я встретил на лестнице читальни, и наш общий знакомый представил нам его как коллежского асессора Ивана Тургенева из С.-Петербурга. Он не только свободно говорил по-немецки, но и обладал редко встречающейся меткостью, полнотою и ясностью выражений. Как это бывает в богатых русских домах, ему пришлось еще в детстве изучить, параллельно с его родным языком, французский, немецкий и английский языки. Вскоре я мог убедиться, что первое впечатление, произведенное им на меня, меня не обмануло. Русский гость с первого же вечера стал центром нашего кружка: все его слушали с благоговением, как очарованные.

Ни у кого, кроме Тургенева, мы не встречали такой утонченности чувств, такого оригинального уменья все видеть и подобного искусства все виденное и пережитое представить слушателю вполне наглядно, с живостью и меткой определительностью, со всеми подробностями и со всей привлекательностью и очарованием поэтического изображения, при всей сжатости рассказа. Самые талантливые поэты и художники, члены этого кружка, как все идеалисты того времени, склонные к умозрительности, не обладали таким врожденным пониманием природы и уменьем схватывать действительность, что, впрочем, вполне объясняется абстрактностью нашего воспитания. Тем сильнее и новее было впечатление от беседы Тургенева.

Причины, побудившие Тургенева в ноябре 1846 года опять приехать в Берлин, задержали его, к немалому нашему удовольствию, до июня месяца следующего года. Как Гете в Веймаре, во время его юности, и Тургенев мог сказать про себя: «Из дальних стран я заброшен судьбою и прикован здесь дружбою». Это была дружба с гениальной драматической певицей Полиной Виардо-Гарсиа, которая не имела достойных ее соперниц на оперной сцене и была во многих отношениях замечательной женщиной, а также и с ее мужем, французом, искусствоведом, критиком, Луи Виардо. Артистка перед этим вернулась из России, где в обеих столицах возбудила доходивший до пароксизма энтузиазм легко воспламеняющейся и страстно любящей музыку русской публики. На обратном пути из Петербурга в Париж, в сентябре 1846 года, артистка в продолжение трех месяцев участвовала в гастролях итальянской оперы в Берлине, а с 1 января 1847 года вступила на пять месяцев с лишком в берлинскую королевскую оперу. Этому обстоятельству мы и обязаны приездом Тургенева в Берлин, и долгим его пребыванием там, вместе с семьей, с которой он сблизился. Счастливое и незабвенное для нас время, проведенное с ним и с знаменитой артисткой в течение зимних и весенних месяцев этого года! Удивительнее всего, что Тургенев, против обыкновения всех литераторов, ни одним словом не обмолвился тогда о том, что в его отечестве он уже был известен как выдающийся писатель. Очень часто, под впечатлением его художественного рассказа и всего его существа, я говорил ему: «Вы истинный поэт! вы великий, единственный в мире рассказчик! как вы говорите, так вы должны бы и писать. Тогда ваш народ и весь свет узнают вас и будут удивляться вам». Улыбаясь, он отклонял эти похвалы и у в е р я л , — о, лицемер! — что в нем нет ничего поэтического. Наши познания о тогдашней русской литературе были очень незначительны, и так как он сам нам ничего о себе не сообщал, то мы и не знали ни об его рассказе в стихах «Параша», ни об его очерках и рассказах из русской жизни, уже тогда написанных и помещенных им в русских периодических изданиях. Даже и впоследствии, когда он был уже на высоте своей славы, он никогда не гордился своими произведениями и ничем не содействовал возвеличению и блеску своего имени иначе как своими творениями.

Глубокая тоска, уживавшаяся с великолепным юмором и любовью к природе, уже тогда, в дни его юности

и силы, проглядывала в его произведениях и придавала им своеобразный колорит <...>

Через шестнадцать лет после нашего последнего свидания я снова встретился с Тургеневым в доме Виардо в Париже. В первый раз тогда я увидел «столицу цивилизации» и вступил в дом знаменитой артистки [2]. Совершенно неожиданно и к большому моему удовольствию я увидел там знакомую фигуру поэта, столь же величественную и красивую, как некогда в Берлине. Только белизна волос и бороды доказывала, что он постарел; во всех остальных отношениях он ничуть не изменился и сохранил те же убеждения и симпатии. Связь, возникшая между нами в юности, вновь была скреплена прочно и надолго. К сожалению, мне удалось только несколько дней наслаждаться счастьем нашего свидания в Париже. Виардо, со всей своей семьей, решился уже оставить столицу, пока она будет служить местопребыванием преступника 2 декабря (Наполеона III), и Тургенев, конечно, не пожелал остаться один, без друзей, в Париже, где он жил уже несколько лет. После прощального представления, которое m-me Виардо дала в Théâtre lyrique — она играла чуть ли не в сотый раз в «Орфее» Глюка, при бесконечных аплодисментах [3], — все они уехали из Парижа, чтобы поселиться отныне в Тиргартентале близ Баден-Бадена. Там г. Виардо приобрел себе виллу, окруженную садом, у подножья лесистых Зауербергских гор; Тургенев пока удовольствовался квартирой, нанятой им в Шиллергассе. Я должен был дать обещание, что на обратном пути заеду в Баден-Баден и несколько дней проведу у Ивана Сергеевича. При отъезде он дал мне все свои сочинения, написанные после «Записок охотника», в превосходных французских переводах, отредактированных самим автором, в числе которых я забыл упомянуть прекрасное произведение «Рудин» *. Тогда только мне удалось вполне узнать и оценить поэтическую силу и художественность Тургенева, во всем их величии, чистоте и изяществе. Я припоминаю, что в продолжение целых дней, позабывши совершенно цель моего приезда в Париж, я углублялся в чтение произведений моего друга, очарование которых вполне завладело мной.

Незачем говорить, с каким удовольствием я навестил его по отъезде из Парижа. Но действительность превзошла все мои надежды и мечты. Кто не бывал в этом раю долин и лесов, на берегу Ооса, в период его процветания, пред франко-прусской войной, тот не может верно пред-

ставить себе привлекательности этой местности, соединявшей тогда весьма разнородные общественные элементы. Любители всевозможных развлечений, разнообразных туалетов и нарядов могли находить не мало удовольствия в лицезрении этой, составленной из представителей всех наций мира, маскарадной толпы, собиравшейся на летний сезон в Баден-Бадене и появлявшейся всюду, как в конверсационсгаузе, так и в величественных руинах замка Пфорцгейма. Весь шум и блеск этого своеобразного мирка не в состоянии был нарушить тишину Лейвальдских долин, выходящих прямо на Лихтентальскую аллею, и лесистых высот, опьяняющих своим благоуханием. Здесь жили преимущественно люди, чуждавшиеся шумных удовольствий, но тем не менее представлявшие собою избранный круг баденского общества.

Дом Виардо в Тиргартентале составлял центр этого кружка. Уже в первый год пребывания там семейство Виардо построило в своем обширном саду нечто вроде храма искусства, в большом зале которого поставлен был орган артистки и помещены лучшие из картин, собранных Луи Виардо. Там с 1864 года составлялись по воскресеньям столь прославившиеся музыкальные утренники. Самые высокопоставленные лица из посетителей Баден-Бадена считали за честь и счастье быть приглашенными на эти утренники, а «рыцарям и аристократам духа» открыт был туда еще более свободный доступ. Семейство Виардо и Тургенев настолько полюбили эту местность, что не покидали ее даже зимою; изредка лишь, и то только в случае крайней необходимости, наш писатель решался на поездку в Россию. Ему нужно было видеть своих русских друзей, наполниться впечатлениями русской жизни и побывать в своем имении. Поездку эту он всякий раз откладывал, насколько возможно, но никакое препятствие не могло помешать ему возвратиться к 18 июлю, дню рождения Полины Виардо. С полным довольством, заменившим прежнее его меланхолическое настроение, Тургенев наслаждался своей жизнью в Баден-Бадене. На мою долю выпало редкое счастье проводить ежегодно около двух месяцев с моими друзьями. Уже в 1865 году Тургенев, не рассчитывая до конца жизни расстаться с нашим очаровательным уголком, купил большой участок земли, прилегающий к парку виллы Виардо и вдающийся еще глубже в лесистые горы и роскошные луга Тиргартенталя. На этом запущенном участке росло много фруктовых деревьев, и он заклю-

чал в себе особенно дорогое поэту сокровище — источник свежей воды. Тургенев гордился им, хотя сам выражался не без примеси иронии о своем чувстве. На этой земле парижский архитектор построил ему большую виллу, в виде замка, в стиле Людовика XIII, превратив всю окружающую местность в сад. Фасад этого строения, крытого аспидным камнем, с крутой крышей и высокими красивыми трубами, на высоком фундаменте, был обращен к заведению для лечения сывороткой у подошвы Зауерберга. Тургенев переселился туда лишь в 1867 году. После моего первого десятидневного пребывания в Баден-Бадене, когда я прощался с Тургеневым, меня отпустили, взявши обещание каждое лето возвращаться к нему на более продолжительное время. Могу вас уверить, что мне не нужно было особенного призыва, пробуждавшего во мне каждой весной непреодолимое желание — видеть это прекрасное место и его обитателей и являвшегося мне в виде письма от моих друзей, лаконически гласившего: «La chambre de Pietsch est prête * и ждет своего жильца». В присутствии Тургенева и его близких друзей самый требовательный ум ощущал чувство удовлетворения всех своих желаний и сознания полнейшего счастья. Как ни велико богатство наблюдательности и поэзии, обнаруженное Тургеневым в его произведениях, все-таки оно было только частицей того, что выливалось из его уст в присутствии его друзей, освежая и нежа вас, как тот ручей, которым он так гордился. Если бы кто-нибудь стенографировал все рассказы и анекдоты из личной жизни, результаты непрерывного наблюдения природы и людей, все глубокие и оригинальные мысли Тургенева, эти золотые изречения, не заключавшие в себе ни одной громкой или вульгарной фразы, эти суждения, точные, правдивые и логичные, с неумолимым презрением клеймящие всякую ложь, даже и в искусстве, если кто-либо сделал это, — подобно Эккерману, записывавшему разговоры Гете, тот собрал бы неоценимую сокровищницу вечной красоты и мудрости. Тому, кто пользовался такой полнотой жизни, как я тогда у Тургенева, следовало бы иметь иной характер, нежели пишущему эти строки, чтобы собирать и заботиться о том времени, когда уже ничего этого не будет. За утренним чаем в саду, в маленьком открытом павильоне, около которого протекал упомянутый ручеек, за завтраком, сидя

* Комната Пича готова (*фр.*).

со мной в столовой, обшитой деревянными панелями, широкие окна которой выходили на свежие зеленые луга, окаймленные темным горным лесом, Тургенев раскрывался весь. Он полными пригоршнями расточал драгоценные сокровища своего сердца и ума. Надо было только воспользоваться всем этим, чтобы иметь на всю жизнь обильный материал для размышлений.

Это были для него плодотворные годы. Я, находясь тут же, как бы присутствовал в его творческой мастерской. Некоторые из его повестей и фантастических произведений, написанных в Бадене, я проследил от первоначального замысла их до окончательной отделки; я видел, как они мало-помалу выделялись из мрака небытия. Его способ концепции был также своеобразен, как и вся его натура. Он обладал счастливым уделом, выпадающим на долю весьма немногих, — работать не из-за куска хлеба. Он был по природе ленив: в его крови глубоко жила «обломовщина». Он брался за перо почти всегда под влиянием внутренней потребности творчества, не зависевшей от его воли. В течение целых дней и недель он мог отстранять от себя это побуждение, но совершенно от него отделаться он был не в силах. Образы, вызываемые личными воспоминаниями, картины, сохранившиеся в его памяти, возникали в его фантазии неизвестно почему и откуда и все более и более осаждали его и заставляли его рисовать — какими они ему представляются, и записывать, что они говорят ему и между собою. Часто слышал я, как он во время этих рабочих часов, под влиянием непреодолимой потребности, запирался в своей комнате, и, подобно льву в клетке, шагал и стонал там. В эти дни, еще за утренним чаем, мы слышали от него трагикомическое восклицание: «Ох, сегодня я должен работать!» Раз усевшись за работу, он как бы физически переживал все то, о чем писал. Когда он однажды писал небольшой, безотрадный роман «Несчастная», из воспоминаний его студенческих лет, сюжет которого развивался почти помимо его воли, при описании особенно запечатлевшейся в его памяти фигуры покинутой девушки, стоящей у окна, он был в течение целого дня совершенно больным. «Что с вами, Тургенев? Что случилось?» — «Ах, она должна была отравиться! Ее тело выставлено в открытом гробу в церкви, и, как это у нас принято в России, каждый родственник должен целовать мертвую. Я раз присутствовал при таком прощании, а сегодня я должен был описать это, и вот у меня весь день

испорчен». Читая его произведения, чувствуешь, как автор переживал с своими героями все их страдания. Даже Флобер, Золя и их последователи не обладают в большей степени этим ценным даром реалистического писателя. Но Тургенев превосходит их всех в другом отношении, а именно: чистотой души и изяществом облагороженного вкуса, никогда не запятнавшим себя изображением соблазнительных картин; во всех его произведениях, как бы ни была горяча пульсировавшая в них страсть, исключены все те стороны ее, разъяснению которых его французские товарищи-натуралисты предавались с таким нескрываемым удовольствием. Первое произведение Тургенева, написанное им в Баден-Бадене, был фантастический рассказ «Призраки», в котором старались найти символическое значение, тогда как он не что иное, как сон реалиста. Боденштедт, в своем мастерском переводе этого произведения, назвал его: «Die Erscheinungen», и оно было напечатано, вместе с другими так же мастерски переведенными им произведениями Тургенева, как-то: «Фауст», «Первая любовь», «Пасынков», «Постоялый двор» и «Муму» [5]. Боденштедт, качества которого как переводчика Тургенев всегда ценил по достоинству, прислал ему свой перевод для просмотра. Никогда не забуду я тот августовский вечер, когда в маленьком, интимном салоне виллы Виардо, из окон которого видны были вершины Меркурия, озаренные горячим солнцем, Тургенев, вместе с хозяйкой дома и со мной, принялся за шлифовку этого перевода. Имея в руках русский оригинал, он обдумывал каждое слово, которое я ему прочитывал из рукописи Боденштедта; он спрашивал наше мнение, и потом большинством голосов решалось, какое из немецких выражений точнее передавало все оттенки русского подлинника. К сожалению, ему редко удавалось проследить таким образом переводы его произведений, сделанных другими немецкими переводчиками, нередко искажавшими их смысл.

Оба тома боденштедтовских переводов Тургенева навсегда останутся неподражаемыми. Автор «Мирзы Шаффи», по поводу другой такой же работы, находился в постоянных письменных сношениях с нашими общими друзьями; он перевел на немецкий язык более двадцати русских песен, которые Тургенев вместе с г-жой Виардо выбрали для того, чтобы положить их на музыку [6]. Для той же цели наш русский друг сам написал несколько стихотворений, хотя и уверял нередко, что бог поэзии не ода-

рил его способностями поэта, несмотря на то что за такой талант он охотно отдал бы все, написанное им <...>. Впрочем, в этот счастливый баденский период Тургенев писал не одни только русские стихотворения для своей приятельницы, которая их перекладывала на музыку, но и сочинил для нее три французские оперетки. Дом госпожи Виардо в Бадене считался в те годы как бы высшей школой пения, куда являлись юные таланты из всех стран, чтобы поучиться у знаменитой артистки, у которой уменье преподавать равнялось ее творческому гению. Особенно старалась она доставить молодым женщинам разных национальностей случаи попробовать себя в маленьких легких драматических партиях. Для этого, однако, нужно было найти оперетки, в которых все роли, за исключением одного или двух лиц, могли быть исполнены певицами. С этой целью Тургенев написал три веселых фантастических оперетки, драматизированные сказки, исполненные грациозного юмора и тонкой прелести: «Le dernier des sorciers», «L'ogre» и «Trop de femmes». Госпожа Виардо написала к ним музыку[7] и иногда принимала на себя исполнение роли влюбленного принца, писанную для альта; когда случалось, что в числе друзей Виардо недоставало баритона, Тургенев не считал для себя унизительным играть роль старого колдуна, паши или людоеда, которого дразнили и мучили или прелестные эльфы, или слишком многочисленные жены его гарема и, несмотря на его гигантский рост и силу, побеждали. Большая зала его замка, первый этаж которого он занимал сам, а второй я, легко превращалась в сцену. Если г-жа Виардо не участвовала сама, она исполняла роль оркестра и капельмейстера, сидя за роялем. Эти маленькие представления давались иногда в присутствии такой публики, которую редко можно встретить в частных домах. Король Вильгельм и королева Августа сидели там в первом ряду кресел, окруженные избранной баденской публикой, которая по воскресеньям во время музыкальных утренников наполняла органную залу и сад. Королевская чета, в продолжение десятков лет, привыкла видеть в хозяйке дома не только светскую даму, но и выдающуюся артистку, и нередко случалось, что, по окончании представления, их величества оставались на чай, участвуя в непринужденной беседе друзей дома.

В Баден-Бадене каждый вечер посвящался музыке, самой избранной, в особенности немецкой, исполнявшейся как членами семейства, так и гостями. Тургенев не мог

наслушаться этой музыки и чувствовал себя на верху полнейшего блаженства, в особенности, если днем он мог заняться другим любимым своим развлечением — охотой. С половины августа на него, так же как и на его собаку Пегаса, про которого говорили, что хозяин любил своего четвероногого друга более нежно, чем иных людей, нападало особенное беспокойство: они едва могли дождаться первого дня охоты; тогда уже нельзя было удержать их. С Луи Виардо, который всю жизнь был таким же страстным охотником, и с двумя собаками Тургенев садился в коляску, увозившую их на место, нанятое для охоты, или же в имение кого-нибудь из их друзей. Только вечером, всегда с богатой добычей, они возвращались на виллу, выходив по солнцу неисчислимое количество верст, потом принимались за обед, а после обеда за музыку. Никогда ранее часу или двух часов ночи мы не оставляли с Тургеневым дома, где наслаждались превосходным музыкальным исполнением. А затем мы возвращались с Тургеневым, в эти теплые ночи августа или сентября, после стольких часов наслаждения, унося с собою в душе отголоски слышанных нами очаровательных мелодий. Как много он всегда умел сказать и как он умел передать все, что чувствовал и мыслил! Из лежащего вблизи леса слышался крик совы, а из саду приветливое журчанье ручья; тихо шелестели в ночной тишине листья ореховых и грушевых деревьев; спелые плоды падали с отяжелевших ветвей; Пегас чуял что-то и ворчал. Над лугами расстилался беловатый туман, сквозь который проглядывала луна или блестели звезды <...> Мне трудно было оторваться от друга и возвращаться в свою спальню, и нередко утренняя заря встречала нас вместе стоящими на пороге — его неутомимо рассказывающим, а меня с увлечением слушающим <...>

При всех своих поездках в Россию, в период его пребывания в Баден-Бадене, Тургенев всегда посещал Берлин. Он бывал и в других немецких городах: в Веймаре, Штутгарте, Мюнхене и Вене. Но особенно часто он ездил в Париж; там я провел с ним часть лета 1867 года, во время всемирной выставки. В упомянутых немецких городах он обновлял старые отношения и завязывал новые с выдающимися писателями и артистами. Я всегда с удовольствием вспоминаю, что мне удавалось служить посредником при завязыванье этих отношений, со временем превращавшихся в дружеские. Я могу назвать прежде всего Юлиана Шмидта, Адольфа Менцеля и Рейнгольда Бегаса. Та-

лантливость, серьезность, внутренняя правдивость, откровенный и верный взгляд на жизнь, которые Тургенев нашел в произведениях Менцеля, восхищали его и сделали из него горячего поклонника искусства и личности этого несравненного мастера [8]. Юлиан Шмидт, не читавший до того времени ни одной строки русского писателя, после того стал одним из его искреннейших почитателей и распространителей его произведений в Германии. В его очерках мы встречаем наиболее глубокую и верную оценку сочинений Тургенева из всего, что было писано на немецком языке об этой «величайшей поэтической силе нашего времени», как Юлиан Шмидт однажды назвал Тургенева [9].

Все на свете имеет конец, и то, что нам кажется прекраснейшим, оканчивается всего скорее. Если судить по их прелести, эти годы очаровательной жизни в Баден-Бадене длились сравнительно очень долго, но и им пришел конец. Причиною того была франко-прусская война. Мы оба предвидели ее, когда Тургенев, после продолжительного пребывания в России, на обратном пути в Баден-Баден, проезжал через Берлин, в достопамятный день 15 июля 1870 года. Тогда уже не было возможности сомневаться относительно близости войны. С минуты на минуту ожидался приезд короля и принцев, народ толпился на улицах в крайне возбужденном состоянии. Все это произвело на Тургенева очень сильное впечатление; уверенность в торжестве правого дела, наполнившая каждого из нас, повлияла и на Тургенева, которому имперский блеск французского двора никогда не внушал уважения. Мы обедали вместе за табльдотом в гостинице «Санкт-Петербург», когда вошел высокий, не молодой уже офицер и сел за стол против нас. Я взглянул на него: это был граф Мольтке. Видя его таким спокойным в подобное время, как будто ничего не случилось, обедающим вместе с другими посетителями, не выказывающим ни одним движением лица душевного волнения, которого он не мог не испытывать вследствие лежащих на нем забот, даже у Тургенева вера в нашу победу перешла в основательную уверенность. Друзья Тургенева в Баден-Бадене не были бы настоящими французами, Луи Виардо не был бы убежденным республиканцем, если бы они после Седана не отнеслись горячо к осаде Парижа, страданиям Франции и бомбардировке Страсбурга. Приехав, после взятия Страсбурга, в октябре, в любимую местность, я убедился, что очаровательные дни навсегда окончились. В ту же осень семья Виардо и

Тургенев переселились в Лондон. На следующее лето, однако, они возвратились в Париж [10], с намерением остаться там навсегда. Тургенев поселился в доме своего друга в rue de Douai, во втором этаже... Париж и его писатели приняли с большой радостью и почестями знаменитого гостя, возвращенного французскому обществу. Скоро были забыты даже насмешки над столицей Франции и ее населением (напр., в «Призраках»), забыты так же легко и скоро, как земляки писателя позабыли обиду, нанесенную им в «Дыме». Так как он писал свободно по-французски, на него скоро привыкли смотреть как на француза в душе и как на французского литератора. Упоминая об этом, считаю долгом опровергнуть ошибочное мнение, будто Тургенев свои последние произведения писал по-французски, что еще недавно было высказано в одной известной газете. Кроме трех упомянутых уже мною оперетoк и одной пьески, которую он написал однажды в Баден-Бадене, под названием «L'auberge au grand sanglier», он ничего больше не писал по-французски, кроме писем. Он всегда высказывал, что для него непонятно, как можно описывать происходящее в душе поэта на каком бы то ни было языке, кроме родного. Тем не менее справедливо, что он участвовал в переводе большинства его романов и повестей на французский язык, сделанном его другом Виардо, вследствие чего эти переводы значительно превосходят немецкие.

Он не нашел уже в Париже своего великого литературного друга Проспера Мериме, талант которого и писательский почерк во многом совпадали с тургеневскими. Этот писатель, познакомивший французскую публику с русским автором своим блестящим предисловием к переводу романа «Отцы и дети» [11], умер в 1870 году, вскоре после падения империи. Зато Тургенев нашел еще в полном цвете сил поэтического творчества наиболее уважаемого им серьезного и истинного мастера прозы Густава Флобера. Уже в 1864 году мой друг, передавая мне его первое мастерское произведение «Мадам Бовари», написал на нем следующие замечательные слова: «Это единственный хороший роман во французской литературе». То же, что привязывало Тургенева к Менцелю в области пластического искусства, сблизило его с Флобером и послужило основанием их прочной дружбы. Как у немецкого живописца, так и у французского романиста он находил серьезное, благоговейное отношение к делу, неподкупную любовь к правде, откровенность и строгость художественной совести, кото-

рые казались ему, наряду с талантливостью, первыми основами и главными условиями настоящего искусства. Вокруг Флобера и Тургенева группировались таланты молодой, тогда еще только пробовавшей свои силы, натуралистической школы. Названные качества привлекли его также к Эмилю Золя, хотя чувство Тургенева возмущалось иногда отсутствием вкуса у этого писателя и его непреодолимой склонностью все называть своим именем, ничего не утаивая. В начале семидесятых годов новая страсть развилась у Тургенева, страсть, которая проявляется при продолжительном пребывании в Париже более, чем где-либо, — к собиранию коллекции картин и безделушек. Он сделался одним из постоянных посетителей отеля Друо и магазинов антиквариата в Париже. Его небольшая квартира скоро наполнилась отборными произведениями старой голландской и современной французской живописи, в особенности великих пейзажистов Диаса и Руссо. Коллекция бронзовых и фарфоровых вещиц из Китая и Японии каждый год пополнялась новыми дорогими экземплярами <...>

Многие даже из ближайших его друзей не знают, что в это время, когда Тургеневым все более и более овладевала старческая тоска, он написал много поэтических видений, воспоминаний и аллегорий глубоко пессимистического содержания, замечательных то грандиозной смелостью, то увлекательной грацией рисунка. Он называл эти произведения «senilia» — сновидения старца. Многие из них он действительно видел во сне, как, например, фантастический рассказ «Старуха», в котором так наглядно изображает неизбежность смерти. Однажды летом в Берлине, проводя вечер с Юлианом Шмидтом и мною, он нам рассказал этот сон. У нас выступил холодный пот <...>

С 1875 года я ежегодно раз или два бывал в Париже и иногда подолгу оставался там, причем в rue de Douai или на вилле в Буживале я находил такой же дружески-радушный прием, как и в Баден-Бадене, хотя и при изменившейся обстановке. Кроме того, мы имели счастие видеть Тургенева и в Берлине: при каждом проезде его в Петербург или обратно он останавливался там на день или на два. Каждый из этих дней был для нас праздником, который он украшал блеском ума. Низкая брань, которою осыпали его на родине за его «Новь», вызвала в нем решение никогда ничего более не писать и не печатать. И действительно, несколько лет сряду он оставался верен этому решению и не страдал от этого, если не счи-

тать его подагру, заставлявшую его неоднократно, но безуспешно посещать Карлсбад и другие курорты. В мае 1881 года, отправляясь в Россию, он снова остановился в Берлине. На этот раз он предполагал остаться в России на более продолжительное время: он чувствовал потребность увидеть свое отечество при новом правительстве, после ужасной катастрофы. В конце сентября он возвратился.

Даже и в прежние годы я не видал его в таком свежем и ясном настроении, как тогда; но его глубоко поразило, что наша общая приятельница, Кати Эккерт, у которой мы только четыре месяца тому назад весело беседовали за обеденным столом, умерла. Впрочем, никакая печаль не могла долго противостоять радостному чувству, испытанному им в отечестве, во время пребывания в деревне в обществе знаменитого коллеги графа Толстого, автора романа «Война и мир», и его кружка. Он уверял нас, что нашел много новых прекрасных тем для будущих произведений и что он снова начнет писать, не заботясь о том, что нарушает данное обещание [12]. Он выехал из Берлина, преисполненный радостных надежд, не подозревая, что это был последний приезд его к нам.

ГИ ДЕ МОПАССАН

ИВАН ТУРГЕНЕВ

Великий русский романист Иван Тургенев, избравший Францию своим новым отечеством, на днях скончался после мучительной агонии, длившейся почти целый месяц.

Он был одним из замечательнейших писателей нынешнего столетия и в то же время самым прямым, самым искренним и самым честным человеком, каких только можно встретить.

Доводя свою скромность почти до смирения, он не желал, чтобы о нем писали в газетах, и не раз бывало, что статьи, в которых его восхваляли, воспринимались им как оскорбление, ибо он не допускал, что можно писать о чем-либо, кроме литературных произведений. Даже критика литературного творчества казалась ему простой болтовней, и когда какой-то журналист в статье по поводу одной из его книг сообщил некоторые подробности о нем самом и его частной жизни, он пришел в настоящее негодование, испытывая своего рода стыд писателя, у которого скромность кажется целомудрием [1].

Теперь, когда этого великого человека не стало, скажем в нескольких словах, кем он был.

Ивана Тургенева я увидел впервые у Густава Флобера.

Дверь отворилась. Вошел великан. Великан с серебряной головой, как сказали бы в волшебной сказке. У него были длинные седые волосы, густые седые брови и большая седая борода, отливавшая серебром, в в этой сверкающей снежной белизне — доброе, спокойное лицо с немного круп-

ными чертами. Это была голова Потока, струящего свои воды, или, что еще вернее, голова Предвечного отца.

Тургенев был высок ростом, широкоплеч, сложения плотного, но не тучного, — настоящий колосс с движениями ребенка, робкими и осторожными. Голос его звучал очень мягко и немного вяло, словно язык был слишком тяжел и с трудом двигался во рту. Иногда, желая дать для выражения своей мысли точное французское слово, он запинался, но всегда находил его удивительно верно, и эта легкая заминка придавала его речи какую-то особенную прелесть. Он чудесно рассказывал, сообщая самому незначительному факту художественную ценность и своеобразную занимательность, но его любили не столько за возвышенный ум, сколько за какую-то трогательную наивность и способность всему удивляться. И он в самом деле был невероятно наивен, этот гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на своем родном. Его удивляли и приводили в недоумение такие вещи, которые показались бы совершенно понятными любому парижскому школьнику.

Можно было подумать, что жизненная реальность вызывала в нем какое-то болезненное ощущение, ибо ум его, не удивляясь ничему, что написано на бумаге, возмущался при одном намеке на какие-либо житейские обстоятельства. Возможно, что его крайнее прямодушие и огромная врожденная доброта оскорблялись при столкновении с грубостью, порочностью и лицемерием человеческой природы, в то время как его ум в минуты одиноких размышлений за письменным столом, напротив того, помогал ему постигать жизнь и проникать в нее до самых ее позорных тайников, подобно тому как наблюдают из окна уличные происшествия, не принимая в них участия.

Это был человек простой, добрый и прямой до крайности; он был обаятелен, как никто, предан, как теперь уже не умеют быть, и верен своим друзьям — умершим и живым.

Его литературные мнения имели тем большую ценность и значительность, что он не просто выражал суждение с той ограниченной и специальной точки зрения, которой все мы придерживаемся, но проводил нечто вроде сравнения между всеми литературами всех народов мира, которые он основательно знал, расширяя, таким обра-

зом, поле своих наблюдений и сопоставляя две книги, появившиеся на двух концах земного шара и написанные на разных языках.

Несмотря на свой возраст и почти уже законченную карьеру писателя, он придерживался в отношении литературы самых современных и самых передовых взглядов, отвергая все старые формы романа, построенного на интриге, с драматическими и искусными комбинациями, требуя, чтобы давали «жизнь», только жизнь — «куски жизни», без интриги и без грубых приключений.

Роман, говорил он, — это самая новая форма в литературном искусстве. Он с трудом освобождается сейчас от *приемов феерии,* которыми пользовался вначале. Благодаря известной романтической прелести он пленял наивное воображение. Но теперь, когда *вкус* очищается, надо отбросить все эти низшие средства, упростить и возвысить этот род искусства, который является искусством жизни и должен стать историей жизни.

Когда Тургеневу рассказывали о том, в каком количестве расходятся известные книги соблазнительного жанра, он говорил:

— Людей пошлого склада ума гораздо больше, чем людей, одаренных умом утонченным. Все зависит от уровня той интеллектуальности, к которой вы обращаетесь. Книга, нравящаяся толпе, чаще всего нам вовсе не нравится. А если она нравится нам, как и толпе, то будьте уверены, что это происходит по совершенно противоположным причинам.

Благодаря могучему дару наблюдательности, которым обладал Тургенев, ему удалось заметить пробивающиеся ростки русской революции еще задолго до того, как это явление вышло на поверхность. Это новое состояние умов он запечатлел в знаменитой книге *«Отцы и дети».* И этих новых сектантов, обнаруженных им во взволнованной народной толпе, он назвал *нигилистами,* подобно тому как натуралист дает имя неведомому живому организму, существование которого он открыл.

Вокруг этого романа поднялся большой шум. Одни шутили, другие негодовали; никто не желал верить тому, о чем возвещал писатель: прозвище «нигилисты» так и осталось за нарождающейся сектой, существование которой вскоре уже перестали отрицать.

С тех пор Тургенев следил с бескорыстной страстью художника за развитием и распространением революцион-

ной доктрины, которую он предугадал, распознал и сделал общеизвестной.

Не принадлежа ни к какой партии, часто подвергаясь нападкам со стороны то одних, то других, довольствуясь наблюдениями, он опубликовал последовательно «Дым» и «Новь» — книги, в которых показаны нагляднейшим образом этапы пути нигилистов, сила и слабость этих беспокойных умов, причины их слабости и их успеха.

Тургенев, боготворимый либеральной молодежью, встречавшей каждый его приезд в Россию овациями, вызывавший опасения правительства и подозрительность крайних партий, был окружен всеобщим восхищением и все же неохотно возвращался всякий раз в свою страну, которую горячо любил: он не мог забыть тех дней тюрьмы, которые постигли его в связи с появлением «Записок охотника».

Здесь не место анализировать творчество этого выдающегося человека, который останется одним из величайших гениев русской литературы. Наряду с поэтом Пушкиным <...>, которым он страстно восхищался, наряду с поэтом Лермонтовым и романистом Гоголем он всегда будет одним из тех, кому Россия должна быть обязана глубокой и вечной признательностью, ибо он оставил ее народу нечто бессмертное и неоцененное — свое искусство, незабываемые произведения, ту драгоценную и непреходящую славу, которая выше всякой другой славы! Люди, подобные ему, делают для своего отечества больше, чем люди вроде князя Бисмарка: они стяжают любовь всех благородных умов мира.

Он был во Франции другом Густава Флобера, Эдмона Гонкура, Виктора Гюго, Эмиля Золя, Альфонса Доде и всех известных современных художников.

Он любил музыку и живопись, жил в атмосфере искусства, откликался на все утонченные впечатления, на все неопределенные ощущения, даваемые искусством, и без конца стремился к этим изысканным и редким наслаждениям.

Не было души более открытой, более тонкой и более проникновенной, не было таланта более пленительного, не было сердца более честного и более благородного.

ЭДМОН И ЖЮЛЬ ДЕ ГОНКУР

ИЗ «ДНЕВНИКА»

ГОД 1863

28 февраля

Обед у Маньи. Шарль Эдмон привел к нам Тургенева — русского, который обладает таким изысканным талантом, автора «Записок русского помещика», «Антеора» и «Русского Гамлета»[1].

Это очаровательный колосс, нежный беловолосый великан, он похож на доброго старого духа гор и лесов, на друида и на славного монаха из «Ромео и Джульетты». Он красив какой-то почтенной красотой, величаво красив, как Ньеверкерк. Но у Ньеверкерка глаза цвета голубой обивки на диване, а у Тургенева глаза как небо. Добродушное выражение глаз еще подчеркивается ласковой напевностью легкого русского акцента, напоминающей певучую речь ребенка или негра.

Скромный, растроганный овацией, устроенной ему сидящими за столом, он рассказывает нам о русской литературе, которая вся, от театра и до романа, идет по пути реалистического исследования жизни. Русская публика большая любительница журналов. Тургеневу и вместе с ним еще десятку писателей, нам неизвестных, платят по шестисот франков за лист; сообщая нам об этом, он покраснел. Но книга оплачивается плохо, едва четыре тысячи франков.

Кто-то произносит имя Гейне, мы подхватываем и объявляем, что относимся к нему с энтузиазмом. Сент-Бев, который хорошо знал Гейне, утверждает, что как человек Гейне — ничтожество, плут; но потом, видя общее

восхищение, Сент-Бев бьет отбой, умолкает и, закрыв лицо руками, прячется так все время, пока превозносят Гейне.

Бодри приводит острое словцо Генриха Гейне, уже лежавшего на смертном одре. Обращаясь к жене, которая тут же рядом молила бога помиловать его, он сказал: «Не бойся, дорогая, он меня помилует, ведь это его ремесло» <...>

ГОД 1872

Суббота, 2 марта

Сегодня мы обедали у Флобера — Тео, Тургенев и я.

Тургенев — кроткий великан, любезный варвар с седой шевелюрой, ниспадающей на глаза, с глубокой морщиной, прорезавшей лоб от одного виска до другого, подобно борозде от плуга; своей детской болтовней он с самого начала чарует и, как выражаются русские, *обольщает* нас сочетанием наивности и лукавства — тем обаянием славянской расы, которое у него особенно неотразимо благодаря самобытности его ума и обширности космополитических познаний.

Он рассказывает, как после издания «Записок охотника» ему пришлось месяц просидеть в тюрьме, причем камерой служил архив полицейского участка, и он мог вволю порыться в секретных делах. Штрихами художника и романиста он рисует начальника полиции; однажды, когда Тургенев напоил его шампанским, тот воскликнул, взяв писателя за локоть и поднимая бокал: «За Робеспьера!»

После минутной паузы Тургенев продолжает: «Будь я человеком тщеславным, я попросил бы, чтобы на моей могиле написали лишь одно: что моя книга содействовала освобождению крепостных. Да, я не стал бы просить ни о чем другом... Император Александр велел передать мне, что чтение моей книги было одной из главных причин, побудивших его принять решение» <...>

От стихов Мольера беседа переходит к Аристофану, и Тургенев шумно высказывает свое восхищение этим комиком, этим отцом смеха, самой способностью вызывать смех, которую он ставит очень высоко и которой, по его мнению, обладают лишь два-три человека в мире.

— Подумайте т о л ь к о, — восклицает он, и видно, что у него прямо слюнки т е к у т, — если бы удалось найти

потерянную пьесу Кратина, — пьесу, которую ставили выше аристофановских, а греки считали шедевром комизма, — словом, пьесу о бутылке, созданную старым пьяницей из Афин... Что до меня, то не знаю, чего бы я только не отдал за нее; право, не знаю... думаю, что отдал бы решительно все!

Выйдя из-за стола, Тео падает на диван со словами:

— По правде говоря, меня больше ничто не интересует... Мне кажется, что я уже где-то в прошлом. Я готов говорить о себе в третьем лице, категориями *давно прошедшего времени...* У меня такое чувство, словно я уже умер!

— А у меня совсем иное чувство, — замечает Тургенев. — Знаете, иногда в комнате стоит еле уловимый запах мускуса, и его невозможно изгнать, выветрить... Так вот, я словно чувствую вокруг себя запах смерти, тления, небытия.

Помолчав, он добавляет:

— Объяснение этому, мне кажется, заключается в одном: в невозможности любить, — по сотне причин — по причине моих седин и так далее, — в полной невозможности любить. Теперь я уже не способен на это. И вот, понимаете, — это смерть!

А когда мы с Флобером возражаем ему, отрицая такое значение любви для писателя, русский романист восклицает, разведя руками:

— Вся моя жизнь пронизана женским началом. Ни книга, ни что либо иное не может заменить мне женщину... Как это выразить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, какого не может дать ничто другое, не правда ли?

И, погрузившись на минуту в воспоминания, с отсветом счастья на лице, он продолжает:

— Послушайте, в молодости у меня была любовница — мельничиха в окрестностях Санкт-Петербурга. Я виделся с ней, когда ездил на охоту. Она была прелестна — беленькая, с лучистыми глазами, какие встречаются у нас довольно часто. Она не хотела ничего брать от меня. В один прекрасный день она сказала: «Вы должны сделать мне подарок». — «Что же ты хочешь?» — «Привезите мне мыло». Я привез ей мыло. Она взяла его и исчезла, а потом вернулась, раскрасневшаяся от смущения, и прошептала, протягивая мне благоухающие руки: «Поцелуйте мне руки, как вы целуете их дамам в петербургских гос-

тиных!» Я бросился перед ней на колени... И, поверьте, не было в моей жизни мгновения, которое могло бы сравниться с этим!.. <...>

Пятница, 22 марта

У меня обедали Флобер и Тургенев.

Тургенев рисует нам причудливый силуэт своего московского издателя, торговца литературой, едва умеющего читать, а когда дело доходит до письма — с трудом подписывающего свое имя [2]. Тургенев изображает его в окружении дюжины забавных старичков, его чтецов и советчиков с жалованьем семьсот копеек в год.

Затем он переходит к описанию типов литераторов, которое вызывает у нас жалость к нашей французской богеме. Он набрасывает портрет пьяницы, который женился на проститутке, чтобы иметь возможность выпивать по утрам привычную стопку водки — то есть ради каких-то двадцати копеек. Этот пьяница написал замечательную комедию, которую с его, Тургенева, помощью удалось напечатать.

Вскоре он переходит к себе самому. Начинается самоанализ. Он говорит, что когда ему грустно, когда у него дурное настроение, двадцать стихов Пушкина спасают его от меланхолии, вливают в него бодрость, будоражат. Они приводят его в состояние восхищенного умиления, которого не может у него вызвать никакое великое и благородное деяние. Только литература способна порождать такое просветление духа, и оно сразу же дает себя знать физически приятным ощущением — ощущением тепла на щеках! Он добавляет, что в минуты ярости ощущает странную пустоту в груди и в желудке <...>

ГОД 1873

Суббота, 3 мая

Сегодня вечером у Вефура, в Ренессансном зале (где как-то устраивал встречу Сент-Бева с Лажье) я обедал с Тургеневым, Флобером и г-жою Санд.

Госпожа Санд еще больше высохла, но по-прежнему по-детски обаятельна и весела, как старушки минувшего столетия. Тургенев говорит, и никто не прерывает этого великана с ласковым голосом, в рассказах которого всегда звучат нотки волнения и нежности.

Флобер рассказывает драму о Людовике XI, которую,

по его словам, он написал в коллеже; вот как в этой драме народ сетовал на свою нужду: «Монсеньер, нам приходится приправлять овощи солью наших слез».

Этот рассказ наводит Тургенева на воспоминания о его детстве, о суровом воспитании, которое он прошел, о бурях возмущения, какие вызывала в его юной душе всякая несправедливость. Он вспоминает, что однажды, после того как гувернер за какой-то проступок хорошенько отчитал его, а затем выпорол и оставил без обеда, он ходил по саду и с каким-то горьким наслаждением глотал соленую влагу, которая стекала по его щекам в уголки рта.

Он говорит затем о *сладостных* часах своей юности, о часах, когда, растянувшись на траве, он вслушивался в шорохи земли, о настороженной чуткости к окружающему, когда он всем своим существом уходил в мечтательное созерцание природы, — это состояние не описать словами. Он рассказывает о своей любимой собаке, которая словно разделяла его настроение и в минуты, когда он предавался меланхолии, неожиданно испускала тяжкий вздох; однажды вечером, когда Тургенев стоял на берегу пруда и его внезапно охватил какой-то неизъяснимый ужас, собака кинулась ему под ноги, как будто испытывая такое же чувство.

Потом, в силу какого-то скачка в разговоре или в собственных его мыслях, Тургенев рассказал нам, что однажды был с визитом у знакомой дамы и уже встал, собираясь откланяться, как вдруг она взмолилась: «Останьтесь, прошу вас! Через четверть часа приедет мой муж; не оставляйте меня одну!» В тоне ее было что-то странное, и Тургенев стал так настойчиво просить объяснений, что она ответила: «Я не могу быть одна... Когда со мной рядом никого нет, я чувствую, как меня уносит в Бесконечность. И я кажусь себе крошечной куколкой перед престолом Судии, лик которого от меня скрыт!» <...>

ГОД 1874

Вторник, 14 апреля

Обед у Риша с Флобером, Золя, Тургеневым и Альфонсом Доде. Обед талантливых людей, уважающих друг друга, — в будущие зимы мы намерены повторять его ежемесячно.

Поначалу заходит разговор об особенностях литературы, создаваемой людьми с хроническими запорами или

поносами; затем мы переходим к структуре французского языка. По этому поводу Тургенев говорит приблизительно следующее:

— Ваш язык, господа, представляется мне инструментом, которому его изобретатели простодушно стремились придать ясность, логику, приблизительную верность определений, а получилось, что в наши дни инструментом этим пользуются самые нервные, самые впечатлительные люди, менее всего способные довольствоваться чем-то приблизительным.

ГОД 1875

Понедельник, 25 января

Обедам у Флобера не везет. В прошлый раз, выйдя от него, я схватил воспаление легких. Сегодня нет самого Флобера: он в постели. За столом только Тургенев, Золя, Доде и я.

Сначала разговор идет о Тэне. Когда все мы по очереди пытаемся определить, в чем же состоит неполнота и несовершенство его таланта, Тургенев перебивает нас, говоря с присущими ему оригинальностью мысли и мягким выговором: «Это будет не слишком изысканное сравнение, но все же позвольте мне, господа, сравнить Тэна с охотничьей собакой, которая была у меня когда-то: она шла по следу, делала стойку, великолепно проделывала все маневры охотничьей собаки, и только одного ей не хватало — нюха. Мне пришлось ее продать».

Золя просто тает, наслаждаясь вкусной пищей, и когда я спрашиваю его:

— Золя, неужели вы гурман? — он отвечает:

— Да, это мой единственный порок; дома, когда на столе нет ничего вкусного, я чувствую себя несчастным, совсем несчастным. Больше мне ничего не надо — другие удовольствия для меня не существуют... Разве вы не знаете, какая у меня жизнь?

И, помрачнев, он открывает пред нами страницу своих злоключений. Удивительно, до чего этот толстый и пузатый человек любит ныть, все его излияния полны меланхолии!

Сначала Золя нарисовал нам одну из самых мрачных картин своей юности, описал свои каждодневные огорчения, оскорбления, которые сыпались по его адресу, ат-

мосферу подозрительности, его окружавшую, и нечто вроде карантина, которому подверглись его сочинения.

Тургенев вскользь замечает:

— Удивительное дело, один мой друг, русский человек большого ума, говорил, что тип Жан-Жака Руссо — тип исключительно французский, и только во Франции можно найти...

Золя его не слушает и продолжает свои стенания; а когда мы говорим, что ему не на что жаловаться, что для человека, которому нет еще и тридцати пяти лет, он немалого достиг, он восклицает:

— Ну так вот, хотите, я буду говорить совершенно искренне? Вы скажете, что это ребячество, — тем хуже! Мне никогда не получить ордена, мне никогда не стать членом Академии, мне никогда не удостоиться тех наград, которые могли бы официально подтвердить мой талант. В глазах публики я навсегда останусь парией, да, парией!

И он повторяет несколько раз: «Парией!»

Мы высмеиваем этого реалиста за его жажду буржуазных регалий. Тургенев с минуту смотрит на него иронически-покровительственно, потом рассказывает прелестную притчу:

— Послушайте, Золя, когда в русском посольстве было торжество по случаю освобождения крепостных — событие, которому, как вы знаете, и я кое-чем содействовал, мой друг граф Орлов (я когда-то был шафером у него на свадьбе), — пригласил меня на обед. В России я, возможно, не первый среди русских писателей, но поскольку в Париже другого нет, ведь вы согласитесь, что первый русский писатель здесь все-таки я? Ну так вот, несмотря на это обстоятельство, мне отвели за столом — как бы вы думали, какое место? — сорок седьмое! Меня посадили ниже попа, а вам известно, с каким презрением относятся в России к священникам!

И как вывод из сказанного, в глазах Тургенева заиграла лукавая славянская улыбка <...>

Воскресенье, 21 марта

<...> У Флобера Тургенев переводит нам «Прометея», пересказывает «Сатира» — два юношеских произведения Гете, плод самого высокого вдохновения. В этом переводе, где Тургенев старается передать выраженный словами трепет молодой жизни, меня изумляет непринужден-

ность и вместе с тем смелость оборотов речи. Действительно великие, своеобразные произведения, на каком бы языке они ни создавались, никогда не пишутся академическим стилем <...>

Воскресенье, 25 апреля

У Флобера.

Все признаются друг другу в том, что из-за плохого состояния нервов у них бывают галлюцинации. Тургенев рассказывает, что третьего дня, спускаясь по звонку к обеду и проходя перед дверью умывальной комнаты Виардо, он увидел, как тот, в охотничьей куртке, повернувшись к нему спиной, мыл руки; а потом, войдя в столовую, он был крайне удивлен, увидев Виардо сидящим на своем обычном месте.

Он рассказывает затем о другой галлюцинации. Возвратясь в Россию после долгого отсутствия, он поехал навестить своего приятеля, который, когда он его покинул, был совершенно черноволосым. Входя, он увидел, будто седой парик падает ему на голову, а когда друг обернулся, чтобы посмотреть, кто вошел, — Тургенев с удивлением обнаружил, что тот совсем седой <...>

Воскресенье, 21 ноября

— Русский император, — говорит Тургенев, — никогда не читал ничего печатного. Когда у него появляется желание прочесть какую-нибудь книгу или газетную статью, ему ее переписывают красивым четким канцелярским почерком.

Затем Тургенев рассказывает нам, что самодержец иногда проводит время в деревне ***, где не хочет казаться императором и велит называть себя господином Романовым. Так вот, как-то раз, находясь там, он объявляет своей семье: «Погода сегодня неважная, гулять не пойдем; на сегодняшний вечер я вам готовлю сюрприз».

Когда наступил вечер, император появился с тетрадью в руках. Это был мой рассказ.

Мы спрашиваем:

— Он имел успех?

— Нисколько! Император по натуре очень сентиментален, он выбрал рассказ совсем не жалостливый, но читал его со слезами в голосе... Все, присутствовавшие при этом литературном развлечении, потом, словно по уговору, никогда не упоминали о нем... <...>

ГОД 1876

Понедельник, 21 февраля

Тургенев говорит, что за границей — в России, в Англии, в Германии — Шатобриана совсем не ценят; его превосходная поэтическая проза, мать и кормилица всей современной красочной прозы, не пользуется там ни малейшим успехом [3].

Воскресенье, 5 марта

Сегодня Тургенев вошел к Флоберу со словами: «Никогда еще я не видел так ясно, как вчера, насколько различны человеческие расы... Я думал об этом всю ночь! Ведь мы с вами, не правда ли, люди одной профессии, собратья по перу... А вот вчера, на представлении «Госпожи Каверле», когда я услыхал со сцены, как молодой человек говорит любовнику своей матери, обнявшему его сестру: «Я запрещаю вам целовать эту девушку...», во мне шевельнулось возмущение! И если бы в зале находилось пятьсот русских, все они почувствовали бы то же самое возмущение. А вот ни у Флобера, ни у кого из сидевших со мной в ложе не возникло такого чувства!.. И я об этом раздумывал всю ночь. Да, вы люди латинской расы, в вас еще жив дух римлян с их преклонением перед священным правом; словом, вы люди закона... А мы не таковы... Как бы вам это объяснить? Представьте себе, что у нас в России как бы стоят по кругу все *старые русские,* а позади них толпятся *молодые русские.* Старики говорят свое «да» или «нет», а те, что стоят позади, соглашаются с ними. И вот перед этими «да» и «нет» закон бессилен, он просто не существует; ибо у нас, русских, закон не *кристаллизуется,* как у вас. Например, воровство в России — дело нередкое, но если человек, совершив хоть и двадцать краж, признается в них и будет доказано, что на преступление его толкнул голод, толкнула нужда, — его оправдают... Да, вы — люди закона, люди чести, а мы хотя у нас и *самовластье,* мы люди...»

Он ищет нужное слово, и я подсказываю ему:

— Более человечные!

— Да, именно! — подтверждает он. — Мы менее связаны условностями, мы люди более человечные! <...>

Понедельник, 13 марта

Тургенев говорит о том, что в жизни очень часто героическое сочетается с комическим. Он рассказывает, что

один русский генерал, после двух атак, отбитых засевшими на кладбище французами, приказал своим солдатам перебросить его через ограду. Тургенев просил самого генерала, мужчину весьма тучного, рассказать, как все это было. И вот что рассказал ему генерал.

Упав прямо в лужу, он некоторое время безуспешно пытался встать на ноги, по снова и снова падал, вскрикивая при этом: «Урра!» За ним наблюдал какой-то француз-пехотинец, однако не стрелял, а только смеялся и восклицал: «Эх ты, толстый боров, толстый боров!» Но генеральские «Урра!» были услышаны, они подняли боевой дух русских, и те поспешили перелезть через ограду на выручку своему начальнику: французы вскоре были вытеснены с кладбища <...>

Пятница, 5 мая

Нашему *Содружеству Пяти* пришла фантазия полакомиться буйябесом в ресторанчике, что позади Комической оперы. Все мы нынче вечером в ударе, словоохотливы, склонны к излияниям.

— Мне для работы нужна з и м а, — говорит Т у р г е н е в, — стужа, какая бывает у нас в России, мороз, захватывающий дыхание, когда деревья покрыты кристалликами инея... Вот тогда... Однако еще лучше мне работается осенью, в дни полного безветрия, когда земля упруга, а в воздухе как бы разлит запах вина... У меня на родине есть небольшой деревянный домик, в саду растут желтые а к а ц и и, — белых акаций в нашем краю нет. Осенью вся земля покрывается слоем сухих стручков, хрустящих под ногами, а кругом множество птиц, этих... как бишь их, ну тех, что перенимают крики других птиц... ах, да, сорокопутов. Вот там-то в полном уединении...

Не закончив фразы, Тургенев только прижимает к груди кулаки, и жест этот красноречиво выражает то духовное опьянение и наслаждение работой, какие он испытывал в затерянном уголке старой России.

Понедельник, 27 ноября

Тургенев говорил сегодня вечером, что из всех европейских народов немцы наименее тонко чувствуют искусство — за исключением музыки — и что в каком-нибудь насквозь условном, глупом и неправдоподобном вымысле, который заставил бы нас отбросить книгу прочь, они видят прелесть исправления действительности в сто-

рону ее совершенствования. Он добавил, что русский народ, напротив, хоть и склонен ко лжи, как всякий народ, долгое время пребывавший в рабстве, в искусстве ценит жизненную правду.

Возвращаясь по улице Клиши, Тургенев поверяет мне замыслы будущих повестей, которые занимают его; в одной из них ему хочется передать ощущения какого-нибудь животного в степи, где оно по грудь утопает в высокой траве, скажем, старой лошади.

Помолчав с минуту, он продолжает: «На юге России попадаются стога величиной с такой вот дом. На них взбираются по лесенке. Мне случалось ночевать на таком стогу. Вы не можете себе представить, какое у нас там небо, синее-синее, густо-синее, все в крупных серебряных звездах. К полуночи поднимается волна тепла, нежная и торжественная (я передаю подлинные выражения Тургенева), — это упоительно! Однажды лежа так на верхушке стога, глядя в небо и наслаждаясь красотой ночи, я вдруг заметил, что безотчетно повторяю и повторяю вслух: «Одна, две! Одна, две!»

ГОД 1877

Суббота, 5 мая

Вчера во время дружеского обеда, устроенного по случаю отъезда Тургенева в Россию, разговор зашел о любви, об изображении любви в литературе.

Я утверждаю, что любовь вплоть до наших дней не исследовалась в романе научным методом, нам показывали лишь ее поэтическую сторону. Золя, который завел этот разговор с целью выкачать из нас кое-что для своей новой книги, считает, что любовь — это не какое-то особенное чувство, что она вовсе не захватывает человека настолько, как об этом принято думать, что проявления любви встречаются и в дружбе, и в патриотизме и так далее... И что бóльшую напряженность этому чувству придает только надежда на плотскую близость.

Тургенев с этим не соглашается... Он уверяет, что любовь — чувство совершенно особой *окраски,* что Золя пойдет по ложному пути, если не признает эту особую окраску, отличающую любовь от всех других чувств. Он уверяет, что любовь оказывает на человека влияние, несравнимое с влиянием любого иного чувства, что всякий, кто по-настоящему влюблен, как бы полностью отрека-

ется от себя. Тургенев говорит о совершенно необыкновенном ощущении наполненности сердца. Он говорит о глазах первой любимой им женщины как о чем-то совершенно нематериальном, неземном...

Все это хорошо, но вот горе: ни Флоберу с его пышными выражениями при описании этого чувства, ни Золя, ни мне самому — никогда не случалось влюбляться очень сильно, и поэтому мы не способны живописать любовь. Тургенев мог бы это сделать; но ему недостает той склонности к самоанализу, которая есть у нас и которая помогала бы нам, если бы мы были когда-нибудь столь же сильно влюблены, как был он.

ГОД 1880

Воскресенье, 1 февраля

Вчера Тургенев пригласил Золя, Доде и меня на прощальный обед перед отъездом в Россию.

Его тянет вернуться на родину труднообъяснимое чувство потерянности, — чувство, уже испытанное им в дни ранней юности, когда он плыл по Балтийскому морю на пароходе, со всех сторон окутанном пеленой тумана, и единственной его спутницей была обезьянка, прикованная цепью к палубе.

И вот, в ожидании других гостей, он описывает мне ту жизнь, которая начнется для него через полтора месяца, — свое жилье, повара, умеющего готовить только одно блюдо — *куриный бульон,* свои беседы с соседями-крестьянами, которые он будет вести, сидя на низком, чуть ли не вровень с землей, крылечке.

Тонкий наблюдатель и искусный рассказчик, Тургенев представляет в лицах все три поколения крестьян: он изображает стариков, с их несвязной речью, полной звучных восклицаний и ничего не значащих междометий и наречий; изображает поколение сыновей, бойких говорунов и краснобаев; наконец, поколение внуков, молчаливых, уклончивых, в сдержанности которых чувствуется скрытая разрушительная сила. На мое замечание, что эти беседы, должно быть, скучны ему, он отвечает, что нимало не скучны, что, напротив, можно только удивляться тому, как много узнаешь от этих людей, темных, невежественных, но постоянно и сосредоточенно размышляющих в своем уединении <...>

ГОД 1882

Понедельник, 6 марта

Сегодня снова, как в прежние времена, состоялся наш обед Пяти, на котором уже не было Флобера, но опять присутствовали Тургенев, Золя, Доде и я.

Душевные горести одних, физические страдания других наводят нас на разговор о смерти — и мы говорим о смерти вплоть до одиннадцати часов, норой пытаясь уклониться в сторону, но неизменно возвращаясь к этой мрачной теме.

Доде говорит, что мысль о смерти преследует его, отравляет ему жизнь; всякий раз, когда он въезжает в новую квартиру, он невольно ищет глазами место, где будет стоять его гроб.

Золя рассказывает, что когда в Медане скончалась его мать, лестница оказалась слишком узкой, так что гроб пришлось выносить через окно, и теперь всякий раз, как взгляд его падает на это окно, ему приходит на ум вопрос: кого в дальнейшем вынесут первым — его жену или его самого?

«Да, с того дня мысль о смерти подспудно таится в нашем мозгу, и очень часто — у нас теперь в спальне горит ночник, — очень часто ночью, глядя на жену, я чувствую, что она тоже не спит и думает об этом; но оба мы и вида не подаем, что думаем о смерти... из стыдливости, да, из какого-то чувства стыдливости... Страшная мысль!» И в его глазах появляется ужас: «Бывает, я ночью вскакиваю с постели и стою секунду-другую, охваченный невыразимым страхом».

«А для меня, — замечает Тургенев, — это самая привычная мысль. Но когда она приходит ко мне, я ее отвожу от себя вот так, — и он делает еле заметное отстраняющее движение рукой. — Ибо в известном смысле *славянский туман* — для нас благо... он укрывает нас от логики мыслей, от необходимости идти до конца в выводах... У нас, когда человека застигает метель, говорят: «Не думайте о холоде, а то замерзнете!» Ну и вот, благодаря туману, о котором шла речь, славянин в метель не думает о холоде, — а у меня мысль о смерти сразу же тускнеет и исчезает» <...>

Четверг, 9 марта

Обед у Золя.

Изысканный обед: зеленый суп, лапландские оленьи языки, рыба по-провансальски, цесарка с трюфелями.

Обед для гурманов, приправленный оригинальной беседой о самых вкусных вещах, какие только может подсказать воображение желудка, и под конец Тургенев обещает угостить нас русскими вальдшнепами — лучшей дичью на свете.

От пищи беседа переходит к винам, и Тургенев, со своим неподражаемым искусством рассказчика, изображает нам, словно живописец, легкими мазками, как на каком-то немецком постоялом дворе распивают бутылку необыкновенного рейнского вина.

Сначала описание залы в глубине гостиницы, вдали от уличного шума и грохота экипажей; потом приход степенного старого трактирщика, который явился сюда в качестве уважаемого свидетеля процедуры; появление дочери трактирщика, похожей на Гретхен, — с добродетельно-красными руками, усеянными белыми пятнами, какие можно увидеть на руках всех немецких учительниц... И благоговейное откупоривание бутылки, от которой по всей зале распространяется запах фиалок... Словом, полная мизансцена этого события, рассказ, уснащенный теми подробностями, какие изыскивает наблюдательность поэта.

И эта беседа, и вкусная еда не вяжутся с прорывающимися время от времени сетованиями, жалобами на наше собачье ремесло, на то, как мало счастья и удовлетворения несет нам судьба, как глубоко равнодушны мы ко всякому успеху и как терзают нас всякие мелкие неприятности <...>

ГОД 1883

Вторник, 10 апреля

<...> Обед заканчивается беседой о бедняге Тургеневе, которого Шарко считает безнадежным. Все говорят об этом своеобразном рассказчике, о его историях: начало их как будто возникает в тумане и не сулит на первых порах ничего интересного, но потом мало-помалу они становятся такими увлекательными, такими волнующими, такими захватывающими. Словно что-то красивое, нежное, медленно переходя из тени на свет, постепенно и последовательно оживает в своих самых мелких деталях.

Среда, 25 апреля

<...> Старина Тургенев — вот подлинный писатель. Недавно у него удалили кисту в животе, и он сказал Доде, навестившему его на днях: «Во время операции я думал

о наших обедах и искал слова, которыми я мог бы вам точно передать ощущение стали, рассекающей кожу и проникающей в тело... так нож разрезает банан» *.

Пятница, 7 сентября

Богослужение у гроба Тургенева вызвало сегодня из парижских домов целый мирок: людей богатырского роста с расплывчатыми чертами лица, бородатых, как бог-отец, — подлинную Россию в миниатюре, о существовании которой в столице и не подозреваешь [5].

Там было также много женщин — русских, немок, англичанок, благоговейных и преданных читательниц, явившихся принести дань уважения великому и изящному романисту.

БАТИСТ ФОРИ

ВОСПОМИНАНИЯ О ТУРГЕНЕВЕ

В момент, когда Россия и Франция сражаются вместе за дело цивилизации *, я хотел бы на этих страницах возродить благородный облик одного из самых знаменитых представителей русской литературы. Тургенев был истинным другом нашей страны, где он поселился тотчас по окончании войны 1870 года и где оставался до самой смерти, став тем самым на сторону побежденных. И я надеюсь, что читатели не без интереса прочтут эти неизданные воспоминания о великом писателе, который сохранил в нашей стране крепкие и верные привязанности и который, оставаясь русским до мозга костей, все же считал Францию своей второй родиной.

В 1872 году гостиная г-жи Виардо была, несомненно, одним из самых интересных музыкальных центров Парижа *. Среди лиц, которых можно было там встретить, необходимо особенно отметить Ивана Тургенева, являвшегося, собственно говоря, членом семьи Виардо в течение тридцати лет. Я хорошо знал Тургенева: он проявлял ко мне большую симпатию, и за десять лет нашего знакомства я виделся с ним очень часто <...>

Гостиная Полины Виардо была центром блестящего музыкального общества. Можно сказать, что в Европе не

* Известно, что г-жа Виардо (Полина Гарсиа) была сестрой Малибран. На первый парижский концерт Виардо, в 1838 году, восторженно откликнулся Мюссе. Она стала женой выдающегося художественного критика Луи Виардо. Ее артистическая карьера была необычайно яркой, она создала «Пророка», Сафо и с огромным успехом воскресила Орфея и Альцеста. Она свободно говорила на шести языках, восхитительно рисовала и сочиняла очаровательную музыку; ученица Листа и Шопена, она изумительно играла на рояле. Это была во всех отношениях гениальная артистка [2]. (*Примеч. Б. Фори.*)

было знаменитого артиста, который не знал бы г-жу Виардо и не посещал бы ее, будучи проездом в Париже. Почти все музыкальные знаменитости мира прошли у меня там перед глазами [3].

Познакомился я с Тургеневым в 1872 году; ему исполнилось тогда 54 года, но выглядел он гораздо старше. У него была внешность патриархального старца; длинные седые волосы и совершенно седая борода обрамляли его лицо, окрашенное легким румянцем. Из-под густых бровей на вас мягко смотрели глубоко посаженные ярко-голубые глаза. Во всей его фигуре было что-то львиное. С первого взгляда он внушал почтение, но очень скоро его мягкость и очаровательная простота возвращали вам непринужденность. Все окружающие обожали его.

С того момента, как я был представлен Тургеневу, он выказал ко мне особую приветливость, относившуюся прежде всего к солдату, которым я в то время был. Известно, что он был очень любознателен. Я же только что вернулся тогда с войны 1870 года, где воевал в чине унтер-офицера, и еще находился под впечатлением страшных воспоминаний о событиях, свидетелем которых мне пришлось быть. Он часто наводил разговор на эту тему, а я, со своей стороны, охотно развивал ее и без его поощрений. Он внимательно слушал то, что я рассказывал; очевидно, для такого наблюдателя, как он, впечатления молодого человека, его стремления, его взгляды на будущее — все было интересно. В окружении Виардо я был единственным военным; сам же он очень любил рассуждать на военные темы. Изучив у Тьера все походы Наполеона, он знал их досконально и часто говорил со мною о них. Таким образом, мы находили общий язык. С другой стороны, ему нравилась моя страсть к музыке, так же как и склонность к изучению живых языков. «Вам следовало бы изучить русский язык», — сказал он мне однажды. И видя, что я смотрю на него, несколько испуганный перспективой взяться за изучение языка, считавшегося — и заслуженно — трудным, Тургенев настаивал: «Попробуйте, и вы безусловно справитесь. Наш язык мало известен, но он очень богат; поверьте, вы будете рады узнать его. Не забывайте, — добавил он в заключение, — что изучить новый язык — значит, обрести новую душу».

Следуя этим советам, я поступил в Школу живых восточных языков, где преподавателем русского языка был тогда Луи Леже — «человек, который, — по словам Тур-

генева,— знал лучше всех не только славянские языки, но и их диалекты». Я стал студентом и по окончании четырехлетнего курса получил аттестат переводчика. Тогда-то Тургенев и подарил мне большинство своих произведений, которые я получил возможность прочитать и оценить в оригинале.

Тургенева обычно представляют себе «исполненным добродушия и юмора, наивности и простоты». Что он был и прост и добродушен — в этом не может быть никакого сомнения; но он часто бывал насмешлив, и его истинная благожелательность не была лишена некоторой язвительности. Говорят, в юности он был очень вспыльчив; с возрастом он стал сдержаннее и утверждал, что вот уже много лет, как он ни разу не вспылил <...>

Среди постоянных гостей Виардо изредка появлялся Флобер, которого Тургенев очень любил, хотя они были как нельзя более непохожи друг на друга: один — сдержанный, мягкий, тонкий, изысканный; другой — простоватого облика, с речью часто грубоватой, с зычным голосом, раздававшимся «из-под его усов галльского воина», как говорил Мопассан. Однажды, во время музыкального вечера, Флобер особенно раздражал меня: играли (я помню это совершенно точно) чудесный квинтет Шумана. Во все время исполнения квинтета Флобер кружил вокруг накрытого стола и потаскивал с тарелочки приготовленное к чаю печенье. В ту пору я был убежден, что люди, не любящие м у з ы к и , — бесчувственные люди. Смолоду наши суждения так резки! Для меня это равнодушие Флобера к чудесной музыке доказывало полное отсутствие сердца. Нет нужды добавлять, что жизненный опыт заставил меня изменить это мнение <...>

Эта близость Тургенева и Флобера объяснялась, я полагаю, не столько сходством их литературных вкусов, сколько общим культом поэзии, присущим им обоим отвращением к мещанству и презрением к расчетливости молодых.

Тургенев был также очень близок с Доде. Он часто говорил мне о нем с восхищением. Впервые он прочитал Доде в России и вот при каких обстоятельствах: он остановился на железнодорожной станции, где ему нужно было сделать пересадку. Продавщица газет на вокзале, узнав Тургенева, предложила ему томик Доде с портретом автора на обложке, восхитившим ее своей тонкостью и интеллигентностью. Тургенев купил книжку (кажется, это был «Малыш») и пришел в восторг. По приезде в Па-

риж он познакомился с Доде у Флобера и затем постоянно встречался с ним на обедах Маньи; позднее он был принят в семье Доде как свой, а во время отъездов писал ему самые сердечные письма.

Поэтому, когда после смерти Тургенева появились мемуары одного из его секретарей, я был немало удивлен — зная, как он ценил Доде, — недоброжелательностью приписываемых ему отзывов [4]. Доде был очень огорчен ими и горько сетовал на них в конце своей книги «Тридцать лет парижской жизни». Мне трудно верить в существование этих высказываний Тургенева. Как! Принятый в интимный круг семьи Доде, где к нему относились как к другу, он, за спиной, мог поносить Доде, называя его «хитрым южанином, фальшивым добряком, ничтожеством»! Все это противоречит чрезвычайно благожелательным суждениям, которые я сам не раз слышал от него в отношении Доде. По-моему, эти толки (их, впрочем, многие оспаривали) не следовало делать достоянием гласности <...>

Порой я встречал в доме Виардо Ренана, больше дружившего, как мне кажется, с самим Виардо, чем с Тургеневым. На музыкальных вечерах он появлялся редко. Кто бы мог заподозрить при виде этого небрежно одетого толстяка с грязными ногтями, с крупной, склоненной к плечу головой, с небольшими, искрящимися умом глазами, что видит перед собой одного из крупнейших писателей, которым гордится французская литература? <...>

Однажды, когда Тургенев лежал с приступом подагры, я пошел его навестить; я застал у него Эмиля Ожье, которого знал раньше, нередко встречаясь с ним в Круасси, у его племянника Поля Деруледа. Внешностью Ожье, с его широкими плечами и бурбонский носом, был удивительно похож на Франциска I. Беседа его была обворожительна, полна воодушевления, блистала остроумием. В вопросах музыки Ожье не сходился с Тургеневым. «Я, — говорил он, — без ума от музыки Оффенбаха. Такая ясность, такая веселость, все такое французское! Мое понимание музыки дальше его не идет».

В тот день, когда я у Тургенева встретил Ожье, он рассказал нам, что у него был спор со скульптором, высекавшим его бюст (кажется, это был Шёневерк); художник хотел во что бы то ни стало сохранить в мраморе большую бородавку, которая была у Ожье возле глаза, у самого носа. «А что мне сходство, — возражал Ожье своим резким голосом, удивительно напоминавшим голос его друга

Го, — я хочу, чтобы он сделал меня красивее!» И Ожье сыпал самыми тонкими своими остротами в адрес художников, желавших подражать природе вместо того, чтобы ее истолковывать.

«Взгляните, — говорил он нам, — на бюст Ротру в фойе Комеди Франсэз. Когда его заказали знаменитому Каффиери, почти через сто лет после смерти Ротру, тот не располагал никакими данными о Ротру. Что же он сделал? Он встретил на улице великолепного грузчика, сговорился с ним, тот ему позировал; и с этой-то модели был высечен бюст, являющийся шедевром. Признайтесь, — прибавил Ожье в виде заключения, — что если Ротру и не был похож на этот бюст, что вполне вероятно, ну что ж! тем хуже для Ротру!» <...>

Когда Тургенев что-нибудь рассказывал, он начинал запинаясь, затем речь его мало-помалу крепла, становилась свободной, прояснялась, как после рассеявшегося тумана, и это было просто прелестно. Я горячо сожалею о том, что не сохранил следа всех наших бесед. Как-то вечером он рассказал нам в кругу семьи Виардо, что однажды в России он был на охоте и ему случилось найти приют в заброшенном сарае. Расположившись с самоваром на берегу реки, он подкрепился молоком, хлебом, картофелем, испеченным в золе, а затем забрался по лестнице на огромный стог сена; он рассказал нам об испытанном им тогда упоении: лежа на спине под усеянным звездами небом, он почувствовал, как его охватывает сладкая и таинственная теплота. О, как бы мне хотелось передать ту поэтичность, с какой Тургенев передавал нам такую простую историю! Это было восхитительно. Другой его рассказ был записан мною тогда же. Вот он в нескольких словах — вы увидите, как очарователен и остроумен его сюжет:

«Однажды у господа бога явилась мысль устроить большой пир на небесах. Все Добродетели были приглашены — явились и большие и маленькие. Можно представить себе, как очарователен был этот вечер, раз сами ангелы исполняли чудеснейшую музыку. Господь бог был в восторге, видя, как веселятся его гости. Вдруг он заметил в углу две большие Добродетели, которые смотрели друг на друга, как лица совершенно незнакомые. Господь бог сразу понял. Он подошел к этим Добродетелям и, взяв каждую за руку, представил их друг другу: «Благодарность», — назвал он одну; «Благодетельность», — прибавил он о другой. Обе эти большие Добродетели раскла-

нялись, удивленно глядя друг на друга. Впервые с тех пор, как мир существует — а существует он давно, — встретились Благодетельность и Благодарность; и то для этого потребовалось, чтобы у господа бога явилась мысль созвать их в небесах на большой пир». Не очаровательна ли в самом деле эта притча? [5]

У Тургенева никогда не было своей семьи. Сожалел ли он об этом? Не думаю. Я слышал, что у него была внебрачная дочь от крепостной, с которой он сблизился в России, но я ее никогда не видел, и ее мало кто знал. В сущности, он обрел домашний очаг в семье Виардо, где все — муж, жена, дети — обожали его. Писатель и любитель живописи, Тургенев нашел в своем старом друге Виардо собрата по литературе и тонкого художественного критика; большой любитель музыки, он и мечтать не мог о более интересной среде, поскольку все члены семьи были артистами, и артистами выдающимися <...> Одно из чудеснейших моих воспоминаний относится к дню, проведенному с ним в «Ясенях». Мы заговорились в гостиной его дома. Мало-помалу спустилась ночь. Тургенев попросил г-жу Виардо сесть за рояль, и она охотно согласилась. Мы сидели в сумерках, а окна, выходившие в огромный парк, залитый ярким лунным светом, были открыты. Не зная устали, великая артистка играла нам ноктюрны, этюды Шопена, а затем дивную «Лунную сонату» Бетховена, — все это исполнялось с прелестной поэтичностью. Мы были поистине очарованы. Незабываемые часы. Можно полагать, что в такой среде Тургенев не жалел о том, что живет во Франции, хотя изредка и выражал сожаление, что находится вдали от России (так же как Гейне сожалел, что живет вдали от Германии). Во Франции он привлекал широкую публику своей внешностью богатыря и русским происхождением, а людей просвещенных — своими произведениями и знанием нашего языка, которым он владел безукоризненно; наконец, после 1870 года ему были благодарны за то, что он стал на нашу сторону, тогда как его соотечественники, особенно русское правительство, приветствовали немецкие победы.

Таков был Тургенев: человек тончайшей души, чувствительнейшего сердца, в глубине души меланхолик и вечный мечтатель, а в общем — один из самых пленительных людей, с какими я только встречался.

А теперь мне хотелось бы сказать несколько слов о Тургеневе-писателе <...>

Как воспринимали Тургенева во Франции и в России? У нас, в сущности, он никогда не был по-настоящему популярен, да это и понятно: его обаяние частично заключается в его стиле, а оценить это можно, лишь читая по-русски.

Все же в литературных кругах о нем были очень высокого мнения. «Что за человечище, этот скиф!» — писал Флобер Жорж Санд. Гизо, Мериме, Санд, Тэн восхищались им. Тэн писал о Тургеневе Брандесу: «Можно всех немцев в ступе истолочь, и все равно не добудешь капли его дарования».

Короче говоря, во Франции Тургенев был более известен, чем читаем, по крайней мере в широкой публике.

В России его сочинения вызывали сильный отголосок благодаря не только таланту писателя, но и избираемым им темам. Было бы очень сложно — хотя и очень интересно — изучить причины его влияния. Кажется, некоторые русские находили, что хотя Тургенев и наносил крепкие удары, но порой невпопад. Я как иностранец могу только воздержаться от суждения в этом вопросе. Русская душа так сложна! Читая Тургенева, я часто задавался вопросом, каким образом в России такая нищета и такие противоречия могли сочетаться с подобным величием.

В действительности у Тургенева среди соотечественников было много почитателей, но также и много врагов. Он чувствовал себя в некоторых отношениях непонятым и страдал от этого. Его роман «Отцы и дети» поссорил его и с отцами, и с детьми; его упрекали в том, что он оказал услугу ретроградам. Революционер Герцен был почти единственным, кто защищал его, разъясняя характер нигилиста Базарова. Русская молодежь упрекала Тургенева в том, что он изображал ее одновременно и дикой и развращенной. Как бы то ни было, никогда не бывало, чтобы, съездив в Россию, он не вернулся оттуда опечаленным. Даже родной дом больше не привлекал его. Однажды, по его возвращении, я заметил ему, что все мужики, должно быть, рады его видеть каждый раз, когда он приезжает в Спасское. «Надеюсь, — грустно ответил он мне. — Во всяком случае, они этим пользуются, чтобы выуживать из меня деньги до последнего гроша. В предотъездные дня дом мой бывает наводнен калеками, нищими, лентяями со всей округи. Настоящий «двор чудес». Но однажды — это было в 1881 году — Тургенев возвратился очень утешенным: он ездил на открытие памятника Пушкину и стал там предметом бесконечных оваций, особенно со стороны молодежи, с которой долгое время был в ссоре-

Однако почти тотчас же он испытал неприятности, когда открыл в России подписку на памятник, который собирались воздвигнуть Флоберу в Руане. Его упрекали за то, что он не подумал о Гоголе, памятника которому тогда еще не было. Его поносили в газетах, и это очень его огорчало.

Хотя Тургенев выглядел колоссом, здоровье его было слабо. Он был подвержен частым приступам подагры, причинявшим ему тяжкие страдания. Кроме того, с 1880 года у него появились острые боли в спине. «Доктора, — говорил он мне, — ничего не понимают в этом». Установили диагноз: грудная жаба. Он все же продолжал работать, когда болезнь давала ему передышку. Именно в эту мучительную пору Тургенев писал со своего смертного одра Толстому, заклиная его не отказываться от литературы. Муки его (вызванные раком спинного мозга) стали так невыносимы, что он хотел повеситься или выброситься из окна. Последние месяцы его жизни были сплошной пыткой. 3 сентября 1883 года он, наконец, скончался: ему было 65 лет. Смерть была для него настоящим избавлением. Прах Тургенева был перевезен на Восточный вокзал, где Абу и Ренан от имени Франции и ее писателей произнесли прощальные речи. В Петербурге его похороны были торжественными.

Соотечественники воздвигли ему памятник; я уверен, что если бы его самого спросили, он присоединился бы к мысли Абу, который предлагал установить Тургеневу простую стелу, увенчанную разорванной цепью, в память участия, которое он принял в деле освобождения крестьян своими сочинениями. «Все, что я хотел бы пожелать для своей могилы, — говорил он, — это чтобы на ней были выгравированы слова о том, что моя книга («Записки охотника») послужила делу освобождения крестьян».

Рассказывают, что, освобождая крепостных, Александр II просил передать Тургеневу: «Записки охотника» сыграли большую роль в моем решении». Эти слова должны были глубоко тронуть его.

Так, вероятно, оценят и потомки его творчество, его значение и его влияние.

Дорогой Тургенев! Среди тех, кого я встречал на своем пути, никто не оставил по себе воспоминания столь обаятельного и столь глубокого. Вы были одновременно и великим и добрым; ум и сердце были в вас равны. И так как подобное сочетание встречается бесконечно редко, я с волнением, благодарностью и глубоким уважением отдаю дань вашей памяти.

ПОЛЬ ВИАРДО

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ АРТИСТА»

Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя.

Самые первые мои годы оставили у меня в памяти лишь смутный образ старинного маленького замка с башенками, окруженного рвами, заросшими травой, среди которой копошились лягушки: замка Куртавнель, в департаменте Сена-и-Марна, где я родился <...>

А дом наш вечно был полон гостями. Близок был Париж; одни приезжали провести день, другие оставались на несколько месяцев.

Берлиоз приезжал к нам работать с моею матерью, которая оказывала ему большую услугу, исправляя его басы. Как ни странно может это показаться, но этот гениальный композитор был положительно лишен чувства баса. «Взятие Трои» и «Троянцы» были от начала до конца просмотрены моей матерью, пользовавшеюся, в свою очередь, присутствием композитора, чтобы пройти с ним Орфея и Альцесту — роли, так бесподобно исполнявшиеся ею в Лирическом театре и в Опере.

Гуно был также нашим постоянным гостем, моя мать заинтересовалась молодым человеком и познакомила его с большим другом нашей семьи, Эмилем Ожье, который написал для него либретто «Сафо». Это произведение было написано в Куртавнеле, где Гуно, удрученный смертью

своего любимого брата, нашел себе гостеприимный приют вместе со своей слепой матерью.

Тургенев оставался другом моих родителей до самой смерти (его сочинения были переведены моим отцом) <...>

Художник Делакруа и Жюль Симон приезжали без предупреждений и всегда были дорогими гостями.

Дезире Арто, в то время еще совсем молодая девушка, занималась пением. Ее представили моей матери в надежде, что та сумеет отговорить ее от театральной карьеры, так как семья ее не признавала за нею никаких способностей. Но мать моя была другого мнения; наперекор желанию родителей, она согласилась давать уроки молодой девушке, сделавшейся впоследствии одною из певиц своего времени.

Мои первые зимы в Париже не оставили во мне отчетливых воспоминаний.

Смутно припоминаю я серьезную болезнь, воспаление легких, которая едва не унесла меня. Моя мать пела тогда Орфея в Лирическом театре. Лечившие меня доктора не позволили ей бросить сцену. «Вы принадлежите *публике*, — говорили *они*, — как мы принадлежим больным». И она пела «Я потерял Эвридику», плача часто неподдельными слезами. И хористы, наряженные чертями, спрашивали о здоровье «маленького», потрясая своими факелами.

Успех моей матери в Орфее был, как известно, грандиозен и даже свихнул несколько умов. Одна молодая девушка, присутствовавшая на нескольких представлениях, буквально влюбилась в прекрасного поэта с челом, осененным лаврами, с длинными темными локонами, падающими на красиво задрапированный пеплум, и с прелестнейшими руками в мире. Родители молодой особы приехали к моей матери спросить ее совета. Было решено представить героиню этой причудливой страсти не Орфею ее мечтаний, а самой m-me Виардо. В назначенный час моя мать одела старое домашнее платье, не тронула своих папильоток и в таком наряде вошла в гостиную. Лекарство подействовало великолепно. Иллюзии потонули в сильном припадке слез и рыданий, и огорченная девушка вернулась на путь действительности <...>

Баден сделался моей второю родиной. Вид гор, смолистый запах елей разбудили мои первые ощущения.

Всем известно, какую важную роль играл этот маленький город в конце Второй империи, рулетка и живописные места для прогулок сделали его городом роскоши и удовольствий. Весь Париж сливался там со всею Веною и всем Петербургом.

Свет и полусвет были там представлены как нельзя более блестящим образом.

Баден не был, однако, исключительно городом рулетки и веселья: он был также излюбленным местом свиданий венценосцев, приезжавших туда запросто отдохнуть от утомительного этикета <...> Баден, Германия — все это казалось так незначительно, так похоже на опереточное государство, с игрушечными солдатами, чрезмерно услужливою челядью и титулами баронов, графов и даже князей, смотря по величине суммы, полученной на чай!

Наша вилла сделалась центром интеллигенции и артистического мира; воскресные музыкальные собрания считались величайшею приманкою сезона; многие высокопоставленные лица не останавливались перед унижениями, зачастую бесполезными, чтобы получить приглашения на эти утра.

Я хорошо помню красивый музыкальный дом, устроенный в саду, зал со стенами, украшенными прекрасною коллекциею старинных картин, составлявших радость и гордость моего отца. В глубине возвышался прелестный орган.

По воскресеньям этот зал наполнялся толпою приглашенных, из которых каждый представлял видную величину. Королева Августа являлась всегда очень пунктуально, иногда раньше всех, в сопровождении своей дочери, герцогини и фрейлины. Король, хотя и не особенный любитель музыки, тоже заходил по временам, но предпочитал держаться ближе к выходу, одним жестом останавливая всякие попытки особого к нему внимания.

Наши царственные гости часто приводили с собою какое-нибудь новое лицо, не испрашивая на то разрешения, — невозможно было отказать в приеме старому королю Бельгии, Леопольду I; королю Голландии, большому любителю музыки <...>

Мой дебют начинающего скрипача состоялся на одном из этих утренних собраний. Совсем еще маленький, одаренный безграничною смелостью, свойственною только детям, я очень забавлял большого усатого господина с необыкновенно светлыми глазами, который сжимал мои

детские пальцы в своих громадных могучих руках; это был граф Бисмарк.

Артисты, приглашенные в Баден, все испрашивали позволения показаться перед этою избранною аудиторией, я помню, как я слушал Патти, в самом начале ее славы, Гардони, Лукку, Дезире Арто и др.

Несколько раз приезжал Вагнер. Моя мать познакомилась с ним еще в Париже, когда в одно прекрасное утро он явился к ней, снабженный рекомендацией Мейербера. Сев за рояль, он проиграл несколько мелодий своего сочинения, при этом он испускал такие рычания и аккомпанировал себе так шумно, что положительно не было возможности понять что-либо. Однажды он явился неожиданно и объявил моей матери, что пригласил к нам на завтра двух дам прослушать второй акт «Тристана», который, разумеется, еще не был переведен на французский язык.

Одна только моя мать могла спеть эту роль, так как она была единственная певица в Париже, способная петь по-немецки. Она сделала почти чудо, выучив второй акт в один день, и спела его с Вагнером, что увеличивало трудность положения ввиду безграничной причудливости его аккомпанемента.

Две приглашенные дамы оказались — одна графинею Вертгеймштейн, бывшею близким другом Листа, другая — графинею Калержи, племянницею знаменитого Нессельроде.

Моя мать, у которой был целый питомник учениц разных национальностей, приучала их к публике, заставляя петь иногда, и этот рой молодых девушек, веселых и большею частью красивых, придавал нашим собраниям обаяние молодости и свежести.

Для этих-то учениц моя мать в своей неустанной деятельности сочинила несколько опереток на тексты, написанные Тургеневым нарочно для этой цели: во-первых: «La nuit Saint-Sylvestre», затем «Le dernier sorcier», удостоившуюся постановки в Веймаре и в Карлсруэ, потом «Trop de femmes» и, наконец, «L'ogre», которою и заканчивалась эта серия.

Эти представления долгое время давались в вилле Тургенева, более удобной, чем наша. Наши дома отделялись только садами. Впоследствии мой отец построил настоящий театр, отлично устроенный, но стоивший очень дорого, но он служил мало, так как война 1870 года сразу положила конец нашему пребыванию в Германии.

Из актеров мужского персонала нас было только двое: Тургенев и я. Для меня писались роли, подходящие к моему росту: «Перлемиеннен», великан, превратившийся в карлика, или «Кокосовый орешек», негритенок паши и т. д. Все мои роли были с пением, потому что у меня был хорошенький детский голосок. Остальные роли поручались моим сестрам и вышеупомянутой международной труппе будущих артисток; некоторые из них сделались впоследствии знаменитыми певицами. Какие были веселые репетиции! Какие взрывы хохота всей этой молодежи, когда я первый раз пробовал мою арию с руладами! А бесконечные тревоги и деятельность пчелиного улья, когда дело шло о костюмах! А постановка балета, которою занимался у нас учитель танцев театра в Карлсруэ и метал громы и молнии на тяжеловесность швейцарок, неловкость шведок, медлительность немок, болтливость француженок! И, наконец, волнения первых представлений!

Король Вильгельм смеялся до слез политическим намекам, которыми Тургенев пересыпал свой текст. Моя мать аккомпанировала на рояле, смотрела за всем, бегала во время антрактов за кулисы, чтобы пришить одно, приколоть другое... После представления волчьему аппетиту исполнителей предлагался ужин, неизменно состоявший из холодной говядины и салата из картофеля. Ужин устраивался у нас так, что надо было пройти через оба сада, и эти ночные процессии в костюмах были также одною из интересных сторон тех достопамятных вечеров!

Затем наступала зима, городские птицы переселялись; Лихтентальская аллея покрывалась сухими листьями <...>

Затем идут мои первые годы лицея в Карлсруэ, заключение в пансион, разлука с родным домом... потом вакации, веселье возобновившейся летней жизни... и, наконец, печальный и страшный год, страшный даже для ребенка, которому все время приходилось видеть поезда с ранеными и с пленными, набитыми, как скотиной... С каждым днем их было все больше и больше, в то время как хотя отдаленно, но отчетливо слышались выстрелы пушек, посланных добродушным Вильгельмом и графом Бисмарком разгромить несчастный Страсбург!..

Зима 1870/71 года оставила в моих детских воспоминаниях впечатление болезненного страха. Переход от веселой, шумной и блестящей жизни к печальному и жал-

кому существованию сбивал меня с толку. Праздники в Бадене, солнце, охота... Потом вдруг война, глухие раскаты пушек, бегство в Лондон, мрачный дом на Девонширской площади, желтый туман, газовые фонари, мигающие среди дня, похожего на ночь; холодная сырость, молчаливые обеды, прерываемые шумом поспешных шагов и криками газетчиков, возвещающих все время о германских победах!

Печальное время!.. Изгнание могло затянуться, и потому меня поместили полупансионером в учебное заведение, находившееся поблизости <...>

Когда я вернулся домой, музыка вступила в свои права; я работал над скрипкою с Штраусом. По четвергам вечером у нас дома бывали большие собрания. Гостиная моих родителей сделалась центром маленькой колонии жертв войны. Лондон стал пристанищем всех изгнанников, всех тех, кто, потеряв свое положение, старался теперь устраиваться как-нибудь по-новому. Моя мать мужественно принялась давать уроки и, благодаря ее громкому имени, ученицы нахлынули потоком. Гуно приносил на наши четверги ореол гения и обаяние своей личности. У него был небольшой голос с несколько глухим тембром, но ни один певец не умел взволновать так, как он. Мошелес, Луи Блан, Стенли, Диккенс и др. были частыми гостями на Девонширской площади.

И несмотря на все это беспокойная тоска туманила все умы; во Франции события следовали одно за другим с ужасающею скоростью, приводившей в трепет даже английское спокойствие.

Война уступила место коммуне. Когда стих этот новый ураган, спокойствие восстановилось мало-помалу, и колония рассеялась в поисках за исчезнувшими состояниями и разрушенными стенами.

<...> Как только наш «home» * был снова устроен в Париже, картины повешены и орган поставлен на месте, наши двери распахнулись для знакомых и почитателей моей матери.

Приемы на улице Дуэ были просты: чай и пирожное заменяли пышные «открытые буфеты» с шампанским, какие мы видим теперь неизменно на всех больших вечерах;

* домашний очаг (*фр.*).

но зато слушали прекрасную музыку, и ни один альманах Гота не мог бы перечислить столько имен, знаменитых талантом, если не рождением, составлявших аудиторию этих четвергов. Я помню их: Ренан, Эмиль Ожье, Жюль Симон, Флобер, Эжен Пелетан, Дешанель, отец и сын, Флоке, m-me Адан, Гуно, Сен-Санс, все художники, все знаменитости того времени. Заезжие артисты — Рубинштейны, Венявский, Давыдов, Сарасате считали счастьем участвовать в этих музыкальных собраниях, которые мать моя заканчивала величественными звуками Глюка или Шумана или же пробою каких-либо новых произведений. То были прекрасные артистические вечера, подобных которым я не встречал никогда <...>

У нас были также приемы по воскресеньям вечером, но эти собрания сильно отличались от четвергов, посвященных серьезному искусству. Половина большой гостиной превращалась в сцену, столовая в уборную, и раздавалась импровизированная увертюра, предшествовавшая шарадам самым шутовским, самым неслыханным. Наш родственник, географ Поль Жоанн, Сен-Санс и Тургенев были неизменными исполнителями первых ролей <...>

Вот образчик нашей фантазии. Сцена представляет амфитеатр медицинской школы: студенты, между которыми находится молодая студентка-англичанка (Поль Жоанн), окружают профессора (Тургенева). На анатомический стол кладут голый труп (Сен-Санс, облаченный в розовую фланель!). Лекция анатомии. Профессор определяет, что пациент умер от «назита» или чрезмерного разращения носа. Он собирается уже пронзить его громадным ножом, как вдруг мертвец поднимается! Общий ужас, все бегут, за исключением студентки-англичанки, которая падает в обморок и приходит в чувство в объятиях лжепокойника. Все объясняется: влюбленный прибегнул к этой хитрости, чтобы приблизиться к своей возлюбленной... Наступает ночь, то есть убавляются лампы; следует финальный любовный дуэт, и занавес медленно опускается над обнявшеюся парой, освещенной белой фаянсовой тарелкой, которую я, главный машинист, постепенно поднимаю над ширмой вместо луны.

АЛЬФОНС ДОДЕ

ТУРГЕНЕВ

Это было лет десять — двенадцать назад у Густава Флобера на улице Мурильо. Маленькие нарядные комнаты, обитые полосатой тканью и выходившие окнами в парк Монсо, чинный аристократический парк, листва которого затеняла окна зелеными шторами. По воскресеньям мы собирались в этом уютном, чудесном уголке одной и той же тесной компанией — пять-шесть человек. Для непрошеных гостей двери дома были закрыты.

Однажды в воскресенье, когда я по обыкновению пришел навестить престарелого мэтра и других моих друзей, Флобер встретил меня вопросом:

— Вы не знакомы с Тургеневым? Он здесь.

И, не дожидаясь ответа, ввел меня в гостиную. Когда я вошел, с дивана, где он сидел откинувшись, поднялся высокий старик с белоснежной бородой — он соскальзывал с груды подушек, словно огромная змея, наделенная парой огромных удивленных глаз.

Мы, французы, поразительно плохо знаем иностранную литературу. Наш ум — такой же домосед, как и мы сами, мы ненавидим путешествия и, попадая в чужую страну, почти ничего не читаем и не осматриваем. Случайно я хорошо знал творчество Тургенева. Мне довелось както прочесть «Записки охотника», и они произвели на меня такое сильное впечатление, что я познакомился и с другими книгами русского писателя. Мы были связаны с ним еще до знакомства нашей общей любовью к полям, к перелескам, к природе, одинаковым пониманием ее превращений.

У большинства писателей есть только глаз, и он ограничивается тем, что живописует. Тургенев наделен и обо-

нянием и слухом. Двери между его чувствами открыты. Он воспринимает деревенские запахи, глубину неба, журчание вод и без предвзятости сторонника того или иного литературного направления отдается многообразной музыке своих ощущений.

Но эта музыка доступна далеко не всем. Людям, оглушенным с детства ревом большого города, никогда не уловить ее, не услышать голосов, населяющих мнимую тишину леса, когда человек молчит, ничем не выдавая своего присутствия, и природа считает, что она наедине с собой. Вспомните стук весел, брошенных в пирогу на озере, описанный Фенимором Купером. Вы не видите пироги — вас отделяют от нее несколько миль, но от этого звука, долетевшего до вас издали по спящей воде, леса раскинулись еще шире, и вы вздрогнули от щемящего душу одиночества.

Русские степи пробудили чувства и сердце Тургенева. Человек становится лучше, когда он внимает природе; тот, кто любит ее, не может быть безучастен к людям. Вот чем объясняется сострадательная доброта, сквозящая в книгах славянского романиста, доброта печальная, как мужицкая песня. Это и есть тот человеческий вздох, о котором говорится в креольской песне, клапан, не дающий людям задохнуться: «Больно тебе — вздохни, не то боль задушит тебя». И этот много раз повторенный вздох роднит «Записки охотника» с «Хижиной дяди Тома» вопреки ее пафосу и воплям.

Все это я понимал еще до встречи с Тургеневым. Он уже давно восседал в кресле из слоновой кости на моем Олимпе наряду с другими моими богами. Но я был далек от мысли, что он в Париже, я даже не задумывался над тем, жив он или умер. Каково же было мое удивление, когда я столкнулся с ним лицом к лицу в парижской гостиной на четвертом этаже дома, выходившего окнами в парк Монсо!

Я с восторгом поведал Тургеневу о моем знакомстве с его книгами, выразил ему свое восхищение. Я сказал, что читал его в Сенарском лесу. Там я проник в душу писателя, и ласковые картины леса так тесно переплелись у меня с тургеневскими рассказами, что один из них навсегда остался в моей памяти окрашенным в розовый цвет вересковой пустоши, тронутой осенью.

Тургенев был крайне изумлен.

— Как! Вы читали мои книги?

И тут он заговорил о том, как плохо распространяются его книги, о том, что во Франции он неизвестен и Этцель издает его точно из милости. Слава писателя не вышла за пределы его родины. Он страдал при мысли, что не понят в стране, милой его сердцу, он говорил о своих неудачах с грустью, но без всякого раздражения. Напротив, наши беды 1870 года еще больше привязали его к Франции. Он уже не мог покинуть ее. Перед войной он проводил лето в Бадене, теперь решил больше туда не ездить и удовольствоваться Буживалем и берегами Сены.

В это воскресенье у Флобера никого больше не было, и наша беседа с Тургеневым затянулась. Я расспрашивал писателя о его методе работы, недоумевал, почему он сам не переводит своих книг; надо заметить, что он очень хорошо говорил по-французски, только чуть-чуть медленно, что объяснялось его требовательностью к себе.

Тургенев признался мне, что Академия и академический словарь повергают его в трепет. Он перелистывает дрожащими пальцами этот грозный словарь, точно кодекс словосочетаний, карающий любую вольность. После этих поисков он терзается сомнениями, которые убивают удачу и лишают его всякого желания дерзать. Мне помнится, что в очерке, написанном в то время, Тургенев не отважился сказать «бледные глаза» из страха перед Сорока бессмертными и перед тем, как они отнесутся к этому эпитету.

Я не впервые сталкивался с подобными страхами: они обуревали и моего друга Мистраля, тоже завороженного куполом Академии — этим бутафорским монументом, фигурирующим в круглой рамке на изданиях Дидо.

Я высказал по этому поводу Тургеневу все, что накипело у меня на душе, а именно: что французский язык не мертвый язык, на котором можно писать по словарю застывших выражений, расположенных в алфавитном порядке, как в «Градусе» [1] Для меня язык — прекрасная, полноводная река, в которой трепещет и кипит жизнь. Река уносит по пути много мусора — люди все в нее кидают, — но не мешайте ей течь: она сумеет отобрать самое ценное.

Между тем день уже клонился к вечеру, и Тургенев сказал, что ему надо заехать за «дамами» на концерт Паделу. Я вышел вместе с ним. Меня очень обрадовало, что он любит музыку. Во Франции литераторы обычно ненавидят музыку: все заполонила живопись. Теофиль Готье, Сен-Виктор, Гюго, Банвилль, Гонкур, Золя, Леконт де Лиль — музыкофобы. Насколько мне известно, я первый

посмел громко признаться в своем непонимании красок и в своей страстной любви к звукам. По всей вероятности, эта склонность объясняется моим южным темпераментом и близорукостью — одно чувство развилось у меня в ущерб другому. А Тургенев полюбил музыку в Париже, в среде, где он жил.

Тридцатилетняя дружба связывала его с г-жой Виардо, — Виардо, великой певицей, Виардо-Гарсиа, сестрой Малибран. Одинокий холостяк, Тургенев долгие годы жил в этой семье, в особняке на улице Дуэ, № 50. «Дамы», которых он упомянул у Флобера, были не кто иные, как г-жа Виардо и ее дочери, которых он любил, как родных детей. В этом-то гостеприимном доме я вскоре навестил Тургенева.

Особняк был обставлен с утонченной роскошью и большой заботой о красоте и удобстве. Внизу в щель приоткрытой двери я разглядел картинную галерею. Звонкие девичьи голоса раздавались за стеной. Их сменяло страстное контральто Орфея, звуки которого неслись вслед за мной по лестнице.

На четвертом этаже — небольшое помещение, теплое, уютное, уставленное мягкою мебелью, похожее на будуар. Тургенев перенял художественные вкусы своих друзей: музыку он любил, как г-жа Виардо, а живопись — как ее муж.

Тургенев лежал на софе.

Я сел подле него, и мы возобновили недавний разговор.

Тургенев заинтересовался моими замечаниями и обещал принести в следующее воскресенье к Флоберу один из своих рассказов, чтобы мы перевели этот рассказ в его присутствии. Потом Тургенев заговорил о романе «Новь», который он собирался написать: это должна была быть мрачная картина, изображающая новые слои, поднявшиеся из глубин России, история несчастных «опростелых», которые по горестному недоразумению идут в народ. Но народ не понимает их, высмеивает, гонит прочь. Слушая писателя, я думал, что Россия и в самом деле «новь» — нетронутая земля, где каждый шаг оставляет след, земля, которую предстоит исследовать, возделать. У нас же, напротив, не сохранилось ни одной пустынной дороги, ни одной тропинки, по которой не прошли бы толпы людей. А уж если говорить о романе, то тень Бальзака встает в конце каждой нашей аллеи.

После этой беседы мы довольно часто виделись с Тургеневым. Из всех мгновений, проведенных вместе с ним,

мне особенно запомнился один весенний день на улице Мурильо, сияющий, неповторимый. Разговор зашел о Гете, и Тургенев сказал нам: «Вы его не знаете». В следующее воскресенье он принес нам «Прометея» и «Сатира» — драматическую поэму, вольтерьянскую, кощунственную, бунтарскую. Парк Монсо радовал нас веселыми детскими голосами, ярким солнечным светом, свежестью политых цветов и деревьев, и мы четверо — Гонкур, Золя, Флобер и я, — взволнованные этой величественной импровизацией, внимали гению, переводившему гения. Этот человек, столь робкий, с пером в руке, стоял перед нами как дерзновенный поэт, и мы слышали не лживый перевод, который засушивает и мумифицирует, — сам Гете ожил и разговаривал с нами [2].

Тургенев бывал у меня часто. Я жил тогда в Маре, в бывшей резиденции Генриха II. Писателя забавлял необычный вид парадного двора и королевского дома с коньком на крыше и деревянными решетками на окнах, ныне заполоненного лавчонками игрушек, сельтерской воды и сластей. Однажды, когда он, огромный, под руку с Флобером, появился на пороге, сынишка сказал мне шепотом: «Это великаны!» Да, великаны, добрые великаны, наделенные умом и сердцем, соразмерными их росту. Этих гениальных людей связывала свойственная им обоим простодушная доброта. Виновницей же их союза была Жорж Санд. Бахвал, фрондер и донкихот, Флобер со своим громоподобным голосом, беспощадной наблюдательностью и повадками воина-нормандца был мужской половиной этого духовного брака. Но кто бы заподозрил, что второй колосс, с его мохнатыми бровями и огромным лбом, сродни тонкой, чуткой женщине, много раз описанной им в романах, русской женщине, нервной, томной, страстной, дремлющей, как восточная рабыня, трагичной, как готовая взбунтоваться сила? Среди великой людской неразберихи души попадают иной раз не в ту оболочку: мужская душа оказывается в женском теле, женская душа — в грубом обличье циклопа.

Как раз в это время нам пришла в голову мысль устраивать ежемесячные собрания друзей за вкусным обедом. Эти сборища получили названия «обедов Флобера» или «обедов освистанных авторов». В самом деле, мы все потерпели неудачу — Флобер со своим «Кандидатом», Золя — с «Бутоном розы», Гонкур — с «Анриеттой Марешаль», я — с «Арлезианкой». К нашей компании хотел было примкнуть

Жирарден, но он не был писателем, и мы его не приняли. Тургенев же дал нам слово, что его освистали в России, а так как Россия была далеко, то мы не стали проверять, правда ли это.

Что может быть восхитительнее дружеских обедов, когда сотрапезники ведут непринужденную, живую беседу, облокотясь на белую скатерть? Как люди многоопытные, мы все любили покушать. Количество блюд соответствовало числу темпераментов, количество кулинарных рецептов — числу наших родных мест. Флоберу требовалось нормандское масло и откормленные руанские утки; Эдмон де Гонкур, человек утонченный, склонный к экзотике, заказывал варенье из имбиря; Золя ел морских ежей и устриц; Тургенев лакомился икрой.

Да, нас нелегко было накормить, парижские рестораторы должны нас помнить. Мы часто меняли их. Мы бывали то у Адольфа и Пеле, за Оперой, то на площади Комической оперы, то у Вуазена, погреб которого примирял все требования и утолял все аппетиты.

Мы садились за стол в семь часов вечера, а в два часа ночи трапеза еще продолжалась. Флобер и Золя снимали пиджаки, Тургенев растягивался на диване. Мы выставляли за дверь гарсонов — предосторожность излишняя, так как голос Флобера разносился по всему зданию, — и беседовали о литературе. Обед постоянно совпадал с выходом одной из наших книг: с «Искушением святого Антония» и «Тремя повестями» Флобера [3], с «Девкой Элизой» Гонкура, с «Аббатом Муре» Золя. Тургенев приносил «Живые мощи» и «Новь», я — «Фромона» и «Джека». Мы разговаривали с открытой душой, без лести, без взаимных восторгов.

Передо мной лежит письмо Тургенева, написанное старинным крупным почерком, почерком русского манускрипта, и я привожу его полностью, так как оно хорошо передает искренность наших отношений: [4]

«*Понедельник, 24 декабря 1877 г.*

Дорогой друг,

Если я до сих пор не высказал своего мнения о Вашей книге, то лишь потому, что мне хочется сделать это обстоятельно, не довольствуясь банальными фразами. Я откладываю все это до нашей встречи, которая, надеюсь, вскоре состоится, ибо Флобер возвращается на днях, и наши обеды возобновятся.

Ограничусь несколькими словами: «Набоб» — самый замечательный и вместе с тем самый неровный из всех написанных Вами романов. Если «Фромона и Рислера» представить в виде прямой ————, то «Набоба» следовало бы изобразить так: ~~~~~~~~, причем верхушки этих зигзагов доступны только *таланту перворазрядному.*

Простите мне это геометрическое объяснение.

У меня был очень сильный и длительный приступ подагры. Только вчера я впервые вышел на улицу: ноги не слушаются меня, словно мне девяносто лет. Очень боюсь, что я стал *confirmed invalid* *, как говорят англичане.

Прошу Вас засвидетельствовать мое глубочайшее почтение г-же Доде. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Иван Тургенев».

Когда с обсуждением книг и повседневными заботами бывало покончено, беседа принимала более общий характер, мы обращались к вечным истинам, говорили о любви и о смерти.

Русский писатель молчал, вытянувшись на диване.

— А вы что скажете, Тургенев?

— О смерти? Я о ней не думаю. У нас никто ясно не представляет себе, что это такое, — она маячит вдалеке, окутанная... славянским туманом...

Эти слова красноречиво свидетельствовали о характере русского народа и о таланте Тургенева. Славянский туман покрывает все тургеневское творчество, смягчает его, придает ему трепет жизни, даже разговор писателя как бы тонет в этом тумане. Все, что он говорил нам, поражало вначале неопределенностью, неясностью, и вдруг облако рассеивалось, пронизанное лучом света, ярким словом. Он описывал нам Россию, не историческую, условную Россию Березины, а Россию колосящейся ржи и цветов, набравших силу под весенними ливнями, описывал и Малороссию с ее буйными травами и жужжанием пчел. А так как надо же где-нибудь поместить диковинные истории, которые мы слышим, вставить их в знакомую рамку, то русская жизнь рисовалась мне, по рассказам Тургенева, похожей на жизнь владельцев алжирского поместья, окруженного хижинами феллахов.

Тургенев говорил о русском крестьянине, о его пьянстве, о его дремлющем сознании, о том, что он совершенно не представляет себе, что такое свобода. Или же делился с на-

* хроническим больным (*англ.*).

ми более отрадными воспоминаниями, прикрывал уголок идиллии, связанный с молодой мельничихой, которую ой встретил во время охоты и в которую был одно время влюблен.

— Что тебе подарить? — постоянно спрашивал он у мельничихи.

Однажды красавица, покраснев, ответила ему:

— Привези мне мыла из города. Я буду мыть им руки, чтобы они хорошо пахли, и тогда ты станешь их целовать, как у барыни.

После любви и смерти разговор заходил о болезнях, о теле, которое становится в тягость, как ядро на ноге у каторжника. То были печальные признания мужчин, которым перевалило за сорок! Меня еще не мучил ревматизм, и я посмеивался над моими друзьями и над страдавшим подагрой несчастным Тургеневым, который приходил на наши обеды, хромая. С тех пор я поубавил спеси.

Увы, смерть, о которой мы говорили постоянно, нагрянула и похитила у нас Флобера. Он был душой, связующим звеном наших обедов. После его кончины все изменилось: мы виделись изредка, нам не хватало мужества возобновить встречи, прерванные смертью.

Прошло несколько месяцев, и наконец Тургенев решил собрать нас. Место, предназначавшееся для Флобера, свято сохранялось за нашим столом, но нам так недоставало его громкого голоса и веселого смеха, обеды уже были не те. После этого я встречал русского романиста на вечерах г-жи Адан. Однажды он привел с собой великого князя Константина, который находился проездом в Париже и пожелал видеть местных знаменитостей. Это сборище за столом походило на оживший музей Тюссо. Тургенев был печален и болен. Несносная подагра! Она надолго укладывала писателя в постель, и он просил друзей навещать его.

Два месяца тому назад я видел Тургенева в последний раз. Дом был по-прежнему полон цветов, звонкие голоса по-прежнему звучали в нижнем этаже, мой друг по-прежнему лежал у себя на диване, но как он ослабел, как он изменился! Грудная жаба не давала ему покоя, а кроме того, он страдал от страшной раны, оставшейся после операции кисты. Тургенева не усыпляли, и он рассказал мне об операции, ясно сохранившейся в его памяти. Сначала он испытал такое ощущение, словно с него, как с яблока, снимали кожуру, затем пришла резкая боль — нож хирурга резал по живому мясу.

— Я анализировал свои страдания, мне хотелось рассказать о них за одним из наших обедов. Я подумал, что это может вас заинтересовать, — прибавил он.

Тургенев уже вставал с постели. Он спустился вместе со мной, чтобы проводить меня до парадной двери. Внизу мы зашли в картинную галерею, и он показал мне полотна русских художников: привал казаков, волнующееся море ржи, пейзажи живой России, такой, какою он ее описал.

Старик Виардо был нездоров. За стеной пела Гарсиа, и в этой любимой им атмосфере искусства Тургенев улыбался, прощаясь со мной.

Месяц спустя я узнал, что Виардо умер, а Тургенев при смерти. Мне трудно поверить в роковой исход его болезни. Для прекрасных, могучих талантов должна бы существовать отсрочка, чтобы они все успели сказать. Время и мягкий буживальский климат вернут нам Тургенева, но ему уже не бывать на наших задушевных собраниях, доставлявших ему такую радость!

Ах, обеды Флобера! Недавно мы возобновили их, но за столом нас было только трое.

В то время как я просматривал эту статью, появившуюся несколько лет тому назад, мне принесли книгу воспоминаний, на страницах которой Тургенев с того света всячески поносит меня:[5] как писатель я ниже всякой критики, как человек — последний из людей. Моим друзьям это-де прекрасно известно, и они рассказывают обо мне бог знает что!.. О каких друзьях говорит Тургенев, и как они могли оставаться моими друзьями, если так хорошо меня знали? Да и кто принуждал добросердечного славянина к этой показной дружбе? Я вспоминаю его в моем доме, за моим столом: он мил, ласков, целует моих детей. У меня сохранились его письма, письма хорошие, дружеские. Так вот что скрывалось под этой доброй улыбкой!.. Боже мой! Какая странная штука жизнь и как прекрасно прекрасное греческое слово — eirôneia! *

---

* притворство (*греч.*).

Х. ГОГЕНЛОЭ

ИЗ ДНЕВНИКА
(1876 и 1879 гг.)

<1>

Париж (25 января) 6 февраля 1876 г.

Вчера вечером у княгини Урусовой. Там были Черкасский, Жуковский-младший [1] и Тургенев. Последний рассказывал, между прочим, о Викторе Гюго, которого он часто навещает. Говорит, что Виктор Гюго необычайно любезен и радушен как хозяин; он живет здесь в наемной квартире, богат, но расчетлив. Тургенев недавно имел с ним беседу о Гете, во время которой обнаружилось много неожиданного. Между прочим, Гюго приписал Гете «Валленштейна». Он ненавидит Гете и дошел до того, что заявил: «Personne n'ignore que c'est Ancillon qui a écrit les «Wahlverwandschaften» et pas Goethe» *.

Тургенев говорит о чувстве нетерпимости, присущей французским писателям высшего ранга, таким, как Флобер и Доде, которые ничего не хотят знать о несколько хуже пишущих авторах, как Арсен Уссей и Александр Дюма, Тургенев далее говорил о гравюрах Гойя, которые появились в начале этого века. Когда он описывал отдельные картины, ярко проявился его прославленный талант. Потом он прочитал нам несколько стихотворений некой госпожи Аккерман, которая в общем стоит на точке зрения

---

* Кто же не знает, что «Избирательное сродство» написал Ансильон, а вовсе не Гете (*фр.*).

Шопенгауэра и проклинает бога и вселенную. В Тургеневе есть что-то от самодовольствия знаменитого писателя, но только в очень небольшой и не раздражающей мере. К тому же он любезен и естествен.

<2>

Париж <21 марта> 2 апреля 1876 в.

...я отправился к княгине Урусовой, где застал Тургенева, который читал стихи и рассказывал о разном в своей обычной образной манере.

Вернулся домой в час ночи...

<3>

Париж <1> 13 апреля 1879 г.

Тургенев возвратился из России, где был предметом всеобщих оваций. Я застал его вчера еще под впечатлением пережитого. Он говорил, что был поражен таким чествованием, ведь он никогда не занимался политикой. Он объяснял это потребностью русского народа найти хоть какой-нибудь объединяющий пункт, чтобы проявить свои либеральные воззрения. Он много рассказывал о русских делах. Правительство не понимает движения. По мнению Тургенева, оно поступает неправильно, относясь одинаково к нигилистическим заговорщикам и к либеральным кругам. Он прибавил, что действительно существуют тайные общества с радикальными тенденциями. Ему самому приходилось беседовать с такими радикалами; у них нет никакой программы, они только высказывают мысль о том, что старый, обветшалый дом должен быть подожжен со всех четырех сторон, а потом должен быть построен новый. Образованные круги — ученые, литераторы, чиновники — убеждены, что Россия должна получить конституцию, не обязательно по новейшему образцу, но такую, которая включала бы представителей земств, чтобы контролировать финансы и внести порядок в управление. Движение охватило всех. «Le peuple russe est frémissant» *. Для царя было бы легко уступками привлечь на свою сторону народ и вызвать в нем по отношению к своей особе нео-

* Русский народ в брожении (*фр.*).

бычайный энтузиазм. Сейчас для этого чрезвычайно благоприятный момент. Однако царь, которого всегда предостерегали, что уступки привели Людовика XVI к гильотине, не хочет об этом и думать. К тому же он сделался равнодушным, он окружен лишь тесной кликой, склоняется к тому, чтобы одними и теми же мерами противодействовать как либеральному, так и радикальному движению. Это ожесточает и умеренных. Вполне благомыслящие люди говорили ему, Тургеневу: они сами смущены тем, что не могут в душе порицать террористические акты, которые они осуждают. Тургенев упомянул различные факты, вызывавшие всеобщее раздражение. Так, девятьсот молодых людей, на которых только пали кой-какие подозрения, были брошены в одиночки. Шестьдесят человек из них в результате многолетнего заключения лишились ума, многие заболели туберкулезом. Около десяти тысяч молодых людей были в заключении и высланы в отдаленные города [2]. Это значит, что разрушена их карьера и что они лишились средств к существованию. И это были не только нигилистические заговорщики, большая часть их — либералы, которые не смогли скрыть своих мечтаний о конституционном устройстве.

В России, говорит Тургенев, в центре внимания — внутренняя политика. Внешняя политика никого не интересует. Поэтому славянофильская партия потеряла почву. Аксаков, который посетил его, разразился по этому поводу иеремиадами [3]. Войну, которая стоила стольких денег и людей и не принесла России никаких преимуществ, все осуждают самым решительным образом [4], и в настоящее время о войне никто не хочет и слышать.

Он говорил о министрах с величайшим презрением. Маков — идиот, Грейг — совершенно неспособен. Царь сказал Грейгу после одного доклада: «До сих пор я считал, что я тот человек, который меньше, чем кто-либо другой в России, понимает в финансах. Теперь вижу, что ошибался: этот человек — ты». Тем не менее царь сохраняет Грейга на его посту. Если утверждать, что в России нет людей, способных к руководству делами, — это совершенно ошибочно. Он назвал различных дельных провинциальных чиновников и адвокатов. Если этот момент спасти Россию будет упущен — наступит общий крах. В революцию Тургенев не верит. Правительство обладает достаточной властью, чтобы силой сохранить порядок. Когда он спросил бывшего министра, консерватора, каким об-

разом может быть исправлено положение, тот ответил: «Vis medì catrix naturae» *. Русские возлагают сейчас надежды на смерть царя и на наследника. Тургенев отрицает, что жизни царя угрожают нигилистические террористы. В своих террористических актах они исходят из определенной теории, они ставят себе целью наказать чиновников, допускающих грубые нарушения закона и несправедливости, и тем запугать их. Царю они ничего не сделают.

Тургенев предполагает написать политическую брошюру, в которой намерен изложить мысли, вызванные пребыванием в России.

То, что правительству начало казаться неудобным его присутствие в России, — это понятно. Жандармский офицер на границе сказал ему, когда он проезжал: «А мы уже пять дней ждем вас» [5].

Если бы я был царем Александром, я поручил бы Тургеневу составить кабинет.

* Целительная сила природы (*лат.*).

В.-Р.-С. РОЛЬСТОН

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Я знал его близко в течение почти пятнадцати лет. Я посещал его в Бадене, в Париже и в Буживале; я прогостил дней десять в его русском поместье в 1870 году, не раз встречался с ним в Англии, по различным поводам и в разных местах; и повсюду, во всякое время я находил его все тем же очаровательным собеседником, добрейшим и скромнейшим из людей. За все время нашего знакомства я никогда не слышал от него ни слова, в котором сквозила бы хотя тень зависти или высокомерия. Никто не был способен с такой готовностью, как он, признать и поощрить нарождающийся талант, оценить достоинства своих преуспевающих соперников, как живых, так и умерших. Его кротость по отношению к тем, кто иногда осмеливался порицать его, была поистине удивительна, и малейший знак восхищения всегда был для него неожиданностью. Как и покойный Дарвин, он постоянно бывал слегка удивлен всяким доказательством уважения к нему. Приведу для примера следующий факт. Несколько лет тому назад Генри Гольт, издатель из Нью-Йорка, прислал ему чек, прося принять это как слабый знак признательности и прибавляя, что никогда ни одно из издаваемых им сочинений не доставляло ему такого наслаждения, как переводы романов Тургенева [1]. Тургенев был искренне восхищен этим неожиданным для него признанием его таланта за океаном, как будто бы он был писателем сравнительно неизвестным, а не романистом, сочинения которого переведены чуть ли не на все языки Европы.

Когда несколько лет тому назад распространилась ложная весть о смерти Тургенева, один английский критик написал о нем биографическую статью, в которой, между прочим, отметил, что великий романист прекрасно говорил, но что его энтузиазм порою был утомителен. «Это в первый раз меня назвали скучным», — писал мне Тургенев

в одном из многих восхитительных писем, которые я получил от него [2]. И это сущая правда. Менее скучного собеседника трудно себе представить. Он говорил блестяще, обнаруживая удивительный запас знаний по самым разнообразным предметам; но он никогда один не завладевал разговором и отличался необыкновенным уменьем внимательно слушать. Я имел счастье присутствовать однажды при разговоре между тремя друзьями, из коих двое теперь уже покоятся вечным сном. Один из них был Тургенев, другой — ныне покойный В.-Дж. Кларк, вице-директор Тринити-Колледжа, и третий — Теннисон. Я отчетливо помню, как искусно русский романист отстаивал свои мнения, даже когда разговор касался предметов, с которыми его собеседники были особенно хорошо знакомы. В ряде других случаев я замечал, какое сильное впечатление производил он на самых строгих судей и ценителей. Так было однажды во время краткого посещения Тургеневым Кембриджа [3], когда он присутствовал на обеде в Тринити-Колледже. Я уверен, что многие из воспитанников училища до сих пор еще помнят этот день, ознаменованный присутствием столь блестящего гостя. Хотя Тургенев беседовал по обыкновению увлекательно, но можно было заметить, что втайне его занимала посторонняя мысль. Дело в том, что в тот же вечер должна была происходить защита диссертации одним из студентов, энергией и талантом которого Тургенев был поражен и которому он предсказывал блестящую карьеру (увы, она была пресечена ранней смертью). Тезис заключался в том, что французские коммунары заслуживают сочувствия англичан. Тезис был предложен до падения Коммуны и до пожара Парижа, но автор отказался взять его назад. Тургеневу так хотелось слышать дебаты, он так боялся пропустить бурную сцену, которую ожидал, судя по своему опыту на континенте, что то и дело спрашивал: не пора ли отправляться? После дебатов, заметив, с каким спокойным и почтительным вниманием молодые люди, толпившиеся в зале, выслушали аргументы докладчика, а затем все единогласно вотировали смерть его тезису, Тургенев обернулся ко мне и сказал: «Теперь-то, наконец, я понимаю, почему вы, англичане, не боитесь революции».

В Оксфорде Тургенев приобрел себе столько же друзей, сколько и в Кембридже; когда университет поднес ему звание почетного члена, он снова выразил свое удивление по поводу огромной разницы характеров между британскими и русскими студентами. В Лондоне у него также было

много друзей, и все присутствовавшие на собраниях, в которых он участвовал, например, у покойного Данте Россети, Уильяма Споттисвуда и Мэдокса Брауна, надолго сохранят приятное воспоминание об его статной фигуре с величавой, львиной головой, об его привлекательном обхождении и грустной прелести его улыбки. В последний раз, когда он был в Англии, два года тому назад, предполагалось устроить в честь его банкет и соединить на нем всех его многочисленных английских почитателей. Все, кому ни говорили об этом — поэты, романисты, художники или музыканты, — все с радостью приветствовали эту мысль. Но этому воспротивился сам Тургенев, написав из Парижа: «Нет, дорогой друг, нет никаких оснований, почему англичане должны были бы оказать мне такую великую честь. Я недостоин ее, и мои враги скажут, что я интриговал для какой-нибудь цели». Я цитирую его слова по памяти, но гарантирую, что смысл их был именно таков. Однако, хотя большой банкет не состоялся, небольшое собрание в честь его все-таки произошло в Лондоне, в октябре 1881 года [4].

Он проезжал через Лондон уже на обратном пути в Париж из Ньюмаркета, где охотился на куропаток вместе с одним из лучших своих английских друзей, Голлем, бывшим корреспондентом «Daily News». Наскоро был организован обед, на котором Тургенев встретился с несколькими товарищами-романистами: Энтони Троллопом, Уильямом Блеком, Блэкмором, Вальтером Бэзантом, Джемсом Пэном. Тургенев был сильно встревожен мыслью о том, что ему надо произнести речь, так как он, в противоположность большинству своих соотечественников, не обладал плавным ораторским красноречием. Но его просили не вставать с места, когда он будет благодарить за тост, а просто, сидя, побеседовать немного со своими почитателями. Он последовал этой просьбе и говорил без натянутости, без стеснения, с такою увлекательностью, с таким чувством, что этого вечера не забудет ни один из присутствующих. Для нас, англичан, он был всего интереснее, когда говорил о влиянии, оказанном английской литературой не только на него одного, но на русскую литературу вообще.

Он основательно знал английскую литературу и глубоко изучил многих старых английских авторов. В его деревенском доме, в Спасском, он показывал мне томы сочинений наших старых драматургов: Бена Джонсона, Бомонта и Флетчера, Мэссинжера и других; Шекспир всегда был его кумиром; до конца жизни он сохранил чувство

искреннего восхищения и преклонения перед многими великими английскими писателями. Но тем не менее он был страстным приверженцем своего родного языка, горячим поклонником тех шедевров, которыми русская литература справедливо может гордиться. Пушкина он чуть ли не боготворил. На смертном одре он высказал своим друзьям, что желал бы лежать возле Пушкина, но что он чувствует себя недостойным такой великой чести и что такое желание слишком дерзновенно с его стороны. Это неподдельное самоуничижение характеризует человека. Быть может, такое отсутствие самомнения и заставляло его так много думать о других. Во время пребывания моего в Спасском я успел узнать глубину его сердца, широту его симпатий и к человеку, и к животным, — ко всему, что живет и страдает. Для меня было настоящим наслаждением слушать, как он в своей деревне разговаривал с крестьянами, своими бывшими крепостными, с мужиками окрестных сел и со старыми слугами, пришедшими повидать барина, которого они знали еще ребенком. «Крестьяне очень довольны Иваном Сергеевичем», — сказал мне один из мужиков соседней деревни, население которой было недовольно своим прежним владельцем. В прошедшем году Тургенев предполагал вернуться в Россию весной и провести все лето в Спасском. Я надеялся посетить его в это время и перевести под его руководством роман, который он намеревался писать и который должен был иллюстрировать огромную разницу, существующую между социализмом России и социализмом Западной Европы. План романа, как он объяснил мне, был приблизительно следующий: русская девушка, примкнувшая к нигилистическим идеям, покидает родину и поселяется в Париже. Там она встречает молодого француза-социалиста и выходит за него замуж. Некоторое время все идет благополучно в семье, воодушевленной общей ненавистью ко всем законам и условностям. Но наконец молодая женщина знакомится с одним из своих соотечественников, который рассказывает ей, что русские социалисты думают, говорят и делают на ее родине. Она узнает с ужасом, что цели, надежды и стремления русских революционеров существенно расходятся с целями французских и немецких социалистов и что глубокая пропасть разделяет ее от мужа, с которым она всегда считала себя во всем согласной[5]. Как должна была кончиться история — не знаю, но легко себе представить, с какой силой и чувством развил бы эту идею великий писатель, которого мы утратили.

Г. ДЖЕЙМС

ИВАН ТУРГЕНЕВ
(Из воспоминаний)

Тургенев был одним из наиболее богато одаренных людей: необычайно привлекательный, превосходный собеседник и рассказчик; его физиономия, личность, характер, его необыкновенный дар притягивать к себе сердца оставили в памяти его друзей образ, в котором литературная слава является лишь одной из черт, не затмевающих целого. Образ этот покрыт меланхолическим налетом, отчасти потому, что меланхолия составляла глубокую и неизгладимую особенность его темперамента <...>, отчасти же, может быть, потому, что в последние годы его жизни Тургеневу приходилось переносить тяжелые недуги <...> Но наряду с меланхолией в нем было много искрящейся веселости, способности отдаваться наслаждению <...> Тургенев был очень сложная натура. Я восхищался его произведениями еще до личного знакомства с ним, и когда на мою долю выпало это счастье, знакомство пояснило мне многое в его произведениях. С того времени и человек и писатель заняли в моей душе одинаково высокое место <...>

Я никогда не забуду впечатления, произведенного на меня первой встречей с Тургеневым. Он обворожил меня. Я не поверил бы, что великий писатель при первом же знакомстве может оказаться до такой степени привлекательным человеком. Но дальнейшие встречи лишь укрепили это впечатление. Он, отличаясь такой простотой, естественностью, скромностью, таким отсутствием каких-либо личных претензий, так лишен был сознания своей силы, что иногда на мгновение думалось, действительно ли пред тобой гениальный человек? Все хорошее, все плодотворное

было близко ему: казалось, он интересовался всем на свете и в то же время в нем ни на мгновение не проявлялось той самоуверенности, какая обыкновенно присуща не только людям, пользующимся действительной славой, но и всякого рода мелким «известностям». В нем же не замечалось ни капли тщеславия, стремления «поддержать свою репутацию», «играть роль». Его юмор нередко обращался на него самого, и он с веселым смехом рассказывал анекдоты о самом себе <...> Я живо помню улыбку и тон голоса, с которым Тургенев однажды повторил выразительный эпитет, приложенный к нему Густавом Флобером, эпитет, долженствовавший характеризовать расплывчивую мягкость и нерешительность, преобладавшие в натуре Тургенева, как и в характерах многих из его героев. Он искренне наслаждался остротой Флобера и признавал в ней значительную долю правды. Вообще, он был необычайно естествен; скажу больше, — я никогда еще не встречал человека, обладавшего в такой степени этим качеством. Как и у всех незаурядных натур, в нем совмещались многие противоположные черты и в нем особенно поражало сочетание простоты с самой утонченной культурой. В моем критическом очерке <...> я, выразив свое восхищение трудами Тургенева, позволил себе сказать, что он обладает аристократическим темпераментом [1]. Замечание это, после знакомства с Тургеневым, показалось мне особенно нелепым. Он вообще не поддавался никаким определениям этого рода; точно так же сказать о нем, что он был демократом, значило (хотя его политическим идеалом была демократия) дать о нем очень поверхностное и неверное понятие. Он чувствовал и понимал противулежащие стороны жизни; для догматизма он обладал чересчур живым воображением и большим запасом юмора и иронии. В нем не было ни зерна каких-либо предрассудков, и наши англосаксонские, протестантские, морализующие, условные мерки морали были далеки от него. Он обсуждал все явления со свободой, которая всегда производила на меня оживляющее впечатление. Чувство красоты и любовь к правде и справедливости лежали в основе его натуры; но одним из очарований разговора с ним было то, что вы дышали атмосферой, в которой условные фразы и суждения звучали бы нелепостью.

Прибавлю, что, конечно, уже не ради похвальной критической статьи Тургенев удостоил меня таким дружеским приемом, ибо моя статья имела для него очень мало значения. При его чрезвычайной скромности он едва ли придавал

большое значение тому, что о нем говорили, ибо вообще не ожидал большого понимания, в особенности за границей, среди иностранцев. Я даже ни разу не слыхал, чтобы он упомянул в разговоре о какой-либо из многочисленных критических оценок его произведений в Англии. Во Франции, как он знал, его читали «умеренно»; рыночный спрос на его книги был не велик, и он не обольщался иллюзиями насчет действительных размеров его популярности за границей. Он с удовольствием слышал, что некоторые читатели в Америке с нетерпением ожидают каждого его нового произведения, но все же он знал, что у него в Америке нет «публики» в обычном значении этого слова.

Относительно критики он думал, что она может быть полезна для читателей, но очень мало влияет на самого художника<...>

Замечу также, что я нашел Тургенева таким неотразимо привлекательным вовсе не потому, что он с похвалой отзывался о моих произведениях (я аккуратно посылал ему все мои книги). Я уверен, что он даже не читал их. По поводу первой из посланных ему мной повестей он написал нам коротенькую записочку, в которой сообщал, что m-me Виардо прочла ему вслух несколько глав этой повести и что одна из этих глав написана de main de maître! *[2] Конечно, я был обрадован этим отзывом, но это было первым и последним удовольствием этого рода. Как я уже сказал, я посылал ему все мои книги, но он никогда больше не обмолвился о них ни единым словом, никогда ничем не показывал, что он читал их. Позже я понял, что мои произведения и не могли интересовать его. Он больше всего ценил реализм, а мой реализм хромал. Мои произведения были слишком tarabiscoté, по выражению Тургенева, то есть в них было чересчур много цветов и гирлянд. Он много читал по-английски и знал английский язык удивительно хорошо — пожалуй, слишком хорошо, как я неоднократно думал, так как он любил говорить на нем с англичанами и американцами, а я предпочитал слышать его остроумную французскую беседу. Я уже сказал, что Тургенев был свободен от предрассудков, но один, небольшой, у него всетаки был. Он думал, что для англичанина или американца недоступно совершенное знание разговорного французского языка. Тургенев знал Шекспира в совершенстве и одно время занимался детальным изучением старой и

* рукой мастера (*фр.*).

новой английской литературы. Говорить по-английски ему удавалось не часто, так что, когда выпадал такой случай, он нередко употреблял в разговоре фразы, попадавшиеся ему в прочитанных английских книгах. Это придавало его английскому разговору своеобразную и неожиданную литературную окраску. Когда я знавал его, он продолжал чтение по-английски и не брезгал даже иногда заглядывать в таухницевские издания современных английских романов [3]. С большим восторгом он отзывался о Диккенсе, недостатки которого были для него вполне ясны, но он ценил в нем способность изображать законченные живые образы. В равной степени он восхищался Д. Эллиот, с которой он познакомился в Лондоне во время франко-прусской войны. Д. Эллиот, в свою очередь, была очень высокого мнения о таланте Тургенева. Но особенно заинтересован он был молодой французской школой, приверженцами реализма, «внуками Бальзака». С большинством из литераторов этого лагеря он был в дружеских отношениях, а с Густавом Флобером, наиболее оригинальным изо всей группы, его связывала интимная дружба. Конечно, славянские черты таланта и глубокая германская культура Тургенева едва ли были доступны его французским друзьям, но сам он очень симпатизировал новому движению в французской литературе, настаивал на необходимости изучения живой действительности, долженствующей быть основой беллетристических произведений. К представителям иных традиций он относился с пренебрежением. Правда, он редко выражал это пренебрежение; вообще, резкие приговоры редко слетали с его уст, за исключением тех случаев, когда дело шло о какой-нибудь общественной несправедливости. Но я помню, как он однажды сказал мне, серьезно и с осуждением, указывая на повесть, напечатанную в «Revue des deux Mondes»:

— Если бы я написал что-либо столь плохое, я бы краснел всю мою жизнь! <...>

Тургенев придавал очень большое значение форме, хотя и не в такой степени, как это делали Флобер и Эдмон де Гонкур. Среди литераторов он имел вполне определенные и живые симпатии. Он с большим уважением относился к Жорж Санд, главе старой романтической традиции, но уважение это вытекало из общих причин, главную роль среди которых играла личность самой Жорж Санд: Тургенев считал ее чрезвычайно благородной и искренней женщиной. Как я уже сказал, он питал большую привя-

занность к Густаву Флоберу, который платил ему тем же <...> В те месяцы, когда Флобер жил в Париже, Тургенев каждое воскресенье отправлялся к нему и был настолько внимателен ко мне, что и меня познакомил с автором «M-me Бовари», присмотревшись к которому, я понял привязанность к нему Тургенева. Эти воскресные собрания происходили в небольшой гостиной Флобера, на улице Фобур Сент-Оноре; именно здесь, в этой полутемной гостиной, которая выглядела как временное пристанище, и проявился во всем блеске талант Тургенева — собеседника и рассказчика. Завсегдатаи тургеневского салона надолго запомнили эти встречи. Как и всегда, он в этих случаях был прост, естествен и словоохотлив; о чем бы он ни говорил, предмет разговора окрашивался его блестящим воображением. Главным предметом обсуждения на этих «дымных» собраниях, ибо собеседники беспощадно курили, были вопросы литературного вкуса, вопросы искусства и формы; собеседники в большинстве случаев высказывали самые радикальные взгляды. Конечно, такие вопросы, как отношение искусства к нравственности, тенденциозность в искусстве и т. и., были разрешены ими давно и о них не заходило и речи. Они все были убеждены, что искусство и нравственность представляют две совершенно различные категории и что искусство имеет столь же мало общего с нравственностью, как и астрономией или эмбриологией. Повесть прежде всего должна быть хорошо написана; это достоинство само по себе уже включает и все другие. С особенной яркостью это было высказано в одно воскресенье, когда случился эпизод, непосредственно затронувший одного из членов кружка. «Западня» («L 'Assommoir») Золя была приостановлена печатанием в газете, где этот роман появлялся в форме фельетонов. Приостановка произошла вследствие неоднократных протестов со стороны подписчиков газеты [4]. И вот подписчик, в частности как тип человеческой глупости, и филистеры всякого рода вообще, были преданы в это воскресенье проклятию.

Во взглядах Золя и Тургенева, конечно, были большие различия, но Тургенев, как я уже сказал, понимал все, понимал он и Золя и справедливо оценивал солидные качества многих его произведений <...> Для Тургенева искусство всегда должно было оставаться искусством вечным и нетленным. Это положение являлось для него аксиомой, не требовавшей доказательств <...> Он прекрасно знал, что требования уступок в этой области никогда не идут со

стороны самих художников, но всегда предъявляются покупателями, издателями, подписчиками и т. и. Он говорил, что не понимает, как повесть может быть нравственной или безнравственной, к ней также странно предъявлять подобные требования, как и к картине или симфонии <...> Но, конечно, его понимание свободы искусства было несравненно шире понимания его французских собратьев. В нем чувствовалось знание всего огромного разнообразия жизни, знание малодоступных другим явлений и ощущений, чувствовался горизонт, в котором терялся узкий горизонт Парижа, и эта широта знания и понимания выделяла его среди парижских литераторов. За сказанным им чувствовалось много невысказанного <...> Но все же он с большим воодушевлением принимал участие в обсуждениях и спорах, проявляя все ту же простоту, естественность и внимание, придававшие такое очарование его разговору. В спорах он всегда умел держаться существенной стороны вопроса, подлежащего обсуждению.

Бесспорно, это был прекрасный ум, но меня прежде всего поразила его великолепная мужественная фигура, и это впечатление всегда связано с моим представлением о Тургеневе. Глубокая, мягкая, любящая душа была заключена в колоссальное изящное тело, и эта комбинация была необычайно привлекательна <...> Как известно, он был страстным охотником <...> и продолжал охотиться и в старости. Возле Кембриджа жил его приятель-англичанин, к которому Тургенев иногда отправлялся поохотиться. Я думаю, трудно было бы подыскать более подходящую фигуру для изображения Северного Нимврода. Тургенев был чрезвычайно высокого роста и обладал широким здоровым телосложением. Голова его была поистине прекрасна, и хоть черты лица не отличались правильностью, оно обладало большой оригинальной красотой. У него была чисто русская физиономия с чрезвычайно мягким выражением, и в в его глазах — самых добрых глазах в мире — светилась глубокая печаль. Обильные, прямо ниспадавшие волосы были белы, как серебро, такова же была и борода, которую он носил коротко подстриженной. Во всей его высокой фигуре, производившей впечатление, где бы она ни появлялась, чувствовалось присутствие неизрасходованной силы <...> Тургенев был способен краснеть, как 16-летний юноша. Он не любил условных форм и церемоний, что же касается его «манер», то, вследствие присущей ему простоты и естественности, таковых у него не было. Он

всегда был самим собой. Все, что бы он ни делал, дышало простотой; если он ошибался и ему указывали на ошибку, Тургенев принимал такое указание без тени раздражения или неудовольствия. Дружелюбный, искренний, благосклонный, Тургенев прежде всего производил впечатление человека неисчерпаемой доброты, и это впечатление выносили все знавшие его.

Когда я познакомился с Тургеневым, он жил в большом доме на Монмартрском холме, с семьей Виардо. Он занимал верхний этаж, и я живо помню его маленький зеленый кабинет, в котором я провел столько незабвенных и невозвратных часов. Стены кабинета были покрыты зеленой драпировкой, портьеры также были зеленого цвета, и возле стены стоял диван, который, очевидно, был заказан по гигантским размерам самого хозяина, так как людям меньших размеров приходилось скорее лежать, чем сидеть на нем. Вспоминается мне белесоватый свет, проникавший с парижской улицы сквозь полузакрытые окна. Свет этот падал на несколько избранных картин французской школы, среди которых особенно выделялась картина Теодора Руссо, чрезвычайно высоко ценимая Тургеневым. Он очень любил живопись и был тонким ценителем картин. В последний раз, когда мы виделись в его загородном доме, он показал мне около полудюжины больших копий с картин различных итальянских мастеров. Копии были сделаны одним молодым русским художником, судьбой которого в то время Тургенев очень интересовался. Тургенев с большим увлечением хвалил действительно хорошую работу своего молодого протеже [5]. Подобно всем людям, обладающим сильным воображением, он часто был способен очень увлекаться, открывая новые таланты. Вообще у него вы почти всегда могли встретить какого-нибудь его соотечественника или соотечественницу, которыми он в данное время почему-либо интересовался, изгнанники и пилигримы обоего пола постоянно стучались у его дверей. Эта способность увлекаться нередко вела к ошибкам и разочарованиям. Тургенев часто открывал среди своих русских знакомых какого-нибудь гения, нянчился с ним в течение месяца, и потом вы больше не слыхали о нем. Я помню, он рассказывал мне однажды о молодой женщине, посетившей его на возвратном пути из Америки, где она изучала медицину. Очутившись в Париже без друзей и без средств, она нуждалась в помощи и заработке. Узнав случайно, что она пробовала свои силы в беллетристике [6],

Тургенев попросил ее прислать ему эти опыты. Среди них оказался чрезвычайно живо написанный очерк из русской крестьянской жизни. Тургенев думал, что молодая писательница обладает крупным талантом; он послал ее рассказ в Россию для помещения в журнале <...> и мечтал о напечатании его в одном из парижских изданий. Когда я упомянул об этом эпизоде одному из старых друзей Тургенева, он улыбнулся и сказал мне, что, вероятно, вскоре эта молодая писательница будет предана забвению, что Тургенев нередко открывал таланты, из которых потом ничего не выходило. Вероятно, в этом была некоторая доля правды, и если я упоминаю о способности Тургенева увлекаться в этом отношении, то лишь потому, что это была благородная слабость, вытекавшая из его доброты, а не из отсутствия у него художественного вкуса. Он горячо интересовался русской молодежью: можно сказать, что для него это был самый интересный в мире объект изучения. Все эти русские знакомые почти всегда были несчастны, терпели нужду и протестовали против господствующего порядка вещей, который и в самом Тургеневе вызывал отвращение! Изучение русского характера, как известно всем читателям его произведений, постоянно занимало внимание Тургенева. Характер этот, полный богатых задатков, но несформировавшийся, не развившийся вполне, находящийся в переходном состоянии, представлял какую-то таинственную ширь, в которой трудно было отделить способности от слабостей. Впрочем, с русскими слабостями Тургенев, конечно, был хорошо знаком и не скрывал их <...>

Молодые его соотечественники волновали его воображение и вызывали в нем сочувствие, и, принимая во внимание окружающую обстановку, они должны были производить на него сильное впечатление. На парижском фоне, с его блестящей монотонностью и отсутствием чего-либо неожиданного (для людей, давно знающих Париж) эти соотечественники должны были выделяться с особенной яркостью <...> И, действительно, перед Тургеневым проходило много любопытных типов. Он рассказывал мне однажды, что его на днях навестила «религиозная секта». Секта эта состояла всего-навсего из двух лиц: одно было предметом поклонения, а другое являлось поклонником. Божество путешествовало по Европе в сопровождении «пророка». Такое положение имело свои удобства: божество всегда имело алтарь и алтарь — божество.

В первом этаже дома на rue de Douai находилась картинная галерея (здесь же мне однажды пришлось видеть Тургенева, с большим комизмом выполнявшего роль в импровизированном наряде), в которую он пригласил меня при первом же свидании с целью показать свой портрет, выполненный одним русским художником, жившим тогда в Париже. Самое большее, что можно было сказать о портрете, — что он был выполнен «порядочно», в особенности когда приходилось глядеть на него рядом с живым оригиналом; он, впрочем, не имел успеха и на выставке в Салоне.

Отмечу еще несколько мелочей, ибо они интересны, когда речь идет о таком человеке, как Тургенев. Во всей его обстановке поражала доведенная до педантизма аккуратность. В его маленькой зеленой гостиной все стояло на надлежащем месте, нигде не было тех следов умственной работы, на которые обыкновенно наталкиваешься в жилище писателя; то же наблюдалось и в его библиотеке в Буживале. В кабинете лежало лишь несколько книг; казалось, все следы работы были тщательно устранены. В гостиной прежде всего бросался в глаза огромный диван и несколько картин, — вся комната дышала особым комфортом. Я не знаю, были ли у Тургенева определенные часы для работы, но думаю, что едва ли <...> Я часто виделся с ним в Париже, и у меня осталось впечатление, что в Париже он мало работал; большинство работы выполнялось в летние месяцы, которые он проводил в Буживале. Предполагалось, что он каждый год навещает Россию. Говорю «предполагалось», ибо часто эти поездки оставались лишь в области предположений. Все знакомые Тургенева знали, что он обладал особенной способностью запаздывать. Впрочем, этот азиатский порок — неумение распоряжаться временем — свойствен был и другим русским, с которыми я был знаком. Но если даже знакомым и приходилось страдать от этого недостатка Тургенева, о нем вспоминаешь с улыбкой, так как он прекрасно гармонировал с мягкостью Тургенева и его нелюбовью ко всякого рода правилам. Но все же он часто ездил в Россию, и, по его собственным словам, время, проведенное в России, бывало наиболее плодотворным.

Как известно, Тургенев обладал крупным состоянием, и я думаю, что этим до известной степени объясняются высокие качества его произведений <...> Он мог писать, когда у него было для этого надлежащее настроение; ему не приходилось считаться с разного рода понуждениями

и препятствиями (если не считать, конечно, цензуры); словом сказать, ему никогда не угрожала опасность превратиться в литературного поденщика. Принимая во внимание отсутствие понуждений денежного характера и наличность той особливой лености, от которой не свободен был Тургенев, его литературная деятельность поражает своими размерами. Как бы то ни было, в Париже Тургенев всегда готов был принять приглашение на полуденный завтрак. Он любил завтракать au cabaret * и всегда торжественно обещал прийти к назначенному часу. Но это обещание, увы, никогда не выполнялось. Упоминаю об этой идиосинкразии Тургенева потому, что она по своему постоянству носила забавный характер, — над этим смеялись не только друзья Тургенева, но и сам Тургенев. Но если он, как правило, не попадал к началу завтрака, не менее неизбежно он появлялся к его концу. Друзьям приходилось ждать его, но все же он приходил. Он очень любил парижский déjeuner **, хотя по соображениям не кулинарного характера. Чрезвычайно воздержанный в пище и питье, он иногда совсем не прикасался ни к чему за столом, но он находил, что это — лучшее время для разговоров, и, имея его собеседником, вы, конечно, убеждались в этом <...>

Имеются места в Париже, которые в моей памяти связаны с воспоминанием о Тургеневе, и, проходя мимо них, я всегда вспоминаю его разговоры со мной. На Avenue de l'Opéra есть кафе с особенно глубокими диванами, где я однажды беседовал с ним за чрезвычайно скромным завтраком и наша беседа затянулась далеко за полдень. Тургенев был необычайно обаятелен и интересен, и я теперь вспоминаю об этом разговоре с чувством какой-то невыразимой нежности. В моем воображении встает серый парижский день в декабре, во время которого кафе кажется особенно гостеприимным, в особенности когда начинаются сумерки, зажигаются лампы и собираются обычные habitués ***, усаживающиеся за абсент и домино. А я с Тургеневым все еще продолжаю беседовать, сидя за нашим завтраком, и нашей беседе не видно конца. Тургенев почти исключительно говорил на этот раз о России, о нигилистах, о замечательных личностях среди них, о странных посетителях, иногда навещающих его, о мрачной судьбе его

---

* в кабаре (*фр.*).
** завтрак (*фр.*).
*** завсегдатаи (*фр.*).

отечества. Когда он бывал в таком настроении, он как-то особенно сильно воздействовал на воображение слушателя. Для меня, по крайней мере, в его словах в таких случаях звучало всегда нечто чрезвычайно оживляющее, и я расставался с ним в состоянии умственного возбуждения, чувствовал, что мне была внушена масса самых разнообразных и драгоценных мыслей <...>

Особенно интересны и ценны были замечания и признания Тургенева о методах его творчества <...> Зародыш повести никогда не принимал у него формы истории с завязкой и развязкой — это являлось уже в последних стадиях созидания. Прежде всего его занимало изображение известных лиц. Первая форма, в которой повесть являлась в его воображении, была фигура того или иного индивидуума, или же комбинация индивидуумов, которых он затем заставлял действовать <...> Лица эти обрисовывались пред ним живо и определенно, причем он старался, по возможности, детальнее изучить их характеры и возможно точнее описать их. Для большого уяснения себя он писал нечто вроде биографии каждого из действующих лиц, доводя их историю до начала действия в задуманной повести. Словом, каждое действующее лицо имело у него dossier наподобие французских преступников в парижской префектуре. Запасшись такими материалами, он задавался вопросом: в чем же выразится деятельность моих героев? И он всегда заставлял их действовать таким образом, чтобы пред читателем вполне обрисовался данный характер. Но, как говорил Тургенев, его всегда упрекали в изъянах художественной архитектоники произведения, иными словами, композиции, построения <...>

Я помню, как Тургенев, говоря о Гомэ — персонаже из «Г-жи Бовари» — маленьком провинциальном нормандском аптекаре, с его педантизмом и «просвещенностью», — заметил, что сила подобного изображения заключается в том, что изображаемое лицо представляет в одно и то же время индивидуальность в самой конкретной форме и является типом. В этом же лежит сила тургеневских изображений: все они глубоко индивидуальны и в то же время типичны <...>

Я уже упоминал о дружбе Тургенева и Флобера; скажу лишь, что в этой дружбе было нечто трогательное <...> Между ними было некоторое сходство. Оба были высокие, массивные люди, хотя Тургенев был выше Флобера; оба

отличались высокой честностью и искренностью и в характере обоих была печальная ироническая складка. Они горячо были привязаны друг к другу, но мне казалось, что привязанность Тургенева была окрашена сожалением. В Флобере было нечто, вызывавшее подобное чувство. В общем у него было больше неуспехов, чем удач, и громадная масса труда, затраченная им, не дала ожидаемых результатов. Он обладал талантом, лишенным высокой остроты ума; у него было воображение, но отсутствовала фантазия. Его усилие было поистине героическим, но, за исключением «Мадам Бовари», он сам скорее топил свои произведения, чем способствовал их успеху <...> В его таланте было что-то бесплодное. Он был холоден, хотя готов был бы пожертвовать всем, чтобы воспламениться. Вы не найдете в его повестях ничего подобного страсти Елены к Инсарову, чистоте Лизы, скорби стариков Базаровых. А между тем Флобер напрягал все усилия, чтобы быть патетическим. Эта частичная немота вызывала в тех, кто знал Флобера, чувство жалостливой симпатии к нему. Он был в одно и то же время могуществен и ограничен, и было нечто трогательное в этом сильном человеке, не могшем вполне выразить самого себя.

После первого года моего знакомства с Тургеневым я встречался с ним сравнительно реже. Мне редко приходилось бывать в Париже, и я не всегда заставал там Тургенева. Но я при всяком случае старался повидать его, и судьба благоприятствовала мне. Он раза три приезжал в Лондон на очень короткий срок, на пути к своему кембриджскому приятелю-охотнику. После 1876 года я уже часто видал его больным — его терзала подагра, и он нередко чувствовал себя измученным. Тем не менее он, с присущим ему обаянием (я не могу сказать иначе), говорил о своей болезни, как и обо всем другом. Наблюдательность в этом случае направлялась на самого себя; в мучениях боли его посещали самые странные фантазии и образы, которые он анализировал с удивительной тонкостью. Несколько раз я посетил его в Буживале, где он жил в очень обширном и изящном шале <...> В последний раз я видел его в ноябре 1882 года в Буживале. Он был уже очень болен, но еще не совсем потерял надежду на выздоровление и был почти весел. Ему надо было ехать в Париж, и так как он не выносил тряски вагона, он отправлялся в карете и предложил мне занять свободное место в ней. В продолжение полутора часов он неумолкаемо говорил с обычным остроумием и

живостью. Когда мы прибыли в Париж, я вышел из экипажа на одном из бульваров, попрощался с ним у окна кареты — и это была наша последняя встреча; я более не видал его <...>

Я почти сожалею, что, в связи с Тургеневым, мне пришлось много говорить о Париже. Читатель может вынести впечатление, что Тургенев был офранцужен. Но это было бы ошибкой. Тургенев менее всего походил на француза.

Упомяну в заключение, что одной из всегдашних тем его разговоров была его родная страна, его надежды и опасения за ее будущее. Он писал повести и драмы, но драмой его жизни была борьба за лучшее будущее России, он сыграл в этой драме выдающуюся роль, в его похороны показали, что соотечественники сумели оценить деятельность гениального писателя. Несмотря на все ухищрения и запрещения полиции, похороны эти превратились в грандиозную манифестацию. Повторю еще раз: это был благороднейший и добрейший из людей и эти душевные качества соединялись с редкой художественной гениальностью.

Х. БОЙЕСЕН

ВИЗИТ К ТУРГЕНЕВУ
(Из воспоминаний)

Я думаю, что Карлейль прав, когда он утверждает, что наклонность к поклонению героям заложена во всех людях и что даже самые ярые республиканцы не свободны от нее. Во всяком случае, я, прочтя «Дворянское гнездо» и «Отцов и детей», перестал причислять Тургенева к обыкновенным смертным; он стал для меня своего рода «героем»; мое воображение рисовало его мне в различных видах, но всегда окруженного ореолом, и мне приходилось сдерживать себя, если кто-нибудь в моем присутствии говорил, что ему не нравятся его произведения. Я равнодушно мог слушать, когда при мне поносили других моих любимцев — В. Скотта или Диккенса, но Тургенев успел занять один из тех сокровенных уголков в моем сердце, куда редко проникают посторонние.

Я так долго жил с книгами, что они стали для меня живыми существами. Кто-то сказал, что скандинавы обладают тенденцией персонифицировать все, что они видят, и, пожалуй, в этом имеется доля правды. По прочтении книги с яркой индивидуальной окраской она всегда потом представлялась мне как нечто обладающее всеми качествами живой личности. Я вспоминал о ней как о старом знакомце, которому я обязан многими восхитительными минутами и который имеет право на мою вечную благодарность. Я был поэтому несказанно рад, когда Тургенев сказал мне, что и у него такое же отношение к книгам.

Я отправился в Европу в июне 1873 года и странствовал по континенту без строго определенной цели, заботливо избегая путеводителей и других нарушителей человеческого покоя. Одной из счастливейших случайностей была моя

встреча с известным германским критиком и историком литературы д-м Юлианом Шмидтом, труды которого я тщательно изучал и который, поэтому, отнесся ко мне очень благосклонно. Придя однажды к нему, я застал его в прекрасном расположении духа — он только что закончил корректуру последних листов «Истории французской литературы», выходившей новым изданием. Естественным образом разговор коснулся Франции, и д-р рассказал мне несколько интересных анекдотов из жизни французских литераторов, многие из которых были его личными друзьями. В заключение этой беседы он показал мне альбом с карточками французских литературных знаменитостей. Он называл их по именам, пока я переворачивал листы альбома.

— А это, — сказал он, указывая на прекрасное лицо, изображенное на фотографии, — по моему мнению, — величайший из живущих теперь авторов.

— Не Тургенев ли? — воскликнул я.

— Да, — ответил он, несколько изумленный моим внезапным энтузиазмом. — Это — Тургенев, русский великий писатель и один из самых дорогих моих друзей.

Я встречался еще несколько раз с д-м Шмидтом, и когда я зашел к нему проститься и он узнал, что я буду в Париже, он дал мне рекомендательное письмо к русскому романисту. Но по прибытии в Лейпциг я прочел в одной американской газете чрезвычайно печальное известие. В ней сообщалось, что великий русский писатель решил прекратить литературную деятельность, что он в настоящее время находится в отчаянии, потеряв жену и единственную дочь, и что в довершение несчастий его «любимый племянник» проигрался в карты и посажен в тюрьму. В Вене я прочел в немецкой газете, что Тургенев сломал ногу на Венской выставке и лежит больной в Карлсбаде. Очевидно, у меня было мало шансов повидать Тургенева...

В одно прекрасное утро в Париже, глядя на знаменитую женскую головку Ипполита Фландрена в Люксембургском дворце, я все больше и больше убеждался, что я видел ее где-то раньше, но не мог вспомнить — где и когда. Я не доверял себе, ибо никогда раньше не был в Париже и не мог видеть картины. Вслед затем в моей голове мелькнула мысль, что я вообразил себе Лизу из «Дворянского гнезда» с чертами лица девушки Фландрена. Меня охватило неудержимое желание во что бы то ни стало увидать Тургенева, и я решил добиться свидания, если

бы даже «Petit Journal» объявил о смерти его, когда я буду на пути к нему.

Но все же меня беспокоила мысль о вычитанной мной смерти его жены и дочери, и я со стесненным сердцем позвонил у старомодного дома на rue de Douai.

На мой вопрос, дома ли Тургенев, суровый старик с красной турецкой феской на голове отправился доложить обо мне.

Самый дом, казалось мне, имел странный восточный вид. Больше того, мне казалось, что в атмосфере его носится тонкий всепронизающий запах какого-то восточного аромата... Нечего и говорить, что все это было плодом моего воображения. Из всей обстановки у меня остались в памяти лишь мягкие пушистые ковры и тяжелые драпировки.

Слуга вскоре возвратился и повел меня вверх по лестнице, в конце которой меня встретил высокий массивный человек с седой бородой и очаровательной улыбкой на красивом лице.

— Очень рад видеть вас, — воскликнул он, крепко пожимая мне руку, — вы видали моего друга доктора Шмидта?

Я пролепетал что-то о д-ре Шмидте, что он здоров и что он посылает свой привет и т. д. Тургенев мягко втолкнул меня в комнату, бывшую, вероятно, его кабинетом.

Самыми выдающимися предметами в этой комнате были: большой письменный стол и превосходная картина, изображающая нагую женщину. Как я узнал впоследствии, Тургенев был большой любитель живописи и тонкий знаток в этой области. Я уселся на низком диване под картиной, а хозяин — у письменного стола. Он тотчас же завел разговор, кажется, об Америке, и я отвечал, плохо сознавая, что я говорю. Слушать Тургенева и разговаривать с ним доставляет большое удовольствие. В самом звучании его фраз было нечто чарующее для слуха и для чувства; вы ощущали себя легко и свободно, как будто знали собеседника с детства. Мне кажется, что главным очарованием тургеневской речи было вызываемое ею полное доверие, свободное и естественное течение ясной и сильной мысли, и, пожалуй, больше всего — полное отсутствие в его речи какого-либо усилия, стремления к блеску и эффекту. И вместе с тем разговор не являлся лишь монологом хозяина, нет, — это была настоящая дружеская беседа. Я между тем внимательно присматривался к физиономии Тургенева. Его голубые глаза имели прекрасное доброе вы-

ражение, но полузакрытые веки придавали ему легкий оттенок лени, которая, по его собственным словам, не была чужда ему. Седые волосы, откинутые назад, выказывали высокий массивный лоб, а нависшие брови говорили (если верить френологам) о сильно развитых артистических чувствах. Когда я поднялся, чтобы уходить, Тургенев как-то особенно сердечно пригласил меня бывать у него.

— Если у вас не имеется на завтра иных планов, — сказал он, — может быть, вы придете и проведете день со мной? Приходите часам к десяти утра. Не бойтесь помешать мне, я теперь свободен. А мы с вами потолкуем об интересующих нас вопросах.

Очутившись на улице, я невольно подумал, что, очевидно, вычитанные мной в газетах потери (смерть жены и дочери) не особенно повлияли на него. Он нисколько не глядел угнетенным, и его спокойствие не могло быть результатом стоицизма, поскольку я правильно понимал его характер <...>

На следующее утро я опять был у двери тургеневской квартиры. Ожидая в приемной, пока слуга доложит обо мне, я услыхал беглую прелюдию на фортепиано и затем звуки женского голоса, певшего итальянскую арию. Это был ясный, молодой, полный юной радости голос, который лился из «соловьиного горла», как сказал бы Китс, и раскрывал безграничные богатства мелодии. Я спросил себя, кто она, эта прекрасная незнакомка, и ощущение какой-то таинственности вновь охватило меня. Но предо мной ужо стоял слуга и с вершины лестницы до меня доносился голос приветствовавшего меня Тургенева.

— Я давно уж хотел встретить американца, — сказал он, вводя меня в кабинет, — и в особенности такого, который был бы хорошо знаком с литературой его страны.

Я поспешил ответить, что я хотя и американский гражданин, но не по праву рождения, а по собственному выбору. Но если полная симпатия к американским учреждениям и высокая оценка исторической миссии Америки является существенным признаком истинного американца, то Тургенев может считать меня таковым.

Тургенев с улыбкой сказал, что он принимает мое определение.

— Это была моя всегдашняя idée fixe *, — продолжал оп, — посетить вашу страну... В юности, когда я учился в

* навязчивая идея (*фр.*).

Московском университете, мои демократические тенденции и мой энтузиазм по отношению к североамериканской республике вошли в поговорку, и товарищи студенты называли меня «американцем». Я и до сих пор еще не потерял надежды пересечь Атлантический океан и собственными глазами поглядеть на страну, за развитием которой я следил лишь издали [1], но когда человеку перевалит за пятьдесят, он начинает чувствовать, что у него выросли корни под ногами и что он уже утратил способность двигаться с прежней быстротой. Ему приходится сделать большое усилие, чтобы победить эту vis inertiae... *

Я заметил, что многие европейские авторы, как Мур, Марриэт, Диккенс, Гейворш-Диксон, посетили Америку; но вследствие того, что они приезжали с готовыми предрассудками или же не обладали уменьем проникнуть сквозь наружную оболочку, они не нашли в Америке ничего, кроме политической испорченности, и, возвращаясь домой, издавали книги, наполненные искажениями всякого рода *.

— Вы совершенно правы, — воскликнул Тургенев, — для того чтобы открыть всякого рода злоупотребления, не требуется большого ума, и во всякой стране, пользующейся свободой слова в печати, такого рода злоупотребления скорее всего всплывают наверх. Но если я приеду в Америку, мои предрассудки будут в вашу пользу. Кстати, это напоминает мне эпизод из времен нашей Крымской кампании. Наши генералы постоянно совершали крупные ошибки, но пресса молчала, у нас был завязан рот, и никто не осмеливался громко указать на эти ошибки. Англичане также совершали ошибки, но их газеты тотчас же поднимали по этому поводу крик, и наши псевдопатриоты хихикали злорадно, думая, что мы-то уж свободны от подобных ошибок. В обоих случаях существовали злоупотребления; вся разница была в том, что в одном случае они делались общеизвестными, а в другом — тщательно скрывались.

Во время разговора Тургенев упомянул о норвежском писателе Бьёрнстьерне Бьёрнсоне, которого произведения вызывали восхищение у Тургенева. Ибсена он знал лишь по имени и просил меня дать ему представление о характере его произведений. Указав ему на крупные достоинства произведений Ибсена, я рассказал Тургеневу о моем визите к Ибсену (в Дрездене) и выразил удивление по поводу высказанных Ибсеном симпатий к деспотизму и его

* инерцию (*лат.*).

восхищения русским императором Николаем I и формой правления в России.

— Это чрезвычайно курьезный факт, — заметил Тургенев, — что многие, живущие в странах со свободными учреждениями, восхищаются деспотическими правительствами. Чрезвычайно легко любить деспотизм на расстоянии. Несколько лет тому назад я навестил Карлейля. Он также нападал на демократию я выражал симпатии России и ее тогдашнему императору. «Движение великих народных масс, движущихся по мановению одной могущественной руки, — сказал он, — вносит цель и единообразие в исторический процесс. В такой стране, как Великобритания, иногда бывает досадно наблюдать, как всякое ничтожество может высунуть голову наподобие лягушки из болота и квакать во все горло. Подобное положение вещей ведет лишь к замешательству и беспорядку». В ответ на это я сказал Карлейлю, что ему следовало бы отправиться в Россию и прожить месяца два в одной из внутренних губерний; тогда бы он воочию убедился в результатах восхваляемого им деспотизма <...> Тот, кто утомлен демократией, потому что она создает беспорядки, напоминает человека, готовящегося к самоубийству. Он утомлен разнообразием жизни и мечтает о монотонности смерти. До тех пор пока, мы остаемся индивидуумами, а не однообразными повторениями одного и того же типа, жизнь будет пестрой, разнообразной и даже, пожалуй, беспорядочной. И в этом бесконечном столкновении интересов и идей лежит главная надежда на прогресс человечества <...> Этому уроку научил меня долгий жизненный опыт. В течение многих лет я фактически веду жизнь «изгнанника», а в течение некоторого времени я, по воле императора, был принужден жить в своем поместье без права на выезд. Как видите, я имел возможность на себе изучить прелести абсолютизма, и едва ли нужно говорить, что опыт не сделал меня поклонником этой формы правления.

Я заметил, что восхищение Ибсена русским правительством возникло как результат пессимистического воззрения на жизнь, что истинный демократ, как бы он ни разочаровался в отдельных личностях, должен сохранять веру в человечество и что у Ибсена отсутствует именно такая вера. Он, между прочим, любил утверждать, что меньшинство всегда право и что он потерял бы всякое уважение к самому себе, если бы он нашел, что сходится по ка-

кому-нибудь важному вопросу с мнением большей части человечества.

— Я не сомневаюсь в последовательности Ибсена, — ответил Тургенев, — и должен заметить, что имеется возможность такого стечения обстоятельств, при котором меньшинство окажется правым, но ведь это исключение, а не правило. В природе здоровье всегда преобладает над болезнью; если бы в мире возобладал негативный принцип, у человечества не хватило бы жизненных сил для продолжения существования. Вы могли заметить, — прибавил он, — что я не обладаю философским умом. Я лишь гляжу и вывожу мои выводы из виденного мной, я редко пускаюсь в абстракции. Более того, даже абстракции постоянно появляются в моем уме в форме конкретных картин, и когда мне удается довести мою идею до формы такой картины, лишь тогда я овладеваю вполне и самой идеей. Что подобные картины могут быть вполне иррациональными, я не отрицаю, но они приобретают для меня форму и окраску, перестают быть абстракциями, превращаются в реальности. Европа, например, часто представляется мне в форме большого слабо освещенного храма, богато и великолепно украшенного, но под сводами которого царит мрак. Америка представляется моему уму в форме обширной плодоносной прерии, на первый взгляд кажущейся слегка пустынной, но на горизонте которой разгорается блистательная заря.

Вслед за тем последовала долгая и чрезвычайно приятная беседа. Я записал сущность ее в своем дневнике лишь несколькими днями позднее, и, хотя беседа эта до сих пор живо сохранилась в моем уме, я не поручусь за совершенную точность формы, в какой я ее передаю. У всякого человека — свой стиль, и стиль Тургенева не отличается легко уловимыми и легко передаваемыми особенностями. Главной темой нашего разговора была американская литература. Из всех американских авторов он наиболее любил Готорна. В нем он видел первого литературного представителя Нового Света; в «Scarlet letter» и в «Twice Told Tales» он находил специальную окраску, указывавшую на то, что это были произведения новой цивилизации. Другие его произведения («The Marble Faun» и «House of the seven Gables») носили тот же отпечаток великого и могущественно-своеобразного таланта [3]. Он с удовольствием читал Лонгфелло и признавал в нем поэтические достоинства, хотя он следовал за европейскими писателями и

лишен был своеобразия отличительного американского характера. Тургенев встречался с Лоуэллом и отзывался с похвалой о его произведениях. Некоторое время его очень интересовали произведения Уолта Уитмена, он думал, что среди вороха шелухи в них были хорошие зерна [4]. Он хвалил Брет-Гарта, думал, что из него мог бы развиться крупный писатель, он боялся, что успех испортит его, лишит способности к самокритике.

— Я искренне интересуюсь, — продолжал он, — всем происходящим за Атлантическим океаном и всегда стремлюсь быть au courant * вашей литературы. Если я пропустил что-либо выдающееся — надеюсь, вы осведомите меня.

Я упомянул о Гоуэлсе и Олдриче, которых я очень хвалил Тургеневу. По его желанию я дал ему заглавия книг этих авторов, и во время одного из следующих посещений я нашел «Венецианские очерки» Гоуэлса на письменном столе Тургенева.

Мне очень хотелось услыхать от него что-либо о его собственных произведениях. Воспользовавшись удобным моментом разговора, я рассказал ему о том, что он имеет в Америке многих горячих поклонников, что американская критика ставит его наряду с Диккенсом и что о нем всегда говорят с восторгом в литературных кружках Бостона и Кембриджа. Я думал, что, в сущности, ему это известно, но, к моему удивлению, до него не дошли слухи о его успехе в Америке.

— Вы не можете себе представить, — воскликнул он, — какое вы доставляете мне удовольствие... Я всегда радуюсь, когда слышу, что мои книги нашли симпатизирующих читателей, но я вдвойне рад, что они встретили такой прием в Америке.

Здесь я уж не мог сдерживаться долее, мое восхищение и преклонение пред гением великого писателя нашло выход в горячих словах. Я рассказал ему, как в течение целого года не расставался с «Дворянским гнездом» и «Отцами и детьми», как они в качестве нового элемента вошли в мою жизнь, пока я уже не мог различать между впечатлениями, полученными от чтения этих повестей, и теми, которые принадлежали окружавшему меня материальному миру.

— Вы заставили меня почувствовать себя счастли-

---

* в курсе (*фр.*).

вым, — сказал Тургенев с ясной улыбкой, озарившей его лицо. — Хоть и неловко слушать похвалы, которых не заслужил вполне, но радостно услышать, что тебе до известной степени удалось сделать то, чего добивался. Я никогда не пытался разукрашивать жизнь; я стараюсь лишь наблюдать и понимать ее. И, если мне это удалось, как вы уверяете, я очень счастлив.

— В таком случае, — воскликнул я, — слухи о том, что вы навсегда оставили перо, несправедливы?

— Я очень обленился за последнее время, — ответил он, — и за последние шесть месяцев не сделал почти ничего. Вплоть до прошлого года я мог похвалиться, что не знал, в сущности, что такое болезнь, так как я обладал таким здоровым телосложением, что не чувствовал ее. Но вот недавно у меня был припадок подагры, которая угрожала перейти на желудок; затем прошлое лето ушиб себе колено на Венской выставке, провалялся около шести недель и должен был уехать в Карлсбад, не успевши повидать ни Вены, ни выставки.

— Я видал заметку об этом в венских газетах, но, кажется, наши американские газеты, по обычаю, преувеличили размеры постигших вас несчастий. Я читал в них, что вы отказываетесь от литературной деятельности, что скорбь и семейные несчастья вызвали в вас упадок сил и т. д.

— Да, меня действительно постигло семейное лишение, — сказал Тургенев, к моему удивлению, с веселой улыбкой. — Моя единственная дочь вышла замуж. Но все же это не такого рода лишение, чтобы ради него навсегда отказаться от литературной деятельности. Едва ли это даже можно назвать семейной скорбью; напротив, я испытал в связи с этим радость, став недавно дедушкой. Но во всех этого рода слухах всегда имеется зерно правды: дело в том, что я обленился. Я никогда не могу заставить себя писать, если не имеется для этого внутреннего импульса. Если работа не доставляет мне полного удовольствия, я тотчас же прекращаю ее. Если меня утомляет сочинение повести — значит, и самая повесть должна утомить читателей. Но с недавнего времени я опять начинаю чувствовать потребность в работе, и я теперь занят повестью, хранящейся у меня здесь, в письменном столе. В этой повести одиннадцать действующих лиц, и по объему она превзойдет другие мои повести.

Я не мог удержаться, чтобы не выразить моей радости

при этим известии. Тургенев, очевидно, приятно тронутый моим юношеским энтузиазмом, опять улыбнулся (и я никогда не видал более прекрасной улыбки). Я сказал между прочим:

— Какое удивительно сложное существо ваша Iréne в «Дыме»! Несмотря на все ее нарушения общепринятой морали, вы не можете не восхищаться ею. Причем я не ограничиваюсь художественным восхищением: в моем сердце таится симпатия к ней. Чуется какое-то веяние судьбы, в древнегреческом смысле, во всей картине не находится осуждения ни Ирине, ни Литвинову; принимаем их поступки и характеры как нечто естественное и неизбежное. Притом же, насколько она благороднее по сравнению, хотя бы, с хитрой чувственной кокеткой Варварой Павловной в «Дворянском гнезде»!

— Характер Ирины, — ответил Тургенев, — представляет странную историю. Он был внушен мне самой жизнью. Я знал эту женщину [5]. Но Ирина в романе и Ирина в действительности не вполне совпадают. Это то же и не то же. Я не знаю, как объяснить вам самый процесс развития характеров в моем уме. Всякая написанная мной строчка вдохновлена чем-либо или случившимся лично со мной, или же тем, что я наблюдал. Не то что я копирую действительные эпизоды или живые личности, — нет, но эти сцены и личности дают мне сырой материал для художественных построений. Мне редко приходится выводить какое-либо знакомое мне лицо, так как в жизни редко встречаешь чистые, беспримесные типы. Я обыкновенно спрашиваю себя: для чего предназначила природа ту или иную личность? как проявится у нее известная черта характера, если ее развить в психологической последовательности? Но я не беру единственную черту характера или какую-либо особенность, чтобы создать мужской или женский образ; напротив, я всячески стараюсь не выделять особенностей; я стараюсь показать моих мужчин и женщин не только en fase, но и en profil, в таких положениях, которые были бы естественными и в то же время имели бы художественную ценность. Я не могу похвалиться особенно сильным воображением и не умею строить зданий на воздухе.

— Ваши слова, — сказал я, — поясняют мне тот факт, что ваши характеры обладают ярко определенными чертами, запечатлевающимися в уме читателя. Так было, по крайней мере, со мной. Базаров в «Отцах и детях» и Ирина в «Дыме» так же знакомы мне, как мои родные братья; мне

знакомы даже их физиономии, и я гляжу на них как на старых друзей.

— Так же смотрю на них и я, — сказал Тургенев. — Это люди, которых я когда-то знал интимно, но с которыми оборвалось знакомство. Когда я писал о них, они были для меня так же реальны, вот как вы теперь. Когда я заинтересовываюсь каким-либо характером, он овладевает моим умом, он преследует меня днем и ночью и не оставляет меня в покое, пока я не отделаюсь от него. Когда я читаю, он шепчет мне на ухо свои мнения о прочитанном, когда я иду гулять, он высказывает свои суждения обо всем, что бы я ни услышал и ни увидел. Наконец, мне приходится сдаваться — я сажусь и пишу его биографию. Я спрашиваю себя: кто были его отец и мать, что за люди они были, какого рода семью представляли, каковы были их привычки и т. д. Затем я перехожу к истории воспитания моего героя, к его наружности, к местности, где он провел годы, в которые формируется характер. Иногда я иду даже дальше, как, например, это было с Базаровым. Он так завладел мной, что я вел от его имени дневник, в котором он высказывал свои мнения о важнейших текущих вопросах, религиозных, политических и социальных. То же самое я проделал относительно одного из второстепенных характеров в «Накануне»... я даже забыл его имя теперь...

— Не Шубин ли? — решился я напомнить.

— Да, да, именно Шубин, — воскликнул Тургенев с видимым удовольствием, — оказывается, вы лучше меня самого помните моих действующих лиц. Да, это был Павел Шубин. Я недавно сжег его дневник, и он был значительно объемистее романа, в котором сам Шубин фигурирует. Я считаю такие эпизоды подготовительной работой; пока действующее лицо не обрисуется с полной ясностью и не появится в резких очертаниях в моем уме и пред моими глазами, я не могу ступить шагу в моей работе <...>

Чтобы дать вам пример того, как часто я совсем непроизвольно нахожу сюжет, я расскажу о некоторых подробностях, связанных с развитием замысла «Отцов и детей».

Я однажды прогуливался и думал о смерти... Вслед затем предо мной возникла картина умирающего человека. Это был Базаров. Сцена произвела на меня сильное впечатление, и затем начали развиваться остальные действующие лица и само действие.

Наша беседа продолжалась несколько часов и затронула массу вопросов. При прощанье Тургенев подарил мне в немецком переводе те из его произведений, с которыми я еще не был знаком. «Вешние воды» и «Степного короля Лира» он дал мне в французском переводе.

Во время следующего моего посещения разговор почти исключительно сосредоточивался на искусстве и на коллекциях Лувра и Люксембургского дворца. Я с восхищением прислушивался к его критическим замечаниям: его глаза всегда умели подметить наиболее характерные черты данного произведения, его сравнения всегда рисовали предмет в вашем воображении ярко и живо, улавливая все мимолетные оттенки поэтической мысли и чувства <...> Видя, что вопрос интересует меня, он повел меня в соседнюю комнату, где хранились некоторые из его картин. Мне вспоминаются лишь две из них: прекрасная картина Ван дер Неера и уже упомянутый мной портрет нагой женщины кисти Бланшара, награжденный золотой медалью на выставке 1870 года. Мое внимание привлек также превосходный портрет самого Тургенева, написанный дочерью г-жи Виардо, в чьем доме он жил.

В последний раз я виделся с Тургеневым вечером пред моим отъездом. Пожимая руку, он сказал мне:

— Au revoir * — в Америке.

Мне часто приходилось слышать о сходстве между русскими и американцами. И те и другие представляют нации будущего, пред каждой из них лежат великие возможности. Мы привыкли к мысли, что наше общество не обладает определившимися, ясно очерченными типами, что вечно движущаяся поверхность американской жизни не годится для художественных эффектов, не поддается художественной обработке. Вероятно, русские думали то же о своей стране, пока не явился Тургенев и не показал им, что кажущаяся монотонность жизни представляла в действительности великую одухотворенную картину. Когда у нас появится великий беллетрист — а он должен *появиться*, — он даст нам подобный же урок. А в настоящее время Россия опередила Америку — ибо у нас нет Тургенева.

* До свидания (*фр.*).

ТУРГЕНЕВ В ЕГО ПОСЛЕДНИЕ ПРИЕЗДЫ НА РОДИНУ

С. Л. ТОЛСТОЙ

ТУРГЕНЕВ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Тургенев и Толстой, история их взаимных отношений, столкновение двух различных мировоззрений, двух разных характеров — какая богатая тема для историко-литературного исследования! Однако это не входит в мою задачу. Я хочу только рассказать нечто из последней главы истории этих отношений, а именно про посещения Тургеневым Ясной Поляны в 1878, 1880 и 1881 годах, чему я лично был свидетелем <...>

1877 год был критическим годом в жизни моего отца. Он говаривал, что человеческое тело совершенно переменяется каждые семь лет, а что он совершенно переменился в 1877 году, когда ему минуло 7Х7=49 лет. Тогда произошел перелом в его мировоззрении, описанный им в «Исповеди». Этому душевному кризису предшествовали тяжелые переживания — сознание тщеты жизни и страх смерти.

Новое религиозное отношение к жизни потребовало проверки себя и своих отношений к людям. Личных врагов, думается мне, у моего отца не было, но неприязненные отношения с Тургеневым его тяготили. Тогда он написал Тургеневу следующее примирительное письмо:

«Иван Сергеевич!

В последнее время, вспоминая о моих с Вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к Вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы

в Вас было то же самое. По правде сказать, зная, как Вы добры, я почти уверен, что Ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего.

Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед Вами.

Мне так естественно помнить о Вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что Вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как Вы любили и мое писанье, и меня. Может быть, и Вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренне любил Вас.

Искренне, если Вы можете простить меня, предлагаю Вам всю ту дружбу, на которую я способен.

В наши года есть одно только благо — любовные отношения с людьми, и я буду очень рад, если между нами они установятся.

Гр. Л. Толстой

Адрес: Тула,
6 апреля 1878 г.»

Тургенев ответил из Парижа 8/20 мая 1878 года:

«Любезный Лов Николаевич. Я только сегодня получил Ваше письмо, которое Вы отправили poste restante. Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам: если они и были, то давным-давно исчезли, и осталось одно воспоминание о Вас как о человеке, к которому я был искренне привязан, и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений.

Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию — и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю Вам всего хорошего — и еще раз дружески жму Вам руку.

Иван Тургенев»

В августе 1878 года Тургенев был в Москве и 4 августа написал Льву Николаевичу:

«...Понедельник пробуду в Туле, где у меня дела. Мне самому хочется Вас видеть, и к тому ж у меня есть поручение до Вас — то как хотите? приедете ли Вы в Тулу, или я заеду к Вам в Ясную Поляну, откуда отправлюсь далее?»

Через несколько дней Тургенев телеграфировал, что приедет со станции Тула в Ясную Поляну. Отец сам поехал в Тулу его встречать, взяв с собой своего шурина, молодого правоведа Степана Берса.

О том, как встретились оба писателя после семнадцатилетней разлуки и какие были их разговоры в коляске в те полтора часа, когда они ехали из Тулы в Ясную Поляну, записей не сохранилось. Надо предполагать, что встреча была сердечна и что оба они избегали неприятных тем разговора.

И вот Тургенев в Ясной Поляне. Всего-навсего Тургенев приезжал в Ясную Поляну 4 раза: 8—9 августа 1878 года, 2—4 сентября того же года, 2—4 мая 1880 года и 22 августа 1881 года. Об этих посещениях есть записки Степана Берса, Е. И. Менгден, моей матери, сестры Татьяны и брата Ильи. Я постараюсь последовательно вести свой рассказ, проверяя свои воспоминания этими записками и обратно. Однако я не могу ручаться за то, что хронологически мой рассказ будет верен. Ведь с тех пор прошло много лет. Особенно трудно установить, имели ли место те или иные разговоры или факты в первое его посещение, в августе 1878 года, или во второе — в сентябре. Поэтому мой последующий рассказ будет столько же относиться к первому посещению, сколько ко второму.

Летом 1878 года в Ясной Поляне, по обыкновению, жило много народа. В большом доме жила наша семья, состоявшая, кроме родителей, из четырех братьев и двух сестер. Мне, старшему, было пятнадцать лет, сестре Татьяне — тринадцать, Илье — двенадцать и т. д. В то время у нас жили француз-гувернер, m. Montels, бывший коммунар 1871 года, скрывавшийся в России под фамилией Nief, гувернантка-англичанка и наш большой друг, учивший нас русскому и математике, бывший член кружка Н. Чайковского и Маликова, В. И. Алексеев. Во флигеле жила семья Кузминских. Кроме того, в Ясной Поляне почти всегда гостил еще кто-нибудь. В то время гостила баронесса Е. И. Менгден с дочерью и Степан Берс.

Все мы, конечно, с величайшим интересом ждали Ивана Сергеевича. Я знал, что Тургенев большого роста. Но он превзошел мои ожидания. Он показался мне великаном — великаном с добрыми глазами, с красноватым лицом, с мягкими, как мне казалось, мускулами ног и с густыми, хорошо причесанными, белыми, даже желтоватыми волосами и такой же бородой. Сравнительно с ним отец мне показался маленьким (хотя он был роста выше среднего) и моложе, чем он был. Правда, Тургеневу было шестьдесят лет, а отцу — пятьдесят. Но Тургенев был совсем седой, а у отца были темные волосы без проседи. В их отношениях чувствовалось, что Иван Сергеевич старший. Мне тогда казалось, что отец к нему относился сдержанно, любезно и слегка почтительно, а Тургенев к отцу, несмотря на свою экспансивность, немножко осторожно.

Тургенев привез с собой прекрасные дорожные вещи: дорогой кожаный чемодан, изящный несессер, две щетки слоновой кости и пр. Я помню его бархатную куртку, такой же жилет, шелковый галстук, мягкую, тоже, кажется, шелковую рубашку и двое прекрасных золотых часов. Часы он с удовольствием показывал и говорил, что они — хронометры, что он вообще любит хорошие часы и наблюдает за тем, чтобы они ходили верно и одинаково, минута в минуту. Еще у него в кармане была изящная табакерка с нюхательным табаком. Он говорил, что бросил курить, потому что, когда он курил, две милые девицы не позволяли себя целовать, «а теперь, — прибавил он, — мои парижские дамы не позволяют мне нюхать табак». На ногах у него были мягкие сапоги с очень широкими носками: такие сапоги он носил по причине своей подагры.

Иван Сергеевич много разговаривал с отцом наедине, в кабинете и на прогулках. Вероятно, главной темой их разговоров была литература. Помню, как, войдя по какому-то делу в кабинет, я услышал, как Иван Сергеевич декламирует:

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена[1].

— Разве это не удивительно сказано? — говорил Иван Сергеевич. — Разве вы не слышите гром пушек в стихах:

И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена?

Отец, помнится, соглашался, что стихотворение прекрасно по форме, но не по содержанию. Ведь он изучал эпоху Петра I и вынес из этого изучения отрицательное отношение к Петру. Кажется, тогда же он говорил: когда писатель пишет стихами, он ограничен в выборе выражений рифмой и размером. Если хочешь точно выразить свою мысль, то нельзя писать стихами.

Не помню, что именно возражал Тургенев, только помню, что отец согласился, что иногда рифма придает особую прелесть некоторым выражениям, как, например, рифма «странен» и «ранен» в том месте «Евгения Онегина», где Пушкин пишет про убитого Ленского:

Недвижен он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла.

Впрочем, отец оговаривался, что он пристрастен к Пушкину и что чувствует к нему особую слабость. В этом, а также в слабости к стихотворениям Фета и Тютчева, он сходился с Тургеневым.

Между прочим, Тургенев, следивший за литературой, рекомендовал отцу двух начинающих писателей: одного — русского, Всеволода Гаршина, и другого — француза, Мопассана. Отец впоследствии вполне оценил обоих. Мопассан сперва его оттолкнул сюжетом «Maison Tellier» *, но, прочтя «Une Vie» **, он признал в нем первоклассного писателя [2]. Тогда же Тургенев рекомендовал одну писательницу, кажется г-жу Стечькину. Но про нее отец говорил: «Тургенев постоянно возится с какой-нибудь романисткой».

В обществе Тургенев завладевал разговором и общим вниманием. Он был бесподобным рассказчиком, и мы заслушивались его. То он рассказывал, как, сидя на гауптвахте за статью о Гоголе, он безуспешно заискивал у своего сторожа, здоровенного унтер-офицера; [3] то он изображал курицу в супе, подкладывая одну руку под другую; то

---

* «Заведение Телье» (*фр.*).
** «Жизнь» (*фр.*).

он показывал, как его легавая собака делает стойку; [4] то он описывал свою виллу в Буживале, говоря про семью Виардо и себя— мы; то рассказывал, как в Баден-Бадене он играл лешего в домашнем спектакле у Виардо и как на него смотрели с недоумением.

Еще он рассказывал, как на маскараде, вместе с поэтом А. К. Толстым, он встретил грациозную и интересную маску, которая с ними умно разговаривала. Они настаивали на том, чтобы она тогда же сняла маску, но она открылась им лишь через несколько дней, пригласив их к себе.

— Что же я тогда увидел? — говорил Тургенев. — Лицо чухонского солдата в юбке.

Эта маска потом вышла замуж за А. К. Толстого. Его стихотворение «Средь шумного бала» навеяно этим первым знакомством с его будущей женой. Думаю, что Тургенев преувеличил ее некрасивость. Я встречал впоследствии графиню Софью Андреевну, вдову А. К. Толстого, она вовсе не была безобразна и, кроме того, она была, несомненно, умной женщиной.

Кто-то спросил Ивана Сергеевича, не кажется ли ему все русское странным после долгого отсутствия из России. Он ответил, что многое его поражает в первые дни, но что он скоро опять привыкает ко всему русскому, родному.

Помню, как он тогда же или в другой раз сказал:

— В русской деревне я с одним не могу примириться. Это — с рытвиной. Отчего во всей Западной Европе нет рытвин?

Я не раз вспоминал эти слова Ивана Сергеевича. Как художник, он одним словом указал на одно из больных мест нашей деревни. В самом деле, что такое рытвина? Это — водомоина, образующаяся по дорогам и, особенно, по многочисленным межам на крестьянской земле. Эти межи происходят от чересполосицы, а из рытвин — овраги, такие овраги, что в некоторых губерниях более половины пашни превратились в бесплодную землю.

Рытвины выщелачивают питательные соки земли. Рытвина — это эмблема убожества крестьянского земледелия и нашего земельного неустройства. Рытвины — это морщины земли. И Тургенев прав: с рытвиной мириться нельзя.

Вообще западничество Тургенева проявлялось не раз в его разговорах. Так, он говорил: «Если бы Россия со всей своей прошедшей историей провалилась, цивилизация человечества от этого не пострадала бы».

Конечно, это было сказано как парадокс, с болью в сердце, именно потому, что он любил Россию и страстно желал, чтобы Россия внесла свою долю в общую сокровищницу человеческой культуры.

Вот еще его рассказ:

— Еду я по Мценскому уезду. Встречается мне телега, а в телеге лежит мужик, избитый и весь в крови.

Ямщик с козел обернулся ко мне и с чувством сказал:

— Руцкая работа, Иван Сергеевич!

Несмотря на свои шестьдесят лет Тургенев был бодр и подвижен. Он ходил гулять с моим отцом и с нашей компанией молодежи, обращая внимание на хозяйство, на лесные и яблочные посадки и на красивые места в саду и в лесу.

В то время кто-то около яснополянского дома устроил первобытные качели — длинную доску, лежащую своей серединой на перекладине. Проходя мимо, отец и Тургенев соблазнились и, став каждый на конце доски, стали при общем смехе подпрыгивать, подбрасывая друг друга. Тургенев заметил, что такие качели почему-то мало распространены в России.

В один из вечеров Иван Сергеевич читал свой рассказ «Собака». Он читал выразительно, живо и просто — без вычурных интонаций. Но самый рассказ ни на кого, в том числе на моего отца, большого впечатления не произвел [5].

В другой раз вечером Тургенев играл в шахматы со мной, и насколько мне помнится, с отцом и Урусовым. Он был сильный игрок, сильнее отца. Давая мне ладью вперед, он одну партию выиграл, другую проиграл. Он рассказывал, что, играя на одном международном шахматном турнире решительную партию с одним поляком, он мог, благодаря ошибке своего противника, сделать выигрышный ход — открытый шах. Публика с волнением ждала, сделает ли он этот ход. Замешался национальный интерес: русский играл с поляком. Подумавши, Иван Сергеевич сделал выигрышный ход, и поляк сдался. Когда он это рассказывал, мне показалось, что в нем билась патриотическая жилка.

Он играл особенно искусно слонами. «Меня шахматисты называют «Le chevalier du fou», — говорил он (рыцарем слона). По поводу шахматной игры он вспомнил об одном модном в то время словечке французов.

— Что ни скажешь французу, — говорил он, — он отвечает: «Vieux jeu» — «Устарело».

Несмотря на всю свою любовь к Франции Тургенев не особенно восхищался французами, указывая на их недостатки — на их большое национальное самодовольство и мещанскую расчетливость. Он говорил, что французы стали дурно говорить по-французски, грубым парижским жаргоном. Сам он нередко переходил с русского языка на французский. А как хорошо он говорил по-французски! Известно, что сами французы любовались его выговором и оборотами речи.

Иван Сергеевич мало обратил внимания на жившего тогда у нас француза-коммунара m. Montels (Nief). Он говорил, что он знал многих коммунаров и что m. Montels принадлежит к неинтересному типу рядовых коммунаров.

Говоря про француженок, Тургенев сказал: «Насколько русские женщины и девушки образованнее француженок! Точно из темной комнаты войдешь в светлую, когда приедешь в русскую семью». Разумеется, это было сказано в присутствии русских женщин, но я думаю, что Иван Сергеевич говорил искренне [6], мысленно исключая из своего сравнения госпожу Виардо.

Уезжая, Тургенев очень любезно со всеми простился. Моему отцу он говорил: «Вы прекрасно сделали, душа моя, что женились на вашей жене». Он обещал опять заехать в Ясную Поляну осенью.

Моя мать под свежим впечатлением тогда же записала следующее: «Тургенев очень сед, очень смиренен, всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе и возвышенных предметов. Так, он описывал статую «Христос» Антокольского, точно мы все видели его, а потом рассказывал о своей любимой собаке Пегас с одинаковым мастерством. В Тургеневе теперь стала видна слабость, даже детская, наивная слабость характера. Вместе с тем видна мягкость и доброта. Вся ссора его с Львом Николаевичем мне объяснилась этой слабостью» <...> [7].

В январе 1880 года Тургенев послал отцу лестный отзыв Флобера о «Войне и мире» [8]. Весной того же года, приехав в Россию, он опять посетил Ясную Поляну. На этот раз он взял на себя важное поручение: уговорить Толстого участвовать в празднествах по поводу открытия памятника Пушкину.

Второго мая он был в Ясной Поляне. Была весна, «березы как будто пухом зеленели», «соловей уж пел в безмолвии ночей», а днем разные певчие птицы свистели

и пели в саду. Иван Сергеевич хорошо знал птиц и отличал их по пению. «Это поет овсянка, — говорил он, — это — коноплянка, это — скворец» и т. д. Отец признавался, что он так хорошо птиц не знает. Пролет вальдшнепов был в самом разгаре. Тургенев, мой отец, брат Илья и я с ружьями, а с нами моя мать и сестра Татьяна отправились на тягу. Поехали мы в экипаже вроде линейки, под названием «катки», за речку Воронку, в казенный лес Засеку. Доехав до речки, мы перешли по бревну на тот берег. Помню огромную живописную фигуру И. С. Тургенева в бурой куртке и широкополой шляпе, когда он осторожно перебирался по бревнышку через речку. Отец предоставил ему лучшую, по его мнению, полянку, через которую должны были тянуть вальдшнепы, и сам стал неподалеку. Моя мать, разговаривая с Тургеневым, осталась вместе с ним. Она его спросила, почему он теперь ничего не пишет. Тургенев ответил, что он уже конченый писатель.

— Нас никто не слышит? — продолжал он. — Так я вам скажу. Я теперь уже не могу писать. Раньше всякий раз, как я задумывал писать, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло. Я стар и не могу больше ни любить, ни писать.

Во время разговора вдруг послышался выстрел и голос Льва Николаевича, посылавшего собаку искать убитого вальдшнепа.

— Началось, — сказал Тургенев. — Лев Николаевич уже с полем. Вот кому счастье. Ему всегда в жизни везло.

И в самом деле, вальдшнепы летели больше на отца, чем на Тургенева, — вероятно просто потому, что Тургенев отпугивал вальдшнепов разговорами. Наконец Тургенев услышал все ближе и ближе хрип и свист вальдшнепа; птица показалась над деревьями, и он выстрелил.

— Убили? — крикнул отец с места.

— Камнем упал, — ответил Иван Сергеевич.

Однако как ни искали вальдшнепа собака и мы все, найти его в темноте не удалось. И странно: Ивану Сергеевичу и даже моему отцу это было неприятно. Но на другой день брат Илья нашел убитого вальдшнепа: накануне собака не могла его найти, потому что он повис на дереве.

Перед отъездом Тургенева моя мать пошла звать его и моего отца обедать. Они сидели в избушке, которую построил себе отец в роще, около дома, в так называемом «Чепыже», для того чтобы в уединении заниматься. Тур-

генев в это время уговаривал отца участвовать в Пушкинском празднике. Отец решительно отказался. Он не любил публично выступать и вообще не любил торжеств и праздников, хотя бы в честь Пушкина.

Тургенев этого не ожидал и уехал разочарованный.

В продолжение 1880 года и последующего дружелюбная переписка между обоими писателями продолжалась. Тургенев, так же как и прежде, распространял произведения Льва Толстого за границей, но продолжал пренебрежительно относиться к его философии. «Мне очень жаль Толстого, — пишет он А. И. Урусову 1 декабря 1880 года, узнав о мрачном настроении Льва Николаевича. — Но chacun a sa manière de tuer ses puces» *. В июне 1881 года он пригласил Льва Николаевича к себе в Спасское. 4 июля 1881 года он писал отцу: «Очень порадовался Вашему близкому посещению, — а также и тому, что Вы говорите о Вашем чувстве ко мне. Оно потому и хорошо, что общее, то есть одинаковое и в Вас и во мне».

О свидании Л. Н. Толстого с И. С. Тургеневым в Спасском есть воспоминания Полонского [9] и следующая пометка в дневнике моего отца:

«9—10-го июля. У Тургенева. Милый Полонский, спокойно занятой живописью и писаньем, неосуждающий и — бедный — спокойный. Тургенев боится имени бога, а признает его. Но тоже наивно спокойный, в роскоши и праздности жизни».

В последний раз И. С. Тургенев был в Ясной Поляне в конце августа 1881 года. 22 августа, в день рождения моей матери, в Ясной Поляне было много гостей, в том числе мой дядя Сергей Николаевич Толстой и кн. Л. Д. Урусов. Несмотря на то что Урусов был в то время тульским вице-губернатором, его можно назвать первым последователем моего отца. Отец занимался в то время исследованием Евангелия и посвящал Урусова в свою работу. Урусов усвоил себе его толкование первых слов Евангелия от Иоанна: «Началом всего было разумение жизни» и т. д., и любил говорить на эту тему. И вот, вечером, за чайным столом, Урусов стал доказывать Тургеневу, что начало всего есть разумение жизни. Не помню, что и как возражал Тургенев, но, по-видимому, его мало интересовал предмет разговора, и он старался перейти на другую тему. Но Урусов настойчиво продолжал доказывать свои

---

* каждый бьет блох по-своему (*фр.*).

тезисы, сильно жестикулируя и не замечая того, что он продвинулся на кончик стула. Вдруг стул выскользнул из-под него, и он упал на пол с вытянутой вперед ладонью. Нисколько не смутившись, он из-под стола продолжал начатую фразу. Тургенев не удержался и громко, слишком громко расхохотался.

— Il m'assomme, ce Трубецкой (он убивает меня, этот Трубецкой), — сквозь смех фальцетом кричал Тургенев, спутав фамилию Урусова и называя его Трубецким.

Все также рассмеялись, кроме самого Урусова и моего отца. Отец только улыбнулся; ему было неприятно несколько пренебрежительное отношение Тургенева к Урусову и к вопросам, им поднятым. После этого разговор о разумении жизни уже не возобновлялся.

Кажется, тогда же по поводу того, что нас сидело за столом тринадцать человек, зашел разговор о страхе смерти. Тургенев находил, что страх смерти — естественное чувство. Он сознавался, что боится смерти, и откровенно говорил, что он не приезжает в Россию, когда в России холера. Отец и Урусов говорили, что тот не живет, кто боится смерти. Смерть так же неизбежна, как ночь, зима. Мы готовимся к ночи и зиме; также надо готовиться к смерти, только тогда она не страшна. Тургенев продолжал: «Qui craint la mort lève la main» *, — и сам первый поднял руку, но, кроме него, никто руки не поднял. Он сказал: «A ce qu'il parait je suis le suel» **. Тогда отец тоже поднял руку. Я думаю, что он это сделал не из учтивости, а вспомнив свою арзамасскую тоску — те тяжелые минуты, когда на него находил страх смерти [1]*.

В тот же приезд Тургенева, в один из вечеров, разговор принял чисто тургеневский характер, как будто это был эпизод из какого-нибудь его рассказа. Не помню, кто по какому поводу поднял вопрос о том, какие минуты самые счастливые в жизни. Тогда, кажется, Иван Сергеевич предложил, чтобы каждый рассказал пережитую им самую счастливую минуту своей жизни. Все стали припоминать. Мой дядя Сергей Николаевич шепнул на ухо Т. А. Кузминской, с которой у него когда-то был роман, что-то такое, что ей польстило, но отчего она покраснела и сказала: «Вы невозможный человек, Сергей Николаевич». Л. Д. Урусов сказал что-то вроде того, что самая

* Кто боится смерти, пусть поднимет руку (*фр.*).
** Я, кажется, один (*фр.*).

счастливая минута в его жизни была бы тогда, когда он узнал бы о торжестве идеи добра.

Мы, конечно, обратились к Тургеневу: «Расскажите, какая была самая счастливая минута в вашей жизни». Он ответил: «Разумеется, самая счастливая минута жизни связана с женской любовью. Это когда встретишься глазами с ней, с женщиной, которую любишь, и поймешь, что и она тебя любит». Он помолчал и затем добавил: «Со мной это было раз в жизни, а может быть, и два раза».

Вспоминая теперь эти слова Тургенева, я вспоминаю также язвительное суждение о его романах, высказанное недружелюбным его критиком — Н. Н. Страховым: почти во всех романах Тургенева один молодой человек хочет жениться на одной девице и никак не может. Это довольно верно: герои Тургенева влюбляются с юношеской страстью, но не женятся. Но Страхов хотел побранить Тургенева, а вместо этого его похвалил. Тургенев — певец не плотской любви, а чистой, самоотверженной любви, которая может ограничиться взглядами и намеками, но которая нередко, по выражению Мопассана, сильнее смерти. Так он понимал любовь, поэтому ему не было надобности женить своих героев. Он сам до старости лет был тем юношей, который умел любить глубоко и самоотверженно, но никак не мог жениться. Его мать говорила про него: он однолюб, он может любить только одну женщину.

В этот последний свой приезд И. С. Тургенев поддался общему настроению нашей молодежи, бесшабашно веселившейся [11]. Как-то вечером затеяли кадриль. Во время кадрили кто-то спросил Ивана Сергеевича, танцуют ли еще во Франции старую кадриль или же ее заменили непристойным канканом.

— Старый канкан, — сказал Тургенев, — совсем не тот непристойный танец, который танцуют в кафешантанах. Старый канкан — приличный и грациозный танец. Я когда-то умел его танцевать. Пожалуй, и теперь потанцую.

И вот Иван Сергеевич пригласил себе в дамы мою двоюродную сестру, Машу Кузминскую, двенадцатилетнюю девочку, и, заложив пальцы за проймы жилета, по всем правилам искусства, мягко отплясал старинный канкан с приседаниями и выпрямлениями ног. Кончился этот танец тем, что он упал, но вскочил с легкостью молодого человека. Все хохотали, в том числе он сам, но было как будто немножко совестно за Тургенева.

В этот день отец отметил в своем дневнике: «Тургенев — cancan. Грустно».

Это был последний приезд Тургенева в Ясную Поляну. Дополню сказанное некоторыми отрывочными воспоминаниями о слышанных мною тогда разговорах.

Помню один отрывок разговора о силе воображения. Тургенев говорил, что он, лежа на боку, мог воображением довести себя до невыносимой боли от давления бедра на подушку дивана или на матрац.

Помню еще, как Иван Сергеевич рассказывал, что он присутствовал в Париже на лекции по порнографии, причем на лекции производились опыты с живыми людьми.

Он много рассказывал про близкий ему кружок французских писателей: Флобера, Золя, Доде, Гонкуров, Мопассана и др. Он не одобрял преднамеренный реализм, слог и язык Золя, а Гонкуров он не считал даровитыми. Выше других он ставил Флобера и Мопассана. Между прочим, он так отозвался о писателе, известном под псевдонимом Жюля Верна:

— Я с ним провел целый вечер. Трудно встретить более скучного и неинтересного человека. К тому же он никогда не путешествовал.

Иван Сергеевич высоко ценил Шекспира. Помню, как он старался отцу внушить свое убеждение о величии Шекспира [12]. Он указывал на истинно драматические положения, в которые Шекспир ставит своих героев.

— Истинно драматические положения, — так приблизительно говорил он, — возникают не тогда, когда добродетельные люди борются с злыми, как в мелодраме, или когда люди страдают от внешних бедствий, например, от моровой язвы или от землетрясения. Драматические положения возникают тогда, когда страдание неизбежно вытекает из характеров людей и их страстей. В драмах Шекспира мы находим именно такие положения.

Как-то зашел разговор о Достоевском. Как известно, Тургенев не любил Достоевского. Насколько я помню, он так говорил про него:

«Знаете, что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце, когда он сердится, он краснеет и т. д. Это все общие места. А у Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва. Что он сделает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать или скрыться. Во всяком простом рассказе, у Жюля Верна, например, так и будет сказано.

А Достоевский скажет наоборот: человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место. Это дешевое средство прослыть оригинальным писателем. А затем у Достоевского через каждые две страницы его герои — в бреду, в исступлении, в лихорадке. Ведь этого не бывает».

После 1881 года Тургенев уже не приезжал в Россию. Он заболел той мучительной болезнью, которая свела его в могилу <...>

Из последнего предсмертного письма Тургенева, которое можно назвать его последним стихотворением в прозе, видно, насколько близок был его сердцу Лев Толстой как русский писатель.

Вот это письмо:

«*В начале июля по русс. ст. Буживаль. 1883*
Bougival. Les Frênes. Châlet.

Милый и дорогой Лев Николаевич! Долго Вам не писал, ибо был и *есмь,* говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, — и думать об этом нечего. Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, — и чтобы выразить Вам мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!! Я же человек конченый, — доктора даже не знают, как назвать мой недуг, névralgie stomacale goutteuse *. Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель русской земли, — внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших. Не могу больше. Устал».

Отец не ответил на последнее письмо Тургенева, может быть, потому, что получил его слишком поздно, — он был в то время в Самарской губернии, а письмо было адресовано в Тулу; может быть, потому, что ему трудно было на него отвечать. А 22 августа Ивана Сергеевича уже не стало.

Во время болезни Тургенева отец относился к нему с большим участием, а когда Тургенев умер, он живо по-

* желудочно-подагрическая невралгия (*фр.*).

чувствовал его утрату. Тогда он, несмотря на всю нелюбовь к публичным выступлениям, решился прочесть доклад о Тургеневе в Обществе любителей российской словесности [13].

Я помню, как в то время отец тепло относился к Тургеневу, как перечел все его произведения и как ему хотелось добром помянуть своего старшего сотоварища и указать на его значение в литературе. Как известно, администрация воспрепятствовала ему это сделать. Но совесть его могла быть спокойна. Он в последние годы жизни Ивана Сергеевича сделал все, что мог, для того, чтобы изгладить воспоминания о черной кошке, пробежавшей когда-то между ними.

М. Г. САВИНА

МОЕ ЗНАКОМСТВО С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ

В 1879 году, затрудняясь в выборе пьесы для бенефиса в отыскивая что-нибудь «литературное», я напала случайно на «Месяц в деревне» Тургенева. Роль Верочки, хотя и не центральная, мне очень понравилась, но пьеса, в том виде, как она напечатана, показалась скучна и длинна; тем не менее я твердо решила ее поставить. Сазонов тоже указал мне на этот недостаток и посоветовал попросить Крылова, как знатока сцены, урезать ее, на что я согласилась, под условием разрешения автора.

Послав Ивану Сергеевичу телеграмму в Париж, я очень скоро получила ответ:

«Согласен, но сожалею, так как пьеса писана не для сцены и не достойна вашего таланта» [1].

О моем «таланте» Тургенев не имел никакого понятия — и это была банальная любезность.

Пьесу сыграли — и она произвела фурор. Я имела огромный успех в роли Верочки — и она сделалась моей любимой, моим «созданием». Автора вызывали без конца, о чем я на другой день ему телеграфировала. Он ответил:

«Успех приписываю вашему прекрасному таланту и скоро надеюсь лично поблагодарить вас» [2].

Скоро он действительно приехал в Россию и был встречен восторженно.

За несколько дней до его приезда в Петербург [3] ко мне явился некто Топоров (поверенный и приятель Тургенева) и между разговором спросил: намерена ли я поехать к Ивану Сергеевичу? Мне почему-то не представлялось это возможным, то есть я просто не думала об этом. Так, как-нибудь в театре (ведь полюбопытствует же он посмотреть

свое произведение), при случае... Но Топоров заявил, что это желание Ивана Сергеевича, и предложил назначить час на второй день приезда и предупредить его.

По мере приближения этого «часа» мною овладела такое волнение, что я почти решила не ехать, и... бегом спустилась с лестницы, крикнув кучеру сдавленным голосом:

— В «Европейскую гостиницу»!

Как я там поднималась, как мне указали номер — не помню. Помню только, что в коридоре, у самой двери, я натолкнулась на Топорова и взглянула на него, как на ангела-хранителя.

— Идите, идите! — сказал о н . — Иван Сергеевич ждет вас с нетерпением.

Когда мы вошли, какой-то господин встал, прощаясь, а Иван Сергеевич, протянув обе руки, направился ко мне. Чем-то таким теплым, милым, родным повеяло от всей его богатырской фигуры. Это был такой симпатичный, элегантный «дедушка», что я сразу освоилась и, забыв свой страх перед «Тургеневым», заговорила как с обыкновенным смертным.

— Так вот вы какая молодая! Я представлял вас себе совсем иною. Да вы и совсем не похожи на актрису.

Конечно, я пригласила его в театр посмотреть «Месяц в деревне»... [4] Но тут вышло недоразумение, он почему-то думал, что я играю Наталью Петровну, то есть первую роль, и совсем забыл о Верочке.

— Действительно, вы очень молоды для роли Натальи Петровны, но... Верочка! Что же там играть? — повторял он, озадаченный.

Очевидно, он этим огорчился. Я стала описывать ему, как великолепен Варламов в роли Большинцова, и вообще говорить об исполнении пьесы на первом представлении. Оп понятия не имел о нашей труппе и немного знал только Абаринову, игравшую Наталью Петровну, — знал только потому, что она когда-то взяла несколько уроков у m-me Виардо.

Просидела я с четверть часа и уехала, как в чаду. Спускаясь с лестницы, я долго видела наклонившуюся над перилами седую голову Ивана Сергеевича, его приветливый прощальный жест и слышала, как он сказал Топорову:

— Очень мила и, как видно, умница!

В то время мне шел двадцать пятый год и о моей «милоте» я так часто слышала, что наконец сама в ней убе-

дилась, но услыхать слово «умница» от Тургенева!! — это уже было такое счастье, которому я не верю и до сих пор. Я стрелой спустилась вниз, покраснев от восторга, но на последней ступеньке остановилась, как громом пораженная.

«Я ничего ему не сказала о его сочинениях!! Вот так «умница»!»

Эта мысль совершенно отравила все впечатление моего визита — и я возвратилась домой чрезвычайно огорченная.

Но каково же было мое удивление, когда через час явился ко мне Топоров — рассказать впечатление Ивана Сергеевича.

— Ему особенно понравилось, что вы не упомянули о его сочинениях, — сказал Топоров. — Это так банально и так ему надоело.

Я расхохоталась от души в описала ему свой испуг по этому поводу. Долго потом мы вспоминали со смехом этот эпизод.

— Пригласили вы Ивана Сергеевича смотреть его пьесу, а куда же вы его посадите? — задал мне вопрос Александр Васильевич (Топоров). — Билеты все проданы, да и в публике ему появиться невозможно. Это будет сплошная овация, и пьесы он не увидит.

Положение было крайне затруднительное, но вывел меня из него тот же добрый Топоров:

— Директорская ложа!

Лучше ничего нельзя было придумать, и я на другой же день отправилась к начальнику репертуарной части Лукашевичу просить, то есть предложить ему послать «директорскую ложу» автору, тем более что все места в театре были давно проданы. Лукашевич, строгий формалист и чиновник с головы до пят, стал в тупик от моего предложения и сказал, что «без барона (барон Кистер, бывший тогда директором императорских театров) решить этого нельзя», обратиться же с этой просьбой к барону он не считает себя вправе.

— Напишите вы от себя, а я пошлю письмо с курьером, — добавил он.

Писать или вообще обращаться с чем-либо к барону тогда считалось необычайным преступлением, но я, конечно, ни на минуту не задумалась. Лукашевич тем не менее предусмотрительно мне посоветовал просить «место в ложе», а не всю ложу. Для моих либеральных понятий

мне показалось это оскорбительным, но, как «умница», я решила, что это только смешно — и последовала совету Лукашевича. Через час курьер привез билет и письмо барона, в котором он, через мое посредство, предоставлял свою ложу в распоряжение «маститого литератора».

В 5 часов в день представления * я сама повезла билет, но не пошла к Ивану Сергеевичу, а послала с моей карточкой.

С каким замиранием сердца я ждала вечера я как играла — описать не умею; это был один из счастливейших, если не самый счастливый спектакль в моей жизни. Я священнодействовала... Мне совершенно ясно представлялось, что Верочка и я — одно лицо... Что делалось в публике — невообразимо! Иван Сергеевич весь первый акт прятался в тени ложа, во во втором публика его увидела, и не успел занавес опуститься, как в театре со всех сторон раздалось: «Автора!» Я, в экстазе, бросилась в комнату директорской ложи и, бесцеремонно схватив за рукав Ивана Сергеевича, потащила его на сцену ближайшим путем. Мне так хотелось показать его всем, а то сидевшие с правой стороны не могли его видеть. Иван Сергеевич очень решительно заявил, что, выйдя на сцену, он признает себя драматическим писателем, а это ему «и во сне не снилось», и потому он будет кланяться из ложи, что сейчас же и сделал. «Кланяться» ему пришлось целый вечер, так как публика неистовствовала. Я отчасти гордилась успехом пьесы, так как никому не пришло в голову поставить ее раньше меня...

После третьего действия (знаменитая сцена Верочки с Натальей Петровной) Иван Сергеевич пришел ко мне в уборную, с широко открытыми глазами подошел ко мне, взял меня за обе руки, подвел к газовому рожку, пристально, как будто в первый раз видя меня, стал рассматривать мое лицо и сказал:

— Верочка... Неужели эту Верочку я написал?! Я даже не обращал на нее внимания, когда писал... Все дело в Наталье Петровне... Вы живая Верочка... Какой у вас большой талант!

Я, чувствуя себя Верочкой, то есть семнадцатилетней девочкой, услыхав такие слова, ничего не могла придумать умнее, как подскочить, обнять и крепко поцеловать этого милого, чудного автора. Тут стояла моя мать; вся в

---

* 15 марта 1879 г. (*Примеч. М. Г. Савиной.*)

слезах от волнения, а в дверях уборной — толпа, жаждавшая видеть Тургенева вблизи. Он еще раз повторил свои слова и, уходя, опять сказал:

— Неужели это я написал?!

Я повела его за кулисы знакомить с исполнителями. Он всех благодарил, а Варламова поцеловал. Все вышли на сцену, антракт затянулся, но публика не волновалась, зная, что автора «чествуют» за кулисами. Я ног под собою не чувствовала от восторга. Абаринова все твердила:

— Я ведь с ним знакома, я брала уроки у m-me Виардо...

Это, впрочем, не помешало ей совсем не понять роли Натальи Петровны, в чем с грустью сознался и сам Иван Сергеевич.

К концу спектакля овации приняли бурный характер, и когда автор, устав раскланиваться, уехал из театра, исполнителей вызывали без конца.

На другой день Иван Сергеевич был у меня с визитом, о чем добрый Топоров предупредил меня утром [5]. Нечего и говорить, с каким волнением я ждала этого визита и как готовилась к нему; но все вышло совсем не так, как я воображала. Иван Сергеевич все всматривался в меня с любопытством, расспрашивал о моем поступлении на сцену, о моих взглядах на искусство, о моем семейном положении и сказал между прочим, что я напоминаю ему манерой игры знаменитую французскую актрису Деклэ, умершую от чахотки двадцати четырех лет (для нее была написана «Фру-Фру»), но что у нее не было моей непосредственности. Видно было, что он рассматривает меня, как диковинную «обезьянку». Сначала я немножко «боялась», но, инстинктивно чувствуя, что я заинтересовала его, решилась сказать, что пришло в голову в данную минуту, тем более что от меня не ускользнуло его как бы удивление: «Вот, мол, ты какая, русская актриса» — и это меня задело, задело мое национальное чувство, и досадно было за него. Со свойственной мне и доныне экспансивностью, я забыла, что я хозяйка, принимающая гостя, забыла свою робость, необходимый такт и... выпалила монолог против его западничества и в защиту русского искусства, которым он «не интересуется, как забытой им Россией»... Когда я кончила, Иван Сергеевич сидел, откинувшись на спинку кресла, с широко открытыми глазами, с которых свалилось пенсне, и беспомощно разводил руками... Топоров, присутствовавший при этом (они вместе при-

ехали), говорил мне потом, что Иван Сергеевич долго не мог отделаться от впечатления моей выходки и все вспоминал разные фразы.

— Задели вы его упреком, и очень хорошо сделали, — восхищался Александр Васильевич, боготворивший Тургенева и мечтавший перетащить его «домой». Он ненавидел m-me Виардо всеми силами души и не пропускал случая сказать что-нибудь злое по ее адресу (не в присутствии Ивана Сергеевича, конечно)...

* * *

К постановке «Месяца в деревне» относится еще интересный эпизод. Иван Сергеевич подарил супруге А. В. Топорова право на авторский гонорар за свои драматические произведения. Топоров, дорожа расположением Ивана Сергеевича, не мог отказаться, но и не хотел воспользоваться этими деньгами. Детей у них не было, и он решил взять ребенка на воспитание. Нашли девочку и вырастили ее на деньги, получаемые за драматические произведения Ивана Сергеевича. «Месяц в деревне» не сходил с репертуара, и я каждый год, возвращаясь из отпуска, начинала сезон моей любимой ролью. По поводу этого названые родители шутя говорили: «Верочка помогает Любочке», — это было имя девочки, за которой упрочилось название «тургеневской Любы» [6]. Теперь это уже взрослая девушка; она служит учительницей в провинции.

* * *

Петр Исаевич Вейнберг, неутомимый устроитель вечеров в пользу Литературного фонда (председателем которого был тогда В. П. Гаевский), конечно, воспользовался приездом Ивана Сергеевича и составил особо интересную программу, с участием Тургенева и Достоевского. Я тоже приглашена была читать. Не зная, что выбрать для чтения, я очень волновалась. Вывел меня из затруднения все тот же милый Топоров, предложив прочесть сцену из «Провинциалки». Я пришла в восторг от этой счастливой мысли и от души поблагодарила его. Когда я объявила распорядителям Гаевскому, Вейнбергу и Гайдебурову мой выбор, — все одобрили, и вдруг кто-то из них спросил:

— Вы будете читать с автором?

В самом деле, с кем же я буду читать сцену в два лица? Мысль об авторе не приходила мне в голову и совершенно ошеломила меня. Мне показалось это страшной дерзостью, и почему-то я сразу убедилась, что Иван Сергеевич «не пожелает». Намечался также для совместного чтения со мною П. И. Вейнберг, который и взялся переговорить с автором. Иван Сергеевич сначала отнекивался, боясь «осрамиться рядом с профессиональной чтицей», чему я от всей души смеялась, но потом согласился, «если на репетиции это не будет очень плохо». И вот на афише появилось: *«Сцена из «Провинциалки», сочинение И. С. Тургенева, прочтут М. Г. Савина и автор».*

Появление Ивана Сергеевича в первом отделении было встречено овацией — и он долго не мог начать читать. Он прочел «Бирюка». Читал Тургенев вообще плохо, а тут еще взволновался. Наш «номер» был во втором отделении. Поставили стол с двумя свечами, положили две книги, придвинули два стула, и... надо было выходить. Теперь, столько лет спустя, у меня сердце замирает при одном воспоминании, а что было тогда!.. Иван Сергеевич взял меня за руку, Вейнберг скомандовал: «Выходите!» — за кулисами зааплодировали, публика подхватила — и я, оглушенная, дрожащая, вышла на сцену. Когда мы вышли, я, конечно, не кланялась на аплодисменты, а сама аплодировала автору. Долго раскланивался Иван Сергеевич, наконец все затихло — и мы начали:

— Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство? (Этой фразой начинается сцена.)

Не успела я это произнести, как аплодисменты грянули вновь, Иван Сергеевич улыбнулся. Овации казались нескончаемыми, — и я, в качестве «профессиональной», посоветовала ему встать, так как он совершенно растерянно смотрел на меня. Наконец публика утихла, и он отвечал. Тишина в зале изумительная. Все распорядители, то есть литераторы и даже Достоевский, участвовавший в этом вечере, пошли слушать в оркестр. Я совершенно оправилась от волнения, постепенно вошла в роль и, казалось, прочла хорошо. Нечего и говорить об овациях после окончания чтения. Ивана Сергеевича забросали лаврами. Вызывали без конца, но я, выйдя два раза на вызовы — и то по настоятельному требованию Ивана Сергеевича, — спряталась в кулисе за распорядителями и оттуда аплодировала вместе с ними.

В артистической комнате Достоевский мне сказал:

— У вас каждое слово отточено, как из слоновой кости, а старичок-то пришепетывает.

Я очень огорчилась такой похвалой, вызванной, как мне казалось, антипатией к Ивану Сергеевичу. Или уж атмосфера зала так настраивала... Но публика! Меня всегда поражало стремление публики к партиям. Мыслимы ли партии, когда сходятся такие колоссы, как Достоевский и Тургенев... Этот вечер ознаменовался, между прочим, маленьким инцидентом, рисующим наши нравы. Когда вышел Достоевский на эстраду, овация приняла бурный характер: кто-то кому-то хотел что-то доказать. Одна известная дама Ф<илософова> подвела к эстраде свою молоденькую красавицу дочь, которая подала Федору Михайловичу огромный букет из роз, чем поставила его в чрезвычайно неловкое положение. Фигура Достоевского с букетом была комична — и он не мог не почувствовать этого, как и того, что букетом хотели сравнять овации. Вышло бестактно по отношению «гостя», для чествования которого все собрались, и Достоевского, которому вовсе не нужно было присутствие «соперника» для возбуждения восторга публики. Незадолго до приезда Ивана Сергеевича я участвовала в благотворительном концерте и была свидетельницей поклонения публики таланту Достоевского... Удивительно он читал! И откуда в этой хрупкой, тщедушной фигуре была такая мощь и сила звука? «Глаголом жги сердца людей!» — как сейчас слышу... В публике, благодаря этому букету, произошло некоторое смятение, но в результате... усиленные овации по адресу обоих литераторов...

* * *

Каждое свидание с Иваном Сергеевичем стоило мне огромных усилий над собою. Я следила не только за каждым своим словом, но за каждой мыслью, боясь «критики» Ивана Сергеевича. А происходило это оттого, что, слыша часто его рассказы о ком или о чем-либо, воображала, что он постоянно смеется над всем и всеми. Боязнь быть смешной в его глазах парализовала меня. Молоденькая дурочка, я не понимала тогда, что он с своим талантом, умом, наблюдательностью смотрит на предмет в двойные очки и, обладая даром речи, выражает свои мысли удивительно ярко. Его эскизы были готовыми портретами, которые многие принимали за карикатуры.

После отъезда Ивана Сергеевича у нас скоро началась правильная переписка. Он интересовался каждой моей новой ролью, негодовал на репертуар и часто заканчивал письмо сожалением, что он «не драматург»:

— Какую бы я роль вам написал!

Случалось, по его просьбе, я посылала ему некоторые пьесы для прочтения. Живя постоянно за границей, он совсем не знал нашего театра и Островского помнил только в молодости [7]. Как странно бывало иногда слышать его рецензии о произведениях Островского...

Не могу не отметить одной характерной подробности. Во всех письмах Иван Сергеевич аккуратно обозначал время и всегда в заголовке ставил адрес. Его раздражала «русская манера» не писать адреса и тем лишать возможности тотчас ответить на письмо. Особенно он нападал на Григоровича (Дмитрия Васильевича), который всегда забывал это делать. Я запомнила этот урок на всю жизнь.

* * *

Иван Сергеевич видел меня в «Майорше» в утреннем спектакле в Мариинском театре. Прямо оттуда он приехал ко мне и привез свои сочинения, которые бросил на рояль, сказав:

— Вот вам на память об удовольствии, которое вы мне доставили. Какой у вас большой талант и как вы хорошо поняли эту роль!

Я, конечно, была безмерно счастлива и попросила Ивана Сергеевича сделать надпись на книге, удивляясь, где он их взял. Оказалось, он заехал по дороге из театра в магазин и купил свои сочинения (издания еще Салаева).

. . . .

. . . .

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

И. С. ТУРГЕНЕВ У СЕБЯ В ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕЗД НА РОДИНУ

(Из воспоминаний)

Лето в 1881 году в Спасском не очень баловало нас — были серые, дождливые и даже холодные дни, и Иван Сергеевич часто роптал на погоду.

— Вот ты тут и живи! — говаривал он, поглядывая на небо, с утра обложенное дождливыми тучами.

Но в хорошие, ясные дни, утром, я уходил куда-нибудь с палитрой и мольбертом, а Тургенев и семья моя блуждали по саду. Иногда и вечером, после обеда, Тургенев не отставал от нас. Сад наводил его на множество воспоминаний. То припоминал он о какой-то театральной сцене, еще при жизни отца его сколоченной под деревьями, где во дни его детства разыгрывались разные пьесы, несомненно на французском языке, и где собирались гости; смутно помнил он, как горели плошки, как мелькали разноцветные фонарики и как звучала доморощенная музыка.

То указывал мне на то место, по которому крался он на свое первое свиданье, в темную-претемную ночь, и подробно, мастерски рассказывал, как он перелезал через канавы, как падал в крапиву, как дрожал как в лихорадке и по меже — «вон по той меже» — пробирался в темную, пустую хату. И это было недалеко от той плотины, где дворовые и мужики, после смерти старика Лутовинова, не раз видели, как прогуливается и охает по ночам тень его. Люди, которых боятся при жизни, иногда пугают людей и по смерти [1].

То говорил: «Вот моя самая любимая скамеечка, — она стара, ее почему-то еще не успели вырубить. А ты заметил, у меня в саду каждое лето ставят новые скамейки; те, которые ты видишь, наверное зимой будут вырублены: крестьяне ухищряются таскать их к себе на топливо, и уж с этим ничего не поделаешь!»

Однажды, это было в одной из дальних окраин сада, на полугоре, заросшей кустами и осинами, в виду проселка и бревенчатого мостика, перекинутого через овражек, дети мои искали грибов и лакомились земляникой; я шел рядом с Тургеневым.

— Ну-ка, дети, — сказал он, — кто из вас найдет пещеру, — здесь, близко от нас, есть вход в пещеру.

И дети побежали искать пещеру. Долго мы не находили пещеры, наконец нашли овражек, вроде провалившейся могилы, кирпичи и какую-то дыру, которая углублялась в землю и чернелась под корнями густо разросшейся дикой малины. На мой вопрос: что же это такое? — Иван Сергеевич ничего не мог мне рассказать наверное, так как существование этой пещеры относится к древнейшей истории села Лутовинова. На мое же предположение, нет ли тут какого зарытого клада? — Иван Сергеевич отозвался, что на поиски клада было уже не мало охотников, что они уже туда лазали, и ничего не нашли.

Иногда, по утрам, мы все расходились по саду куда глаза глядят и забирались далеко — кто на пруд, кто на клубничные гряды, и, забывая часы, опаздывали то к завтраку, то к обеду, то к вечернему чаю. И чтоб всех сзывать вовремя, Иван Сергеевич велел купить во Мценске небольшой колокол. Мы его повесили между столбиками, на краю террасы. Минут за 10 до обеда или до чая Захар или кто-нибудь из детей начинал звонить; но сад был так велик, что внизу, у пруда, звуки его едва были слышны. Иногда звон повторялся два, три, иногда четыре раза, прежде чем мы все — я, жена моя, дети и репетитор моего старшего сына, студент Медицинской академии Коцын, собирались на террасу к обеду или самовару <...>

Почти весь июнь, до 27-го числа, в Спасском мы были одни, то есть я и мое семейство, — никто еще в Спасское не заглядывал; но разве возможно было скучать в обществе Ивана Сергеевича.

Весь июнь Тургенев был в самом веселом настроении духа — был здоров, говорлив, и даже песни спасских крестьянок которые по найму работали в саду и, воз-

вращаясь домой с граблями на плечах, хором орали пес- --, радовали его до глубины души. При этом не могу не заметить, что, судя по летним нарядам спасских баб, никак нельзя заключать о их бедности, а судя по лицам и голосам — и о их нуждах и голодании.

— Когда у меня в Спасском гостил английский писатель Рольстон[2], — говорил Тургенев, — он, слушая эти горластые песни и видя этих баб, работающих, пляшущих и дующих водку, заключил, что в России запаса физических сил в народе — непочатый край. Но вот история! С Рольстоном мы ходили по избам, где он рассматривал каждый предмет и записывал у себя в книжечке его название; крестьяне вообразили, что он делает им перепись И хочет их переманить к себе, в Англию; долго они ждали, когда же их туда перевезут, и не вытерпели, пришли ко мне толпой, да и говорят: а когда же это мы в Англию-то перекочуем? Барин, что приезжал за нами, нам очень полюбился — должно быть, добрый; мы за ним охотно, со всей нашей душой, куда хошь... А что он приезжал звать нас в английскую землю — это мы знаем.

— Веришь ли ты, — заключил Иван Сергеевич, — что мне большого труда стоило их урезонить и доказать всю несбыточность их нелепой фантазии.

* * *

Лето в России так коротко и так незаметно проходит, что сидеть да макать перо в чернильницу в то время, как поют птицы, пахнет сеном или цветами и наступают теплые, прозрачно-розовые сумерки, для меня было всегда тяжело и незавлекательно; но Тургенев в это время писал «Песнь торжествующей любви», то утром между прогулкою и завтраком, то вечером после чая. Никто тогда из нас не заходил к нему в кабинет и не заговаривал с ним. Я не знал еще, что он такое пишет. Однажды он пришел в ту комнату, которую мы почему-то называли «казино», и, увидевши меня за мольбертом, попросил сочинить ему стиха четыре, но таких, чтоб они были и бессмысленны, и в то же время загадочны. Я удивился.

— Это зачем?

— Да уж так, мне это нужно для моего одного рассказа.

Я стал придумывать стихи, что-то придумал, но Иван Сергеевич остался недоволен. Да и что бы я мог приду-

мать, не зная, для каких художественных соображений нужны стихи и в каком тоне (а тон тут главное). Через несколько дней Тургенев прочел мне:

Месяц стал, как круглый щит,
Как змея река блестит.
Друг проснулся, недруг спит —
Ястреб курочку когтит,
Помогай!..

— Ну что, хорошо? — спросил он.

— Должно быть, хорошо, хоть я и не понимаю, зачем тебе это нужно?

Тургенев, довольный, удалился в кабинет свой.

Вышеупомянутые стихи каждый может прочесть в рассказе «Песнь торжествующей любви» — это те самые стихи, которые бормочет Муций в ответ на расспросы смущенного Фабия.

У себя в комнате нашел я пустую, непочатую тетрадку и, не надеясь на память, задумал иногда вносить в нее кое-какие заметки. Так я записал:

«В одной плясовой народной песне Тульской губернии следующий припев:

Две метелки,
Два снопа,
Грабли да лопата!»

«Крестьяне Мценского уезда говорят: «крох налоя», вместо «вокруг аналоя».

Я и не думал, что тетрадь эта вся будет наполнена чем-то вроде отрывочного дневника (по большей части без чисел) и что она-то именно и поможет мне написать эти воспоминания. (Но разве я мог знать, что переживу Тургенева!)

Началось с того, что я записал экспромт, который сложился в уме Ивана Сергеевича после одной очень долгой и горячей беседы.

Не обладая громадной памятью, приводить здесь наши долгие беседы или споры, если они тотчас же не были записаны, — значит, заведомо лгать на себя и лгать на Тургенева. Но экспромт все-таки требует некоторых пояснений.

Философские убеждения Тургенева и направление ума его имели характер более или менее положительный и под конец жизни его носили на себе отпечаток пессимизма. Хотя он и был в юности поклонником Гегеля, отвлечен-

ные понятия, философские термины давно уже были ему не по сердцу. Он терпеть не мог допытываться до таких истин, которые, по его мнению, были непостижимы. «Да и есть ли еще на свете непостижимые истины?» Так, например, он любил слово: «природа» и часто употреблял его и терпеть не мог слова *«материя»;* просто не хотел признавать в нем никакого особенного содержания или особенного оттенка того же понятия о природе.

— Я не видал, — спорил он, — и ты не видал материи — на кой же ляд я буду задумываться над этим словом.

И так как в этом не сходились наши воззрения, я отстаивал слова: «материя», «сущность», «абсолютная истина», и проч. и проч.

Повторять теперь все, что я именно говорил Ивану Сергеевичу, — значит, написать уже не то, что я говорил, а стенографически никто нашего разговора на записывал. Добавлю только следующее: когда появился в печати рассказ Тургенева «Собака», рассказ, им самим слышанный от очевидца, им со слов его записанный и уже затем обработанный [3], — наша критика напала на него как на страшного и опасного мистика. На «Собаку» стали появляться пародии. Рассказы его «Призраки» и «Странная история» тоже многих заставляли предполагать, что Тургенев сам верит в таинственные, необъяснимые явления; но ничего не может быть ошибочнее такого мнения о Тургеневе.

— Ничего нет страшнее, — говорил он однажды, — страшнее мысли, что нет ничего страшного, все обыкновенно. И это-то самое обыкновенное, самое ежедневное и есть самое страшное. Не привидение страшно, а страшно ничтожество нашей жизни... <...>

* * *

Всякий раз, когда Иван Сергеевич приезжал в свое родное пепелище, для крестьян и баб он устраивал праздник в своем саду, на площадке перед террасой. На этот раз почему-то праздник этот откладывался: потому ли, что ожидали окончания сенокоса и работ в саду или по причине дурной погоды. Иван же Сергеевич очень часто находился в страхе за свои ноги — он все боялся подагры, берегся сырости и подозрительно следил за всяким ощущением в пальцах то одной, то другой ноги, так как

такие ощущения бывали иногда зловещими признаками наступающей болезни. Раз, около часа пополуночи, я зачитался и еще не спал. Кругом была тишина, слышно было только, как жужжали и стукались в потолок шальные мухи, как вдруг резко раздался звук церковного колокола. Я дрогнул и поднял голову. Начался звон, неровный, беспорядочный звон. Не оставалось никакого сомнения, что это набат. «Не мы ли горим, — подумал я. — Не наверху ли, где спит мой сын, что-нибудь загорелось?» Я и жена моя наскоро оделись; дети спали. В доме послышались шаги и шорох. Заглянув на двор, я через сад прошел к воротам. Церковный сторож стоял у колокольни, уже освещенной заревом, и дергал за веревку. Увидавши меня, он перестал звонить и указал мне на красный дым, который поднимался над темными соломенными крышами села, в полверсте от усадьбы. «Это горит Спасское», — сказал мне сторож. Я пошел назад, чтоб разбудить Тургенева, но в спальной я уже застал его, за ширмами, на ногах и уже одевающимся. На ночном столике горела свеча, и на Иване Сергеевиче, как говорится, лица не было. «Ну, — сказал оп, махнув сокрушенно рукой, — сгорит вся деревня дотла, как есть, вся дотла сгорит!»

Он уже одевал пальто и шапку, не спеша, но хмурясь и как бы отчаиваясь.

Я стал его уговаривать.

— Иван, пожалуйста, вспомни, что у тебя болела сегодня нога; не ходи, ночь сырая, холодная... Берегись подагры. Не ходи!

— Как можно! — отозвался он. — Обязан идти... Надо!

— Да ведь ты простудишься!

— А что же делать!! Сгорит все село дотла, дотла сгорит! — повторил он, уже совсем стариковским голосом, потряхивая головой и спускаясь с террасы.

Я пошел провожать его.

— Нет, — сказал он, — ты останься, у тебя больное колено и к тому же дом пуст — никого нет, хоть шаром покати.

Я до околицы проводил его, узнал, что горит не село, а кабак за селом, и вернулся.

Кабак этот стоял на краю деревни, саженях в тридцати от крайней избы, по ту сторону проселочной дороги, на чужой земле.

Безветрие спасло Спасское.

Слышал я потом, что крестьяне, как бы любуясь, обступили пылающий кабак, но и не думали тушить его. Кабак сгорел. Кабатчик, отважно спасая свое добро, получил немалое количество ожогов. Я видел, как на другой день ходил он по пожарищу и затем, присев на обгорелое бревно, тряпками стал перевязывать свои ожоги. Никакого при этом страдания от боли не выражало темное и суровое, но еще молодое лицо его.

Крестьяне знали, что вместе с кабаком сгорели все ими заложенные вещи, и радовались, что у кабатчика сгорела вся его выручка. Кажется, они ошиблись. Конечно, кабатчик уверял всех, что все у него погорело, и на другой день пришел к Ивану Сергеевичу просить его помощи.

Иван Сергеевич дал ему 25 рублей.

Но и эта ничтожная помощь крестьянам не понравилась.

— За что двадцать пять рублей! Не за то ли уж, что он нас спаивал да капиталы наживал; он и теперь нас богаче — не пропадет! — говорили мужики.

Точно он был главный виновник их пьянства и разоренья, а не они сами, не их собственная воля.

Затем они приходили просить Ивана Сергеевича так распорядиться, чтоб у них кабака больше не было.

Иван Сергеевич обещался им все сделать, что только он будет в силах.

— У вас будет не кабак, а часовня, — решил он, — а на основании закона, близ часовни * нового кабака начальство не дозволит выстроить.

Иван Сергеевич был прав, что, загорись не кабак, а село, — все бы село выгорело дотла — в Спасском и в заводе не было пожарной трубы и бочек, да и пруды от села не так близки, чтобы можно было успешно добывать воду и тушить пожар.

И все мне казалось, живи Иван Сергеевич в России — в селе Спасском были бы и пожарные трубы, и бочки, разумеется, если бы кто-нибудь на это намекнул Ивану Сергеевичу. На всякое добро, на всякую жертву он был готов, как человек щедрый и любящий; но едва ли в нем самом была какая-нибудь инициатива или позыв на ту или другую практическую деятельность (помимо деятельности литературной).

---

* Вид этой часовни был помещен в «Ниве», 1883, № 42. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

* * *

Через несколько дней после пожара состоялся деревенский праздник. Жена моя должна была ехать в Мценск для закупки лент, бус, платков, серег и т. и. Управляющий поехал за вином, пряниками, орехами, леденцами и прочими лакомствами.

К 7 часам вечера толпа уже стояла перед террасой: мужики без шапок, бабы и девки нарядные и пестрые, как раскрашенные картинки, кое-где позолоченные сусальным золотом. Начались песни и пляски. В пении мужики не принимали никакого участия, они по очереди подходили к ведру или чану с водкой, черпали ее стеклянной кружечкой и, запрокидывая голову, выпивали. Только один пришлый мужик, в красной рубашке, и пел, и плясал, и кланялся, и подмигивал, и присвистывал. Помню — он спел какую-то сатирическую веселую песню на господ, и очень сожалею, что не записал ее <...>

Ивана Сергеевича больше всего занимал тип пришлого мужика в красной рубашке, черноволосого, с живыми, быстрыми, маленькими глазами, веселого прилипалы, плясуна и любезника.

— Ты что думаешь? — говорил мне о нем Тургенев. — В случае какого-нибудь беспорядка, бунта или грабежа, он был бы всех беспощаднее, был бы одним из первых, даром, что он так юлил и кланялся. Ему очень хотелось, чтоб ты дал ему рубль или хоть двугривенный, а между тем слышал, какую он про барские причуды песню пел? Это, брат, тип!

Я спросил Тургенева, зачем он не приказал мужикам надеть шапки.

— Нельзя, — сказал Тургенев. — Верь ты мне, что нельзя! Я народ этот знаю, меня же осмеют и осудят. Не принято это у них. Другое дело, если бы они эти шапки надели сами, тогда и я был бы рад... И то уже меня радует, — говорил он в другой раз, сидя с нами в коляске, когда мы катались, — что поклон мужицкий стал уже далеко не тот поклон, каким он был при моей матери. Сейчас видно, что кланяются добровольно — дескать, почтение оказываем; а тогда от каждого поклона так и разило рабским страхом и подобострастием. Видно, Федот — да не тот!

* * *

<...> 27 числа, к 12 часам ночи, в Спасское прикатил Дмитрий Васильевич Григорович. Мы дожидались его в столовой, усадили за самовар и пробеседовали чуть ли не до 2-х часов пополуночи. Все были в самом веселом, даже можно сказать? в восторженном настроении духа [4].

* * *

Дмитрий Васильевич Григорович на другой же день обошел весь дом, часть сада и, казалось, всем был доволен, Уютно, чисто, просторно — все, что нужно.

Ему же было и весело вспомнить, что здесь, в Спасском, он уже не впервые; что, с лишком 20 лет тому назад, он приезжал сюда к опальному Тургеневу, еще бодрому и молодому. Здесь когда-то застал он и ядовитого эстетика В. П. Боткина, и флегматического на вид, даровитого Дружинина, Колбасина и многих других. Здесь когда-то в саду, разлегшись в тени под деревьями, они разучивали роли из комедии «Школа гостеприимства», ими всеми сообща состряпанной; а комедия эта была — веселый фарс, и фарс этот не только рассмешил, но и привел в неслыханное недоумение всех собравшихся из окрестностей смотреть, как играют литераторы. И грустно было думать, что из всех тогда действующих лиц уже немного осталось действующими на этом свете... что много с тех пор воды утекло, что самый дом уже не тот и что даже трудно узнать, что теперешняя столовая с портретами и есть именно та самая комната, где были устроены подмостки и где представлялась доморощенная пьеса с комической смертью всех действующих лиц повально... [5]

При этом надо заметить, что к приезду Григоровича биллиард был уже с новыми лузами и что библиотека приводилась в порядок при помощи того же студента Медицинской академии Коцына. Коцыну вообразилось, что весь русский отдел этой библиотеки можно разобрать, внести в каталог и по местам расставить в какие-нибудь два дня; но оказалось на деле, что и в две недели едва ли возможно совершить эту процедуру. Тургенев сам принимал участие в приведении в порядок своей библиотеки и очень сокрушался, что некоторые из очень дорогих изданий, очевидно, были украдены кем-нибудь из стародавних гостей, по русскому обычаю думающих, что зажи-

лить или увезти книгу не значит украсть ее — а просто увезти и зажилить. Ведь похищают же невест и чужих жен, и это за воровство никем не почитается... Так, не находил Тургенев одного редкого издания Овидия, с гравюрами прошлого XVIII столетия.

Приезд Дмитрия Васильевича Григоровича в Спасское положил начало постепенному наплыву и других гостей, о которых в свою очередь будет мною упомянуто.

Прежде всех (при Дмитрии Васильевиче Григоровиче) в Спасское появилась какая-то девушка, еще очень молодая. Если не ошибаюсь, это была одна из сомневающихся и колеблющихся... чему ей верить и куда идти — по следам ли нигилизма, путем огульного отрицанья, или коечто признать и пристать к какой-нибудь либеральной партии, — одна из тех, убеждениями которых управляет не наука, а случай. Я не помню ее фамилии. Она приезжала исповедовать Тургеневу свой образ мыслей, или свое недомыслие, хотя, по-видимому, и не была коротко знакома с хозяином.

Тургенев, по обыкновению, был с ней любезен, но сдержанно. Григорович был беспощаден, и, что всего удивительнее, она не только на него не сердилась — ей заметно нравилось, что так нецеремонно и так энергически-грубо низводил он с пьедестала тот идеал эмансипированной девицы, которому она поклонялась. Тургенев же, при нас, за чайным столом, вечером, заявлял, что у него ничего нет общего с анархистами или террористами, что он никогда им не сочувствовал и не сочувствует, что насилия и политические убийства никогда не достигают своей цели, напротив, вызывают долгую реакцию, останавливают естественный рост народов и отравляют общественный организм подозрительностью и напряженным чувством опасливого самосохранения; что в участи тех, которые у нас так бесплодно погибают, нет даже ничего истинно трагического. И, развивая теорию трагического, Иван Сергеевич, между прочим, привел в пример Антигону Софокла.

— Вот это, — сказал он, — трагическая героиня! Она права, потому что весь народ, точно так же, как и она, считает святым делом то дело, которое она совершила (погребла убитого брата). А в то же время тот же народ и Креона, которому вручил он власть, считает правым, если тот требует точного исполнения своих законов. Значит, и Креон прав, когда казнит Антигону, нарушившую закон. Эта коллизия двух идей, двух прав, двух равнозаконных

побуждений и есть то, что мы называем трагическим. Из этой коллизии вытекает высшая нравственная правда, и эта-то правда всею своею тяжестью обрушивается на то лицо, которое торжествует. Но можно ли сказать, что то учение или та мечта, за которую погибают у нас, есть правда, признаваемая народом и даже большинством русского общества?

Здесь я передаю не самые слова Ивана Сергеевича, а суть его мыслей, вслух нам высказанных [5а]. А что именно это он нам высказывал, я могу сослаться и на Григоровича, и на ту, которая вынуждала его говорить так, а не иначе <...>

* * *

Тургенев когда-то лично знавал покойного писателя, князя Владимира Федоровича Одоевского, и высоко ценил его. Я, пишущий эти строки, в 1858 году, незадолго до его кончины, встретился с князем за границею — в Веймаре. Он тотчас же догадался, что я болен, стал навещать меня в гостинице и начал по-своему, гомеопатией, безуспешно лечить меня. Кажется, достаточно было один день провести с этим человеком, чтоб навсегда полюбить его. Но свет глумился над его рассеянностью, — не понимая, что такая рассеянность есть сосредоточенность на какой-нибудь новой мысли, на какой-нибудь задаче или гипотезе.

Посреди своего обширного кабинета, заставленного и заваленного книгами, рукописями, нотами и запыленными инструментами, князь Одоевский, в своем халате и не всегда гладко причесанный, многим казался или чудаком, или чем-то вроде русского Фауста. Для великосветских денди и барынь были смешны и его разговоры, и его ученость. Даже иные журналисты и те над ним иногда заочно тешились. И это как нельзя лучше выразилось в юмористических стихах Соболевского, которые, по счастью, сохранились в памяти Ивана Сергеевича. Припомнив их, Тургенев несколько раз повторял их вслух и читал не без удовольствия.

Это было в дождливый день, не то 29-го, не то 30-го июня. «Случилось раз...» — читал Иван Сергеевич, стараясь читать как можно серьезнее, но придавая комический оттенок своему лицу и повышениям своего голоса:

Случилось раз, во время оно,
Что с дерева упал комар,
И вот уж в комитет ученый
Тебя зовут, князь Вольдемар,

Услышав этот дивный казус,
Зарывшись в книгах, ты открыл,
Что в Роттердаме жил Эразмус,
Который в парике ходил.
Одушевясь таким примером,
Ты тотчас сам надел парик
И, с свойственным тебе манером,
Главой таинственно поник.
«Хотя в известном отношеньи,—
Так начал ты, — комар есть тварь,
Но, в музыкальном рассужденьи,
Комар есть в сущности — звонарь,
И если он, паденьем в поле,
Не причинил себе вреда.—
Предать сей казус божьей воле
И тварь избавить от суда!»

Затем Тургенев стал припоминать и свои старые эпиграммы на своих старых приятелей. Из них лично для меня почти что ни одной не было неизвестной. Я, признаюсь, не был их поклонником, никогда не ставил их наряду с эпиграммами Пушкина и не мог бы ни припомнить, ни записать их без помощи автора.

Все эти эпиграммы относились еще ко временам той задорной молодости, которая подчас, для острого словца, не пощадит ни матери, ни отца. Эпиграммы, тогда сочиненные Тургеневым, по большей части относились к лицам, которых он любил и с которыми охотно проводил время.

— Но что же? — говорил Тургенев, — ведь никто же на эти эпиграммы не сердился, кроме Арапетова; тот только один так обиделся, что на много лет перестал со мной кланяться. А Дружинин, например, первый смеялся, когда я прочел ему:

Дружинин корчит европейца.
Как ошибается бедняк!
Он труп российского гвардейца,
Одетый в английский пиджак.

А вот эпиграмма на Кетчера:

Вот еще светило мира!
Кетчер, друг шипучих вин;
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

На Н—ко:

Исполненный ненужных слов
И мыслей, ставших общим местом,
Он красноречья пресным тестом
Всю землю вымазать готов...

То же, на одного московского профессора К:[6]

Он хлыщ, но как он тих и скромен,
Высок и в то же время томен,
Как старой девы билье-ду;
Но, возвышаясь постепенно,
Давно стал скучен несравненно
Педант, варенный на меду.

На В. П. Боткина была большая эпиграмма, пародия на пушкинское стихотворение «Анчар»; но Тургенев тщетно старался ее припомнить, и только один куплет промелькнул в его памяти:

К нему читатель не спешит,
И журналист его боится,
Панаев сдуру набежит
И, корчась в муках, дале мчится.

Совершенною для меня новостью была только эпиграмма, написанная Тургеневым еще в сороковых годах на Ф. Достоевского, после повести его «Бедные люди». Я никогда прежде не слыхал этой эпиграммы. В ней нет ничего особенно обидного, соль ее далеко не едкая; но Достоевский, уже и в то время болезненный, был не из числа тех юношей, которые, прочтя эпиграмму, отнеслись бы к ней шутя, как Дружинин, или бы охотно ему за нее простили, как Кетчер.

Достоевский мог совершенно впоследствии забыть эту эпиграмму, но семя вражды, глухое и бессознательное, осталось в нем.

Да и трудно было молодому Достоевскому не вообразить себе, что эпиграмма Тургенева не выросла на почве самой ядовитой зависти.

Но кто знал хорошо Тургенева, тот, конечно, поймет, что в нем не было ни на каплю литературной зависти и что в этом случае эпиграмма была вызвана тем ранним самомнением, которое обнаруживал Достоевский и которого был так чужд Тургенев. Иван Сергеевич постоянно ставил себя ниже Пушкина, ниже Гоголя и даже ниже Лермонтова...

Вот эта эпиграмма:

Рыцарь горестной фигуры!
Достоевский, юный пыщ;
На носу литературы
Ты вскочил, как яркий прыщ,

Хоть ты новый литератор,
Но в восторг уж всех поверг,
Тебя хвалит император,
Уважает Лейхтенберг [7].

Достоевский, конечно, был нисколько не виноват в том, что повесть его «Бедные люди» читалась при дворе, и читалась в такое время, когда к литературе и тогдашним литераторам сановные люди относились свысока или с снисходительным презрением.

— Д а , — говорил Т у р г е н е в , — все это были грехи задорной юности моей, а о своих молодых грехах иногда не мешает и вспоминать: их уже не вернешь. Кажется, что может быть проще истины: «молодости вернуть нельзя». Кто этого не знает! А между тем для меня нет ничего страшнее этой простой истины; она гораздо страшнее, чем ад, описанный Дантом в его «Divina Commedia» *. Для меня в непреложности законов природы есть нечто самое ужасное, так как я никакой цели, ни злой, ни благой, не вижу в них.

* * *

Так, прибытие Григоровича придало нашим беседам несколько литературный оттенок.

Вскоре после эпиграмм, когда мы втроем сидели в казино с овальным столом из карельской березы, а небо хмурилось и не пускало нас в сад; когда зеленые бочки по углам дома были переполнены дождевой водой, а перед террасой, на площадке, стояли л у ж и , — мы то сидели, то прохаживались в тесном, пространстве небольшой комнаты и беседовали, не замечая погоды.

Тургенев рассказал нам содержание одной пришедшей ему в голову фантастической повести.

Вот это содержание:

Муж ненавидит жену, убивает ее на дороге и прячет в лесу ее труп... приходит в город, заходит в гостиницу и заказывает к о ф е . — Для вас одного или для двоих? — спрашивает кельнер. Это его поражает. На улице попадаются ему знакомые, которые кланяются ему и. кланяются еще кому-то. Словом, все видят жену его, все, кроме его. Он чует ее присутствие около себя, оно тяготит его, мучит, преследует, но он ничего не видит.

---

* «Божественной комедии» (*ит.*).

Мало-помалу он доходит до такого состояния, что заклинает жену свою появиться, показаться ему. Он становится даже на колени перед чем-то невидимым, не зная, где оно, и — тщетно! Затем он является в суд и говорит, что он убийца. Ему не верят, он доказывает. Перед казнью он видит призрак жены и примиряется с судьбой своей.

Тургенев развивал эту мысль несколько подробнее [8].

— Мне решительно это не нравится, — заявил Дм. Вас. Григорович. — Психологически необъяснимо — почему жену видит не он, а другие?

Тургенев, как кажется, совершенно согласился с ним, по крайней мере не возразил ему. Но разве преступнику не могло казаться, что все, кроме его, видят жену его? разве кельнер не мог предположить, что он пришел вдвоем с товарищем, что товарищ его отстал, но тотчас же присядет к тому же столику и будет также пить кофе? Разве преступник не мог вопроса кельнера: «Для двоих?» иначе понять, иначе растолковать себе? Слова эти разве не могли послужить началом его галлюцинаций?

Затем зашел разговор о том, как пишутся или создаются повести. Так, Тургенев сознавался нам, что он не может продолжать писать, если не доволен фразой или местом, которое не удалось ему. Другие на это не обращают внимания, пишут все, с начала до конца, вчерне; потом постепенно отделывают по частям, иногда с начала, иногда с конца. Так писал Диккенс. Одни пишут отрывками и потом сводят их. Другие сами не знают, что выйдет из лица, нежданно появившегося в романе или повести; иногда лицо это вдруг так ярко обрисуется в воображении, что, заслоняя другие лица, делается первенствующим. Так часто случалось с Григоровичем, по его собственному признанию.

На упреки Тургеневу, зачем он перестал писать, и что напрасно он говорит, что талант может выписаться, Тургенев оправдывался тем, что уже в писании он не находит никакого особенного удовольствия.

— Прежний зуд прошел. Это то же, что мужское бессилие. Очень прискорбно, что оно есть, но что же делать! Ничего не поделаешь! Вот недавно, — продолжал он, — начал я повесть «Старые голубки». Написал несколько строк и дальше не мог; а сюжет мне очень нравился, и я глубоко, со всех сторон его обдумал.

— Рассказывай, какой сюжет? — спросил я Тургенева.

— А вот какой. У некоего старика, управляющего имением, живет приезжий сын, молодой человек. К нему приехал товарищ его, тоже молодой. Народ веселый и бесшабашный: обо всем зря сложились у них понятия, обо всем они судят и рядят, так сказать, безапелляционно; на женщин глядят легкомысленно и даже несколько цинично. В это же время в усадьбе поселяется старый помещик с женой, оба уже не молодые, хотя жена и моложе. Старик только что женился на той, которую любил в молодости. Молодые люди потешаются над амурами стариков, начинают за ними подсматривать, бьются об заклад... Наконец сын управляющего шутя начинает волочиться за пожилой помещицей, и что же замечает к своему немалому удивлению? — что любовь этих пожилых людей бесконечно сильнее и глубже, чем та любовь, которую он когда-то знал и наблюдал в знакомых ему женщинах. Это его озадачивает. Мало-помалу он влюбляется в пожилую жену старого помещика, и увы! — безнадежно. С разбитым сердцем уезжает неосторожный, любопытный юноша. И пари он проиграл, и проиграл прежний мир души своей. Любовь уже перестала казаться ему прежней шалостью или чем-то вроде веселого препровождения времени.

— Вот главное с о д е р ж а н и е, — и это была бы одна из самых трудных по исполнению повестей моих, так как ничего нет легче, как в таком сюжете переступить черту, отделяющую серьезное от смешного и пошлого, и ничего нет труднее, как изобразить любовь пятидесятилетнего старика, достойного уважения, и изобразить так, чтоб это не было ни тривиально, ни сентиментально, а действовало бы на вас всею глубиною своей простоты и правды. Да, господа, это очень трудный сюжет...

Но на большой террасе раздался звон призывного колокола, и все мы пошли в столовую обедать.

* * *

И за обедом, и после обеда, вечером, Иван Сергеевич был говорлив и интересен по обыкновению.

Вот что я помню из того, что в этот день говорилось.

— Д а, — говорил Т у р г е н е в, — смешное для одного народа вовсе не смешно для другого, и наоборот. То, что смешит француза, англичанин выслушает равнодушно, даже не улыбнется; и то, отчего англичанин расхохочет-

ся, французу вовсе не покажется смешным, Так, например, известный писатель Мериме знал по-русски и читал мне стихотворение Пушкина, которого он был великим поклонником:

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов... —

и я не смеялся, хотя француз каждое слово произносил по-своему. Вообще дурной выговор и чужой язык нисколько не смешат русского человека. А раз Теккерей упросил меня прочесть ему что-нибудь по-русски. Я стал наизусть читать ему одно из самых музыкальных по стиху стихотворений Пушкина, и что же? Не успел я и десяти стихов прочесть, как Теккерей покатился от неудержимого смеха, так стал хохотать, что сконфузил своих дочерей. Звуки чужого языка были для него смешны.

Раз я был у Карлейля. Надо вам сказать, что никто так не поражал меня своим образом мыслей, как этот Карлейль. Беспрекословное повиновение считал он лучшим качеством человека и говорил мне, что всякое слепо повинующееся своему монарху государство он считает лучше и счастливее Англии с ее свободой и конституцией. На мой вопрос, какого английского поэта он считает выше всех, он мне назвал одну посредственность, какого-то несчастного лирика, жившего в конце XVIII столетия, а о Байроне отозвался с пренебрежением. Затем он уверял меня, что Диккенс для англичан не имеет никакого значения, а нравится только иностранцам. Словом, много наговорил мне нелепостей непостижимых. Но когда я рассказал ему, что глаза мои страдают иногда темными пятнами — mouches volantes и что однажды, на охоте, вдруг показалось мне, что что-то серое пробежало по лугу; я подумал — заяц, поднял ружье и непременно бы выстрелил, если бы сам не догадался, что это в глазу темная подвижная точка ввела меня в заблуждение.

Выслушав это, Карлейль немного подумал и вдруг стал хохотать и долго никак не мог удержаться от хохота. «Чего он смеется?!» Я сначала понять не мог — ничего смешного в моем рассказе я даже не подозревал.

— Ха-ха-ха! — завопил он наконец, — в свою собственную mouche volante стрелять! в точку... в глазу... Ха-ха-ха!

Тут только я догадался, чем я так рассмешил его...

Ни русский, ни француз, ни немец ничего бы смешного не нашли в этом случае.

То же можно сказать и про театр. Кривляка актер, которого каждый немец и француз готовы освистать, забросать яблоками печеными, английскую толпу может привести в восторг неслыханный.

Взгляд на нравственность тоже у каждого народа различный. То, что для русского возмутительно, — для француза не только не возмутительно, но достойно всякого сочувствия, и, наоборот, — возмутительное для француза нисколько не смутит русского человека.

Раз в Париже давали одну пьесу (Тургенев назвал пьесу, но я не помню этого названия) [9]. Я, Флобер и другие из числа французских писателей собрались на эту пьесу взглянуть, так как она немало наделала шума: нравилась она и журналистам и публике. Мы пошли, взяли места рядом и поместились в партере.

Какое же увидел я действие? А вот какое... У одного негодяя была жена и двое детей — сын и дочь. Негодяй муж не только прокутил все состояние жены, но на каждом шагу оскорблял ее, чуть не бил. Наконец потребовал развода — séparation de corps et de biens * (что, впрочем, нисколько не дает жене права выйти вторично замуж). Он остается в Париже кутить; она с детьми, на последние средства, уезжает, если не ошибаюсь, в Швейцарию. Там знакомится она с одним господином и, полюбив его, сходится с ним и почти что всю жизнь свою до старости считается его женой. Оба счастливы — он трудится и заботится не только о ней, но и о ее детях: он их кормит, одевает, обувает, воспитывает. Они также, смотрят на него как на родного отца и вырастают в той мысли, что они его дети. Наконец сын становится взрослым юношей, сестра — девушкой-невестой. В это время состарившийся настоящий муж узнает стороной, что жена его получает большое наследство. Проведав об этом, старый развратник, бесчестный и подлый во всех отношениях, задумывает из расчета опять сойтись с женой и с этой целью инкогнито приезжает в тот город, где живет брошенная им мать его детей.

Прежде всего он знакомится с сыном и открывает ему, что он отец его. Сыну же и в голову не приходит спросить: отчего же, если он законный отец, он не жил с его мате-

---

* развода и раздела имущества (*фр.*).

рью, и, если он и сестра его — его дети, то отчего, в продолжение стольких лет, он ни разу о них не позаботился? Он просто начинает мысленно упрекать свою мать и ненавидеть того, кто один дал ей покой и на свои средства воспитал его и сестру, как родных детей своих. И вот происходит следующая сцена. На сцене брат и сестра. Входит воспитавший их друг их матери и, по обыкновению, здороваясь, как всегда, хочет прикоснуться губами к голове девушки, на которую с детства он привык смотреть как на родную дочь.

В эту минуту молодой человек хватает его за руку и отбрасывает его в сторону от сестры.

— Не осмеливайтесь прикасаться к сестре моей! — выражает его негодующее, гневное лицо. — Вы не имеете никакого права так фамильярно обходиться с ней!

И весь театр рукоплещет, все в восторге, — не от игры актера, а от такого благородного, прекрасного поступка молодого человека. Вижу, Флобер тоже хлопает с явным сочувствием к тому, что происходит на сцене.

Когда мы вышли из театра, Флобер и все другие французы стали мне доказывать, что поступок молодого человека достоин всяческой похвалы и что поступок этот высоконравственный, так как чувство, которое сказалось в нем, поддерживает семейный принцип или то, что называется honneur de la famille *.

И вот чуть ли не всю ночь я с ними спорил и доказывал противное, доказывал, что поступок этот омерзительный, что в нем нет главного чувства — чувства справедливости, что, если бы такая пьеса появилась на русской сцене, автора не только ошикали, — стали бы презирать как человека, проповедующего неправду и безнравственность. Но, как я ни спорил, что ни говорил — они остались при своем мнении. Так мы и порешили, что русский и французский взгляд на то, что нравственно и безнравственно, что хорошо и дурно, — не один и тот же <...>

* * *

2-го июля, вечером, Григорович и я покинули Спасское, опоздали на последний поезд и должны были переночевать во Мценске. На другой день, к вечеру, мы уже

---

* честь семьи (*фр.*).

были в Москве. Засим на несколько дней я отправился на свою родину, в Рязань, где я не был лет около 30-ти <...>

В мое отсутствие Тургенев продолжал рассказывать детям моим свои послеобеденные сказочки, которые он, так сказать, импровизировал. Первая сказка, при мне им придуманная, не займет и страницы печатной, так она была мала и так похожа на одно из его стихотворений в прозе. Вот она:

КАПЛЯ ЖИЗНИ

У одного бедного мальчика заболели отец и мать; мальчик не знал, чем им помочь, и сокрушался.

Однажды кто-то и говорит ему: есть одна пещера, и в этой пещере ежегодно в известный день на своде появляется капля, капля чудодейственной живой воды, и кто эту каплю проглотит, тот может исцелять не только недуги телесные, но и душевные немощи.

Скоро ли, долго ли, неизвестно, только мальчик отыскал эту пещеру и проник в нее. Она была каменная, с каменным растрескавшимся сводом.

Оглядевшись, он пришел в ужас — вокруг себя увидел он множество гадов самого разнообразного вида, с злыми глазами, страшных и отвратительных. Но делать было нечего, он стал ждать. Долго ждал он. Наконец видит: на своде появилось что-то мокрое, что-то вроде блестящей слизи, и вот понемногу стала навертываться капля, чистая, как слеза, и прозрачная. Казалось, вот-вот она набухнет и упадет. Но едва только появилась капля, как уже все гады потянулись к ней и раскрыли свои пасти. Но капля, готовая капнуть, опять ушла.

Нечего делать, надо было опять ждать, ждать и ждать.

И вдруг снова увидел он, что мимо него, чуть не касаясь щек его, потянулись кверху змеи, и гады разинули пасть свою. На мальчика нашел страх — вот-вот, он думал, все эти твари бросятся на меня, вонзят в меня свои жала и задушат меня; но он справился с своим ужасом, тоже потянулся кверху, и — о чудо! Капля живой воды капнула ему прямо в раскрытый рот. Гады зашипели, подняли свист, но тотчас же посторонились от него, как от счастливца, и только злые глаза их поглядели на него с завистью.

Мальчик недаром проглотил эту каплю — он стал знать все, что только доступно человеческому пониманию,

он проник в тайны человеческого организма в не только излечил своих родителей, — стал могуществен, богат, и слава о нем далеко прошла по свету.

— И только-то? — спросили дети.

— А чего же еще вам? — возразил Тургенев. — Ну, на этот раз с вас довольно. Завтра начну вам рассказывать длинную сказку, только дайте подумать.

* * *

Дня через два или три началась новая сказка... что еще раз доказывало, до какой степени фантазия Тургенева была еще свежа и неистощима.

Сказка эта после понюшки табаку (Иван Сергеевич не расставался с табакеркой) рассказывалась как бы по главам: сегодня одна глава, завтра другая и в разное время — иногда после обеда, когда подавали кофе, иногда вечером.

Напишу только то, что я слышал своими ушами и, разумеется, без всяких промежутков во времени. Замечу только, что последняя слышанная мною сцена уже рассказывалась при графе Льве Николаевиче Толстом и очень его смешила.

Вот эта сказка в сокращенном виде и без конца.

САМОЗНАЙКА[10]

I

Жили-были два мальчика — два брата. Один из них был самоуверен и нерассудителен, другой — рассудительно-мнителен. Первого из них звали Самознайкой, так как он ни над чем не задумывался и постоянно восклицал: «О! это я знаю... это я знаю!» Другого мы будем называть просто — Рассудительный. Это же были не настоящие их имена, а прозвища. В окрестностях, где жили мальчики, был старый, густой и заброшенный сад, и сказали им, что в этом саду есть пещера и что тот, кто найдет ее и проникнет, получит клад; но чтоб войти в нее, надо произнести два слова и чтоб каждое слово состояло из трех слогов.

Самознайка и говорит брату: «Пещера?! Какая пещера?! О, я знаю, я ее видел, я сейчас же пойду и найду ее».

Пошел. Долго искал, страшно устал и ничего не нашел.

Рассудительный, напротив, стал мало-помалу расспра-

шивать старых людей, и один дряхлый, очень дряхлый садовник указал ему спрятанную в зелени голубую дверку.

— Вот тут пещера, — сказал он.

— Ну, так и есть, я знал, что голубая дверка, — заметил Самознайка, когда брат рассказал ему о своем открытии. — Я это знал, я мимо нее проходил... и тотчас же пойду, скажу два слова и войду в нее.

Побежал, наговорил кучу трехсложных по паре слов; но дверка не отворилась.

Вслед за ним пошел Рассудительный и сказал: пе-ще-ра, от-во-рись!

И она отворилась. И вошел он в сумрачный грот и видит: в гроте сидит зеленая женщина или фея. Очень удивился.

Зеленая фея приняла его недружелюбно; он ясно видел, что она на него зла и что ей досадно.

— Ну, хорошо, — сказала она, — я отдам тебе клад, только с уговором — возьми съешь это зеленое яблоко, я хочу тебя им угостить.

Рассудительный подумал, подумал и не взял этого яблока. «Ведь она, — рассуждал он, — меня приняла недружелюбно, из каких же благ она станет угощать меня?»

— Нет, — сказал он, — я лучше приду в другое время. — Не взял у нее яблока и ушел. Рассказал об этом брату.

— Ах, какой же ты, как тебе не стыдно! — стал стыдить его брат. — Феи всегда угощают яблоками, я это слышал... я это знаю...

И тотчас же побежал в пещеру.

— Пещера, отворись!

Пещера отворилась. Самознайка смело вошел и, увидевши зеленую женщину, тотчас же взял яблоко и стал есть его. Съел и вдруг чувствует, что формы его меняются, что он все делается меньше, меньше и меньше...

Фея превратила его в ящерицу.

II

Рассудительный долго ждал брата и не дождался. Он знал, что брат побежал в пещеру, и пошел искать его.

— Где мой брат? — спрашивает он зеленую женщину.

— Не знаю, — отвечает ему зеленая женщина.

Он поглядел ей в глаза и усомнился.

— Ну, я до тех пор не выйду, пока ты мне не скажешь, где мой брат.

Зеленая женщина знала, что если человеческое существо в ее гроте пробудет с ней два часа, она пропала — она должна будет уступить все свои сокровища и исчезнуть. Но до двух часов еще оставалось немало времени, и она упрямилась.

Вдруг видит Рассудительный, что одна из ящериц подбегает к нему, поднимает свою головку, глядит ему в глаза, прижимает к себе свои передние лапки и даже, показалось ему, старается перекреститься...

«Уж не это ли мой брат!» — подумал Рассудительный.

— Не уйду, — сказал он решительно, — пока не увижу брата.

Время шло. Делать было нечего, фея произнесла какие-то кабалистические слова и дотронулась до ящерицы своим жезлом.

И вдруг эта ящерица стала пухнуть, пухнуть, расти, расти... вдруг шкурка ее лопнула, и выскочил из нее Самознайка.

— Вот и я! — воскликнул он, как ни в чем не бывало.

Зеленая же фея, чтоб как-нибудь избавиться от посещений их, предложила Рассудительному взять у ней на довольно большую сумму золота и серебра, с тем только, чтоб он уже больше не посещал ее.

Рассудительный не был жаден — взял деньги и поделился с братом.

Получив деньги, Самознайка тотчас же отправился путешествовать.

Где-то на дороге заехал он в гостиницу, велел подать себе самый дорогой обед и — главное — устриц, о которых он слыхал как о лакомом блюде и о котором не имел никакого понятия.

— Прикажете вскрыть? — спрашивает его слуга.

— Вскрыть! какой вздор! Подайте мне их в целости: я не желаю, чтоб их вскрывали.

Ему приносят устрицы в раковинах. Он начинает их грызть и никак не может. Все смеются.

— Тьфу! Какие старые устрицы вы мне подали! — говорит Самознайка.

И уезжает, сопровождаемый хохотом всей трактирной прислуги.

Долго ли, коротко ли путешествовал наш Самознайка — неизвестно; известно только, что он порастранжи-

рил все свои деньги и наконец заехал в какое-то очень далекое и очень своеобразное государство. Тут узнал он, что царь хочет в саду своем построить павильон и выбирает для этого самых лучших архитекторов.

Самознайка тоже является к царю и уверяет его, что строить он умеет так, как никто, и что выстроит он ему не павильон, а чудо.

Царь, пораженный его молодостью, поручает ему постройку.

Строит, строит Самознайка и удивляет всех архитекторов — все у него валится, а крыша покрывается картонной бумагой.

Наконец архитекторы докладывают царю, что Самознайка не только взялся не за свое дело, но не знает даже таблицы умножения.

Повели Самознайку на допрос. После допроса Самознайка сказал царю, что он все знает, но что в государстве совсем не та арифметика и что там, у него, в его отечестве, считают совершенно иначе.

Оставили его достраивать павильон.

Пришел сам царь и видит, что павильон оклеен бумагой и покрыт картоном. Царь так рассердился, что Самознайка осмелился обмануть его, что тотчас же велел его засадить в тюрьму.

(NB. Здесь небольшой пропуск о том, как Рассудительный, узнавши, что брат его в тюрьме, решается ехать и во что бы то ни стало спасти его. Как он подкупает стражу и уговаривается с Самознайкой бежать из города. Все им удается как нельзя лучше, по Самознайка уверяет брата, что он очень хорошо знает, какой дан караулам пароль и лозунг, и так завирается на заставе при выходе из города, что его ловят, опять сажают в тюрьму, по приказанию царя судят и присуждают к спринцовочной казни, изобретенной только в этом государстве и всегда совершаемой в присутствии всего двора.)

III

Давно уже Самознайка слышал об этой спринцовочной казни, и так как не раз видал в аптеках разные спринцовки, — думал, что эта казнь больше ничего, как потеха.

«Ну, думает, что за беда, что будут в меня брызгать... Все это пустяки, все вздор — эта казнь!»

И очень храбрился он в своем заточении.

Наступил наконец и день самой казни. За ним пришли. Самознайка вдруг испугался — стал плакать и рваться.

Но как он ни плакал, как ни вырывался из рук, привели его в огромную залу, наполненную высшими представителями правосудия и придворными.

Царь сидел и смотрел на приготовления.

Самознайку раздели и посадили на возвышении, спиной к открытому окну.

Против скамьи, куда посадили Самознайку, стояла колоссальная спринцовка, поршень которой натягивался посредством особенного механизма с пружинами.

Спринцовку эту одним передним концом погрузили в огромный чан и поршнем стали натягивать воду. Наконец поршень вытянули, закрепили и трубку стали нацеливать на Самознайку, который был бледен как смерть и весь дрожал от страха.

— Пущай! — крикнул царь.

И вдруг из спринцовки, с шумом, точно выстрел, вылетела широкая струя холодной воды. Струя эта была так сильна, что Самозиайка не мог удержаться и, подхваченный силой воды, вылетел вместе с нею в открытое настежь окошко.

IV

За окошком был царский фруктовый сад, где было множество вишен. Вишни эти были только что собраны, лежали на земле в виде громадных куч.

К счастью для Самознайки, он, вылетев из окошка, упал и ткнулся именно в одну из этих вишневых куч и тотчас же весь зарылся в ягодах.

Царь немедленно приказал во что бы то ни стало, живого или мертвого, отыскать его. Но сколько ни искали его в саду, никто нигде не мог отыскать его.

Царь очень рассердился, топнул ногой и объявил, что он всех судей, всех сторожей и даже жен и дочерей их подвергнет точно такой же спринцовочной казни.

Но все поиски оказались тщетными. Придворные трепетали за участь своих родных и знакомых.

В это время в городе оказался Рассудительный. Следя за участью брата и узнавши от придворных, что брат его пропал, точно улетел, что он, вероятно, какой-нибудь колдун и что беда, большая беда всем, если не найдут его.

Рассудительный подумал и отправился к царю.

— Так и так, — говорит, — позвольте мне отыскать Самознайку — может быть, я и найду его.

— Хорошо, — говорит царь, — ступай, ищи, и беда твоя, если ты мне не найдешь его.

Рассудительный взял с собой кое-кого из прислужников, пошел осматривать сад и подошел к тому окошку, из которого вылетел несчастный брат его.

— Брат, где ты? откликнись! — кричит Рассудительный.

Молчание.

— Самознайка! где ты?.. подай голос!

Ни гугу.

Самознайка, наевшись вишен, сидел в своей куче и не подавал голоса.

«Хорошо же!» — подумал Рассудительный и завел разговор с своими провожатыми.

— А что, братцы, — спросил он, — знаете вы, сколько частей света?

Те подумали и отозвались незнанием.

— А я знаю! — пропищал чей-то голос из вишневой кучи. Самознайка не вытерпел, чтоб не показать своего знания, и выдал себя. Его тотчас же и нашли, вытащили из кучи, всего выпачканного в вишневом соку, с сизыми губами и полным животиком.

Рассудительный не дал Самознайке ни вымыться, ни оправиться и, не без умысла, в таком виде повел его к царю, — он знал, что царь расхохочется. И действительно, царь расхохотался и уже готов был Самознайку простить и пустить на все четыре стороны.

— Ха, ха, ха! — хохотал он. — Хорош! Хорош ты, клистирный архитектор!.. Ну, а разве ты не знаешь, сколько частей света?

— Знаю-с, — смело и весело отвечал Самознайка.

— Ну, сколько же, по-твоему?

— Шесть, — отвечал Самознайка. — Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия.

— Тут только пять, какая же шестая?

Самознайка задумался. «Надо же что-нибудь отвечать, — подумал он. — Но какая же шестая?»

— Какая шестая?! — сказал он не без некоторой наглости, — а шестая часть света это — География.

— Не слыхал я о такой части света, — сказал царь, — а если есть такая часть света, то я дам тебе солдат в провожатые, велю держать тебя на цепи, чтоб ты не убежал;

а ты садись верхом и поезжай в эту Географию, покажи им шестую часть света и привези мне оттуда фруктов — я хочу узнать, какие фрукты растут в Географии.

Неудержимый смех всех присутствующих сопровождал этот рассказ — и если он оказался вовсе не смешон под пером моим, — значит, я не могу так забавно рассказывать, как Тургенев.

В числе слушателей этого отрывка был на этот раз и граф Лев Николаевич Толстой — он также смеялся.

Что случилось далее с героем рассказа — Самознайкой, я не знаю. Приезд желанных гостей сделал то, что Тургеневу некогда было продолжать рассказ свой, а когда стал он продолжать его, меня уже не было: я был в Петербурге.

Правда, дети мои, вернувшись из Спасского, старались передать мне конец этой сказки, но мне показалось, что все то, что они припомнили, не стоит записывать: выходила какая-то путаная и очень сложная история.

Замечу только, что отношения Тургенева к детям были самые нежно-заботливые, отеческие. Не раз он экзаменовал их и не раз приводил им в пример бедных крестьянских мальчиков, если замечал в них какой-нибудь каприз, недовольство или нетерпение. Самые сказки о «Живой капле» и «Самознайке» в устах его имели педагогическую цель; он рассказывал их не просто ради приятного препровождения времени, и, смею думать, сказки эти оставляли кое-какие следы в уме детей; по крайней мере, старший сын мой далеко уже не так часто говорил, что он *знает то или это,* — до того прозвище Самознайки показалось ему обидным.

Что касается до того, были ли эти рассказы вполне оригинальными или Тургенев их откуда-нибудь заимствовал — не знаю. Велика была начитанность Тургенева, велика была его память, и не мне решать этот вопрос.

Дети вообще любили Тургенева и обращались с ним иногда без всякой церемонии, готовы были теребить его и за нос, и за бороду, и всегда он им что-нибудь рассказывал.

Так однажды лежал он на диване <...>, уже обитом новой материей и помещенном против выходной двери на террасу, под портретом Николая Сергеевича Тургенева, — на диване, который назвал он самосоном. Тургенев любил на нем дремать, уверяя, что диван этот клонит его ко сну всякий раз, когда он на него приляжет, а потому он и есть самосон.

Итак, однажды дети не давали ему дремать, а он рассказывал им, какой чудесный он видел сон.

— Какой же сон? рассказывайте, какой сон?

— А будто бы я лежу на большущей перине, а вы и много, много детей держат эту перину за края и тихонько ее приподнимают и покачивают. И так мне приятно, я лежу точно на облаке и покачиваюсь, и будто бы все вы должны меня слушаться, а кто не слушается, тому я тотчас же отрубаю голову...

— Неправда, неправда!.. Это вы должны нас слушаться! Ишь вы какой!

И подобные восклицания, сопровождаемые смехом, заметно радуют добрейшего из людей — Ивана Сергеевича...

* * *

На другой день после моего возвращения в Спасское, а именно 8-го июля, в среду, Тургенев получил телеграмму от Л. Н. Толстого с уведомлением, что во Мценск он прибудет в 10 часов вечера, в четверг.

Тургенев распорядился о высылке во Мценск лошадей на следующий же день, или в четверг, как значилось в телеграмме.

В этот же день после чая мы скоро разошлись по своим комнатам. Я сел к столу, придвинул свечу и, записывая свои дорожные впечатления, незаметно просидел до 1-го часа пополуночи. Вдруг слышу, на дворе кто-то свистнул, и затем чьи-то шаги и лай собаки. Я поглядел в окно и в безлунном мраке, с черными признаками чего-то похожего на кусты, ничего разглядеть не мог.

Я опять сел писать и опять слышу, кто-то мимо дома прошел по саду. Прислушиваюсь — топот лошади. Удивляюсь и недоумеваю. Затем в доме послышался чей-то неясный голос. Я подумал — это бредит кто-нибудь из детей моих. Иду в детскую — опять слышу голос, по уж явственный, и узнаю голос Ивана Сергеевича. «Что за черт! уж не воры ли забрались к нему!» Иду в потемках через весь дом и отворяю двери в ту комнату, откуда идет дверь на террасу, а направо дверь в кабинет Ивана Сергеевича. Вижу — горит свеча и какой-то мужик, в блузе, подпоясанный ремнем, седой и смуглый, рассчитывается с другим мужиком. Всматриваюсь и не узнаю. Мужик поднимает голову, глядит на меня вопросительно и первый

подает голос: «Это вы, Полонский?» Тут только я признал в нем графа Л. Н. Толстого.

Мы горячо обнялись и поцеловались.

Оказалось, что граф спутал дни — принял среду за четверг и послал такую телеграмму, которая вовсе не обязывала Ивана Сергеевича посылать за ним экипаж вместо четверга в среду. Граф, по железной дороге приехав во Мценск, разумеется, не нашел тургеневских лошадей и нанял ямщика свезти его в Спасское. Ямщик долго ночью плутал и только к часу ночи кое-как добрался до Спасского.

Тургенев тоже еще не ложился спать и писал. Удивление и радость его — видеть графа у себя — была самая искренняя.

В столовой появился самовар и закуска... Беседа наша продолжалась до 3-х часов пополуночи.

С лишком двадцать лет прошло с тех пор, как в Баден-Бадене я виделся с графом, и нисколько не удивительно, что сразу не мог узнать его. Лета не только наружно, но и нравственно значительно изменили графа. Я никогда, в молодые годы, не видал его таким мягким, внимательным и добрым и, что всего непостижимее, таким уступчивым. Все время, пока он был в Спасском, я не слыхал ни разу, чтоб он спорил. Если он с кем-нибудь и не соглашался — он молчал, как бы из снисхождения. Так *опроститься,* как граф, можно не иначе, как много переживши, много передумавши, Я видел его как бы перерожденным, проникнутым иною верою, иною любовью.

На другой день его приезда очень смешной анекдот случился с Иваном Сергеевичем. За час до обеда ему доложили, что повар пьян и что обеда готовить некому. Сначала это его озадачило... Нельзя же было гостя оставить без обеда! И вот Иван Сергеевич сам вызывается идти и стряпать. Потирая руки, говорит он, как он будет резать морковку и рубить котлеты. Вот уж он отправляется в кухню; но Захар, одноглазый, как Аргус, и таинственно молчаливый, но не глухой... тотчас же останавливает порыв своего бывшего барина и делает ему строгий выговор. «Это не ваше дело, говорит, уходите... обед мы и без вас состряпаем...» И Тургенев тотчас же послушно возвращается в наше общество.

Так кулинарный талант почтенного Ивана Сергеевича и остался для потомства покрытым мраком неизвестности...

Я не вправе передавать здесь наших бесед с графом Л. Н., но смею уверить, что в них ничего не было такого, что принято в обществе называть нецензурными разговорами. Мы только узнали подробности, как граф Л. Н. Толстой ходил пешком на богомолье в Оптину пустынь, в простом крестьянском платье и в такой же обуви. То, что говорил он о пустыни, я тоже не имею права передавать. Скажу только, что рассказ его был интересен и любопытен в высшей степени; в особенности любопытен психический анализ, или характеристичный очерк двух оптинских пустынников, или схимников.

Граф был и у раскольников. *Воздыханцы,* которых гонят, обнаружили к графу такое недоверие, что и говорить с ним не стали. Видел граф и одну раскольничью богородицу, и в ее работнице нашел, к немалому своему изумлению, очень подвижную, грациозную и поэтическую девушку, бледно-худощавую, с маленькими белыми руками, тонкими пальцами.

На преследование раскола граф, если не ошибаюсь, смотрит, как на дело, противное духу народному... В расколе он видит исканье ближайших путей к тому христианству, которое утратилось, а на заблуждающихся смотрит отеческими глазами, как, по его мнению, должно смотреть и наше правительство. Что касается до положения нашего крестьянства, граф полагает, что крепостное право было школой, которая приучила его к терпению. Но что, если все пойдет по-старому, через 25 лет 9/10 народа не будет знать, чем кормить своих детей.

Граф никому из нас не навязывал своего образа мыслей и спокойно выслушивал возражения Ивана Сергеевича. Одним словом, это был уже не тот граф, каким я когда-то в молодости знавал его.

В Спасском он пробыл не более двух суток и уехал, торопясь в свои самарские имения к тому времени, как начнется жатва.

* * *

Только что уехал граф Толстой, в Спасское приехала М. Г. Савина. Иван Сергеевич давно уже перестал ожидать ее, даже бился со мной об заклад, что она не приедет.

Пусть многоуважаемая артистка когда-нибудь сама опишет свое пребывание в гостях у Ивана Сергеевича. Я только кое-что здесь напомню ей.

Погода с ее приездом изменилась к лучшему, но 16-го

июля, когда мы обедали на террасе, налетела буря с дождем и громом, мгновенно брызгами окатила весь стол, и, когда мы поспешили в комнаты, стекла из дверей посыпались осколками. С трудом обед наш был перенесен в столовую. На другой день, 17-го июля, я праздновал день нашей свадьбы. За обедом Иван Сергеевич говорил спич, разливал шампанское, со всеми чокался и всех целовал.

Марья Гавриловна как-то раз сказала нам, что никакому любовному письму она никогда не верила и не поверит, что в таких письмах она видит только фразы, фразы и фразы.

И вот что на это сказал ей Тургенев:

— Однажды к матери моей приехала одна барыня, которая потеряла сына, и так глупо, так неестественно рассказывала о своем горе, так фразисто, что меня коробило. Она показалась мне ломающейся притворщицей, которая вовсе ничего не чувствует и приехала только для того, чтоб возбудить наше к ней сожаление. Я и мать моя внутренне ее осуждали и над ней смеялись.

И что же?

Эта барыня так сильно чувствовала свое горе, что через неделю сошла с ума, бросилась в пруд и утопилась.

Итак, нельзя знать, каким фразам верить, каким не верить. Иногда и правда облекается в подозрительно неестественные фразы.

Для Марьи Гавриловны Иван Сергеевич на пруде Захара, где была купальня, велел устроить деревянную площадку, или просто небольшое возвышение, так как место около купальни было слишком мелко и так как Савина купалась не иначе, как в костюме, и любила бросаться в глубину, плавая как наяда.

17-го июля Иван Сергеевич, ради своей милой гостьи, к вечеру, велел позвать деревенских баб и девок и задал им точно такой же праздник, с вином и подарками, какой был дан им по случаю его приезда. Баб и девок собралось около 70 душ, и опять начались песни и пляски.

Казалось, артистка наша, глядя на них, училась. Невольно иногда повторяла их напевы и движенья и под конец так развеселилась, что чуть не плясала.

— Ишь расходилась цыганская кровь! — сказал мне про нее Тургенев.

Но он и сам был так весел, что готов был отплясывать; он, который, конечно, во всякое другое время не вынес бы моей плохой игры на пианино, тут сам заставил меня

играть танцы. Увы! плясовые песни еще кое-как удавались мне, полька тоже кое-как сошла с рук, но мазурка не давалась.

— Играй! — кричал мне Тургенев, — как хочешь, как знаешь, валяй! Мазурку валяй! Лишь была бы какая-нибудь музыка... Ну, раз, два, три... ударение на раз... ну, ну!..

И вечер до чая прошел в том, что все присутствующие, а в том числе и сам хозяин, плясали и танцевали кто во что горазд.

Не помню, в другое время или в этот же день, поздно вечером, Иван Сергеевич у себя в кабинете в первый раз прочитал нам и Савиной рассказ свой «Песнь торжествующей любви». На дам рассказ этот произвел сильное впечатление. Я был от него в восторге, но, признаюсь, никак не ожидал, что эта «Песнь» будет иметь успех в нашей публике. Так и сказал Тургеневу. Очень рад, что мое пророчество не сбылось: значит, художественное чутье публики стало гораздо откровеннее.

На другой день, 18-го июля, Марья Гавриловна, вместе с своей горничной, села в коляску и навсегда покинула Спасское [11].

Были дни, когда мы все так друг друга смешили и так хохотали, что Тургенев раз, шутя, сказал: мы точно оба сумасшедшие, и дом мой — дом сумасшедших.

Но все же мы не постоянно были вместе: меня занимали мои пейзажи [12], его — письма и вообще кабинетные занятия. По вечерам иногда мы играли в шахматы. Тургенев был искусный шахматист, теоретически и практически изучил эту игру и хоть давно уже не играл, но мог уступить мне королеву и все-таки выигрывал.

Письмо из Парижа несколько его потревожило (признаться, потревожило и нас). M-me Виардо писала ему, что ее в нос укусила муха, что нос ее распух и что она ходит перевязавши платком лицо. В письме она прислала и рисунок пером, изображающий профиль с перевязанным носом.

— Если это ядовитая муха и заразила кровь, то это опасно... Я должен ехать во Францию, — проговорил Тургенев.

— Все бросить: и твое Спасское, и нас, и твои занятия и ехать?!

— Все бросить... и ехать!

Началось перебрасывание телеграмм из Спасского в Буживаль, из Буживаля в Спасское.

Слава богу, ехать оказалось ненужным: опухоль носа стала проходить, и не предвиделось никакой опасности.

Но что значила эта тревога перед той, которая еще ожидала нас. Тургенев прочел в газетах, что в Брянске холера, и — прощай веселость, остроты, смех, и проч. и проч.! Бледный, позеленелый пришел ко мне Тургенев и говорит:

— Ну, теперь я не живу, теперь я только двигающаяся, несчастная машина.

Оказалось, что слово «холера» на Тургенева производит нечто вроде паники, поглощает все его мысли, делает его почти помешанным.

Но, несколько успокоенный тем, что это, во-первых, еще очень от нас далеко, а во-вторых, может быть, еще и ложное известие, Тургенев поехал в свои ефремовские владения, был у своего арендатора и к 22-му июля вернулся ночью с расстроенным желудком.

На другой день он был еще туда-сюда, читал мне придуманную им на дороге сатиру. За обедом ничего не ел, и затем, к вечеру, опять напал на него страх. Он не спал всю ночь и ни о чем, кроме холеры, не думал.

— Странный ты человек, Иван, — говорил я ему, — ведь холера, если она и есть, в трехстах верстах от нас.

— Это все равно... — отвечал он как бы расслабленным голосом, — хотя бы в Индии... Запала в меня эта мысль, попало это слово на язык, и — кончено! Первое, что я начинаю чувствовать, это судороги в икрах, точно там кто-нибудь на клавишах играет. Как я могу это остановить — не могу, а это разливает по всему телу тоску и томление невыразимое. Начинает сосать под ложечкой, я ночи не сплю, со мной делаются обмирания... и затем расстраивается желудок. Мысль, что меня вот-вот захватит холера, ни на минуту не перестает меня сверлить, и что бы я ни думал, о чем бы ни говорил, как бы ни казался спокоен, в мозгу постоянно вертится: холера, холера, холера... Я, как сумасшедший, даже олицетворяю ее; она мне представляется в виде какой-то гнилой, желто-зеленой, вонючей старухи. Когда в Париже была холера, я чувствовал ее запах: она пахнет какой-то сыростью, грибами и старым, давно покинутым дурным местом. И я боюсь, боюсь, боюсь... И не странное ли дело, я боюсь не смерти, а именно холеры... Я не боюсь никакой другой болезни, никакой другой эпидемии: ни оспы, ни тифа, ни даже чумы... Одо-

леть же этот холерный страх — вне моей воли. Тут я бессилен. Это так же странно, как странно то, что известный герой кавказский Слепцов боялся паука; если в комнате его появлялся паук, с ним делалось дурно. Другие боятся мышей, иные — лягушек. Белинский не мог видеть не только змеи, но ничего извивающегося.

— Да, — возразил я, — но как скоро у них не было на глазах ни паука, ни змеи, ни лягушки — они были спокойны.

— Это нельзя сравнить: против того, другого и третьего — в нашей власти взять предосторожности, можно сделать так, что паук в комнате будет невозможен. Против всего можно принять меры, а какие меры могу принять я против возможности заболеть холерой? — никаких. Ты говоришь, что это малодушие. Справедливо; но что же делать?

* * *

Новая телеграмма, что в Брянске холера увеличилась и что недостает врачей, окончательно повергла Тургенева в панику. Он уже ни о чем не мог говорить, кроме холеры и тех ощущений в теле, которые он преувеличивал и принимал за признаки начинающейся болезни.

Я посоветовал ему съездить в Москву и рассеяться.

— Это нисколько не поможет, — сказал он.

Самый вид его сделался какой-то растерянный — он как бы обрюзг и осунулся.

Иногда только, оживленный нашим присутствием, он как бы и сам оживлялся и начинал рассказывать, но все-таки рассказывать такие анекдоты, суть которых все-таки была — холера.

Так, например, рассказывал он, что одному холерному слуга его стал растирать ноги. Больной взглянул на ноги, увидел, что они почернели, и так испугался, что мгновенно умер; а ноги-то у него почернели от того, что слуга стал их растирать сапожной ваксяной щеткой <...>

Только спустя неделю, когда даже и в Брянске не оказалось уже ни одного холерного, Иван Сергеевич успокоился, мог опять спорить, говорить и читать.

В спорах своих со мной Иван Сергеевич постоянно обнаруживал крайне безотрадное, пессимистическое миросозерцание. Никак не мог он помириться с тем равнодушием, какое оказывает природа — им так горячо любимая природа — к человеческому горю или к счастию, иначе

сказать, ни в чем человеческом не принимает участия. Человек выше природы, потому что создал веру, искусство, науку, но из природы выйти не может — он ее продукт, ее окончательный вывод. Он хватается за все, чтоб только спастись от этого безучастного холода, от этого равнодушия природы и от сознания своего ничтожества перед ее всесозидающим и всепожирающим могуществом. Что бы мы ни делали, все наши мысли, чувства, дела, даже подвиги будут забыты. Какая же цель этой человеческой жизни?

Впрочем, от таких тяжелых мыслей был недалек переход и к веселым картинкам нашей земной жизни, к том картинкам, которые подносят нам римские писатели и французские классики прошлого столетия. Тургенев забыл по-гречески, но латинские книги читал еще легко и свободно.

Ему очень нравилось выражение Бэкона: ars est homo additus naturae — искусство есть человек, добавленный к природе, и выражение Паскаля: люди не могли дать силы праву и дали силе право.

Иногда он вслух читал или заставлял меня читать монологи из Корнеля, Мольера и других. Иногда сравнивал наши русские переводы с подлинниками, и проч. и проч.

Старый французский поэт 18-го столетия, отысканный им в своей библиотеке, Жан-Батист Руссо иногда несказанно забавлял его своими коротенькими рассказами в стихах о католических священниках и исповедниках. Дурная погода поневоле заставляла Ивана Сергеевича Тургенева зарываться в книгах. Кроме книг, газеты ежедневно приходили к нам; но нельзя сказать, чтобы мы охотно читали их... Однажды (если не ошибаюсь, 2-го августа) Тургенев прочел в «Новом времени» известие, что он пишет детские повести [13], а я у него гощу в деревне.

— А что, — сказал я шутя, — если напечатают, что я дою гвоздь, а ты добиваешься меда из ржавой подковы?

— Нет, — возразил он со смехом, — ты доишь гвоздь, а я держу шайку.

Дожди в такое время, когда созрела рожь и пора была жать ее, не раз заставляли Тургенева сокрушаться. «И есть хлеб — и нет хлеба! — восклицал он. — Каждый такой день в России приносит ей миллионные убытки!»

Или, чувствуя, как его пробирает холод, Тургенев говорил как бы в отчаянии: «Ну, разве можно жить в таком климате? Нет уже и в помине тех тропических орловских жаров, которые я помню».

Увы! точно такое же лето, в 1882 году, больной, про-

вел он в своем Буживале во Франции. Там такие же были постоянные дожди и такие же холода, тогда как у него, в Спасском, лето было ясное и постоянно жаркое.

Раз на Ивана Сергеевича утром напала какая-то странная тоска.

— Вот такая же точно тоска, — сказал он, — напала на меня однажды в Париже — не знал я, что мне делать, куда мне деваться. Сижу я у себя дома да гляжу на сторы, а сторы были раскрашены, разные были на них фигуры, узорные, очень пестрые. Вдруг пришла мне в голову мысль. Снял я стору, оторвал раскрашенную материю и сделал себе из нее длинный — аршина в полтора — колпак. Горничные помогли мне, — подложили каркас, подкладку, и, когда колпак был готов, я надел его себе на голову, стал носом в угол и стою... Веришь ли, тоска стала проходить, мало-помалу водворился какой-то покой, наконец мне стало весело.

— А сколько тогда было лет тебе?

— Да этак около двадцати девяти. Но я это и теперь иногда делаю. Колпак этот я берегу — он у меня цел. Мне даже очень жаль, что я его сюда с собой не взял.

— А если бы кто-нибудь тебя увидел в этом дурацком положении?

— И видели; но я на это не обращал внимания, скажу даже — мне было это приятно.

В тот же день, как происходил этот разговор, за обедом Тургенев сказал мне:

— Вообрази следующий рассказ. И как бы Свифт им воспользовался? О, Свифт! это великий человек, я высоко ценю его! Вообрази себе следующее:

«На нашу планету вдруг, бог знает откуда, попала какая-то странная книга: ни материи, из какой она сделана, ни букв, ничего понять нельзя. Наконец наши ученые с большим трудом нашли способ разобрать ее и узнали, что книга эта занесена и попала к нам с другой какой-то планеты, и — разобрали в ней следующее:

Общество на той, нам неведомой планете стало почему-то хандрить, словом, на него нашло какое-то тяжелое, мучительное настроение, и вот один из тамошних профессоров, чтоб рассеять его или утешить, стал с ним беседовать.

— Представьте себе, — говорил он, — что есть планета, для жителей которой никогда не появляется из облаков рука божества, никогда их не благословляет и никогда не ограждает их.

— Не можем себе этого и представить, — говорят ему

обитатели той *планеты*. — Зачем вы нам это говорите? Это невозможно, так как без этого и жить нельзя.

— Я сам думаю, что жить нельзя; но представьте себе следующее: есть планета, где люди умирают не так, как у нас, ровно через сто лет, в глубокой старости, а умирают во все возрасты, начиная с детства.

— Какой вздор! Может ли это быть! Этого даже мы и представить себе не можем. Это был бы вечный страх и опасение за жизнь свою и за жизнь нам близких. Это неестественно, а, стало быть, такой планеты и быть не может.

— Или представьте себе, что есть планета, на которой является вождь, покоряет народы, и все пред ним преклоняются, и в руках его власть, от которой зависит не только судьба, но и жизнь каждого...

— Ну, уж это сказки!.. Как вам не грех говорить нам, точно детям, такие несообразности.

— О! я сам знаю, что это невозможно, что это несообразно; но неужели же нет у вас воображения и вы себе не можете этого представить?

— Даже и представить себе этого не можем.

— Ну, положим, однако же, хоть следующее: неужели невозможна такая планета, где почва вовсе не составляет питательной пищи, где люди иногда с великим трудом должны добывать себе кусок хлеба.

— Ах, какой вы говорите вздор! Как вам не стыдно... Ну, может ли это быть, чтоб сама почва не питала жителей или не годилась бы в пищу! Чем бы они питались? Это было бы великое горе и несчастие; но, к счастью, это неестественно, это вне законов природы!.. А потому молчите или убирайтесь, мы вовсе не желаем слушать вас.

— О! я знаю, что все, что я говорил вам, и невозможно и неестественно, но я только просил вас представить себе эту невозможность как нечто возможное или как нечто естественное, для того только, чтобы вы не хандрили и были довольны тем, что дает нам наша *жизнь*, — жизнь, конечно, еще далекая от того, чтоб быть совершенной. Я думал, что, представляя себе нечто ужасное, вы легче помиритесь с своей судьбой.

— *Ах*, — отвечало все общество этому *профессору*, — не нужно нам ваших выдумок, говорите серьезнее...»

Такова была фантазия Ивана Сергеевича. Фантазия эта, признаюсь, тяжелое произвела впечатление. Удивляюсь, почему И. С. ее не обработал и не поместил в число своих стихотворений в прозе [14].

Я еще в Спасском читал их, когда он переписывал их в тетрадь с черным переплетом и, по словам его, не предназначал для печати. Но мало ли что приходило в голову Ивану Сергеевичу, не все же ему было записывать и затем печатать.

Как подумаешь, какие требования от жизни ставил Тургенев, — и невольно поймешь, почему иногда находила на него тоска, и отчего такая неэстетическая болезнь, как холера, до глубины души возмущала его и приводила в ужас <...>

* * *

Чем хуже была погода, тем долее засиживались мы по вечерам и тем позднее вставали. Однажды ночью, когда я уже собрался лечь спать, а жена моя писала письмо, к нам в дверь постучался Иван Сергеевич.

С выражением не то испуга, не то удивленья, вошел он к нам в своей коричневой куртке и говорит: «Что за чудо! стучится ко мне в окно какая-то птичка, так и бьется в стекло. Что делать?»

Жена моя пошла с ним в его кабинет и минут через пять приносит в руках своих маленькую птичку, гораздо меньше воробья, с черными очень умными глазками. Птичка эта тотчас же влетела в комнату, как только открыли окошко; сначала не давалась в руки, но потом, когда ее поймали, очень скоро успокоилась, только поворачивала головку и поглядывала то на Тургенева, то на жену мою. Какая это птичка — Тургенев не мог сказать; он знал только, что птички эти появляются в Спасском перед осенью. Он уже видел их несколько в цветниках на тычинках перед террасой, и, как он заметил, это пророчило раннюю осень.

Птичку посадили в корзинку, и она уселась в ней точно в собственном своем гнездышке, не обнаруживая ни беспокойства, ни недоверия. Корзинку с птичкой отнесли в пустую *Савину* комнату (так стали мы называть ту комнату, где ночевала М. Г. Савина) и поставили на окно. На другой день, утром, когда проснулись дети, корзинка эта была вынесена на террасу, и гостья-птичка выпущена на свободу. Помню, как она взвилась, полетела по направлению к церкви и потонула в сером утреннем воздухе.

— Вот полетела на волю, — сказал Тургенев, — а какой-нибудь копчик или ястребок скогтит ее и съест.

В этом посещении птички Иван Сергеевич готов был видеть нечто таинственное.

— Впрочем, — сказал он, — все так называемое таинственное никогда не относится в жизни человеческой к чему-нибудь важному и всегда сопровождается пустяками.

* * *

Чем ближе подходило время к августу, тем все более и более какая-то меланхолическая грустная струнка звучала в душе и словах Ивана Сергеевича. Почему-то он был убежден, что умрет 2-го октября того же года (не потому ли, что 1881 год по сумме цифр совпадал с 1818 годом, когда он родился).

— Ни за что бы я не желал быть похороненным, — говорил он, — на нашем спасском кладбище, в родовом нашем склепе. Раз я там был и никогда не забуду того страшного впечатления, которое оттуда вынес, — сырость, гниль, паутина, мокрицы, спертый могильный воздух... Брр!..

Да если бы Иван Сергеевич и желал быть похороненным в этом склепе, едва ли бы это было возможно: склеп помещался под полом каменной часовни; часовня эта с фронтонами, колонками и круглым куполом, издали похожая на павильон, уже полуразрушена: железные двери ее заржавели, карнизы обвалились, штукатурка местами обнажила кирпич, крест на куполе нагнулся, точно хочет убежать.

Мне хотелось проникнуть в эту усыпальницу, но Иван Сергеевич меня туда не пустил.

— Там, того гляди, на тебя что-нибудь обрушится... Не ходи!

С этой часовни я сделал мой первый этюд в Спасском — я писал с натуры издали, с верхнего балкона, в очень дурную, пасмурную погоду и неудачно — первый блин вышел комом. Но рисунок часовни этой (так же как и дома), сделанный с фотографии, можно видеть и в журнале «Нива», в № 42, 1883 года.

Около часовни растут деревья, кое-где еще торчат памятники, в виде каменных покачнувшихся столбиков, и виднеются плиты, заросшие травой и бурьяном. Это старое господское кладбище, на котором уже никого более не хоронят.

На одном из памятников этого покинутого кладбища Иван Сергеевич припомнил следующую эпитафию:

Бог ангелов считал —
Одного недоставало,
И смертная стрела
На Лизоньку упала.

— Эта эпитафия, — сказал мне Иван Сергеевич (когда мы с ним гуляли), — эта эпитафия была начертана на одном из камней, под которым была погребена девочка, дочь жившего или гостившего у нас когда-то архитектора (может быть, тогда, когда еще строили или отделывали наш старый сгоревший дом).

Когда я был еще мальчиком, я часто забегал и на кладбище. Раз, помню, через нашу деревню проходил какой-то полк; это было еще в царствование Николая; дорога шла около самого кладбища; я был там и смотрел на проходивших солдат. Был июль — день был знойный. Вижу, к памятнику подходит какой-то старый, старый капитан, кивер в виде ведерка, в чехле, штаны в сапогах, на голенищах следы засохшей грязи, седые усы, и пыль, — пыль по самые брови. Усталый, сгорбленный, увидел он надпись на камне и стал медленно читать:

Бог ангелов считал... —

прочел, плюнул, выругался самой что ни на есть площадной руганью и пошел дальше. Помню, как это меня озадачило... Но разве в этой ругани не сказалась вся жизнь его — бедная, скучная, тяжелая, бессмысленная и безотрадная... И то сказать — если мужику, которого только что высекли в волостном правлении или который только что вернулся верст за двадцать в свою семью, брюзгливую и злую от того, что есть нечего, начать читать стихотворение Пушкина или Тютчева, — если бы он даже и понял их, непременно бы плюнул и выругался... До стихов ли, в особенности нелепых, человеку, забитому нуждой и всякими житейскими невзгодами <...>

* * *

Тургенев стал перечитывать романы Л. Н. Толстого и от многих страниц приходил в восторг.

Двадцать девятого июля вечером вдруг послышался звон почтового колокольчика, затем топот лошадей, стук щебня и — кто-то подъехал к террасе.

Тургенев никого не ждал и очень обрадовался, когда пошла в гостиную одна ему знакомая девушка, Л—ая. Проездом в деревню к брату она заехала на один день в Спасское, чтоб повидаться с Иваном Сергеевичем, с которым была в переписке и которого очень любила.

Тургенев всегда более или менее оживал в дамском

обществе, особливо если встречал в нем ум, красоту и образованность.

Л — ая была очень мила и образованна.

В кабинет, где мы все разместились, Захар принес чай. Завязалась беседа. Говорили о музыке. Тургенев полагал, что музыка в России пока то же, что литература до Пушкина, то есть не стала еще нашей потребностью, нашим, так сказать, насущным хлебом, и проч. и проч. Говорил, что из прежних русских композиторов он высоко ставит Глинку, а из новейших всем другим предпочитает Чайковского; был уверен, что в России не найдется и 20 человек, которые бы свободно могли читать ноты (что, конечно, несправедливо).

Потом говорили о графе Л. Н. Толстом.

На другой день утром Тургенев вынес к нам роман «Война и мир» и мастерски прочел нам вслух из первой части (глава XIII), как мимо Багратиона шли в сражение с французами два батальона 6-го егерского полка:

«Они еще не поравнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый, грузный шаг, отбиваемый в ногу массой людей»...

Тургенев дочел всю эту главу до конца с видимым увлечением и, когда кончил, сказал, поднимая голову: «Выше этого описания я ничего не знаю ни в одной из европейских литератур. Вот это — описание! Вот как должно описывать!..»

Все невольно согласились с Иваном Сергеевичем, и Тургенев — точно какой клад нашел — все еще радостно доказывал нам, до какой степени хорошо это описание.

Тридцать первого июля утром Л — ая уехала, снабженная пледом, склянкой с марсалой и жареными цыплятами. В это время серые, лохматые тучи бродили по небу, угрожая дождем и бурей. Проселки были плохи, мосты едва держались, овраги и колеи были размыты.

— А что, если, — за обедом сказал Иван Сергеевич, — если мы получим от Л—ой такую телеграмму: «Опрокинули — одна нога отшиблена, а ребро переломлено, еле жива, а впрочем, благополучно доехала»...

— Ну, — сказал я, — в таком случае ты непременно должен будешь поехать навестить ее, и вдруг с тобой на дороге случится то же самое: тебя опрокинут, ты переломишь руку, расшибешь нос, еле живой приедешь к ней, останешься там, пока не выздоровеешь, за тобой будут ухаживать ты влюбишься и посватаешься.

— И пошлю телеграмму: «Я женюсь, пришлите револьвер»... А знаешь ли, — продолжал он, — какая самая неправдоподобная телеграмма могла бы быть послана от каждого из нас двоих?

— Какая?

— «Сегодня вступаю в должность министра народного просвещения».

— Да, это было бы неправдоподобно, — засмеялся я.

Следующие дни Тургенев перечитывал роман гр. Толстого «Анна Каренина».

* * *

Но, удивляясь графу Л. Н. Толстому и высоко ценя его как бытового писателя и как великий талант, Тургенев все-таки иногда смотрел на него с своей нравственно-эстетической точки зрения, иначе сказать, мерою своего понимания людей мерил его понимание и оставался не всегда доволен.

Так, например, перечитывая роман «Анна Каренина», Тургенев никак не мог понять, отчего граф Толстой так очевидно пристрастен к Левину, тогда как этот Левин для него, Тургенева, антипатичен донельзя. И, разумеется, Тургенев был в этом случае недоволен вовсе не недостатком творчества в авторе, а тем, что, по его мнению, этот первенствующий герой романа, Левин, хуже Вронского, хуже Облонского, — эгоист и себялюбец в высшей степени. За что же автор за ним так ухаживает?

— Неужели же, — говорил мне Тургенев, — ты хоть одну минуту мог подумать, что Левин влюблен или любит Кити или что Левин вообще может любить кого-нибудь? Нет, любовь есть одна из тех страстей, которая надламывает наше «я», заставляет как бы забыть о себе и о своих интересах. Левин же, узнавши, что он любим и счастлив, не перестает носиться с своим собственным «я», ухаживает за собой. Ему кажется, что даже извозчики и те как-то особенно, с особенным уважением и охотой, предлагают ему свои услуги. Он злится, когда его поздравляют люди, близкие к Кити. Он ни на минуту не перестает быть эгоистом и носится с собой до того, что воображает себя чем-то особенным. Психологически все это очень верно (хотя я не люблю психологических подробностей и тонкостей в рома-

не), но все эти подробности доказывают, что Левин эгоист до мозга костей, и понятно, почему на женщин он смотрит, как на существ, созданных только для хозяйственных и семейных забот и дрязг. Говорят, что сам автор похож на этого Левина — это едва ли! Все может быть — это только одна из сторон его характера, всецело перешедшая в характер Левина и в нем художественно обработанная. Но я все-таки не понимаю, чему тут сочувствовать?!

— Не одна любовь, — продолжал Тургенев, — всякая сильная страсть, религиозная, политическая, общественная, даже страсть к науке, надламывает наш эгоизм. Фанатики идеи, часто нелепой и безрассудной, тоже не жалеют головы своей. Такова и любовь...

Долго еще на эту тему говорил Тургенев, но всего я не помню, а потому не довожу до конца моей беседы.

Будь все время сухая, теплая погода, может быть, нам и не пришлось бы так часто сходиться с Иваном Сергеевичем и так часто беседовать: хорошая погода, может быть, и потянула бы нас в разные стороны.

Но 1-го августа, например, было так сыро и холодно, что Тургенев пришел ко мне и говорит: «Ну, брат, я с сегодняшнего дня буду природу называть хавроньей, и везде, вместо слова природа, ставить слово: «хавронья». Попадется книга под заглавием: «Бог и природа» — буду читать: «Бог и хавронья».

— Лучше уже попросту назови ее свиньей, и вместо слов: «На лоне природы, пиши — на лоне свиньи...»

— Да... надо только эту свинью в руки взять, — задумавшись, произнес Тургенев.

— Да как же ты ее в руки возьмешь?

— Да так, как взяли ее французы: заставили ее расти, цвести и плоды приносить... В этом-то и задача культуры — уметь победить природу и заставить ее служить себе... Из хавроньи сделать кормилицу, так сказать, приурочить ее к человеку и его потребностям.

Кажется мне, что на это я сказал ему: «Ну, брат, наша русская природа не из таких, чтоб можно было так же легко, как французам, запрячь ее и поехать. Нам нужно в двадцать раз больше ума и силы воли, чтоб заставить ее так же расти, цвести и плоды приносить, иначе сказать, вполне вознаграждать того, кто над нею работает».

— То-то и есть! Весь вопрос в том, будет ли Васька Буслаев на это способен?

— Васька Буслаев?

— Да... Читал ли ты былину о Ваське Буслаеве? Васька этот — тип русского народа... Я высоко ставлю эту поэму... Тот, кому она пришла в голову — живи он в наше время, был бы величайшим из русских поэтов.

И Тургенев стал анализировать характер и подвиги Васьки Буслаева, этого в своем роде нигилиста, которому все нипочем...

Нашим крайним славянофилам едва ли бы понравился этот анализ Тургенева.

* * *

Второго августа природа как будто испугалась, что Тургенев станет называть ее хавроньей, — появилось немножко солнца, немножко голубого неба и немножко летнего тепла.

Но Тургенев по-прежнему хандрил. Перед обедом прилег на диван перед овальным столом из карельской березы, сложил руки и, после долгого, долгого молчания, сказал мне:

— Можешь ли ты пятью буквами определить характер мой?

Я сказал, что не могу.

— Попробуй, определи всего меня пятью буквами.

Но я решительно не знал, что ему ответить.

— Скажи — «трус», и это будет справедливо.

Я стал не соглашаться, так как в жизни его, несомненно, были дни и минуты, которые доказывали противное. Но Тургенев стоял на том, что он трус и что у него ни на копейку воли нет.

— Да и какой ждать от меня силы воли, когда до сих пор даже череп мой срастись не мог. Не мешало бы мне завещать его в музей Академии... Чего тут ждать, когда на самом темени провал. Приложи ладонь — и ты сам увидишь. Ох, плохо, плохо!

— Что плохо?

— Жить плохо, пора умирать!

Эту последнюю фразу Тургенев часто повторял себе под нос в последние дни своего пребывания в Спасском <...>

В немногие хорошие дни, когда ветер подувал с востока, теплый и мягкий, а пестрые тупые крылья низко перелетав-

ших сорок мелькали на солнце, Тургенев просыпался рано и уходил к пруду посидеть на своей любимой скамеечке. Раз проснулся он до зари и, как поэт, передавал мне свои впечатления того, что он видел и слышал: какие птицы проснулись раньше, до восхода солнца, какие голоса подавали, как перекликались и как постепенно все эти птичьи напевы сливались в один хор, ни с чем не сравнимый, не передаваемый никакою человеческой музыкой... Если бы было возможно повторить слово в слово то, что говорил Тургенев, вы бы прочли одно из самых поэтических описаний — так глубоко он чувствовал природу и так был рад, что в кои-то веки, на ранней заре в чудесную погоду был свидетелем ее пробуждения...

Иногда после обеда все мы ездили кататься и заезжали в лес: собирали грибы и рвали еще неспелые орехи. Тургенев не отставал от детей.

Эти прогулки, несомненно, благотворно влияли на его одинокую, часто унылую душу — он и за границей не позабывал о них. Вот что зимой 1882 года, собираясь в феврале приехать в Россию, писал он в маленьком письме к моей маленькой дочери:

«Летом мы будем опять в Спасском и будем опять ходить в лес и кричать: «Что я вижу! Какой прелестный подберезник!»

Затем, летом 1882 года, к ней же писал он в Спасское:

«Как был бы я рад ходить с тобой, как в прошлом году, по роще и отыскивать *прелестные* подберезники!.. С большим удовольствием рассказал бы тебе сказку и послал бы тебе одну главу; но голова моя настоящий пустой бочонок, из которого вылито все вино, и стоит он кверху дном, так что и новое вино в него набраться не может. Если же, однако, поправлюсь, то напишу тебе сказку — именно о *пустом бочонке».*

Так и 2-го августа с прогулки вернулись мы, когда уже погасла заря, на темном небе загорались звезды, а по горизонту бегали зарницы...

Вернувшись в дом, Тургенев тотчас же взял свечу и пошел смотреть на барометр — увы! барометр падал. Тургенев не поверил барометру...

На другой день, 3-го августа, утром, он собирался выехать в Тулу, и ему не хотелось верить в возможность дурной погоды. Но не обманул барометр — ночью небо покрылось тучами, зашумел дождь, и раскаты грома разбудили нас <...>

* * *

<...> Я уже собрался покинуть Спасское. Тургенев тоже был на отлете — надо было ехать во Францию.

— Осиротеет там мой бедный нос, осиротеет! — говорил Тургенев. — Там уж нельзя будет к нему подносить табакерку или табачком угощать его... кончено!

Зная, с каким удовольствием, а может быть, и не без пользы, нюхает Ив. Серг. табак и как трудно отвыкать от такой привычки, я спросил: почему же в Париже он должен будет перестать нюхать?

— Нельзя, — отвечает он. — Там дамы мои не разрешают мне...

— Ну, ты нюхай в их отсутствии.

— И этого нельзя — подойдут — услышат запах...

И Тургенев прочел мне при этом им сочиненное французское четверостишие по поводу своего носа, сиротеющего без табакерки... Очень сожалею, что не записал этого насмешливо-грустного, придуманного им четверостишия. Любой французский автор вклеил бы его в свой водевиль или в либретто для комической оперы.

Перед своим отъездом он даже стал нюхать табак как можно реже, чтоб постепенно от этого отучить себя, и наконец, тяжело вздохнув, отдал свою табакерку моей жене.

О том, как живется ему в Париже и в каких отношениях он стоит к г-же Виардо, Иван Сергеевич постоянно умалчивал. Да никто из нас и не решался его об этом расспрашивать; мы только молча удивлялись, как мог он так подчиняться французскому сухому и узкому режиму, он — такой гостеприимный и свободолюбивый. Но чужая душа — потемки, и я никогда не позволял себе быть судьей его [15].

С приездом князя Мещерского вечера наши — последние вечера в Спасском — оживились музыкой, иногда пением.

Я и забыл сказать, что Тургенев не раз припоминал себе тот невыразимый восторг, в какой когда-то повергло его художественное исполнение г-жой Виардо лучших ее ролей. Он припоминал каждое ее движение, каждый шаг, даже то впечатление ужаса, которое производила она не только на партер, даже на оперных хористов и хористок. Раз, при Д. В. Григоровиче, он так увлекся своими оперными воспоминаниям, что встал и, жестикулируя, начал петь какую-то арию.

Теперь — ни красивая игра князя Мещерского, ни пение г-жи Щ. — ничто уже не могло вполне удовлетворять его. Все это только терпеливо выносилось им как любезным хозяином, и только.

Однажды пришли ему сказать, что спасские мужики пригнали к нему в сад целый табун лошадей (и я видел сам, как паслись эти лошади на куртинах менаду деревьями).

Тургеневу было это не особенно приятно, он подошел ко мне и говорит: «Велел я садовнику и сторожу табун этот выгнать, и что же, ты думаешь, отвечали ему мужики? — «Попробуй кто-нибудь выгнать — мы за это и морду свернем!» Вот ты тут и действуй!» — расставя руки, произнес Тургенев.

И оба мы рассмеялись. Действительно, никакого действия нельзя было придумать.

* * *

Перед самым моим отъездом, в саду, наедине, Тургенев рассказал мне содержание еще придуманной им повестушки под заглавием «Дикарка».

Смутно я помню его рассказ, но главную суть его могу рассказать в нескольких словах.

В уездном городке живут две старухи, при них племянница — девушка-дикарка, не потому чтоб она дичилась людей, а потому, что эксцентрична, и своевольна, и игрива в высшей степени, делает все, что ей ни вздумается. Благочестивые тетки терпеть ее не могут, вся привязанность их сосредоточена на одном коте, которого они вырастили. Откормленный кот этот был постоянно при них и был предметом их заботливого за ним ухаживанья. В доме их живет постоялец — молодой человек, офицер, вышедший в отставку, очень честный, простой и смиренный малый, очень добрый и благоразумный. Мало-помалу жилец и племянница друг в друга влюбляются, хотя об этом и не говорят. Его шокируют ее шалости, даже ее нецеремонное с ним обращение ему не нравится; он ее беспрестанно журит. Она становится несколько сдержаннее, ибо любит его и уверена, что будет женой его. Вдруг у ее теток пропадает кот, а через два или три дня кота находят убитым в их огороде или в каком-то овраге. Подозрение старух падает на племянницу. Жилец тоже выслушивает их жалобы на своевольную девушку и тоже убеждается, что по всем призна-

кам это дело рук ее. Это его и огорчает и возмущает. И вот когда девушка приходит к нему в комнату, он начинает читать ей нотацию, что она не только не умеет вести себя — она злая, если позволяет себе такие жестокости.

— Ведь это вы убили кошку? Сознайтесь?

— Да, это я ее убила! — отвечает ему страшно побледневшая девушка.

Она все ему могла простить, но он поверил клевете — и этого она никогда не простит ему.

С тех пор она избегает жильца, смеется над ним и выходит замуж за посватавшегося за нее чиновника в такую минуту, когда страсть к ней вырастает в нем до боли, особливо после того, как раскрылось, кто убил кота, и выяснилось, до какой степени своевольная девушка нисколько непричастна к этому делу.

Конечно, сюжет этот, обработанный Иваном Сергеевичем, не уступил бы другим его повестям и рассказам, но ничего бы не прибавил к его литературной славе. Влюбленных и в то же время рефлектирующих, нерешительных молодых людей немало уже выведено было на сцену (даже самим Иваном Сергеевичем).

Рассказы эти доказывают только, что голова Ивана Сергеевича постоянно работала над разными сюжетами... и что, будь здоров он и проживи еще хоть лет 10, русская публика прочла бы немало превосходных рассказов, вроде «Песнь торжествующей любви» или «Клара Милич», а может быть, и дождалась бы нового общественного романа с новым нам современным героем. Ив. Серг. думал все чаще и чаще, как бы ему опять водвориться в России, иначе сказать, отвыкнуть от Франции и от французов, которых он не раз называл копеечниками.

Простившись с своим старым другом и с его усадьбой, я один, без семьи, через Москву уехал в Питер <...>

* * *

Через две недели, в конце августа, Тургенев из Спасского переехал в Петербург и торопился, очень торопился в Париж, хотя ему туда и не хотелось ехать.

Он остановился наверху в Европейской гостинице. Заставать его дома было трудно. Обыкновенно я заходил к нему рано утром чай пить.

На другой день его приезда я и А. В. Топоров обедали с ним у «Донона»; в садике. Тургенев был здоров и очень

весел, говорил стихи, вспоминал о Спасском и уверял, что скоро, может быть, к новому 1882 году мы его опять увидим; говорил о живописи, о немецкой и французской школах: последнюю он ставил выше первой, особливо по части пейзажей. Потом, в конце обеда, мы чокались и пили за здоровье друг друга и — не предвидели, что мы уже никогда друг с другом не увидимся.

На другой день Тургенев нехотя вторично должен был ехать в Царское Село к Г—ину, чтобы через его содействие похлопотать о пенсии для одного бедного труженика. К 4-м часам он вернулся. Я пришел к нему в номер часа за два до его выезда за границу.

Он встретил меня следующими словами:

— Скажи по совести, что бы ты подумал о человеке, который едет в город для того, чтоб сделать одно нужное, необходимое для него дело; думает об этом всю дорогу, а приехавши, совершенно об этом забывает — ездит по гостям да по разным поручениям, хлопочет о других и вспоминает о деле только тогда, когда ему надо выехать?

Я не понял, о ком это он говорил, и шутя сказал ему: ну, это какой-то Степка-растрепка.

— Ну, так этот Степка-растрепка — я. Вообрази, я с тем и ехал сюда, чтоб побывать у Гинсбурга и справиться, есть ли у меня какой-нибудь документ в доказательство того, что в конторе его находится моих сорок тысяч рублей, и если нет, то чтоб он дал мне на эти деньги квитанцию, — и совсем забыл.

И тут он заторопился, чтоб в один час успеть быть в конторе у Гинсбурга и вернуться в гостиницу за своим чемоданом.

Я дождался его возвращения. Он вернулся усталый, но уже совершенно успокоенный.

Надо было опять спешить, чтобы ехать на станцию железной дороги.

Мы крепко обнялись и поцеловались.

Это было наше последнее расставанье.

Топоров сел с ним в карету, чтоб проводить его до станции.

Я остался.

БОЛЕЗНЬ И КОНЧИНА ТУРГЕНЕВА

А. А. МЕЩЕРСКИЙ

ПРЕДСМЕРТНЫЕ ЧАСЫ И. С. ТУРГЕНЕВА

Париж, 10-го сентября <1883 г.>

Утром, в воскресенье, 2 сентября я поехал в Буживаль и, войдя часов в десять в комнату больного, нашел его видимо ослабевшим сравнительно с тем, как я его видел десять дней тому назад. Он лежал в постели с полузакрытыми глазами и закатившимися зрачками, лицо сохраняло спокойное выражение, но очень пожелтело, дыхание; было тяжело, сознание как бы омрачено. Постель больного окружали все члены семейства Виардо: мать, сын, две замужние дочери и оба зятя, гг. Дювернуа и Шамро; кроме того, в комнате находилось двое gardes-malades *, мужчина и женщина, состоявшие при Иване Сергеевиче с самого начала его болезни, которых он очень любил и которые к нему привязались всей душой, как все, впрочем, кто ближе знал или часто видал этого чудного человека. Вся прислуга дома обожала его, гувернантка семейства, м-ль Арнольд, души в нем не чаяла, и если бы ей позволили, день и ночь, казалось, не отходила бы от постели...

— Reconnaissez-vous l'ami Mechtchersky? ** — спросил у Ивана Сергеевича Дювернуа.

Иван Сергеевич вскинул слегка глазами, ласково улыбнулся и потянулся рукой, чтобы поздороваться, но рука бессильно упала на подушку.

* сиделок (*фр.*).
** Узнаете ли вы друга Мещерского? (*фр.*)

Несколько минут спустя больным стало овладевать некоторое возбуждение, постепенно увеличивавшееся. Он стал говорить все время по-русски и, обращаясь к Шамро (который нашего языка не понимает), спрашивал его: «Веришь ли ты мне, веришь?.. Я всегда искренне любил, всегда, всегда, всегда был правдив и честен, ты должен мне верить... Поцелуй меня в знак доверия...» Шамро, которому я быстро переводил слова больного, исполнил его желание. Больной продолжал: «Я тебе верю, у тебя такое славное, русское, да, русское лицо...» Потом речи его стали бессвязны, он по многу раз повторял одно и то же слово с возрастающим усилием, как бы ожидая, что ему помогут досказать мысль и впадая в некоторое раздражение, когда эти усилия оказывались бесплодными, но мы, к сожалению, совсем не могли ему помочь; слова, которые он произносил, не имели никакого отношения ни ко всему окружающему, ни к России, но иногда прорывались и фразы, по которым можно было догадаться, что в полузатемненном сознании умирающего все еще переплетались те две стороны его жизни, которые составляли ее двойственное содержание: домашние и семейные привязанности с любовью и преданностью родине, к русскому, к национальному... «Ближе, ближе ко м н е , — говорил он, вскидывая веками во все стороны и делая усилия обнять дорогих ему л ю д е й , — пусть я всех вас чувствую тут около себя... Настала минута прощаться... прощаться... как русские цари... Царь Алексей... Царь Алексей... Алексей... второй.... второй». На одну минуту больной узнал Виардо, которая пододвинулась к нему ближе, он встрепенулся и сказал: «Вот царица цариц, сколько она добра сделала!» Потом обратился к ее замужней дочери, стоявшей на коленях у изголовья, и стал ей внушать, все же говоря по-русски, как она должна воспитывать сына: «Пусть он и непоседливый, непоседливый, непоседливый мальчишка, лишь бы был честным, хорошим, хорошим...»

Тут у Ивана Сергеевича стали прорываться простонародные выражения: ему точно представлялось, что он умирающий русский простолюдин, дающий жизненные напутствования своим семьянам... Но все это были полусветлые, короткие промежутки в его бреде, после которых он начал опять повторять одни и те же слова, все менее и менее ясно, утрачивая постепенно даже и членораздельную способности хотя возбуждение не только не

ослабевало, но усиливалось; больной старался сорвать с себя одеяло и делал усилия приподняться с постели. Пришел доктор и посоветовал для успокоения его сделать впрыскивание морфием. Всем присутствующим, кроме сиделки, велели удалиться и последней сесть так, чтобы Иван Сергеевич ее не видел. После приема морфия, который, сказать кстати, всегда давался в самых умеренных дозах, от четырех до шести сантиграммов в продолжение суток, больной впал в полусонное состояние, продолжая очень тяжело дышать... Через несколько времени возбуждение возобновилось, больной все тянулся руками вперед, быстро, хотя и бессвязно, говорил то по-русски, то по-немецки, то по-английски. По настоянию доктора вспрыскивание было повторено и дан прием хлорала, что Ивана Сергеевича усыпило глубже. В течение дня он выпил несколько глотков молока, а к вечеру доктор приказал впускать ему от времени до времени в горло по ложечке холодного пунша, который утолял жажду Ивана Сергеевича, но глотать ему было все труднее и труднее...

К ночи женщины удалились, а мы вчетвером, то есть я, Поль Виардо, Дювернуа и Шамро, остались при больном, кто в его спальне, кто в смежном с нею кабинете. Утром опять появились признаки возбуждения, выражавшиеся уже, впрочем, не в речах, а в движениях и в жестах больного; рот его часто косило влево, дыхание не приподнимало более груди, а отражалось в одной лишь диафрагме, пульс стал до того неровен, что никак нельзя было высчитать среднего биения, и по временам совсем упадал, что, по объяснению доктора, указывало на быстро возрастающую неправильность в деятельных органах и сердца и предвещало недалекий конец, задержанный так долго колоссальной силой организма.

Часу в двенадцатом в комнату взошел неожиданно Василий Васильевич Верещагин и зарыдал, пораженный состоянием умирающего [1]. Плакал он, впрочем, не о д и н , — всех нас, мужчин и женщин, душили слезы. Я взял за руку Ивана Сергеевича и вместе с тем поддерживал подушку, на которой голова его скользила все больше, все беспомощнее в левую сторону. Оконечности стали холодеть и покрываться красными пятнами. Около двух часов умирающий сделал усилие приподняться, лицо его передернулось, брови насупились, из горла и рта, точно после приема чего-то очень горького, вырвалось полу-

сдавленное восклицание: «А-а!», и голова откинулась уже безжизненной на подушку. Черты лица приняли тотчас спокойный, но необыкновенно ласковый и мягкий отпечаток. Женщины, рыдая, бросились к постели, точно не веря еще, что дорогого им человека, которого они так беззаветно любили, уже не стало, но мы их удержали и вывели из комнаты...

Обмыв и одев в чистое белье тело, мы послали немедленно за модельером и фотографом, написали и отправили телеграммы разным лицам, в том числе из русских: Верещагину, который уехал в первом часу в Париж, Н. А. Герцен, послу Орлову, Анненкову, Стасюлевичу, Топорову, Аристову и через Онегина — Боголюбову.

В пятом часу приехал фотограф Морель и снял портреты, которые удались прекрасно, особенно профиль головы. Кроме того, г-жа Виардо вместе с одной из своих дочерей сделала несколько эскизов головы — обе они ведь прекрасно рисуют, а г-жа Шамро показывала мне, Стасюлевичу и Верещагину такой удачный и такой прочувствованный рисунок (карандашом), изображающий Ивана Сергеевича больным на постели в его буживальской комнате, что мы тут же настоятельно упрашивали ее, чтобы она его издала и послала в Россию, так как это была бы лучшая дань родине покойного от самых дорогих ему и близких людей. Комнату, в которой лежал скончавшийся, начали было убирать цветами, но посланный от доктора Бруарделя (представителя судебной медицины) просил не делать этого, чтобы не ускорять разложения тела, отопсию которого Бруардель не мог сделать раньше среды. В девятом часу явился итальянец-модельер (лучший в Париже) и сейчас же приступил к снятию маски. Маска удалась хуже фотографии, лицо вышло чересчур страдальческим и исхудалым, борода слишком обвисла. Модельер снял и левую руку, которая лучше правой лежала на постели...

М. М. СТАСЮЛЕВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ И. С. ТУРГЕНЕВА И ЕГО ПОХОРОНЫ

...Нынешним летом (1883 г.), в течение июня и августа, я был три раза в Буживале. Выехав в конце июня из Петербурга в Карлсбад и опасаясь отлагать и на один день свидание с Тургеневым, я направился из Берлина сначала в Париж и уже оттуда, проведя в первых числах июля два утра в Буживале у постели больного, вернулся в Богемию. Окончив курс лечения, я поехал вторично, в первых числах августа, в Париж, и, проездом на морской берег в Динар, опять наведал больного в Буживале. Ровно три недели спустя, 22-го августа, я спешил, вследствие полученной мною телеграммы, из Динара в Париж — в то самое время, когда, как оказалось, Иван Сергеевич уже отходил; рано утром 23-го августа я стоял у постели уже усопшего, на том самом месте, где так недавно Иван Сергеевич, почувствовав небольшое облегчение после тяжелого кризиса, говорил мне, прощаясь: «Теперь месяца три могу еще прожить», — так он чувствовал себя сравнительно хорошо в тот день, — но на этот раз его сил в борьбе с отчаянною болезнью достало только ровно на три недели: в понедельник 22-го августа (3-го сентября), в 2 часа пополудни Тургенев, находясь уже более 24-х часов в совершенно бессознательном состоянии, скончался спокойно, без агонии.

В первый мой приезд в Париж я был у Тургенева два дня сряду. 1-го (13-го) июля я нашел его в постели; это было довольно рано утром, часу в одиннадцатом. Мы не виделись с ним с сентября прошедшего года: разница, за эти десять месяцев, в его положении была громадная,

но в то же время я был очень доволен найти его и в таком состоянии, в каком застал, после всего того, что он перенес зимою и весною нынешнего года. В этот день, как говорили мне и его домашние, он был особенно хорош и в отличном настроении духа. Более часа я просидел у его постели, и он почти не давал мне говорить, — так ему хотелось описать мне во всех подробностях все, что он испытал во время припадков болезни; рассказывал свои галлюцинации, и все это он отлично помнил; многие из его живописных, фантастических рассказов могли бы идти в параллель с его знаменитой «Старухой» из «Стихотворений в прозе». Я ему заметил это, и мы невольно перешли на разговор о нашем последнем свидании в прошедшем году, тесно связанном с историею его «Стихотворений». Это было 5-го сентября, почти накануне моего отъезда в Петербург, когда окончательно решилась судьба «Стихотворений». История же их, совершенно случайная, началась несколько раньше, — когда я заехал к Т., в начале августа, при первом моем проезде чрез Париж [1]. Как теперь помню, входя к нему, в кабинет (ровно за год пред его смертью), я, по обычаю, постучал; незадолго пред тем он жестоко страдал, и я думал встретить его расслабленным, на костылях, а потому я был приятно удивлен, услышав громко произнесенное им: entrez! * Он сидел за своим кабинетным столом, в обычной его вязаной куртке, и что-то писал; увидев меня, он очень быстро встал и пошел ко мне навстречу. «Э! да вы притворялись больным, — заметил я ему шутя, — да разве такие бывают больные!» — «А вот вы увидите, — ответил он мне, — таким молодцом я могу быть не более пяти минут; а затем раздается боль в лопатках, и я должен буду поспешить сесть; мне теперь придумали машинку, которая нажимает мне с одной стороны грудь, а с другой — лопатку, и я могу даже спускаться вниз по лестнице — в дом». Вообще я думал тогда, что Т., как это бывает, находится более под сильным впечатлением пройденной им болезни и под страхом ее возвращения, но в настоящую минуту его здоровье весьма удовлетворительно. Среди разговора я спросил Т., не читал ли он в английских газетах приятное известие, будто он дописывает большой роман. Он энергически отрицал этот слух: «А дописываю я, как вы знаете,

---

* войдите! (*фр.*)

«После смерти» *, и когда вы поедете назад, рукопись будет готова. Впрочем, — прибавил он, подумав, — хотите, я докажу вам на деле, что я не только не пишу романа, но и никогда не буду писать!» Затем он наклонился и достал из бокового ящика письменного стола портфель, откуда вынул большую пачку написанных листков различного формата и цвета. На выражение моего удивления: что это такое может быть? — он объяснил, что это нечто вроде того, что художники называют эскизами, этюдами с натуры, которыми они потом пользуются, когда пишут большую картину. Точно так же и Тургенев, при всяком выдающемся случае, под живым впечатлением факта или блеснувшей мысли, писал на первом попавшемся клочке бумаги и складывал все в портфель. «Это мои материалы, — заключил он, — они пошли бы в дело, если бы я взялся за большую работу; так вот, чтобы доказать вам, что я ничего не пишу и ничего не напишу, я запечатаю все это и отдам вам на хранение до моей смерти». Я признался ему, что я все-таки не хорошо понимаю, что это такое за «материалы», и просил его, не прочтет ли он мне хоть что-нибудь из этих листков. Он и прочел сначала «Деревню», а потом «Машу». Мастерское его чтение последней подействовало на меня так, что мне не нужно было ничего к этому присоединять; он прочел еще две-три пьесы. «Нет, И. С., — сказал я ему, — я не согласен на ваше предложение; если публика должна ждать вашей смерти для того, чтобы познакомиться с этою прелестью, то ведь придется пожелать, чтобы вы скорей умерли; на это я не согласен; а мы просто напечатаем все это теперь же». Тут он мне объявил, что между этими фрагментами есть такие, которые никогда или очень долго еще не должны увидать света: они слишком личного и интимного характера. Прения наши кончились тем, что он согласился переписать только те, которые он считает возможными для печати; и действительно, недели через две прислал мне листков 50, тщательно и собственноручно переписанных им, как это всегда бывало с его рукописями [2]. При обратном моем проезде, когда я был у него 5-го сентября

* Тургенев, в это же наше свиданье, сам отказался от этого заглавия, усиливавшего, против его намерения, мистический характер пьесы, чего автор вовсе не имел в виду; он обещал подумать и при возвращении корректуры назвал рассказ просто: «Клара Милич». (*Примеч. М. М. Стасюлевича.*)

в последний раз, Т. выразил сомнение относительно только одной пьесы, особенно замечательной [3], и потом кончил тем, что в корректуре вынул ее и заменил другою.

Вспоминая теперь об этом последнем нашем свидании, Т. печально заметил, что, как ни плохо было год тому назад, все же он тогда стоял на ногах. «Но зато вы не страдаете так, как страдали зимой и весной, — утешал я его, — значит, болезнь отступает». Мы условились повидаться на следующий же день, 2-го июля. Оказалось, что вчерашнее оживление Т. было одною счастливою случайностью: я нашел его не в спальне и не в постели; его перенесли, по его желанию, в кабинет в кресле; он полулежал у самого камина; день был холодный и сырой; камин топился. Я не узнал И. С: так изменилось его лицо за эти 24 часа; ночью возобновились страдания, и он, измученный физическою болью, сидел с опущенной головой на груди. Не было никакой возможности говорить с ним; я оставался некоторое время немым свидетелем тех самых нежных забот, какими был окружен наш больной; мучения и боли делали его, естественно, нетерпеливым и в высшей степени раздражительным, и надобно было иметь неистощимый запас терпения и спокойствия, а вместе и привязанности к страдальцу, чтобы охотно и без утомления следить за каждым его движением, уступать его желаниям и вместе настаивать на исполнении предписаний доктора, редко приятных больному. Его унесли скоро обратно в спальню и положили в постель; припадок прошел, больной несколько успокоился, и меня впустили проститься с ним. Он, видимо, больше не страдал, но зато пришел в полнейшее расслабление. Едва слышным голосом сказал он, завидев меня: «Ну вот вы сами видели — каково мне! — И тут же с добродушною улыбкой прибавил: — Однако я помучил их порядочно!» Он, очевидно, вспомнил капризную сцену, которой я был только что свидетелем в кабинете, когда он ни за что не хотел принять лекарство в молоке. Я поспешил оставить его и взял его за руку. «Простимся хорошенько!» — сказал он мне; мы поцеловались, и, без сомнения, он в эту минуту думал одно со мною, а именно, — что мы прощаемся навсегда.

Ровно через месяц, однако, мы увиделись снова, и даже при несравненно лучших условиях сравнительно с тем, чего можно было ожидать по тому, что я видел сам месяц тому назад и что мне писали после о нем.

Я приехал в Париж вечером 31 июля и нашел в своем отеле, между прочим, записку А. П. Боголюбова, от утра того же дня; он извещал меня о новом, страшном припадке с Тургеневым и сомневался, чтобы я мог застать его живым на следующий день. Но я застал его не только живым, но и благополучно вышедшим из тяжелого кризиса, постигшего его накануне, — по крайней мере, так мне казалось. Он, правда, был крайне слаб, но тем не менее потом оживился в разговоре до того, что голос у него сделался довольно звучным и надобно было умерять его порывы; он даже делал попытку слегка приподниматься на локтях. На этот раз, оказалось, его интересовал главным образом один вопрос: о продаже права литературной собственности, и он почти ни о чем другом не говорил; разговор был потому чисто деловой. Покойный был мне хорошо известен как своим полнейшим равнодушием к своим же собственным делам, так и крайнею наивностью, по поводу которой ходят бесчисленные анекдоты; мне самому известен курьезный случай, где он, ясно видя обман, сам оказывал ему с своей стороны посильное содействие, из опасения, что противная сторона может причинить ему какую-нибудь неприятность или введет его в хлопоты. Но на этот раз он меня удивил серьезностью своих суждений и даже признаками твердой воли; быть может, пред ним носилось воспоминание о печальной судьбе проданного Пушкина [4]. Среди всех этих разговоров один раз только он прервал сам себя громкими выражениями острой боли, но тотчас же оправился, заметив мое беспокойство. «Это вздор, вовсе не болезнь; это от пролежня... Вот и ничего!» — заключил он, придя опять в нормальное положение.

К концу нашей беседы я ему заметил, что нынешний раз я с ним вовсе не прощаюсь, так как буду целый месяц почти его соседом; стоит ему к вечеру послать мне телеграмму — и в 7 часов утра на следующий день я подле него; через месяц я, во всяком случае, буду опять в Буживале. «О, теперь, — отвечал он мне, — я сам уверен, что проживу еще месяца три; только все же я вам теперь скажу то, что говорил многим, — и вот на днях еще передал и князю Орлову (русскому посланнику в Париже): я желаю, чтоб меня похоронили на Вол-ковом кладбище, подле моего друга Белинского; конечно, мне прежде всего хотелось бы лечь у ног моего «учителя» Пушкина; но я не заслуживаю такой чести».

Я старался отклонить его от подобной печальной темы и отвечал ему сначала шуткой, что я, как гласный Думы, долгом считаю его предупредить, что это кладбище давно осуждено на закрытие, и ему придется путешествовать и в загробной жизни. «Ну, когда-то еще это будет, — отвечал он, также шутя, — до того времени успею належаться». Тогда я ему напомнил, что могила Белинского давно обставлена со всех сторон. «Ну, да я не буквально, — возразил он мне, — все равно будем вместе, на одном кладбище».

Вскоре затем мы простились, но вовсе не так, как месяц тому назад, а как будто мы увидимся опять завтра, пожав ему руку, я сказал: «Помните же, И. С, что у вас на постели лежит один конец нитки, а другой ее конец привязан мне к ноге; стоит вам вечером дернуть нитку — от Динара до Парижа 10—12 часов — и утром в 7 часов я у вас». Выйдя, однако, из спальни, я просил его домашних, в случае чего-нибудь неожиданного, дать мне знать своевременно, что они и исполнили гораздо скорее, нежели я ожидал.

Почти ровно за неделю до смерти я писал Тургеневу из Динара, что имею известие о том, что четвертое его стереотипное издание «Записок охотника» все распродано, а новое уже отпечатано; [5] что деньги, по обычаю, внесены в его петербургскую кассу и он может их тот час же получить в Париже. При этом я, в виде шутки, напомнил ему тот забавный анекдот, которому было обязано своим существованием его стереотипное издание и в котором он сам был героем. Ответ на это мое последнее письмо я получил от его домашних 20 августа, в субботу (за два дня до смерти): они меня извещали, что мое письмо немало позабавило больного, но здоровье его опять плохо; о делах с ним говорить нет никакой возможности; все сделанное мною он вполне одобряет; на вопрос же их, не желает ли меня видеть, он отвечал, что ему вовсе не так худо и что он не хочет даром тревожить меня преждевременной поездкой в Париж. Это было в субботу. Поздно вечером, часу в 12-м, в воскресенье, 21 августа, мне была послана депеша с извещением, что «доктора находят положение больного весьма серьезным». Так как в маленьком городке Динаре уже в 9 час. вечера запирается телеграфное бюро до 9 часов утра, то эта депеша пришла только утром в понедельник и не застала меня дома; я прочел ее только в 12-м часу дня, когда утренний поезд в Париж уже ушел. Ничего не

оставалось, как ехать с вечерним поездом, в 5 часов, а в ожидании того я послал депешу в Буживаль с вопросом. Моя депеша пришла в самый час смерти Тургенева, и потому я уехал из Динара, не зная, что найду завтра утром. Рано, в 5 часов, я был в Париже; прямо переехал со станции Montparnasse на St.-Lazare и с первым утренним поездом отправился в Буживаль. При перемене вагона на станции Rueil нас оказалось всего два пассажира; другой, вовсе незнакомый мне господин обратил на себя мое внимание глубоким трауром на шляпе. Он первый обратился ко мне с вопросом: «Кажется, вы — русский; в таком случае я имел бы к вам просьбу». Я отвечал ему вопросом с своей стороны, в он объяснил мне, что он — русский консул. «Вы едете так рано, вероятно, по обязанностям службы». — «Да, — отвечал он мне, — мне нужно иметь свидетелей на акте, по случаю смерти Тургенева, и я очень кстати встречаю соотечественника». Я сказал ему мою фамилию, и он сам понял, что я не откажусь сопровождать его до конца. Консулу была послана депеша тотчас же после смерти Тургенева, но его не было в Париже до вечера, и вот почему он счел своею обязанностью выехать в Буживаль с самым ранним поездом, в седьмом часу утра.

В половине восьмого мы были в Châlet Тургенева, где встретили все семейство Виардо и князя А. А. Мещерского, приехавшего в Буживаль из Версаля еще накануне, в воскресенье утром, и остававшегося там до самой смерти Тургенева. Тотчас после смерти были посланы депеши ко всем близким людям покойного: к П. В. Анненкову, в Баден, но он оказался уехавшим в Киев; к А. П. Боголюбову в Шато д'Э, но он переехал, как после узнали, в Трепор; депеша к г. Харламову была пущена наудачу в Швейцарию, и хотя нашла его, но с потерею времени; депеша ко мне также опоздала, но я ее и не ждал, а потому из дальних и приехал один; кроме меня, явился несколько позже старый приятель покойного, И. П. Арапетов, из Парижа. К вечеру, часа в четыре, прибыл из Парижа князь Н. А. Орлов с сыном, молодым человеком, и его воспитателями, а вслед за ним и о. Васильев; к панихиде, в 5 ч. вечера, приехали соседи покойного, семейство Тургеневых (однофамильцы), дети давно уже умершего Николая Ивановича. Таким образом, на этой первой и вместе последней панихиде — так как на следующий же день, 24 августа, рано утром сде-

лано было вскрытие тела и оно было уложено в свинцовый гроб — нас, русских, собралось около 10 человек.

Весь этот день, с утра до вечера, мы все проводили время почти безвыходно в комнате усопшего. Он никогда при жизни не был так красив, — можно даже сказать, так величествен; следы страдания, бывшие еще заметными вчера, на второй день исчезли совсем, распустились, и лицо приняло вид глубоко задумчивый, с отпечатком необыкновенной энергии, какой никогда не было заметно и тени при жизни на вечно добродушном, постоянно готовом к улыбке лице покойного. Один мертвенно-бледный цвет кожи и мраморная неподвижность черт лица говорили о смерти. Воспоминания свидетелей его последних дней составляли исключительный предмет нашего разговора.

За неделю до смерти припадки болезни начали возобновляться с прежнею силою. В четверг обнаружился бред; в этот день к нему приехал И. П. Арапетов — навестить его; больной встретил его громким криком и выражением неудовольствия; после объяснилось, как он сам рассказал, что он рад был бы видеться с А., но с ним вошло еще несколько человек, которых он вовсе не желал бы видеть и которые его только тревожат. Это был бред, далекое начало агонии. В субботу он пожелал проститься со всеми домашними, но при этом снова впал в бессознательное состояние, которое и продолжалось уже почти беспрерывно все воскресенье и понедельник. Во все это время умирающий ничего не сознавал; только процесс дыхания, по временам делавшийся прерывистым и шумным, говорил о том, что жизнь в нем еще не совсем погасла. В понедельник утром он стал дышать как будто ровнее, так что около часу все домашние, не отходившие все это время ни на минуту от его постели, удалились завтракать, не подозревая крайней близости фатальной развязки; при нем остались на это время два лица, бывшие при нем безотлучно, независимо от постоянного дежурства и днем и ночью кого-нибудь из членов семейства Виардо. Незадолго до двух часов, Т., оставаясь по-прежнему неподвижным и спокойным, начал дышать с необычайною силою и хрипом; все бросились в спальню; он, видимо, отходил. Один из членов семейства осторожно взял его руки в свои; руки были теплы, и он продолжал лежать по-прежнему спокойно; так прошло несколько минут, как вдруг его руки вытянулись с последним глубоким вздохом. Это было ровно 2 часа дня.

Так кончились великие, длившиеся бесконечно страдания всеобщего любимца, и с той же минуты началось такое же бесконечное горе для тех, которые пережили эту драгоценную, исполненную добра и славы жизнь. Жить и помнить Тургенева — для нас всех сделалось теперь одно и то же...

В заключение моих воспоминаний о последних днях И. С. Тургенева я должен поместить, хотя бы в кратком извлечении, мои же воспоминания о похоронах его, и притом именно в той их части, где мне пришлось быть свидетелем одному. Собственно говоря, похоронная процессия началась в понедельник 19-го сентября, в Париже, rue Daru, где помещается наша церковь, а закончилась через неделю, во вторник 27-го сентября, в Петербурге, на Волковом кладбище. Начало и конец этой процессии, в Париже и в Петербурге, со всем великолепием ее внешней обстановки, речами и пр. очень хорошо известны во всех подробностях из описаний в газетах парижских и петербургских <...> [6] О проезде тела из Парижа чрез Германию до нашей границы в Вержболове я слышал от провожавших гроб Тургенева; свидетелем же прибытия тела, его трехдневного пребывания в Вержболове и 24-часового с небольшим переезда от границы до Петербурга мне довелось быть одному. Корреспондентов от наших газет в Вержболове не было, а потому многое, что после писалось, было писано наугад; так, в одной петербургской газете рассказывалось, что будто тело Тургенева в Вержболове «было встречено священником александроневской церкви (в Кибартах, посаде Вержболова), делегацией с.-петербургской думы, владиславским русским обществом и многими другими лицами»; в действительности, разумеется, не было ничего подобного, и, очевидно, писавший все это не был на месте и рискнул угадать то, что могло *быть*, — и рискнул неудачно. Ввиду таких неточностей, к которым присоединилось еще много *других*, — необходимо восстановить фактическую сторону всего переезда тела Тургенева из Парижа до Петербурга, хотя бы и в самом сжатом очерке. Наше общество так дорожит памятью незабвенного Ивана Сергеевича, что не сочтет излишним восполнение пробела в хронике последнего земного странствования его тела по Германии и по родной земле.

Двадцать третьего августа (4-го сентября н. с.) я в последний раз поклонился праху Тургенева в Буживале, а 23-го сентября, в 6 час. утра, мне пришлось встре-

тить его тело в Вержболове; оно прибыло одно, без провожатых и без документов. Вот как это случилось

На следующий день после отправления гроба из Парижа, во вторник, 20-го сентября, я получил в Петербурге депешу, в ответ на мой вопрос, а именно, мне отвечали, что тело прибудет на русскую границу 23-го, в пятницу, рано утром; значит, оно могло бы прибыть в Петербург не ранее утра субботы, 24-го сентября, когда могли бы совершиться и похороны. Но наша похоронная комиссия, избравшая меня для встречи тела в Вержболове и смены иностранных провожатых в пути по России, весьма справедливо опасалась назначить субботу днем погребения, ввиду возможных задержек в пути; заблаговременное назначение такого ближайшего дня могло бы ввести публику в невольный обман. Отложить день погребения на воскресенье признано было неудобным; по той же причине оказалось невозможным назначить таким днем и понедельник, 26-е сентября, как день праздничный. Принимая все это в соображение, комиссия назначила встречу тела и погребение во вторник, 27-го сентября <...>

В Вержболово я приехал в четверг, в восьмом часу вечера. Оказалось, что траурный вагон, уступленный обязательно Главным Обществом, уже прибыл из Вильны на границу, согласно данному мне обещанию; но тут же мне сообщили, что о времени моего обратного пути с телом я буду извещен в свое время; кстати, мне подали тут же депешу из Берлина от провожатых, что *их* задержала там таможня, и *они,* вместо утра, явятся на границу в пятницу же, но вечером <...>

На следующий день рано утром, в 6 часов, к самому окошку моего номера на станции, где я провел ночь, подошел тот самый прусский пассажирский поезд, с которым должно было прибыть тело Тургенева, а через несколько минут ко мне вбежал служитель с известием, что тело Тургенева прибыло, одно, без провожатых и без документов, по багажной накладной, где написано: «1 — покойник» — ни имени, ни фамилии! Мы только догадывались, что это — Тургенев, но, собственно, не могли знать того наверное. Тело прибыло в простом багажном вагоне, и гроб лежал на полу, заделанный в обыкновенном дорожном ящике для клади; около него по стенкам вагона стояло еще несколько ящиков, очевидно, с венками, оставшимися от парижской церемонии. Предоставляя времени выяснить после, как все это могло случиться,

мы занялись тотчас вопросом, что делать в эту минуту, так как нельзя было долго задерживать прусского поезда с прусской прислугой, торопившейся уехать обратно в Эйдткунен. Вследствие различных причин, а также и потому, что и утром в пятницу по-прежнему оставалось неизвестным, поедет ли тело далее сегодня же вечером, когда нагонят его иностранные провожатые, или оно простоит здесь несколько дней, явились различные мнения, как поступить с телом; мое мнение было — поставить тело в церковь, которая находится в нескольких шагах от станции. Подоспевший во время нашей беседы настоятель церкви согласился с моим мнением, особенно ввиду того, что, может быть, телу придется простоять в багажном сарае до понедельника утра, то есть в течение трех суток, — и поезд, направившийся было задним ходом к пакгаузам, был возвращен к дверям таможенного пассажирского зала. Пока мы выносили из вагона ящик с гробом, разбирали этот ящик и освободили оттуда ясеневый гроб, в котором вложен был свинцовый и шелковый (из непроницаемой ткани), пока вынимались венки для выполнения таможенной обрядности, настоятель приготовил в церкви катафалк и паникадила. Мы, конечно, мало сомневались в том, что в ящике сокрыто тело именно Тургенева; уже прибитая на гробе металлическая доска над большим металлическим крестом, с надписью, удостоверили нас до конца относительно личности покойного; надписи на лентах у венков подтверждали то же самое. Едва мы успели кончить нашу печальную работу, как на колокольне церкви раздался протяжный похоронный звон — vivos voco! mortuos piango! * Это был первый призыв и привет покойнику на родине — и неимоверно тяжело потрясли заунывные звуки колокола слух каждого из нас, кто понимал, что мы в эту минуту делали. Погребальная процессия сложилась невольно, сама собою: таможенные артельщики (я после узнал, что это была так называемая московская артель) понесли впереди, один за другим, большие и богатые парижские венки; за ними, тихо качаясь на полотенцах, подвигался медленно тяжелый гроб (около 40 пудов тяжести), а за гробом пошли попарно все, кому случилось быть при вскрытии ящика. Гроб поместился на высоком катафалке; около него к катафалку были при-

* Созываю живых! звоню по умершим! (*лат.*)

слонены большие венки; к ним присоединили венок от Кибартского училища, изготовленный к предполагаемой встрече, и от русского общества в г. Владиславове. Вскоре пришли дети из мужского и женского училища и усыпали ступеньки катафалка полевыми цветами и букетиками. Мало-помалу церковь наполнилась собравшимися из посада и приезжими из Эйдткунена, где, как известно, поселилось много русских торговцев, и в 8 часов утра началась панихида с хором певчих.

Вечером того же дня с почтовым поездом прибыли, наконец, и провожатые, дочь г-жи Виардо, m-me Chamerot с мужем; другой ее зять, m-r Duvernoy, заболел и не мог сопровождать тела. Недоумение объяснилось очень просто: они в депеше ко мне не упомянули, что были задержаны только они одни, а не тело. Пока они очищали в берлинской таможне свою кладь и пока там накладывали пломбу на ящики, принадлежавшие гробу (дорогие венки и формы для отлития маски лица и руки), поезд ушел вместе с телом с Лертской станции (первая городская станция в Берлине со стороны Парижа); напрасно они бросились в экипаже на Силезскую станцию (последняя, откуда поезд выходит на Кенигсберг): поезд ушел и оттуда, увозя с собою и тело по направлению к нашей границе. Вот вследствие чего оно и прибыло в Вержболово одно, без провожатых и без документов, которые остались при них. После всего этого не удивительно то, что если в Берлине желавшие почтить память Тургенева торжественною встречею не нашли уже гроба на станции; собравшись сначала по ошибочной депеше на Потсдамской станции, они не могли никак захватить его на так называемой Ringbahn, опоясывающей город; это не удалось даже самим провожатым, которые должны были, таким образом, ждать вечернего курьерского поезда, чтобы нагнать тело в Вержболове.

Не желая иностранных гостей заставлять ждать нашего отъезда, тем более что в то время я и сам еще не знал срока выезда, я склонил их продолжать немедленно свою поездку — и через час после того они уже выехали из Вержболова с вечерним почтовым поездом в Петербург. Собственно говоря, их могли бы и в Вержболове задержать по той же причине, по какой задержала их берлинская таможня: досмотр ящиков с венками и формами маски лица и руки покойного потребовал бы слишком много времени; но я принял все эти ящики на себя,

так как я и без того оставался на месте; по отходе же поезда в Петербург таможня будет иметь все время для исполнения своих обязанностей. Почтовый поезд, как известно, стоит в Вержболове более часа, а потому иностранные провожатые выразили желание поклониться гробу. Все, даже и те, которые утром не разделяли моего мнения, были очень теперь довольны, что нам пришлось отвести иностранных провожатых не в товарный склад, а в церковь. Было около 6 часов вечера; смеркалось; под проливным дождем мы перешли небольшую аллею, отделявшую станцию от церкви. Так как, в видах санитарных, церковные двери оставались с утра открытыми настежь, то церковь никогда не оставалась без посетителей: многие приезжали из окрестностей Вержболове и Эйдткунена, услышав, что тело Тургенева останется на границе несколько дней. Мы также нашли в церкви посторонних; в углу помещался, по-видимому, художник, и снимал внутренний вид храма с гробом на катафалке, покрытом золотою парчой, окруженном теплящимися свечами и со всех сторон обставленном венками. Иностранные гости, очевидно, не ожидали встретить в нашей сельской церкви такую обстановку и были видимо тронуты представившимся им зрелищем Тургенева, мирно почивающего вечным сном в скромном деревенском храме, среди любимых им безбрежных нолей, окружающих Вержболово со всех сторон... <...>

После всенощной, в субботу же, была отслужена вторая панихида и решено на следующий день, в воскресенье, до обедни, отслужить последнюю панихиду и вынести гроб в траурный вагон, чтобы иметь время в течение дня прочно установить гроб на катафалке и убрать его венками. Другие думали, что лучше было бы просто перенести гроб в 7 часов утра, но первое мнение было одобрено и самим настоятелем церкви, а потому, в воскресенье, в $8^1/_2$ часов утра, отслужена была панихида, как то предполагалось, и о. Николай Петрович Кладницкий произнес при этом краткое, тронувшее всех присутствовавших слово. Оно было первым русским голосом, приветствовавшим дорогой прах на дальнем западном рубеже родной ему земли, и потому заслуживает быть занесенным в хронику, по тому тексту, как оно было после воспроизведено в газетах:

«О славных мужах древности, — так начал почтенный настоятель; — сказал Премудрый: «Телеса их в мире погребены быша, а

имена их живут в роде: премудрость их поведят людие и похвалу их исповесть Церковь». Пред нами бренные останки великого нашего соотечественника, прославившего и себя, и свою родину своими дивными творениями; они стяжали ему венец неувядаемой славы и поставили его, а вместе с ним и наше родное слово, наряду с величайшими современными писаниями и писателями, не только у нас в России, но и далеко за ее пределами. Кто из вас, читая его дивные творения, не восхищался свежестью, легкостью, изяществом и, так сказать, благоуханием его слова, а вместе и его светлою, незлобивою душою, его добрым, кротким сердцем и, вообще, его высокою, симпатичною личностью, которая вся отражалась в его творениях? Кому из вас неизвестно также, с каким лестным для нашей национальности сочувствием отнеслись к покойному все лучшие и просвещеннейшие люди Запада, поставившие Тургенева наряду с величайшими современными поэтами! Итак, слава Тургенева есть слава нашей родины, и потому она не может быть чужда никому из нас. Такие люди не умирают в памяти потомства» <...>

Рано утром, в седьмом часу, в понедельник, прибыл на станцию тот пассажирский поезд из Берлина, который должен был взять с собою траурный вагон и в 8 часов выйти, направляясь прямо в Петербург. Толпа из пассажиров поезда и служащих обступала траурный вагон, когда появился и настоятель церкви, отправлявшийся вместе с нами по своим делам в Вильну. Отслужить перед отъездом литию оказалось неудобным, и священник один поднялся в траурный вагон, тихо помолился над гробом и, отдав усопшему земной поклон, приложился к прикрепленному на гробе образу Христа, которому Тургенев посвятил одно из лучших своих «Стихотворений в прозе».

Весь понедельник и всю ночь до утра вторника, когда мы подъезжали уже к г. Луге, свирепствовал холодный ветер с беспрерывным дождем: и несмотря ни на что, несмотря на позднее ночное время, а также и на то, что по дороге узнали о предстоящем проезде тела почти в то время, когда оно уже вышло из Вержболова, — на всех сколько-нибудь крупных станциях мы встречали более или менее значительную массу людей, терпеливо ожидавших часами прибытия поезда. В Ковно и в Вильне общество русских приготовило все необходимое для литии во время десяти минут остановки поезда; но я успел только принять венки на гроб. Так как в Вильне необходимо было при этом открыть самый вагон, чтобы освидетельствовать веревки, которыми был укреплен гроб на катафалке, то громадная толпа обступила вагон с выражением величайшего благоговения и в глубокой тишине, сохраняя при этом строгий порядок; все как бы

замерли в виду зрелища, которого, конечно, ожидали, и тем не менее были видимо тронуты и взволнованы, когда увидели в двух-трех шагах от себя ясеневый гроб, высившийся на черном катафалке и заключавший в себе бренные останки того, чье имя наполняло собою в это последнее время весь образованный мир. Прислуга между тем успела укрепить вытянувшиеся от чрезвычайной тяжести гроба и толчков паровоза веревки; вагон был закрыт, и в два часа пополудни поезд отошел из Вильны.

В седьмом часу вечера мы подъезжали к Динабургу. Было уже совсем темно; на платформе станции нас ожидала и встретила густая толпа народу, далеко превышавшая ту, какую мы нашли в Вильне; ко мне обратился городской голова с просьбою дать возможность городскому обществу, прибывшему на станцию издалека, поклониться гробу; литии не успели отслужить и здесь. Принимая венки, между которыми выдавался венок «От города Динабурга», «От Динабургской женской гимназии» и от почитателей Тургенева, я заметил, что, вследствие темноты, задние ряды, стараясь приблизиться к гробу, слабо освещенному фонарем кондуктора, до такой степени прижали к борту вагона стоявших впереди, что им ничего не оставалось бы для своей безопасности, как подняться в вагон, — а это могло бы повлечь за собою полный беспорядок. В первый раз моя просьба отступить не подействовала, так как стоявшие близ вагона, при всей их доброй воле, не могли подвинуться назад. Тогда я обратился к публике с предложением: так как я не могу поместить в вагоне всю толпу, это очевидно, то прошу подать мне кого-нибудь из детей, — пусть ребенок простится за всех с покойным. Мое предложение было принято, и публика спокойно отошла от вагона.

От Динабурга началось ночное время поездки, сопровождаемой холодным дождем и ветром. Несмотря, однако, на то и в г. Острове, в первом часу ночи, и в Пскове, в 2 часа пополуночи, публика сидела на станции и терпеливо ждала прибытия поезда. Как видно из псковской корреспонденции в одну из московских газет, «несколько недель приготовлялись псковичи достойно почтить память незабвенного И. С. Тургенева при провозе его чрез Псков из-за границы в Петербург; городской думой было постановлено отслужить в вокзале над гробом панихиду в присутствии всех гласных и возложить на гроб от города венок... Однако ж, несмотря на самое горячее же-

лание псковичей почтить усопшего великого писателя, все вышло далеко не так торжественно, как предполагалось»... Но зато нигде на пути встреча телу Тургенева, можно сказать, не была сделана столь усердно, — если подумать о времени встречи, отчаянной погоде, отдалении города от станции версты на две и, наконец, если принять в соображение и то, что на вопрос городского головы в Вержболово о дне проезда я мог отвечать ему только накануне. Заместитель городского головы с гласными поднес к вагону большой венок с надписью: «От города Пскова»; затем явились венки от псковских периодических изданий («Земский вестник», «Городской листок» и журнал «Истина»), от классической гимназии и реального училища. «Ни псковский кадетский корпус, — замечает тот же корреспондент, — ни духовная и учительская семинария, ни землемерное училище ничем не почтили память незабвенного писателя; женская гимназия приготовила венок, но почему-то не доставила его на вокзал. Из частных лиц на гроб Тургенева возложил венок А. Н. Яхонтов, председатель псковской уездной земской управы, довольно известный поэт, стихотворения которого часто встречались на страницах «Отечественных записок». Интересно еще и то, что как от реального училища, так и от классической гимназии возлагали венки на гроб Ивана Сергеевича инспектора этих заведений; директора же всех псковских гимназий, училищ и семинарий даже не были в числе публики. Не знаем, говорит корреспондент, занимаемые ими посты или несочувствие к таланту и направлению покойного писателя помешали им присутствовать на его проводах чрез Псков. Это тем более бросалось в глаза, что представители местной администрации, городского и земского самоуправления — все сочли долгом присутствовать в вокзале и поклониться праху Тургенева. От заведомого отсутствия директоров приключилось нечто грустное: на проводах Тургенева городовых было больше, чем представителей от учебных заведений». Во всяком случае, справедливость требует признать, что ни один город на пути не был поставлен в такое невыгодное для встречи положение, как Псков, — именно вследствие вышеуказанных причин: поздний час ночи, холод, дождь, отдаление от станции и т. д. — и тем не менее в вокзале оказалось весьма большое число усердных почитателей памяти Тургенева; по всему было видно, что мы находимся уже в самых нед-

рах России, где язык Тургенева считает за собою целую тысячу лет!

В два часа ночи мы тронулись в путь, а в шестом утра подъезжали к г. Луге. О дожде не было больше и помину; на востоке узкою, но чрезвычайно яркою полосою горела заря, предвещая конец бедственной погоды. Ровно в 6 ч. утра мы подошли к станции, наполненной уже народом; впереди стояло в траурном облачении духовенство, и после краткого разговора одного из священников с кем-то из начальствующих — содержание самого разговора я расслышать не мог, так как был занят приведением в порядок внутренности траурного вагона, — была совершена первая лития в пути. Когда после литии я возвращался на свое место, ко мне обратился кто-то из служащих при железной дороге; он только что получил из Гатчины вопрос: может ли быть отслужена лития во время остановки поезда? Я отвечал, что это от меня вовсе не зависит, но он может телеграфировать то, что он сейчас видел сам; признанное возможным в Луге, вероятно, будет возможно и в Гатчине. Не доезжая до Гатчины, на Сиверской станции, я должен был еще раз открыть траурный вагон, уступая просьбам собравшейся тут публики; в числе прочих оказался и художник И. Н. Крамской, ехавший в город; я пригласил его с собою в траурный вагон, где мы и остались на полчаса между двух небольших станций, с целью внутри вагона устроить на ходу поезда все так, чтобы в Петербурге можно было, не теряя времени, вынуть гроб и венки из вагона.

К Гатчине мы подъехали около 9 ч. утра: вся платформа была густо заставлена народом, а в том месте, где должен был остановиться траурный вагон, были поставлены в порядке воспитанники гатчинского института и воспитанницы одного из местных учебных заведений. Впереди всех стояло, как и в Луге, духовенство в облачении и с хором певчих. Духовенство выразило желание подняться внутрь вагона — и затем немедленно началась лития. К сожалению, времени, вероятно, было так мало, что опять скоро раздался один за другим второй и третий звонок, и священники, продолжая службу, должны были начать один за другим спускаться на платформу. Я едва успел задвинуть дверь траурного вагона и мог благополучно попасть в свой вагон уже на ходу поезда благодаря ловкости кондуктора, ожидавшего меня на ступеньке с открытою дверью вагона. На последней,

Александровской станции, у Царского Села, мы оставались целых восемь минут. Там я успел прикрепить к внешней стороне вагона венок, по которому на петербургской станции распорядители могли бы издалека отличить траурный вагон от багажных вагонов, между которыми он помещался, и таким образом направиться прямо туда, куда следовало.

Во вторник, 27 сентября, утром в 10 ч. 20 м. — нормальное время прибытия заграничного пассажирского поезда — траурный вагон пошел на станцию. Вся левая платформа, у которой остановился поезд, была очищена от публики, а на правой помещалось духовенство и небольшая группа лиц, допущенных распорядителями похоронной комиссии, так что, при громадном пространстве платформы, и правая сторона казалась почти пустою. Не прошло и минуты, как траурный вагон был отстегнут от прочих вагонов и после небольшого маневра перешел на другие рельсы; машина дала задний ход, и мы подошли вплотную к противоположной платформе. Началась торжественная лития — третья в это утро, затем были вынуты из вагона все венки, перенесен гроб и уставлен на катафалке; около 11 часов утра тронулась в стройном порядке печальная процессия, ярко освещенная неожиданно появившимся в этот день солнцем — в последний путь, далеким началом которого была, за неделю пред тем, процессия в Париже. Звеном, соединяющим обе эти процессии, парижскую и петербургскую, должна была служить торжественная встреча тела И. С. Тургенева в Берлине, от лица немецкой литературы, проводы в русских городах, лежавших по пути от границы до Петербурга: по рассказам иностранных провожатых, подтвержденным на деле, я объяснил, почему не могла состояться встреча тела в Берлине, несмотря на то что все было приготовлено для нее; будучи же сам очевидцем встречи тела на русской границе и проводов его до Петербурга, я счел долгом извлечь из моих воспоминаний все то, что может дать хотя бы слабое понятие о признательном внимании и благоговейном отношении русской провинции к памяти и литературным заслугам почившего. Тут нельзя даже было заметить различия между окраинами и коренною Россией; все сошлись в глубоком уважении к имени того, кто силою одного таланта поставил русский язык и русскую мысль на новую для них высоту.

КОММЕНТАРИИ

ТУРГЕНЕВ ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

П. Д. БОБОРЫКИН

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921), писатель и журналист, автор обширных мемуаров о литературной жизни России и Западной Европы, познакомился с Тургеневым в 1863—1864 годах, в трудное для писателя время, наступившее после разрыва с «Современником» и выхода в свет «Отцов и детей», которые подверглись критике и «справа» и «слева».

В письме к П. В. Анненкову от 28 сентября/10 октября 1863 года Тургенев просит уведомить его, «что за человек П. Д. Боборыкин, новый издатель «Библиотеки для чтения», и каков этот журнал под его редакцией?» *.

Прожив большую интересную жизнь, П. Д. Боборыкин знал и видел многих замечательных современников. Герои его мемуаров — выдающиеся писатели, художники, общественные деятели России и Западной Европы второй половины XIX и начала XX века: Герцен, Бакунин, Салтыков-Щедрин, Ренан, Л. Толстой, Антон Рубинштейн, Чехов... Тургенев занимает в этом ряду одно из значительных мест: ему отведены страницы в книге Боборыкина «За полвека», в очерке «У романистов. Парижские впечатления» (1878). Полностью посвящены Тургеневу три очерка, имеющие мемуарный характер: «Памяти Тургенева», «Тургенев дома и за границей» (1883), «Печальная годовщина. Из воспоминаний о Тургеневе» (1908).

В 1864—1882 годах Боборыкин встречался с Тургеневым и в России, и за границей. Они оба представляли русских писателей на Международном литературном конгрессе в Париже в 1878 году.

Знакомство Тургенева с Боборыкиным не прерывалось в течение восемнадцати лет, но не перешло ни в товарищество, ни в довери-

* *Тургенев, Письма,* т. V, с. 161.

тельные приятельские отношения. По словам Боборыкина, «от Тургенева... веяло холодком». «Я не помню, — рассказывает мемуарист, — чтобы он когда-либо (и впоследствии, при наших встречах) имел обыкновение сколько-нибудь входить в ваши интересы. Может быть, с другими писателями, моложе его, он иначе вел себя, но на наших сношений (с 1864 по 1882 год) я вынес вот такой именно вывод» *.

Воспоминания о Тургеневе, написанные после его смерти, но содержат каких-либо новых фактов, в них (и прежде всего это относится к очерку «Тургенев дома и за границей») ценно другое: стремление мемуариста передать масштаб личности Тургенева, ее редкое своеобразие. «Нам никак не следует забывать, — писал Боборыкин, — что через Тургенева мы приходим в общение с самыми лучшими людьми образованного мира. Он один только из русских сделался достоянием всего Старого и Нового Света. У немцев, у англичан, у американцев (не говоря уже о французах) он теперь свой человек... популярность Тургенева основана на таких высоких мотивах, что в нем даже враги нашего отечества видят выражение лучших сторон русской интеллигенции, самых светлых и двигательных упований нашего общества...» **

Мемуарный очерк «Тургенев дома и за границей» впервые опубликован в газете «Новости и биржевая газета», 1883, № 177, 27 сентября. Текст печатается по изданию: П. Д. Боборыкин, Воспоминания, т. 2. М., «Художественная литература», 1965.

[1] Мысль «о значении в творчестве местностей» — одна из краеугольных в эстетической концепции Ап. Григорьева — была им развита в статье «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо». Имея в виду отношение художника к природе, критик называет Тургенева, Фета, Полонского, Тютчева, Л. Толстого «отзывами известной местности» (Ап. Григорьев. Литературная критика. М., «Художественная литература», 1967, с. 246).

[2] В 1864 г. Тургенев приехал в Петербург 4/16 января и пробыл там до конца февраля — начала марта.

[3] См. в т. 1 наст. изд. воспоминания А. Я. Панаевой, Н. Г. Чернышевского, Г. З. Елисеева и Е. Н. Водовозовой и коммент. к ним.

[4] Мысль перевести «Дон-Кихота» Сервантеса на русский язык возникла у Тургенева еще в 1857 г.

[5] В 1880 г. Тургенев приезжал в Москву дважды: 24 мая/5 июня и 10/22 июня.

---

* П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. 2, с. 12.
** Там же, с. 371.

[6] В предисловии к немецкому переводу «Отцов и детей» Тургенев писал: «Я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не чтить ее как мое второе отечество» (Карлсруэ, 1869). См. также *Тургенев, Соч.,* т. XV.

[7] Боборыкин посетил Тургенева в 1868 г. Об этой встрече с писателем он рассказал в девятой главе книги «За полвека» (П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. 2, с. 8—15).

[8] В «Вешних водах», создававшихся после окончания франко-прусской войны, были сильны антипрусские тенденции. «Как проглотят немецкие читатели г-на Клюбера и прочие неприятности, сказанные их расе?» — беспокоился Тургенев, узнав о предстоящем переводе повести на немецкий язык (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 226).

[9] Об отношениях Тургенева с немецкими писателями см. в воспоминаниях Л. Пича.

[10] Имеются в виду корреспонденции о франко-прусской войне, публиковавшиеся в «Санкт-Петербургских ведомостях» в августе — сентябре 1870 г. (*Тургенев, Соч.,* т. XV). Убежденный противник наполеоновского режима, Тургенев был сторонником поражения Франции Наполеона III в войне с Германией.

[11] Речь идет о предисловии Тургенева к роману французского писателя Максима Дюкана «Утраченные силы» (1868). См. *Тургенев, Соч.,* т. XV.

[12] О взаимоотношениях Тургенева и Флобера см. воспоминания М. Ковалевского, Б. Фори. См. также работы П. Р. Заборова и Н. Н. Мостовской в сб.: «Тургенев и его современники», Л., 1977, с. 129—136; с. 154—161). В очерке «У романистов» Боборыкин более подробно пишет о Тургеневе — «покровителе Золя»: «Тургенев добыл для Золя постоянную работу в «Вестнике Европы» с ежемесячным определенным содержанием, что позволило автору «Ругон-Маккаров» освободиться от тисков своего издателя» (П. Д. Боборыкин, Воспоминания, т. 2, с. 188). Золя на всю жизнь сохранил благодарность к Тургеневу: «Я не забуду, что это он, так сказать, представил меня России в 1875 году, в самый решительный момент моей литературной баталии... Ни одна газета не давала мне места, я голодал, меня грязнили со всех сторон, и вот тогда-то он ввел меня в эту великую Россию, где с тех пор полюбили меня». Этот отзыв о Тургеневе записан со слов Золя французским журналистом Жюлем Гюре («Новое время», 1893, 28 октября/9 ноября, № 6346). Золя сотрудничал в «Вестнике Европы» в течение пяти лет. Здесь были опубликованы его статьи под общим названием «Парижские письма» и романы «Проступок аббата Мурэ» (1875, № 1—3), «Его превосходительство Эжен Ругон» (1876, № 1—4). С развитием жанра романа писатель связывал расцвет литературы. Тургенев, по словам его современника, известного французского критика и исследователя ли-

тературы Поля Бурже, «питал религиозное чувство к искусству романиста. Он видел в нем все будущее современной литературы...» (*ЛН,* т. 76, с. 700—701).

[13] Тургенев перевел две повести Флобера: «Легенду о св. Юлиане Милостивом» («Католическая легенда о Юлиане Милостивом») и «Иродиаду» («Вестник Европы», 1877, № 4—5). Говоря о трех повестях, якобы переведенных Тургеневым, Боборыкин, возможно, имел в виду «Песнь торжествующей любви», оригинальное произведение писателя, посвященное Гюставу Флоберу.

[14] О взаимоотношениях Тургенева и Мопассана см. наст. т., с. 258—261.

[15] Тургенев завещал Полине Виардо все свое движимое имущество (см.: М. А. Арзуманова. Завещание И. С. Тургенева. — *Тург. сб., Орел, 1960,* с. 264—286).

[16] Парижская библиотека Тургенева насчитывала свыше двух тысяч томов (М. П. Алексеев. По следам рукописей Тургенева во Франции. — «Русская литература», 1963, № 2, с. 56—57).

[17] О Тургеневе — участнике Международного конгресса, см. воспоминания М. Ковалевского.

[18] О торжественных встречах Тургенева в Москве и в Петербурге в 1879 г., во время его пребывания в России с 9/21 февраля по 21 марта/2 апреля, см. воспоминания М. Ковалевского.

[19] Заметка П. Д. Боборыкина появилась в «Русских ведомостях», № 42, 17 февраля 1879 г.

[20] Литературно-музыкальное утро в Петербургском клубе художников состоялось 27 февраля ст. ст. Тургенев читал «Бурмистра». «...Должен сознаться, что никогда еще я не был предметом таких , — простите мне это слово! — *оваций...»* — писал он Полине Виардо о встрече, устроенной ему слушателями (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 30, 369).

[21] Имеется в виду речь студента П. П. Викторова. См. о ней в воспоминаниях М. Ковалевского.

[22] Прощальный обед в Эрмитаже в честь Тургенева состоялся 6/18 марта 1879 г.

Е. Я. КОЛБАСИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

Елисей Яковлевич Колбасин (1833—1885), журналист, сотрудничавший в «Современнике», познакомился с Тургеневым в 1850—1851 годах. Начинающий, еще очень молодой литератор с глубочайшим уважением и восхищением относился к известному уже тогда писателю. «Более всего я жаждал познакомиться с Тургеневым и

Некрасовым» *, — писал он позднее в своих воспоминаниях. Во время частых отъездов Тургенева за границу Е. Я. Колбасин, который стал своего рода секретарем писателя, исполнителем его поручений, отправлял ему подробные письма, в них он сообщал о событиях русской литературной жизни, а с сентября 1856 года эти письма превратились в своеобразные документальные «хроники». Сам Тургенев называл их «ежемесячными отчетами» и рассматривал как обычную литературную работу, за которую выплачивал Колбасину гонорар.

Л. П. Шелгунова вспоминает: «Увлекающийся Тургенев страшно носился с этим Колбасиным — еще молодым человеком — и предсказывал, что из него выйдет гениальный человек. Тургенев всегда и горячо приветствовал начинающих писателей» **. Колбасин был автором небольших беллетристических произведений, печатавшихся в «Современнике», «Библиотеке для чтения», «Атенее». Очерк «Академический переулок» («Библиотека для чтения», 1858, август) он посвятил Тургеневу.

Воспоминания Е. Я. Колбасина — единственное свидетельство современника о встрече Тургенева с Чарльзом Диккенсом в 1859 году. Существует предположение П. В. Анненкова, что Тургенев познакомился с английским романистом только в 1863 году в Париже, на диккенсовских чтениях. Но нет оснований не доверять Колбасину: почти все, о чем он вспоминает, подтверждается письмами Тургенева — и сама поездка в Лондон, и визит к Герцену, и переданный со слов Тургенева рассказ о торжественном обеде в Обществе английского литературного фонда, на котором присутствовал английский историк Томас Карлейль. Кроме публикуемого в настоящем издании мемуарного очерка, Колбасин на склоне жизни написал воспоминания «Тени старого «Современника» ***, где несколько иначе оценивает Тургенева. Отдавая должное талантливости, знаниям, авторитету Тургенева, мемуарист всецело принимает сторону Некрасова, Чернышевского и Добролюбова в их конфликте с Тургеневым.

Воспоминания Е. Я. Колбасина о поездке с Тургеневым в Англию были впервые опубликованы в газете «Одесский вестник», 1885, № 103, 9 мая. Печатаются по тексту первой публикации.

[1] Е. Я. Колбасин и Тургенев выехали 20 мая/1 июня 1859 г. 9/21 июня 1859 г. Тургенев писал М. А. Маркович: «Я ездил в Лондон, пробыл там неделю — и каждый день видел Герцена... Я возил

* Современник», 1911, № 8, с. 222.

** Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания, т. II. М., «Художественная литература», 1967, с. 89.

*** «Современник», 1911, № 8, с. 221—240.

к нему... Колбасина; тот чуть не сошел с ума от восторга» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 303).

[2] Очень похожие воспоминания о том, как раздражали Тургенева некоторые черты английского быта, чисто английский педантизм, оставил В. А. Соллогуб (А. В. Соллогуб. Воспоминания. М., 1931, с. 445—448).

[3] Точных сведений о времени знакомства Тургенева с Ч. Диккенсом не существует. Когда завязывались его знакомства с деятелями английской культуры (1857 г.), он, видимо, еще не был представлен Диккенсу. «...Я был в Англии, — писал Тургенев, — и, благодаря двум-трем удачным рекомендательным письмам, сделал множество приятных знакомств, из которых упомяну только Карлейля, Теккерея, Дизраели, Макколея...» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 123). Возможно, что Тургенев впервые встретился с Диккенсом в следующем, 1858 г., когда приезжал в Лондон как почетный гость Общества английского литературного фонда. В мартовском номере журнала Диккенса «Household Words* («Вседневное слово») за 1855 г. были опубликованы в сокращенном переводе несколько очерков из «Записок охотника»: «Бурмистр», «Льгов», «Петр Петрович Каратаев», «Певцы». В 1862 г. Тургенев посылает Диккенсу французское издание «Записок охотника» в переводе Делаво (1858) с дарственной надписью: «Чарльзу Диккенсу от одного из его самых больших почитателей». В 1869 г. Тургенев просил своего друга В. Рольстона послать Диккенсу «Дворянское гнездо» (в английском переводе Рольстона).

[4] Об одном из визитов Тургенева и Колбасина к Герцену вспоминает Н. А. Тучкова-Огарева (см. т. 1 наст. изд., с. 214). Герцен также писал об этих встречах 31 мая/12 июня 1859 г.: «Был здесь Тургенев... все так же умен и ужасно тешил нас рассказами» (*Герцен,* Т. XXVI, с. 273).

[5] Поэма Н. П. Огарева «Юмор» была издана в Лондоне в 1857 г. с предисловием Герцена (первые две части).

[6] С Томасом Карлейлем Тургенев познакомился в мае—июне 1857 г. Тургенев был принят в доме Карлейля, где знали и любили его творчество (о Тургеневе и Карлейле см. ст. М. П. Алексеева в *ЛН,* т, 61, с. 229—231, а также в кн.: «Неизданные письма иностранных писателей XVIII—XIX вв.». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960, с. 317). В. П. Боткину принадлежат переводы избранных очерков английского историка, публиковавшиеся в 1855—1856 гг. в «Современнике»: «О героях и героическом в истории, соч. Т. Карлейля», «Героическое значение поэта. Дант. Из Т. Карлейля» (статья первая). «Шекспир» (статья вторая).

[7] 16/28 апреля 1858 г. Тургенев в Лондоне присутствовал на торжественном обеде в Обществе английского литературного фонда

под председательством лорда Пальмерстона (см. письмо к А. В. Дружинину от 3 мая н. ст. 1858 г.). По просьбе Дружинина, который был инициатором создания в России Литературного фонда, Тургенев написал статью «Обед в Обществе английского литературного фонда. Письмо к автору статьи «О литературном фонде», которая была опубликована в «Библиотеке для чтения» (1859, № 1). Разговор Тургенева с Теккереем, приведенный Колбасиным, не мог происходить на этом обеде, так как английский писатель там не присутствовал (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 233).

[8] По всей вероятности, Генри Ривс, издатель «Эдинбургского обозрения». Его имя Тургенев называет в статье «Обед в Обществе английского литературного фонда...».

[9] В середине XIX в. творчество Теккерея было широко известно в среде русской интеллигенции. Им увлекался Некрасов, который называл Теккерея одним из любимых своих писателей (*Некрасов,* т. X, с. 305).

[10] Почетное звание доктора гражданского права было присвоено Тургеневу в июне 1879 г. главным образом как автору «Записок охотника», книги, которая прославилась своим антикрепостническим пафосом. «В письме из Оксфорда сказано, что это воздаяние за мои труды по освобождению крестьян», — сообщал Тургенев П. В. Анненкову (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 84).

[11] Всемирная промышленная выставка, о которой пишет Колбасин, открылась в Вене 1 мая и. ст. 1873 г. «Я прибыл в Вену в прошлый четверг по дороге в Карлсбад... — писал Тургенев А. Ф. Онегину 4/16 июня, — а в пятницу я, выходя из кареты, оступился и так сильно расшиб себе колено, что должен был слечь в постель... вот как я видел Венскую выставку!» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 112). В Карлсбад Тургенев приехал 8/20 июня 1873 г.

[12] См. воспоминания Бойесена в наст. т. и коммент. 2 к ним.

Н. В. ЩЕРБАНЬ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

Николай Васильевич Щербань (1834—1893), журналист, публиковавшийся в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике», познакомился с Тургеневым в Париже в 1860—1861 годах; в то время Щербань был редактором газеты «Le Nord», негласного органа русского правительства, которая издавалась в Брюсселе.

Щербань, подобно Е. Я. Колбасину, исполнял обязанности литературного секретаря писателя. Тургенев поручил ему провести корректуру романа «Отца и дети», печатавшегося в «Русском вест-

нике». Воспоминания Щербаня интересны прежде всего тем, что из них мы узнаем некоторые подробности о первом чтении Тургеневым романа, о дальнейшей авторской работе над рукописью «Отцов и детей». Мемуарист рассказывает также о русском окружении писателя в Париже.

В воспоминаниях Щербаня ощутима консервативная позиция их автора — постоянного сотрудника «Русского вестника». Мемуарист порою акцентирует только резкие отзывы Тургенева о публицистике «Современника», о Добролюбове, между тем как отношение писателя к ведущему критику журнала было сложным и далеко не однозначным (см. в т. 1 наст. изд. коммент. к воспоминаниям Н. Г. Чернышевского).

Впоследствии отношение Тургенева к Щербаню круто изменилось, по всей вероятности из-за солидарности последнего с М. Н. Катковым, который цинично утверждал, что все поправки в тексте «Отцов и детей» были сделаны с согласия автора, между тем как они были сделаны под сильным нажимом Каткова, вопреки воле Тургенева (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 325, 662).

Публикация Н. В. Щербаня «Тридцать два письма И. С. Тургенева и воспоминания о нем (1861—1875)» впервые появилась в «Русском вестнике» (1890, № 7—8). В настоящем издании печатается только собственно мемуарная часть — по журнальному тексту.

[1] Тургенев рекомендовал через Щербаня французского прогрессивного журналиста Феликса Морнана в качестве парижского корреспондента «Русского вестника». «...Русский вестник, понятно, не мог открыть свои страницы революционеру... сподвижнику полонизма», — пишет Щербань. Эти соображения редакции журнала он и был уполномочен передать Тургеневу «от имени М. Н. Каткова» («Русский вестник», 1890, № 7, с. 3—4).

[2] Речь идет о бонапартистском перевороте во Франции в июле 1851 г.

[3] Тургенева и В. П. Боткина — знатока литературы, живописи и музыки — связывали многолетние дружеские отношения. Писатель видел в нем «бесценного товарища и советчика». Однако, несмотря на давнюю привязанность к другу своей молодости, Тургенев нередко вступал с ним в полемику: эстетство Боткина, особенно развившееся в последние годы его жизни, раздражало Тургенева. О взаимоотношениях с В. П. Боткиным см. в сб.: «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851—1869». М.—Л., «Academia», 1930.

[4] Э. Шарьеру принадлежал первый французский перевод «За-

писок охотника» (1854), изобилующий неточностями, буквалистскими оборотами, которые нередко искажали смысл русского подлинника. Свое недовольство переводом Тургенев высказал в печати (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 129—131).

[5] Луи Виардо с помощью Тургенева много сделал для популяризации русской литературы во Франции. Он переводил сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева. Полина Виардо, не принимая непосредственного участия в переводческой деятельности своего мужа, часто бывала первой слушательницей новых произведений Тургенева и их французских переводов.

[6] См. воспоминания Н. Г. Чернышевского в т. 1.

[7] См. наст. т., с. 435—436.

[8] Возможно, речь идет об анонимной статье, напечатанной в «Современной летописи» (1862, № 18) под рубрикой «Диковинки русской журналистики».

[9] Под инициалами А. Ю. выступал Ю. К. Арнольд, искусствовед, который в одной из своих рецензий, напечатанных в «Северной пчеле», сделал следующее заявление, возмутившее Тургенева: «...Г. Некрасов жертвует лучшими талантами былого «Современника», гг. Тургеневым, Дружининым, Писемским, Гончаровым и Авдеевым, и издает «Современник» как орган наших обличительных и политико-экономических насущных потребностей...» (№ 316, 22 ноября 1862 г.). Мемуарист не прав, утверждая, что письмо Тургенева к издателю «Северной пчелы» так и не увидело света. Оно было напечатано в № 334 от 10 декабря при содействии Анненкова.

[10] О встречах в доме Милютиных в Париже сохранились записи в дневнике Ф. Н. Тургеневой. О встрече 3 марта 1863 г., посвященной годовщине со дня объявления манифеста, Ф. Тургенева пишет особенно подробно (см. *ЛН,* т. 76, с. 364—366). С Н. А. Милютиным, одним из главных деятелей, осуществлявших подготовку крестьянской реформы, Тургенева связывали давние дружеские отношения. По словам М. А. Милютиной, ее муж особенно ценил общество старого декабриста Н. И. Тургенева и И. С. Тургенева («Прометей», т. 2, М., «Молодая гвардия», 1967, с. 335—336).

[11] Не будучи убежденным сторонником отделения Польши от России, Тургенев не позволял себе «антипольских выступлений». «Ни одного — ни обидного, ни насмешливого слова не вышло из моих уст насчет поляков — хотя бы уже потому, что я еще не потерял всякого понимания «трагического»...» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 146).

[12] О лондонском периоде см. в воспоминаниях Поля Виардо в наст. томе.

ВСТРЕЧА ТУРГЕНЕВА С ЛАССАЛЕМ
(По воспоминаниям М. П. С— вой)

Воспоминания М. П. С—вой о Тургеневе * могли принадлежать, как считают некоторые исследователи творчества писателя, дочери декабриста П. Н. Свистунова, Магдалине Петровне Свистуновой. Писательница и музыкантша, учившаяся у Ф. Листа, она, возможно, встречалась с Тургеневым в шестидесятые—семидесятые годы за границей. Сохранилась одна записка Тургенева к Свистуновой (1880 г.). Однако в самом тексте мемуаров есть указания, которые заставляют усомниться в авторстве Свистуновой: по словам мемуаристки, в 1883 году, когда она писала свои воспоминания, ей минул сорок восьмой год, а М. П. Свистуновой в то время было тридцать пять лет.

Воспоминания М. П. С—вой содержат интересные и, по всей вероятности, достоверные сведения о писателе. В тургеневской летописи не нашла отражения поездка Тургенева в Швейцарию в 1864 году, о которой рассказывается в мемуарах; однако она могла состояться между 23 июля/4 августа и 22 августа/3 сентября 1864 года. 23 июля/4 августа Тургенев писал брату (Н. С. Тургеневу), приглашая его в Баден-Баден, где он в то время жил. Следующее же известное нам письмо Тургенева было отправлено из Баден-Бадена только 22 августа/3 сентября 1864 года (к Е. Е. Ламберт). Возможно, что Тургенев ездил в Швейцарию в этот промежуток времени. Поездка в Женеву, где было много политических эмигрантов, вероятно, держалась в секрете. Тургенев только что вернулся из Петербурга, где давал показания в сенате по «Делу 32-х», обвиняемых в связях с политическими эмигрантами, и какое-то время был, естественно, очень осторожен.

Видный деятель немецкого рабочего движения Фердинанд Лассаль привлекал внимание Тургенева. Писатель знал его труды, был знаком с его экономическими теориями. Известный в шестидесятые годы спор Лассаля и Шульце-Делича о роли рабочих ассоциаций упомянут в «Дыме». Прочитав в 1877 году «Исповедь» Лассаля, Тургенев пишет своим друзьям — П. В. Анненкову, Полонскому, Стасюлевичу — о том, как поразило его это «удивительное» произведение, подобного которому «я ни в одной литературе не знаю» **.

Лассаль был убит летом 1864 года на дуэли с Янко Раковицем, валахским дворянином, женихом Елены Деннигес. Упоминание

---

* Сообщены рецензентом «Одесского вестника» С. Т. Герцо-Виноградским (Г-в).

** *Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 226.

в мемуарах о гибели Лассаля также подтверждает дату встречи М. П. С—вой с Тургеневым в 1864 году.

М. П. С—вой принадлежат еще одни воспоминания о Тургеневе, названные «Происхождение «Записок охотника» *. В них рассказывается о трагической смерти доезжачего Тургенева во время охоты на волков. Это событие должно было быть описано в одном из очерков, который писатель предполагал назвать «Незадача» (см. письмо Тургенева к Анненкову 25 октября/6 ноября 1872 г. — *Тургенев, Письма,* т. X, с. 15).

Воспоминания М. П. С—вой впервые опубликованы в газете «Новости и биржевая газета», 1883, № 157, 160, 7 и 10 сентября.

Печатается по тексту первой публикации.

Н. А. ОСТРОВСКАЯ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ТУРГЕНЕВЕ

Наталия Александровна Островская (1840—?), урожденная Татаринова, принадлежала к тому типу русских просвещенных женщин, отличавшихся радикальными взглядами, тонким и ироничным умом, — качествами, которые особенно привлекали Тургенева. Ее биография не совсем обычна. Отец мемуаристки А. Татаринов, слывший в николаевскую эпоху вольнодумцем и человеком «опасным», пригласил в качестве преподавателя истории литературы своей дочери Н. А. Добролюбова, что и сыграло огромную роль в формировании личности автора мемуаров.

Воспоминания о Тургеневе — лишь часть мемуарного произведения, задуманного, по словам внука мемуаристки, как обширнейшая семейная хроника «аксаковского типа». Дочь А. Татаринова, обладавшего большими связями, имела возможность в доме отца наблюдать людей из самых разных слоев русского общества середины прошлого века — представителей дворянской интеллигенции, воспитанников немецких университетов, друзей Герцена и Огарева.

С Тургеневым мемуаристка познакомилась, по всей вероятности, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, в то время, когда она была женой П. М. Грибовского — приятеля Герцена, Анненкова, Огарева. Герцен рекомендовал Тургеневу Грибовского как «отличного соотечественника». Тургенев в письме к Людвигу Пичу замечал, характеризуя Грибовского: «...это порядочная, прямая натура, так же, как и его жена» ***

---

* «Новости и биржевая газета», 1883, № 177, 27 сентября.
** *Тургенев, Письма,* т. X, с. 399.

Воспоминания Н. А. Островской исследователи русской классической литературы относят к числу наиболее достоверных и содержательных. Вот как оценивает мемуары Островской К. И. Чуковский, собиравшийся их издать полностью: «Я только что прочел ее воспоминания, и ни одной тусклой страницы. О ком бы она ни писала — о цензоре Бекетове <...>, о Добролюбове, Островском, Тургеневе — все так и сверкает у нее под пером <...>. И еще одно достоинство воспоминаний Татариновой; они правдивы почти в каждой строке. Я проверял по другим материалам ее воспоминания о Тургеневе и был поражен, до какой степени точна ее память...» * И еще один важный штрих, упомянутый в небольшой статье В. Метальникова о личности его бабушки: «У Татариновой действительно был литературный талант, ум у нее был насмешливый <...> Добролюбов называл ее «женский Щедрин» **.

После смерти М. П. Грибовского Наталия Александровна вышла замуж за брата драматурга А. Н. Островского — Андрея Николаевича Островского.

Впервые воспоминания Островской были опубликованы неполностью и с цензурными купюрами в газете «Волжский вестник» (1884, № 143, 148, 154, 160, 2, 9, 16, 23 декабря; 1855, № 5 и 11, 6 и 13 января). В 1915 году напечатаны по рукописи, «со многими дополнениями», дочерью автора мемуаров М. А. Островской. Воспоминания, и сожалению, напечатаны не только с «дополнениями», которые, по всей вероятности, были написаны самим публикатором, но и подверглись редактуре, во многом лишившей воспоминания самобытности. Впервые об этом написал В. А. Громов в двух своих публикациях («Русская литература», 1973, № 2, с. 138—144; сб. «Тургенев и его современники», Л., 1977, с. 190—212).

В настоящем издании воспоминания впервые печатаются по беловой рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 509, оп. 2, ед. хр. 19).

[1] Грибовские приехали в Баден-Баден скорее всего осенью 1865 г. В мемуарах упоминается о начале работы Тургенева над романом «Дым», относящемся к ноябрю 1865 г.

[2] Роман «Подводный камень» (1860) Авдеев посвятил И. С. Тургеневу.

[3] *«A tout venant je crache»,* или «Бог не выдаст — свинья не съест» — журнал русских студентов в Гейдельберге, выходивший в шестидесятых годах. Его редактором был Е.-В. де Роберти. В примечании «От редакции» говорилось: «Подписываться на «Бог не

* *ЦГАЛИ,* ф. 496, ед. хр. 38.

** Там же.

выдаст — свинья не съест» нельзя. Редакция сама назначает подписчиков». Тургенев входил в их число.

[4] Островская не совсем точно передает историю событий, предшествующих вызову Тургенева в Сенат по так называемому «Делу 32-х». В мае 1862 г. М. А. Бакунин при встрече с Тургеневым в Лондоне обратился к нему с просьбой помочь переправить его жену — А. К. Бакунину — из Иркутска, где она оставалась после побега мужа из Сибири летом 1861 г., в Тверскую губернию к его родственникам. Об этом же он просил Тургенева в письме от 23 октября н. ст. 1862 г., на что Тургенев отвечал ему: «Я *немедленно приступлю* к исполнению того, что ты желаешь насчет твой жены» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 60). По приезде в Россию Тургенев исполнил свое обещание, получил официальное разрешение на выезд жены Бакунина, добился свидания с его братьями (заключенными в ту пору в Петропавловскую крепость), выяснил у них возможность приезда в их семью А. К. Бакуниной, ссудил последнюю необходимой суммой денег (см. подробно в «Ответах Тургенева на «допросные пункты». *Письма,* т. V, с. 395—396).

[5] А. И. Ничипоренко, привлекавшийся по «Делу 32-х», сообщил в своих показаниях, что через Тургенева он передал письмо к Н. А. Серно-Соловьевичу и «несколько десятков экземпляров воззваний, перепечатанных из «Колокола», о пожертвованиях в «общий фонд», средства которого предназначались для помощи политическим эмигрантам и на революционную пропаганду (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 696). Ничипоренко выведен в романе Н. С. Лескова «Некуда» под фамилией Пархоменко.

[6] Официальный вызов в Сенат (а не в III Отделение) был вручен Тургеневу 22 января/3 февраля 1863 г. Однако до этого П. В. Анненков в письме от 1/13 января 1863 г. предупредил Тургенева о «предполагаемом вызове в Россию» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 537).

[7] В 1862—1868 гг. русским послом в Париже был барон А. Ф. Будберг.

[8] 25 января/6 февраля 1863 г. Тургенев сообщал Анненкову: «Меня действительно требуют назад в Россию. Немедленно я ехать не могу... а потому, с одобрения нашего здешнего посланника, написал письмо государю, в котором прошу его сделать мне милость и велеть выслать мне допросные пункты...» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 89). Письмо Александру II было составлено Тургеневым с помощью Н. А. Милютина, о чем свидетельствует запись в дневнике М. А. Милютиной: «Николай Алексеевич принял живейшее участие в составлении и отправке этого письма...» («Прометей», т. 2, М., 1967, с. 336).

[9] Среди осужденных по «Делу 32-х», назвавших на следствии людей, связанных с политической эмиграцией, был А. И. Ничипорен-

ко. «Ничипоренко всех и все выдает...» — писал Тургенев о его поведении на допросах (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 95).

[10] В беловой рукописи роману «Отцы и дети» был предпослан эпиграф, смысл которого близок к приведенному Островской афоризму: *«Молодой человек человеку средних лет*: «В вас было содержание, но не было силы». *Человек средних лет:* «А в вас — сила без содержания» (Из современного разговора)» (*Тургенев, Соч.,* т. VIII).

[11] В июле 1863 г. Тургенев сообщил Герцену: «Я прекратил переписку с тобою... Наши мнения слишком расходятся» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 146). Между тем Тургенев и Герцен до этого времени часто выступали как идейные союзники. Писателей, принадлежавших к поколению сороковых годов, объединяла борьба с крепостным правом, горячее желание «пробудить сознание народа самого и правительства», стремление к демократизации русской общественной жизни. Но в начале шестидесятых годов резко обнаружилась разность идейных позиций Герцена и Тургенева. Они разошлись и в оценке крестьянской реформы, и в отношении к революции, необходимость которой для полного и бескомпромиссного решения крестьянского вопроса в конце концов признавал Герцен, и во взгляде на пути общеевропейского развития (в какой-то мере под влиянием этих споров, в процессе полемики были написаны Герценом «Концы и начала»). Герцен был крайне недоволен пассивным, с его точки зрения, отношением Тургенева к польским событиям, отсутствием, как ему казалось, каких-либо положительных общественных идеалов у Тургенева, своеобразным «нигилизмом устали». Ответы Тургенева на «допросные пункты», где подчеркивалось несогласие с политической платформой лондонской эмиграции, и его письмо Александру II вызвали язвительные и горькие строки Герцена в «Колоколе» о «раскаявшейся седовласой Магдалине», адресованные Тургеневу. Это последнее выступление Герцена привело к разрыву всяких отношений с Тургеневым, который длился до 1867 г.

[12] Тургенев сочувственно относился к освободительной борьбе в Италии, возглавляемой Гарибальди. «А каков Гарибальди? — писал Тургенев, узнав о новом походе вождя итальянских патриотов. — С невольным трепетом следишь за каждым движением этого *последнего* из героев» (*Тургенев, Письмо,* т. V, с. 40).

[13] Мемуаристка передает содержание незавершенного очерка, предназначавшегося для «Записок охотника» под названием «Русский немец и реформатор» (см. *ЛН,* т. 73, кн. первая, с. 25, 34—38).

[14] О неосуществленных замыслах рассказов для книги «Записки охотника» см.: *Тургенев, Соч.,* т. IV, с. 461—478).

[15] О замысле рассказа «Землеед», предназначавшегося для «Записок охотника», Тургенев сообщал П. В. Анненкову в письме от 25 октября/6 ноября 1872 г.: «...В этом рассказе я передаю совер-

шившийся у нас факт — как крестьяне уморили своего помещика, который ежегодно урезывал у них землю и которого они прозвали за то землеедом, заставив его скушать фунтов 8 отличнейшего чернозему. Сюжетик веселенький, как изволите видеть» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 15).

[16] Здесь Тургенев явно перекликается с А. Фетом, имея в виду строки стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...».

[17] Об этом же рассказывает в своих мемуарах о Тургеневе Ан. Половцов. «Трудно сказать, как это делается, — говорил писатель. — ...Сперва начинает носиться в воображении одно из будущих действующих лиц, в основе которых у меня почти всегда лежат реальные лица. Часто лицо, которое занимает в а с , — не главное, а одно из второстепенных, без которого, однако, не было бы и главного» (Ан. Половцов. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — «Царь-Колокол». Иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 г., М., 1866, с, 77).

[18] В литературе о Тургеневе высказывалось предположение, что одним из прототипов Базарова был В. И. Якушкин (см. ст. Н. Чернова «Об одном знакомстве И. С. Тургенева» в журнале «Вопросы литературы», 1961, № 8).

[19] Статья Д. И. Писарева «Базаров» была опубликована в мартовском номере «Русского слова» за 1862 г. Писарев впоследствии не раз возвращался к образу Базарова в статьях «Русского слова»: «Нерешенный вопрос» (1864, № 9—11), «Посмотрим!», «Новый тип» («Мыслящий пролетариат») (1865, № 10). Подробнее о полемике вокруг «Отцов и детей» см. в т. 1 наст. изд. в воспоминаниях Г. З. Елисеева, Е. Н. Водовозовой и коммент. к ним.

[20] В письмо к К. Случевскому Тургенев утверждал, что в Базарове он хотел изобразить «лицо трагическое», обреченное в силу самих жизненных условий «на погибель» (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 379—381).

[21] Из «Египетских ночей» А. С. Пушкина. Начальные строки из второй импровизации итальянца.

[22] Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка».

[23] О своем увлечении в юношеские годы поэзией В. Г. Бенедиктова Тургенев писал Л. Н. Толстому в декабре—январе 1857 г.: «Знаете ли Вы, что я целовал имя Марлинского на обертке журнала — плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова — и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 62). Об отношении к Бенедиктову и ниспровержении былого кумира Тургенев рассказал в «Литературных и житейских воспоминаниях» в очерке «Литературный вечер у Плетнева» (*Тургенев, Соч.,* т. XIV).

[24] План конца «Египетских ночей» Пушкина, о котором рассказывал Тургенев, не сохранился.

[25] Стихотворение Пушкина «Анчар» вызвало беспокойство Бенкендорфа. Поэт был вынужден написать объяснительное письмо шефу жандармов от 7 февраля 1832 г. (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 15. М., Изд-во АН СССР, 1948, с. 10).

[26] О фантастических «видениях» Тургенева рассказывают многие современники. Французский критик Мельхиор де Вогюэ вспоминал: «Во время своих предсмертных страданий, весь пропитанный опиумом и морфием, он передавал своим друзьям странные сны и жалел, что не может записать их: «Это вышла бы любопытная книга», — говорил он» («Иностранная критика о Тургеневе», СПб., 1908, с. 72—73).

[27] Существует еще одно мемуарное свидетельство о том, что Тургенева интересовали черты польского характера, сформировавшегося в атмосфере национально-освободительного движения. Так, в дневнике Е. А. Штакеншнейдер есть любопытная запись, относящаяся к замыслу «Накануне»: «Говорят, что первоначально Тургенев задумал героя — поляка, но по цензурным условиям сделал его болгарином» (Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. М.—Л., «Academia», 1934, с. 265).

[28] Имеется в виду В. Гончарова. А. Н. Луканина записала 1 марта 1878 г. в своем дневнике: «Иван Сергеевич заявил, что к нему приходила «докторша Гончарова» и «оставила ему свою книгу». «Конечно, я не буду читать этих женских болезней, — заметил он и продолжал: — Мне говорили, что она отлично занималась и что по окончании экзаменов профессор Брока поздравлял ее очень горячо» («Северный вестник», 1887, № 2, с. 48).

[29] Брат П. В. Анненкова — Иван Васильевич Анненков, флигель-адъютант.

[30] В воспоминаниях друга Тургенева, немецкого филолога Людвига Фридлендера, также приводится, со слов писателя, рассказ о радостном чувстве освобождения при известии о кончине Николая I («Вестник Европы», 1906, № 10, с. 834).

[31] Рассказ мемуаристки о впечатлении, произведенном на Тургенева Писаревым, совпадает с тем, как характеризовал критика автор «Отцов и детей» в своих «Литературных и житейских воспоминаниях», письмах к друзьям (см. *Тургенев,* Соч., т. XIV, С. 40; *Письма,* т. VI, с. 213). Они познакомились весной 1867 г. в Петербурге. Особенно поразила Тургенева утонченная интеллигентность умного и острого «нигилиста». Писатель с интересом и нетерпением ждал выступлений Писарева, ставшего со времен «Отцов и детей» одним из самых талантливых и глубоких современных истолкователей его творчества. «Что-то скажет Писарев? — замечал Тургенев,

имея в виду «Д ы м». — Для меня это довольно важно — как симптом» (*Тургенев, Письма,* т. VI, с. 273). Тургенев не разделял «некоторых убеждений» Писарева, и это главным образом касалось «нигилистического» отношения критика к поэзии Пушкина (см. «Литературные и житейские воспоминания»). Однако разногласия не мешали ему быть объективным в оценке его дарования и личности. «Я ценю Ваш талант, уважаю Ваш характер», — пишет он критику в 1867 г. (*Тургенев, Письма,* т. VI, с. 254).

[32] О том, что прототипом Рудина явился М. А. Бакунин, друг юности, увлекавшийся вместе с Тургеневым философией Гегеля, «Фаустом» Гете, музыкой Бетховена и Шуберта, писатель не один раз говорил своим друзьям (см. *Тургенев, Письма,* т. V, с. 47; см. также в т. 1 наст. изд. воспоминания Н. Г. Чернышевского и коммент. к ним). В конце тридцатых — начале сороковых годов Михаил Бакунин, по словам П. В. Анненкова, «господствовал над кружком философствующих» (*Анненков,* с. 158). О редком ораторском и пропагандистском даре М. Бакунина рассказывают многие его современники — и прежде всего Герцен. «Бакунин мог говорить целыми часами, спорить без устали с вечера до утра... Этот человек рожден был миссионером, пропагандистом...» (*Герцен,* т. VII, с. 353—354). Психологический портрет М. Бакунина, переданный Островской со слов Тургенева, дополняют воспоминания другого современника, Ан. Половцова, которому писатель также поверял свои впечатления о Бакунине: «Это был поразительный говорун и замечательный диалектик. Он мог развивать самые блестящие теоретические доводы в течение часов и в то же время не был в состоянии рассказать самого простого эпизода... Он жил одними теоретическими построениями. Влияние Бакунина на рабочих объясняется тем, что он был демократ по природе... К тому же он был необыкновенно доступен для всех и каждого» (Ан. Половцов. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — «Царь-Колокол». Иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 г., с. 77). В 1848—1849 гг. М. Бакунин выделялся «среди самых активных практических революционеров» Европы (Е. Тарле). За руководство революционным восстанием в Дрездене он был приговорен немецкими властями к смертной казни, замененной затем пожизненным заключением. Вскоре был выдан австрийскому правительству, которое, в свою очередь, выдало Бакунина русским властям. Бакунин был заключен сначала в Алексеевский равелин Петропавловской крепости (1851—1854 гг.), а потом в Шлиссельбургскую крепость (1854—1857 гг.), откуда был сослан после покаянного письма Александру II на вечное поселение в Сибирь (1857 г.). В 1861 г. Бакунину удалось бежать с каторги — в Японию, оттуда в Америку. С помощью Герцена, ссудившего Бакунина деньгами, он из Нью-Йорка перебирается в Лондон.

После окончания занятий в Берлинском университете Тургенев встречался с Бакуниным дважды: в 1848 г. в Париже, в дни февральской революции, и в 1862 г. в Лондоне, после побега Бакунина из сибирской ссылки. Но в шестидесятые годы Тургенев, не разделяя крайне анархистских убеждений Бакунина, с его точки зрения, вредных, бесплодных, разочаровался в нем как в революционном и политическом деятеле. «...Теперь это Рудин, *не* убитый на баррикаде, — писал о Бакунине Тургенев. — Между нами: это — развалина. Будет еще копошиться помаленьку... Жаль его: тяжелая ноша — жизнь устарелого и выдохшегося агитатора. Вот мое откровенное мнение о нем...» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 47). Тургенев предполагал написать воспоминания о М. А. Бакунине. О том, что такое намерение было у писателя, вспоминает в своих мемуарах и В. Н. Шаталов (см. «Русская литература», 1968, № 1).

[33] Поэма Н. А. Некрасова «Саша» опубликована в первом номере «Современника» за 1856 г. с посвящением Тургеневу. В этой же книжке была напечатана первая часть романа «Рудин». О внутренней полемичности этих двух произведений о «лишнем человеке» см. в ст. М. О. Габель «Творческая история романа «Рудин» (*ЛН,* т. 76, с. 45—40).

[34] «Записки из Мертвого дома» Тургенев относил к лучшим созданиям Достоевского, в которых встречаются картины дантовской силы, «много тонкой и верной психологии» (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 320). Первые главы «Преступления и наказания» Тургенев читал с интересом и отзывался о них как о явлении «замечательном» (*Тургенев, Письма,* т. VI, с. 66). «Повесть Достоевского поразительна», — замечал он в одном из писем (там же, с. 58). Но в целом роман раздражал Тургенева, не разделявшего болезненного, как ему казалось, стремления Достоевского исследовать бездны человеческого характера. Роман «Бесы» был впервые опубликован в «Русском вестнике» в 1871 г. Воспоминания Островской, в которых приводится положительный отзыв Тургенева о «Бесах», особенно интересны в этом смысле, так как свидетельствуют о несомненной объективности писателя: в «Бесах» Достоевский, возмущенный тургеневским «Дымом» (в котором, по его убеждению, писатель «очернил» Россию), вывел Тургенева в пародийном образе Кармазинова. Когда скончался Достоевский, у Тургенева было желание написать о нем статью-некролог. Но затем, отказавшись от этого намерения из-за сложности взаимоотношений с покойным писателем, он думал со временем «сообщить... свои воспоминания» о «столь значительной» личности (*Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 1, с. 53, 55, 58). Замысел остался неосуществленным.

[35] Тургенев был убежден, что «философское резонерство» мешало гармоническому развитию «чистого и могучего художника»,

каким он считал Толстого. «Я твердо верю, что мы еще доживем до того мгновения, когда он первый будет добродушно хохотать над quasi-философской чепухой, которую он напустил... в свой поистине великий роман» («Война и мир»), — писал Тургенев А. А. Фету (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 125—126). Однако его восприятие «Войны и мира» со временем стало более гармоничным, о чем свидетельствует предисловие к английскому изданию толстовской эпопеи (*Тургенев, Соч.,* т. XV). Первый весьма несовершенный перевод «Войны и мира» на французский язык принадлежал кн. И. И. Паскевич (псевдоним М. Паскевич). Опубликован в 1879 г. в Париже.

[36] Впервые произведения Тургенева стали известны в Америке сравнительно поздно, в конце шестидесятых годов, — с того времени, когда появился перевод «Отцов и детей», принадлежавший Юджину Скайлеру (см. обзор Ю. Д. Левина «Новейшая англо-американская литература о Тургеневе». — *ЛН,* т. 76, с. 505 и далее). Возможно, что в воспоминаниях Островской речь идет об американском издателе Генри Гольте (см. о нем в воспоминаниях В. Рольстона). Имя Брет-Гарта названо ошибочно. Подробно об отношении к Тургеневу деятелей американской культуры см. в наст. т., в воспоминаниях Г. Джеймса и X. Бойесена.

[37] Аналогичный «вольный» перевод романа на французский язык был сделан в 1860 г. П.-П. Дауэром. Тургенев, крайне возмущенный бесцеремонностью переводчика, выразил свой протест на страницах газеты «Révue Européenne». Писатель заявил, что изданная повесть имеет с его романом отдаленное сходство только в деталях, в ней, по словам писателя, «переводчик-украшатель... самым решительным образом изменил мое произведение» (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 574).

[38] Имеется в виду «Новь». О желании понаблюдать жизнь русской студенческой молодежи в Цюрихе Тургенев говорил своим друзьям, о чем, например, вспоминает П. Л. Лавров (см. т. 1 наст. изд., с. 351). В Цюрихской колонии нередки были идейные столкновения между сторонниками немедленной революции («бакунистами») и защитниками постепенного общественного развития под влиянием революционной пропаганды («лавристами»). Однажды спор между бакунистом Н. В. Соколовым и лавристом В. Н. Смирновым (секретарем редакции газеты «Вперед!») окончился дракой. Об этом эпизоде сохранились воспоминания М. М. Ковалевского («Вестник Европы», 1914, № 3, с. 217).

[39] В недрах секретной службы еще в 1865 г. было заведено специальное дело «О распространении в городе Орле между молодежью и дамами нигилизма» (В. Громов. Здравствуй, город Тургенева. Литературные очерки Орла, 1967, с. 79). Далее речь идет об основателе подпольного кружка в Орле П. Г. Зайчневском.

[40] Кн. В. П. Мещерский был фактическим редактором реакционного журнала «Гражданин» (начал издаваться с 1872 г.). «Это, без сомнения, самый зловонный журналец из всех ныне на Руси выходящих» (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 236—237).

[41] Как свидетельствует И. Я. Павловский, Тургенев говорил: «Я всегда веду дневник, в котором записываю все, что меня интересует» (И. Я. Павловский. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — «Русский курьер», 1884, № 199, 21 июля).

[42] Островская приводит сюжет, использованный впоследствии в стихотворении в прозе «Два четверостишия».

[43] Из романа немецкого писателя Фридриха Шпильгагена «Один в поле не воин».

[44] Свое мнение о типе людей, подобных протеже А. П. Философовой, Тургенев высказал в письме к ней от 18/30 августа 1874 г. Он обвинил их «в скудости мысли, в отсутствии познаний» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 281).

[45] По всей вероятности, Тургенев разговаривал с А. М. Горчаковым, крупным дипломатом, министром иностранных дел в России. Беседа с Горчаковым, хорошо осведомленным о ходе событий на Балканах, возможно, в какой-то мере и повлияла на Тургенева, возмущенного политикой Англии в славянском вопросе: официально занимая позицию нейтралитета, Англия на самом деле помогала Турции против болгар, сражающихся за свою независимость. «Крокет в Виндзоре» написан 20 июля 1876 г. под впечатлением балканских событий — кровавого подавления турками восстания в Болгарии. «Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства, — говорил писатель, — они только и живут во мне...» (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 349). Стихотворение не было пропущено цензурой и появилось только в 1881 г. («Слово», № 3), а до того распространялось в многочисленных списках, было переведено на английский, французский и немецкий языки (*Тургенев, Соч.,* т. XIII, с. 292, 691—694).

В. В. СТАСОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

Крупнейший художественный и музыкальный критик второй половины XIX века, историк искусства Владимир Васильевич Стасов (1824—1911) испытывал интерес к личности Тургенева задолго до знакомства с ним, которое состоялось 6/18 марта 1867 года на симфоническом концерте Бесплатной воскресной музыкальной школы. Острое и точное чувство современности, свойственное автору «Отцов и детей», особенно привлекало идеолога нового

русского искусства — «передвижничества». «У вас во всю жизнь был талант попадать вашими писаньями в самую бьющую жилку современности» *, — говорил писателю Стасов в 1871 году. Тургенев обратил внимание на некоторые ранние выступления критика, посвященные проблемам искусства. «С истинным удовольствием пришлось мне прочесть статью Стасова о Брюллове **, — сообщил он М. Н. Каткову в 1862 году. — Наконец-то послышалось правдивое слово об этом человеке...» *** А год спустя Тургенев вновь упоминает о статьях критика. «В «Современнике» с удовольствием прочел почти все статьи, — замечает он в письме к Н. В. Щербаню от 2/14 июня 1863 года, — особенно мне понравилась горячая и энергическая статья Стасова о выставке» ****.

Стасова и Тургенева сближала глубокая, проникающая всю жизнь одержимость искусством, оба они были неутомимыми и самоотверженными пропагандистами русской культуры. Они покровительствовали скульптору Антокольскому, видя в нем великий новаторский талант. Сходились они в своей высокой оценке художника В. В. Верещагина.

Однако, начиная почти с первого же дня знакомства, Стасов стал постоянным оппонентом Тургенева в их горячих спорах о русском искусстве, о путях развития современной музыки и живописи, об отношении к классическим образцам искусства Западной Европы. В решении этих проблем Тургенев и Стасов не сходились и в полемическом задоре часто бывали несправедливы в оценке друг друга, что сказалось и в настоящих воспоминаниях.

Тургенев видел в страстной стасовской «проповеди русского искусства» замаскированное славянофильство, а «славянофильское credo было всегда ему противно» *****. Эти наблюдения, принадлежащие П. Д. Боборыкину, в общем верно указывают главную причину разногласий Тургенева и Стасова. Тургенев обвинял Стасова в нигилистическом отношении к европейскому искусству. Стасов же в полемическом задоре называл Тургенева «врагом всякой новизны в искусстве» (имея в виду его скептическое отношение к творчеству таких тогда еще молодых композиторов, как Балакирев, Даргомыжский), «врагом реализма и жизненной правды», человеком, который так и не оценил новую русскую музыку. Но Тургенев в данном случае не мог согласиться со Стасовым: «Хотя я и не слыву завзятым патри-

---

* *Тург. сб., вып. I, 1964,* с. 451.

** В 9-м и 10-М номерах «Русского вестника» за 1861 г. была напечатана статья В. В. Стасова «О значении Брюллова и Иванова в русском искусстве».

*** *Тургенев, Письма,* т. IV, с. 324.

**** Там же, с. 129.

***** П. Д. Боборыкин, т. 1, с. 310.

отом, однако всякое проявление поэзии и искусства на Руси меня глубоко радует...» «Родному художеству радоваться я буду первый» *, утверждал он в своих письмах к Стасову. Тургенев также ратовал за возникновение и развитие «живой русской оперы», отечественной симфонической музыки. Писатель был убежден, что Глинка, глубоко национальное творчество которого он знал и любил, истинный родоначальник русской музыки, «от него поведет она свое начало» **. А в конце пятидесятых годов, как утверждает советский исследователь, «Тургенев не только сочувствовал, но и способствовал процессу развития национальной музыки» ***.

В среде композиторов, составивших «Могучую кучку», являвших собой действительно могучее реалистическое движение в музыке (сюда входили М. А. Балакирев, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи), писатель не находил в то время музыканта, по силе таланта и национальной самобытности равного Глинке. «Каменный гость» Даргомыжского (формально не входившего в «Могучую кучку») разочаровал Тургенева, поначалу заинтересовавшегося новой оперой композитора (он просил прислать ему из России ее партитуру). Тургеневу, вероятно, не удалось услышать таких выдающихся созданий «новой русской музыки», как «Борис Годунов» Мусоргского, не знал он и лучшего создания Даргомыжского — оперы «Русалка».

Не менее ожесточенные споры разгорались между Тургеневым и Стасовым по поводу произведений, представлявших русскую художественную школу «передвижничества» ****. Отношение Тургенева, увлеченного знатока европейской живописи, превосходно изучившего итальянскую, голландскую и французскую школы, к новому изобразительному искусству в большой мере разъясняет его письмо 1882 года, адресованное художнику Крамскому. В этом письме и выражено то, чего Тургенев ожидал от нового русского искусства, здесь сформулированы его эстетические принципы. «...Французское общество заинтересовалось русским художеством именно с тех пор, *как* оно получило самостоятельность и выказало оригинальность, стало русским, народным. (То же самое произошло во Франции и с нашей литературой)», — писал он. Образцами же истинного русского высокого искусства, по мысли Тургенева, могут быть «Бурлаки» Репина, произведения Верещагина, Крамского, которые и являют пример «полного достижения».

---

* *Тургенев, Письма,* т. X, с. 317; т. IX, с. 284—286.

** Там же, т. III, с. 95.

*** *Тург. сб., вып I, 1964,* с. 385.

**** См. об этом в кн.: И. С. Зильберштейн. Репин и Тургенев, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1945.

Была еще причина, вызывавшая споры и несогласия, — отношение Стасова к творчеству Пушкина. Стасов позволял себе критиковать поэта за «фальшивые», «кривые», с его точки зрения, вещи, какими он считал, например, главу «Русская изба» из статьи «Путешествие из Москвы в Петербург» и статью «Александр Радищев». Такие «иконоборческие» настроения казались святотатством Тургеневу. Но, несмотря на острые разногласия, отношения между Стасовым и Тургеневым оставались дружескими до конца жизни писателя, они встречались в России и за границей, часто обменивались письмами.

Воспоминания Стасова о Тургеневе были впервые опубликованы в журнале «Северный вестник», 1888, № 10, под названием «Двадцать писем Тургенева и мое знакомство с ним». В настоящем издании печатается только собственно мемуарная часть по тексту журнальной публикации.

[1] Стихотворение названо «С кем спорить?».

[2] О грубом вмешательстве Каткова в текст «Отцов и детей» см.: *Тургенев, Соч.,* т. VIII, с. 577—589.

[3] В письме к Полине Виардо Тургенев иронически отзывается о предстоящем концерте: «Сегодня вечером — я в большом концерте русской музыки будущего, так как таковая тоже существует. Но это нечто совсем жалкое, без идей, без оригинальности. Это всего лишь плохая копия того, что делается в Германии. При этом — зазнайство, усиленное полным отсутствием цивилизации, нас отличающим. Все свалено в одну кучу: Россини, Моцарт и даже Бетховен...» (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 401). В этот вечер в зале Дворянского собрания исполнялись (многие из них впервые) действительно далеко не лучшие произведения молодых русских композиторов. Были исполнены: хор «Прощальная песнь Данаи» Н. Я. Афанасьева, хор «Поражение Сеннанхериба» Мусоргского, хор из оперы «Демон» Шеля, хор из оперы «Рогдана» Даргомыжского, увертюра «Король Лир» Балакирева. Из всего, что слушал тогда Тургенев, в концертном репертуаре сохранилась лишь увертюра «Король Лир», «да и то в иной редакции, значительно более богатой, чем ранняя» (А. Крюков. Тургенев и музыка. Ленинград, Музгиз, 1963, с 108).

[4] Тургенев, напротив, с одобрением отзывался о раннем творчестве А. Н. Серова, его операх «Юдифь» и «Рогнеда». Он находил в его произведениях «дуновение страсти и величия» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 441).

[5] Об этой встрече Стасов вспоминает в письме к Тургеневу (от 13 октября ст. ст. 1871 г.): «...я позволю себе на минуту продолжить здесь тот самый разговор, который у нас с Вами был два года

тому назад, в 1869-м году, в Мюнхене, в раззолоченном table d'hôt'e. Помните, мне так много надо <было> рассказать Вам про русские дела и литературу, да столько же и услышать от Вас, что я прозевал весь обед, и чертовски завитые кельнеры только и делали, что таскали у меня из-под локтей нетронутые тарелки? Я через целых два года принужден повторить Вам целиком тогдашний мой тезис, что не мало у нас бывает талантливых людей по части литературы и всяких изящных искусств, но это самая великая редкость, чтоб между этими талантами были люди с умом» (*Тург. сб., вып. I, 1964,* с. 447).

[6] Тургенев критически относился к художнику В. Каульбаху, писавшему фрески на исторические и религиозные сюжеты в неоклассическом стиле. О мастерах этого типа Тургенев замечал, что они «давно сданы в архив и серьезно *никто* не говорит о них» (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 285).

[7] Среди современников Тургенева существовало устойчивое мнение о том, что писатель был горячим приверженцем новой французской школы живописи и что художественные вкусы и симпатии его сложились не без влияния эстетической концепции Луи Виардо. См., например, об этом в воспоминаниях А. П. Боголюбова (*ЛН,* т. 76, с. 452—453). Однако Тургенев далеко не был безусловным «поклонником всей новой французской школы», как это категорически утверждает Стасов. Наиболее сильным и прочным увлечением Тургенева были не мастера салонного искусства, а замечательные пейзажисты барбизонской школы. Особенно ценил Тургенев полотна французского пейзажиста Теодора Руссо, в которых, по словам писателя, «сохранилась вся поэтическая прелесть и сила первого впечатления». (Подробно об отношении Тургенева к новому французскому искусству см. в кн.: И. С. Зильберштейн. Репин и Тургенев. М.—Л., 1945, гл. «Отношение Тургенева и Репина к современному французскому искусству», с. 80—93).

[8] В сороковые годы Тургенев сдержанно относился к творчеству Листа, воспринимая его прежде всего как пианиста, исполнителя-виртуоза. Но в начале семидесятых годов он признал в Листе выдающегося композитора (*Тургенев, Письма,* т. VIII, с. 214, 375).

[9] Балакирев, создавший в 1862 г. Бесплатную воскресную музыкальную школу, где формировались эстетические принципы новой русской музыки, композитор и дирижер лучших современных оркестров, был вынужден в 1869 г. уйти в «отставку». Ее добивались противники нового направления, консерваторы в искусстве. С протестом против этой акции выступил П. И. Чайковский (см.: В. В. Стасов. Избр. соч., т. 1. М., «Искусство», 1952, с. 194—196).

[10] По всей вероятности, речь идет о стихотворениях, вошедших в книгу «Грозный год» (1872) «(Виктор Гюго. Собр. соч. в 15-ти томах, т. 13. М., Гослитиздат, 1958). Тургенев в целом весьма критически относился к творчеству Виктора Гюго, к его, с точки зрения классического писателя-реалиста, запоздалому романтизму. «Тургеневу трудно было угодить стихами, — писал его друг Я. П. Полонский, — в Викторе Гюго он видел только блестящего ритора» (*ЛН,* т. 73, кн. вторая, с. 211). Однако уже в семидесятые годы он отдает должное мастерству и свободолюбивому пафосу поэта. Интересный отзыв Тургенева о Гюго приведен в мемуарах современницы писателя, часто встречавшейся с ним в Париже в семидесятые годы: «Гюго не нравился Ивану Сергеевичу своей ходульностью и напыщенностью, но он говорил, что нельзя не преклоняться перед этим «рыцарем пера», который более полустолетия с таким героизмом отстаивал самые возвышенные идеалы человечества, и признал Гюго, наравне с Шиллером, величайшим поэтом юности» (сб. «Под знаменем науки», М., 1902, с. 371—384). В семидесятые годы Тургенев и Гюго встречались на Международном литературном конгрессе, на заседаниях комитета по сооружению памятника Гюставу Флоберу (подробно о Тургеневе и Гюго см. в работе М. П. Алексеева «Виктор Гюго и его русские знакомства». — *ЛН,* т. 31—32, с. 868—879).

[11] 4/16 марта 1871 г. Тургенев послал Стасову приглашение на музыкальный вечер, «затеянный Рубинштейном» (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 37). Писатель был одним из организаторов таких артистических вечеров. Художественный клуб, который, по мысли Рубинштейна, должен был объединять литераторов, художников, музыкантов Петербурга, в сущности, так и не был создан; после двух собраний он был закрыт, но не потому, что в нем «не было надобности», как утверждает Стасов, а из-за «противодействия властей», усмотревших в организации такого рода клуба крамольную затею. «Так и похоронили, — вспоминал Рубинштейн. — ...Время было ужасное» (Л. Баренбойм. Антон Григорьевич Рубинштейн, т. II. Л., Музгиз, 1962, с. 452).

[12] Восторженная статья В. В. Стасова об «Иване Грозном» Антокольского появилась в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 13/25 февраля 1871 г. Тургенев посетил мастерскую 14/26 февраля. В этот же день оп писал Полине Виардо: «...Я познакомился с молодым русским скульптором из Вильны, обладающим незаурядным талантом. Он изваял статую Ивана Грозного, небрежно одетого, сидящего с Библией на коленях, погруженного в грозное и мрачное раздумье. Я нахожу эту статую несомненным шедевром исторического и психологического проникновения, великолепным по исполнению. И сделано это совсем молодым человеком, бедным, как церковная крыса, болезненным, который начал заниматься ваянием и

научился читать и писать только в двадцать два года; до этого он был рабочим... В этом бедном болезненном юноше есть, несомненно, гениальность... вот имя, которое не умрет» (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 18, 363). Под впечатлением, которое произвела на него работа скульптора, Тургенев опубликовал статью об Антокольском в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 19 февраля/3 марта 1871 г. «...Нужно бить в барабаны ради него...» — писал он Полине Виардо в день появления статьи (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 364). См. также в т. 1 наст. изд. воспоминания П. А. Кропоткина.

[13] Картина «Воскрешение дочери Иаира» — первый большой успех Репина, принесший ему не только высшую награду — Золотую медаль Академии художеств, но и возможность в течение шести лет изучать за границей, во Франции и Италии, работы лучших мастеров живописи и скульптуры.

[14] Речь идет о письме Тургенева от 28 ноября/10 декабря 1871 г.; в нем упоминается «Заметка» В. В. Стасова о Репине, напечатанная в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1871, № 311, 11/23 ноября). «Мы твердо верим, что г. Репину предстоит самая значительная будущность...» — писал Стасов, заканчивая статью о художнике.

[15] Имеется в виду письмо Тургенева от 15/27 марта 1872 г. Почти дословно свое резкое суждение о «Каменном госте» Даргомыжского Тургенев высказал и в другом письме к П. В. Анненкову от 11/23 февраля того же года (*Тургенев, Письма,* т. IX, С. 226). Помимо неприятия речитативного стиля оперы, раздражение Тургенева было вызвано выбором сюжета, ибо все, связанное с именем Пушкина, требовало, по мнению писателя, своего рода конгениальности. «Как могли Вы, повторяю, в этом ничтожном писке открыть — что же? не только музыку, но даже гениальную, новую, «делающую эпоху» музыку!!?!! Неужто это бессознательный патриотизм? Я, признаюсь, кроме святотатственного посягновения на одно из красивейших созданий Пушкина, в *этом* «Каменном госте» ничего не нашел» (там же, с. 245).

[16] Эту же мысль, но в более резкой, категорической форме Стасов повторил в статье «По поводу графа Льва Толстого»: «В романах и повестях Тургенева нигде не бил ключ страсти и силы чувства» (В. В. Стасов. Собр. соч., т. III, с. 1417—1419).

[17] Судя по ответным письмам Тургенева Стасову, споры о Пушкине, об отношении к классикам мирового искусства составляли одну из постоянных тем их полемики. «Радуюсь... Вашему суждению о Пушкине, Гете и Моцарте; оно в порядке вещей. Еще бы Вы их любили!» — иронически замечает Тургенев в письме от 24 августа/5 сентября 1875 г. (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 117). В своем стремлении утвердить новое искусство Стасов впал в ту же крайность,

что и в свое время Д. И. Писарев. Вот что писал, например, Стасов В. П. Буренину: «Необходимо перебрать снова наших писателей с тех пор: Пушкин en tête. Хотя Вы со мной не раз спорили насчет этого Вашего полуидола, но если будете последовательны, то должны «резануть» его тем же ланцетом, как и Льва Толстого... Нет, Пушкин по содержанию своему не годится более нынешнему поколению; будущему будет невыносим и тошен, последующему жалок и смешон!.. Писарев начал уже новую нынешнюю переборку старого материала, но не успел кончить...» (цит. по кн. «Репин и Тургенев», с. 60—61).

[18] Имеется в виду письмо от 3/15 апреля 1875 г. и письмо к Д. В. Григоровичу от 1/13 февраля 1882 г. По мнению Тургенева, новый роман Толстого «Анна Каренина» оказался значительно слабее прежних вещей писателя. «Это и манерно и мелко», — писал Тургенев А. Ф. Онегину в феврале 1875 г. (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 24). «А что вы скажете, Иван Сергеевич, про «Анну Каренину»? — спрашивал Стасов в письме от 30 марта/11 апреля. — Ведь жидко и слабо...» («Литературный архив», т. 3, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 243). Один из современников привел в своих мемуарах любопытную беседу с Тургеневым о романе Толстого: «Сама Анна Каренина и Вронский неопределенны, — говорил писатель. — Неизвестно, считает ли автор Вронского ничтожеством или нет. Конечно, незачем, чтобы автор сам высказывал свое суждение о действующем лице, но необходимо, чтобы лицо было очерчено вполне определенно, между тем самый образ Вронского шатается. Когда я прочел о намерении Вронского застрелиться, я просто подпрыгнул на стуле, так это было неожиданно и не вытекало из предыдущего... Рядом с этим стоят, однако, замечательно художественные сцены, как, например, описание смерти Николая Левина. Психологический анализ нередко утрируется Толстым... Залезанье автора в душу под конец сильно утомляет» (Ан. Половцов. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — «Царь-Колокол». Иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 г., с. 78).

[19] Подробно инцидент с публикацией писем молодого Репина, в которых художник резко отзывается о творчестве Рафаэля, прослежен в кн. И. С. Зильберштейна «Репин и Тургенев» (с. 67—71). Стасов напечатал в январском номере «Пчелы» за 1875 г. статью «Илья Ефимович Репин», где процитировал письма к нему художника об итальянском искусстве. В них, в ту пору не без влияния Стасова, Репин писал, например: «Что Вам сказать о пресловутом Риме? Ведь он мне совсем не нравится! Отживший, мертвый город, и даже следы-то жизни остались только пошлые, поповские... Только один Моисей... Микель Анджело действует поразительно... Остальное, и с Рафаэлем во главе, такое старое, детское, что смотреть не хо-

чется...» Публикация Стасовым этих писем вызвала оживленную реакцию среди художников. В письме к Я. П. Полонскому от 9/21 марта 1875 г., которое цитируется в мемуарах, Тургенев не преувеличивал, когда сообщал о растерянности Репина, никак не ожидавшего обнародования своих частных высказываний. «В Париже я был взбешен за письма, напечатанные без моего ведома», — писал он Стасову 26 октября 1876 г. (там же, с. 139—140). Характерно, что Репин спустя много лет не разрешил процитировать отрывки из этих «антирафаэльских» писем в монографии С. Эрнста, посвященной его творчеству.

[20] Увлечение Тургенева творчеством А. А. Харламова относится к 1874—1876 гг. Писатель отзывался о преуспевающем художнике, виртуозно владевшем современной техникой живописи, как о лучшем из портретистов. В начале своего знакомства с Харламовым Тургенев отдавал ему явное предпочтение перед Репиным. «Здесь проявились два замечательных молодых художника — Репин и Харламов, — сообщал Тургенев 4/16 апреля 1874 г. из Парижа П. В. Анненкову. — Второй — особенно — далеко пойдет...» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 225). Однако утверждение Стасова, сделанное в полемическом запале, будто Тургеневу «несравненно выше казался Харламов за свой «европеизм», за отсутствие национальности и личной оригинальности», крайне субъективно и не объясняет истинных причин увлеченности писателя творчеством этого художника. Как справедливо утверждает Зильберштейн, «причины тургеневского заблуждения ясны: мастерство Харламова находилось на уровне той европейской живописной культуры, которую Тургенев расценивал как наиболее прогрессивную. Успехи Харламова Тургенев рассматривал как начало приобщения русской живописи к достижениям западноевропейского мастерства» («Репин и Тургенев», с. 74). Примечательна, например, такая подробность: Тургенев среди всех своих портретов (в том числе и репинского 1874 г.) выделял портрет кисти Харламова — «настоящий chef d'œuvre», по его словам (письмо к П. В. Анненкову от 5/17 декабря 1875 г.). Однако вот что рассказывает современник об отзывах Тургенева, относящихся уже к весне 1879 г. «Видите ли, — говорит Иван Сергеевич добродушно, — нет ни одного схожего портрета, на который бы я мог указать. Меня художники рисуют так, как немцы рисуют львов: выходит старуха в чепце...» — «А вот Харламов...» — начал я. Он только махнул рукой. «То же самое!» (П. Гнедич. Книга жизни. Воспоминания. Пг., «Прибой», 1929, с. 120—123). А в 1880 г. Тургенев уже называет «бесспорно самой интересной артистической личностью, какая имеется сейчас в России», художника В. В. Верещагина.

[21] Парижская встреча с Тургеневым в ресторане на бульваре

Гаусман состоялась 29 июля/10 августа 1875 г. Об этом свидании Стасов вскоре писал поэту А. А. Голенищеву-Кутузову, сообщив, что вел с Тургеневым «бурный разговор», перетрогавший «все новое европейское искусство и в особенности непонятную Тургеневу новую школу русских художников, — новую и по живописи, и по музыке» («Репин и Тургенев», с. 46, 131).

[22] М. М. Антокольский в 1873—1875 гг. работал над проектом памятника Пушкину. Тургенев, узнав об этом, возлагал большие надежды на его будущую работу. Однако модель, исполненная Антокольским, глубоко разочаровала писателя. «...Я нахожу его проект памятника Пушкину «se sublime du tchépouckha» *. Что Стасов хвалит — наверное плохо», — писал он П. В. Жуковскому 10/22 мая 1875 г. (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 77).

[23] По словам самого Тургенева, в образе Скоропихина заключались явные и нескрываемые намеки на Стасова (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 350). Как пародию на Стасова воспринимали этот образ и современники, Анненков, например.

[24] Роман Золя «Нана» печатался в газете «Voltaire» начиная с октября 1879 г. Щедрин был непримиримым противником натуралистических тенденций в творчестве Золя. В авторе «Нана» он готов был видеть чуть ли не бульварного писателя, «которым все офицеры и кокотки высшего света упиваются» (*Салтыков-Щедрин,* т. 19, кн. 2, с. 161). Однако, за исключением «Нана» и «Западни», Щедрин ценил романы Золя. Он старался привлечь писателя к сотрудничеству в «Отечественных записках» (см.: С. А. Макашин. Литературные взаимоотношения России и Франции. — *ЛН,* т. 28-29, кн. первая, с. XXXI).

[25] Сохранившиеся свидетельства современников об отношении Тургенева к творчеству Золя довольно единодушны. «Золя И. С. ставил очень высоко, — пишет П. Я. Павловский в своих воспоминаниях, — как талант оригинальный и сильный, хотя грубый и некрасивый» («Русский курьер», 1884, № 137, 20 мая). Ан. Половцов приводит более развернутое суждение Тургенева о характере реализма Золя: «Золя, несомненно, сильный талант, но он впадает нередко в преувеличение и неестественность. Причина этого кроется в том, что он склонен к меланхолии... Наблюдательность у него огромная, но так как он сидит постоянно уткнувшись носом в стенку, то почти ничего не видит; от этого в произведениях его появляется деланность, выдуманность, и он вполне реально изображает лишь тот тесный кружок, в котором он постоянно вращается» (Ан. Половцов. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — «Царь-Колокол». Иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 г., с. 78). О «Нана»

---

* Высшею степенью чепухи (*фр.*).

Тургенев отзывался резко: «Кажется, я никогда не читал ничего столь непроходимо скучного, как «Нана»... — писал он Флоберу. — Какая убийственная пошлость, какое нестерпимое обилие мелочей...» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 160, 369).

[26] Судя по воспоминаниям П. Гнедича, именно он заочно рекомендовал И. С. Тургеневу в 1879 г. в Петербурге художника-гравера В. В. Матэ: «Я обещал, что Матэ будет его гравировать по профильному портрету Бергамаски» (П. Гнедич. Книга жизни. Воспоминания, с. 121; см. также публикацию Л. И. Кузьминой «Тургенев и В. В. Матэ». — *Тург. сб., вып. II, 1966,* с. 316—321).

[27] Свое отношение к речи Достоевского о Пушкине Тургенев выразил в письме к М. М. Стасюлевичу от 13/25 июня 1880 г.: «Эта очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия... И к чему этот всечеловек, которому так неистово хлопала публика?.. лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным всечеловеком» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 272).

И. Е. РЕПИН

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

Впервые И. Е. Репин (1844—1930) встретился с Тургеневым в Петербурге в 1871 году. Писатель, по всей вероятности, уже много слышавший от В. В. Стасова о талантливом выпускнике Академии художеств, посетил его мастерскую в обществе Н. Н. Ге. «Я писал тогда «Бурлаков», — рассказывал впоследствии Репин в мемуарной книге «Далекое близкое». — Когда они вошли, я не знал, на кого смотреть; Тургенева я увидел тут в первый раз...» *

Тургенев не сразу почувствовал в молодом художнике будущего выдающегося мастера русского живописного искусства, хотя его известный отзыв о Репине в письме к Стасову от 28 ноября/10 декабря 1871 года был весьма положительным. «В нем талант большой и несомненный *темперамент* живописца» **. Возможно, что именно такое впечатление Тургенев вынес после первого посещения мастерской художника. Однако последующее знакомство с работами Репина надолго охладило Тургенева. Писатель решительно не принял его панно «Славянские композиторы». Картина, которая представляла собой групповой портрет русских, польских, чешских музыкантов, живших в разные времена, покойных и здравствующих,

---

* И. Е. Репин. Далекое близкое. М., 1961, с. 303.
** *Тургенев, Письма,* т. IX, с. 176.

вызвала откровенное недовольство Тургенева. «Это — рассудочное искусство... литература», — говорил он художнику, ознакомившись с полотном *. Другим событием, в какой-то степени бросившим тень на взаимоотношения Репина и Тургенева, была публикация отрывков из писем художника в статье В. В. Стасова, в которых молодой Репин «отрицал» Рафаэля. На эту историю есть намек в тексте самих воспоминаний. «Тургенев был очень сдержан по отношению к моему искусству, — утверждал Репин. — Я думаю, тут было мешающим мнение петербургской среды, целого круга во главе со Стасовым...»

Несмотря на существующие между ними разногласия, Тургенев и Репин испытывали искреннюю симпатию друг к другу. Особенно они сблизились во время пребывания Репина в Париже (с конца 1873 по июль 1876 г.). Репин в это время часто встречался с Тургеневым на вечерах у художника А. П. Боголюбова, бывал на знаменитых «четвергах» и воскресных концертах в доме Виардо.

В марте 1874 года Репин начал писать портрет И. С. Тургенева по заказу П. М. Третьякова, для большой серии портретов выдающихся русских писателей. Кисти Репина принадлежат также портреты Тургенева 1897, 1883 годов и рисунок тушью 1884 года.

В своем восприятии творчества Репина Тургенев претерпел известную эволюцию. В 1882 году среди наиболее талантливых произведений русских художников он называет «Бурлаков» Репина. Нужно заметить, что Тургеневу не пришлось увидеть таких созданий художника, как «Иван Грозный», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», которые были показаны на передвижных выставках 1883—1885 годов, уже после смерти писателя.

Воспоминания Репина о Тургеневе приведены им в письме к искусствоведу Владимиру Феофиловичу Зеелеру ** (от июля—августа 1928 г.). В. Ф. Зеелер назвал этот мемуарный очерк «удивительным по интересу и живости изложения» ***. Содержание «письма» близко к «Автобиографическим заметкам», сделанным Репиным для своего биографа Сергея Эрнста.

Текст печатается по изданию: *Тург. сб., вып. III, 1967,* с. 402—404.

[1] «Первый сеанс был так удачен, — говорится и в «Автобиографических заметках», — что И. С. торжествовал мой успех...» («Художественное наследство», т. 1, «И. Е. Репин», М.—Л., Изд-во АН СССР, 1948, с. 380).

---

* И. Е. Репин. Далекое близкое, с. 215.

** См. публикацию Л. Н. Назаровой «Тургенев в письме И. Е. Репина к В. Ф. Зеелеру». — *Тург. сб., вып. III, 1967,* с. 401—407.

*** *Тург. сб., вып. III, 1967,* с. 401.

[2] Репин писал Стасову 27 марта/8 апреля 1874 г.: «Одну голову он забраковал; написал хорошо, но вышел бесстыдно улыбающийся старый развратник. Друзья Тургенева советовали переменить положение, так как не находили похожим» («Репин и Тургенев», с. 21). Но уже в «Автобиографических заметках» (так же как и в мемуарном письме) Репин пишет, что именно Виардо «совсем забраковала начало и порекомендовала начать в другом повороте... Сколько я ни убеждал Ивана Сергеевича, ничего не помогло...» («Художественное наследство», т. 1, с. 380—381). Впоследствии Репин, по-видимому, вернулся к этому первоначальному варианту, и он послужил основой для его тургеневского портрета 1883 г. (см. «Репин и Тургенев», с. 101—108).

[3] Репин сообщил Стасову (в письме от 13/25 апреля 1874 г.) восторженный отзыв Тургенева о «живописи рук» на его портрете: «Тургенев говорит, что только с тех пор, что он увидел работы Харламова да руки, написанные мною в его портрете, — он начинает верить в русскую живопись» («И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка», т. 1, М.—Л., «Искусство», 1948).

[4] Репинский портрет Тургенева, законченный в мае—июне 1874 г., разочаровал Третьякова. Огорченный Репин писал своему «заказчику»: «Остаюсь с глубоким к Вам уважением и в то же время с некоторым грехом на совести за портрет Тургенева, который и мне нисколько не нравится» («Репин и Тургенев», с. 23).

[5] Шарль Гуно умер в 1893 г., пережив Тургенева на десять лет.

[6] Имеется в виду картина Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа». Копия была сделана Харламовым в 1872 г. в Гааге.

[7] Об одном из «обедов», у Маньи, который давал Тургенев перед отъездом в Россию в апреле 1874 г., он писал Г. Н. Вырубову, сообщая, что среди присутствующих будут «Харламов, Боголюбов, Репин и Поленов» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 231, 606).

[8] По всей вероятности, Репин имеет в виду один из ранних эскизов картины «После Гефсиманский ночи». Картина на сюжет о Стеньке Разине, по-видимому, так и не была завершена. Известен карандашный рисунок «Степан Разни бросает персидскую княжну в воду» (*Тург. сб., вып. III, 1967,* с. 407),

А. Ф. КОНИ

ИЗ КНИГИ „НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ"

Анатолий Федорович Кони (1844—1927), один из крупнейших юристов конца XIX — начала XX века, прогрессивный общественный деятель, вошел в историю русской культуры и как талантливый литератор, публицист и автор воспоминаний.

А. Ф. Кони, великолепный знаток человеческой психологии, прекрасный рассказчик, пользовался огромным авторитетом в среде русских писателей, он сам являл собой личность чрезвычайно интересную. Некрасов, Л. Толстой, Достоевский находили в его рассказах, почерпнутых из богатого опыта судебной практики, источники для своих замыслов. «Ваша биография теснейшим образом переплетена с именами крупнейших наших писателей и поэтов, и многие их величайшие произведения непосредственно связаны с вашей творческой мыслью», — говорилось в Адресе Пушкинского дома в связи с восьмидесятилетием Кони.

Кони принадлежат мемуарные очерки о многих выдающихся личностях своего времени — Достоевском, Некрасове, Тургеневе. Григоровиче и др. С Тургеневым он познакомился в 1871 году и стал горячим его почитателем.

Помимо воспоминаний под названием «И. С. Тургенев», о Тургеневе Кони написаны: статья мемуарного характера «Савина и Тургенев», некролог «Памяти Тургенева» (во многом повторяющий очерк «И. С. Тургенев») и хроника — «Похороны И. С. Тургенева». Им были подготовлены два историко-литературных издания, посвященных жизни и творчеству писателя, — «Тургеневский сборник» (Пг., 1921) и сборник «Тургенев и Савина» (Пг., 1918).

Текст печатается по последнему прижизненному изданию: А. Ф. Кони. На жизненном пути, т. II. М., 1916).

[1] Имеется в виду громкий процесс об убийстве на почве ревности псковского помещика Чихачева земским деятелем Непениным. В журнальной публикации своих мемуаров А. Ф. Кони кратко остановился на подробностях этого процесса («Вестник Европы», 1908, кн. 5). В последующих изданиях они были опущены, так как в первый том книги «На жизненном пути» Кони полностью включил свою речь «По делу об убийстве коллежского асессора Чихачева».

[2] 24 ноября/6 декабря 1860 г. Тургенев вместе с И. А. Гончаровым был единогласно избран членом-корреспондентом Академии наук.

[3] Достоверность рассказа Кони об истории создания очерка «Пергамские раскопки» подтверждается следующей запиской Тургенева М. М. Стасюлевичу (от 19/31 марта 1880 г.): «Я постараюсь написать что-нибудь путное, — завтра рано Вы мою статью получите» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 222, 535). Статья «Пергамские раскопки», датированная автором 18/30 марта, была завершена лишь на следующий день. Опубликована в апрельском номере «Вестника Европы» за 1880 г.

[4] По всей вероятности, речь идет о кратковременном пребывании писателя в Петербурге с 8/20 по 13/25 февраля 1879 г.

[5] Имеется в виду письмо Тургенева племяннице Флобера — Каролине Комманвиль от 7/19 августа 1873 г. О несомненной автобиографичности «Вешних вод» сохранились свидетельства современников: «...И. С. сообщил мне, что «Вешние воды» (после «Первой любви») — самое любимое им произведение. «Все это правда, лично пережито и перечувствовано, — говорил писатель, — это моя собственная история...» (И. Я. Павловский. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — «Русский курьер», 1884, № 137). О том, что сюжет повести автобиографичен, рассказывает в своих воспоминаниях и Л. Фридлендер («Вестник Европы», 1906, № 10, с. 830).

[6] Почти все современники, писавшие о Тургеневе, обращали внимание на то, как благоговейно любил он Пушкина. «Пушкин, наш общий учитель, в непозволительном загоне. В мое время его знали наизусть и, посмотрите, как писали, — говорил Тургенев. — Возьмите Гончарова, его слог верх красоты» (И. Я. Павловский. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — «Русский курьер», 1884, № 137). О споре Тургенева с Кавелиным Кони писал также в очерке «К. Д. Кавелин» («На жизненном пути», т. IV, Ревель—Берлин, 1922).

[7] Перифраз строк из поэмы Н. А. Некрасова «Несчастные» (*Некрасов,* т. II, с. 25).

[8] Имеется в виду очерк «Наводнение» («Вестник Европы», 1875, № 8). Ранняя повесть «Приключения большого Сидуана и маленького Медерика» (мемуарист неточно приводит ее название) входила в первый сборник Золя «Сказки Нинон», объединивший произведения 1859—1864 гг.

[9] Императрица Мария Александровна, жена Александра II, умерла 22 мая/3 июня 1880 г.

[10] Торжественный прием депутаций в зале Московской городской думы состоялся 5/17 июня. Празднества продолжались четыре дня.

[11] Торжественная церемония открытия памятника Пушкину состоялась 6/18 июня 1880 г. Памятник работы скульптора А. М. Опекушина был построен по всенародной подписке, начатой еще в 1860 г., (в годовщину, когда отмечалось пятидесятилетие Царскосельского лицея).

[12] Последним произведением Тургенева, появившимся на страницах «Русского вестника», была повесть «Несчастная» (1869, № 1), Тургенев окончательно порывает с Катковым, убедившись в доносительской, охранительной позиции редактора «Русского вестника» и «Московских ведомостей». «Когда я отошел от «Русского вестника», Катков велел меня предуведомить, что я, дескать, не знаю, что значит иметь его врагом, — писал Тургенев Л. Н. Толстому 28 декабря

и. ст. 1879 г. — Пускай его. Моя душа не в его власти» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 197).

[13] Торжественное заседание Общества любителей российской словесности, на котором выступил со своей речью о Пушкине Тургенев, состоялось 7/19 июня 1880 г.

М. М. КОВАЛЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

Максим Максимович Ковалевский (1851—1916) — русский ученый с мировым именем, историк и социолог, чьи историко-этнографические труды были одобрены Марксом, познакомился с Тургеневым в 1878 году, в бытность свою профессором Московского университета. Молодой ученый, получивший блестящее образование, слушавший курсы в лучших учебных заведениях Лондона, Парижа, Берлина, пользовался огромным авторитетом среди профессуры и студенчества Московского университета. По словам Тимирязева, «десять лет (1877—1887), проведенные Ковалевским в Московском университете, были, конечно, лучшими в истории этого далеко не всегда себе равного учреждения» *. Кружок молодых профессоров во главе с М. М. Ковалевским (в него входили И. И. Янжул, А. И. Чупров и др.) был одним из передовых культурных центров Москвы семидесятых—восьмидесятых годов. Знаменитые «четверги» Ковалевского посещали русские писатели Москвы и Петербурга, художественная интеллигенция, иностранные гости.

Культурная и просветительская деятельность молодого ученого в годы начавшейся реакции вызывала недовольство официальных властей. Ковалевский подвергался частым нападкам прессы, главным образом «Московских ведомостей». В 1887 году он получил отставку по требованию III Отделения.

Торжественный обед в честь Тургенева, данный М. М. Ковалевским 15/27 февраля 1879 года, на котором присутствовали профессора Московского университета — А. Н. Веселовский, Н. В. Бугаев, и др., положил начало встречам писателя с русской интеллигенцией.

М. М. Ковалевскому принадлежат не только воспоминания о Тургеневе, но и работы биографического характера — «Баденский период жизни Тургенева» («Юбилейный сб. Литературного фонда, 1859—1909», СПб., 1909), «За рубежом», где приведен интересный

---

* К. А. Тимирязев. Соч., т. VIII. Сельхозгиз, 1939. с. 335.

фактический материал о писателе («Вестник Европы», 1914, № 3). Опубликованные в 1966 году фрагменты из незавершенной статьи М. М. Ковалевского свидетельствуют о том, что ученый-историк собирался выступить и в качестве истолкователя творчества Тургенева. В этих набросках об одной из так называемых «таинственных», «загадочных» повестей Тургенева («Призраки») Ковалевский высказал чрезвычайно любопытный, «единственный в своем роде» взгляд, как справедливо отмечает исследователь, ибо историк и социолог увидел в «Призраках» «всю субъективно понятую историю человечества, взятую в «поворотные эпохи» ее развития» (*Тург. сб., вып. II, 1966,* с. 171—172). Ковалевский высоко оценил способность Тургенева к философским обобщениям.

Впервые воспоминания о Тургеневе опубликованы в «Русских ведомостях», 1883, № 265, 27 сентября. В более полной редакции они были помещены в августовском номере журнала «Минувшие годы», 1908, откуда и перепечатываются в настоящем издании.

[1] Первый Международный литературный конгресс в Париже проходил летом 1878 г., во время всемирной выставки. Открытие состоялось 11 июня. Председательствовал В. Гюго. «Конгресс этот был устроен по инициативе французского общества писателей, которое справедливо рассудило, что летом 1878 года, во время всемирной выставки в Париже, будет много «знатных» иностранцев и что этим обстоятельством следует воспользоваться для... выяснения некоторых теоретических и многих практических вопросов», — писал один из участников конгресса (В. В. Чуйко. На конгрессах. Из литературных воспоминаний. — «Труд», 1892, № 11, с. 382). «Еще в мае на выставку съехалось множество писателей, знаменитых и незнаменитых, всех оттенков и направлений, всех стран и всех народов... Всех членов конгресса оказалось более трехсот, — свидетельствует Чуйко, — из Франции, Англии, России, Германии, Италии, Испании, Португалии, Дании, Бельгии, Голландии, Швеции, Австрии, Северной Америки, Швейцарии...» (там же, с. 385). По инициативе Тургенева, к которому общество французских писателей обратилось с просьбой назвать имена русских писателей, чье участие было бы желательным на конгрессе, были приглашены Л. Толстой, Достоевский, Гончаров, Я. П. Полонский, но они не приехали. Русскую делегацию конгресса составили: И. С. Тургенев, П. Д. Боборыкин, М. М. Ковалевский, Б. А. Чивилев, С. Ф. Шарапов и Л. А. Полонский. В центре внимания участников конгресса стояла проблема создания международных законов, охраняющих авторские права. Вице-президентом второй комиссии конгресса, занимавшейся вопросами международного права литераторов, был И. С. Тургенев, Когда В. Гюго «перестал, вследствие утомления,

появляться на частных собраниях конгресса, его заменил наш Тургенев и руководил прениями, отстаивая не без мужества интересы русских литераторов... — вспоминал Б. Чивилев. — Он говорил: «Мы, русские, пока не можем обещать платить авторские деньги за переводы с французского на русский язык. Вы, французы, нас вовсе не переводите и почти вполне игнорируете нас; мы же переводим все ваши новинки. И кто у нас занимается переводными работами? Бедная молодежь: курсистки и студенты, для которых эта работа часто составляет единственное средство к существованию» (Б. А. Чивилев. Отрывочные воспоминания о Тургеневе. — «Русские ведомости», 1883, № 270, 2 сентября). Тургенев был разочарован в работе конгресса. «Разумеется, мы ничего не решили и к никакому результату не пришли», — сообщал он Анненкову 14/26 июня 1878 г. из Буживаля (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 333).

[2] *Ксавье де Монтепен* — французский писатель и драматург, «фельетонный романист... с большой бульварной известностью» (П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. II, с. 42).

[3] «Моя коротенькая речь имела здесь успех поистине неожиданный и незаслуженный, — писал Анненкову Тургенев. — Очень чувствительна Франция и благодарна за всякую крупицу сахару, которую ей кладут в рот» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 333). Речь, произнесенная Тургеневым, была исполнена подчеркнутого уважения к литературе и искусству Франции, на чьей земле происходил конгресс. Русский писатель говорил о давних и плодотворных французско-русских связях. Речь Тургенева впервые была опубликована на французском языке в парижской газете «Le Tems» от 19 июня н. ст. 1878 г. Русский перевод появился спустя несколько дней в «Современных известиях», 26 июня н. ст., № 161 (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 54—55).

[4] Об этом визите Тургенева сохранились воспоминания Джордж Эллиот, опубликованные ее биографом О. Браунингом («Life of George Eliot», London, 1890, p. 128—130).

[5] О своем визите к американскому писателю Кейблу и беседе с ним о Тургеневе Ковалевский рассказал в очерке «Мое знакомство с Кэблем» («Вестник Европы», 1883, № 5). В беседе с Ковалевским Кэйбл назвал Тургенева «самым трезвым реалистом».

[6] Тургенев, зная о напряженных отношениях между Россией и Англией, чьи интересы столкнулись на Балканах, предвидел возможность бестактных выходок во время торжественной церемонии в Оксфорде. Церемония состоялась 18 июня н. ст. 1879 г. «Мне было сказано, — писал Анненкову Тургенев, — что в этот день гг. студенты... позволяют себе всякие вольности... а так как антирусское чувство все еще очень сильно в Англии, — то можно было ожидать свистков; однако ничего подобного не произошло — и даже,

по замечанию «Тэймса», мне хлопали больше, чем другим» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 91).

[7] См. в наст. т. воспоминания Рольстона и коммент. 4 к ним.

[8] Публичное заседание в Обществе любителей российской словесности состоялось 18 февраля / 2 марта 1879 г. «Старая Физическая аудитория ломилась от наплыва публики... Тот момент, когда Иван Сергеевич стоял на кафедре, склонив голову под натиском волнения, овладевшего им, и вся аудитория поднялась со своих мест, — был торжеством русского художественного творчества, просвещенной и благородной мысли, истинной любви к своей родине» (П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. II, с. 406).

[9] П. П. Викторов, вспоминая впоследствии о чествовании Тургенева в Обществе любителей российской словесности, возражал Ковалевскому: «В своих воспоминаниях об И. С. Тургеневе проф. М. М. Ковалевский... не точно передал содержание моей речи... приписываемой мне фразы «Вам не написать более «Записок охотника» я не произносил» (см.: П. П. Викторов. И. С. Тургенев в кругу радикальной студенческой молодежи в 1879 г. в Москве. — *Тург. сб., Орел, 1960,* с. 336—337).

[10] Музыкально-литературный вечер в Благородном собрании в пользу недостаточных русских студентов Московского университета состоялся 4/16 марта 1879 г. Тургенев на этом вечере обратился с речью к московским студентам, которая на следующий же день была опубликована в «Московских ведомостях».

[11] Прощальный обед в «Эрмитаже» (см. коммент. 22 на с. 432 наст. т.). Ответная речь Тургенева, произнесенная на обеде, была опубликована 8/20 марта в «Русских ведомостях». Пребывание Тургенева, в России в феврале—марте 1879 г. и встречи его с передовыми кругами русской интеллигенции и студенчеством вызвали целую кампанию в реакционной прессе, вдохновляемую III Отделением. «Катков разразился бранью на страницах «Московских ведомостей» против нас, студентов, устроивших шумную встречу Тургеневу», — рассказывал в своих воспоминаниях о писателе П. П. Викторов (*Тург. сб., Орел, 1960,* с. 335).

[12] 13/25 марта 1879 г. в честь Тургенева был дан обед петербургской интеллигенцией, на котором с приветственными речами выступили профессора К. Д. Кавелин, Н. И. Костомаров, В. Д. Спасович. По возвращении в Париж Тургенев сообщил М. М. Стасюлевичу (27 марта/8 апреля 1879 г.), что собирается написать брошюру О прошедших встречах в Москве и Петербурге (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 55). Это намерение писателя не было осуществлено.

[13] «Я получил здесь письма от В. Гюго, Теннисона и Ауэрбаха», — сообщал Тургенев 21 мая/2 июня 1880 г. председателю Общества любителей российской словесности С. А. Юрьеву (*Тургенев,*

Письма, т. XII, кн. 2, с. 261). Поздравительное письмо Гюго было оглашено на торжественной церемонии (см. публикацию П. Р. Заборова «Ришар Леклид (От имени Виктора Гюго)». — *Тург. сб., вып. I, 1964,* с. 454—455).

[14] Ф. М. Достоевский произнес на заключительном заседании Общества любителей российской словесности 8/20 июня 1880 г. вдохновенную речь о Пушкине, в которой были сильны славянофильские и почвеннические тенденции. В радикальных демократических кругах русской интеллигенции она была воспринята критически (см. воспоминания П. Л. Лаврова в т. 1 наст. изд.; воспоминания В. В. Стасова в наст. т.).

[15] Салтыков-Щедрин приехал в Париж в августе 1880 г. и вскоре встретился с Тургеневым (*Салтыков-Щедрин,* т. 19, кн. 2, с.).

[16] 9/21 апреля 1873 г. Тургенев писал Салтыкову: «Я один из самых старинных и неизменных поклонников Вашего таланта... Вы отмежевали себе в нашей словесности целую область, в которой Вы неоспоримый мастер и первый человек» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 91). Не оценив по достоинству ранних произведений писателя (в частности, его «Губернские очерки»), в семидесятые годы, с появлением «Истории одного города», Тургенев увидел в Салтыкове гениального сатирика. По масштабу и могучей силе дарования он ставит его вровень с Л. Толстым. «Мне иногда кажется, — говорил Тургенев, — что на его плечах вся наша литература теперь лежит» (см. т. 1 наст. изд., с. 416). Наряду с произведениями Пушкина, Лермонтова, Л. Толстого, он популяризирует в Европе и творчество Салтыкова-Щедрина. Тургеневу принадлежит статья, адресованная английскому читателю «Истории одного города». В 1881 г. в Париже вышло французское издание трех сказок Салтыкова в переводе Э. О' Фарелля («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Пропала совесть»).

[17] Личное знакомство Тургенева с Проспером Мериме произошло в 1857 г. в Лондоне. Между ними возникла творческая дружба, длившаяся до самой кончины Проспера Мериме. Начиная с 1854 г. Мериме выступает как постоянный и неустанный популяризатор творчества Тургенева во Франции, занимаясь переводами его произведений, публикуя о них литературно-критические статьи. Огромный интерес (не только для историков литературы) представляет обширная переписка Мериме и Тургенева, в которой затрагиваются проблемы мировой литературы и искусства, политики и истории, быт и нравы. (Подробно о Мериме и Тургеневе см. в ст: М. Клеман. И. С. Тургенев и Проспер Мериме, — *ЛН,* т. 31 — 32, 1937, с. 707—752; письма Мериме к Тургеневу опубликованы в книге Мориса Партюрье (Mourice Parturier. Une amitié littéraire. Prosper Mérimée et Ivan Tourguéniev, Paris, Hachette, 1952).

[18] А. Ламартину принадлежит панегирически-восторженная статья «Иван Тургенев» (1866), которую Тургенев называл «ламартиновской нелепостью» (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 348, 599). Очерк Ламартина изобиловал неточностями, фактическими ошибками. Однако это была первая биография Тургенева на французском языке.

[19] Дружба Тургенева и Флобера длилась почти двадцать лет. И. Я. Павловский пишет в своих воспоминаниях: «Из французских современных писателей И. С. питал искреннюю и глубокую любовь только к Флоберу. «С н а м и , — говорил мне З о л я , — он не мог сходиться близко, нас разделяли возраст, вкусы, привычки. Мы все его очень уважали, он нас также любил, но дружбы, близости в отношениях между нами не было. У меня от него есть всего двa-три письма, которые имеют общий интерес... Между тем с Флобером он переписывался почти непрерывно в течение 15-ти лет. Флобер говорил мне, что эти письма имеют большой интерес» («Русский курьер», 1884, № 137). По словам Флобера, он познакомился с Тургеневым 23 февраля 1863 г. на одном из знаменитых обедов у Маньи (см. также наст. т., Эдмон и Жюль де Гонкур, «Из Дневника»). В первом же письме к Тургеневу, спустя месяц после их знакомства, Флобер признается: «С давних пор Вы являетесь для меня учителем...» Флобер сравнивал автора «Записок охотника» с Сервантесом, он восхищен благородством его таланта, тонкостью и точностью его психологических наблюдений. Тургенев в восприятии Флобера — один из самых гармоничных современных художников. «Во всем особенный, Вы умеете быть в с е о б щ и м», — писал от Тургеневу 16 марта н. ст. 1863 г. Как утверждает один из современников, Флобер говорил, что Тургенев «понятнее» для него, «чем граф Лев Толстой и Достоевский», ибо он «и в переводе сохраняет всю свою самобытность» («Новости и биржевая газета», 1883, № 253, 23 сентября/ 5 октября). Тургенев в глазах Флобера — художник в самом высоком и единственном смысле. «Я не вижу больше никого, кто бы так понимал искусство и поэзию...» — пишет он автору «Первой любви» и «Вешних вод», пленивших его. Французский романист восхищен образованностью Тургенева, обширностью его познаний. «Он человек з а м е ч а т е л ь н ы й, — сообщает Флобер г-же Комманвиль. Ты не представляешь, сколько он знает. Он читал мне куски наизусть из трагедий Вольтера...» Флобер ищет и ждет встреч с Тургеневым: «Вы единственный человек, с которым я люблю беседовать». «Общество моего дорогого Тургенева приносит благо моему сердцу, разуму, нервам...» (G. F l a u b e r t . Lettres inédites à Touigué-neff. Monaco, 1946). Тургенев особо выделял Флобера из среды современных европейских писателей. «Госпожа Бовари», по убеждению Тургенева, «бесспорно самое замечательное произведение новейшей

французской школы» (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 99). Тургенев пишет Эмилю Золя 23 мая 1880 г., вскоре после смерти друга: «Флобер был одним из тех людей, которых я любил больше всего на свете. Ушел не только великий талант, но и необыкновенный человек; он объединял вокруг себя всех нас» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 251, 388).

[20] Имеется в виду «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, которую Тургенев перевел при участии Луи Виардо.

[21] Об отношении Тургенева к Мопассану см. наст, т., с. 258—261. Тургенев прочил В. М. Гаршину, в котором видел ученика Л. Толстого, большую будущность (см. т. 1 наст. изд., с. 418).

[22] Тургенев посетил больного Флобера в Круассе 3 февраля и. ст. 1879 г. В письме от 5 февраля и. ст. Флобер благодарил Тургенева за предложение принять вакантную должность хранителя библиотеки Мазарини. Тургенев не сомневался в успехе своих хлопот, полагаясь на обещание Леона Гамбетты, которым он восхищался как национальным героем и государственным деятелем. Однако его постигло разочарование. 17 февраля 1879 г. это место, видимо по более «влиятельной» протекции, получил другой претендент. Вскоре в газете «Новое время» (1879, № 1065) появилась заметка «Леон Гамбетта и Иван Тургенев», автором которой был В. В. Стасов, иронизировавший по поводу неудачного посредничества писателя.

[23] См. об этом: *Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 1, с. 7. В комитет по сооружению памятника Флоберу входили Гюго, Эдмон Гонкур, Мопассан. Недовольство, которое выразила определенная часть русской публики приглашением Тургенева принять участие в сборе средств на памятник Флоберу, объяснялось ею тем, что до сих пор не был сооружен памятник Гоголю. Памятник Флоберу работы скульптора Шапю был установлен на родине писателя, в Руане, лишь в 1890 г.

[24] Свидетельству Ковалевского о том, что «роман не был даже начат Иваном Сергеевичем», противоречат воспоминания других современников — Н. М. (см. наст. т.), И. Я. Павловского. Оба мемуариста утверждали, что видели рукопись нового романа, представляющую собой «кипу исписанных листков».

[25] Тургенев нередко хлопотал за русских политических эмигрантов перед министром внутренних дел М. Т. Лорис-Меликовым (см.: Л. К. Ильинский. И. С. Тургенев и эмигранты. — «Литературно-библиологический сборник», Пг., 1918, с. 32—39; см. также *ЛН*, т. 73, кн. первая, с. 385—386).

[26] В октябре 1879 г. в Кракове широко отмечался пятидесятилетний юбилей Ю. И. Крашевского. По соображениям политического характера Тургенев не решился присутствовать на юбилее

в Кракове, опасаясь антирусских выступлений. Кроме того, он предполагал, что его участие в торжествах, посвященных польскому поэту, может повредить его поездке в Россию (см. письмо М. М. Стасюлевичу от 13/25 сентября 1879 г. — *Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 130). 13/25 ноября Тургенев писал Крашевскому: «Мне очень было приятно получить Ваше письмо — и, поверьте мне, еще было бы приятнее присутствовать на столь заслуженном Вашем торжестве. Вы, вероятно, хорошо понимаете, почему я должен был отказаться от моего намерения. Было бы невозможно избежать недоразумений, и хотя я твердо убежден, что рано или поздно духовная связь установится между Вашим и моим народом, — но почва, на которой должна возникнуть эта связь, еще слишком мало подготовлена... Россия должна сперва перестать <быть> *старой* Россией...» (там же, с. 178, 479).

[27] Имеется в виду И. С. Аксаков — идеолог славянофильства, известный публицист. Тургенев, непримиримо относившийся к доктринам славянофилов, был идейным противником И. С. Аксакова.

Н. М.

ЧЕРТЫ ИЗ ПАРИЖСКОЙ ЖИЗНИ И. С. ТУРГЕНЕВА

Имя автора воспоминаний, подписанных инициалами Н. М., до сих пор остается невыясненным. Есть предположение, что это один из «парижских знакомых» Тургенева Н. С. Мазурин *. По мнению И. С. Зильберштейна, воспоминания принадлежат писателю и публицисту Митрофану Нилычу Ремезову, ближайшему сотруднику журнала «Русская мысль» (начиная с 1884 г.), где в 1883 году и были опубликованы «Черты из парижской жизни И. С. Тургенева».

Но бесспорно одно: автор воспоминаний — публицист, выступавший в печати со статьями на исторические и общественно-политические темы. Он был близок к демократическим кругам русской молодежи. На это есть указание в самом тексте воспоминаний. «Я... много рассказывал Ивану Сергеевичу, — пишет мемуарист, — о внутренней жизни, взаимных отношениях и типических чертах той среды, которой он всегда живо интересовался и за которою в последние годы следил с особенным вниманием, — среды русской молодежи». С некоторыми из его работ Тургенев был знаком, что видно из самих воспоминаний. В ряду мемуаров, рассказывавших

* См. обзорную статью Л. Р. Ланского «Последний путь». — *ЛН,* т. 76, с. 649.

о последнем неосуществленном романе писателя, воспоминания Н. М. представляют особый интерес, так как раскрывают философское содержание замысла Тургенева.

Текст печатается по изданию: «Русская мысль», 1883, № 11.

[1] Газета «Порядок» издавалась в Петербурге с 1 января 1881 г. по 1882 г. Ее редактором был М. М. Стасюлевич. Возникновение этого умеренно-либерального органа было вызвано желанием создать известного рода противовес официозу — «Московским новостям» и «Новому времени». Тургенев внимательно следил за новой газетой; о первых, с его точки зрения слабых, номерах он писал Стасюлевичу: «Общее впечатление «Порядка» пока серовато и напоминает официальные издания; желательно было бы больше погружения в современную столичную жизнь, хотя бы и без трескотни и бубенчиков «Нового времени» (*Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 1, с. 36). Постоянным сотрудником «Порядка» были П. В. Анненков, К. Д. Кавелин, В. Ф. Корш, В. В. Стасов, А. И. Эртель и др. (см.: Н. Н. Мостовская. Тургенев и газета М. М. Стасюлевича «Порядок». — *Тург. сб., вып. IV, 1968*).

[2] Приведенные в воспоминаниях характерные суждения Тургенева о недостаточной образованности молодых литераторов, о том вредном влиянии, которое оказывает на их творчество пренебрежительное отношение к наследию русской и иностранной классики, близки тому, о чем говорится в других мемуарных записях семидесятых годов, принадлежащих, по всей вероятности, И. С. Аксакову: «Лет пять или шесть назад, в один из своих приездов в Москву, Тургенев рассказал нам следующее (речь шла о современной русской поэзии): «Получаю я однажды в Париже... целый рукописный том русских стихотворений под общим заглавием: «Из-за решетки»... Я перечел еще раз и пришел к убеждению, что юные авторы, наверное, никогда не читали ни Пушкина, ни Лермонтова, не говоря уже о Баратынском, Тютчеве... Возвращая рукопись, я написал им письмо, в котором, конечно, постарался не оскорблять юного авторского самолюбия, однако же в самой мягкой форме спросил-таки их: читали они такое-то и такое-то стихотворение Пушкина (или же иного поэта)?.. Через несколько времени я получил ответ, что ведь это действительно так! Молодые авторы сознавались сами, что им лично не привелось никогда читать ни Пушкина, ни других поэтов, кроме разве стихов, помещенных в хрестоматиях!..» (цит. по *ЛН,* т. 76, с. 699).

[3] О том, как близко к сердцу принимал Тургенев критику своей повести «Отчаянный», рассказывает также в своих воспоминаниях И. Я. Павловский (см.: И. Я. Павловский. Воспоминания об И. С. Тургеневе» — «Русский курьер», 1884, № 199, 21 июля),

[4] Об истории возникновения замысла романа подробно рассказывается в воспоминаниях И. Я. Павловского. В первоначальном русском варианте его воспоминаний имя человека, ставшего прототипом героя романа, было скрыто за инициалом «П». Во французском издании мемуаров он был назван Поливановым. Биография П., события его личной жизни, разыгравшиеся на глазах у Тургенева, явились реальным поводом к возникновению этого замысла. Долгое время в литературе о Тургеневе существовало предположение, что прототипом героя мог быть Н. А. Чайковский: его биография (поездка в Америку, вступление в секту шекеров) весьма напоминала историю П. Но им мог быть и родной брат мемуариста — А. Я. Павловский, также живший одно время в Америке, увлекавшийся учением шекеров. В его судьбе Тургенев принимал большое участие. Герой будущего романа, безусловно, вобрал в себя черты выдающихся деятелей русского революционного движения, с которыми Тургенев встречался в семидесятые — восьмидесятые годы: Г. А. Лопатина, П. А. Кропоткина и др.

[5] В дневниковых записях Ф. Тургеневой 1873 г. приведены суждения писателя о неуклонном процессе обуржуазивания Франции. «Да, через 25 лет Франция удивит мир своею бакалеей, — говорил Тургенев. — Французы сделаются маленькими, маленькими, как орешки. Я не говорю этого французам, но таково мое убеждение...», «Через двадцать лет, когда захотят говорить о существах безобидных, скажут, голуби, французы и т. д.», «Наступит царство господина Прюдома... * Франция будет что ни на есть спокойная, что ни на есть буржуазная. Человеку с фантазией, поэту (я не о себе говорю) нечего будет делать во Франции» (*ЛН,* т. 76, с. 379, 380, 382).

[6] Имеется в виду письмо к редактору «Вестника Европы» (1879 г.), известное как «Ответ иногороднему обывателю» (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 185).

[7] См. об этом в т. 1 наст. изд., коммент. 73 на с. 515.

[8] Парижский корреспондент «Русских ведомостей» сообщил в газете вскоре после смерти Тургенева: «И. С. оставил после себя мемуары, которые он начал с конца прошлого века, со слов его матери, и вел до самого последнего времени» (*ЛН,* т. 76, с. 640).

Е. АРДОВ (АПРЕЛЕВА)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

Тургенев познакомился с Еленой Ивановной Бларамберг (в замужестве Апрелевой; 1846—1923) в 1871 году в Петербурге, в доме композитора А. Н. Серова. Возможно, что еще до этого он знал

* Классический тип европейского самоупоенного буржуа.

о ней от старшей дочери Полины Виардо, Луизы Эритт, чьим близким другом была Елена Бларамберг. Тургенев одобрил первые творческие опыты своей новой «ученицы», представил ее в литературных столичных кругах как образованного, умного и способного человека, познакомил с А. Ф. Писемским и М. М. Стасюлевичем. Впоследствии, часто бывая на «средах» у Писемского, Бларамберг подробно писала Тургеневу (видимо, по его просьбе) об этих литературных вечерах.

«Радуюсь, что Вам наша женская литература нравится, она действительно этого заслуживает; да и кроме того — это signum temporis» *, — замечал Тургенев в письме к П. В. Анненкову от 13/25 ноября 1879 г. Эти слова Тургенева о «женской литературе» как о своего рода «знамении времени» во многом объясняют причины того постоянного, порой энтузиастического участия, которое принимал он в судьбах творческой молодежи. Сам факт прихода женщин в литературу рассматривался Тургеневым как закономерное явление в долгожданном и столь необходимом для России процессе эмансипации личности.

Воспоминания Бларамберг (литературный псевдоним — Е. Ардов) особенно интересны в той их части, где речь идет о жизни Тургенева в Буживале, ибо мемуаристка была одной из немногих, имевших возможность наблюдать изо дня в день в течение довольно долгого времени жизнь в «Ясенях».

Впервые воспоминания опубликованы в «Русских ведомостях», 1904, № 4, 15, 18, 22, 25, от 4, 15, 18, 22 и 25 января. Печатается по тексту первой публикации.

[1] А. Н. Серов умер 20 января 1871 г.

[2] Тургенев впервые встретился с Е. Бларамберг между 15/27 февраля и 21 февраля/5 марта 1871 г. Однако в тургеневской летописи нет упоминания о том, что писатель именно в этот промежуток времени выступал с чтением своих произведений на вечере в пользу Литературного фонда, о чем упоминается в мемуарах. Он выступил с чтением «Бурмистра» несколько позже — 27 февраля / 11 марта — в клубе художников, на литературно-музыкальном утре в пользу гарибальдийцев.

[3] Поэт К. К. Случевский в одном из несохранившихся писем к Тургеневу сообщал о резко неприязненном отношении русских студентов, учившихся в Гейдельберге, к роману «Отцы и дети». В своем ответном письме к Случевскому от 14/26 апреля 1862 г. Тургенев категорически отрицал обвинение в якобы преднамеренных выпадах против демократической молодежи. Не менее острой была реакция

* Знамение времени (*лат.*).

части гейдельбергской молодежи на следующий роман Тургенева — «Дым». В сатирическом изображении «Губаревского кружка» она усматривала выступление против революционной эмиграции (см. ст.: А. В. Муратов. Гейдельбергские арабески в «Дыме». — *ЛН,* т. 76, с. 71—105).

[4] Диспут С. К. Кавелиной с известным русским педагогом В. Д. Сиповским о преподавании истории в средних учебных заведениях состоялся 20 февраля 1871 г. на заседании С.-Петербургского педагогического общества. В письме к Виардо от 22 февраля Тургенев рассказывал о том необыкновенном впечатлении, какое произвела на него С. К. Кавелина: «...Молодая девятнадцатилетняя барышня (дочь профессора из числа моих друзей, г. Кавелина) перед двумя сотнями слушателей в диспуте на историческую тему отстаивает свое мнение с редкостными знаниями, уверенностью и красноречием. Вот это, несомненно, нечто новое, и ни тени педантизма, детская непосредственность, такая полная отрешенность от всего личного, что исчезает всякая робость. Это удивительно!» (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 365—366). С. К. Кавелина (в замужестве Брюллова) — впоследствии одна из первых женщин-историков, автор оригинальных исторических исследований. Брюлловой написана литературно-критическая статья о «Нови», в которой она называет роман великим произведением, «политическим исповеданием веры» писателя (о Брюлловой и Тургеневе см. предисловие и публикацию Н. Ф. Будановой «Статья С. К. Брюлловой о романе «Новь». — *ЛН,* т. 76, с. 277—320). Тургеневу принадлежит некролог о С. К. Брюлловой (*Тургенев, Соч.,* т. XIV).

[5] В письме от 13/25 августа 1875 г. из Парижа содержался критический разбор первого романа Е. Бларамберг «Без вины виноватые». Роман, по мнению Тургенева, являлся плодом «ума наблюдательного, начитанного — и теплого, правдивого сердца» (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 113—114). Роман был опубликован в «Вестнике Европы», 1877, № 7—8.

[6] Артистические «четверги» и «вторники» в доме Виардо имели европейскую известность. «Все шло под эту кровлю высокого художества, считая честью быть у гениальной певицы и музыкантки», — рассказывал художник А. П. Боголюбов (*ЛН,* т. 76, с. 450; см. также наст. т., воспоминания Б. Фори, Поля Виардо).

[7] Талантом Виардо восхищались А. Рубинштейн и Чайковский, Гуно и Шопен, Герцен, Флобер. Роль Ифигении в исполнении Полины Виардо в опере Глюка «Ифигения в Тавриде» была одной из особенно любимых Тургеневым. «И. Тургенев говорит о своем волнении, когда он слушал «Ифигению в Тавриде» утром на репетиции, — пишет в своем «Дневнике Ф. Тургенева. — «Во всей музыке, — говорил писатель, — нет ничего более прекрасного — я это всегда

утверждал и стою на этом». «Был потрясающий момент, — вспоминал он, — там есть один стих — «Моя отчизна уничтожена!». Как она произнесла это! Там было несколько французов, они сильно побледнели, оркестр остановился, — невозможно было продолжать — так это сильно...» (*ЛН,* т. 76, с. 377). Современники были на редкость единодушны, рассказывая о том ни с чем не сравнимом впечатлении, которое производила на зрителей Полина Виардо — певица и актриса. Вот что вспоминает, например, дочь Теккерея — Изабелла Ричи, слушавшая Виардо: «В тот незабываемый вечер, так ярко запечатлевшийся в моей памяти, г-жа Виардо... пела, аккомпанируя себе с какой-то особой, одной ей присущей прелестью и вдохновением. Это была одна немецкая баллада, что-то бесхитростное и вместе с тем очень сложное, что-то огромное и необъятное. Она пела, и в музыку вдруг врывался шум грозы и топот ног крестьянских ребятишек, бегущих по дороге. Мы слушали ее, и шум дождя наполнил комнату, и сами мы казались себе этими детьми. Когда песня замолкла, трепет восхищения, охвативший слушателей, перешел в восторженный хор похвал. Это было одно из тех мгновений, которые запоминаются на всю жизнь. Пение Полины Виардо затронуло в наших сердцах какие-то неведомые нам сокровенные струны; ее глаза сияли, последние слова она произнесла почти шепотом...» * (Ritchie. Lady Blackstick papers. London, 1908, p. 233—259).

[8] С начинающей писательницей Любовью Яковлевной Стечькиной Тургенев познакомился в 1878 г. Он заинтересовался ее повестью «Варенька Ульмина», вещью «очень странной, но живой» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 408—409; см. также в наст. т. воспоминания А. Н. Луканиной). Повесть, переработанная на основе замечаний Тургенева, затем, по его рекомендации, была опубликована в «Вестнике Европы» за 1879 г., № 11 и 12. Впоследствии Тургенев принял живое участие в судьбе Л. Я. Стечькиной, тяжело заболевшей туберкулезом. «Приезжает молодая девушка-писательница лечиться в Париж, — вспоминает И. Я. Павловский, — И. С. бегает по отелям, отыскивая для нее помещение, знакомит с молодыми людьми, чтобы ей не было скучно, возит к докторам, которые будто бы с него «ничего не брали» (а они с него брали больше, чем с других), утешает, ссорится, когда больная капризничает и не хочет принимать лекарства, два-три раза в день бегает справляться об ее здоровье. И почему? Потому что у девушки этой есть талант...» (И. Я. Павловский. Воспоминания об И. С. Тургеневе. Из записок литератора. — «Русский курьер», 1884, № 196, 18 июля).

---

* Перевод Н. И. Хуцишвили.

[9] Отдельное издание романа Золя «Западня» («Assomoir») появилось в начале 1877 г. Огромный по тому времени тираж книги был раскуплен в течение нескольких дней.

[10] Пьеса Эмиля Эркмана и Луи Шатриана (выступавших под общим псевдонимом Эркман-Шатриан) «Друг Фриц» («L'ami Fritz») шла на сцене «Comédie Française» в декабре 1876 г.

[11] Жорж Санд скончалась 8 июня 1876 г. Тургенев в это время был в России и о смерти ее узнал из письма Полины Виардо, которую связывала с автором «Консуэло» давняя дружба. В статье-некрологе «Несколько слов о Жорж Санд» («Новое время», № 105, 15/27 июня 1876 г.) Тургенев привел большую выдержку из этого письма к нему Полины Виардо (*Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 232—233). В заключение статьи он сравнивал Жорж Санд с «нашими святыми», то есть деятелями русского освободительного движения. «Всякий тотчас чувствовал, что находится в присутствии бесконечно щедрой, благоволящей натуры, в которой все эгоистическое давно и дотла было выжжено неугасимым пламенем поэтического энтузиазма, веры в идеал...» Тургенев собирался впоследствии написать «серьезную статью» о Жорж Санд (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 277—278).

[12] Имеется в виду Н. А. Кишинский, управляющий имениями Тургенева в 1867—1876 гг. Обнаружив большие растраты и хищения, допущенные Кишинским, Тургенев отстранил его от должности управляющего. Вскоре им был приглашен в качестве управляющего имениями Н. А. Щепкин, внук знаменитого актера.

[13] Рассказ «Аполлон Маркович» Тургенев рекомендовал для публикации в «Вестнике Европы», однако в журнале этот рассказ Е. Бларамберг, показавшийся Стасюлевичу слабым, не появился. «Аполлон Маркович» был напечатан в газете «Наш век» (1877, *N*° 50—52, 21—23 апреля) под псевдонимом Ардов. Редакция газеты в специальном примечании рекомендовала начинающего автора как «несомненный талант». Французский перевод рассказа был выпущен в Брюсселе, в газете «Indépendance Belge» (1877).

[14] Имеется в виду Валериан Александрович Панаев, публицист, в 1876 г. встречавшийся с Тургеневым в Париже. Его дочь А. В. Панаева-Карцова брала уроки пения у Полины Виардо.

[15] Эту черту характера Тургенева знали и ценили его друзья. «Тургенев любит шум и веселье, — записано в «Дневнике» Жорж Санд. — Он такой же ребенок, как и мы. Танцует, вальсирует; какой он добрый и славный, этот гениальный человек» (А. Моруа. Жорж Санд. М., 1967, с. 395). О радостной, артистической атмосфере, царившей в кругу Тургенева — Виардо, рассказывают в своих воспоминаниях А. П. Боголюбов, С. И. Танеев, И. Е. Репин. В салоне Виардо собирался «весь музыкальный Париж. Серьезная музыка чередовалась с веселыми танцевальными вечерами. Вместе с моло-

дежью веселился Тургенев, ставивший шарады, а Сен-Санс, по словам Репина, аккомпанировал танцам с таким энтузиазмом, что «чуть на голове не ходил» (В. Д. Поленов, Е. Д. Поленова. Хроника семьи художников. М., «Искусство», 1964, с. 15).

[16] О свойственных Тургеневу приступах горечи, вызванных болью за «состояние дел» на родине, вспоминает также И. Я. Павловский («Русский курьер», 1884, № 137).

[17] Тургенев покровительствовал молодому С. И. Танееву, будущему талантливому композитору, ввел его в артистический круг друзей Полины Виардо. «Отличный фортепианист и прекрасный малый», — аттестовал он Танеева в одном из своих писем к А. П. Боголюбову (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 72). Танеев должен был выступать на литературно-музыкальном утре 14/26 февраля 1877 г., но этот концерт не состоялся.

[18] Тургенев приехал в Петербург 22 мая / 3 июня 1877 г.

[19] Письмо Тургенева от 1/13 июня 1877 г. (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 166-167).

[20] Письмо Тургенева от 15/27 августа 1877 г. (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 198—199).

[21] См. об этом в наст. т. воспоминания С. Л. Толстого. В 1878 г. Тургенев пробыл в Москве с 3/15 по 7/19 августа.

[22] Речь идет об Ольге Николаевне Скобелевой, матери генерала М. Д. Скобелева.

[23] Вечер состоялся 10/22 февраля 1879 г.

А. Н. ЛУКАНИНА

МОЕ ЗНАКОМСТВО С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ
(Из воспоминаний)

Автор замечательных по своей содержательности и достоверности воспоминаний о Тургеневе, Аделаида Николаевна Луканина (1843—1908) познакомилась с писателем осенью 1877 года: «Я приехала в Париж в 1877 году, с докторским дипломом, оконченною повестью и несколькими десятками франков в кармане. Мне очень была нужна работа... В октябре я получила из Петербурга от профессора А. П. Б. рекомендательное письмо к И. С. Тургеневу...» * Автором «рекомендательного письма» был ученый-химик и композитор А. П. Бородин, встречавшийся с Тургеневым в Петербурге в семидесятые годы на музыкальных вечерах у В. В. Стасова. «...Позволяю себе беспокоить Вас, — писал Бородин И. С. Тургеневу 16 октября 1877 года, — просьбою относительно одной из

* «Северный вестник», 1887, № 2, с. 38.

моих бывших учениц. Это некто Аделаида Николаевна Луканина, доктор медицины Филадельфийской медицинской академии. По обстоятельствам, от нее не зависящим, она вынуждена жить в Париже, пока не получит возможность возвратиться в Россию... Помимо специальных знаний, она имеет очень хорошее общее образование, хорошо знает языки — французский, немецкий и английский, недурно итальянский и... даже сербский... Личность эта в высшей степени хорошая, честная, правдивая, скромная и даровитая... Занимаясь у меня химией, она в три года сделала такие успехи, что успела заявить себя двумя научными исследованиями по органической химии. Одно из них было сообщено в протоколах заседаний Русского химического общества в Петербурге.,. Сколько мне известно, это первая научная работа женщины, удостоенная чести попасть на страницы бюллетеня нашей Академии наук» *. В этом письме Бородин рассказал в основном почти всю биографию Луканиной, личности незаурядной, одной из первых русских женщин-ученых.

А. Н. Луканина не могла вернуться в Россию, так как была скомпрометирована в глазах III Отделения связями с политической эмиграцией, в частности с М. А. Бакуниным. Тургенев не только помог Луканиной в публикации ее статей и беллетристических произведений, но и хлопотал перед шефом жандармов А. Р. Дрентельном о разрешении Луканиной вернуться на родину.

В течение шести лет (с 1877 по 1883 г.) Луканина постоянно встречалась с Тургеневым. Воспоминания же создавались на основе записей, которые делались часто сразу же после свидания с писателем. По словам самой мемуаристки, ее воспоминания представляют собой «нечто вроде дневника». Луканина хотела впоследствии написать новые воспоминания о Тургеневе для журнала «Русское богатство», но, по-видимому, желание это не было осуществлено **.

Текст печатается по изданию: «Северный вестник», 1887, № 2—3.

[1] «Летом 1876 г. И. С. Тургенева особенно поразил факт необыкновенно быстрого развития кулачества не только среди крестьян, но и между помещиками. Он несколько раз возвращался к этой теме и выразил желание поработать над ней, — рассказывал в своих воспоминаниях Ан. Половцов. — Крепостное право, говорил он, мы победили, то есть уничтожили зависимость лица от лица, Петра от Семена, но крепостное право в другом виде еще осталось. Крестьянин находится в полной зависимости от кулака, будь то помещик или

* «Литературный архив», т. 4, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1953, с. 392—393.

** Там же, с. 353.

мужик; он делается его вещью. Если бы я был помоложе, я и с беллетристической стороны напал бы на этого врага. Теперь следует развить и разбить тип кулака» («Царь-Колокол». Иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 г., с. 77). Луканина далее приводит рассказ Тургенева о действительных событиях, которые он собирался использовать в очерке под названием «Всемогущий Житкин».

[2] Н. А. Некрасов скончался 27 декабря 1877 г. Тургенев писал П. В. Анненкову: «Да, Некрасов умер… И вместе с ним умерла большая часть нашего прошедшего и нашей молодости...» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 261).

[3] Тургенев писал М. М. Стасюлевичу 21 января / 2 февраля 1878 г. о своем намерении опубликовать в «Вестнике Европы» «Березая», вторую повесть Луканиной, «которая теперь лежит у меня на столе и которую я перечитываю с великим удовольствием» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, С. 269).

[4] Рассказы «Птичница» и «Березай» опубликованы в «Вестнике Европы», 1878, № 6 и 7.

[5] Повесть «Любушка» была напечатана в «Вестнике Европы», 1878, № 3.

[6] Речь идет о Е. Л. Маркове, сотрудничавшем в журналах «Дело», «Вестник Европы» и др. изданиях. В 1878 г. вышло отдельное издание его романа «Черноземные силы», который печатался в 1876 г. в «Отечественных записках», а в 1877-м в журнале «Дело».

[7] О необходимости расстаться со своей картинной галереей, в которой были собраны ценные полотна современной французской и старой голландской живописи, Тургенев сообщал М. М. Стасюлевичу 25 марта / 6 апреля 1878 г.: «Тяжелые обстоятельства... заставили меня прибегнуть к мере, которую я всячески откладывал… я продаю гуртом с аукционного торга все мои картины — и эта продажа произойдет 20-го апреля. Я много на них потеряю...» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 302). Тургенев продал картинную галерею для того, чтобы помочь семье своей дочери, Полине Брюер. Мужу ее, владельцу небольшой стекольной фабрики, грозило банкротство.

[8] «Христос» Антокольского... вещь бессмертная!» — писал Тургенев об этом создании скульптора. Свое впечатление от «Христа» Антокольского передал в воспоминаниях о Тургеневе П. А. Кропоткин — см. наст. изд., т. 1.

[9] В пятидесятые годы Тургенев выделял повести и рассказы из народной жизни Кохановской (С. Н. Сохансκой) в ряду произведений современной литературы. Творчество Кохановской пятидесятых—шестидесятых годов обратило на себя внимание Щедрина.

[10] Имеется в виду статья М. А. Антоновича «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы», в которой автор

рассматривал воспоминания Тургенева о Белинском как выступление против революционно-демократической критики 60-х годов, («Слово», 1878, № 2, с. 83).

[11] Скептическое отношение к литературно-критической деятельности Золя объяснялось прежде всего несогласием Тургенева с эстетической доктриной писателя, с его теорией натуралистического искусства. В июне 1878 г. вышла книга Золя «Театр», которую составили его пьесы «Тереза Ракен», «Наследники Рабурдена», «Бутон Розы». «Я публикую свои освистанные пьесы, и я жду... Жду результатов эволюции нашей драматургии», — писал Золя в предисловии к сборнику.

[12] Первая строфа из популярного в семидесятые годы стихотворения «Узница» (1878), навеянного поэту образом Веры Засулич.

[13] Речь идет о шефе жандармов А. Р. Дрентельне, которому Тургенев послал 6/18 ноября 1878 г. письмо с просьбой разрешить А. Н. Луканиной возвратиться в Россию (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 378—379). Письмо Тургенева осталось без ответа.

[14] Н. С. Тургенев скончался 7 января 1879 г.

[15] Речь идет о Ф. М. Достоевском, авторе «Бедных людей» (1846), приведших в восхищение Белинского и Некрасова. Как вспоминают современники (И. И. Панаев, Григорович, Анненков), огромный успех повести вскружил голову молодому Достоевскому настолько, что он, «решаясь отдать роман свой в готовившийся тогда альманах («Петербургский сборник»)... потребовал, чтоб его роман был отличен от всех других статей книги особенным типографским знаком, например, каймой» (*Анненков,* с. 283).

[16] См. наст. т., коммент. 16 на с. 467.

[17] По всей вероятности, речь идет о встрече со старшим сыном Н. Г. Чернышевского — А. Н. Чернышевским, который жил в Париже в 1879—1880 гг. Сохранилась одна записка Тургенева к А. Н. Чернышевскому от 18 ноября / 1 декабря 1879 г., которая свидетельствует об их знакомстве. Одно из стихотворений А. Н. Чернышевского, написанное в 1879 г., имеет такое авторское примечание: «По рассказу Ив. Серг. Тургенева». Возможно, оно появилось в результате свидания с писателем (см. об этом подробно в публикации В. Н. Шульгина «Тургенев, А. Н. Луканина и А. И. Чернышевский». — *Тург. сб., вып. IV, 1968,* с. 259—269; см. также *ЛН,* т. 76, с. 702).

[18] Речь идет о повести «Старые портреты», которой открывался незавершенный цикл «Отрывки из воспоминаний — своих и чужих»; опубликована в газете «Порядок» (1881, № 1 и 4). «Сейчас пришел пакет с «Старыми портретами», — писал Анненкову Тургенев. — Нечего Вам говорить, как меня обрадовал Ваш отзыв...» (*Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 1, с. 15).

[19] Картина Куинджи «Ночь на Днепре», имевшая большой успех на художественных выставках в России, была, по предложению Тургенева, выставлена в декабре 1880 г. в Париже, в галерее Зедельмейера. Однако ее владелец, вел. кн. Константин Константинович, вскоре затребовал картину. Он взял ее в кругосветное путешествие, из которого вернулся только в 1882 г.

[20] Речь идет о Н. И. Паевском, за которого впоследствии вышла замуж А. Н. Луканина.

[21] «Клара Милич» («После смерти») опубликована в «Вестнике Европы», 1883, № 1.

[22] Тургеневу сделали операцию 2/14 января 1883 г.

[23] Тургенев поручил перевод романа Мопассана «Жизнь» Н. П. Цакни, русскому политическому эмигранту, желая тем самым оказать ему необходимую помощь. Перевод был сделан Цакни крайне слабо (*ЛН,* т. 73, кн. 1, с. 412—413).

[24] Врач-психиатр, доктор медицины Н. К. Скорцова, жившая в Париже, рассказывала в своих воспоминаниях: «...Я... получила от m-me Виардо письмо, что Иван Сергеевич просит меня приехать... Когда я приехала... меня тотчас же провели к нему... Он попросил меня сесть и объяснил, зачем позвал меня. Передаю его словами: «Видите, в каком я положении. Страдаю невыносимо. Помочь мне не могут, кто бы ни лечил меня. Я человек неверующий и считаю себя вправе распоряжаться своей жизнью. Прошу вас, дайте мне отраву, чтобы прекратить мои мученья» (*Тург. сб., вып. IV, 1968,* с. 325).

[25] В конце июня 1883 г. Тургенев продиктовал последнее свое письмо Л. Н. Толстому. См. о нем в воспоминаниях С. Л. Толстого.

[26] *Д-р Б.* — известный русский врач Н. А. Белоголовый, лечивший писателя. Он оставил воспоминания, в которых рассказал о последних месяцах жизни Тургенева (Н. А. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи. Изд. 4-е. СПб., 1901, с. 409—419).

[27] Речь идет о рассказе «Конец», который был переведен на русский язык Д. В. Григоровичем.

Л. Ф. НЕЛИДОВА

ПАМЯТИ И. С. ТУРГЕНЕВА

Знакомство Лидии Филипповны Нелидовой (1851—1936) с Тургеневым произошло по инициативе писателя. Прочитав в октябрьском номере «Вестника Европы» за 1879 год повесть под названием

«Полоса», Тургенев увидел в ее авторе «свежий и сильный талант». «Я постараюсь с ней познакомиться», — сообщил он Анненкову 13/25 ноября 1879 года, когда узнал, кто скрывается за инициалами «Л. Н.». Тургенев просил своих приятелей А. В. Топорова, Я. П. Полонского, знавших писательницу, рассказать ему о Л. Ф. Ламовской (Нелидова — ее литературный псевдоним). «Все, что ты пишешь о ней, очень меня заинтересовало», — замечает он в ответном письме Полонскому (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 205). Встреча состоялась в январе 1880 года в Петербурге через посредство А. В. Топорова. Последний раз Нелидова виделась с Тургеневым в июне этого же года, в дни Пушкинских торжеств в Москве.

Л. Ф. Нелидова в действительности не обладала сильным талантом, в чем Тургенев вскоре и убедился, но она была человеком далеко не заурядным. Большое влияние на формирование ее характера оказал писатель-демократ В. А. Слепцов, чьей гражданской женой она стала в 1875 году. Он первый угадал в ней творческие задатки. По всей вероятности, над своей повестью «Полоса» Нелидова работала вместе со Слепцовым, не случайно Тургеневу в этой вещи почудилась «мужская рука». Жизнь сталкивала Нелидову с интересными людьми своего времени — Г. А. Лопатиным, И. И. Мечниковым (в семье которого она жила в Швейцарии в семидесятые годы). Помимо воспоминаний о Тургеневе, ей принадлежат мемуарные очерки о встречах с Некрасовым, Эртелем, Лопатиным.

Текст печатается по изданию: «Вестник Европы», 1909, № 9.

[1] Свое мнение о повести «Полоса» Тургенев сообщал Стасюлевичу в письме от 8/20 октября 1879 г. из Буживаля (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 149).

[2] Литературные «пятницы» у Я. П. Полонского описаны Д. Н. Садовниковым. — «Русское прошлое», 1923, № 1 и 3.

[3] Любимицей Тургенева была Клоди Виардо, в замужестве Шамеро.

[4] «Презанимательный психологический факт — сообщенная вами посмертная влюбленность Аленицина! Из этого можно бы сделать полуфантастический рассказ вроде Эдгара По», — писал Тургенев Ж. А. Полонской, которая передала ему подробности о трагической судьбе русской певицы Е. П. Кадминой и «посмертной влюбленности» в актрису молодого ученого В. Д. Аленицина — истории, легшей в основу сюжета повести «Клара Милич» («После смерти») (*Тургенев, Соч.,* т. XIII, с. 576—588).

[5] *«Della sedia»* — полотно Рафаэля «Мадонна в кресле».

ИНОСТРАННЫЕ МЕМУАРИСТЫ О ТУРГЕНЕВЕ

ЛЮДВИГ ПИЧ

ИЗ „ВОСПОМИНАНИЙ"

П. В. Анненков назвал Людвига Пича (1824—1911), немецкого литератора и художника, благородным идеалистом, делавшим «задачей своей жизни распространение произведений Тургенева в своем отечестве» *. Пич впервые познакомился с Тургеневым в 1847 году (а не в 1846-м, как утверждает мемуарист). Встретившись затем лишь через шестнадцать лет в Париже, они стали большими друзьями. Пич вскоре после этой встречи рассказывал Теодору Шторму о своем отношении к Тургеневу: «...Он мне душевно близок. Столько импозантной величавости в сочетании с такой глубиной и утонченностью духовной жизни, столько нежности и привлекательности в сочетании с такой силой, такой восприимчивостью и чуткостью я едва ли когда-нибудь еще встречал. И к тому же такое верное, горячее сердце друга» **.

Артистизм Тургенева, сама атмосфера искусства, в которой жил русский писатель, влекли к нему Людвига Пича. С 1863 по 1870 год Пич каждое лето приезжал в Баден-Баден. Он часто выступал как редактор немецких переводов произведений Тургенева, просматривая их в корректурах. Людвигу Пичу Тургенев обязан своим знакомством с немецкими поэтами, писателями, критиками, художниками — Теодором Штормом, Юлианом Шмидтом, А. Менцелем и др. Пич выступал с рецензиями на немецкие издания произведений Тургенева, публиковал в «Schlesische Zeitung» и «Vossische Zeitung» очерки о баденской жизни писателя, о музыкальных утренниках и вечерах в салоне Виардо. В 1878 году вышла в свет биография Тургенева на немецком языке, написанная Людвигом Пичем (L. Pietsch. Iwan Turgenjew. — «Nord und Süd», 1878, B. 20).

Впервые опубликовано в газете «Vossische Zeitung», 1883, № 425—429. Печатается по изданию: «Иностранная критика о Тургеневе», СПб., 1908.

Для настоящего издания русский текст отредактирован Н. Н. Буниным.

[1] Пич встретился с Тургеневым в июле 1863 г.

* *Анненков,* с. 379.
** *ЛН,* т. 76, с. 583.

[2] Пич и Полина Виардо были давние друзья. «Ты знаешь, как я опасался, что не застану Виардо, — писал Пич своему другу Т. Шторму 14 июня н. ст. 1853 г. — Когда я в первый же день шел к ее дому на улице Дуэ, у меня прямо-таки сжималось сердце. Но она была еще здесь, и мне редко случалось испытывать такое полное и безраздельное счастье, как в ту минуту, когда она, получив мою визитную карточку, в буквальном смысле слова бросилась мне на шею...» (*ЛН,* т. 76, с. 579). Рассказ Пича о встрече с Тургеневым в этом же письме почти дословно совпадает с текстом воспоминаний.

[3] Спектакль состоялся 15/27 апреля 1863 г., это было сто двадцатое выступление Полины Виардо в роли Орфея. «Виардо привела легко воспламеняющуюся публику... в такой энтузиазм, какого мне до сих пор не приходилось видеть», — сообщал Пич Шторму (*ЛН,* т. 76, с. 581).

[4] Тургенев подарил Пичу французские издания своих произведений в переводах Луи Виардо и Делаво: романы «Рудин» и «Накануне» (во французском переводе последний роман назывался «Новые сцены из русской жизни. Елена») и повесть «Первая любовь».

[5] В письме к Шторму Пич делится своими впечатлениями о «Призраках» (1863), прочитанных им в переводе Ф. Боденштедта: «Это сочетание сильнейшего и тончайшего реализма в картинах природы, с одной стороны, и самой жуткой чертовщины, с другой, — весьма оригинально» (*ЛН,* т. 76, с. 584). Повесть под названием «Erscheinungen» вошла во второй том мюнхенского издания избранных сочинений Тургенева в переводах Ф. Боденштедта (1865). «Призраки», переведенные Мериме в 1865 г., пользовались большой популярностью во Франции.

[6] Переводы Ф. Боденштедта, с которым Тургенев познакомился в 1861 г., отличались высокой профессиональностью и точностью. Поэт, прекрасно владевший русским языком (в течение восьми лет он жил в России), стал одним из постоянных переводчиков произведений Тургенева на немецкий язык. «Песни Мирзы Шаффи» в переводе Боденштедта вышли в 1851 г. 25 июня / 6 июля 1863 г. Тургенев писал Боденштедту: «Г-жа Виардо... воспользовалась своим пребыванием в Баден-Бадене, чтобы написать... музыку к нескольким русским стихотворениям, которые я ей указал... Музыкальное достоинство этих романсов так высоко, что мы решились издать их в виде альбома в Карлсруэ одновременно с русским и немецким текстами» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 131—132, 424). Вокальные композиции Полины Виардо на стихи французских и немецких поэтов пользовались известностью в музыкальном мире Европы, их высоко ценили Шопен и Лист. «12 стихотворений Пушкина, Фета и Тургенева, переведенные Ф. Боденштедтом и положенные на музыку П. Виардо» вышли в 1864 г. дважды — в Петербурге и Лейпциге

(см. об этом ст. М. П. Алексеева «Стихотворные тексты для романсов Полины Виардо». — *Тург. сб., вып. IV, 1968,* с. 189—204).

[7] В 1867—1869 гг. Тургенев написал либретто для оперетт «Слишком много жен», «Последний колдун», «Людоед», «Зеркало». О тургеневских либретто для оперетт на музыку П. Виардо см. в *ЛН,* т. 73, кн. 1, с. 69—224, где они впервые опубликованы.

[8] Тургенев относился с огромным интересом к личности и творчеству немецкого художника Адольфа Менцеля. В письме к Шторму от 18—19 июня и. ст. 1865 г. Пич рассказывал о встрече Тургенева и Менцеля в Берлине: «Он здесь полностью очаровал наш круг знакомых и, в первую очередь, Менцеля, так же как и Менцель показался ему самым великим явлением в новом искусстве, какое он когда-либо и где-либо встречал» (*Тург. сб., вып. I, 1964,* с. 332).

[9] Известный немецкий критик и историк литературы Юлиан Шмидт был автором ряда статей и очерков о творчестве Тургенева, Одна из его работ под названием «Этюд Юлиана Шмидта» опубликована в русском переводе в сб. «Иностранная критика о Тургеневе», СПб., 1908.

[10] Тургенев вместе с семьей Виардо в конце 1870 г. переехал из Баден-Бадена в Лондон. Но уже в августе 1871 г. он возвратился в Париж.

[11] Французский перевод «Отцов и детей» с предисловием и под редакцией П. Мериме был опубликован в 1863 г.

[12] В своем очерке о Тургеневе Юлиан Шмидт передает содержание беседы с писателем после его возвращения из России в 1880 г.: «Впервые Тургенев говорил с некоторой надеждой о будущности своего отечества. Он встретился с другом, которого высоко уважал и который укрепил его в новых воззрениях: это был писатель Толстой... Тургенев надеялся в будущем же году подольше пожить с ним вместе в деревне, поработать и таким образом восстановить связь с своим народом, связь, значительно ослабевшую во время его житья в Бадене и в Париже...» («Иностранная критика о Тургеневе», с. 18).

ГИ ДЕ МОПАССАН

ИВАН ТУРГЕНЕВ

С Тургеневым Мопассана (1850—1893) познакомил Гюстав Флобер в 1876 году на одном из своих знаменитых литературных собраний *. «Изо всей молодой школы романистов во Франции самый

* См. в наст. т.: Эдмон и Жюль де Гонкур. Из «Дневника».

талантливый г. де Мопассан», — утверждал Тургенев, рекомендуя М. М. Стасюлевичу к публикации произведения писателя *. О том, как высоко ценил Тургенев талант Мопассана, рассказывают и современники в своих мемуарах. «Больше всего он возлагал надежды на Ги де Мопассана... — вспоминает И. Я. Павловский, — последний всегда читал ему свои сочинения в рукописи. По отзывам И. С. <...> роман Мопассана «Une Vie» ** — величайший шедевр. Он был в таком восторге от него, что предложил М. М. Стасюлевичу купить эту рукопись...» ***

Мопассан называл себя учеником Тургенева. Его сборник рассказов, объединенных под названием «Дом Телье», вышел с таким посвящением: «Ивану Тургеневу — дань глубокой привязанности и великого восхищения. *Ги де Мопассан»*. После смерти Гюстава Флобера в 1880 году самым близким человеком для Тургенева среди его французских коллег стал Мопассан.

Очерк Мопассана «Иван Тургенев» (опубликован в газете «Gaulois» 5 сентября 1883 г.) представляет собой портрет русского писателя, сделанный на основе личных, психологически тонких наблюдений. Мопассану принадлежат еще три работы о Тургеневе — «Изобретатель слова «нигилизм» (1880), очерк «Фантастическое» и «Случай из жизни Тургенева», который является фрагментом новеллы Мопассана «Страх». В этом отрывке писатель передал слышанный им от Тургенева рассказ о встрече в лесу с безумной женщиной и о его мучительных ощущениях, вызванных этим тяжелым зрелищем. Французский писатель, в сущности, сохранил для нас содержание одного из неосуществленных замыслов Тургенева, предназначенных им для книги «Записки охотника».

Имя Тургенева тесно связано с историей культуры Франции второй половины XIX столетия. «В лице Тургенева впервые в истории франко-русских литературных отношении великий писатель одной страны активно и непосредственно участвовал в создании целого литературного движения в другой стране...» **** Обобщение советского исследователя как нельзя более точно определяет характер отношений Тургенева с писателями Франции. Эта мысль проникает воспоминания и статьи о Тургеневе его французских современников — Мопассана, А. Доде, П. Мериме, Поля Бурже и др.

Текст печатается по изданию: Ги де Мопассан, Полн. собр. соч., т. XI. М., «Огонек», 1958.

---

* *Тургенев. Письма,* т. XIII, кн. 1, с. 66.

** «Жизнь» (*фр.*).

*** «Русский курьер», 1884, № 137.

**** С. А. Макашин. Литературные взаимоотношения России и Франции. — *ЛН,* т. 29—30, с. LX.

[1] По всей вероятности, имеется в виду корреспонденция Ан. Половцова «У Ивана Сергеевича Тургенева», появившееся в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1876, № 207, 29 июля / 10 августа), в которой содержались некоторые подробности из жизни писателя в Спасском, сообщались сведения о его сочинениях, а главное — о будущем романе «Новь». В связи с этим фельетоном Тургенев писал его автору 12/24 ноября 1876 года: «Не могу скрыть от Вас, что я пожалел об его появлении... эта американская мода решительно нам не к лицу. Слишком пахнет рекламой и самовосхвалением» (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 354). С этой чертой Тургенева пришлось столкнуться и самому Мопассану, когда он задумал серию статей об иностранных писателях и в первую очередь решил написать о своем русском друге. «...Я не хотел, чтобы Вы писали эту статью обо мне, — отвечал Тургенев на это предложение. — Вы сделаете это превосходно, с тактом и чувством меры; но я боюсь, однако, как бы ее не сочли — простите за такое выражение — за дружескую рекламу. Строго говоря, у меня во Франции не так много читателей, чтобы ощущалась необходимость в специальной статье...» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 327, 395). Вместо статьи широкого плана Мопассан опубликовал очерк «Изобретатель слова «нигилизм», где главным образом шла речь о Тургеневе — авторе «Отцов и детей».

ЭДМОН И ЖЮЛЬ ДЕ ГОНКУР

ИЗ "ДНЕВНИКА"

Дневниковые записи братьев Гонкур (Эдмона — 1822—1896 и Жюля — 1830—1870) — единственные в своем роде воспоминания, запечатлевшие Тургенева во всей непосредственности живого общения с друзьями. Можно сказать, что «Дневник» Гонкуров обладает достоверностью кинохроники. Записи дружеских бесед (с 1870 г., после смерти Жюля Гонкура, дневник вел Эдмон Гонкур) бережно сохранили стиль и манеру Тургенева-рассказчика, блестящего, остроумного собеседника, «тонкого и благородного мыслителя» (см. ст.: В. Шор. И. С. Тургенев-рассказчик в «Дневнике» братьев Гонкур. — «Русская литература», 1966, № 3).

После первого знакомства в феврале 1863 года на одном из литературных обедов в парижском ресторане Маньи Эдмон Гонкур вновь встретился с Тургеневым только через десять лет, в 1871—1872 годах. Начиная с этого времени Тургенев часто бывал в обществе французских писателей, на встречах, известных сначала под

названием «Обедов освистанных авторов» *, затем «Обедов пяти» или «Обедов Флобера».

Записи, сделанные в дневнике Эдмоном Гонкуром через несколько лет после смерти Тургенева, были, однако, омрачены горьким чувством обиды. Это было вызвано мемуарами И. Я. Павловского (1887 г.), в которых он привел резкие высказывания писателя о творчестве Гонкуров. Немногие страницы мемуаров, посвященные Тургеневу после 1887 года, носят уже субъективный характер.

Русский текст печатается по изданию: Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник, т. 1 и 2. М., «Художественная литература», 1964. Для настоящего издания русский текст отредактирован Е. А. Гунстом.

[1] Имеются в виду «Записки охотника», романы «Накануне» («Антеор»; от лат. ante oram — перед часом) и «Рудин».

[2] По всей вероятности, речь шла об одном из представителей издательской фирмы братьев Салаевых, московском книгопродавце и издателе Ф. И. Салаеве, выпустившем три издания собраний сочинений Тургенева — 1865, 1869 и 1874 гг. В воспоминаниях Б. А. Чивилева приводится отзыв Тургенева о наследниках Ф. И. Салаева: «Он говорил мне, что *окончательное* салаевское издание похоже на картину, которую как бы умышленно хотели изгадить и исцарапали ногтями или перочинным ножом. Он упоминал о 6000 опечатках и намеревался сам издать дополнительную даровую брошюру, содержащую все опечатки и поправки их. Он говорил про Салаевых: «Они как русская кухарка, подают дорогую стерлядь на тухлом масле...» (Б. А. Чивилев. Отрывочные воспоминания о Тургеневе. — «Русские ведомости», 1883, № 279).

[3] Тургенев не был почитателем творчества Ф. Шатобриана, находя в нем «много эротического». «Я вспоминаю один яростный спор о Шатобриане, который длился с. семи вечера до часу ночи, — писал Золя в очерке «Гюстав Флобер», — Флобер и Доде защищали его, Тургенев и я высказывались против» (Э. Золя. Собр. соч. в 26-ти томах, т. 25. М., Гослитиздат, 1966, с. 485).

[4] В своем «Последнем дневнике» Тургенев сделал такую запись после тяжелой и мучительной операции: «В прошлое воскресение, 2/14 января так-таки и вырезали у меня невром... Было очень больно; но я, воспользовавшись советом Канта, старался давать себе отчет в моих ощущениях — и, к собственному изумлению, даже не пикнул и не шевельнулся» (*ЛН,* т. 73, кн. первая, с. 396).

---

* Имелись в виду неудачи, постигшие их участников как авторов пьес: «Анриетты Марешаль» Э. Гонкура, «Наследников Рабурдена» Э. Золя, «Арлезианки» А. Доде, «Кандидата» Флобера.

[5] «На прошлой неделе, в пятницу, в Париже, в русской церкви совершалось заупокойное молебствие, которое надолго сохранится в памяти всех, кто на нем присутствовал. Отпевали Ивана Сергеевича Тургенева, одного из самых прекрасных, самых благородных людей на земле... Одной из самых волнующих сцен прощания с И. С. Тургеневым было появление в церкви до начала службы группы русских «нигилистов», возглавляемых Лавровым, в обычное время редко посещающих церкви, которые возложили на гроб писателя траурный венок с надписью: «От русских эмигрантов в Париже» * (из воспоминаний В. Рольстона. — «Athenaeum», London, 1883, № 2916, 15 сентября).

БАТИСТ ФОРИ

ВОСПОМИНАНИЯ О ТУРГЕНЕВЕ

Воспоминания генерала Батиста Фори (1853—1938) были напечатаны в 1917 году в парижском журнале «Mercure de Frans» (март). Русский текст впервые опубликован в 1967 году в 76-м томе «Литературного наследства» в переводе Н. А. Леонтьевского, откуда и перепечатывается в настоящем издании с небольшими сокращениями.

[1] Имеется в виду первая мировая война 1914—1918 гг.

[2] Тургенев посвятил специальную статью парижской постановке оперы Мейербера «Пророк», которая состоялась 10 января н. ст. 1850 г. Об исполнении Виардо арии Фидес он писал: «Виардо поет ее, как никто не певал до нее...» (*Тургенев, Соч,* т. V, с. 351). Мейербер и Ш. Гуно были друзьями певицы; партии Фидес и Сафо (в одноименной опере) были написаны композиторами специально для Полины Виардо. В 1877 г. Виардо исполнила роль Альцесты в одноименной опере Глюка. Полине Виардо принадлежит несколько портретных зарисовок Тургенева, выполненных карандашом и пером. Сохранился целый альбом рисунков, начатый ею в 1847 г.: «Есть в нем несколько рисунков, сделанных пером и карандашом, воспроизводящих известные картины (например, Гойи)... остальное — зарисовки, сделанные дома, в гостиной, перемежаемые искусными портретами гостей и домашних» (М. П. Алексеев. По следам рукописей И. С. Тургенева во Франции. — «Русская литература», 1963, № 2, с. 67). Вместе с Тургеневым, также прекрасным рисовальщиком, она увлекалась игрой в портреты, часть из них выполнена ею (*ЛН,* т. 73, кн. первая, с. 427—576). О композиторской деятельности П. Виардо см. коммент. 6 на с. 484.

---

* Перевод Н. И. Хуцишвили.

[3] По словам А. И. Герцена, «быть в доме у умной, блестящей, образованной Виардо значило разом перешагнуть пропасть, которая делит всякого туриста от парижского и лондонского общества... Быть у нее в доме значило быть в кругу артистов... литераторов» («Былое и думы», ч. V I . — См. *Герцен,* т. XI, с. 173—174).

[4] Имеется в виду французское издание воспоминаний И. Я. Павловского (1877).

[5] Фори передает содержание будущего стихотворения в прозе «Пир у Верховного существа».

ПОЛЬ ВИАРДО

ИЗ „ВОСПОМИНАНИЙ АРТИСТА"

Поль Виардо (1857—1941). сын Полины Виардо Гарсиа, талантливый скрипач-виртуоз, с успехом концертировавший в восьмидесятые годы во Франции, Германии, Испании, России. Тургенев, считая Поля одаренным музыкантом, содействовал его популярности: заботился о появлении рецензий и т. и. Но отношения их не были близкими, Тургенева отталкивали малосимпатичные черты характера Поля Виардо — самонадеянность, тщеславие. «Поль очень дерзок, порою несносен — но из него вырабатывается большой скрипач» *, — замечал Тургенев в письме к Л. Пичу от 4 апреля и. ст. 1873.

Воспоминания Поля Виардо воссоздают артистическую атмосферу, в которой жил Тургенев. Мемуарист рассказывает о жизни семьи Виардо в Лондоне, почти не освещенной в других воспоминаниях современников.

На русском языке воспоминания были опубликованы в «Новом времени», 1906, Приложение № 10991, 10994, 11001, 11033 от 18, 21, 28 ноября, 29 декабря. Печатаются по журнальной публикации.

АЛЬФОНС ДОДЕ

ТУРГЕНЕВ

Альфонс Доде (1840—1897), познакомившийся с Тургеневым в 1868—1870 годах, пользовался наряду с Мопассаном, Золя, братьями Гонкур неизменным расположением русского писателя.

Тургенев много сделал для популяризации творчества Доде, содействовал изданию его произведений в России, в Германии, рекомендовал немецкому критику Юлиану Шмидту новые книги писате-

* *Тургенев, Письма,* т. X, с. 85, 385.

ля для отзывов и рецензий (в частности, роман «Фромон-старший и Рислер-младший» *, о котором Тургенев отзывался как об «очень хорошей вещи»).

Однако такого взыскательного художника, каким был Тургенев, далеко не все удовлетворяло в творчестве Доде. Он обращал внимание молодого писателя на неровности его стиля, неточность и поверхностность наблюдений. О романе-памфлете «Короли в изгнании» Тургенев писал П. В. Анненкову, увидевшему в этом произведении «сияющий талант»: «Роман Доде мне менее понравился, нежели Вам, вероятно потому, что, по самой натуре сюжета, вместо типов являются одни портреты, чуть-чуть застланные прозрачной дымкой. А ведь интересны только типы... ** Его претензии относились также и к роману «Набоб» — с ними, кстати сказать, Флобер был «вполне согласен».

В 1880 году Альфонс Доде написал мемуарный очерк «Тургенев в Париже» для нью-йоркского журнала «Century Magazine», но опубликован он был только после смерти писателя, в ноябре 1883 года. Русский перевод печатался в этом же году на страницах «Нового времени» (№ 2754—2755).

В 1887 году И. Я. Павловский в своих воспоминаниях о Тургеневе, вышедших на французском языке, привел крайне резкий отзыв о творчестве и нравственных качествах Доде, якобы слышанный им от самого писателя. Это глубоко оскорбило и уязвило Доде. Переиздавая в 1888 году воспоминания о Тургеневе в составе своей мемуарной книги «Тридцать лет в Париже», Доде написал иронический постскриптум, где упрекал своего друга в вероломстве.

К счастью, обидное для памяти Тургенева недоразумение, возникшее в результате бестактности мемуариста, было вскоре улажено благодаря вмешательству первого собирателя писем Тургенева, литератора И. Д. Гальперина-Каминского. Исследователь обратился с просьбой к друзьям писателя сообщить ему, говорил ли когда-нибудь Тургенев в беседах с ними что-либо компрометирующее Доде как художника и человека. Поэт Я. П. Полонский, близкий друг писателя, отвечал Гальперину-Каминскому: «Тургенев даже в самых откровенных беседах отзывался с большим уважением о своих друзьях, французских писателях, как-то о Флобере, Золя, Доде, Мопассане, Гонкуре и других, которых очень любил. Он гордился своими дружескими отношениями с знаменитыми французскими писателями и этого никогда не скрывал» ***. Выразил свое мнение и

---

* *Тургенев, Письма,* т. X, с. 323.

** Там же, т. XII, кн. 2, с. 161.

*** И. Д. Гальперин-Каминский. Письма И. С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям. М., 1900, с. 256.

Салтыков-Щедрин, который писал исследователю: «Я ничего не вижу обидного или вероломного по отношению к друзьям в оценке Тургеневым современной реалистической школы во Франции. Можно сохранять дружеские отношения и не приходить в восторг от всего в своих друзьях... Я никогда не замечал в характере Тургенева ни малейшего следа лицемерия» *. После появления работы И. Д. Гальперина Доде писал ему: «Письма Тургенева, собранные Вами и сопровождаемые Вашими умными и тонкими комментариями, изменили мои чувства к великому русскому писателю. Да, вы правы, Тургенев не был вероломным, он не двуличен...» **

В 1893 году французский журналист Жюль Гюре опубликовал в газете «Figaro» свое интервью с Альфонсом Доде: «Я, — говорит Доде, — считал себя другом этого человека, я очень любил его... В течение многих лет Тургенев был моим любимым автором, его книги были удивительными, которые читаешь и перечитываешь беспрестанно. С тех пор мои предпочтения изменились, но мнение мое осталось прежнее» ***.

Текст печатается по изданию: А. Доде. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7. М., 1965.

[1] Имеется в виду французский словарь, составленный по образцу Словаря латинского языка и поэтических выражений («Gradua al Parnassum» — «Ступень, ведущая на Парнас»).

[2] Чтение состоялось 21 марта н. ст. 1875 г. (см. с. 277 наст. изд.).

[3] Три повести Флобера: «Простое сердце», «Легенда о святом Юлиане Милостивом», «Иродиада» — вышли в 1877 г. в Париже отдельной книгой.

[4] Тургенев послал это письмо Доде с отзывом о «Набобе» после некоторых колебаний, о чем сообщал Флоберу: «Я только что кончил «Набоба». Это книга, в которой кое-что *выше* уровня Доде, а кое-что значительно *ниже.* То, что основано на его наблюдениях, великолепно; то, что придумано, убого, бесцветно и даже не оригинально. Несмотря на это, удачные места книги столь удачны, что, кажется, я решусь написать ему *правдивое* письмо, которое одновременно доставит ему и удовольствие и огорчение. Но, может быть, в конце концов я этого и не сделаю» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 469—470). Флобер согласился с мнением Тургенева: «Относительно «Набоба» я думаю совершенно так же, как вы» (там же, с. 619).

[5] Во французском издании мемуаров И. Я. Павловского приве-

---

* *Салтыков-Щедрин,* т. XX, с. 390.

** И. Д. Гальперин-Каминский, назв. изд., с. 259.

*** «Новое время», 1893, № 6346, 28 октября.

дены следующие слова Тургенева: «Доде! Какое ничтожество! — заметил о н . . . — Он всего лишь подражатель Диккенса… А как человек!.. Что за тип, что за тип! Хитрый южанин, притворщик, себе на уме, умеющий устраивать свои делишки. Его друзья знают ему цену и рассказывали мне о нем побасенки» («Souvenirs Sur Tourguéneff par Isaak Pavlovsky», Paris, 1887, с 73. Русский перевод отрывка — *ЛН,* т. 76, с. 501). Интересно, что в раннем русском варианте этих воспоминаний («Русский курьер», 1884, № 137) отзыв Тургенева о Доде приведен в более мягкой форме, что свидетельствует о безусловной тенденциозности поздней французской «редакции» этой беседы. Золя, ознакомившись с воспоминаниями Павловского, однако, не склонен был обвинять Тургенева в лицемерии и неискренности. По поводу писем Тургенева, столь обидевших Доде и Гонкура... Золя сказал: «Его винили в том, что он нас судил слишком строго в своих письмах к русским друзьям. Действительно, он довольно ядовито выражался насчет Гонкура и Доде, он говорил, что ничего не понимает в большой изысканности стиля Гонкура, и находил искусство Доде немного узким... но надо же, однако, допустить, что писателю всегда позволительно, невзирая на симпатию его натуральных отношений, сохранять неприкосновенным свое интимное суждение...» («Новое время», 1893, 28 октября). В полемике, вызванной мемуарами Павловского, принял участие Анатоль Франс, который опубликовал заметку «Инцидент Доде — Тургенев» («Temp», 1888, 12 февраля).

Х. ГОГЕНЛОЭ

ИЗ „ДНЕВНИКА"
(1876 и 1879 гг.).

Немецкий дипломат кн. Хлодвиг Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1819—1901) встречался с Тургеневым в Париже, по всей вероятности, в 1876—1879 годах, в бытность свою послом Германской империи. «Князь Гогенлоэ начал писать свой дневник, когда он был еще посланником в Париже, и каждый день заносил в него заметки, отличающиеся необыкновенной искренностью», — говорилось в одной из корреспонденций «Нового времени» (1906, № 10987, 14/27 октября, Приложение). Его дневниковые записи о встречах с Тургеневым представляют немалый интерес. Особенно значительна запись 13 апреля н. ст. 1879 года, сделанная вскоре по возвращении Тургенева из России, после волнующих встреч с передовой интеллигенцией и студенчеством. В суждениях о политической обстановке в России 1879 года Тургенев, возможно, излагал мысли, которые собирался развить в неосуществленной статье (см. воспоминания М. М. Ковалевского в наст. т. и коммент. 12 к ним).

Впервые отрывки па дневников Гогенлоэ были опубликованы после смерти автора в журнале «Всемирная иллюстрация», 1906, № 11, с. 103—106.

Русский текст печатается по изданию: «Литературное наследство», т. 76, М., 1967.

[1] Имеется в виду П. В. Жуковский.

[2] Речь идет о политическом процессе 1877—1878 гг., известном под названием «Процесс 193-х». Ему предшествовало предварительное следствие, которое длилось около трех лет (с конца 1874 г.). Было привлечено свыше тысячи человек, которым предъявлялось обвинение «в революционной пропаганде в империи».

[3] Имеется в виду И. С. Аксаков.

[4] Речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

[5] См. воспоминания А. Г. Лопатина в т. 1 наст. изд.

В.-Р.-С. РОЛЬСТОН

ИЗ „ВОСПОМИНАНИЙ"

Английский историк литературы, критик в переводчик, Вильям Рольстон (1829—1889), проявлявший серьезный интерес к русской культуре, был большим другом Тургенева. Ему принадлежат статьи о А. В. Кольцове, А. Н. Островском, Н. И. Тургеневе, известном фольклористе А. Н. Афанасьеве. В 1886 году Рольстон был избран членом Российской Академии наук.

С Тургеневым познакомился в середине шестидесятых годов и стал одним из ведущих переводчиков его произведений на английский язык. О переводе «Дворянского гнезда», выполненном Рольстоном, Тургенев писал ему: «...Этот перевод намного лучше всех других переводов моих произведений» *.

В июне 1870 года Рольстон навестил Тургенева в Спасском. Писатель ввел Рольстона в круг своих русских друзей, рекомендовал его труды русским критикам и искусствоведам для отзывов, в частности В. В. Стасову. Тургеневым написана рецензия на английский перевод басен Крылова, выполненный Рольстоном. Их творческое содружество продолжалось до последних дней жизни Тургенева.

Воспоминания Рольстона впервые опубликованы в журнале «Athenaeum», London, 1883, № 2916, 15 сентября.

Печатается по изданию: «Иностранная критика о Тургеневе», СПб., 1908. Для настоящего издания русский текст отредактирован Н. И. Хуцишвили.

---

* *Тургенев, Письма,* т. VIII, с. 57, 343.

[1] Об этом факте Тургенев писал 26 января / 7 февраля 1874 г. П. В. Анненкову: «Вчера со мной произошла необыкновенная штука... Существует в Америке некий издатель Гольт (Henry Golt), который вот уже лет пять, как печатает переводы моих вещей. Так как между Америкой и Европой никакой литературной конвенции не существует, то Гольт и не подумал попросить у меня никакого уполномочия — тем более что другие издатели тоже печатали мои вещи. Представьте же мое изумление: вчера я получаю от этого Гольта письмо, в котором он после многих комплиментов... сообщает мне, что сперва продажа моих вещей шла туго, но что теперь он настолько получил от них барыша, что может послать мне в виде вознаграждения 1000 франков — и, действительно, при письме находился вексель à *vue* в 1000 фр. ...» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 193). В воспоминаниях одного из современников писателя, И. Е. Цветкова, приведен рассказ Тургенева об этом же эпизоде (*ЛН,* т. 76, с. 421—422).

[2] 13/25 января 1872 г. Тургенев писал Анненкову: «Смеха ради прилагаю Вам мой *некролог,* явившийся в одном лондонском музыкальном журнале. Меня смешали с Н. И. Тургеневым...» *Один английский критик* — Г.-Ф. Чорли, поместивший некрологическую статью об И. С. Тургеневе в журнале «Orchestra» (1872, № 434, с. 251). Тургенев в письме к Рольстону от 14/26 января 1872 г. приводит огорчившую его фразу из статьи Чорли: «Я был несколько удивлен, обнаружив, что я «немного *утомительный* энтузиаст»...» (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 213).

[3] Во время десятидневного пребывания в Англии в октябре 1878 г. (с 7/19 октября по 17/29 октября) Тургенев посетил Кембридж и Оксфорд. «...Я посетил оба университета... — писал Тургенев Л. Толстому 15/27 ноября 1878 г. из Парижа. — Пречудная и прехитрая штука — эти английские воспитательные учреждения!» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 383).

[4] В 1881 г. Тургенев пробыл в Англии с 3/15 октября по 13/25 октября. О приеме, устроенном ему английской интеллигенцией, Тургенев рассказывал Я. П. Полонскому: «На возвратном пути наш общий друг Рольстон импровизировал для меня обед — частью из симпатии ко мне, а частью (и большей частью, как он мне в этом сам сознался), чтобы сделаться в глазах английской публики главным репрезентантом и авторитетом по части русских дел, литературы и пр. Это ему удалось — были разные тузы, между писателями, журналистами — все было очень оживленно, я произнес — разумеется, путаясь и заикаясь — маленький спич — и все эти господа, из которых едва ли два, три человека прочли какую-нибудь мою вещь, пили мое здоровье... Рольстон хочет даже затевать большой банкет (!!?) — но я скорее сам себе нос отрежу, чем соглашусь на такую чепуху!

С какой стати *мне* банкет — в Англии! Уж и так, чай, в Петербурге думают, что я всякие употребил интриги, чтобы добиться этого обеда» (*Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 1, с. 139),

[5] См. наст. т., с. 156—157.

Г. ДЖЕЙМС

ИВАН ТУРГЕНЕВ
(Из воспоминаний)

Американский писатель Генри Джеймс (1843—1916) был горячим почитателем творчества Тургенева. За год до знакомства с Тургеневым, которое состоялось в ноябре 1875 года, Джеймс опубликовал большую литературно-критическую статью о его творчестве. Тургенев, ознакомившись с этой работой, отвечал ее автору: «...Ваша статья меня поразила, ибо она вдохновлена тонким пониманием справедливости и истины; в ней есть мужественность, психологическая проницательность и отчетливо выраженный литературный вкус» *. В письме к Рольстону Тургенев рекомендовал Джеймса как «очень милого, разумного и талантливого человека...» **.

Как художник, Джеймс испытал влияние Тургенева, которого считал «романистом романистов». Современник писателя, американский новеллист Кейбл рассказывал посетившему его М. М. Ковалевскому, что «Джеймс открыто провозглашает себя учеником Тургенева» ***. Когда появилось французское издание «Нови», Джеймс написал статью об этом последнем романе Тургенева.

Воспоминания о встречах с Тургеневым были опубликованы в 1884 году в январской книге журнала «Atlantic monthly», 1884, т. III, № 315. Перепечатаны в кн.: H. G a m e s. Partial Portraits. London, 1888.

Печатается по изданию: «Минувшие годы», 1908, № 8. Для настоящего издания русский текст отредактирован Н. И. Хуцишвили.

Полный перевод воспоминаний, осуществленный Э. Линецкой, впервые опубликован в кн.: Генри Д ж е й м с. Женский портрет. Л., «Наука», 1981.

[1] В своей первой статье «Иван Тургенев» (1874) Джеймс писал, что у Тургенева «аристократический темперамент и демократический ум» (H. G a m e s. French Poets and Novelists. Leipzig, 1883, с. 243).

---

* *Тургенев, Письма,* т. X, с. 269, 445.
** Т а м ж е, т. XII, кн. 1, с. 63, 431.
*** «Вестник Европы», 1883, № 5, с. 322.

[2] Имеется в виду роман Генри Джеймса «Родрик Хадсон». 31 января н. ст. 1876 г. Тургенев писал Джеймсу: «Мы с г-жой Виардо уже начали читать Вашу книгу, и я счастлив сообщить Вам, какое удовольствие она нам доставила» (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 203, 397).

[3] Немецкий издатель Таухниц выпускал массовыми тиражами стереотипные издания произведений мировой классики на многих европейских языках.

[4] Приостановка печатания «Западни» была вызвана многочисленными упреками в «безнравственности» романа, поступавшими в редакцию газеты «Le bien public» от читателей.

[5] По всей вероятности, имеется в виду И. П. Похитонов.

[6] Речь идет об А. Н. Луканиной.

Х. БОЙЕСЕН

ВИЗИТ К ТУРГЕНЕВУ
(Из воспоминаний)

Норвежец по происхождению, писатель Хьялмар Бойесен (1848—1895) жил (с 1869 г.) и писал в Америке. С Тургеневым познакомился в 1873 году в Париже. Блестящий знаток немецкой литературы, особенно творчества Гете, великолепный собеседник, он сразу же снискал расположение Тургенева. «Знакомство с Вами доставило мне величайшее удовольствие, — писал он Бойесену. — ...Я буду с большим интересом следить за каждым Вашим шагом на литературном пути, открывающемся теперь перед Вами» *. Содержание своих бесед с Тургеневым Бойесен аккуратно заносил в дневник. Эти точные записи и явились основой его воспоминаний о писателе. Бойесен посвятил Тургеневу свою книгу «Гуннар. Повесть из норвежской жизни» (Бостон, 1874). В 1877 году он перевел на английский язык рассказ из «Записок охотника» — «Чертопханов и Недопюскин». Его воспоминания под названием «Визит к Тургеневу» были написаны в 1874 году и тогда же опубликованы в журнале «The Galaxy», 1874, т. XVII, № 4.

Печатается по изданию: «Иностранная критика о Тургеневе», СПб., 1908. Русский текст для настоящего издания отредактирован И. И. Хуцишвили.

[1] Бойесен точен в передаче своей беседы с писателем. В письме от 24 февраля н. ст. 1874 г. Тургенев признавался Бойесену: «Одно

* *Тургенев, Письма,* т. X, с. 200.

из самых сильных моих желаний — посетить самому Вашу страну... и я надеюсь, что выполню это свое желание прежде, чем покину эту землю» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 200, 425).

[2] В 30—40-е годы прошлого века прогрессивные круги европейской интеллигенции испытывали особый интерес к стране, в которой, казалось, восторжествовала демократия. Первые американские впечатления Диккенса — он посетил Америку в январе 1842 г. — были отрадными, но после более близкого знакомства с «страной свободных» английский писатель испытал глубокое разочарование: «Это не республика, которую я ехал посмотреть». В результате этой поездки возникли «Американские заметки» и роман «об эгоистах» «Мартин Чеззльвит» (см.: В. В. Ивашева. Творчество Ч. Диккенса. М., 1954, с. 134—156).

[3] Тургенев считал американского писателя Натаниеля Готорна талантливым прозаиком. В 1852 г. его роман «Дом о семи шпилях» («The House of the seven gables») печатался в «Современнике». По мнению Тургенева, русский перевод оказался слабым, «слог совершенно пропал; это — жаль», — писал он Некрасову (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 80).

[4] Тургенев называл Уолта Уитмена «удивительным американским поэтом». В 1872 г. писатель собирался опубликовать в «Неделе» несколько переведенных им лирических стихотворений «с небольшим предисловием» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 18). Однако обещанной публикации не появилось в печати. Известно одно стихотворение Уитмена в переводе Тургенева — «Бейте, бейте, барабаны...» (*Тургенев, Соч.,* т. XIII).

[5] Имеется в виду А. С. Альбединская.

ТУРГЕНЕВ В ЕГО ПОСЛЕДНИЕ ПРИЕЗДЫ НА РОДИНУ

С. Л. ТОЛСТОЙ

ТУРГЕНЕВ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Старший сын Л. Толстого, Сергей Львович Толстой (1863—1947), автор известных мемуаров «Очерки былого», наиболее полно и подробно рассказал о встречах своего отца с И. С. Тургеневым, происшедших после их длительной ссоры (см. воспоминания А. А. Фета в т. 1 наст. изд.).

С. Л. Толстому было пятнадцать лет, когда он впервые встретился с Тургеневым. Он живее других из большого семейства Толстых запомнил и передал облик писателя во время его столь знаменательных приездов в Ясную Поляну. Автор использовал в своих мемуарах самое ценное из воспоминаний домашних и гостей, присутствовавших в разные годы на встречах с Тургеневым в Ясной Поляне, это прежде всего дневниковые записи С. А. Толстой, записки Т. Л. Сухотиной-Толстой, воспоминания С. А. Берса.

Текст печатается по изданию: С. Л. Толстой. Очерки былого. Изд. 3-е, дополненное. Тула, 1968.

[1] «Пир Петра Первого» А. С. Пушкина.

[2] «Тургенев много говорил о Мопассане, — вспоминает Сухотина-Толстая, — восхищался его произведениями и рассказывал о его жизни. Он первый указал на него моему отцу» (Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., 1976, с. 247).

[3] Этот рассказ Тургенева приводит в своих воспоминаниях Е. М. <Менгден>, которая приезжала в 1878 г. в Ясную Поляну и видела там Тургенева. «...Меня сторожил угрюмый унтер-офицер... — рассказывал писатель, — старый, рослый, широкоплечий солдатина. Лицо суровое, неподвижное; видно было, что ни лаской, ни деньгами ничего не добьешься...» («Звенья», т. VIII, 1950, с. 262—264).

[4] Об этом эпизоде писал в своих воспоминаниях С. А. Берс: «Иван Сергеевич много рассказывал и мимически копировал не только людей, но и предметы с необыкновенным искусством; так, например, он действиями изображал курицу в супе, подсовывая одну руку под другую; потом представлял охотничью собаку в раздумье и т. д. Талант предка его, современника Петра I, по-видимому, в нем повторился» (С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, с. 22).

[5] О мастерском чтении Тургеневым рассказа «Собака» сохранились воспоминания А. Суворина: «Рассказ этот был так живописен и увлекателен, что производил огромное впечатление. Когда впоследствии я прочитал его в печати, мне он показался бледной копией с устного рассказа Тургенева» (А. С. Суворин. По поводу «Отцов и детей». — Кн. «Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца» (А. Суворина, кн. 2, СПб., 1875, с. 212).

[6] О духовном величии и красоте русских женщин Тургенев говорил и писал часто. Выступая на банкете в Эрмитаже (23 апреля 1880 г.), он заметил: «Я считаю, что из всех женщин — нет лучше русской женщины. С француженкой — вы после получасовой беседы упираетесь в стену, вам уже не о чем говорить с нею, — с рус-

ской женщиной — вы все время чувствуете, что она равна вам...» (Е. П. Леткова. Об И. С. Тургеневе (Из воспоминаний курсистки). — «К свету». Научно-литературный сборник, СПб., 1904, с. 455). И. И. Янжул в своих воспоминаниях приводит содержание беседы с Тургеневым о типе французских и русских женщин. «Ни одна женщина в мире, — утверждал Тургенев, имея в виду русскую женщину, — не может быть способна на такое самопожертвование...» (И. И. Янжул. Воспоминания о пережитом и виденном. — «Русская старина», 1910, № 5, с. 312).

[7] См.: С. А. Толстая. Дневники, т. 1. М., 1978, с. 511.

[8] 27 декабря н. ст. 1879 г. Тургенев послал Флоберу трехтомное издание «Войны и мира» в переводе М. Паскевич. Выдержку из ответа Флобера он привел в письме к Л. Н. Толстому от 12/24 января 1880 г. «Спасибо, что Вы дали мне возможность прочесть роман Толстого, — писал Флобер. — Это первоклассное произведение. Какой художник и какой психолог! Два первых тома великолепны; третий значительно слабее. Он повторяется и философствует. Слишком чувствуется он сам, писатель и русский человек, в то время как раньше перед Вами была лишь Природа и Человечество. Подчас он напоминает мне Шекспира...» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 205, 524).

[9] См. наст. т., с. 393.

[10] О тяжком душевном состоянии, испытанном Толстым ночью в Арзамасе, где он остановился на ночлег по пути в Пензенскую губернию, писатель сообщал жене 4 сентября 1869 г.: «Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал» (*Л. Толстой,* т. 83, с. 167).

[11] «В это лето в Ясной Поляне царил дух оживления, пения, танцев, романов — вообще очень ранней молодости» (*Т. Л. Сухотина-Толстая,* с. 250).

[12] Толстой под влиянием Тургенева начал читать Шекспира, но, изучив его, не изменил своего взгляда. «Сколько я помучился, когда, полюбив Тургенева, желал полюбить то, что он так высоко ставил. Из всех сил старался, и никак не мог, — записано в «Дневнике» Толстого. — Какой ужасный вред авторитеты...» (*Л. Толстой,* т. 55, с. 248). Эта запись имеет отношение и к спорам с Тургеневым о Шекспире (см.: Ю. Левин. Лев Толстой, «Шекспир и русская литература 60-х годов XIX в.». — «Вопросы литературы», 1968, № 8).

[13] Узнав о тяжелой болезни Тургенева, Толстой писал ему: «В первую минуту, когда я поверил — надеюсь, напрасно, — что вы опасно больны, мне даже пришло в голову ехать в Париж, чтобы повидаться с вами...» В этом письме Толстой называет Тургенева «очень

дорогим» ему «человеком и другом» (*Л. Толстой,* т. 63, с. 96). Когда Тургенев скончался, Толстой написал жене: «О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю. Я все с ним живу... Непременно или буду читать, или напишу и дам прочесть о нем» (там же, с. 138). Л. Н. Толстой должен был выступать со словом об И. С. Тургеневе на публичном заседании памяти писателя, которое Общество любителей российской словесности собиралось провести в октябре 1883 г. Предстоящее публичное выступление Л. Толстого вызвало неудовольствие в официальных кругах. Начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов («этот архимерзавец», как называл его Тургенев) предупреждал Д. А. Толстого, министра внутренних дел: «Толстой — человек сумасшедший, от него следует всего ожидать, он может наговорить невероятные вещи — и скандал будет значительный...» Московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков издал приказ: «Под благовидным предлогом» объявить заседание «отложенным на неопределенное время» («Былое», 1918, № 1, с. 207). Некоторое представление о характере несостоявшегося «слова» Толстого о Тургеневе дает письмо С. А. Толстой Г. А. Кузминской от 29 октября 1883 г.: «...Левочка для речи ничего не написал, хотел только говорить, вероятно, накануне набросал бы, но так как запретили, то так и не написалось, и не сказалось. О Каткове он упомянул бы, но в смысле, что не все пишущие люди свободны от подслуживания властям и правительству, а Тургенев был свободный и независимый человек и служил только делу... а дело его была литература...» (Государственный музей Толстого). В письме к А. Н. Пыпину от 10 января Толстой в сжатой форме выразил, видимо, основное, что он думал и хотел сказать об И. С. Тургеневе: «...Воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он *жил, искал* и в произведениях своих высказывал то, что он нашел, — все, что нашел. Он не употреблял свой талант (умение хорошо изображать) на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу. Ему нечего было бояться. По-моему, в его жизни и произведениях есть три фазиса: 1) вера в красоту (женскую любовь — искусство). Это выражено во многих его вещах; 2) сомнение в этом и сомнение во всем. И это выражено трогательно и прелестно в «Довольно» и 3) не формулированная, как будто нарочно из боязни захватить ее (он сам говорит где-то, что сильно и действительно в нем только бессознательное), не формулированная, двигавшая им в жиз--, и в писаниях вера в добро — любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных...» («Тургенев и его время», М.—Л., 1923, с. 5—6).

М. Г. САВИНА

МОЕ ЗНАКОМСТВО С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ

Дружба с выдающейся русской актрисой Марией Гавриловной Савиной (1854—1915) доставила Тургеневу большую радость. Они впервые встретились в 1879 году на спектакле «Месяц в деревне», в котором Савина исполняла роль Верочки. Тургенев был поражен талантливостью ее игры; Савина, по словам писателя, «открыла» ему его героиню. «Он всегда хотел написать мне роль, — вспоминала актриса в 1893 году, — а из своих вещей представлял меня в Лизе, Елене («Накануне») и в Асе в особенности («Тургенев и Савина», с. 95). Савина и стала первой русской актрисой, создавшей никем непревзойденный образ Лизы («Дворянское гнездо»). «Я сама сознаю, может быть, первый раз в жизни, — писала Савина, — что выполнила безукоризненно свою задачу» (там же, с. 97).

История их отношений — одна из самых поэтических и светлых страниц в биографии Тургенева последних лет его жизни. В 1881 году Савина приезжала к Тургеневу в Спасское, навещала его в Париже, уже смертельно больного. Письма Тургенева к Савиной по глубокой искренности, силе чувства и высокой поэзии напоминают стихотворения в прозе. А. Ф. Кони посвятил этой дружбе статью-воспоминание — «Савина и Тургенев», которую хотел сначала назвать «Последняя любовь Тургенева».

Воспоминания Савиной не окончены. Они представляют лишь начало мемуаров, которые, судя по сохранившимся в ее бумагах черновым наброскам, обещали быть гораздо более полными. В них актриса собиралась рассказать подробно обо всех событиях в ее жизни, так или иначе связанных с Тургеневым на протяжении всего времени их знакомства (см. «Тургенев и Савина», с. 71—72). Частичным воплощением этого замысла явились записи воспоминаний Савиной, сделанные Ю. Д. Беляевым, Д. В. Философовым, Вл. А. Рыковым (там же, с. 63—82).

Текст печатается по изданию: «Тургенев и Савина». Под ред. А. Ф. Кони, Пг., 1918, где впервые был опубликован наиболее полный текст воспоминаний.

[1] Телеграмма была послана 22 или 23 января н. ст. 1879 г. В этот же день или на следующий Тургенев писал А. В. Топорову: «Вчера вечером пришла ко мне телеграмма от Савиной (актрисы), в которой она меня просит разрешить ей необходимые урезы из моей комедии «Месяц в деревне», которую она взяла для своего бенефиса на 17/29 января. Не понимаю я, с какой стати ей пришла в голову мысль взять эту невозможную в театральном смысле пьесу!» (*Турге-*

нев, Письма, т. XII, кн. 2, с. 14—15). 21 января Тургенев отправил в редакцию «Русской правды» письмо, в котором снимал с себя ответственность перед публикой за эту постановку; но, узнав об успехе спектакля, примирившись с сокращениями текста, сделанными весьма тактично, он выразил свое одобрение в газете «Молва» (1 февраля н. ст. 1879 г.).

[2] Савина по памяти приводит перевод французского текста телеграммы Тургенева, посланной 31 января н. ст. 1879 г.

[3] Писатель приехал в Петербург 8/29 февраля 1879 г.

[4] Тургенев присутствовал на спектакле в Александринском театре 15 марта ст. ст. 1879 г. На следующий день он писал Савиной: «...у Вас большой и дивный талант...» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 49).

[5] Тургенев был с визитом у Савиной 16 марта ст. ст. 1879 г. В этот же день вечером Тургенев вместе с Савиной выступал на чтениях в пользу Литературного фонда. Они прочитали диалог графа Любина и Дарьи Ивановны Ступендьевой из комедии Тургенева «Провинциалка».

[6] Речь идет о Л. Ф. Ивановой (см. «Тургенев и Савина», с. 377).

[7] Писатель знал творчество и следил за появлением каждой новой пьесы Островского, талант которого высоко ценил. Тургенев мечтал о хороших иностранных переводах Островского, в частности, он хотел познакомить с его драматургией французскую публику.

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

И. С. ТУРГЕНЕВ У СЕБЯ В ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕЗД НА РОДИНУ
(Из воспоминаний)

Яков Петрович Полонский (1819—1898) — один из старейших и самых близких друзей Тургенева. Они познакомились в начале сороковых годов в доме декабриста М. Ф. Орлова. «Вся тогдашняя московская знать, вся московская интеллигенция как бы льнула к изгнаннику Орлову... Там в этом доме впервые встретил я... профессора Грановского, только что приехавшего из Германии, и Чаадаева, и даже молодого Ив. Серг. Тургенева, который... прочитав какое-то мое стихотворение, назвал его маленьким поэтическим перлом» *.

---

* Я. П. Полонский. Мои студенческие воспоминания.— Сб. «Московский университет в воспоминаниях современников». М., 1956, с. 228—233.

Дружба с Полонским, начавшаяся в сороковые годы, не прерывалась до последних дней жизни Тургенева.

В этом дружеском союзе особая роль принадлежит Жанне Полонской, жене поэта, одаренному скульптору, человеку, наделенному тонким артистизмом. Тургенев одним из первых обнаружил в Полонской талант ваятеля и всячески поощрял ее занятия скульптурой *.

Писатель с большим участием следил за поэтической деятельностью Полонского, придирчиво разбирал его стихи. В шестидесятые годы, после разрыва с Некрасовым, углублявшегося разлада с А. А. Фетом, Тургенев испытывает все больший интерес к поэзии Полонского, сохранившей, как ему казалось, «отблеск пушкинского изящества». В 1870 году Тургенев опубликовал статью «О стихотворениях Полонского», которая была ответом на резкую статью М. Е. Салтыкова-Щедрина, появившуюся в связи с выходом в свет двухтомного Собрания сочинений поэта. «Он не раз помогал мне в критические минуты, и раз, в ответ на рецензию Салтыкова, который в «Отечественных записках» хотел окончательно раздавить меня, — заступился за меня печатно, и заступился в такое время, когда во всей журналистике за меня не было ни единого голоса» **, — писал Полонский А. А. Фету 29 декабря 1887 года.

Последнее лето на родине (1881 г.) Тургенев провел в обществе Полонского и его семьи в Спасском.

Полонский начал писать воспоминания вскоре после смерти Тургенева, осенью 1883 года. В. П. Гаевский поместил в своем «Дневнике»: «18 октября... Полонский пишет воспоминания о пребывании в Спасском и приходит, чтобы пересмотреть у меня письма Тургенева» ***.

Воспоминания Полонского были отмечены А. Н. Пыпиным, С. А. Венгеровым. Григорович назвал их в своих мемуарах «прекрасными» ****.

Впервые: «Нива», 1884, № 1—8. Текст печатается по изданию: Я. П. Полонский. Повести и рассказы (Прибавление к Полн. собр. соч., т. II). СПб., 1895.

[1] *Старик Лутовинов* — И. И. Лутовинов, дядя Варвары Петровны, отличавшийся суровым, крутым нравом. О его самодурстве и жестокости ходили легенды среди крепостных (см.: И. А. Битю-

* Подробно см.: Н. Н. Фонякова. Скульптор Ф. А. Полонская.— *Тург. сб., вып. III, 1967.*

** *ЛН,* т. 73, кн. II, с. 209.

*** «Красный архив», 1940, № 3, с. 235.

**** См. т. 1 наст. изд., с. 203.

гова. К автобиографии Тургенева. — *Тург. сб., вып. V, 1969,* с. 385—391).

[2] Рольстон приезжал в Спасское в 1870 г.

[3] По словам другого современника — Е. М. Менгден, рассказ, легший в основу сюжета повести «Собака», Тургенев «слышал на постоялом дворе от мещанина, с которым это случилось» («Звенья», вып. VIII, М., 1950, с. 262—263).

[4] Григорович собирался приехать вместе с М. Г. Савиной, которую должен был сопровождать. Савина приехала позднее. В связи с приездом актрисы в Спасское у Григоровича возникла идея разыграть домашний спектакль, которую, однако, осуществить не удалось. В восьмидесятые годы Григорович с особенной теплотой относился к Тургеневу. «Чем больше живу, — тем более привязываюсь к нему и люблю его, — писал Григорович Я. П. Полонскому, их общему другу, — как личность, как человек — это положительно самый симпатический в русской литературе» (см. публикацию Б. Н. Капелюша «Д. В. Григорович. Письма к Тургеневу и Я. П. Полонскому». — *Тург. сб., вып. IV, 1968,* с. 398—406).

[5] См. воспоминания Д. В. Григоровича в т. 1 наст. изд.

[5а] Сложное отношение Тургенева к революционно-демократическому движению наиболее обобщенно выражено в его известных стихотворениях в прозе — «Чернорабочий и белоручка» и «Порог».

[6] Полонский приводит эпиграммы Тургенева на А. В. Никитенко (Н—ко) и на П. Н. Кудрявцева (см. *Тургенев, Соч.*, т. XV, с. 218, 221).

[7] Авторами эпиграммы были Некрасов и Тургенев.

[8] Полонский приводит сюжет неосуществленного замысла Тургенева. В черновой тетради 1877—1879 гг. сохранилась тургеневская запись, подтверждающая точность рассказа мемуариста: «Можно будет сделать когда-нибудь фантастический рассказ о человеке, убившем жену и которого потом преследует ее тень, привидение, которое он сам никогда не видел, но которое видят другие... Это должно довести до отчаяния, до самообвинения, до самоубийства... Я видел такой сон, — из него можно нечто сделать» (*Тургенев, Соч.,* т. XIII, с. 601). О том, что Тургенев начал работать над замыслом, свидетельствуют подробные характеристики героев новой повести, составленные писателем (там же, с. 325—347). Сохранился также и фрагмент другой неосуществленной повести — «Старые голубки», сюжет которой приведен в мемуарах Полонского (там же, с. 348—351).

[9] Речь идет о пьесе Э. Ожье «Мадам Каверле». Философские мысли о критериях нравственности, высказываемые Тургеневым в связи с этим спектаклем, имели для писателя глубоко принципи-

альное значение. Не случайно он вспоминал об этом в течение ряда лет, и рассказ его о спектакле и реакции французов приводится в разное время разными мемуаристами (см. ст.: М. П. Алексеев. Тургенев в спорах о пьесе Э. Ожье. — *Тург. сб., вып. III, 1967*).

[10] Сказка, написанная для старшего сына Полонского — Александра. В это же время Тургенев сочинил юмористические стихи «Жил был некакий мальчишка...», названные Я. П. Полонским «Сатирой на мальчика-всезнайку» (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 228, 419).

[11] М. Г. Савина приехала в Спасское 15 июня 1881 г. Пребывание Савиной в Спасском было «праздником для Тургенева», — пишет А. Ф. Кони в очерке «Савина и Тургенев» (А. Ф. Кони. «Воспоминания о писателях». Л., 1965, с. 184). «Ваше пребывание в Спасском оставило неизгладимые следы... — писал Тургенев Савиной после ее отъезда. — В эти пять дней я еще короче узнал Вас — со всеми Вашими хорошими и слабыми сторонами — и именно потому еще крепче привязался. Вы имеете во мне друга, которому можете довериться. Комната, в которой вы жили, так навсегда и останется Савинской» (*Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 1, с. 103).

[12] Полонский был одаренным художником. Увлекался рисованием и живописью с ранней юности. В 1857 г. в Швейцарии Полонский брал уроки у Франсуа Дидэ, основателя женевской школы пейзажистов. За время пребывания в Спасском летом 1881 г. он сделал тринадцать этюдов маслом. «Яков Петрович все лето писал виды с Спасского масляными красками, — вспоминает в своих мемуарах С. Г. Щепкина. — Его частенько можно было встретить в красивых уголках парка, сидящим под громадным дождевым зонтом от солнца, за мольбертом в своей черной куртке. С какой любовью и скоростью писал он небольшие пейзажи, думалось, живопись была его врожденным талантом» (С. Г. Щепкина. И. С. Тургенев в Спасском-Лутовинове. — «Красный архив», 1940, № 3, с. 207). Полонский подарил Тургеневу семь этюдов 1881 г., которые он считал наиболее удавшимися. «Твои картины все обрамлены и висят у меня перед глазами... и очень мне приятно смотреть на них...» — писал Тургенев по возвращении в Буживаль 23 сентября / 5 октября 1881 г. (*Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 1, с. 127). (Подробно см. сообщение Н. Н. Фоняковой «Спасское-Лутовиново в этюдах Я. П. Полонского». — *ЛН,* т. 76, с. 605—630).

[13] Подобное же сообщение появилось в «Орловском вестнике», №157, 6/18 сентября 1881 г.: «Говорят, И. С. Тургенев готовит к печати новое сочинение и «сказки для детей». В парижском архиве писателя хранится рукописный титульный лист детской книжки, составленный самим Тургеневым, такого содержания: «Рассказы и

сказки для детей Ив. Тургенева. 1. Перепелка. Буживаль. 1882». По всей вероятности, Тургенев предполагал издать специальный сборник для детского чтения. Однако замысел этот не осуществился.

[14] Тургенев, возможно, рассказывает сюжет одного из неосуществленных «Стихотворений в прозе» под названием «Планета». Перечень сюжетов впервые опубликован в т. XIII Сочинений И. С. Тургенева.

[15] В письме к Гальперину-Каминскому (1887 г.) Полонский все же попытался объяснить тайну великой привязанности Тургенева к Полине Виардо — такой же, как и русский писатель, на редкость артистической натуре, «такой же художнице». М. Г. Савина, прочитав это письмо, была поражена «верностью характеристики», данной Полонским («Тургенев и Савина», с. 102—103).

БОЛЕЗНЬ И КОНЧИНА ТУРГЕНЕВА

А. А. МЕЩЕРСКИЙ

ПРЕДСМЕРТНЫЕ ЧАСЫ В. С. ТУРГЕНЕВА

С Александром Александровичем Мещерским (1844—?), действительным членом Русского географического общества, другом семьи Герцена, Тургенева связывали приятельские отношения. Мещерский познакомился с Тургеневым в начале семидесятых годов *. Они встречались в России и во Франции. Летом 1881 года Мещерский приезжал в Спасское.

Текст печатается по газетной публикации: «Новое время», 1883, № 2629, 3/15 сентября.

[1] В. В. Верещагин, которого с Тургеневым связывали дружеские отношения, в своих воспоминаниях рассказывает об этом последнем дне жизни Тургенева. «Господин Тургенев очень плох, — говорит мне, при входе, дворник, — доктор сейчас вышел и сказал, что он не переживет сегодняшнего дня». — «Может ли быть!» Я бросился к домику. Кругом никого, поднялся наверх, и там никого. В кабинете семья Виардо, сидит в кружке также русский, кн. Ме-

---

* См. ст. Т. И. Орнатской «А. А. Мещерский» в кн.: *Тург. сб., вып. III, 1967,* с. 367.

щерский, посещавший иногда Тургенева и теперь уже три дня бывший при нем вместе со всеми Виардо. Они окружили меня, стали рассказывать, что больной совсем плох, кончается: «Подите к нему». — «Нет, не буду его беспокоить». — «Да вы не можете его беспокоить, он в агонии». Я вошел — Иван Сергеевич лежал на спине, руки вытянуты вдоль туловища, глаза чуть-чуть смотрят, рот страшно открыт и голова, сильно закинутая назад, немного в левую сторону, с каждым вдыханием вскидывается кверху; видно, что больного душит, что ему не хватает воздуха, — признаюсь, я не вытерпел, заплакал.

Агония началась уже несколько часов тому назад, и конец был, видимо, близок.

Окружавшие умирающего пошли завтракать, я остался у постели с г-жою Арнольд, постоянно смачивавшею засыхавший язык больного.

В комнате было тоскливо; слуга убирал ее, подметал пыль, причем немилосердно стучал и громко разговаривал с входившею прислугою; видно было, что церемониться уже нечего...

Г-жа Арнольд сообщила мне вполголоса, что Тургенев вчера еще простился со всеми и почти вслед затем начал бредить. Со слов Мещерского я уже знал, что бред, видимо, начался, когда И. С. стал говорить по-русски, чего никто из окружающих, разумеется, не понимал... «Прощайте, мои милые, — говорил он, — мои белесоватые...» «Этого последнего выражения, — говорил Мещерский, — я все не могу понять; вообще же, мне казалось, что он представляет себя в бреду русским семьянином, прощающимся с чадами и домочадцами...» (В. В. Верещагин. Очерки, наброски, воспоминания. СПб., 1883, гл. «И. С. Тургенев»).

М. М. СТАСЮЛЕВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ И. С. ТУРГЕНЕВА и ЕГО ПОХОРОНЫ

В 1865 году в Петербурге начал выходить журнал «Вестник Европы», редактором-издателем которого стал публицист и историк Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826—1911). Стремясь привлечь к участию в журнале крупнейших современных писателей, литераторов, ученых России и Западной Европы, Стасюлевич обратился с приглашением и к Тургеневу. С 1867 года Тургенев становится постоянным сотрудником «Вестника Европы». Деловые отношения Тургенева с редактором журнала вскоре переходят в постоянное дружеское общение.

Воспоминания Стасюлевича примечательны своей строгой достоверностью. Стасюлевич сопровождал гроб с телом покойного писателя до самого Петербурга и был свидетелем враждебного отношения русского правительства к автору «Записок охотника». Директором департамента полиции В. К. Плеве был отдан строжайший приказ по пути следования поезда, вдоль Варшавской железной дороги, принять «без всякой огласки, с особой осмотрительностью меры к тому, чтобы... не делаемо было торжественных встреч» *. «Памятны для меня эти три дня, — вспоминал Стасюлевич, — не только в этом году, но и в течение всей моей жизни! Ведь можно подумать, что я везу тело Соловья-Разбойника!» **

Воспоминания впервые опубликованы: «Вестник Европы», 1883, № 10 и 11.

Текст печатается по изданию: И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. в 12-ти томах, т. 1. СПб., 1898.

[1] Стасюлевич посетил Тургенева 31 июля / 12 августа 1882 г.

[2] «Стихотворения в прозе» впервые были опубликованы в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1882 г. Тургенев разрешил опубликовать только часть «Стихотворений в прозе», составившую пятьдесят названий. Всего же им было написано восемьдесят три стихотворения. Вторая часть так и не была опубликована при жизни Тургенева (подробно см. *Тургенев, Соч.,* т. XIII, с. 599—632).

[3] Имеется ввиду «Порог». Впервые был опубликован П. Ф. Якубовичем-Мельшиным в составе прокламации, выпущенной ко дню похорон И. С. Тургенева 27 сентября 1883 г.

[4] Первое посмертное издание Собрания сочинений А. С. Пушкина (1838—1841) под редакцией В. А. Жуковского, П. А. Вяземского и П. А. Плетнева осуществлял И. И. Глазунов.

[5] Четвертое стереотипное издание «Записок охотника» вышло в 1882 г. Первое стереотипное издание было напечатано в 1880 г. с биографическим предисловием Стасюлевича (СПб., тип. М. М. Стасюлевича).

[6] Кончина И. С. Тургенева вызвала отклики почти во всех странах Европы и Америки. Некрологи Тургенева были опубликованы в газетах Парижа, Лондона, Брюсселя, Нью-Йорка, Варшавы, Берлина, Софии, Вены, Хельсинки. В одном из парижских еженедельников был опубликован некролог Тургенева, принадлежащий Анатолю Франсу (см. публикацию И. С. Зильберштейна «Парижские находки». — «Огонек», 1967, № 49, с, 27). С речами на траурной це-

---

* *ЛН,* т. 76, с. 328.

** *Стасюлевич,* т. III, с. 237—238.

ремонии в Париже выступили: французский писатель, редактор газеты «Le XIX-e Siècle» («XIX век»), Эдмон Абу, философ и историк Эрнст Ренан, Г. Н. Вырубов, художник А. П. Боголюбов. О похоронах Тургенева в Петербурге, превратившихся в грандиозную демонстрацию, оставили свои воспоминания А. Ф. Кони, студент Петербургского университета Б. Б. Глинский. С речами на Волковом кладбище выступали ректор Петербургского университета А. Н. Бекетов, профессор Московского университета С. А. Муромцев, Д. В. Григорович и А. Н. Плещеев. (Подробно см. обзор Л. Р. Ланского «Последний путь. Отклики русской и зарубежной печати на смерть и похороны Тургенева». — *ЛН,* т. 76, с. 633—701).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

В указатель включены имена личные, названия литературных произведений и статей, встречающихся в тексте, вступительной статье и комментариях. Имена и названия, встречающиеся только в статье и комментариях, в указатель не внесены. Ссылки на страницы вступительной статьи и комментариев набраны курсивом.

Указатель составлен Н. Н. Артемовой.

СОДЕРЖАНИЕ

И. С. ТУРГЕНЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ТУРГЕНЕВ ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

ИНОСТРАННЫЕ МЕМУАРИСТЫ О ТУРГЕНЕВЕ

ТУРГЕНЕВ В ЕГО ПОСЛЕДНИЕ ПРИЕЗДЫ НА РОДИНУ

БОЛЕЗНЬ И КОНЧИНА ТУРГЕНЕВА

Т87 **И. С. Тургенев** в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Изд. 2-е / Подгот. текста С. М. Петрова я В. Г. Фридлянд; Коммент. В. Фридлянд; Худож. В. Максин. — М.: Худож. лит., 1983. — 557 с., ил. (Серия литературных мемуаров).

Во второй том книги «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников» включены воспоминания и. Д. Боборыкина, В. В. Стасова, И. И. Репина, А. Ф. Кони, а также западноевропейских, преимущественно французских, деятелей искусства и литераторов — Ги де Мопассана, Альфонса Доде, Генри Джеймса и др.

Т $\frac{4702010100\text{-}270}{028(01)\text{-}83}$ 25-83

ББК 84Р1
8Р1

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Том второй

Составители

Сергей Митрофанович Петров
Вера Григорьевна Фридлянд

Редактор *В. Волина*
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
Л. Коротеева
Корректоры
Г. Киселева и *О. Наренкова*

ИБ № 2777
Сдано в набор 19.11.82. Подписано в печать 13.06.83. Формат 84x108 1/32. Бумага типограф. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4 + альбом = 30,24. Усл. кр.-отт. 30,66. Уч.-изд. л. 31,33 + альбом=32,03. Тираж 85000 экз. Изд. № II-1224. Заказ № 993. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Ново-Басманная, 19.
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28